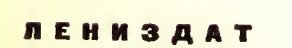
ДЕВЯТЬСОТ ДНЕЙ

ГРАЖДАН
ПРИ АРТО
ЭТА СТОРОНА
НАИБОЛЕЕ О


ЛЕНИЗДАТ

ДЕВЯТЬСОТ ДНЕЙ


ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА

1941
1944

ДЕВЯТЬСОТ ДНЕЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СБОРНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЛЕНИЗДАТ · 1962

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ДОПОЛНЕННОЕ

Редакционная коллегия:
О. Ф. Берггольц, В. Н. Дружинин, А. Л. Дымшиц, А. Г. Розен, Н. С. Тихонов

Составитель Н. Г. Михайловский

ОТ РЕДАКЦИИ

Ленинградская эпопея 1941—1944 годов вошла в историю как одна из наиболее ярких, героических и трагических страниц борьбы народов против фашизма.

Цель книги «900 дней» — рассказать читателю, как была достигнута победа, как трудящиеся города, воины Армии и Флота, воодушевленные партией, в великом патриотическом единстве, преодолевая тягчайшие испытания, отстояли Ленинград.

«900 дней» — это сборник литературно-художественных произведений, созданных в годы войны ленинградскими литераторами — участниками героической обороны Ленинграда. Наряду с художественной прозой и лирическими стихотворениями редакция включила в книгу некоторые документы и воспоминания, позволяющие читателю шире и яснее представить себе характер событий.

Большинство публикуемых в сборнике произведений написано в разгаре военных событий, в суровых фронтовых условиях. Благодаря своему горячему патриотизму, твердой вере в победу над врагом, своей боевой партийности многие из этих рассказов и стихотворений становились действенным оружием борьбы.

Естественно, что редакция не могла поместить произведения большого объема — романы, повести, поэмы, пьесы. К числу таких произведений, возникших непосредственно на материале ленинградской обороны, но не вошедших в настоящий сборник, следует назвать: «Пулковский меридиан» и «Почти три года» В. Инбер, «Россию» А. Прокофьева, «Февральский дневник», «Ленинградскую поэму», «Дневные звезды» О. Берггольц, «Киров с нами» и другие поэмы

Н. Тихонова, «Балтийское небо» Н. Чуковского, «В осаде» В. Кетлинской, «Это было в Ленинграде» А. Чаковского, «У стен Ленинграда» Вс. Вишневского, «На невских равнинах» и «Предместье» В. Кочетова, «Офицер флота» А. Крона, «Полк продолжает путь» А. Розена, «Военная косточка» В. Василевского, «Песня о жизни» О. Матюшиной, «Ленинградский дневник» В. Саянова.

Настоящее, второе издание сборника «900 дней» выходит в дни, когда над миром вновь сгущаются тучи войны, вновь поднимает голову прóклятый человечеством фашизм. Но времена меняются. Империалистам не удастся ввергнуть народы в пучину третьей мировой войны. На историческом XXII съезде КПСС с новой силой было подчеркнуто, что ныне война не является неизбежной. Крепнущий день ото дня социалистический лагерь во главе с Советским Союзом, миролюбивые силы во всех странах сумеют обуздать любых агрессоров.

Эта книга напоминает: «Люди, будьте бдительны!»

Новое издание «900 дней» выходит с некоторыми изменениями и дополнениями. Сборник пополнился новыми литературными материалами. Кроме того, книга иллюстрируется документальными фотографиями, отображающими жизнь Ленинграда в дни осады.

Редакционная коллегия надеется, что сборник «900 дней» будет содействовать коммунистическому воспитанию новых поколений советских людей.

..Борьба Ленинграда с фашистскими ордами — это столкновение сил прогресса с силами варварства. Это было столкновение реакционного застоя с действительно прогрессивным городом с самым прогрессивным в мире населением. И победил Ленинград, победил прогресс. Вот почему всё прогрессивное человечество чутко прислушивалось к каждому биению пульса защитников Ленинграда.

Под Ленинградом велась столь же ожесточенная борьба, как и на остальных участках фронтов. Но здесь она была еще отягощена изолированностью Ленинграда, что, как известно, повело к большим жертвам среди гражданского населения, не исключая стариков и детей. Ленинградцы, как никто, пережили многие индивидуальные страдания и невзгоды. Но если бы Гитлеру удалось хоть на час захватить Ленинград, то современные варвары жестоко расправились бы с ленинградским населением и жертвы ленинградцев были бы неисчислимо бо́льшими...

Товарищи! Является ли случайностью тот высокий патриотизм, который оказался налицо в Ленинграде? Является ли случайностью та исключительная революционная доблесть, мужество, беззаветность, которые показало буквально всё население Ленинграда — рабочие, интеллигенция, домашние хозяйки, словом, действительно всё население? Конечно, нет. Ленинград является колыбелью Октябрьской социалистической революции, колыбелью революционной русской мысли. С давних времен и до сегодняшнего дня в нем рождались, расцветали и зрели революционные идеи...

Ленинградский пролетариат всегда был застрельщиком в борьбе за дело народа. И вот мне, как человеку старшего поколения, удалось увидеть величайший патриотизм ленинградцев. Без колебаний могу сказать, что другого такого патриотизма, как тот, какой проявило население великого города Ленина в борьбе с самым отъявленным врагом прогрессивного человечества, с врагом, который возымел дерзкую мысль — подчинить человечество взбесившейся банде закоренелых реакционеров, — мир еще не видел...

М. И. Калинин. Из речи на торжественном заседании Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, посвященном годовщине освобождения города от блокады и вручению ордена Ленина.

ЛЕНИНГРАД ПРИНИМАЕТ БОЙ



АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

* * *

Ленинград! Ленинград, наисмелый из смелых,
Величавый, суровый, — кто не знает его!
Вот он, весь заснеженный, стоит под обстрелом,
Не сгибаясь, не дрогнув, не боясь ничего!

Он в дыму орудийном, но взор его ясен,
За войной и работой мы его застаем,
Он в легендах веков несказанно прекрасен
В несказанно великом геройстве своем.

Вкруг него непогода метелит лихая,
Бури небо таранят, вьюги бешеный вскрик.
И когда же он спит, плотно веки смыкая,
Иль немного подремлет, хоть на час, хоть на миг?

Никогда! — Отвечаем для всех поколений:
Так сильна его доблесть и воля крепка,
Вот таким его создал в семнадцатом Ленин,
И таким он проходит в века и в века!

Вечен он. Никакие злодеи не выжгут
То, что здесь Революция строит сама;
Ленин выбрал его, непреклонного, трижды,
И теперь, как тогда, шторм качает дома.

И теперь город в битве, в отважном походе,
Не смыкая орлиных, натуженных глаз,
Он, сметая преграды, вновь в бессмертие входит,
Мы — свидетели этому.

Слава — за нас!

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ЛЕНИНГРАД ПРИНИМАЕТ БОЙ

В белую ночь на 22 июня 1941 года пассажиры маленького экскурсионного парохода подплывали к Выборгу, чтобы провести мирное воскресенье на берегу живописного залива. В четыре часа утра над ними появились самолеты, которые стали бросать в воду длинные черные предметы. Пассажиры думали, что это маневры. Но эти предметы были торпедами, а на крыльях самолеты имели черные кресты.

Тогда на эти самолеты налетели другие, с красными звездами на крыльях, и начался первый воздушный бой. Хладнокровный капитан парохода взволнованно сказал: «А по-моему, это — война!» И грохот первых зенитных залпов открыл мирным советским людям глаза на невиданное предательское нападение на нашу Родину.

Фашисты перешли Двину и бросились к Пскову. Между озером Пейпус и озером Ильмень начались ожесточенные бои. Геббельс плясал перед микрофоном и, захлебываясь от восторга, кричал на весь мир, что «захват Ленинграда является вопросом нескольких дней».

Среди населения захваченных советских районов спешно распространялась подлая газетка, имитирующая шрифт «Правды», и в этой наспех сочиненной газетке писаки из рижских белогвардейцев и прибалтийских немцев печатали вздор о том, что немцы ворвались в Ленинград, что держится только Васильевский остров, что Кронштадт горит, а «Марат» ходит по заливу, не зная, куда деваться...

Первые партизанские отряды послали тогда первые пули оккупантам и ушли в леса. Один партизанский отряд, не имевший радио и получивший в деревне такую грязную газетку с известием о взятии Ленинграда фашистами, собрал экстренное собрание. После долгого обсуждения партизаны, не имевшие связи с другими отрядами, написали краткий протокол этого совещания: «Слушали: сообщение немецкой газетки о взятии немцами Ленинграда. Постановили: считать, что Ленинград не взят и не может быть взят никогда!» Так была велика вера этих мужественных советских людей в силу и мощь Ленинграда. И Ленинград принял бой!

Фашисты шли к нему, заваливая сожженными танками дороги,

теряя тысячи убитых, они шли как одержимые. Им казалось, что их предательское нападение приведет к скорой победе.

И они встретили ленинградских людей. Под Сольцами бойцы Краснова ударили на них прямо в лоб с такой силой, что эсэсовцы бежали, ничего не понимая. Под Лугой они натолкнулись на укрепления, на мины, противотанковые рвы. Они остановились. Начались бои, упорные, длительные, изнуряющие. Это уже не походило на военную прогулку. Горели леса, горели деревни, горели маленькие городки с парками и старыми дворцами.

В бой вышло ленинградское ополчение.

Ленинградские ополченцы лета тысяча девятьсот сорок первого года были люди разные. Один был старый солдат, другой — старый красногвардеец, бивший еще Юденича, третий — восторженный юноша, не знающий, что такое пулемет, четвертый — человек пожилой, но впервые бравший в руки винтовку. Ленинград был их лозунгом. В этом слове заключалось всё: Родина, наша советская жизнь, семья, преданность, долг, ненависть к захватчикам и бандитам.

Балтийские моряки, отказавшиеся от касок, в бескозырках с развевающимися ленточками, суровые пехотинцы, комсомольцы Ижорского завода, артиллеристы геройского артиллерийского полка, расстреливавшие врага прямой наводкой, женщины-добровольцы, девушки-дружинницы, подростки ремесленных училищ, студенты, составившие собственные батальоны, — весь Ленинград вышел на битву.

Одно знали эти люди — партийцы, комсомольцы, непартийные большевики: враг не увидит Ленинграда! Этого не будет!

Город бомбили. Он отвечал канонадой своих фортов. Залпы тысяч орудий рвали боевые порядки врага. Через такой заградительный огонь никто не мог пройти. Укреплений становилось всё больше. Росли минированные поля, противотанковые рвы. Русские в плен не сдавались. Напрасно охрипшим от непрерывного крика голосом кричал Геббельс, что «бои идут на улицах города», напрасно немецкое командование отдавало приказы о наступлении.

Вымотанный немецкий солдат стал окапываться. Тогда забили отбой все его фюреры — маленькие и большие. Гитлер закричал, что он не хотел брать города штурмом. Он возьмет его осадой.

Что же случилось в городе, куда стремились десятки фашистских дивизий? Когда-то о защитниках Севастополя, о русских воинах писал Л. Толстой: «есть чувство... лежащее в глубине души каждого — любовь к Родине».

С этой любовью в душе, вспыхнувшей непобедимым светом и вдруг озарившей обыкновенный мирный быт со всеми его и большими и незначительными, семейными и служебными подробностями, ленинградцы вышли из своих домов, из заводов и фабрик и составили

народ, неразъединимый в дни грозной опасности, составили единую семью, сосредоточенную на самом главном, перед которой даже несчастье, даже смерть близкого значит меньше, чем общее и главное.

Ленинград не был населен титанами. Всё это были простые советские люди — мужчины, женщины, дети. Они увидели бедствия, каких не помнит мир. Даже не во всякой книге прочтешь о том, что запросто видел ленинградец. Пережили — и не смутились духом, не ожесточились сердцем.

Мы все представляли себе героев в одеждах прошлых веков. А вот они герои в пиджаках и гимнастерках, — трудно их представить в лавровых венках, но они их достойны, они их заслужили.

Мы видим, как возмужали юноши, как выросли дети, как помолодели старики. Но мы видим и поседевших от горя мужчин и женщин. Мы видим, скольких с нами уже нет. Всех коснулась война: и старых, и молодых, и совсем юных. И пассажиры того экскурсионного парохода, что плыл по мирным водам Выборгского залива, давно уже стали на боевые посты на том грозном корабле, что зовется Ленинград.

ВИССАРИОН САЯНОВ

ПЕРВЫЕ ДНИ

Записки военного корреспондента

УТРО 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Мы знали, — всё наше поколение выросло с мыслью об этом, — что когда-нибудь настанет утро и мы услышим весть об уже наступившей войне. О такой большой войне, какой не знала еще человеческая история.

И всё-таки неожиданными были первые выстрелы, прогремевшие на наших западных границах в жаркую июньскую ночь.

Целая эпоха нашей жизни закончилась в грозном отблеске тех выстрелов, в пламени первых пограничных пожаров.

Была сразу подведена итоговая черта подо всем, что мы сделали в мирные годы.

Вечером 21 июня пришел ко мне рабочий ленинградского завода Кузнецов. Мы подружились с ним в дни финской войны. Кузнецов был тогда парторгом разведчиков. Боевая дружба возникает быстро, сохраняется на всю жизнь, — незабываема память о пути, пройденном вместе с наступающими частями под разрывами мин и снарядов.

Мы уже не первый раз вспоминали эпизоды боев, перебирали имена товарищей — живых и погибших.

Но мы не знали, конечно, о том, что до новой войны от этого позднего ночного часа не дальше, чем от финской скрытой огневой точки до узкой тропки в снегах...

Ранним утром 22 июня пришла очередная почта. Я получил письмо от одного старого летчика, участника войны 1914—1918 годов. Он давно уже ушел на пенсию и доживал свой век в далеком лесном районе русского Севера.

Он прислал мне альбом фотографических снимков, сделанных его приятелем в 1915 году.

Одна из этих фотографий особенно интересна.

В марте 1915 года с нашего аэродрома поднялся самолет, которому было приказано бомбардировать военные объекты занятого врагом городка Влощов. У русского летчика были две бомбы. Полет протекал исключительно удачно.

На следующий день наши разведчики захватили шпиона, который показал на допросе, что бомбы точно попали в цель.

Враги рассвирепели и приказали своему летчику в ответ сбросить бомбы на одно из прифронтовых селений. Вскоре вражеский самолет показался над маленькой деревушкой. Четыре бомбы сбросил летчик на селение.

Взрывом бомбы была ранена маленькая крестьянская девочка, а в колыбели сгорел грудной ребенок.

Русский летчик, накануне так успешно бомбардировавший Влощов, приехал в деревеньку вскоре после того злодейского нападения. Снимок запечатлел картину сделанных разрушений.

Теперь старый летчик прислал мне эту фотографию. «Может быть, пригодится вам, когда вы будете переиздавать свой роман о воздушных боях 1915 года», — писал он.

Из редакции «Звезды» принесли только что перепечатанную рукопись поэмы о Кульневе.

Почему-то сразу бросились в глаза следующие строки:

Год двенадцатый... Месяц июиь... Неспокойиы
Эти дии... Перемены и смут времеиа...
То, что зиали досель, это малые войиы,
А теперь иаступает большая война.
Враг вступает в Россию... Большим полукругом,
Растяиувшись, выходят его корпуса.
Протяиулась меж Немаиом, Вислою, Бугом
Арьергардиых, тяжелых боев полоса.

И слова Кульнева:

«Я с полком — тут один. Бой тяжел арьергардиый.
До последиего драться, чтоб дать отойти
Главным силам. Ведь близок тот полдень отрадиый,
Когда коичим отход, перережем пути,
И сиачала иабегом, иаездом и поиском
Будем мучить врага, после — выйдем вперед,
И появится мститель пред вражеским войском —
Защищающий Родииу русский иарод...»

Всё это казалось далекой, величественной историей. Я спокойно сидел за столом, правил рукопись. Вдруг затрещал телефон.

— Ты ничего не знаешь еще? — спросил меня товарищ.

— О чем? — удивился я.

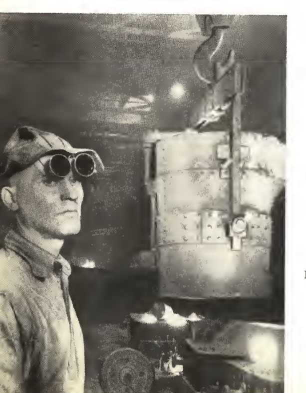
— О войне...

Я включил радиоприемник. Москва передавала военный марш. С грозным ритмом боевых и походных песен ворвался в комнату све-

Ленинградцы строят укрытия.

Героические ленинградки-сандружинницы.

Выше бдительность! Морской патруль проверяет документы.



Больше металла для обороны Ленинграда!

жий ветер истории. В квартире стали собираться друзья. Снова пришел Кузнецов и вместе с ним опытный разведчик Васильев.

— Посоветоваться с вами хочу, — сказал он, — куда лучше идти — проситься в кадровую часть или в партизаны, они наверняка с первых же дней войны появятся. Эх, если бы нам вместе служить...

Я распахнул окно. Синее, без единого облачка небо. На широких ленинградских улицах всё тверже гремит чеканный ритм военного марша. Мужчины в штатском, в аккуратно выутюженных праздничных костюмах, девушки в светлых платьях, подростки в синих спортивных майках, с теннисными ракетками и футбольными мячами в руках... Что-то ждет их теперь? Куда раскидает их суровый ветер войны? Где снова встретятся эти молодые, сильные люди, привыкшие дышать густым, настоенным воздухом наших дней? Кто из них прославится, на чьей груди будет блестеть Золотая Звезда Героя? И кто из этих девушек, сменив модный берет на пилотку и замшевые туфли на грубые сапоги, первой поползет в передовую цепь с санитарной сумкой на широком ремне, чтобы вытащить раненого бойца, оказать ему первую помощь в бою?

В небе рокочут моторы самолетов. Это родные ястребки прикрывают ленинградское небо.

На Неве скользят лодки, мелькнул белый парус, чайки кружатся над мостами. Ветер с балтийского взморья колышет флаг на идущем к Ладоге катере. Два парохода перекликнулись на взморье. Так вся страна перекликается сегодня в этот грозный и величественный час — от Чукотки до Карпатских гор, от края белых ночей до опаленной зноем Кушки.

Из Москвы, из Киева пришли первые телеграммы друзей — уезжают на фронт, шлют слова приветствия и дружбы. Мирные дни кончены. Наступает новая пора.

В полдень приходит повестка из военкомата. Мне предстоит участвовать в войне снова в качестве военного корреспондента. На вечер назначено совещание группы военных писателей в редакции фронтовой газеты.

Русская литература имеет свои богатые военные традиции. «Путешествие в Арзрум» Пушкина — классические записки военного корреспондента, Лев Толстой был участником великих сражений русской армии, о чем свидетельствуют «Севастопольские рассказы». Художники Верещагин и Каразин, писатели Немирович-Данченко и Крестовский оставили блестящие образцы корреспондентской работы на фронте.

Как тяжело сознавать, что некоторых людей, нужных в бою, в эти дни нет уже с нами, что преждевременно, в расцвете сил, умер

Фурманов, что друг наш Матэ Залка — генерал Лукач погиб в Испании в первой схватке с фашистами. Живые возместят эти потери...

Всем нам ясно, что одним из главных ударов гитлеровской армии будет удар на Ленинград.

Что бы ни ждало нас в наступающие дни боев, мы, ленинградцы, до конца разделим свою судьбу с судьбой любимого города.

Вместе с ним мы были в счастливые, мирные дни, вместе с ним будем в суровые дни испытаний.

А сейчас — пора на фронт, на границу, где стоят готовые к бою дивизии славы и чести...

Звонит старый товарищ, просит приехать к нему в часть.

— Обязательно приеду.

И вечером на митинге в полку вслед за друзьями повторяю торжественные слова боевой клятвы. Война началась. Родина готова к отпору врагу, от моря до моря вступает в бой наша родная Красная Армия.

ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ

Мы, ленинградцы, любим наш город. Каждый раз, когда уезжаешь из Ленинграда, с волнением думаешь о новой встрече со своим любимцем. Как трудна долгая разлука с ним!

Есть ли на свете город, о котором было бы написано столько гениальных стихов? Он живет в русской литературе и музыке, в нашей живописи, во всем русском искусстве. Его воспели пушкинские стихи — стихи богатыря мировой культуры!

Я помню осень 1919 года в Петрограде, окопы, которые рыли на окраинах города петроградские рабочие, гудки тревоги на старых заводах, митинги на окраинах — слова, полные лютой ненависти к врагу и любви великой к родному народу.

Сегодня Ленинград снова стал огромной крепостью, как в те давние годы.

Белой ночью автомобиль мчится по набережным и улицам Ленинграда. Сегодня, в третий день войны, мне предстоит увидеть пленных фашистских летчиков. В белые ночи особенно величествен и прекрасен Ленинград. Тихо плещется волна у гранитных ступеней невской набережной. Нет, никогда не удастся врагу вступить на этот гранит! Автомобиль проезжает мимо домов с белыми мраморными плитами. Золотые надписи на плитах я помню наизусть: каждая из них — напоминание о том вкладе, который внес русский народ в мировую культуру.

Орды коричневых варваров хотят с неба разрушить наш город. Но первый же вражеский самолет был сбит на подступах к Ленинграду, а фашистский летчик был вынужден пойти на посадку в одном из ленинградских предместий. Фашист волновался и посадку сделал неудачно. При посадке летчики были ранены. Их задержали, отправили в госпиталь.

Они лежат теперь на больничных койках. Воздушные пираты гитлеровской Германии стыдятся смотреть в глаза советским людям.

— С какого аэродрома вы взлетели, Ганс Тюрмайер, направляясь в Ленинград?

— Мы вылетели на прогулку, но заблудились по дороге — и вот попали сюда, к Ленинграду.

— А о войне вы слышали?

— Нет, о войне мы ничего не знали.

— Почему же вы, заблудившись, попали именно в Ленинград, а не в Хельсинки, скажем?

— Потому что была облачная погода и на море был туман.

— А вы знаете, что было написано в записной книжке вашего радиста Ганса Леммера?

— Не знаю.

— Там было написано: «Nach Leningrad».

— Значит, он знал, куда мы летим, а я не знал...

Ганс Леммер — двадцатидвухлетний радист — меньше всех пострадал при посадке самолета. Черненький, со скорбными темно-карими глазами, он всё время вздыхает и покачивает головой: уж, наверно, не думал он, безнаказанно бомбивший столько европейских столиц, попасться под Ленинградом в самом начале войны.

— Вы откуда родом?

— Из Кельна.

— Почему вы воюете против Советского Союза?

— Не знаю.

— Вы ненавидите русских?

— Я ненавижу англичан.

— Почему же вы воюете против нас?

— Я ничего не знаю. Я только маленький солдат...

— Вы грамотны?

— Я много учился.

— Вы знаете, кто такой Гейне?

— Знаю.

С интересом я жду ответа на этот вопрос и получаю ответ самого неожиданного характера:

— Он был композитор...

— Композитор?

Леммера удивляет мой вопрос, и он просит дать ему карандаш и бумагу. Получив карандаш и бумагу, он рисует ноты.

— Вы знаете, чем кончилась война Наполеона против России?

— Знаю. Я читал «Войну и мир».

— Хорошая книга?

— Хорошая.

— Вы помните, что́ там говорится о поражении Наполеона?

— Помню.

— Что́ именно помните?

— Помню, что русские разбили Наполеона потому, что им помогали немцы.

— В романе об этом ничего не говорится.

— Но мне об этом говорили в школе.

— А вам говорили в школе, что почти половину армии Наполеона составляли немцы?

— Этого я не знаю.

— Что же вы знаете?

— Я только маленький солдат, и я не должен ни о чем рассуждать...

Узенький лобик его морщится, скорбные глаза смотрят тускло.

Что же, пожалуй, бессмысленно продолжать разговор с ним: с детских лет его учили убивать, и ничего другого он не знает, этот воздушный пират, прикидывающийся таким дурачком в плену; а ведь он безжалостно сбрасывал бомбы на мирные города Европы...

ИСТРЕБИТЕЛЬ БЫСТРОВ

В солнечный день мы сидели на аэродроме на траве, расстегнув воротники, и жадно пили воду. Очень уж трудно было дышать в эти часы...

— Наверху прохладней, — сказал кто-то из летчиков.

Все посмотрели вверх.

— Ястребок вернулся, — проговорил моторист, внимательно разглядывая скользящий по небу силуэт самолета.

Завязался разговор о достоинствах нашей истребительной авиации, о первых подвигах летчиков-истребителей.

Герой Советского Союза капитан Ларионов сказал:

— Без суеты надо действовать в воздушном бою. Что бы ни случилось, главное — спокойствие. Когда попадешь в трудное положение, старайся прежде всего разгадать тактику врага. Чтобы он тебя не об-

манул, следи за ним пристально. Чем сложнее обстановка, тем хладнокровнее должен действовать летчик.

Ларионов говорил неторопливо, спокойно, и вся его сильная, кряжистая фигура выражала уверенность и хладнокровие.

— Истребитель сам должен искать боя и стремиться к нему, — заметил старший политрук Быстров. — Да так оно у нас и бывает...

Опытный боец, участвовавший и в войне с белофиннами, старший политрук Быстров — гроза фашистских летчиков.

Умению бороться с врагом он учит собственным примером.

Три самолета, которыми командовал Быстров, получили приказ перехватить два фашистских бомбардировщика.

Зорко вглядывался Быстров в воздушный простор и скоро увидел внизу вражеский бомбардировщик. Он успел выпустить по нему только одну очередь, когда впереди проскользнул второй «юнкерс». Оставив уже атакованный самолет своим боевым друзьям — Карпенко и Кирсанову, Быстров ринулся за вторым «юнкерсом».

Обычно истребителю приходится немало потрудиться, чтобы зайти в хвост вражескому самолету. На этот раз фашист сам облегчил маневр русскому летчику: убегая, он обратил к ястребку свой тыл.

Очередь за очередью всаживал Быстров во вражеский самолет. Фашист нервничал — то пытался отстреливаться, то прекращал стрельбу, Быстров же без устали поливал свинцом удиравшего врага.

Темный дым появился за вражеским самолетом. «Юнкерс» стал уходить на бреющем полете. Внизу показалось лесное озеро. На другом его берегу снова начинались сосновые леса.

Обессилевший немецкий летчик пытался перемахнуть через озеро, но это ему не удалось. Он врезался в деревья. Тотчас же вспыхнуло пламя.

Убедившись в том, что «юнкерс» уничтожен, Быстров повернул на родную советскую землю. В тот же час вернулись на аэродром и самолеты его боевых друзей. Вражеский самолет, атакованный ими, тоже пылал на земле.

МЫ УХОДИМ С ДРЕВНЕЙ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ

Эта деревня — на перекрестке многих дорог, ведущих из древней Новгородской земли в сердце России. Из Гончарского, Загородного, Неревского конца Новгорода Великого уходили в далекие и опасные странствия древние новгородцы, и здесь у смолистых костров были когда-то их привалы... И ветер с Шелони и Мсты, с Пчежны и Тигоды, с Вержи и Веренды так же веял тогда сладкой августовской истомой,

как и в эти утренние часы. А теперь мы покидаем древнюю Новгородскую землю...

Я был в деревне в прошлое воскресенье. Тогда остановились на короткий отдых. Женщины в повязанных над самыми бровями платках подносили нам в самодельных ковшах ключевую холодную воду. Мы весело смеялись, шутили. Старуха лет семидесяти, моложавая, без единого седого волоса, рассказывала о том, как жила в давние годы под Москвой и какие там были тогда хорошие сенокосные угодья. Ее певучий, резкий новгородский говорок, и бедные полевые цветы на пригорке, и крытые почерневшим от времени тесом крыши домов — всё это было свое, родное, до такой степени близкое и дорогое, что и в помысле даже не могло быть тогда, что когда-нибудь на эти полевые просторы вступят танки врага. И вот теперь мы покидаем древнюю Новгородскую землю...

Огромный беловолосый увалень с голубыми глазами, удивленно глядящими вокруг, проходит мимо нас. Его босые сильные ноги легко ступают по мокрой траве. Он, как в песне, ведет неоседланного коня, взяв его просто за гриву. Так и кажется, что это вышел навстречу нам богатырь из древней сказки. Старуха любовно провожает его пристальным, быстрым взглядом.

— Внучек мой,— говорит она. — Семнадцатый год парню. Всё говорит, что воевать хочет, да только поблизости от наших мест...

Знает ли он, что мы покидаем древнюю Новгородскую землю?

Сегодня на рассвете мы проезжали Новгород. Я проехал мимо кремля с закрытыми глазами, притворившись, что сплю: так страшно было видеть разоренье кремля, Софийского собора, старых новгородских церквей...

— Гляди, кремль! — толкнул меня под локоть попутчик.

Я открыл глаза и увидел кремль Новгородский во всей его удивительной красоте. Всё еще было цело за этими стенами. Как сугроб, наметенный ветрами многих столетий, белела на старой площади громада Софийского собора. Как тяжело покидать нам древнюю Новгородскую землю...

Разве можно когда-нибудь простить Гитлеру, что по этой земле, где не смела шагать нога иностранного захватчика, теперь пройдут, грохоча, фашистские танки?

Шофёр, громыхая ведрами, подходит к машине. Еще несколько минут, и мы уедем из этой деревни. Горький дым костров будет стлаться за нами. Зарево пожарища будет пылать на земле, которую на время покинули мы.

Беловолосый, голубоглазый увалень в одну ночь повзрослеет на тридцать лет, возьмет в руки винтовку и уйдет в леса бить врагов. Стой же на страже родной земли, молодой новгородец, праправнук

Василия Буслаева и северных богатырей! Мы уходим сегодня отсюда, со временем мы вернемся сюда. Закон войны суров, но мы знаем: отныне уже никогда и никто во веки веков не посягнет на древнюю Новгородскую землю. Мы та́к проучим ненавистных завоевателей, что никогда уже больше не посмеют они сунуться сюда.

Мы уходим, сжав кулаки, стиснув зубы, с глазами, в которых горит пламя ненависти нашей. Ждите же нас, братья кровные, на родной Новгородской земле. Мы вернемся!

ОДИН ДЕНЬ

Как приобретается военный опыт? Как обстреливается человек? Как привыкает он к тому урагану металла и огня, который несется на него в грозные минуты боя? Как приучается он понимать, что огненный шквал, громыхающий на поле сражения, может пронестись мимо, не тронув хорошо укрытого бойца?

Мы говорили об этом с моим попутчиком, товарищем по финскому походу, — вместе мы хаживали на передний край под Выборгом и с той поры научились понимать друг друга с полуслова.

— Ты знаешь, как было со мной? — говорит подполковник. — В первое утро боя я просто встал и пошел, ни о чем плохом не думая. С той поры и хожу.

Мы едем по шоссе. Небо над нами плывет в разрывах зениток, в голубоватых дымках шрапнели.

Бой приближается. Это чувствуется по всему: по повозкам с ранеными; по кучкам беженцев, с узлами и корзинками бредущих по дороге; по всё усиливающемуся грохоту артиллерийских разрывов; по уже различимому стрекоту пулеметных очередей.

Сейчас фашисты подошли к селению, расположенному в нескольких километрах отсюда. Ходят слухи, что немецкие танки пытаются обойти городок со стороны железной дороги.

Мы подъезжаем к железнодорожному переезду. Дальше уже нельзя ехать на машине. Договариваемся с шофёром, где он будет ждать и что ему делать, если не вернемся, — и только собираемся выйти из машины, как вдруг явственно доносится до нас гул громыхающих гусениц. Прислушиваемся. В ту же минуту боец в новенькой, но мятой шинели подбегает к нам и хватается за дверцу автомобиля. Быстро и неразборчиво он выкрикивает какие-то непонятные слова, и только одну фразу можно различить в этом несвязном лепете:

— Фашистские танки идут...

Он смотрит на подполковника растерянно и тревожно, и в его больших карих глазах застыл страх.

Подполковник выходит из машины и, чувствуя, что этого человека не так-то легко успокоить, тихо говорит:

— Говорите не так громко и разборчивей...

Боец смотрит на подполковника с ужасом и растерянностью. «Черт возьми, — читаю я в его глазах безмолвный укор, — тут такое дело, что, может быть, через минуту в город ворвутся вражеские танки, а этот командир требует официального рапорта!» Он растерянно улыбается, и улыбка у него жалкая, виноватая, и сам он теперь уже не рад, что подбежал к нашей машине, и если бы не острый, хитрый взгляд колючих зеленоватых глаз подполковника, он, пожалуй, попросту удрал бы от нас...

— Фашистские танки идут, — говорит он уже понятней и отчетливей, но всё так же громко, привлекая к нашему разговору внимание столпившихся на переезде людей.

— Вы потише говорите, — строго говорит подполковник.

— Тише? — недоумевает боец, обдергивая свою мятую шинель.

Шум гусениц всё приближается. Снаряды ложатся совсем рядом, у переезда. Падают раненые; убитая лошадь, вскинув ногами, падает на траву, и трава становится рыжеватой от крови.

— Заметил что-нибудь в бою, докладывай немедля начальству. Но не ори во всю глотку, не будоражь людей, — поучает подполковник.

— Да ведь это же фашистские танки идут! — хрипло говорит боец.

— Почему вы думаете, что танки? Бой идет еще далеко, и сюда вражеским танкам никак не пробиться.

Боец смотрит всё еще неуверенно, но из-за переезда показываются три трактора, волокущие за собой несколько прицепов, и причина всего этого необычного шума легко и быстро объясняется.

Бойцу становится теперь стыдно от того, что произошло, — и недавний страх его, и растерянность его, и крик, который он подымал без всякого толка, — всё это для него уже тяжелое, мучительное воспоминание. Он хотел бы уйти сейчас отсюда и, наверно, мысленно ругает себя за то, что подбежал к машине и нарвался на этого, с его точки зрения, чрезмерно требовательного и взыскательного подполковника, но мой спутник неумолим и бесстрастным тоном продолжает расспрашивать перетрусившего бойца:

— Почему вы решили, что это танки идут?

Боец молчит. Тракторы, тяжело громыхая, проходят мимо нас. Боец смотрит на них с опаской, — это еще остаток недавнего живот-

ного страха, смутившего его душу, и с раздражением, — это в нем говорит уже пробудившееся чувство стыда.

«Хоть бы вы меня, товарищ подполковник, обругали», — наверное хочет сказать боец своей виноватой улыбкой.

Но подполковник не из тех людей, которые поучают окриком. В его голосе ни нотки насмешки, издевки, шутки. Он суховато, привередливо говорит простые слова, которые для бойца становятся сразу же обидней, чем самая яростная ругань.

— В армии давно? — спрашивает подполковник.

— Три недели.

— До этого служили в армии?

— Нет.

— Почему?

— Отсрочки получал.

— А на фронт когда прибыли?

— Сегодня с утра.

— А где ваш командир?

— Его час назад ранило, отправили в тыл.

— А кто его заменил?

— Я его заменил.

— Как же вы с такими нервами командуете отделением?

— Я не отделением командую.

— А чем же?

— Мы при противотанковой пушке.

— Хорош, нечего сказать... У самого в руках лучшее оружие, какое можно придумать против танков, а он с перепугу места себе найти не может... Машины задерживает, людей от дела отвлекает...

Подполковник повернулся, подозвал меня.

— Мне можно идти? — спрашивает боец.

— С нами пойдете, — отвечает подполковник.

Боец не знает, зачем его берет с собой подполковник, и начинает смотреть на нас с опаской.

Мы идем по дороге, простреливаемой врагом. Но боец не успевает кланяться снарядам: подполковник то и дело задает ему вопросы, и бойцу приходится всё время вытягиваться и четко отвечать на вопросы командира.

Навстречу идут люди в штатском, чем-то очень взволнованные. Особенно взволнована женщина в синем берете и модных босоножках.

Они подходят к нам, и женщина торопливо говорит:

— Никогда не думала, что это всё на войне так именно бывает.

Она вдруг улыбается широкой, словно виноватой улыбкой:

— Нет, я особенно не испугалась, но вы только подумайте: мы на дачу за вещами едем, и вдруг рядом разрывается снаряд, за ним

второй, и прямо осколок в кабину, к шофёру. Машина еще идет по инерции немного — и прямо в канаву. И тут я отчетливо слышу, как стрекочет пулемет, — и в канаву, а машина перевернулась, — я, может быть, путаю, но, вы знаете, немного всё-таки и я волновалась. А теперь знаете что? Теперь мне даже весело, что вот я обстреляна уже и знаю, что́ это такое.

Боец, шагающий рядом со мной, смотрит на нее с некоторым недоумением.

— Вот наше противотанковое оружие, — говорит он, показывая на замаскированную в кустах пушку.

— Замаскировали неплохо, — вздохнув, говорит подполковник. — А позицию выбрали неудачно.

Он подводит бойца к опушке леса, показывает, где нужно установить пушку, как замаскировать, когда следует открывать огонь, если появятся вражеские танки, и напоследок говорит:

— И что́ бы ни было — с места не отходить, не отступать ни на шаг, пока у вас остается хоть один снаряд. Понятно?

— Понятно, — тихо отвечает боец.

— На обратном пути заедем сюда, проверим, как вы себя ведете.

Мы уходим вперед, в деревню, за которой идет бой.

Навстречу нам мчится могучий танк. Командир танка остановил боевую машину. Спрыгнул на землю, подошел к нам, откозырял с молодцеватой лихостью бывалого солдата. На груди его орден Красного Знамени за участие в недавней войне с белофиннами. В молодых светлых глазах — задор и усмешка. Он только что из боя, где расстрелял несколько десятков врагов и подбил два фашистских танка. Он едет за снарядами — и снова в бой. Танк уходит, гремя по дороге.

Ветки берез и зеленые иглы сосновых ветвей на его башне пропадают в синеватой дымке.

В тот день нам многое пришлось увидеть с подполковником, и мы позабыли о бойце, встретившемся нам у переезда.

Ночью мы возвращались к автомобилю.

Бой затих. Ракеты сверкали яркими огнями то справа, то слева, словно фашисты устраивали в ту ночь иллюминацию. На передний край нашей обороны шли подкрепления. Громыхали машины, лошади тянули по дороге орудия.

Снова начался сильный артиллерийский обстрел. Как только стали рваться рядом снаряды, подполковник вспомнил о бойце, командовавшем противотанковой пушкой:

— Надо проверить, на месте ли он и не пускает ли еще дрозда со страху.

Шофёр заводил машину, а мы пошли к опушке леса, где была выставлена пушка.

— Кто идет? — окрикнул нас голос из темноты.

Молоденький сухопарый боец в большой, не по росту, шинели проверил наши документы и сказал, что противотанковая пушка стоит на том же самом месте, где ее поставил днем какой-то начальник.

Мы подошли к пушке.

Миллионы огненных брызг рассыпались над опушкой леса, снаряды рвались непрерывно, один за другим.

У пушки сидел человек. Подполковник осветил его на минуту светом карманного фонарика. Это был тот самый боец, который днем кричал нам о подходе вражеских танков. Теперь он спокойно сидел на траве, поджав под себя калачиком ноги, и с большим старанием выковыривал из жестяной банки остатки рыбных консервов. Он узнал нас, поднялся и спокойно сказал:

— Всё в порядке, товарищ подполковник.

Подполковник не удержался и еще раз осветил его лицо.

Тот боец, которого мы видели сейчас, уже мало походил на растерянного, мечущегося по полю боя человека. Это был человек спокойный, уверенный в себе и, может быть, только недовольный тем, что мы его отвлекли от такого хорошего дела, как поздний ужин.

— Ну что? — спросил подполковник. — Фашистские танки еще не идут?

— Нет еще.

— Значит, напрасно вы давеча так нервничали?

— Нет, не напрасно, товарищ подполковник, — ответил он спокойным и густым голосом. Фонарик испортился, лица солдата мы не видели в темноте и очень жалели об этом.

— Непонятно.

— Ведь если бы я сразу не испугался, я бы от вас хорошего урока не получил. А теперь, поверите ли, обстрелялся за день. Раньше мне казалось, будто каждая пуля и каждый снаряд именно в меня летят, и я понять со страху не мог, куда мне от всего этого грохота деваться. А теперь ничего — понял, что если каждому снаряду будешь кланяться, как нищий каждому прохожему, — голову на плечах долго не удержишь: отвалится...

Он снова уселся на свое облюбованное место и спокойно продолжал ужинать под разрывами снарядов...

— Занятный человек, — весело сказал подполковник. — Знаешь, что больше всего меня радует в эти дни? То, как быстро обстреливаются наши люди. Интересно, доведется ли нам когда-нибудь еще с ним повстречаться?

И. АЙЗЕНШТОК,
А. БАРТЭН

ОПОЛЧЕНЦЫ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

...Над Ленинградом сияет утреннее солнце. Недолгая дымка белой ночи осталась позади, и город снова во всей своей ясной, бессмертной красе. Шпиль Адмиралтейства вонзается в безоблачное небо, солнечные блики играют на невской волне, подгоняемой ветром с залива, а над волнами от одного гранитного берега к другому простираются мосты; прямолинейные проспекты пересекают город до самых далеких окраин, — впрочем, они уже не окраины, а обширные районы нового Ленинграда!

Напротив Летнего сада, в здании, увенчанном старинной широкой колоннадой, открыт один из сборных пунктов ленинградского Народного ополчения.

Старые липы смотрят в почти зеркальную гладь канала. У старинной решетки еще подолгу стоят влюбленные пары... Правда, в этот день уже не столько встречаются, сколько прощаются. Непрерывной вереницей идут сюда ленинградцы и подходят к столу регистрации.

— Ваша фамилия? Имя-отчество? Гражданская профессия?

Сюда приходят инженеры и бухгалтеры, юристы и работники жилищного хозяйства, артисты и студенты, конструкторы и журналисты, рабочие, служащие, — люди разного возраста и разных профессий.

— Какая у вас военная подготовка?

Лишь очень немногие проходили прежде службу в рядах Красной Армии.

В этот же день приступил к своей работе штаб полка во главе с командиром майором Семибратовым и комиссаром Соколовым.

Время! Никогда еще не было оно таким драгоценным. День позади. Июльская ночь коротка. Снова день занимается... А сколько еще надо сделать!

Необходимо ознакомиться с людьми, подобрать кадры средних и младших командиров, сколотить подразделения. Надо принять на

учет коммунистов и комсомольцев, оформить партийные и комсомольские организации, выделить политсостав. Надо вооружить и обмундировать людей и немедленно начать строевые занятия...

Командир и комиссар полка вовсе забыли о сне. Забыл о нем и весь командный, весь политический состав. Непрерывно подвозится вооружение. Круглые сутки работают каптенармусы. Идут инструктивные совещания, выходят первые боевые листки: «Боец! Скоро ты примешь присягу!»

Там, за окнами, пламенеет июль. Там жизнь, кажется, идет обычным, неизменным своим чередом: проезжают автобусы, женщины направляются с «авоськами» в магазины, дети резвятся на аллеях сада... Но здесь, в казарме 3-го полка 1-й дивизии Народного ополчения, — здесь всё уже подчинено задачам войны и победе в этой войне.

Командир, оглядывая с каждым днем всё более четкую линию строя, начинает так:

— Товарищи бойцы!..

А затем строевые занятия. Ополченец покидает ворота казармы, марширует, учится сдваивать ряды, равняться на грудь четвертого... Он занимается по многу часов. Строевые занятия сменяет разборка оружия, стрелковое дело. И снова строевые занятия. И пот заливает глаза, и гимнастерка прилипает к спине, и вдруг откуда-то возникает малодушная мысль: «Получится ли толк? Может быть, я принес бы больше пользы на нестроевой работе?»

К таким обращаются, глядя прямо в глаза:

— Трудно?

— Да. Но дело не в этом... Мне лишь подумалось...

— Верно, дело трудное, — соглашается взводный. — Но без этого на войне никак нельзя. Победа — она уж такая. Никак без этого не приходит!

И снова знакомство с различными видами оружия, изучение уставов и наставлений, первые навыки поведения в бою.

Первые навыки! Сколько за этим кроется!.. Учись, как примкнуть к винтовке штык. Как разобрать и прочистить затвор. Как сделать точный поворот через левое плечо. Как скатать шинель. Громко повторить приказание командира...

День пришел, и 1-я дивизия выступила на фронт. И никогда не забудут бойцы, как провожал их город.

Теснились вдоль тротуаров незнакомые, в этот час ставшие родными и близкими люди. На коротких привалах женщины спешили с холодной водой. Дарили цветы, папиросы. Шли рядом с шеренгой, ласково говорили: «Возвращайся, товарищ, скорей! С победой!»

На товарной станции началась погрузка. Мощные тягачи, тяжко

урча, подымали на платформы орудия. Сумерки. Желтая луна над окраинными крышами. И песня:

Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой...

И кто-то торопливо пишет письмо, самое первое, чтобы успеть бросить в ящик на перроне...

«Моя дорогая! Моя любимая! Эшелон отбывает через несколько минут. Я не хотел предупреждать тебя раньше, чтобы не волновалась, не расстраивалась. Я и сейчас прошу тебя об одном: будь спокойна, спокойна и тверда. Ни на минуту ты не должна забывать, что я и мои товарищи — мы жизни не пожалеем...»

Всё выше луна в прозрачном небе. Сумерки лишь чуть затушевали привокзальные здания.

Безоблачное небо июльской белой ночи. Но песня звучит, и сдвигаются брови:

Тучи над городом встали...

И вот уже стукнули, звякнули вагоны...

Первый эшелон ленинградского Народного ополчения отбыл на фронт.

ЗЕМЛЯ И РОМАНТИКА

Комроты Беккер, так же как и остальные командиры, почти не знал спокойного сна. И даже тогда, когда, казалось бы, не было срочных дел.

Поднявшись с казарменной койки, комроты выглядывал за дверь. Мерные шаги дневальных, мерные удары метронома, точно отдыхающего от воздушной тревоги. Если же посмотреть за окно, — светлеющее небо, испещренное аэростатами воздушного заграждения...

Беккер думал о людях своей роты, о тех, кого вскоре должен будет повести в бой. И особенно часто при этом мысли его останавливались на втором взводе: почти целиком он был сформирован из студентов Театрального института.

Впервые встретившись с этой непосредственной, восторженной молодежью, Беккер коротко рассказал ей о себе:

— В прошлом мне пришлось служить в железнодорожных войсках. Начал помкомвзвода, кончил командиром батальона. Гражданская специальность — инженер-электрик. За несколько дней до начала войны получил диплом музыкального училища.

— Музыкального? — поразилась молодежь.

— Да, я занимался на композиторском отделении.

Беккеру вспомнился рояль, у которого еще так недавно проводил целые дни. И нотная бумага. И сочиненный квартет... Он был включен в программу отчетного концерта училища...

— Это только так, товарищи. В порядке справки. А думать нужно о другом!

Вот он и думал, неотступно думал — как покажут себя на фронте молодые бойцы. Порывистые они, мечтают о том, чтобы скорее окончилась казарменная пора, чтобы скорее пришло время подвигов, бесстрашной военной романтики... Но разве на фронте можно обойтись без прозы, — трудной и будничной солдатской прозы?

...Эшелон выгрузился на станции Батецкой. Начался долгий марш. Он продолжался до позднего вечера. Жара, клубы пыли, за плечами полная выкладка. А тут еще начались потертости ног. «Ох, скорее бы добраться, навзничь упасть, растянуться!»

Но чуть пришли на привал, комроты приказал:

— Окапываться!

За лопаты взялись неохотно, ворчали:

— Это еще зачем? Противника не видно, не слышно, а вокруг добротные сельские постройки.

Беккер заметил эти настроения, но он уже был не один. Предварительное изучение людей принесло большую пользу: он мог, как командир, опереться на крепкое ядро и на примере этого ядра обучать остальных.

На следующем привале снова команда:

— Окапываться!

Комроты сам проверял готовность каждого бойца, настойчиво обучал искусству тщательной маскировки, умению выгодно использовать малейшую складку земли.

— Знаю, некоторые из вас думают про себя: «И к чему это всё?» А я одно отвечу: надо, чтобы сжились с землей, взяли ее себе в помощницы. Тогда и в атаку подняться будет легче!

Первое же столкновение с противником подтвердило справедливость этих слов. Несмотря на сильный и внезапный огонь врага, бойцы не только сохранили присутствие духа, не только не понесли потерь, но и сами ответили ощутимым ударом.

Фронтовая жизнь заставила по-новому оценить понятие истинной романтики.

Повод для этого дал Андреев — самый тихий, неприметный во взводе. Где уж ждать от такого задора или лихости!.. Но вот отправился Андреев в боевое охранение и столкнулся внезапно с вражескими разведчиками. Заметив рослого фельдфебеля, Андреев убил его наповал метким выстрелом в лоб. В захваченной полевой сумке обнаружены были важные оперативные документы.

Как же это так получается? Выходит, романтика дружит не только с лихими?

А вот Жабыко, — командир отделения, старый солдат, воевавший еще в первую мировую, — тот преподал молодым бойцам другой урок.

Он тоже отправился однажды со своими бойцами в боевое охранение. Тихо подобравшись, гитлеровцы окружили их со всех сторон. На стороне врагов был явный численный перевес, к тому же они не сомневались, что вызовут панику пулеметным и автоматическим огнем, дикими криками: «Русс, сдавайся!..» Не сомневались, да просчитались!

Быстро и хладнокровно оценив обстановку, Жабыко организовал круговую оборону, встретил врага прицельным огнем. Откатились гитлеровцы, кинули не только пулемет и автоматы, но даже каски.

Выходит, романтика способна дружить с хладнокровным расчетом!

И снова комроты Беккер без устали повторял:

— День в боевой обстановке равен месяцу теоретической учебы. Смотрите, чтобы ни один день не пропадал даром!

Когда же противник попробовал предпринять на этом участке наступление, молодые бойцы приняли на себя основной удар.

Противник вызвал авиацию. Она не смогла поразить оборону, надежно зарывшуюся в землю. Дважды раненный командир взвода Свистанюк покинул поле боя лишь после категорического приказа. Но, уходя, обернулся и посулил врагу: «Еще попробуешь нашего кулака!» Ходы сообщения были засыпаны, вся местность простреливалась, но боец Давыдов, презирая опасность, несколько раз доставлял диски для ручного пулемета: «Сейчас мы его угостим!»

И угощали. И забрасывали гранатами. И восстанавливали связь. И крепко держались за землю... Враг не прошел.

...После, когда позади остался этот бой, комроты Беккер смог вспомнить на миг о своей далекой ленинградской комнате. Стоит в ней рояль с опущенной крышкой, свернут в тугую трубку так и не прозвучавший квартет...

Впрочем сейчас, вспоминая недавний бой, Беккер отчетливо, громко услыхал свой квартет. Громко, потому что музыка всегда сродни тому, кто одержал победу!

ПРОВЕРКА БОЕМ

Среди военных терминов это выражение следовало бы признать таким же законным, как, скажем, «разведка боем».

Проверка боем!.. Это самый решающий экзамен. Это боевое кре-

Бойцы первой комсомольской роты — студенты Энерготехникума.



Война не щадит детей.



В дом попала бомба.

В осажденный город пришла зима.

щение. Это зрелость бойца. Это тот переломный момент в жизни бойца, когда наступает бесповоротная уверенность в навыках, уменье... Она может быть долгой, очень долгой, многочасовой, эта проверка боем, а в памяти сохранится как немногие, стремительнейшие минуты. Но они не забудутся никогда!

...Бойцы во главе с политруком Григорьянцем прошли такую проверку, встретив колонну фашистских солдат, уверенно, вернее — нагло, двигавшуюся по дороге.

Численностью колонна достигала батальона. Впереди вооруженный мотоцикл, за ним, между двумя машинами, противотанковая пушка. Остановить и разметать эту колонну должны были шестьдесят пять бойцов, шестьдесят пять ленинградцев.

Передали приказ по цепи: до последнего мгновения не выдавать себя, подпустить врага на самую близкую дистанцию.

Подвел один из бойцов: дал преждевременный выстрел. Фашисты, тотчас развернувшись, выкатили пушку вперед. И началось! Пулеметные очереди, трассирующие пули, пушечный выстрел...

Один только выстрел успела произвести немецкая пушка: расчет вывели из строя. Политрук Григорьянц снял двух фашистов, засевших в кабине одной из машин. Вспыхнул сеновал, на котором фашисты установили станковый пулемет (тут уж постарались наши минометчики!). Нет, шестьдесят пять штыков не всегда слабее батальона!

Новый приказ по цепи — в атаку! Бросок на сто метров. Сто метров по открытой местности... Но это была проверка боем, и ее проходили люди, давшие слово — жизни не пожалеть.

Политрук оглянулся. С ним рядом лежал боец Громов. И, как это бывает в напряженнейшие моменты, Григорьянцу вдруг вспомнилось: обходя однажды линию обороны, застал он Громова спящим на посту. Вспомнились и другие, более мелкие провинности. Как сейчас, в момент атаки, поведет себя боец?

Тотчас затем вскочив, Григорьянц услыхал призывный возглас Громова:

— Вперед! За политруком! Вперед!

Атака. Бросок — и стремительный, яростный удар. И разрывы гранат. И короткие, насмерть разящие взмахи штыка.

Тут подоспела полковая школа. Внезапно для противника ударила с правого фланга. Фашисты дрогнули, повернули вспять, их преследовали по пятам. Отступление фашистов сделалось паническим. Именно в это время, завладев противотанковой пушкой, политрук пулеметного взвода Таранов и боец Исаков стали бить вдогонку врагу...

Здесь же, на поле боя (много осталось на нем трупов в зеленых имперских шинелях!), политрук Григорьянц написал донесение: «Препровождаю захваченные документы. Трофеи уточняются».

Сложил, запечатал донесение и подумал: «Разве только о трофеях следовало бы поставить командование в известность?»

Нет, о многом другом хотелось еще написать политруку. О том, как сдан, и сдан на «отлично», первый боевой экзамен. О том, как люди — вчера еще мирные, сугубо гражданские — стали хорошими воинами.

Но для такого пространного донесения времени не оставалось. Понеся урон на одном участке, враг оголтело рвался взять реванш на других.

Именно поэтому бойцы, только что нанесшие гитлеровцам тяжкий удар, оказались вскоре в невыгодном положении: враг, мстя за свое поражение, пытался отрезать им путь на соединение со своей частью.

Теперь число штыков возросло до ста двадцати. Что делать? Кто-то предложил: «Разобьемся на мелкие группы. Так будет легче». Но большинство отвергло этот план: «Были и останемся единым подразделением!»

Поклялись в целости донести свои партийные документы. Проверили оружие. Вышли в поход.

Идти пришлось заболоченной, вязкой местностью. Временами болото грозило засосать людей. И на каждом шагу — опасность засад, нападений, нового боя... Шли в ночной темноте, настороженно держась друг за друга. Переходы становились всё более сложными, многие до крови сбили ноги. Сто двадцать первой шла сандружинница Тамара Баклыкова. Она заболела, сама шла с трудом. Но на привалах, отказываясь от отдыха, заставляла бойцов разуваться, осматривала и перевязывала израненные ноги... Дальше шли. Сто двадцать один боец.

А вечера в то жаркое лето были тихими, благоухающими, и воздух был удивительно чистым, и каждый звук разносился далеко-далеко. Вдруг услыхали неподалеку гортанные крики немецких солдат. Затем, выше деревьев, взметнулся огонь, полнеба окрасилось заревом. Это фашисты жгли непокорную деревню... До чего же мучительно было бойцам молча смотреть на это, не выдать себя, не кинуться на врага. Только сжались судорожно пальцы, державшие оружие.

Политруку хотелось написать, как по лесному бездорожью — смертельно усталые и вместе с тем не знающие устали — всё дальше, на соединение со своими, движутся бойцы. И не первые сутки делят на двоих один сухарь. Кончится последний сухарь — всё равно дальше пойдут.

В предрассветном молочном и зыбком тумане едва рисовались фигуры бойцов. Но политрук знал каждого, кто шагает следом за ним... Вот идут они цепью — управхоз Ерошин, машиностроитель Мо-

розов, речник Андреев, артист Театра юных зрителей Пушкин, кандидат исторических наук Мильштейн...

Они пришли. Соединились со своими.

А вскоре полк занял оборону на новом рубеже, и бойцы — недавно прошедшие проверку боем — снова стали наносить врагу разящие удары.

Так должно быть. Иначе быть не может. Прошедшие проверку боем — сильны и несгибаемы.

ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ

Впервые мы встретились с Рышаковым во время марша в районе станции Батецкой.

В кратких словах, не замедляя шага, Рышаков рассказал о себе:

— Политрук я совсем молодой. Всего две недели назад работал директором крупного ателье. Как знать, — возможно, и вас обшивал. Мои закройщики на весь район славились!.. Что еще рассказать о себе? Член партии. Военной службы проходить не проходил. А вот сейчас осваиваюсь с новым делом: назначили политруком пулеметного взвода!

Это был тот самый марш, который продолжался с полудня до позднего вечера. Особенно трудны были дневные, прокаленные солнцем часы. Шагают бойцы, а вблизи дороги протекает река. Вот бы остановиться, окунуться хоть разок. Но сигнала на привал не слышно. И они идут дальше...

Рышаков всё время со своими бойцами. Он не только ласковым словом ободряет уставших: у одного берет винтовку — несет сразу две, у другого отбирает скатку, передает более выносливому.

«Воздух!» Рассыпавшись по обе стороны дороги, укрывшись в высокой ржи, бойцы наблюдают, как, ныряя в облака, крадутся к Ленинграду фашистские самолеты. Эти минуты невольно становятся для бойцов коротким отдыхом. Но Рышаков и тут не позволяет себе передышки. Ползком перебираясь от бойца к бойцу, он придирчиво проверяет оружие.

Вторично мы встретились с Рышаковым, когда добровольческий полк занял боевой рубеж, окопался, замаскировал позиции.

Немногие дни отделяли полк от сближения с противником. Каждую свободную минуту командиры старались посвятить боевой подготовке. Так и Рышаков... Нахмурившись (сколько трудных, непривычных схем и формул!), читал он книгу об автоматическом оружии, купленную еще в Ленинграде, в Доме книги.

При виде нас политрук поднялся. Землянка была тесноватой, и

крупная, коренастая его фигура лишний раз подчеркивала ограниченность этого скромного жилища под несколькими накатами.

За эти дни Рышаков изменился в чем-то. Но в чем? Появилась собранность, подтянутость, которой, естественно, недоставало директору ателье.

— Чем вы сейчас занимаетесь? — спросили мы.

— Сразу не расскажешь, — развел руками Рышаков. — Работа политрука — это ведь особое дело. Заменять или дублировать командира мне незачем, но я должен всегда быть рядом с ним, при малейшей надобности прийти ему на помощь.

Рышаков сказал, что продолжает изучать своих бойцов, особенности характера, сильные и слабые стороны каждого, обстоятельства довоенной жизни. Помогает редакторам боевых листков, агитаторам. Сам проводит беседы и политинформации.

Покинув землянку, мы расположились в окопе. И снова подымалась луна — такая же, как и тогда, когда эшелон готовился к отправке со станции Ленинград-Товарная...

Рышаков рассказывал об одном из своих бойцов:

— Вот вы — журналисты, литераторы. Вам особенно интересно. Имеется у нас боец Головин. Очень способный насчет стихов. И не только про эту самую луну. Такие пишет стихи о патриотизме, что наших людей за живое берет... И выразил недавно желание вступить в партию. Я первый согласился дать ему рекомендацию.

Прощаясь, Рышаков обещал, что при следующей встрече непременно познакомит нас со стихами своего взводного поэта.

Но следующая встреча (она произошла под деревней Уномер) никак не располагала к поэтическому творчеству. Это был один из дней яростного вражеского натиска. И не было на этот раз на лице Рышакова даже намека на добрую, мягкую улыбку.

Пулеметчики, прикрывая перегруппировку наших частей, сдерживали нарастающий вражеский натиск. Рышакова ранило осколком мины. Он не покинул строя. Он оставался в боевом строю до той последней минуты, когда лишился сознания от потери крови. Его отправили в госпиталь.

Ну, а четвертая встреча... Собственно, она еще не состоялась. Но нам довелось стать свидетелями того, как обрадовались пулеметчики, получив короткое письмо из госпиталя: «Поправляюсь. Скоро вернусь». Письмо было коротким, но его поля до отказа заполняли всяческие приписки: что нового во взводе, в роте, как живут такие-то и такие-то бойцы, как дальше растут пулеметчики, какие новые стихи написал Головин?..

Долго размышляли, как ответить на все эти вопросы. И, наконец, послали ответ всего из четырех слов:

«Крепко ждем. Скорей возвращайся».

— Уж тогда, в первый же вечер, на досуге обо всем расскажем! — пояснил один из бойцов, со вкусом запечатывая письмо.

...А ведь хорошо, когда тебя так ждут!

ГЛАЗА И УШИ КОМАНДИРА

Так называют иногда разведку. Справедливо называют. Как бы хорошо ни был расположен наблюдательный пункт, в современных боевых условиях он не может обеспечить командира всеми необходимыми данными о противнике. И тогда...

...Григорий Беспалов пришел в Народное ополчение, уже имея за плечами армейский опыт.

— Дальневосточник! — с почтением отзывались о нем товарищи. — Не где-нибудь, — в боях на озере Хасан участвовал!

Сам Беспалов разговорчивостью не отличался, но в собранной, гибкой его фигуре, в экономных и расчетливых движениях, в остром взгляде чуть раскосых глаз, — в этом всем сразу угадывался смелый и сметливый боец. Впрочем, вскоре, говоря о Беспалове, это слово — «боец» — применять перестали. Теперь всё чаще говорили:

— Разведчик! Первый во всем полку разведчик!

...Профессия разведчика — на войне одна из труднейших. Чтобы ею сполна овладеть, требуются и выносливость, и наблюдательность, и бесстрашие, и ловкость, и умение в секунды принять верное решение, способность выйти победителем из самого трудного положения.

Командир полка майор Семибратов с первых же дней прибытия на фронт особое внимание уделял разведке, подбору разведчиков. Среди них Григорий Беспалов по праву занял первое место.

Чем особым отличался его «почерк»?

Беспалов был ярым противником «мирных» разведок. И не любил ограничиваться одним лишь наблюдением. И не только не уклонялся от встреч с врагом, но, напротив, сам искал такой встречи.

— Ты только пойми, — объяснял он молодым своим товарищам. — Предположим, пробрался ты во вражеское логово. Предположим, собрал данные. Это, конечно, хорошо. А разве еще лучше не будет, если эти данные лишний раз проверишь?

— Но как же сделать это?

— Очень даже просто. Инициативу надо проявить!

И Беспалов опять уходил за линию фронта, опять углублялся во вражеский тыл, и опять... «проявлял инициативу».

Не изменил он этому правилу и тогда, когда получил задачу:

выяснить обстановку на железнодорожном разъезде, захваченном врагами.

С некоторого времени в районе этого разъезда было зафиксировано особое оживление. По многу раз за день доносились приглушенные гудки паровозов, стук буферов и вагонов. Тогда же наблюдение установило, что по направлению к разъезду движутся платформы с тщательно закрытым грузом... Необходимо было в срочном порядке произвести разведку, выяснить, что́ замышляет противник.

...Природа Ленинградской области ничем не напоминает дальневосточную. Тут нет тайги — часто непроходимой, с буреломами, завалами. Нет сопок, оголенные вершины которых причудливо окрашены мшистыми пятнами. Нет огромных, в два-три обхвата, древесных стволов, всего того буйного избытка сил, который на каждом шагу показывает природа. Нет и хищного, коварного зверя...

Но Григорий Беспалов (он возглавлял небольшую группу разведчиков) думал иначе. Что с того, что лесистая местность вокруг ни в какое сравнение не может идти с тайгой. Не в этом дело. Тайга далеко, но здешний зверь, проклятый фашист, — самый хищный... Вот почему, продвигаясь вперед, Беспалов вслушивался в малейший шорох, придерживался едва заметных, ему одному известных тропок...

Достигнув разъезда, выяснили: враг намерен накрепко обосноваться в этом районе. Об этом можно было судить по штабелям бревен и досок, бочек и мешков с цементом. На путях, под выгрузкой, стоял тяжелый товарный состав...

«Так-так! Понятно! — подумал Беспалов. — Намеревается враг приступить к долговременным укреплениям!.. А вот где они будут расположены? Было бы хорошо это узнать!»

Коротко переговорил со своими товарищами, каждому из них дал определенное задание и, улучив подходящий момент, пересек железнодорожное полотно. Еще несколько десятков шагов — и он залег на краю шоссе.

Здесь было тихо. Прошло больше часа, но ни одной машины на шоссе не показалось. Стало темнеть. Есть ли смысл ждать дальше?.. Но в том-то и дело, что разведчик должен быть не только храбрым и выносливым, — он должен отличаться выдержкой и терпением... Беспалов не тронулся с места. Он ждал, долго еще ждал, и дождался.

Издалека донесся шум мотора. Затем показалась машина. Немного не доехав до того места, где лежал притаившись Беспалов, машина остановилась. Из кабины вышли два офицера; при свете электрического фонарика они стали разглядывать карту...

Именно в это мгновение Беспалов вскочил и метнул гранату. За ней — вторую. Два взрыва сотрясли ночную тишину.

Открыв беспорядочную стрельбу, истошно крича, фашистские сол-

даты в темноте сбегались к месту взрыва. Пронзительно засвистел паровоз. Открыли стрельбу и на самом разъезде... Беспалов (товарищи прикрыли его отход) был уже далеко. Он возвращался с хорошими трофеями: при осмотре полевых офицерских сумок были обнаружены карты с разметкой тех укреплений, которые фашисты собирались здесь возвести.

Это лишь один эпизод из жизни разведчика Беспалова. Таких эпизодов было много. И каждая операция — наглядный урок для молодых разведчиков. Недаром они с гордостью стали именовать себя «беспаловцами».

Разными бойцами пополнялась полковая разведка. Разные бойцы по-разному в нее приходили.

Вот, например, Корелов. Дурная распространилась о нем молва: задира, грубиян, бесшабашный парень. Пробовали перевести из одного подразделения в другое, но большого толка из этого не получилось. Какие же меры еще принять?

Тогда-то комиссар полка и подумал: «А что если Корелова испытать в разведке? Быть может, лихость его именно там найдет себе правильное применение».

Так и оказалось. Корелов стал лучшим учеником Беспалова, таким же дерзким и бесстрашным, неизменно обнаруживающим смелую инициативу.

Хорошо проявил себя и боец Пахомов. Трудно было даже представить себе, что какой-нибудь месяц назад этот скромный человек трудился в прохладной тиши залов Государственного Эрмитажа. Пахомов и сейчас охотно рассказывал об увлекательной и тонкой работе художника-реставратора, возвращающего к жизни полотна прославленных мастеров...

— Художник! — любовно говорили о нем разведчики.

В это слово вкладывали они особый смысл: в новой, военной своей профессии Пахомов добился такого же тонкого и точного мастерства.

А вот Якулов. Этот боец еще недавно служил в пулеметной роте. В последнем бою осколок шрапнели ударил в якуловский пулемет, оторвал сошки и хомут. Якулов не растерялся. Наметанным глазом он сразу определил: механизм в исправности, при некоторой сноровке можно продолжать огонь. Удлинив лямку, перекинул ее через плечо, взял на руки пулемет и снова открыл огонь... Как же не принять такого в семью разведчиков!

В этой дружной семье — свои удачи и радости, свои горести и утраты. Трудна и опасна дорога разведчика. На каждом шагу подстерегает его враг...

Смертью храбрых погиб прославленный разведчик Беспалов. По-

гиб и Корелов... Но бойцы, прошедшие «беспаловскую» школу, снова и снова идут в разведку, ведут за собой молодых, им передают свой неоценимый опыт и боевые традиции.

* * *

Как не вспомнить жаркие июльские дни, когда ополченцы — вчера еще мирные люди — готовились встретить врага, дать ему отпор.

Они не умели обращаться с оружием — они научились им владеть. Они не знали военного дела — они прошли проверку боем. Они не решались назвать себя даже скромным словом «ополченец» — они через несколько месяцев стали бойцами регулярной Красной Армии. Они были неутомимы и упорны, зная, что за их плечами героический Ленинград и вся Советская Родина!

АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ[1]

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПОХОДА

Когда мы подвели итог тоннажу
Потопленных за месяц кораблей,
Когда, пройдя три линии барражей,
Гектары минно-боновых полей,

Мы всплыли, — показалось странно
Так близко снова видеть светлый мир,
Костер зари над берегом туманным,
Идущий в гавань портовой буксир.

А лодка шла, последний створ минуя,
Поход окончен, и фарватер чист.
И в этот миг гармонику губную
Поднес к сухим губам своим радист.

И пели звонко голоса металла
О том, чем каждый счастлив был и горд:
Мелодию «Интернационала»
Играл радист. Так мы входили в порт.

---

[1] Погиб в 1941 году в боях за Ленинград.

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

ВСЕМ СЕРДЦЕМ

День был так загружен впечатлениями, разговорами, прощаниями, напряженным ожиданием последних известий у медлительного радиоприемника, что Татьяна Петровна, добравшись до постели, никак не могла уснуть... Всё сразу так завертелось,— сорвался с места и торопливо ушел в свою часть средний сын, забежал проститься зять перед уходом на фронт, вызвали на завод мужа, и он, не дождавшись обеда, сказал: «Ты не жди... мастер второй смены — молодой, наверно за него останусь...» Маруся, жена геройски погибшего на Карельском перешейке старшего сына, пошла на товарную станцию узнать, не надо ли ей заменить кого-либо из сослуживцев-мужчин, и не вернулась. А Алешка, внук, сказал многозначительно: «Да уж, дома на печке никого не удержишь...»

Татьяна Петровна всех собирала в дорогу, всех проводила без слез, накормила обедом внука в опустевшей столовой, слушала с ним радио, обсудила с ним по-деловому все события, — и вот теперь, ночью, невысказанные материнские просьбы и советы рвались с языка, но сказать их уже некому...

Сон был внезапен и глубок. Разом отодвинулось всё, большое и малое. В глухом покое отдыхали тело и мозг. Потом в этот глухой покой врезался звук человеческого голоса. Татьяна Петровна накрылась одеялом, сопротивляясь пробуждению. Но голос настойчиво пробивался к сознанию.

Татьяна Петровна села в постели, не понимая, что́ ее разбудило, и громкий, спокойный голос из-за стены повторил, как будто для нее: «Внимание! Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога!»

В тишину белесой ленинградской ночи ворвался стремительный вой сирен.

Сердце Татьяны Петровны замерло, потом забилось громко и быстро. «Да что это я?» — упрекнула она себя и сразу успокоилась. Завернувшись в халат, подошла к окну. Сирены смолкли. Пустынное и бледное, простиралось над городом непотревоженное небо. Татьяна

Петровна приникла к окну и уловила негромкую, приглушенную расстоянием, артиллерийскую стрельбу. Потом новый звук покрыл все другие — напряженное гудение.

Глаза, всё еще зоркие, нашли в небе три далеких самолета. В их точном строю была такая суровая уверенность, что Татьяна Петровна сразу определила: «свои». Еще три самолета пронеслись совсем близко. Их гудение, казалось, заполнило воздух. «Летите, голубчики!» — мысленно сказала им Татьяна Петровна. В ее семье не было ни одного летчика, но при виде самолетов у нее всегда рождалось ощущение, что кто-то из сыновей мчится на быстрых крыльях.

Когда самолеты удалились, стрельбы уже не было слышно. Спокойный мужской голос произнес отчетливо, как будто здесь в комнате: «Внимание! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!»

Татьяна Петровна тихо прошла в другую комнату. К радио. Но голоса больше не было слышно. Она подошла к постели и в полумраке вглядывалась в лицо внука. Нет, он даже не проснулся, ничего не слышал! Он спал, подмяв под голову подушку и оттопырив нижнюю губу совсем так же... нет, это же невозможно?!. Разве бывает такое сходство?! Кажется, протяни руку, позови: «Ко-лень-ка!» — и сын, шестнадцатилетний, веселый, крепкий сын, жмурясь, неохотно откроет глаза и заворчит, как бывало: «Ну... мама...»

Загнанное внутрь, невыплаканное горе удушьем сдавило горло. Ища успокоения, она снова наклонилась над внуком. Алеша! Внучек!

Шестнадцать с половиной лет ему теперь... Шестнадцать с половиной... Крепок, светлоглаз, насмешлив и умен мальчишка, очень похожий на своего отца. Может быть, это сходство было не так разительно для чужих глаз, но Татьяна Петровна, глядя на мальчика, узнавала не только черты, но и все повадки сына. Ее зоркий любящий глаз примечал то, что могли не приметить другие, — смеясь, Алеша кривил рот совершенно так же, как отец... Рассердившись, он тем же самым отцовским движением пригибал голову и отворачивал покрасневшее лицо...

Шестнадцать с половиной лет!.. Тревога, где-то глубоко таившаяся весь день, весь вечер, вырвалась наружу и завладела ею... Нет! Нет! Только не его, не Алешу... Она не трусиха, не эгоистка, она не слепая в своей любви... Разве она удерживала мужа, когда он ушел с заводским отрядом на гражданскую войну? Разве она не проводила в армию по очереди всех своих сыновей? Разве не держалась она стойко и храбро, когда младший сын сражался у Хасана и два месяца не было писем, а затем из госпиталя сообщили, что он ранен? Роптала ли она, когда в прошлом году в финскую погиб старший сын? Нет! Ее

ни в чем нельзя упрекнуть! Разве сегодня она не напутствовала пожеланиями победы среднего сына и зятя? Не плакала, не вздыхала, не размягчала слезами негодование и ненависть к врагу, которые поведут их в бой... Да, пусть идут, пусть разгромят обнаглевшего врага, пусть не возвращаются без победы! Так она им сказала... И младший сын... лейтенант-артиллерист. Где-то там, на границе... Может быть, в эту минуту он уже командует: «Огонь!» Разве она не послала ему в мыслях свое материнское благословение, чтоб огонь его орудий был меток и смертелен для врага, чтоб не знал он ни страха, ни усталости?.. Нет, ее ни в чем нельзя упрекнуть! Всем сердцем посылает она сыновей на эту священную войну. За Родину! Но Алеша... он же мальчик еще!.. Ему еще не скоро... он молод для войны... Пусть это слабость, но в одном уголке сердца может гнездиться и слабость...

Она ушла к себе и легла, растревоженная. И внук казался ей уже не маленьким мальчиком, каким он виделся ей еще сегодня утром, еще сегодня вечером... Она видела его по-новому, неожиданно большим и крепким, в изменившей его военной одежде, веселым, шумным и уходящим, всё время уходящим от нее...

Утром позвонила Маруся:

— Мама! Я сейчас уезжаю...

Татьяна Петровна спросила:

— На фронт? Ты?..

— Нет, пока... — По голосу чувствовалось, что Маруся взволнована и горда. — Уезжаю с товарным поездом проводником. Многие мужчины ушли в армию, мы, служащие, решили заменить их. Алеша дома?

— Его нет дома...

— Поцелуй его за меня. И пусть он по вечерам не возвращается поздно. Я приеду через неделю.

И вот они остались вдвоем, — мужа почти не бывало дома, иногда прибежит, поспит, пошутит — и опять на работу. Оборонные заказы. Некогда. Татьяна Петровна держалась за внука, как за последнего близкого человека, еще оставшегося ей. И Алеша как будто понимал ее. Он был внимателен к ней и нежен. Объяснял ей всё, что она, прочитав в газетах, плохо понимала. Не жалея времени, рассказывал он ей о пушках и гаубицах, о бомбардировщиках и истребителях, о том, что такое бомбы фугасные, разрывные, воющие, о воздушных заграждениях, о звукоулавливателях. Сколько он успел узнать о войне, этот мальчик!

Когда он сидел один в своей комнате, она с тайным страхом тихонько заглядывала в дверь, боясь застать его за каким-нибудь новым пугающим занятием. Но он чаще всего по-прежнему возился с самодельным приемником или читал. Только раз, заглянув в щелку, она

увидела его сидящим неподвижно, ничем не занятым, с очень взрослыми, напряженно пристальными глазами, устремленными в пространство... О чем он думал? Сердце ее сжалось, и она не решилась зайти к нему и оторвать его от мыслей...

Однажды он спросил у нее свой паспорт. Побледнев и засуетившись над ящиком, где лежали паспорта, она спросила неестественно беззабо́тным тоном:

— Чего это он тебе понадобился?

Алеша знакомым движением пригнул голову и сказал неохотно, упрямо, так, как бывало говорил его отец:

— Так, дело есть...

Она поняла, что больше он ничего не скажет, и не настаивала. Спокойно подала паспорт. Проводила в переднюю. Ей не нужно было спрашивать и ждать его возвращения. Она понимала, куда и зачем он пошел.

Но проходили дни. Алеша уходил, возвращался, снова уходил, ничего не рассказывая о своих делах. И вот однажды Алеша неожиданно прибежал домой днем. Она готовила обед, и колени ее задрожали, когда она увидела его горящее лицо с тем самым выражением виноватой нежности, какое бывало у его отца, когда тот собирался огорчить ее.

Татьяна Петровна подошла и храбро спросила:

— Ну что?

Алеша испытующе исподлобья поглядел на нее и сказал:

— Меня приняли добровольцем.

Разве она не знала об этом еще много дней назад? Разве не знала об этом сейчас, когда храбро пошла ему навстречу? И всё-таки она схватилась рукою за стену, и всё-таки его ответ ошеломил ее неожиданностью. Он молчал, и мальчишеская восторженная улыбка пробивалась на его лице, несмотря на то, что предстоящее объяснение волновало его. Она заметила пробивающуюся улыбку и поняла ее. Сквозь острую боль поднималось в ней восхищение, гордость, благодарность, — она узнала своего сына в этом мальчике, узнала сына, начинающего с начала свой прямой и отчетливый путь.

— Куда? — спросила она скупо.

— В связь. Радистом. — Он дотронулся до ее руки: — Ты не бойся, пока меня взяли взамен уходящих на фронт...

Он знал, что сейчас не надо говорить о своих планах, но мальчишеское озорное чувство было сильнее жалости и осторожности:

— Ну, благо приняли, а там уж мое дело — попасть куда следует!

— Алеша! — вскрикнула она. Но больше ничего не добавила.

Зашипел на плите подгоревший картофель... Она подбежала, отодвинула сковороду на край плиты. Помешала суп. Подвинула на

огонь чайник. Привычные движения вернули ей стойкость. И тогда она подошла к внуку, обняла его:

— Иди. — И очень тихо, жалобно, сама стыдясь своих слов: — Только берегись... Не рискуй зря... Алешенька...

Они провожали внука на вокзал — она и ее муж. Дедушка и бабушка. Старики. Но стояла она рядом с Алешей подтянутая, гордая, строгая, и Алеше не было стыдно за нее перед старшими товарищами. Она не позволила себе ни горбиться, ни суетиться, ни плакать.

Потом она вернулась домой одна, и квартира показалась ей пустой, ненужной. В комнате Алеши повсюду валялись катушки, проволока, винты, ролики, — все эти детали его самоделок, которые всегда загромождали квартиру и вот теперь, как оказалось, принесли пользу — сделали его нужным Родине, Красной Армии. Она всё собрала и сложила, стараясь ничего не перепутать, не погнуть, не разбить: «Вернется — скажет спасибо, что всё цело».

И тогда, снова распрямив спину, снова отогнав подступившую старческую слабость, Татьяна Петровна спросила себя: «А я? Я-то как же? Что я могу?»

Неутомимые, всегда проворные ноги несли ее по вечерним улицам к райсовету, и горячая мысль подсказывала слова, которые надо сейчас сказать. Проходило в памяти всё, что она умеет делать... Вышивать — это не нужно. Но готовить из самых простых продуктов так вкусно, что самый слабый, самый больной человек съест с удовольствием? Убирать и чистить, чтобы всё блестело? Стирать так, чтобы белье хрустело и пахло чистотой? Штопать носки так искусно, что самая крупная штопка не натрет ногу, не помешает ходьбе... Ну, что еще?.. А любовь к людям?.. А большая материнская любовь к тем, кто защищает свою Родину, — разве это не пригодится, куда бы ее ни послали? Женское заботливое сердце, целиком вложенное в любое дело, какое ни поручат, разве этого мало?

— Что скажете, бабушка?

Она на секунду растерялась в большой комнате, наполненной людьми. Обращение оскорбило ее, она ответила запальчиво, излишне громко:

— Раз бабушка, так потеснитесь, кто помоложе. Больше прожила, больше и делать умею. Еще других научу, а не дать работы права не имеете, откажете — всё равно добьюсь!..

И вдруг виновато смолкла, поняв, что весь заряд ее гнева пропал впустую, потому что здесь не собирались, да и не могли отказаться от ее помощи.

ЛЮДМИЛА ПОПОВА

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА

Герою Советского Союза Петру Харитонову

Останется в памяти
как это было.
Чуть только сирены послышался гул,
Ты тотчас же взвил самолет острокрылый
В бездонное небо навстречу врагу.
Ты знал, что внизу непреклонно и гордо
Живет, продолжает свой труд не простой
И с армией вместе сражается город,
Тебя научивший владеть высотой.
Ты шел на врага,
ты рванулся в атаку.
Запутал ты путь его мертвой петлей,
И бил пулемет по фашистскому знаку,
И облако местом менялось с землей.
Как быстро в бою иссякают патроны,
Но твой говорил неуступчивый взгляд:
Не выйдет!
Не дашь ты проклятые тонны
Обрушить фашисту на наш Ленинград.
Тебе он ответит за всё, что разрушил,
И смертью за смерть ты заплатишь ему.
Ты вытрясешь всю его наглую душу,
Хотя бы погибнуть пришлось самому.
За Родину!..
Сверху, винтом, в оперенье!..
Ты видел раскрывшейся бездны края
И рухнувший «хейнкель»...
И как управленье,
Вся вздрогнув, теряла машина твоя...

Ты выпрыгнул.
Ветры гудели сердито,
И воздух клубился под легким зонтом,
И рядом спускались четыре бандита,
Всех ближе — полковник с железным
крестом.
Четыре стреляли в тебя пистолета,
Всех метче полковник — испытанный ас, —
И пуля, задев корешок партбилета,
Плечо оцарапав, свистя пронеслась.
Земля подошла, с перекличкой орудий,
С бойцами в замаскированном рву.
Навстречу бежали советские люди,
И бросил полковник оружье в траву.
И ты прочитал в его пристальном взгляде
И лютую злобу и страх пред тобой.
Мы взяли их в плен.
В этот миг в Ленинграде
Раздался воздушной тревоги отбой.

К ВАМ ОБРАЩАЮСЬ Я, ПОДРУГИ!

Письмо работницы с оборонной стройки М. Карелиной к женщинам Ленинграда

Сотни тысяч ленинградцев вышли для сооружения оборонительных рубежей. Лом, лопату, топор, пилу взяли в руки люди, привыкшие совсем к другой работе. Тут были и металлисты, и архитекторы, судостроители и артисты, текстильщицы и инженеры, писатели и студенты, профессора и школьники. Мир увидел новую героическую фигуру — ленинградца-землекопа. Он был неутомим, этот работник. Под дождем, в непогоду, ночью и днем работал он, не боясь обстрела и бомбежек. Иные из этих героев погибли, их хоронили как бойцов. Ленинградцы укрепляли город. Люди возвращались усталые, голодные, продрогшие, но сердце их наполняла радость — они свою долю внесли в дело обороны родного города. В эти дни были выкопаны противотанковые рвы общей длиной 626 километров, возведены эскарпы протяжением 406 километров, приготовлены лесные завалы на 306 километров, построены тысячи дотов и дзотов. Только в городе, на улицах и площадях, возведено было 35 километров баррикад. Ниже приводится письмо с оборонной стройки работницы М. Карелиной.

К вам, молодые матери, дорогие сестры, обращаю я свое слово. Мой возраст и жизненный опыт дают мне на это право. Мне 57 лет, из которых 40 я непрерывно проработала на табачной фабрике.

Нелегко, сами понимаете, в мои годы без сноровки взяться за кирку и лопату. Но могут ли советские женщины в эти грозные дни стоять в стороне от битвы за нашу Родину, честь и свободу?

С большой готовностью я вместе с группой пожилых работниц нашей фабрики пошла на оборонную стройку. 18 дней непрерывно, без выходных, по 12 часов в сутки мы работаем. Грунт попался тяжелый, и много приходится работать киркой. Лопатой этого грунта не возьмешь. Засохшая глина тверда как камень. Сначала надо разбить грунт киркой, а потом уж браться за лопату.

Мы, кадровые питерские работницы, много пережили на своем веку. Еще свежи в моей памяти забастовки 1905 года, Октябрьская революция, гражданская война. Мы на себе испытали нужду и бесправие женщины при царизме, невыносимые издевательства.

Вы, женщины советского поколения, этого не можете помнить. Но вы не должны ни на минуту забывать, что кровавый Гитлер несет советской женщине жестокие страдания, еще более тяжелую долю, чем было при царизме.

На моих глазах за недели, проведенные на трассе, здесь выросли мощные укрепления. Мы гордимся, что в них вложена доля и нашего труда.

Каждая девушка, каждая женщина должна себя спросить в эти дни: всё ли я сделала вчера, сегодня для обороны нашего прекрасного города Ленина?

Пусть ни одна минута рабочего времени не пропадает у нас зря. До конца выполним свой священный долг перед Родиной!

10 августа 1941 года

«„Ленинградская правда" на оборонной стройке»

В. ДРУЖИНИН

СТРОИТЕЛИ РУБЕЖЕЙ

Траншея Дарьи Павловны Калачевой — недалеко от Ленинграда, в северном лесу, среди темных аллей. В двух километрах — передовая линия фронта. Калачева строит оборонительный рубеж. Сперва было тяжело без привычки. Лопата валилась из рук, всю силу воли надо было напрячь, чтобы копнуть еще раз, обрезать еще один корень. Теперь руки окрепли, загорели...

Все мысли Дарьи Павловны связаны с этой траншеей. Иногда кажется, что муж Михаил стоит за ее спиной, торопит — скорее кончай, скорее... И, точно по его велению, она, приложив острие заступа к плечу, припадает к стенке, примеряет локтями берму, целится сквозь амбразуру. Хорошо ли вышло? Удобно ли будет стрелять тому, кто встанет здесь в час сражения за Ленинград — неизвестному, но такому близкому бойцу? Пусть не дрогнет его рука! И пусть памятником священной войны останутся здесь в лесу вершины дзотов, своды укрытий, гребни козырьков.

Женщины Ленинграда... Леля Коротенко. Отец и мать ее пропали без вести. Анна Смирнова. Дом ее разгромлен фашистами. Много их на трассе — женщин-трудармеек.

Один участок был особенно трудный. Вековые ели, многопудовые валуны, вязкая глина под ногами. Бригада Смирновой, в которой работает Дарья Павловна, выбивалась из сил. Командование ближайшей воинской части предложило помочь, прислать красноармейцев. Наотрез отказались женщины.

— Мы справимся, — сказали они, отирая пот, струившийся по лицам, — мы сами хотим выстроить этот дзот.

На их участок приехал командир дивизии. Калачева и Смирнова так разволновались, что не спали всю ночь.

— Отличная работа, — сказал генерал, осмотрев траншею.

И они, окрыленные похвалой, стали еще упорнее штурмовать непокорную землю.

Прошел еще месяц. Из Ленинграда на трассу приехала дочь Дарьи — шестнадцатилетняя Люба. Она привезла бумажку из райторг-

отдела. Дарью Калачеву, как опытного торгового работника, отзывали на прежнее место. Взамен предлагали взять Любу, которая недавно поступила в магазин ученицей.

— Я не поеду, — заявила Дарья Павловна.

— Поезжай, мама, — уговаривала дочь. — Ты устала. Там легче будет.

— Нет... не поеду.

Правда, куда легче стоять за прилавком, чем пилить бревна, таскать камни, копать. Удобнее жить в городе, чем в шалаше возле болота и спать на нарах. Но Калачева знает: она должна быть здесь. Она не может снять рабочую блузу, оставить лопату. Неужели дочь не понимает, что нельзя так поступить, тем более после того, как погиб Михаил.

— Люба, — сказала мать, — вспомни отца.

Они помолчали. У входа в шалаш пологом спускалась ночь в зарницах близкого боя. Детское личико Любы сделалось вдруг серьезным, взрослым.

— Мама, — сказала она, — я останусь с тобой. Будем работать вместе.

Они теперь в одной бригаде — мать и дочь. Стройка близится к концу. Еще два дня на отделку — и укрепление будет готово. В него войдут красноармейцы, поставят пушки, противотанковые ружья, опустят пулеметы в обитые хворостом гнезда. Кто встанет у амбразуры, вырезанной Дарьей Павловной Калачевой? Ей хочется знать имя этого бойца, облик его.

Летняя ночь коротка. Рано поднимается солнце и, пробиваясь к шатру, льет золотой свет на дощатый столик, на раскрытую тетрадку. Дарья Павловна и ее дочь пишут письмо.

— «Дорогой сынок, — тихо диктует мать. — Дорогой наш защитник и друг. Для тебя мы вырыли эту траншею. Смотри, не дай прорваться врагам к Ленинграду. Вот тебе мой завет. Хоть ты не знаешь меня, а письмо мое прими. Родная мать скажет тебе то же, что я: бей фашистов, сынок!»

— Всё? — спрашивает Люба.

— Подожди... не торопись.

И всю ночь они ведут беседу с неизвестным бойцом. Письмо это они положат потом в патронный ящик на берме траншеи.

АНАТОЛИЙ ЧИВИЛИХИН

МЫ ПРИКРЫВАЕМ ОТХОД...

Отход прикрывает четвертая рота.
Холодное солнце над морем встает.
Немецкая нас прижимает пехота.
Спокойствие! Мы прикрываем отход!
Браток! Вон камней разворочена груда,
Туда доползи, прихвати пулемет.
Ты — лишний, — скорей выметайся отсюда:
Не видишь, что мы прикрываем отход!
Прощайте! Не вам эта выпала доля...
Не всё ж отходить, ведь наступит черед...
Нам надобно час продержаться, не боле.
Мы — смертники, мы прикрываем отход.
Не думай, — умру, от других не отстану.
Вон катер последний концы отдает.
Плыви, коль поспеешь, скажи капитану:
Мы умерли. Все. Мы прикрыли отход.

И. КОЛТУНОВ

ШЕСТОЙ

1

Мерно стучавший метроном вдруг захлебнулся и умолк. И тотчас в репродуктор ворвался пронзительный вой сирены. Город сразу притих, насторожился и как бы замер. Сколько раз его тревожил этот предостерегающий звук, сколько мук вытерпел он, дожидаясь вражеского налета и в самый налет, но — весь в рубцах и шрамах — он оставался неизменно прекрасен!

Только небо, милое наше северное небо, первым давало знать о направлении воздушного боя: легкие комки разрывов — черные, оранжевые и белые пушинки над головой — точно указывали место, где прорвался враг.

Но вот прошла минута, другая, третья в напряженной до предела тишине. Безмолвствовали батареи на земле, в небе нельзя было обнаружить ни пятнышка, ни дымка. И обостренный слух уловил чуть слышное гудение моторов — глухие, прерывистые, низкие ноты, распознавать которые научились даже дети.

Звук всё ширился, нарастал, приближался. Он сперва рокотал где-то высоко в темных осенних тучах, потом стремительно обрушился сразу шестью машинами, которые появились у всех на виду, маневрируя и меняя строй: пять самолетов марки «Хейнкель-113» и зажатая между ними одинокая русская «Чайка».

2

Это были первые недели войны, время трагического неравенства сил в воздухе. Счет пять к одному, чудовищно и нагло выписанный дымом выхлопных труб на ленинградском небе, почти не вызывал тогда недоумения.

Но кто он, этот один? Откуда прилетел с таким «конвоем»? Как спасти его? А может быть, и шестой машиной управляет немец, кото-

рым прикрываются остальные? Может быть, это лишь ловко разыгрываемая комедия?

Но шестой был наш, русский.

Уже на третьей минуте опытные пилоты узнали его по «почерку», по «походке». Не оставалось сомнений в том, что «Чайку» ведет известный мастер одиночного боя, прославившийся охотой за вражескими аэростатами — Сергей Миронов.

Он обычно уходил один в автономный полет над территорией, занятой противником, чаще всего к Тосно или Красному Селу. Там, на поросших вереском холмах, немцы электрическими лебедками подымали кверху аэростаты наблюдения и корректировки артиллерийского огня.

Меченые мальтийскими крестами серебристые сигары с гондолами и рулями управления, похожими на гигантские уши, видны были издали. В поединках с ними летчик выработал простейшую тактику: главное заключалось в незаметном подходе, а цель он расстреливал зажигательными пулями. Немало ран его машине нанесли зенитки, однако он всегда уходил и от них и от преследования истребителей.

Но военное счастье переменчиво.

В этот раз, когда он снова — невидимый — обрушился на очередной аэростат, сжигая отсек за отсеком, ему дали израсходовать весь боезапас, а на обратном пути его перехватили «хейнкели».

3

Он оказался в ловушке.

Немцы были столь уверены в победе, что не выпустили по нему ни одного патрона. Они резвились в воздухе, заботясь лишь о том, чтобы «Чайка» поднялась как можно выше, потому что сами боялись малых высот.

Эту нехитрую уловку советский ас разгадал тотчас же и стал прижиматься к земле.

Вперед и вниз тянул русский, назад и вверх старались повернуть его немцы совместными усилиями двух самолетов справа, двух слева и пятого сверху. Они зорко следили за маневрами шестого, бесплодность попыток которого казалась им очевидной.

А он и не пробовал разуверить их в этом, в какие-то мгновения являя полную покорность судьбе, хотя настойчиво добивался своего.

Увлекшись игрой, немцы и не заметили, как «Чайка» заставила их пересечь линию фронта. Они спохватились слишком поздно, повиснув над шпилями Адмиралтейства и Петропавловской крепости.

Притихший, настороженный и карающий город лежал под ними.

Но еще до этого посты службы ВНОС передали извещение штабам, и с прифронтовых аэродромов поднялись в воздух истребители.

Игра кончилась. Наступала расплата.

Теперь «хейнкели» всё теснее прижимались к «Чайке» уже совсем из других соображений: это спасало их от зенитных батарей, которые не решались открыть огонь, пока все шесть самолетов шли в тесном строю.

Но «Чайка» вдруг сделала крутой вираж, за ним другой и третий вокруг шпиля Петропавловской крепости. Немцы не сумели точно и слаженно повторить маневр, и ас оторвался от них.

Зенитный пулеметчик с крыши дома дал длинную, рассекающую очередь в образовавшийся узкий коридор. Он и сам потом не мог сказать, как это удалось ему, но — припавший к гашетке, сжимая ручки пулемета до синевы в ногтях, затаив дыхание, — он всё-таки улучил этот единственный и неповторимый момент, и «хейнкели» наткнулись на струю его огня, как пехота на колючую проволоку.

Они шарахнулись и рассыпали строй.

Это послужило сигналом для скорострельных зенитных пушек с набережных Невы.

Еще через мгновение в гул и грохот ворвался вибрирующий звон советских моторов — наши истребители с трех сторон подходили к городу, над которым в смертельных хлопках разрывов, сразу расцветивших небо, метались пять самолетов.

Шестой, приветственно качнув крыльями, ушел на свой аэродром.

ИВАН КРАТТ

ТРОЕ

— «Когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости...»

— Подожди! — остановил читающего Желудь и снова надел поверх лохматой шапки наушники. — Хорошая была книжка. Отложи листочек.

Читавший возмутился:

— Так никакого огня не будет!..

— Будет, — успокоил его третий, тонкий, узкоплечий боец и, подобрав измазанную страницу, положил ее на кучку таких же, белевшую возле груды щебня и битых кирпичей. — Возьми вон... дальше. Там по-немецки написано.

Потом они трое, обжигаясь и шевеля над пламенем распухшими пальцами, несколько минут грели руки. Настоящий костер разложить было нельзя. По струйке дыма гитлеровцы могли точно определить местоположение рации, и связисты жгли понемногу листки тетрадей и книг.

В подвале было холодно, но довольно светло. Два полуразрушенных окна и дверь в массивной кирпичной стене пропускали достаточно света и в то же время служили для наблюдения. Через дверной проем виднелся берег реки, занятый противником, кусок дороги, а в одно из окон можно было наблюдать за всей окраиной поселка. Там окопались немецкие батареи.

Сутки назад немцам удалось прорваться на территорию, где находились связисты, обслуживавшие подразделения, действующие во вражеском тылу. Можно было еще успеть взорвать рацию и отступить к своим. Однако маленькая станция передала:

— Остаемся. Держим связь... Желудь, Михайлов, Кижун...

И, окруженная со всех сторон, затерялась среди развалин.

...Желудь отодвинулся от сгоревшей бумаги, тщательно притоптал золу.

— Хватит, — сказал он хрипловатым, словно простуженным голосом. — Погрелись? Погрелись. Кушать в ресторан пойдем.

Темноглазый, скуластый, бывший моряк-полярник говорил лениво, немного насмешливо даже теперь, когда немцы, обыскивавшие все развалины, постепенно суживали круг. Но как только Кижун и Михайлов, вооруженные автоматами, заняли места у оконных ниш, Желудь, нахмурившись, внимательно еще раз осмотрел маленькую станцию. Аккумуляторы ослабевали, и это сегодня уже становилось заметным. Однако он ничего не сказал своим напарникам, — такое сообщение никому не придаст бодрости.

После короткой передышки немцы снова обрушили огонь на развалины. Снаряды и мины рвали кирпич, железо, мерзлую землю. Красная пыль носилась в воздухе. Но радисты были хорошо укрыты, и станция работала бесперебойно.

Потом фашистские пушки умолкли также внезапно, и опять наступила тишина.

— Щупают... — сказал Михайлов, притопывая возле своей амбразуры. — Щупают. — Узкая спина его горбилась, руки засунуты глубоко в рукава. И весь он, слегка заикающийся после контузии, высокий, с чистым, нежным лицом, был похож скорее на переодетую озябшую девочку.

— Так они и голову прощупают, — отозвался Кижун и яростно отпихнул валявшийся под ногами камень. — Сво...

Но брани своей не кончил, сердито засопел, дернул несколько раз диск автомата, затем умолк.

Когда улеглась пыль, в оконные дыры снова видны были дальняя полоса берега, укрытая снегом, замерзшая река, подорванный мост, перебитая осколком береза на немецком кладбище. Только сегодня черных низеньких крестов стало меньше. Как видно, не один снаряд разорвался среди могил.

Кижун застыл у своего автомата, а Желудь сосредоточенно крутил ручку настройки. После недавнего грохота и взрывов тишина всё еще казалась ненастоящей, и от этого усиливалось тягостное чувство беспокойства.

День был пасмурный, серый, никто не знал, который час, да связисты давно перестали считать время. Иной раз представлялось, что они сидят здесь уже много дней и что немецкие контратаки не прекратятся никогда. Временами хотелось есть, но только временами. Они не видели пищи вторые сутки и почти о ней не думали. Напряжение было сильнее голода.

Тишина затягивалась, становилась подозрительной. Немцы, как видно, окружали дом, чтобы покончить, наконец, со станцией. Еще с утра они предприняли против главных сил несколько контратак, но

точный огонь артиллерии, корректируемый радистами, отбрасывал гитлеровцев далеко назад. Михайлов и Кижун вылезли из подвала и, прячась среди руин, сообщали о каждом новом разрыве, а Желудь хрипловато передавал в микрофон:

— Пехота противника движется короткими перебежками. Прошу дать огонь... Метров на сто правее... Хорошо. Дайте беглый...

Он говорил неторопливо и размеренно, но при каждом удачном выстреле глаза его блестели и суживались, словно он стрелял сам.

Скрытая в развалинах рация не давала гитлеровцам продвинуться ни на шаг.

— Там за крыльцом поворот... — сказал, наконец, Желудь, нарушая эту слишком затянувшуюся тишину. — Меня он давно интересует. А ну-ка, шевельнись, Кижун, глянь. Может быть, фашисты догадались, где соловей поет. А ты, ученый, займись садом. Да только береги голову. Много знает она, твоя посудина, — добавил он с неожиданной завистью. — В Мурманске был у меня такой поэт...

Оба связиста осторожно выбрались из подвала. Обломки стены закрывали дорогу, балки и рухнувшая лестница преграждали путь в сад. Пришлось долго пробираться среди этих нагромождений, чтобы что-нибудь разглядеть за пределами дома.

Вражеских автоматчиков первым заметил Кижун. Он уже был почти у самого поворота на широкую шоссейную дорогу, проходившую недалеко от их убежища, как вдруг увидел десятка два темных фигур, перебегавших соседний двор. Потом на шоссе показался броневик.

Почти такие же вести принес и Михайлов. Около взвода немецкой пехоты прочесывало сад. Молодой связист был спокоен, лишь немного дрожали руки.

— Сад нам не страшен пока что, — хмуро и всё так же медленно сказал Желудь, выслушав донесения. — Стенка. А по дороге они пойдут. Любят они главный рейд... Ну, занимай позицию. Будем стрелять на выбор. Только смотри у меня, — закончил он раздельно: — ни одного фашистского солдата не пустить дальше крыльца.

Сняв шапку, он кинул в нее две гранаты, вытащил из-за пазухи трофейный пистолет, нож, положил их сверху. Горбоносый, курчавый, насторожившийся у своего аппарата, Желудь приготовился к бою.

Год назад, после ранения, он приезжал домой на отдых. На вечеринке в клубе собрались такие же отпускники: танкисты, летчики, моряки, разведчики. Они рассказывали о своих делах, и молодежь завороженно их слушала.

«А как вас ранило? — удивилась одна наивная душа, которая тогда казалась ему лучше всех в мире. — Вы же, кажется, радист».

Желудь ушел с вечеринки и долго блуждал по грязным затемнен-

ным улицам. Гордость помешала ему рассказать о делах связистов.

Он вспомнил об этом сейчас, и глаза его потеплели, а потом складка на лбу стала резче, острее выступили скулы. Наивная душа давно была убита вражеским снарядом, а он так и не простил ее в тот вечер.

Напряженная тишина сменилась вдруг разрывом мины. Затем второй, третий разрыв... Потом на дорогу, почти возле самого крыльца, выскочили автоматчики. Они бежали быстро, стараясь скорее достигнуть стен. Фашисты еще не знали, где притаились советские связисты, и хотели с ходу проскочить открытое пространство.

— Давай! — крикнул Желудь и ударил тяжелым сапогом по камню. Потом, спохватившись, поправил слетевшие наушники.

Он видел, как сверкнули из окон золотистые струйки, заметил, как посыпалась штукатурка, как взметнулся и перекинулся через ступеньку крыльца тяжелый фашист в синем мундире, ткнулись в снег четверо других. Видел спины стрелявших связистов: тонкую, чуть сгорбившуюся за грудой кирпичей, и плотную, словно придавившую камни.

Усилием воли он заставил себя отвернуться в сторону реки, взяться за аппарат. Ручка прибора терялась в его напрягшихся пальцах. Все помыслы его были там, у бойниц, ладони ощущали приклад автомата. Но станция не должна молчать.

— Я «Весна»... «Весна»... — сказал он в микрофон совсем хрипло и невнятно и только спустя несколько секунд окончательно овладел собой. — Гитлеровцы нащупали нас... Около взвода... Ведем бой. Не беспокойтесь... Возле речки заметно передвижение. Правее моста метров пятьсот. Дайте огонь...

Застигнутые врасплох автоматчики отхлынули, десятка полтора трупов осталось лежать на дороге и возле крыльца. Один раненый приподнялся на колени и судорожно мотал головой, будто хотел вытряхнуть что-то попавшее в ухо. Потом дернулся вперед и упал.

День по-прежнему был однотонно бледный и казался нескончаемым. Всё так же белела пелена реки, и на ней вспыхивали темные клубочки разрывов, бежали маленькие фигурки. Их было много, и издали они похожи были на раскиданные по снегу черные палочки. Выше, у моста, дымила горевшая колонна грузовиков. Это наша артиллерия громила скопление сил противника.

— Хорошо бьете, — хрипел в микрофон Желудь. — Еще беглый...

Аккумуляторы слабели, приходилось напрягать голос. А фашисты снова предприняли атаку против защитников станции. Теперь они знали, где укрылись радисты.

Вражеские автоматчики ползли со всех сторон, укрывались за камнями, за остатками стен. Уже был ранен Кижун, кровь заливала

ему глаза, он вытирал ее шапкой и продолжал стрелять. Два раза Михайлов кидал гранаты, — так близко подбирались враги.

Желудь видел, что осталось последнее. Сами они уже не могут удержать фашистов. Если артиллерия не придет на помощь, враг ворвется в убежище. Он видел, как всё медленнее и медленнее стрелял Кижун, — большое тело его секундами оставалось неподвижным, как скорчился и не отрывался от автомата почерневший, задыхающийся Михайлов. Видел, как бешено наседали враги. Нужно вызвать огонь на себя. Это всё, что еще можно сделать.

Он в последний раз оглянулся на товарищей и медленно, очень медленно повернулся к аппарату.

— Говорит «Весна»... говорит «Весна»... — сказал он отчетливо и совсем перестал хрипеть. — Враги уже рядом... Дайте огонь по нашему укрытию.

Минуту он беспокойно ждал, словно боялся, что его не расслышат, а потом торопливо и обстоятельно указал координаты стрельбы.

Два раза в промежутках между залпами слухачи ловили его глухой, далекий голос, затем «Весна» вдруг смолкла.

* * *

Когда к вечеру наши части окончательно выбили врагов из укрепленного пункта и заняли поселок, артиллеристы отыскали подвал, где помещалась рация. Да и найти его было нетрудно: вражеские трупы, валявшиеся на шоссе и среди развалин, сразу указали дорогу.

Под обломками нашли троих связистов. Все они были живы. Юноша и Кижун находились без сознания. А Желудь еще держался. Он лежал возле своей рации, окровавленный, простоволосый, придавленный тяжелой балкой. Ноги были повреждены обвалом, на ботинках нарос иней. Но радист смотрел ясно и спокойно и, чтобы скрыть невероятную боль, терпеливо перебирал раскиданные взрывом книжные листочки...

Л. В. КАНТОРОВИЧ

ТРИ ПИСЬМА

Ленинградский писатель Лев Владимирович Канторович был хорошо известен как автор многих книг о пограничниках. В первый день Отечественной войны он ушел на фронт. В бою на границе Лев Владимирович Канторович был убит. Ниже мы публикуем три его коротеньких записки жене.

1

г. Энсо, 26 июня 1941 г.

Дорогая моя!

Наконец могу написать вам. Жизнь течет неплохо, хотя времени мало и что-то не выходит насчет сна.

Настроение зато в полном порядке. Погода здесь хорошая.

Встретил много старых друзей, и жить с ними и работать отлично. Если придется задержаться с ними надолго, не буду возражать.

За это время успел почти дважды пересечь весь Карельский перешеек. Ты, миленькая, помни, что главное — хладнокровие и веселый взгляд на вещи.

Твой Л.

2

27 июня 1941 г.

Милая моя Настенька!

Жизнь наша протекает по-прежнему, и по-прежнему здесь хорошая погода. Хотя, очевидно, барометр падает. Поживем — увидим.

Настроение у нас отличное, и всё вполне хорошо. Имей в виду и передай всем знакомым, что Адольфу Гитлеру башку мы снесем. Это точно.

Обнимаю тебя и нашу дочку.

3

Миленькая!

Ты, наверное, уже знаешь, что у нас тоже началась драка.

Всё превосходно. Дела идут, настроение хорошее.

Как у вас дела? Письма к нам вряд ли доходят. Очень прошу позвони Дрееву и попроси его при случае позвонить ко мне или передать, хорошо ли у вас всё?

Времени очень мало.

Обнимаю всех вас.

Л.

Письмо не датировано, но на конверте приписка Льва Владимировича: «Забыл поставить число — 30 июня». В этот день он погиб.

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

БЕССМЕРТИЕ

Направо река от него. Повороты
Дорог, отзвеневших вдали,
И там, за рекою, фашистские роты
На нашей земле залегли.

Он видит далёко и в грохоте слышит,
И пусть хоть полнеба в дыму,
Но тянется яростный провод на крышу,
Послушный ему одному.

Фашисты из щелей полезли, — он видит,
Им место не здесь, а в «раю».
Так пусть же узнают, как их ненавидим,
Как любим отчизну свою!

Ведь мы их не звали сюда, не просили,
Скорей настигай их беда!
И ненависть, равная буре по силе,
Как буря, летит в провода.

— Огонь! — он скомандовал на батарею. —
Вояки промокли слегка,
Пора подсушить их; коль солнце не греет,
Подсыпьте-ка им «огонька»!

И ухнули разом. Кривая полета
Идет через песню мою.
О том, как разили его минометы,
Я слово герою даю:

«Сегодня на рассвете, — записал лейтенант Иван Николаевич Павленко, — фашисты подтянули к деревне около 15 танков и больше роты пехоты. В это

время я сидел на крыше двухэтажного дома. Когда я увидел фашистов, сердце облилось кровью. Я скомандовал: «Огонь!» Тяжелые мины рвались среди скопища вражеской пехоты. Я от радости кричал: «Здесь, на поляне, враг увидит свою смерть! Вперед, за победу! Подлый враг будет разбит!»

И дальше — на уголке клочка бумажки:

«Вражеские снаряды изрешетили весь дом. Я с поста не уйду!».

Вперед за реку прорывались отряды,
И враг заметался, гоним.
...Он пал, наш товарищ, но бывшее рядом
Бессмертие встало над ним!

И, славящий мужество наше прямое,
Я вижу, как входят в века:
Дом, в щепы разбитый. Герой-комсомолец.
Столетние сосны. Река.

И. ПИЛЮШИН

ИЗ ЗАПИСОК СОЛДАТА

Автор — участник боев на Ленинградском фронте в 1941 году, инвалид Отечественной войны. Публикуемый отрывок взят из его книги «Записки солдата».

Уже много дней мы находились между Нарвой и Кингисеппом и торопились получше укрепиться по берегу реки Нарва.

Узкая траншея проходила по гребню отлогого лесного оврага совсем близко от реки, а дальше круто поворачивала на север и скрывалась за лесистой возвышенностью.

Хотя мы, стрелки-пехотинцы, еще и не вступали в бой с основными силами врага, но уже не раз встречались с разведкой противника.

...Ночь. С поверхности реки поднимался туман и медленно расстилался по лесным прогалинам и просекам. Темное звездное небо как будто ниже опустилось над темным лесом, и казалось, что оно висит на высоких вершинах сосен и елей.

Я с нетерпением ждал, когда вернется связной командира роты Викторов со свежей почтой.

Вдали за лесом, в направлении города Нарвы, как будто прогремел легкий гром. За ним прокатились мощные, внушительные удары. Наконец всё слилось в единый гул артиллерийской канонады.

Викторов не принес мне ожидаемой весточки от жены. С болью в сердце я вернулся на командный пункт.

Командир роты Степанов спал у ствола размашистой ели крепким сном. Русые пряди его волос рассыпались по высокому лбу и закрывали часть лица. Рядом с ним лежал политрук роты Васильев. Он читал письмо, полученное из дома.

В глубине леса прозвучало: «Стой!» Васильев повернулся ко мне:

— Где кричат?

Мы насторожились. Ждали, что вот-вот начнется перестрелка. Но эхо умолкло, и опять водворилась мертвая тишина. Лунный свет разливался по стройным стволам деревьев, по траве, по лесным цветам, которые впитывали ночную прохладу, раскинув свои нежные лепестки. Дышалось легко, глаза невольно смыкались.

Свет луны упал на лесную прогалину, и мы увидели, как через нее прошмыгнули три человеческие фигуры и скрылись в гуще леса. Кто идет, различить было невозможно. Я толкнул локтем в бок лейтенанта, он проснулся и, услышав шаги, схватил автомат. Васильев удержал Степанова и сказал ему:

— Не спешите!

Лейтенант положил автомат на траву и кулаками стал протирать заспанные глаза. К нам быстро приближались командир взвода Круглов и снайпер Ульянов. Они вели незнакомого человека в штатском костюме. Круглов доложил: на лесной поляне у излучины реки задержаны два вражеских лазутчика. Один из них оказал сопротивление и был убит, а другой взят живьем. За ними велось наблюдение. Они готовили сигнальные костры на поляне, — возможно, для посадки транспортных самолетов с десантом.

Они очень спешили закончить свои приготовления, к чему-то прислушивались, посматривали на луну, на часы. Кому-то что-то передавали по рации, называли вот эти позывные... Круглов подал командиру роты листок бумаги.

— Возле рации я оставил дежурить снайпера Романова. Он радист и в совершенстве владеет немецким языком. Если будут какие-либо вопросы со стороны врага, он им ответит.

Круглов указал на лазутчика и продолжал:

— Молчит. Мы по-всякому пытались изъясниться — и на немецком, и на русском. Молчит! Возможно, он с вами заговорит, товарищ командир роты.

Мы подошли к вражескому лазутчику. Он был невысокого роста, рыжий, лицо покрыто мелкими веснушками. Командир роты спросил:

— Что вы делали в лесу? Для чего вам понадобились костры на лесной поляне?

Лазутчик съежился, но ничего не сказал.

Лейтенант Степанов обратился к политруку:

— Может быть, он не немец? А?

— Какая разница, кто? Раз шел к нам в тыл, значит русский язык знает. Но для нас неважно, будет он отвечать или нет. Нужно срочно сообщить командованию об их действиях на поляне.

Лазутчика сдали под охрану. В штабе полка вскоре узнали о случившемся, и через полчаса поляну окружили наши войска. Был оставлен свободный проход только к крутому обрыву реки Нарвы. На вражеской рации работал радист Романов. И вот теперь он, Петр Романов, принимал радиограмму от врага: «Срочно сообщите, всё ли готово для приема транспортных самолетов. Не обнаружили ли поблизости русских?».

Под диктовку майора Чистякова Романов дал фашистам ответ:

«В два ноль-ноль будут готовы и зажжены три костра. Русских нет».

Комбат Чистяков посмотрел на лесную поляну и, потирая руки, сказал:

— Ну, ребята, маневр врага разгадан, теперь остается достойно встретить вражеских десантников.

Все нужные приготовления были закончены быстро. Политрук Васильев и комвзвода Круглов с группой бойцов минировали берег крутого обрыва. Комбат стоял возле ящика рации, у которой сидел радист Романов. Они ждали последнего приказа со стороны врага.

Послышались позывные: «„Слон", „Слон", я „Тигр", я „Тигр", слушай меня, перехожу на передачу». Романов поднял обе руки кверху и сказал: «Тише, товарищи!» Он принимал новую радиограмму. Я в этот миг ясно представил себе фашистского генерала, стоящего возле радиста с картой в руке, его взгляд устремлен на эту лесную поляну, как на исходный рубеж для броска в глубь нашей страны.

Романов принял новую радиограмму, перевел и прочитал нам вслух: «Зажечь сигнальные костры в два ноль-ноль. Сообщить мне о первых приземлившихся самолетах». Ниже следовала подпись: «Г. Керес».

В воздухе послышался отдаленный шум моторов. Наша зенитная артиллерия открыла заградительный огонь. Шум моторов в воздухе нарастал с каждой минутой. По приказу командира полка, прибывшего к нам, костры были облиты горючей жидкостью и подожжены.

Всё вокруг лесной поляны умолкло, не слышалось ни шагов, ни разговоров. Всё внимание было сосредоточено на ярком пламени костров, озарявших лес. Степанов не мог сидеть спокойно на месте. Политрук говорил ему:

— Вы очень горячитесь, товарищ лейтенант. Больше выдержки. Солдаты тоже, глядя на вас, начинают нервничать.

Низко над лесом мелькнул силуэт самолета и опять скрылся из виду. В воздухе трещали пулеметные очереди. Высоко в небе шел бой.

Первый самолет с десантниками приземлился на поляну неуклюже. Он пробежал по поляне, переваливаясь с боку на бок, и остановился. На желтом его корпусе выделялся черный крест и две буквы «СС». Пилот выключил мотор, погасил свет в кабине.

Сотни глаз следили за приземлившимся самолетом и готовы были в любую минуту открыть огонь по врагу. Но нам было приказано ждать, пока не сядет последний самолет с десантом врага, и мы ждали.

Спустя некоторое время, по-видимому убедившись, что прибывшие самолеты никем из русских не замечены, пилот открыл люки и двери.

Эсэсовцы прыгали на землю с крыльев самолета и отползали

в стороны. Как только последний солдат покинул самолет, пилот включил мотор, самолет стал медленно разворачиваться, чтоб взлететь.

Вы можете представить наши чувства! В ста метрах — самолет врага. Одна, только одна пулеметная очередь, и самолет будет уничтожен. Никто из нас не смотрел на вражеских солдат, лежавших на земле с автоматами наготове. Мы о них как будто забыли. Все смотрели на улетавший самолет. Вот он, подскакивая, пробежал по поляне, потом колеса его оторвались от земли и, всё еще вращаясь, повисли в воздухе.

На этом месте приземлился другой самолет, затем еще и еще. Один Романов не замечал ничего, он был занят неотложным делом — он кричал по-немецки позывные врага: «Тигр», «Тигр», я «Слон», слушай меня, перехожу на передачу». Он передавал генералу Кересу, что первый самолет приземлился благополучно, высадка десанта закончена, идут на посадку другие самолеты. Враги слышали голос Романова, но не пытались проверить, кто же находится у рации. В те дни гитлеровцы были слишком уверены в своих силах.

За полтора часа поляна заполнилась фашистскими солдатами и офицерами, а в воздухе по-прежнему стоял шум моторов. Костры догорали, всё вокруг медленно погружалось в темноту ночи. Четыре транспортных самолета врага доставили десантникам боезапас, вооружение, продовольствие и с выключенными моторами остались стоять на поляне. В кабине пилота горел свет. Это был хороший ориентир для стрельбы.

Мы перестали следить за высадкой десантников, а смотрели туда, где находились командир полка и майор Чистяков. Мы ждали сигнала для открытия огня. Гитлеровцы строились в боевые порядки, готовились к походу в тыл наших войск. Врагов задерживала разгрузка транспортных самолетов; из них выносили ящики с минами, пулеметы, гранаты, минометы и неотлучный спутник фашистской армии «шнапс». Появился офицер — командир этого десанта. Слышались слова команды, а на опушке леса всё сидел с наушниками на голове наш радист Романов. Он принимал новую радиограмму от генерала Кереса.

Романов не стал переводить ее. Он сорвал с головы наушники, подошел к комбату Чистякову и доложил:

— Генерал Керес приказал пригласить к рации командира десанта майора Эрекса. Разрешите, я всё это сделаю быстро, только оденусь в штатский костюм, который мы отняли у лазутчика.

— Это я должен согласовать с командиром полка, без его разрешения нельзя, — ответил майор Чистяков.

Командир полка Агафонов сказал:

— Поздно спохватился проверять. С ними разговор кончен.

Он поднял правую руку с ракетницей, на его смуглом лице мелькнула улыбка радости и суровой решимости. Его черные глаза жадно смотрели из-под густых бровей на серые фигуры чужих солдат, стоявших на лесной поляне. Он нажал на спуск ракетницы. В небо взвилась долгожданная зеленая ракета. Одновременно открыли огонь десятки наших станковых и ручных пулеметов. К ним присоединились винтовочные залпы и автоматные очереди. Фашисты падали на землю. Уцелевшие солдаты ползли к крутому обрыву реки, чтобы укрыться от нашего огня. Там они стали подрываться на минах. Укрываясь за трупами убитых, гитлеровцы отстреливались из автоматов и ручных пулеметов.

Два самолета горели, остальные стояли с простреленными плоскостями и разбитыми моторами. Поляна наполнилась едким запахом горящего металла и пороховым дымом. За час пятнадцать минут десант врага был разгромлен.

Круглов приказал доставить пойманного лазутчика к комбату Чистякову через лесную поляну, сказав:

— Возможно, после этой прогулки он будет поразговорчивее.

Двое солдат вели через лесную поляну, усеянную трупами убитых фашистов, лазутчика в штатском костюме. Он шел медленно, озираясь вокруг и видя повсюду мертвые лица своих соотечественников. На лице его отразился испуг, он не верил своим глазам, спотыкаясь о трупы падал, его поднимали, и опять он шел, видя одно и то же — смерть.

Романов бежал через поляну в расположение взвода Круглова. Поставив к ногам Круглова рацию, Романов доложил:

— Товарищ командир взвода, ваш приказ выполнен.

Круглов крепко пожал руку Романову.

Наши войска отошли от лесной поляны в тот миг, когда забрезжила заря нового боевого дня.

ВРАГ У ВОРОТ!



В конце августа 1941 года немецко-фашистские войска повели наступление на Ленинград.

Двадцать девять дивизий (из них три моторизованные и три танковые) — 300 000 гитлеровских солдат и офицеров — были брошены против Ленинграда. Враги шли на нас во всеоружии техники. Они имели свыше 6 тысяч орудий, около 20 тысяч ручных, легких и станковых пулеметов, свыше 4500 минометов, более тысячи танков. Воздушная армия врага насчитывала до 1000 самолетов.

На защиту Ленинграда встали воины Северо-Западного фронта, моряки Краснознаменного Балтийского флота, дивизии Народного ополчения.

Бои шли под Колпино, у Пулковских высот, в четырех километрах от Кировского завода.

Ленинградская партийная организация стала душой героической обороны города. Более шестидесяти процентов коммунистов она послала на фронт.

Защитники Ленинграда смело выступили против фашистов и закрыли им дорогу к городу

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ВРАГ У ВОРОТ

В те дни немецко-фашистские орды так близко подошли к Ленинграду, что с крыш высоких домов можно было видеть их позиции. Трамвай шел до проходной Кировского завода, и тут кондукторша говорила: «Вагон дальше не идет. Дальше — фронт!»

Поездам уже некуда было ходить, и всё это казалось страшной сказкой: как это нельзя поехать ни в Петергоф, ни в Детское Село, ни в Гатчину — погулять в парках, посидеть на берегу моря, посмотреть знаменитые дворцы!

Пароходы по Неве уже не могли подняться к Шлиссельбургу — там сидели немцы. Молодые ленинградцы, ставшие солдатами, сражались на полянах и в рощах, где они бегали в детстве.

Поднялись ленинградцы на великую борьбу за родной город. Непрерывно по улицам шли войска, новые и новые батальоны вышли в бой. А идти недалеко, — это было самое страшное и необыкновенное.

Там, где стояла мирная Пулковская обсерватория, стреляли зенитные батареи, и там, где всегда царила тишина, был непрерывный грохот.

Уходящих воинов провожали их родные. Шли матери и жены, неся на руках детей. Они шли до того куска дороги, за которым дальше уже рвались снаряды.

Одна девушка-санитарка вышла из дому, попрощавшись с матерью и сестрами. Она проехала на трамвае по городу, и город казался ей красивее, чем раньше. А враги где-то очень далеко. Через несколько часов она уже ползла по траве на зов раненого, расстегивая свою санитарную сумку. Тут она услышала хриплые крики и увидела людей не в нашей форме. Это бежали в атаку немцы — прямо на нее.

Девушка сползла в воронку от снаряда и оказалась между нашими и немцами. Наши начали стрелять, и немцы залегли. Они видели, что в воронке девушка, и кричали и издевались. Она тоже стреляла, взяв винтовку у тяжелораненого. Тогда командир сказал:

— Надо выручить нашу девушку.

Он поднял солдат в контратаку, и немцы были опрокинуты. В этой атаке девушку ранили. Ее отправили в Ленинград, в госпиталь, но к вечеру ей стало лучше, и она пошла домой, чтобы отдохнуть, а утром снова вернуться в бой.

Опять она увидела родной Васильевский остров, Неву и улицы с тенистыми деревьями, дом, где она родилась, и свою мать и сестер. Ей казалось, что она прожила целую жизнь, а с той минуты, когда она вышла утром из дому, прошло всего десять часов.

Вот что значило — враг у ворот!

...А по улицам всё шли и шли ленинградцы на фронт. Казалось, что город рождает всё новые полки и что такую силу не сломить никакому врагу. Вдруг на улице за Московским вокзалом раздались взрывы. В небе не было самолетов и не было противовоздушной тревоги. Дым рассеялся, и на земле остались воронки. Это были первые воронки от первых немецких снарядов, упавших на город. Потом все привыкли к ежедневному обстрелу города, а тогда всё было внове.

Д. Д. ШОСТАКОВИЧ

БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ НАШЕ ИСКУССТВО

Выступление по радио

Час тому назад я закончил партитуру второй части моего нового большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение Седьмой симфонией. Итак, мною уже написаны две части. Работаю я над этим с июля 1941 года.

Несмотря на военное время, несмотря на опасность, грозящую Ленинграду, я в довольно быстрый срок написал две части симфонии.

Для чего я сообщаю об этом?

Я сообщаю об этом для того, чтобы ленинградцы, которые сейчас слушают меня, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту. И работники культуры так же честно и самоотверженно выполняют свой долг, как и все другие граждане Ленинграда, как и все граждане нашей необъятной Родины.

Я, коренной ленинградец, никогда не покидавший родного города, особенно остро чувствую сейчас всю напряженность момента. Вся моя жизнь и работа связаны с Ленинградом.

Ленинград — это моя родина. Это мой родной город, это мой дом. И многие тысячи таких же ленинградцев ощущают то же чувство. Чувство бесконечной любви к родному городу, к любимым просторным улицам, к несравненно прекрасным площадям и зданиям. Когда я хожу по нашему городу, у меня возникает чувство глубокой уверенности, что всегда величаво будет красоваться Ленинград на берегах Невы, что вечно Ленинград будет могучим оплотом моей Родины, что вечно будет умножать достижения культуры.

Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья!

Помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать.

Музыка, которая нам так дорога, созданию которой мы отдаем всё лучшее, что у нас есть, должна так же неуклонно расти и совер-

шенствоваться, как это было всегда. Мы должны помнить, что каждая нота, выходящая из-под нашего пера, это очередной вклад в могучую культурную стройку. И чем лучше, чем прекраснее будет наше искусство, тем больше возрастет уверенность, что его никогда и никто не разрушит.

Через некоторое время я закончу свою Седьмую симфонию. Я работаю сейчас быстро и легко. Мысль моя ясная и творческая. Мое сочинение близится к окончанию. И тогда я снова выступлю в эфире со своим новым произведением и с волнением буду ждать строгой, дружественной оценки моего труда.

Заверяю вас от имени всех ленинградцев, работников культуры и искусства, что мы непобедимы и что мы всегда стоим на своем боевом посту.

До свидания, товарищи!

1 сентября 1941 года

А. БЕЙЛИН

ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН

В ночь на 29 августа 1941 года по заводу пронеслась тревожная весть: гитлеровцы заняли Поповку и Красный Бор. Всего лишь несколько километров оставалось им до Колпина, последнего форпоста на пути к Ленинграду.

В помещении парткома двери в этот час почти не закрывались. Всех тянуло сюда — с вопросами, с сомнениями, с горем, которое уже коснулось каждого, и просто для того, чтобы подбодриться. Вскоре заполнились все комнаты и коридоры, а народ всё подходил и подходил.

Георгий Зимин, которого все продолжали называть председателем завкома, хотя уже более двух недель он работал в партийном комитете, обратился к пришедшим с такими словами:

— Дорога на Москву, как вы знаете, перерезана. Ям-Ижора в руках врага... Сегодня фашистская разведка подбиралась к стадиону. Над Колпином нависла прямая угроза...

Он оглядел собравшихся и заметил, как, стиснув пальцы, потупили взор старики.

— Мы должны сформировать заводской батальон и выйти на боевой рубеж... Кто себя плохо чувствует, товарищи?

Поднялось несколько рук.

— Можете возвращаться в цех... Кто не служил в армии?

Снова руки вскинулись над рядами.

— И вы свободны, товарищи.

— Это почему же? Сейчас самое время начинать служить.

Зимин помолчал и, глядя в упор на людей, стоявших перед ним, задал последний вопрос:

— А есть такие, что трусят?

На минуту установилась тягостная тишина, а потом из разных мест послышались голоса:

— Да что вы, Георгий Леонидович... рабочий класс как-никак...

Весь день шло формирование батальона. Собрали оружие, которое имелось на заводе.

Винтовок на всех не хватало. Раздавали гранаты. Младшие командиры показывали, как вставить запал.

Когда перед выходом на рубеж батальон выстроили на заводском дворе, картина получилась довольно пестрая. Кто в стареньком пиджаке, кто в рабочей фуфайке, кто в синей спецовке. Одни в сапогах, другие в туфлях, а некоторые даже в сандалиях. Только Георгий Вениаминович Водопьянов, ижорский инженер, назначенный командиром батальона, был в гимнастерке. В зеленых петлицах горели красные лейтенантские кубики.

Провожать батальон вышло почти всё Колпино. Из каждой семьи уходил отец, или сын, или брат.

Откуда-то очень издалека, словно из глубин небесной чаши, послышался приглушенный вой фашистских самолетов. Они шли высоко над облаками. Шли на Ленинград с бомбами.

Раздалось несколько глухих зенитных выстрелов, яркие огоньки запрыгали по серому куполу неба, и снова стало тихо.

В лесах левее Пушкина вспыхнули огненные языки. Пламя пожара обожгло верхушки деревьев, подпалило край неба. В той стороне, не переставая, гудела канонада.

Бойцы батальона шли неровным строем. Одни молчали, другие, напротив, говорили без умолку. Говорили тихо, хотя в Колпине никто не спал, а противник был еще далеко.

Улицу, подходившую к стадиону, всю уже прошли, и командиры рот попросили провожающих вернуться обратно. Попрощались на ходу и, стоя на обочинах дороги, долго смотрели вслед батальону, пока он не свернул влево в Первую колонию.

— А вы, мамаша, что же не возвращаетесь? — спросил комбат женщину, шедшую рядом с батальоном. — Дальше провожать нельзя.

— Это не я вас, а вы меня, дорогие, провожаете, — ответила она и, показывая рукой в темноту, сказала: — Мой дом вон он — самый крайний в Колпине.

* * *

Сразу же за заводским стадионом начинается эта заветная полоса земли, навсегда памятная ижорцам. Дорогие сердцу места детских игр и прогулок, получившие в войну точные и суровые обозначения: противотанковый ров, траншея, КП, НП, огневая позиция. И даже картофельные поля за колпинскими колониями назывались в ту пору «ничейной землей». Сколько раз наблюдали ижорцы, как приходили туда между нашими и вражескими позициями голодные колпинские женщины. Не обращая внимания на обстрелы, копали картошку, которую в начале лета 1941 года сажали своими руками.

Они трудились здесь и жили,
Не расставались никогда,
И на войну не уходили, —
Война сама пришла сюда.

Завод, развороченный бомбежками, затих на время. Остановился и цех старого ижорца Павла Андреевича Рожкова. Но не надолго. Однажды Павел Андреевич пришел к секретарю райкома и сказал, что, по его мнению, цех надо было бы пускать.

— А сможете ли собрать людей? — спросил секретарь райкома.

Павел Андреевич усмехнулся:

— Люди и так каждый день к заводу ходят, всё ждут, когда их снова позовут к станкам.

— Значит, надо начинать!

Снаряды каждый день приносили городу новые разрушения, разбивали стены домов, разметая дерево и камень. В эти дни под Колпином завязались новые бои.

На улицах, прижимаясь к стенам домов, бойцы ждали приказа выйти за город.

Тяжелые орудия проходили через мост мимо войск к стадиону. Двигались танки. За городом перекатывалась артиллерийско-пулеметная стрельба.

На улицах было людно. Женщины возили воду из реки. У разбитого деревянного дома кипела работа: бойцы разбирали его на дрова. За соседней кирпичной стеной, прикрывавшей улицу от врага, стояли полевые кухни, машины, обожженные боем танки, и люди сновали среди этого случайно возникшего лагеря.

Прямо с поля боя на завод пришел разбитый танк. Он только что шел в атаку, а теперь, поврежденный вражеским снарядом, вышел из строя. Нужно было вернуть ему жизнь.

Танк установили посреди цеха. За работу принялся самый опытный в цехе Рожкова сварщик Василий Спиридонов. Экипаж оправился от перенесенных в бою испытаний и принялся помогать ремонтировать машину. Отсюда, прямо с завода, люди снова должны были вести ее в бой, не утихавший ни на минуту за вторым противотанковым рвом.

Спиридонов работал быстро и даже не услышал сигнала воздушной тревоги. Над городом снова появились фашистские самолеты. Они шли строем в белых облачках зенитных разрывов и успели сбросить несколько бомб. Одна бомба пробила крышу цеха. Спиридонов упал, залитый кровью. Он был смертельно ранен осколком. Танк вывели из цеха поздно ночью. Ремонт завершили рабочие, заменившие старого мастера.

Однажды на завод приехал генерал. Ему представили Рожкова.

Они встретились впервые, хотя до этого многое слышали друг о друге. Имя генерала часто мелькало на страницах газет, а славу скромного мастера разнесла людская молва.

Генерал рассказал Рожкову о новом заказе, который будет передан цеху.

— Как ваши люди, осилят?

— Заказ будет выполнен в срок, товарищ генерал, — ответил Рожков, — для нас, если хотите, это приказ о наступлении.

На другой день в цехе начали готовиться к новому заданию. Цех всё больше превращался в небольшой завод, где изделие проходило самые различные стадии производства. Металл здесь преображался, подвергался ковке, сварке, токарной и фрезерной обработке.

Дело пошло на лад. Но тут внезапно на цех обрушился новый удар. Один из важнейших участков был разбит снарядом. Никто из рабочих, к счастью, не пострадал, но работать здесь уже было невозможно.

И тогда Рожков предложил совсем неожиданное. Внизу под разбитым цехом было отличное подземелье. А что если туда перенести станки и смонтировать там участок заново?

Первый станок, установленный под землей, принадлежал токарю Александру Архипову, парторгу цеха. Пока другие станки готовились к переноске, Архипов уже вытачивал на своем первое изделие. Потом рядом установили еще один станок, и соседи начали соревноваться. За ними в соревнование включились и другие.

На седьмую ночь весь участок был переведен под землю.

АЛЕКСАНДР РЕШЕТОВ

* * *

Огонь войны не сжег в душе, не выжег
Ни нежных чувств,
Ни дорогих имен.
Как темен путь!
Вот орудийных вспышек
Мгновенным блеском озарился он.
И в этот миг, взнесенные высоко,
Предстали этажи передо мной,
И глянули ряды дрожащих окон
С огромных стен, израненных войной.
Рванулось сердце,
Словно ждало знака.
Но мы в строю —
И всё, что мне дано:
Из тысяч окон, глянувших из мрака,
Лишь различить заветное окно.
И прошагать в ночи осенней мимо,
Во имя встреч, благословляя ту,
Что, может, в этот час,
Тоской томима,
В грохочущую смотрит темноту.

ВСЕВОЛОД ВОЕВОДИН

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В гостиных, в театральном фойе заводского Дома культуры среди зеркал и декоративных растений, в коридорах и на лестничных переходах всюду расположились беженцы. Здесь были женщины с окровавленными тряпками на головах, старики, побелевшие от дорожной пыли, дети с угрюмыми, точно темной водой налитыми глазами, уже насмотревшимися на трупы по обочинам дорог. Впрочем, те, что поменьше, смеялись и бегали друг за другом по коридорам, а когда нарастал гул артиллерийского боя в предместьях, вздрагивали и, прислушиваясь, настороженно вертели головами на тоненьких шеях.

В этот день по Дому культуры дежурила заведующая библиотекой Савельева. Их оставалось на месте человек двадцать служащих, не больше, — прочие ушли в армию либо выехали на восток вместе с последними заводскими эшелонами. Савельева отказалась ехать по той причине, что, немолодая женщина, она была одинока, о близких, стало быть, ей не нужно было беспокоиться, а о себе, о своей судьбе последние дни и недели она вовсе не думала и не хотела думать.

Этот день был особенно напряженным. Люди, измученные многодневным переходом в дыму горящих деревень и торфяников, под августовскими проливными дождями, под частыми обстрелами с воздуха и под артиллерийским огнем, валились с ног от усталости. Им нужен был кипяток, хлеб, чистый бинт, место хотя бы на полу у стенки, к которой можно прислониться головой, и Савельева бегала вниз-вверх по этажам, в кухню за кипятком, на медпункт за бинтами, к директору за разрешением разместить в кинозале еще одну партию этих людей или устроить на заднем дворе коновязь и не думала о себе и о том, что еще будет завтра.

Но вот пришел приказ — всех беженцев немедленно отправить дальше, в центральные районы города. Мимо завода под виадук объездной железной дороги тянулись телеги с узлами и корзинами, в которых квохтали куры, вереница понуро шагавших людей растянулась до самой заставы, вперемешку с ними брел их скот, гурты свиней тру-

сили по трамвайным рельсам, своим хрюканьем и бестолковой побежкой веселя подтягивавшиеся к фронту колонны красноармейцев.

Дом опустел. Во всех его четырех этажах сразу наступила тишина, в которой еще отчетливее стал слышен слитный, глухой, перемежаемый только наиболее близкими разрывами гул боя. Пока здесь бегали дети и кто-то суетился и кто-то, плача, рассказывал о своих несчастьях, еще можно было не прислушиваться к этим грозным отголоскам, но сейчас каждый служащий, оставшийся в Доме, чувствовал себя один на один с тем, что надвигалось оттуда, с прилегающей к морю равнины.

Савельева раздавала газеты командирам какой-то проходившей мимо части и вдруг услышала, как ее помощница спрашивает одного из них: «Все, все уходят, объясните мне, может быть, и нам уходить?» А он ответил ей: «Чего же так торопиться, еще даже пулеметов не слыхать». Непонятно было, шутит он или говорит всерьез, но у Савельевой совсем нехорошо стало на душе.

Близился вечер, когда она вдвоем с комендантом Дома пошла в обход по обезлюдевшим кабинетам и гостиным. В окнах, обращенных к западу, далеко видна была равнина, рассеченная на четырехугольники строительных участков, огородов, заводских свалок, и на расстоянии она казалась пустынной. Пушки стреляли всё реже и реже: там, на передовых линиях, наступило затишье. Тишина пустых комнат; огромный, на километры растянувшийся за окнами завод, тоже обезлюдевший, но еще живой, время от времени точно напрягавшийся разорвать эту томительную тишину то визгом электрических сверл, то струйками свистящего пара, розовеющего на солнце, над уже затемненными крышами цехов; грязь и запустение в комнатах: обрывки старых газет, тряпье, огуречная кожура и рыбьи кости на паркете, — всё это таким гнетом ложилось на душу, что библиотекарша с трудом удерживала себя от того, чтобы не разрыдаться. Внизу, под лестницей, перекликались голоса, — это бойцы заводского артдивизиона, старики, не ушедшие в армию по призыву, оборудовали в подвале свою казарму. Здесь же, на четвертом этаже, только тихонько позвякивали люстры от орудийных раскатов.

Войдя в угловую, самую дальнюю гостиную, Савельева внезапно остановилась в дверях. В сумеречной глубине зеркала она увидала девушку. Точно не веря своим глазам, она всмотрелась, — ошибки не было, в самом деле на диване спала девушка. Ее левая рука была закинута за голову, а правая лежала на груди, плавно приподнимаясь и опускаясь с каждым вздохом. Согнутая в колене нога склонилась набок, слегка придавив другое колено и сообщая всему телу свободный и чуть изнеженный изгиб. Отраженная в зеркале, замкнутая в его тяжелую раму, эта спящая девушка казалась такой далекой всему

тому, что происходило вокруг, и Савельева невольно опять перевела взгляд в темную глубину зеркала. Не сразу она разглядела вещевой мешок, валявшийся возле дивана на полу, и следы дорожной пыли на лбу и на щеках спящей, и ее чулки, порванные на пятках.

— Барышня,—сказал комендант, теребя девушку за плечо. — Милая моя, очнись!

Тотчас она открыла глаза и села, свесив ноги на пол. Сон отлетел от нее мгновенно. Она оглядывалась по сторонам, видимо встревоженная тем, что вокруг так тихо и так пусто. Худенькая, белоголовая, в нескладно скроенной кофте, она была совсем не так хороша, как во сне.

— Все уже ушли? — сказала она с испугом. — Куда все ушли? А почему не стреляют?

Савельева успокоила ее, потом спросила — откуда она.

— С Луги, — сказала девушка, доставая из выреза в кофточке паспорт, завернутый в носовой платок вместе с небольшой пачкой денег. Звали ее Ниной Легошиной, ей было восемнадцать лет, больше, чем можно было дать на первый взгляд.

— Приказ был освободить помещение, — хмуро сказал комендант. — Так что, милая моя, надо тебе всё-таки уходить.

Пока она надевала туфли, расчесывала волосы гребешком, все трое молчали. Потом девушка спросила:

— Вы тоже уходите?

Савельева объяснила ей, что им уходить не надо, потому что они тут служат.

— От заставы сядешь на трамвай, — сказала Савельева.

— Зачем?

— Ну, чего же пешком-то... Кто-нибудь у тебя есть в городе?

Держа в зубах гребешок, девушка узлом скручивала волосы на затылке и только чуть качнула головой. Никого у нее нет.

— Так куда же отсюда пойдешь?

— Не знаю, — сказала девушка.

Она вышла; Савельева и комендант молча смотрели ей вслед. Уходила она медленно, сутулясь и волоча ноги, видно было, что ей больно ступать.

— Девчонка ведь! — неизвестно к чему сказал комендант, а Савельева опять перевела взгляд на зеркало, точно там, в совсем потемневшей его глубине, закинув руку за голову, всё еще спала белоголовая девушка.

Но когда они, обойдя еще раз комнаты и заперев за собой все двери на ключ, снова вышли на лестницу, девушка стояла на ступеньках вполоборота к ним, как бы в раздумье — спускаться ей дальше или подождать еще?

— Слушайте, я вот что подумала, — сказала она, не дожидаясь, пока ее спросят, почему она не уходит. — Раз тут будут люди, может, можно и мне? Конечно, даром меня никто не будет держать, так я бы пока хоть уборщицей...

— Ну, не знаю, — сказала Савельева. — Это не от нас зависит.

— Хоть уборщицей. Мне ведь только прожить.

Савельева велела ей подождать тут на лестнице, пока она разыщет директора Дома.

Внизу, в вестибюле, как-то странно сжавшись и вобрав голову в плечи, точно прячась за дверьми, стояла Лиза, ее помощница. Она обернулась, и стало видно, что губы у нее дрожат.

— Слышите? Это пулемет...

В гул артиллерийской стрельбы, теперь снова усилившейся, врывалась четкая, сухонькая трескотня.

— Господи, Лиза! — сказала Савельева. — Весь день ведь стреляют, — не всё ли равно, из чего. Юрий Павлович не проходил здесь?

Директора она нашла в подвальном помещении; он наблюдал, как баянист, буфетчица и машинистка под руководством дворника устанавливают возле окна железную печурку.

— Так что ей надо-то? — переспросил директор, когда Савельева рассказала про девушку. Слова не сразу доходили до его сознания.

Пришлось повторить всё сначала: девушка бежала из Луги, негде жить, просится пока хотя бы уборщицей. Вдали (разговаривая, они вышли из подвала во двор) опять отчетливо были слышны раскатистые пулеметные очереди.

— Раненый один говорил, — сказал вдруг директор: — Мга со вчерашнего дня уже отрезана.

Он снял очки, и не от слов его, а от того, что библиотекарша увидела его глаза — глаза старого человека, подслеповатые, казавшиеся без очков такими беззащитными, она даже вздрогнула.

— Так надо заявление от нее и пусть сдаст паспорт коменданту. Я же не могу без прописки. — Он опять говорил о девушке, и так ворчливо, точно выговаривал Савельевой за то, что она не могла сразу принести ему заявление и сдать паспорт коменданту, и словно бы это она, а не он сам, отвлеклась от делового разговора. — Теперь еще с карточками будет возня.

— В крайнем случае я сама, — сказала Савельева. — Завтра.

— Ну, разумеется, завтра...

Над низкой кромкой облаков закат был как зарево. И оба они, говоря о завтрашнем дне, о карточках, о том, что паспорт надо отнести в милицию непременно с утра, смотрели туда, на закат.

Девушка дожидалась Савельеву на прежнем месте. Она сидела на ступеньках, охватив руками колени, и голова ее щекой лежала на ко-

леңях. Она вновь уснула. Молча она выслушала всё, что ей говорила Савельева, не задавая вопросов, не благодаря, точно забыла сама о своей просьбе, и так же молча спустилась следом за ней в подвал, и лишь когда библиотекарша усадила ее на свою койку, сказав: «Ты отдыхай пока, я раньше ночи не приду», — вдруг улыбнулась ей так благодарно, так хорошо, что Савельева провела рукой по ее лицу и не сразу отняла свою руку:

— Завтра комендант поставит и тебе койку. Спи, Нина.

И как-то странно ей было слышать себя, вот эти свои обыкновенные слова о койке, которую надо будет поставить завтра, а отчего это — она не могла дать себе отчета.

Так прошел день. Отголоски боя то затихали, то нарастали опять, и когда стемнело, облака окрасились багровыми вспышками разрывов и мертвенным свечением ракет.

Маршевый батальон остановился в Доме на ночлег, и опять Савельева бегала в кухню — обеспечить бойцов кипятком — и раздавала газеты в читальне, и Дом опять гудел людскими голосами и топотом тяжелых солдатских сапог. Но к полуночи успокоилось всё, — только грохотало и вспыхивало за окнами, — и ровно в полночь Савельева сменилась с дежурства.

Спали в гостиных бойцы, положив рядом с собой винтовки с отомкнутыми штыками. Тихо было в подвалах. Девушка лежала на койке, свернувшись в комок, ее ноги в порванных чулках зябли, и она так смешно подворачивала их одну под другую. А у стола под лампочкой сидела Лиза, бледная, осунувшаяся за день, и рядом с ней старик Репнин, знакомый Савельевой мастер — нынче командир батареи в заводском артдивизионе. Подняв к свету свое благообразное лицо, он щурился одним глазом и всё никак не мог продеть нитку в иглу и на все Лизины уговоры отвечал: «Отстань, я сам».

Савельева поздоровалась с ним. Он кивнул на спящую девушку:

— Откуда?

— С Луги. Работать осталась у нас уборщицей.

— Ну какой же ей интерес уборщицей? Молодая, на завод лучше пусть идет, там в людях нужда. Через годик человеком станет. — Наконец он продернул нитку и неторопливыми, умелыми стежками принялся зашивать прорванный на локте ватник. — Непременно пусть идет на завод, а то что — уборщицей!

Девушка даже не проснулась, когда Савельева легла рядом с ней и себя и ее накрыла своим макинтошем. Репнин замолчал, только большая его рука размеренно ходила над столом, он шил и время от времени вскидывал глаза, оглядывая спящих, точно караулил их сон.

— Через годик... — повторила вслух Савельева и рассмеялась. Старик внимательно поглядел на нее, а она закрыла глаза и притво-

рилась, что уже засыпает. Голова девушки лежала у нее на плече. — Через год...

И не мысль, а что-то еще не выраженное, вот-вот только готовое найти себя в словах, вдруг как бы поднялось в ней, что-то такое спокойное, такое ясное про эту девушку и про этого хорошего, умного старика, про всех них, спящих в подвале под исступленный грохот войны, что библиотекарша даже положила руку себе на грудь, так стало биться сердце. Чужая эта девушка, которая ровно дышала ей в лицо, с которой под трескотню пулеметов говорила она сегодня о работе, о койке в общежитии, обо всем самом простом и самом обыкновенном, была как бы подтверждением тому невысказанному словами, что сейчас поднималось у Савельевой в душе. Отсюда они никуда не уйдут.

— Завтра с утра не забыть сказать коменданту...

Репнин, уходя к себе в казарму, накрыл ее ноги своим ватником. Она спала.

...В этом городе и в этом Доме за старой Нарвской заставой она пережила все муки войны, голод, морозы трех военных зим, видела трупы на снегу, кровь, увечья, развалины, скалывала лед, копала землю, отмороженными руками разбирала книги в читальне с девушкой, с которой свела ее судьба, делила свою койку, свой хлеб, и она не ошиблась в тот день и в ту ночь, когда били близ взморья пулеметы и полыхало небо, — покой вернулся ко всем ним, и все они — живые — нашли свое счастье.

ВСЕВОЛОД АЗАРОВ

ВСЯ В ЗВЕЗДАХ НОЧЬ

Всеволоду Вишневскому

Вся в звездах ночь,
Вся в крыльях тьма,
Подобны воинам дома,
Жилища грозные — как доты,
Гранитных глыб архипелаг.
Идет по площади моряк
Прославленной морской пехоты.

Здесь, помнишь, на глазах расцвел
Высокий сад, здесь мы взрослели,
Здесь мы вступали в комсомол,
И всё, чего б мы ни хотели,
По праву открывалось нам:
Мы становились моряками,
Вставали — гордые — к станкам,
Мы поднимались к небесам,
В глубины шахт, к полярным льдам
Пути прокладывали сами!

И если спрашивали нас,
Кто созидать учил и драться, —
С понятной гордостью не раз
Мы отвечали: «Ленинградцы!»
Глядит моряк на город свой;
Гуляет ветер над Невой,
Пусты кварталы темных улиц,
Но не застыли, не уснули, —
Штыками заслонили вход,
И окна за щитами скрыты.
Наш город жив, он в бой зовет,
Мы, Ленинград, твоя защита!
Неодолимый Ленинград!

С бойцами вместе город наш
Теперь участвует в сраженьях.
И Летний сад,
И Эрмитаж,
И славный Университет,
И Смольный...
Вот заветный след, —
Когда-то проходил здесь Ленин.

Глядит моряк на город свой;
Он словно лагерь боевой.
Отец и брат, сестра и мать,
Уходят семьи воевать.

Я в этом доме долго жил,
Вот мост, где я стоять любил
С тобой над невскою волною
Апрельской ледяной весною.
И каждый дом и каждый камень
Поставлен нашими руками.

Гляди, моряк, на город свой —
Он стал суровей, непреклонней,
Пусть с пьедесталов над рекой
Уходят бронзовые кони.

Пусть в пулеметных гнездах он
И в многостенных баррикадах,
Пусть никогда не брезжит сон
В глазах упрямых Ленинграда.

Но счастлив я, и ты, и он,
Вдыхая грозовой озон.
В бой, ленинградские отряды!

Пройдя огонь и смертный мрак,
Мы стали крепче, боль изведав.
Вперед! Разгромлен будет враг.
В бой, ленинградцы, — за победу!

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ

НА БАЛТИКЕ

Из дневника
военного корреспондента

СУТКИ В КРОНШТАДТЕ

В мирное время пройти морем на быстроходном катере из Ленинграда в Кронштадт было очень просто. На это требовалось сорок—пятьдесят минут. Нева походила на широкий людный проспект. Пассажирские пароходы плыли к островам, протяжно гудели буксиры, тянувшие грузовые баржи. По обоим берегам Невы высились стапели с корпусами строящихся кораблей. Сверкали огни электросварки, в ушах стоял гул пневматических молотков.

Катер шел по длинному узкому каналу. У причалов Торгового порта стояли десятки судов под флагами различных наций. Длинные хоботы портальных кранов тянулись к трюмам пароходов, загружая их зерном и строительным лесом.

Здесь, в устье Невы, начиналась широкая морская дорога на Запад.

Катер подходил к гранитным стенкам Кронштадта. Сигнальщик, ловко манипулируя флажками, просил «добро» на вход в гавань.

Так было в мирное время. Теперь Кронштадт стал для нас далеким и труднодоступным. Мы в огненном полукольце. Сразу за Морским каналом кусок побережья в руках противника: в Лигове, Стрельне, Петергофе стоят немецкие пушки; они прямой наводкой бьют по кораблям, катерам и даже рыболовным баркасам.

Выход корабля из Ленинграда в Кронштадт или возвращение его в Ленинград — это боевая операция. Она заранее разрабатывается в штабе, нередко в ней принимают участие артиллерия, авиация, катера-дымзавесчики.

Вот и на этот раз моряки бронекатера готовятся к походу в Кронштадт так, будто им предстоит морское сражение: проверяют моторы, пробуют зенитные пулеметы. Командиры катеров смотрят на карту, где проходит фарватер и обозначены минные поля, поставленные нами и противником.

Наконец получено «добро» на выход. Заревели моторы, катера оторвались от стенки.

Мы шли обычным путем. На стапелях Балтийского завода, как и в мирное время, вспыхивали белые огни электросварки. В порту кроме нескольких десятков торговых судов стояли боевые корабли.

Катера набирали ход, и очень скоро Морской канал остался у нас за спиной.

— Обстреливают, — сказал кто-то из командиров.

И в ту же минуту послышались звонки электрического телеграфа. Катера рассредоточились и стали маневрировать, уклоняясь то в одну, то в другую сторону с таким расчетом, чтобы немецкие артиллеристы не могли точно прицелиться и взять их в «вилку».

Вдруг наш катер дрогнул от близкого разрыва снаряда, и на стекла моих очков упали брызги.

Теперь ясно различались столбы воды и черные дымки, стелившиеся над водой ближе к берегу. Немцы, явно не рассчитав, стреляли с большим недолетом. Из многих десятков снарядов, выпущенных береговыми батареями врага, только два или три упали вблизи от нас.

Так на всем пути нас обстреливали сперва батареи Лигова, потом Стрельны и Петергофа... До самых кронштадтских стенок мы шли под непрерывным обстрелом.

А Кронштадт жил, как сразу показалось мне, своей обычной будничной жизнью. На Ленинской улице почти лицом к лицу я встретился с маленьким пожилым человеком в пенсне на длинном черном шнурке. Он был в полотняных брюках, в неизменном синем пиджаке и соломенной шляпе. Это мой старый знакомый, учитель, кронштадтский старожил.

— Куда вы торопитесь?

— Известно куда, милый человек. В школу, на занятия.

— А снаряды?

Он махнул рукой:

— Привыкли уже. Вы, милый человек, в девятнадцатом под стол пешком ходили, а я уже тогда приучался к снарядам...

Посмотрев на часы, он пожал мою руку:

— Ох, милый человек, бегу, бегу. Как бы не опоздать... А то еще, не дай бог, тревога начнется...

Я посмотрел вслед старику.

Ему и впрямь нечего было страшиться. Он знал, что Кронштадт смолоду жил суровой осадной жизнью. Расписаны по боевым постам были все жители, вплоть до учеников-подмастерьев. Это правило XVIII века передавалось от одного поколения к другому.

Я зашел к секретарю Кронштадтского райкома партии Евгению Ивановичу Басалаеву, которого здесь знали все от мала до велика. И это понятно: он родился и вырос в Кронштадте. Многие из тех, кто

теперь приходил к нему на прием, очень хорошо помнили, как Басалаев когда-то в детстве играл с ребятами в бабки.

— Что делается в Ленинграде? — спросил Басалаев — человек любознательный, старавшийся быть в курсе всех событий.

Я посмотрел на батарею телефонов возле письменного стола и сказал:

— По-моему, у вас связь со всем миром.

— Это верно. Только по телефону нас не очень охотно информируют.

Я спросил Басалаева, чем занят райком.

— Вы лучше спросите, чем мы не занимаемся! Ремонтируем корабли. Переселяем людей из разбитых зданий. Снимаем урожай овощей. Налаживаем рыбное хозяйство. Открываем новые детские ясли. Хороним погибших. Принимаем новорожденных...

— Даже новорожденных?

— А как же! Каждые сутки в Кронштадте рождается шесть-семь новых граждан. Только беда — кавалеров маловато, всё больше барышни, — сказал он шутя. — Природа совсем не считается с тем фактом, что Кронштадт город флотский и нам в первую очередь нужен мужской персонал.

Затем Басалаев перешел к делам продовольственным:

— Хотим иметь неприкосновенный запас на случай полной блокады. Заготовляем овощи. Создали новые рыболовецкие артели и усиленно ловим рыбу. Мало ли что может быть...

Во время нашей беседы где-то поблизости завыла сирена, дублируя сигнал воздушной тревоги. Басалаев заторопился на командный пункт. Я вслед за ним вышел из райкома и посмотрел в сторону гавани. Небо усеяли прозрачные белые барашки. Где-то очень высоко кружились наши истребители.

Со стороны форта «Краснофлотского» доносился гул зениток. Вскоре вывалилась девятка «юнкерсов». Они срывались в пике и бросали бомбы на гавань, в которой стояли корабли. В небе появились черные клубки разрывов. Один вражеский самолет загорелся. Быстро теряя высоту, он шел в сторону Петергофа. Рассказывали потом, что самолет не дотянул до своих и упал в море.

Пока я наблюдал за этим самолетом, остальные «юнкерсы» побросали бомбы и исчезли. А в голубом зените не прекращалась воздушная битва наших ястребков с немецкими «мессерами». Всё небо было исчерчено белыми вензелями. Понять, кто кого бьет, было очень трудно. Только к вечеру стали известны результаты боя: три немецких бомбардировщика были сбиты, но и мы потеряли два истребителя.

В наши дни Кронштадт называют «огневым щитом Ленинграда».

Это действительно так. Кронштадтские форты вместе с боевыми кораблями помогли остановить фашистов у стен Ленинграда.

На многих участках Ленинградского фронта среди серых шинелей бойцов и командиров вдруг появляется человек в черной морской форме. Это корректировщик огня, «депутат Балтики».

Пленные показывают, что не будь Кронштадта, Гитлер мог с ходу овладеть Ленинградом. Вот почему фашисты хотят сломить Кронштадт ударами с воздуха. Каждый день на рассвете пикирующие бомбардировщики летят на Кронштадт — одна волна за другой... У нас еще мало самолетов-истребителей, и они не могут сдержать атаки врага.

Пикировщики стараются миновать форты, — там очень сильная зенитная оборона. Обходным путем они прорываются к гавани и нацеливают свои удары на боевые корабли, притом на самые крупные корабли нашего флота.

На протяжении двух дней — 22 и 23 сентября — бомбы взрывались в гавани. Стволы корабельных зениток раскалялись от непрерывной стрельбы. Трудно было нашим морякам отбиваться от самолетов, наседавших со всех сторон. В один из этих дней наш флот постигло большое несчастье: бомба весом не меньше тонны попала в линкор «Марат».

Сотни людей, которые были на других кораблях, стоявших недалеко от «Марата», наблюдали страшную картину: носовая часть линкора вместе с мостиком, надстройками, вместе с орудийной башней и людьми, находившимися в эти минуты на боевых постах в задраенных отсеках, оторвалась от корабля и была похоронена в пучине на дне гавани.

Всё это произошло мгновенно. Сразу после удара ошеломляющей силы, когда столб воды вместе с обломками корабля, поднятый взрывом выше корабельных мачт, снова обрушился вниз на палубу, люди увидели, что у линкора нет носовой части, а разрушенные отсеки быстро заполняются водой.

С этого дня линкор «Марат» перестал существовать как корабль, но до конца войны оставался в строю грозной плавучей батареей.

Нет больше «Марата», но живут и сражаются моряки линкора «Октябрьская революция», крейсеров «Киров», «Максим Горький», лидера «Ленинград», десятков миноносцев... Вместе со старинными фортами Балтики они и образуют «огневой щит Ленинграда».

В разное время суток корректировщики вызывают по радио крейсер «Киров», и он откликается огнем своих дальнобойных орудий.

— Левый борт, центральная наводка! — ясно и отрывисто произносит каждое слово командир боевой части. — Снаряд фугасный, заряд усиленный. Орудия зарядить!

Разворачивается башня. Открываются замки. Из погреба подаются снаряды. Всё это занимает считанные минуты. Тут же слышится звук ревуна, и башня содрогается от залпа, посылая десятки снарядов на северный берег, где финны на небольшом участке фронта попытались перейти в наступление.

И в тот же час запрашивают помощь наши войска на южном берегу Финского залива.

Башня медленно и плавно поворачивается на правый борт. Теперь корабельные снаряды обрушиваются на южный берег.

А с фронта в эфир идут донесения корректировщиков: «Перелет, вынос вправо».

Командир боевой части склонился над планшетом и снова командует:

— Прицел меньше два, целик лево три... На поражение! Ревун!

Одно лишь нажатие кнопки — и новые залпы сотрясают крейсер; из дула орудий после каждой вспышки огня плывут в воздух струйки черного дыма.

Радист довольно улыбается, протягивая командиру очередное донесение с суши, состоящее всего из двух слов, таких коротких и радующих моряков: «Цель накрыта».

Снаряды крейсера «Киров» накрыли фашистские танки, рассеяли пехоту, сосредоточившуюся для атаки. Поразили цель! В трудные минуты помогли нашим солдатам, которые дерутся из последних сил, отбивая по двадцать—тридцать атак в сутки!

* * *

В маленькой комнатушке общежития Дома Военно-Морского Флота с одним окном, выходящим во двор, я нашел писателя Всеволода Витальевича Вишневского. Он сидел за письменным столом без кителя, в синей телогрейке. Глаза у него были усталые. С вечера он не ложился.

— Я даже не заметил, как ночь прошла. Зато моя история Кронштадта близится к концу, — говорит он и показывает десятки страниц, исписанных мелким бисерным почерком.

Не каждому в такое тревожное время, когда решалась судьба Ленинграда, могла прийти в голову мысль ежедневно рыться в архивных документах, сидеть в библиотеках, терпеливо собирать материал для книги. Всеволод Витальевич делал это с большой охотой. Он знал, как нужна политработникам книга о боевом и революционном прошлом города-крепости, о славных традициях балтийских моряков. И, продолжая заниматься текущей оперативной работой, Вишневский одновременно изучал материалы и писал такую книгу.



Дежурные наблюдатели на крыше Библиотеки Академии наук.



Замерз водопровод.



Пришел голод. Голод не миновал детей.

На кораблях и в окопах под Ленинградом, на аэродромах и в госпиталях — в самых неожиданных местах можно было встретить Вишневского и услышать его живое, пламенное слово.

Он руководил писательской группой при Политуправлении Балтфлота. В нее поначалу входили писатели, очень разные и по возрасту, и по характеру, и в творческом отношении: критик Анатолий Тарасенков, поэт Всеволод Азаров, прозаики Александр Зонин, Григорий Мирошниченко, Владимир Рудный, Илья Амурский.

Если Зонин, Мирошниченко и Амурский — участники гражданской войны, то все остальные еще никогда не нюхали пороха. Вишневский показывал пример, как нужно работать в военной обстановке.

...Мы поговорили о делах и отправились в Петровский парк. Над бухтой — серой, молчаливой — заходит солнце. Продолговатые тени деревьев ложатся на аллеи. Останавливаемся у бронзовой фигуры Петра. На граните высечена надпись: «Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело».

Смотрим на темно-синий массив Петергофского парка, охваченный пожарами. Зарево полыхает над парком, отблески огня на миг выхватывают из полумрака дворец и купол собора.

— Надо действовать, — говорит Всеволод Витальевич, вернувшись в общежитие. — Я написал очерк для радио и завтра буду его читать... Собирайте вещи. Пойдем на катере.

Мы сложили вещи в рюкзаки, перекинули их за плечи и вышли во двор. Прошли несколько шагов, вдруг издалека донесся грохот взрывов. «Везет как утопленникам, — подумал я. — Весь день было спокойно, а тут, как на грех, началось...»

Обстреливались соседние улицы. Милиционеры поддерживали порядок и всех прохожих направляли в подворотни. Глядя на широкую золотую нашивку на рукаве Всеволода Вишневского, милиционеры нас не останавливали и почтительно козыряли.

Мы ускорили шаг и вышли к будке дежурного по катерам. Мичман с сине-белой повязкой на рукаве удивился нашему появлению:

— Обстреливают, товарищ бригадный комиссар. Начальник штаба флота по боевому делу собирался, и то отставил, а вам подавно незачем рисковать...

— У нас тоже боевое дело, — сказал Вишневский. — Где катер?

У пристани стоял маленький штабной катерок. Старшина бросился в моторный отсек. У него что-то долго не ладилось. Наконец зарокотал мотор, и катер отвалил от стенки, проскочил сквозь узкие ворота и запрыгал на высокой волне.

Пока катер проходил вдоль стенки, противник перенес огонь с города на военную гавань. Вишневский стоял с невозмутимым видом,

смотрел в сторону гавани и делал очередную запись в своем дневнике, который вел с поразительной аккуратностью день за днем, час за часом.

Катер огибал Кронштадт, чтобы выйти к Лисьему Носу, оттуда поездом мы могли добраться в Ленинград.

Несколько снарядов попало в нефтяные цистерны, возвышавшиеся на берегу. К небу взметнулись столбы огня, и над водой поплыл густой черный дым. Наблюдатели противника не могли не заметить этого, и теперь все снаряды были обрушены в район пожара. Мы проходили на расстоянии не больше двухсот метров от баков, охваченных огнем. Снаряды свистели над головой и падали то в воду, то в самое пожарище.

Катер уже обогнул Кронштадт, и мы ушли сравнительно далеко, но в поле зрения еще долго продолжало оставаться пламя горящих цистерн.

В сумерках катер пришвартовался к пирсу Лисьего Носа, мы вышли на берег и по лесной дороге направились к вокзалу.

У срубленной сосны сделали последний привал. Сняв тяжелые рюкзаки, набитые книгами, вещами и рукописями, мы сели на большой круглый пенек, и в эту минуту неожиданно прокатился удар. В нескольких шагах от нас из земли поднялись дула орудий, устремленные в небо. Нас ослепили огненные вспышки. Зенитные орудия били учащенно, над нами высоко в небе плыли фашистские самолеты.

Вишневский сказал:

— Идут на Ленинград. Схватить бы их за горло да в море...

Он вспомнил о поезде, и мы быстрее зашагали к вокзалу. Гул зениток не утихал. На всем пути нас сопровождали желтые вспышки наших зенитных орудий.

С воинским эшелоном мы добрались до города, вышли на затемненный перрон Финляндского вокзала. И тут били зенитки, а в воздухе метались прожектора.

— Куда теперь? — спросил я Вишневского.

— Разумеется, в радиокомитет.

— Но ведь тревога, трамваи не ходят?!

— А на что нам ноги даны? — ответил он и подтянул портупею.

Мы пошли к Литейному мосту.

Вскоре из радиорупоров послышались звуки отбоя. Двинулись трамваи, и мы прибыли в радиостудию на десять минут раньше условленного срока.

Сообщили, что студия свободна. Мы поднялись в третий этаж. Вдруг раздался сигнал воздушной тревоги. Худенькая маленькая девушка — сотрудница отдела политвещания — провела нас в студию.

Заметив, что она волнуется, что руки ее дрожат, Всеволод Витальевич дружески погладил ее по плечу:

— Ничего, милая, мужайтесь. Сейчас мы им ответим по-нашему, по-балтийски...

Девушка улыбнулась, надела наушники, нажала кнопку, и у нас перед глазами вспыхнуло красное табло:

«Внимание, микрофон включен!»

Вишневский, как солдат по команде «смирно», выпрямился, опустил руки по швам и с обычной страстностью начал говорить. Его выступление кончалось словами:

«И если нужно, мы погибнем в борьбе, но город наш не умрет и никогда не покорится врагу!»

В ДОМЕ НА КОЛОКОЛЬНОЙ

С продовольствием в Ленинграде день ото дня всё хуже и хуже. От прямого попадания зажигательных бомб сгорели знаменитые Бадаевские склады с продуктами. Такая потеря невозместима, если учесть, что сообщение со страной поддерживают лишь транспортные самолеты. Они же доставляют муку, мясо, крупы... Но сколько груза могут перебросить самолеты? Очень мало по сравнению с потребностями города-фронта. Вот почему уже несколько раз сокращалась хлебная норма. Наш военно-морской суточный рацион предельно скромен. Даже горячая вода у нас нормируется. Оставшаяся от утреннего завтрака пара тоненьких ломтиков хлеба весом в 50 граммов и малюсенький, почти невесомый кусочек масла переносятся на обед.

После обеда я отправился в город. На улице меня кто-то окликнул. Я оглянулся. Передо мной стоял совершенно истощенный человек в полупальто и черной барашковой шапке. Куда-то в пространство смотрели безжизненные, стеклянные глаза.

— Вы, конечно, меня не узнаёте, — медленно сказал человек. — Неудивительно. Мы с вами не виделись целую вечность. Может быть, вспомните техника Рохлина.

Конечно, я его вспомнил. Человек на редкость скромный и трудолюбивый, он был одним из творцов орудий, которыми вооружались наши корабли и береговые батареи.

— Пушки-то наши дают немцам жару... — сказал он и слабо улыбнулся.

— Неужели и сейчас работаете?

— Раз флот живет, то и мы обязаны жить.

— Как же вы добираетесь в такую даль?

— Пешком. Туда и обратно двадцать четыре километра. Всё

время ходил, бодрился, а вот вчера на улице упал два раза. Ноги тяжеловаты стали. Завтра, пожалуй, останусь ночевать в цехе. Многие так и живут на заводе, а мне нужно ходить. Семью надо поддерживать...

— А как жена, дочка?

— Живы пока. Пойдемте к нам. Увидите сами...

Я взял его под руку, и мы пошли сперва по Владимирскому проспекту, потом повернули на Колокольную.

Пока мы поднимались на пятый этаж, Георгий Михайлович несколько раз садился на подоконник и отдыхал.

Вошли в темную, словно вымершую коммунальную квартиру; я ощупью пробирался по коридору за Рохлиным. Он открыл дверь, мы вошли в комнату, наполненную запахом гари.

Возле печки на корточках, в пальто и шерстяном платке хлопотала женщина с лицом, измазанным сажей. Это была жена Рохлина — Валентина Ефимовна. На широкой тахте лежала девочка лет шести с большими, грустными глазенками.

— Узнаёшь? — спросил жену Рохлин.

— Как же, как же. Очень рада. Входите, пожалуйста.

— Что у тебя нового? Как ноги? — продолжал муж.

— Пухнут. Насилу встала, — безразличным тоном ответила Валентина Ефимовна. И, обернувшись ко мне, сказала: — Вот так и живем. Ходила на рынок, обменяла ботинки мужа на две плитки столярного клея. Готовлю обед. Сегодня у нас холодец, испробуете?

Женщина в двадцать шесть лет походила на глубокую старуху. Тонкими, высохшими руками она ломала этажерку и медленно подбрасывала щепки в печурку, чтобы чуть-чуть поддерживать огонек.

Девчурка лежала всё такая же печальная и безучастная ко всему. Отец подсел к ней и вынул из кармана пакетик. В бумаге оказался носовой платок, а в носовом платке лежали два тоненьких ломтика хлеба. Он протянул хлеб дочери. Светлана поднялась и стала жадно есть.

Мы сели за стол. В тарелках плавала какая-то слизь, сдобренная перцем и солью. Валентина Ефимовна предложила лепешки из отрубей и объяснила их происхождение:

— До войны я купила в аптеке два пакетика отрубей. Валялись они в сундуке, вчера только нашла. Вот счастье-то! На пять лепешек хватило.

Лепешки, так же как и студень, еще не успевший застыть, горчили, но все ели их с аппетитом, как самое лакомое блюдо.

Наступили сумерки, и хозяйка зажгла коптилку. В печи уже не теплился огонек, в комнате стало прохладно. Я поблагодарил хозяев и ушел.

Ленинград был почти безлюден в эту морозную ночь. В воздухе веяло ледяным дыханием.

По Владимирскому проспекту медленно брели одинокие путники. Посреди улицы, как снежные крепости, возвышались темные громады трамваев. Больше месяца они стояли, запорошенные снегом, обросшие льдом.

На Невском было также темно; изредка проносились машины, сверкая синими огнями. Много дней на улицах снег не убирался, к тому же утром разразилась метель. Люди брели, как в поле, по целине. Снег слепил глаза, лицо превращалось в ледяную маску.

В этот час противник обстреливал набережную Невы, и несколько снарядов попало в здание на бульваре Профсоюзов. Проход и проезд были закрыты. На мосту лейтенанта Шмидта мерцал красный огонек, и толпа людей рассматривала зияющую пробоину, которую образовал снаряд крупного калибра.

Ночью я возвратился в Военно-Морскую Академию на Васильевском острове, в общежитие нашей писательской группы. Война изменила облик этого красивого здания. В комнатах появились железные печки, и почти из всех окон тянулись тонкие струйки дыма. Мои товарищи еще бодрствовали, сидели вокруг времянки и читали вслух «Севастопольские рассказы».

Трудно мне было заснуть в эту ночь. Я долго думал о семье Рохлина и о тысячах таких же ленинградских семей — физически слабых, истощенных голодом, но не павших духом, готовых продолжать борьбу.

Прошло несколько дней. Меня вызвали к телефону. В трубке я услышал женский плач. Несколько минут я не мог понять ни слова. Наконец я узнал по голосу жену техника Рохлина, Валентину Ефимовну.

— Помогите, он умирает... — сказала она.

Приехав на Колокольную, я увидел Георгия Михайловича лежащим на диване. Пустым, стеклянным взглядом смотрел он в потолок и произносил какие-то странные слова. Я взял его за руку, прикоснулся к окоченевшим пальцам и понял, что ему осталось жить считанные часы, может быть, даже минуты. В полузабытьи он говорил:

— Как часто стали умирать... Нет, я не умру... У меня семья, завод... Я не имею права...

Я бросился к ближайшему телефону. Валентина Ефимовна не отставала от меня.

— Хождение его подорвало, — говорила она. — По двадцать пять километров в день ходил. Разве это мыслимо при таком питании! Директор разрешил ему два раза в неделю отдыхать, а он ни за что.

Сами знаете его характер. Твердил свое: «Мы выполняем задание флота. Я коммунист и должен все силы отдать работе». Ну вот и отдал... Вчера упал на улице. Хорошо, что бойцы подоспели и на руках принесли домой.

Как же быть с Рохлиным? Я решил посоветоваться с Всеволодом Вишневским. Позвонил ему, рассказал обо всем и спросил: что делать?

Вишневский посоветовал:

— Звоните командующему флотом...

— Товарищ адмирал, — сказал я. — Звоню по поручению Вишневского. Умирает от голода техник Рохлин. Он пушки отливал для боевых кораблей, а сейчас безнадежно плох...

— Что предлагаете? — спросил командующий.

— Поместите его в морской госпиталь.

— Добро! Сейчас дам указание.

Вскоре на квартиру Рохлиных прибыла «Скорая помощь», и Георгий Михайлович, без сознания, со слабыми признаками жизни, был отправлен в госпиталь. Ему впрыскивали камфору, всю ночь согревали коньяком и какао. Он провел в госпитале немногим больше месяца. За это время мы виделись с ним всего два раза.

Когда Рохлина выписали из госпиталя, он на следующий же день отправился на завод.

— Мы решили эвакуировать тебя с семьей, — сказал ему секретарь партийного комитета.

— Нет, не выйдет! — решительно заявил Рохлин.

— Это почему же, сил не хватит собраться? Так мы поможем.

— Не в этом дело. Пока завод здесь, я никуда не уеду.

И он настоял на своем.

ДРУЖБА С УЧЕНЫМ

На Неве против Зимнего дворца как будто врос в ледяное поле пароход «Полярная звезда». Когда-то это была прогулочная яхта царской семьи. Теперь к ее бортам, точно детеныши к матке, прижались узенькие длинные корпуса подводных лодок.

Всякое может случиться. Вдруг немцы прорвут фронт и бои начнутся на улицах Ленинграда. Тогда вступит в дело целый полк, состоящий из моряков-подводников. Сконструированы десятки специальных саней, на которых легко установить пушки с подводных лодок.

В метели и в тихие морозные дни на набережных и площадях подводники изучают приемы штыкового и гранатного боя, постигают тактику уличных боев. Командиры, получившие в училищах специаль-

ность штурманов, минеров, инженер-механиков, сегодня сошли с кораблей на землю, командуют стрелковыми отделениями, составленными из трюмных, торпедистов, акустиков.

После занятий подводники возвращаются на корабль, обедают и вторую половину дня заняты ремонтом механизмов, подготовкой к выходу в море.

«Полярная звезда» — один из немногих уголков города, где теплится жизнь: по магистрали идет пар, горит свет, работает баня, но зато на каждый квадратный метр приходится не меньше трех-четырех жителей.

Командир базы Александр Климов — высокий полный моряк с большой окладистой бородой — встречает гостей радушно и приветливо. Он хороший службист и страстно любит рапортовать начальству. Иногда я у него ночую...

Как-то раз утром нас разбудили раньше обычного. Дежурный по кораблю сообщил, что к нам идет машина командира бригады подводных лодок Героя Советского Союза Трипольского.

Климов в миг сорвался с койки, но не успел надеть шинель, выйти к трапу и, немного сконфуженный, встретил комбрига у дверей своей каюты.

Александр Владимирович Трипольский — человек богатырского роста и сложения, обычно вежливый и даже добродушный — на сей раз разгневался:

— Долго спите, товарищ начальник... Можно подумать, что у вас нет никаких обязанностей.

— Виноват!.. Виноват, товарищ комбриг. Мы тут поздно засиделись и потому малость проспали... — пытался оправдываться Климов, но Трипольский махнул рукой, дав понять, что разговор на эту тему исчерпан.

— Чем у вас заняты люди? — спросил Трипольский.

— Ремонтом, боевой подготовкой, товарищ комбриг.

— А еще?

— Осмелюсь доложить, что и этого хватает, — отчеканил Климов.

— Ну так вот, будут у вас еще дополнительные дела. Садитесь и давайте всё обсудим.

Климов присел на край стола.

Трипольский продолжал:

— В обкоме партии нам поручили своими силами взяться за восстановление водопровода. Надо дать воду хотя бы в центральный район. Работы уйма, придется отмораживать трубы, ремонтировать дизеля. Трюмных надо послать лучших, самых опытных. Давайте списки, посмотрим, с каких лодок можно снять людей.

Трипольский взял списки и терпеливо перекладывал листки с одного края стола на другой, пока не нашел тех, кому можно поручить выполнить задание. Когда всё было решено, Трипольский направился в мастерскую ремонта механизмов подводных лодок, оборудованную здесь же на корабле. Мастерская помещалась в трюме. Краснофлотцы работали, чуть не задевая локтями друг друга.

Краснофлотец Кучеренко копался в сложном сплетении проводов гидроакустического прибора, его сосед разбирал мотор.

Они вскочили, увидев Трипольского, но комбриг сделал знак продолжать работу. Он подошел к электрикам:

— Вам есть поручение.

Краснофлотцы встали и насторожились.

— Эрмитаж знаете?

— Еще бы, напротив нас будет.

— Мы там летом картины и гробницу Александра Невского упаковывали.

— Правильно, — сказал Трипольский. — Стало быть, вы должны знать и директора Эрмитажа, академика Орбели.

— Знаем, ученый человек, — почтительно отозвались краснофлотцы.

Трипольский продолжал:

— Сейчас он пишет научный труд, а в кабинете у него адская тьма. Ходит с фонариком «жиу-жиу»... Мозоли на руке натер... Мы случайно узнали об этом и обещали помочь. Надо побывать у него сегодня же и провести с корабля электричество прямо к нему в кабинет.

— Это мы вмиг сделаем, товарищ комбриг, — сказал старшина электриков и вспомнил, как через несколько дней после начала войны эвакуировался Эрмитаж, вывозилось более одного миллиона экспонатов. Упаковкой картин, скульптур, различных вещей, найденных во время археологических раскопок, занимались сотни людей. И среди них были курсанты Военно-Морского училища имени Фрунзе под командованием вот этого старшины.

Встреча с Орбели осталась в памяти старшины, и, быть может, потому он с таким жаром принял теперь поручение Трипольского.

В тот же вечер моряки-подводники протянули провод через набережную Невы в холодный кабинет ученого. Возвратившись, старшина рассказывал:

— Пришли мы, а там тьма, хоть глаз выколи. Подвели проволоку к настольной лампе, дали свет. Академик обрадовался, даже в ладоши захлопал. Потом сели — закурили. Он на больные ноги жалуется; глянули мы под стол, а там электропечка бездействующая. Ну, мы мигом подвели контакты к печке, и спираль стала накаляться. Академик не знал, как нас благодарить. Вспомнил, что во время эвакуации

моряки картины Ван-Дейка упаковывали, а мы говорим: «Так это мы и работали». Он еще больше обрадовался. «Ну, — говорит, — в долгу я перед флотом, после войны рассчитаемся». Потом мы ему неожиданно вопросик забросили: «У вас баня есть?» Он очень удивился: «Какая же в Эрмитаже может быть баня?» А мы ему говорим: «В таком случае, просим к нам на «Полярную звезду». У нас по субботам ванна топится...»

Академик Орбели принял предложение подводников и стал частым гостем на «Полярной звезде». Но еще чаще видели его на линкоре «Октябрьская революция», на крейсере «Киров», на миноносцах, тральщиках, «морских охотниках»... За время блокады он выступил более двухсот раз с докладами о военном прошлом великого русского народа и на другие темы. Он считался своим человеком среди балтийских моряков. Он был их другом.

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ

Дарья Власьевна, соседка по квартире,
сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своем.

Вот мы прожили почти полгода,
полтораста суток длится бой.
Тяжелы страдания народа —
наши, Дарья Власьевна, с тобой.

О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба —
он почти не весит на руке...

Для того, чтоб жить в кольце блокады,
ежедневно смертный слушать свист, —
сколько силы нам, соседка, надо,
сколько ненависти и любви...

Столько, что минутами в смятенье
ты сама себя не узнаешь:
— Вынесу ли? Хватит ли терпенья?
— Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.

Дарья Власьевна, — еще немного,
день придет — над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой.

И какой далекой, давней-давней
нам с тобой покажется война

в миг, когда толкнем рукою ставни,
сдернем шторы черные с окна.

Пусть жилище светится и дышит,
полнится покоем и весной...
Плачьте тише, смейтесь тише, тише,
будем наслаждаться тишиной.

Будем свежий хлеб ломать руками,
темно-золотистый и ржаной.
Медленными, крупными глотками
будем пить румяное вино.

А тебе — да ведь тебе ж поставят
памятник на площади большой!
Нержавеющей, бессмертной сталью
облик твой запечатлят простой.

Вот такой же: исхудавшей, смелой,
в наскоро повязанном платке,
вот такой, когда под артобстрелом
ты идешь с кошёлкою в руке.

Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть — Россия.
Стой же и мужайся, как она!

ОЛЬГА ИОРДАН,

заслуженная артистка РСФСР
и заслуженный деятель искусств
Киргизской ССР

ВЕЛИЧИЕ ДУХА

«Пятый день подряд тревога начинается в 12 часов. Но мы продолжаем заниматься, делаем экзерсис под грохот бомб и снарядов. Сегодня, едва только начали переодеваться, раздался страшный толчок, дом зашатался. Если дрогнули стены нашего театрального дома, значит упала крупная бомба.

От уроков я, как всегда, получаю большое удовольствие. Агриппина Яковлевна Ваганова по-прежнему строга. Но сил мало, кружится голова и ослабели ноги. Однако заниматься нужно...»

Это — первая страница моего блокадного дневника. Его я начала вести, тоскливо переживая тревогу в парадном подъезде балетной школы, куда каждый день ходила заниматься...

К этому моменту уже было многое пережито. Бесконечно далеким казался тот яркий, солнечный день, когда я пришла к портнихе примерять платье, заказанное для юбилея Е. М. Люком. Портниха собирала чемоданы, чтобы ехать на дачу. И вдруг — война! Всё сразу переменилось. Хотелось что-то делать, куда-то идти, но что нужно делать мне, я не знала.

Вечером шла «Баядерка». Гримируясь в одной уборной с Т. М. Вечесловой, я увидела в зеркале ее мрачное лицо.

— Что с тобой?

— Подумай, у меня сестра и мать на Карельском перешейке, на северном берегу Ладожского озера.

Спектакль шел хорошо, зрительный зал был полон, принимали отлично. В режиссерской мы сидели тихо и прислушивались к репродуктору.

После спектакля пошли гулять на набережную — дома не сиделось. На улице меня застал сигнал воздушной тревоги.

Мне и моему спутнику предложили войти под ворота. Там мы просидели около часа. Было совершенно тихо, ничего страшного. Затем прозвучал отбой. И это всё.

На следующий день праздновался юбилей Е. М. Люком. Зал снова полон, только в отличие от обычного не было в театре военных.

Ставился первый акт «Дон-Кихота», первый акт «Жизели», отрывки из «Похиты». В этот вечер публика увидела на сцене Уланову, Балабину, Люком, Шелест, Вечеслову, Мунгалову, Железнову, Дудинскую, Чабукиани, Сергеева и еще многих известных ленинградских артистов балета.

Чествовали Е. М. Люком за кулисами. Там было всё необычно; с нетерпением ждали первых сводок с фронта.

С того же дня начались наши концерты в военкоматах и на призывных пунктах. Ехали на эти концерты с радостным чувством: ведь это наш посильный вклад в общее дело.

В больших залах стояли столы, окруженные скамейками. Длинные очереди мужчин с повестками в руках. На скамейках — мобилизованные. Ждали отправки. Возле них — женщины: матери, сестры, жены, некоторые с грудными детьми на руках.

Было грустно и в то же время торжественно. Мы выступали перед этими зрителями, вкладывая в свое исполнение всё то, что было на душе: уважение, любовь и пожелание, чтобы все вернулись домой, и свою веру в скорую победу над врагом, — тогда казалось, что победа будет очень скорой...

С 1 июля нас всех мобилизовали на оборонные работы: в декорационном зале на улице Писарева мы трепали мочалку, связывали ее пучками и нашивали на сетки. Мы знали, что эта работа нужна для обороны города. Работалось весело. В эти дни казалось, что война где-то бесконечно далеко от нас и никогда до нас не дойдет.

Одновременно возобновились репетиции «Гаянэ» (или «Счастья», так назывался вначале этот балет). Во время тревог репетиции прекращались, и мы спускались вниз на лестницу, в режиссерскую или в коридор. Но тревоги проходили спокойно. Война всё еще воспринималась только разумом, а непосредственно не ощущалась.

Иногда приходилось быть в ночном дежурстве. Мы с Н. А. Зубковским выносили стулья к воротам театра, выходящим на Крюков канал, садились с противогазами, тихо сидели и всё прислушивались, прислушивались...

В середине августа я заболела и легла в больницу. Уже там я узнала, что театр эвакуируется.

Вышла из больницы слабая, похудевшая. Встречая знакомых, я видела, как изменились за это время люди: стали серьезнее, суровее, у всех озабоченный вид. Последние сводки сообщали, что бои идут уже возле Сиверской, Гатчины, Красного Села. Теперь уже становилось страшно.

Без театра я ощутила свое одиночество — вдруг не стало того, с чем я была связана с самого детства. Кому я теперь нужна? Что делать?

Вскоре начались звонки по телефону — оставшиеся в Ленинграде актеры выясняли, кто еще в городе. Звонили Пельцер, Кириллова, звонил Сережа Корень.

Просили приходить, звонить. Оттого, что знакомых в городе стало меньше, каждый оставшийся делался ближе и дороже.

Что бы ни произошло, надо заниматься. Надо сохранить танцевальную форму, не отстать, хотя и неясно, где и когда придется еще танцевать. Но все артисты были заняты делом — своим делом. Значит, и мне нужно заниматься балетом. Это мой долг. И, еще не оправившись от болезни, я стала ходить в наш репетиционный зал на улицу Росси и тренироваться. Иногда встречала своих товарищей, — оказывается, в городе оставалось довольно много балетных артистов. Мы договорились с администрацией, чтобы репетиционный зал открывался регулярно, — заниматься хотели все.

Однажды осенним вечером мы сидели дома и пили чай. Было тепло, окна раскрыты. Вдруг сильный толчок. Дом качнуло; люстра над столом заколебалась. Все переглянулись.

— Ну вот и началось, — сказал кто-то из нас.

Мама и племянница побежали вниз. Я за ними. Загудела сирена. Мы просидели некоторое время в бомбоубежище, а потом вернулись домой. У окна стоял наш знакомый и смотрел на улицу:

— Посмотрите, какой пожар! Что это?

Черный столб дыма застилал почти всю южную часть города. Он долго и почти неподвижно стоял на фоне бледно-зеленого неба. Горели Бадаевские склады.

Через несколько дней в такой же теплый осенний вечер внезапно за нашими окнами раздалось частое хлопанье. Казалось, что пушка стреляет прямо по нашему дому. Мы не слышали еще наших зениток вблизи и не могли понять, что́ это такое.

Я выскочила на лестницу. Вернувшись, нашла на подоконнике маленькие осколки снаряда — осколки снаряда в нашей квартире! Совсем недавно это казалось немыслимым, невозможным. Значит, война уже совсем рядом. Я впервые ощутила это так остро...

Тревоги становились всё чаще и чаще, и мы часами просиживали в бомбоубежище. Там было холодно, сыро и скучно.

Пришла к нам как-то женщина из соседней квартиры:

— Пока не поздно, переезжайте с пятого этажа вниз. Есть еще места в красном уголке. Пойдемте, посмотрим.

Я спустилась вниз. В большой комнате стояло много кроватей, их перетащили сюда жильцы верхних квартир. Здесь же жила Софья Петровна Преображенская с детьми. Перебрались сюда и мы. Но жить здесь было утомительно: шумно, всё время вокруг были посторонние

люди. Спали не раздеваясь, я часто вставала и выходила во двор посмотреть небо.

Как красив был наш город в эти прозрачные холодные ночи, когда по небу скользили и скрещивались лучи прожекторов! Изредка в лучах света становился виден шпиль Адмиралтейства, — в эти дни не золотой, как всегда, а серый, зашитый в брезентовый чехол, — вырисовывались знакомые силуэты ленинградских зданий. На секунду из ночной темноты возникали куски улиц и снова пропадали во мраке. Когда не было стрельбы, в самой тишине настороженного города было что-то зловещее.

Часто приходилось нести ночные дежурства. Мне почему-то всегда выпадало дежурство на парадной, и всегда во время моего дежурства бывали тревоги. Скучно, холодно, курю одну папиросу за другой и, как только услышу на улице гудок, бегу во двор и начинаю крутить ручку сирены. Весь дом оживал мгновенно: шли в бомбоубежище женщины с детьми и свертками. Выбегала с сумочкой в руках Агриппина Яковлевна Ваганова, накинув на плечи платок:

— Нет, Ольга, это совершенно невозможно. Когда ты дежуришь, обязательно тревога. Категорически протестую! Больше тебя нельзя назначать на дежурство!

В бомбоубежище уходили не все, — многие оставались здесь же, в парадной.

Голод между тем давал о себе знать всё больше и больше. В магазинах продавались без карточек только зернистая икра, натуральный кофе и цветы. Потом и это исчезло. Я ходила в аптеку и покупала черносмородинный витамин С и морскую капусту.

В один из октябрьских дней я услышала, что в здание нашего театра попала бомба и оно «вышло из строя». Мне стало так страшно, что несколько дней я не решалась пойти посмотреть на него. Наконец, собравшись с духом, отправилась и, выйдя со стороны улицы Глинки на площадь, остановилась. Правое крыло было разрушено, входа в дирекцию не существовало — вместо него зияла огромная дыра.

Стоя на углу, я смотрела и плакала. Мысли мелькали одна за другой. Ведь здесь прошла вся моя жизнь. Мне казалось, что театр погиб безвозвратно.

Я вошла в театр — там было темно, мрачно, холодно, в коридорах ежеминутно натыкалась на какие-то новые перегородки. Я прошла к заместителю директора А. Г. Белякову, который жил в одной из аванлож:

— Александр Георгиевич, расскажите, как это всё случилось, можно ли восстановить театр?

Он стал мне подробно рассказывать, как упала бомба, как после этого он всю ночь не мог спать, бродил по театру и вдруг возле фойе

оркестра заметил дым. Ему удалось вовремя остановить начавшийся пожар, который мог уничтожить всё, что уцелело от бомбежки.

— Сейчас трудно сказать, удастся ли восстановить театр. Нужно для этого проверить, не пострадал ли фундамент. Но во всяком случае примем все меры для того, чтобы театр был восстановлен.

Тогда казалось, что не хватит никаких сил, чтобы восстановить то, что было разрушено в одно мгновение. И сегодня, глядя на это здание, восстановленное во всем своем блеске, я часто вспоминаю о тех развалинах, которые были тогда перед моими глазами.

Однажды ко мне пришел Сергей Гаврилович Корень:

— Олечка, в Филармонии организуется концерт. Давайте станцуем. В программе почти все артисты, оставшиеся в городе. Сбор пойдет в фонд обороны.

— Но ведь Филармония закрыта!

— На этот день откроют...

Вскоре позвонили из Филармонии. Я дала согласие. Корень предложил танцевать испанский танец, поставленный им перед войной. Я его никогда не танцевала. Мы репетировали сначала в зале на улице Росси, потом в зале на площади Труда, где в то время работал Корень. Голод уже давал себя чувствовать, репетировать было трудно: быстро уставала и, протанцевав, долго сидела неподвижно, приходила в себя. Но отдыхать было нельзя — через три дня концерт.

Корень заметил, что я слабею:

— Олечка, вы хотите поесть. Подождите, я попробую достать кусочек хлеба.

Он ушел и через некоторое время вернулся с небольшим пирожком. Я не стала спрашивать, откуда он достал его, и с наслаждением съела. Смешно, но даже от такого крошечного пирожка мне сразу стало лучше — появились силы, улучшилось настроение.

За три репетиции я усвоила танец.

Наступил день концерта. Афиши были расклеены повсюду, о концерте в городе было много разговоров. Но с утра одна тревога следовала за другой. Чемодан с театральными вещами у меня стоял наготове в красном уголке нашего дома, но из-за тревог нельзя было выйти. Концерт должен начаться в четыре часа, а отбой тревоги прозвучал около четырех. Ясно, что концерт срывается, — никто не соберется. На всякий случай звоню в Филармонию и неожиданно для себя узнаю, что концерт сейчас начинается.

— И публика собралась?

— Полный зал.

Я была страшно удивлена: значит, и тревоги не помешали! Значит, люди шли на концерт во время тревоги!

Хватаю чемодан, мчусь в Филармонию, быстро переодеваюсь.



Враг, не переставая, методически обстреливал город.

Но Ленинград не сдавался. По фашистам вели огонь боевые корабли, стоявшие на Неве.

С передовой — в цех, на ремонт. Из цеха — на передовую.

Волнуюсь сильно — и за танец, который исполняю впервые, и за концерт в целом.

Зал Филармонии в этот день был необычен — впоследствии мы привыкли к его военному виду. Красные бархатные портьеры были сняты, люстры оголены — на них не было хрустальных подвесок — и горели не все. Освещена была только эстрада.

Конферансье объявляет наши фамилии. Выходим под дружные аплодисменты. Смотрю в зал и вижу улыбающиеся лица людей, которые, аплодируя, радостно и дружелюбно смотрят на меня. На душе становится спокойно и тоже радостно, танцуется легко. Ушло куда-то гнетущее чувство одиночества, которое не покидало меня со времени отъезда театра, когда мне порой начинало казаться, что я осталась одна на всем земном шаре, в каком-то другом мире с необычным укладом жизни.

Казалось, что все оставшиеся в городе и собравшиеся здесь — одна семья.

В Филармонии в этот день собрались те, кто не побоялся прийти сюда ради искусства. И таких много — полный зал. Эти люди стали мне бесконечно близки и дороги, никогда в жизни не ощущала я такой тесной, непосредственной связи со зрительным залом, как в этот день. Хотелось слиться с людьми. Я была благодарна им за восторженное отношение к искусству, я чувствовала в них ту силу духа, которую не сломить ни бомбежками, ни обстрелами, ни голодом...

Но тогда я еще не знала, сколько мужества проявят в будущем ленинградцы, какими бессмертными подвигами прославят они себя и свой город.

...В январе 1942 года я получила направление в гостиницу «Астория», где был организован стационар для поддержания здоровья сильно истощенных людей.

В угловом номере «люкс» был устроен красный уголок, где помещалась библиотека, стояло пианино. После ужина мы там обычно собирались. В маленькую комнату приходило человек тридцать—сорок. Сидели в пальто, в шапках, валенках. И всё-таки было прохладно...

В один из таких вечеров в темноте послышались звуки рояля. Кто-то играл тихо, медленно, но с большим мастерством и чувством. Трудно описать волнение, охватившее меня, когда я впервые за несколько месяцев услышала музыку; она подействовала на меня невероятно, и я чуть не расплакалась.

Это играл Владимир Владимирович Софроницкий. Играл, не снимая перчаток, в темноте, и недолго — минут пятнадцать, на большее не хватало сил.

Однажды я стояла в коридоре и курила откуда-то добытую папиросу. Ко мне подошел Софроницкий. Без «курева» мы страдали не

меньше, чем от недоедания. Я оторвала кусок мундштука и протянула ему недокуренную папиросу:

— Хотите?

— Спасибо. За это я вам вечером сыграю мазурку Шопена.

Вечером он исполнил свое обещание. И на этот раз музыка взволновала меня: я вспомнила театр, «Шопениану», наши спектакли вставали у меня перед глазами, и, сидя в темноте, я чувствовала музыку так, как едва ли буду чувствовать ее когда-либо. Сразу нахлынуло столько воспоминаний, и казалось, что всё ушло так далеко и никогда не вернется...

Из артистов, оставшихся в осажденном Ленинграде, были созданы фронтовые бригады. Мы выступали в частях Ленинградского фронта, на кораблях Балтики, в госпиталях, на кронштадтских фортах — этих недремлющих часовых города-героя.

Помню шефский концерт на станции Сортировочная. Погрузились в крытую фанерой машину, на дне которой лежало сено. Укутанные в платки, мы сели на это сено и поехали. В дороге замерзли.

Подвезли нас к маленькому деревянному домику. Кругом только военные — здесь уже фронт. Приняли очень хорошо. Концерт давали на сцене, со всех сторон которой сделаны амбразуры, заткнутые только бумагой. Мороз градусов 30—35. А мне выступать в газовой туничке!

Закутавшись в шубу, я стояла за кулисами и со страхом смотрела на сцену. Она вся была засыпана мелкими осколками стекла, — очевидно, следы недавней бомбежки. Выступавшие передо мной певцы и драматические артисты не обращали на эти стекла никакого внимания, они не мешали им. Но каково будет мне?

Зрители сидели в шинелях и полушубках. В первом ряду — командир части, высокий полковник. Едва я окончила номер, он встал и, взяв чью-то шинель, закутал меня ею, поднял, как перышко, и снял со сцены:

— А теперь бегите согреваться.

И под дружные аплодисменты и смех я побежала через зал в небольшую теплую комнату, где артисты переодевались.

Позже мне рассказывали, как «страдали» за меня зрители, глядя на мой эфирный для такой температуры костюм.

Приехала домой и узнала, что нет дров. Надо пилить. Боже мой, опять бегать, доставать пилу! Как это раньше мы не могли обзавестись пилами, валенками, ведрами и прочими предметами первой необходимости? Ведь тогда их достать было совсем просто, а сейчас каждый раз нужно у кого-то просить. Обегав чуть ли не весь дом, я нашла пилу и побежала с мамой во двор пилить дрова. Теперь я пилила дрова очень хорошо, — научилась. Прошло два часа, посмотрела

на часы и увидела, что пора торопиться на следующий концерт — в Большой драматический театр, который открыт сегодня на один день именно ради этого концерта.

Театр совершенно не отапливался, но был освещен ярко, — горела вся рампа. Народу очень много: в этот день один из заводов Ленинграда праздновал получение переходящего знамени. Одеваясь на концерт и разогревая ноги, я вдруг почувствовала, что у меня слегка болит правое плечо. Отчего это? Ах да, сегодня пилила дрова...

Вышла на сцену и всё забыла.

Однако не всегда наши выезды проходили благополучно. Как-то мы поехали с концертом на передний край, — он был недалеко. Привезли нас в лес, поместили в командирской землянке. Она была очень уютная — чистенькая, с небольшим окошечком, двумя койками и столиком, на котором лежали книги и, видимо, любимые вещи хозяина. Пообедав, мы расположились отдыхать. Но не успели улечься, как начался сильный обстрел района. Снаряды ложились совсем рядом.

Софья Петровна Преображенская, не поднимаясь с постели, спрашивала меня при каждом разрыве:

— Оля, это наши?

— Наши, наши! — упорно отвечала ей я.

Ударил еще снаряд — уже совсем рядом, комья земли полетели в маленькое окошечко. Софья Петровна не успела повторить свой вопрос, как случилось что-то непонятное. Всё перевернулось, посыпалось, полетело со своих мест. Мы оказались сброшенными с кроватей, и когда я, совершенно ошеломленная, подняла голову, то увидела над собой небо, деревья сквозь дыру и свисающие бревна потолка. Наша аккуратная землянка была неузнаваема: стол перевернут, книги разбросаны. Сквозь потолок просунулась чья-то голова:

— Нет ли у вас листа фанеры?

Нас удивил вопрос, такой неожиданный в этой обстановке. Оказывается, один из часовых, стоявших у дверей, был убит, а другому перебило ноги, — его хотели перенести на фанере.

Между двумя разрывами к нам вбежал командир:

— Товарищи, нужно отсюда уйти. Идемте в другую землянку.

Мы несколько раз пробовали выйти, но едва подходили к двери, как слышали свист снаряда и в страхе шарахались обратно. Выждав момент затишья, выскочили в лес, пробежали, пригибаясь к земле и прислушиваясь, не свистит ли снаряд, вскочили в большую землянку, где, как нам сказали, было «семь накатов» и куда собралось уже много народа. Когда мы попали в среду военных, сразу стало как-то спокойнее. Появилась уверенность, что они нас в обиду не дадут, их хладнокровие передавалось и нам.

«Для храбрости» нам сразу же предложили немного спирта, он согрел нас и привел в чувство, а затем решили, не теряя времени и пользуясь присутствием большого числа людей, начать концерт. Так, под аккомпанемент разрывающихся снарядов, мы и исполнили нашу программу.

Слушали нас очень внимательно, дружно принимали и после концерта благодарили. Фашисты были бессильны уничтожить советское искусство, которое продолжало жить даже под огнем пушек.

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

ЛЕНИНГРАДСКИЕ РЕБЯТА

Это были не очень хорошие мальчики. Во дворе и в доме их не очень любили, всё озорство — выбитые стекла, поврежденные двери, запачканные стены — приписывалось им. Если они играли в лапту, то шум подымали такой, будто дом горит. А когда ребята стали увлекаться голубями, то управхоз заявил, что скоро поседеет. Мальчики бегали по крыше пятиэтажного дома, как по панели, и ошеломленным жителям казалось, что они вот-вот рухнут на землю. Старшему из них было тринадцать лет, и прозвище его было Крокодил. Младшему было одиннадцать, и дразнили его так: Мячик.

Пришла война. В первые ее недели мы как-то забыли о шумном отряде ребят. Но скоро поняли:

«Ребята работают! Да еще как! Иногда без них просто обойтись нельзя!»

От Крокодила до Мячика, или, говоря точнее, от Коли Кузнецова до Миши Зайцева, все ребята с той же силой увлечения, которой отличались их игры, стали служить делу — серьезному, настоящему делу. Быстрые, исполнительные связисты, неутомимые носильщики, — это они снабжали чердаки песком и водой.

Но вот наступили страшные дни. Наш район фашисты бомбили с тупой и бессмысленной жестокостью. И бывший управхоз, ныне начальник объекта, опять заявил, что ребята доведут его до седых волос.

— Не загнать их в бомбоубежище, — жаловался он. — Едва отвернешься — они уже на чердаке. Поговорите с ними!

И мы поговорили.

— Что я, грудной ребенок, что ли? — сказал нам Крокодил, он же Коля Кузнецов. — Все стоят на своих местах, а нам в нору забираться? Отец с фронта пишет: не бойся ничего. А я буду трусить?

— Раз мы не боимся, зачем же нам прятаться? — поддержал его Миша Зайцев.

— Весь народ защищается, а нам отсиживаться? — продолжал Коля. — Читали: девочка пятнадцати лет затушила четыре зажига-

тельные бомбы? И мальчик вместе с дворником тоже. А мы, значит, не можем? Нас потом спросят: что вы делали? А мы скажем: прятались. Весь народ поднялся, а мы, значит, не народ?

— Мы тоже народ. Мы тоже ленинградцы! — поддержал его Миша Зайцев.

И с огромным трудом, общими усилиями добились мы лишь того, что ребята дежурят теперь во время тревог не на чердаке, а внизу, под основательными, надежными сводами лестничной клетки. И во дворе и в доме теперь уважают и хвалят ребят. Это настоящие дети Ленинграда, плоть от плоти, кровь от крови своих отцов и старших братьев. Они говорят: мы — народ. И это так и есть: они — народ, они — будущее народа.

ИЛЬЯ АВРАМЕНКО

ОТЧИЗНЕ

Слушай, Отчизна!
С тобой говорит Ленинград
гулом заводов, не знающих сна и покоя.
Флаги приподняты.
Полон решимости взгляд.
В панцирь бесстрашия сердце одето людское.

Снегом глубоким засыпан асфальт площадей.
Шумные шествия мирных колонн
позабыты.
Пусто на улицах.
Окна фанерой забиты.
Только свирепствует в бешенстве лютый злодей:
бьет дальнобойными,
шлет за снарядом снаряд...
Слушай, Отчизна!
В тяжелые дни испытаний
голосом крови с тобой говорит Ленинград, —
пеплом сожженных
и камнем разрушенных зданий.

Нет!
Не опустит он гордой своей головы!
Перед врагом никогда не падет на колени
верный соратник —
собрат неприступной Москвы,
город,
в котором творил несгибаемый Ленин!

Слушай, Отчизна!
С тобой говорит Ленинград —
тысячеустый,
зовущий к отпору и мести
доблестный сын твой —
огнем опаленный солдат,
ставший защитником
счастья,
свободы
и чести.

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

«СЛУШАЙ, РОДНАЯ МОСКВА!»

— Граждане Москвы, — товарищи, братья по борьбе, оружию, труду, всем радостям и тяготам. Выслушайте голос балтийских моряков!

Четыре месяца — сутки за сутками — ведет Балтийский флот операции на море и у побережья. И мы вполне усвоили за время войны: не нужно никаких деклараций, трескучих слов. Сущность нашего народа, натура его — в терпеливой, скромной, выносливой работе. Героизм русского народа — в беспримерном упорстве миллионов рядовых людей. О, как потрясло мир сейчас это упорство русских! Пожалуй, впервые в истории Англия и Соединенные Штаты Америки говорят о «великом примере русских». Это величие вынужден признать и враг... Вот у меня в руках немецкая газета Северо-Западного направления «Ди фронт». Она пишет: «Установлено, что большевистские бойцы сопротивляются отчаянно... стреляют до тех пор, пока не гибнут, в плен не сдаются... Русские солдаты дерутся до последней капли крови».

Фашисты узнали, видимо, по четырем месяцам войны подлинную цену русского солдата. И Гитлер в этом признаётся.

Идет русская зима, у нас первые вьюги. На днях нами взята в плен группа офицеров и солдат. Неимоверно завшивевшие, небритые, в продранных награбленных одеялах, накинутых дырой на голову. Какие оборванцы! И это «новая Европа», которая хочет принести нам некую «новую цивилизацию»? Какая чушь! Нет, это не новая Европа. Это лишь эпизод, часть огромной трагикомедии Гитлера. Ну, мы посмотрим, чем она кончится! Балтийцы задали вопрос этим пленным: «Ну, что ж не берете Ленинград? А?» Пленные солдаты 209-го полка понуро отвечают: «Мы ошиблись. Мы не знали, что́ такое Ленинград, как он укреплен».

Укреплен он, в первую очередь, товарищи москвичи, духом, решимостью населения, бойцов, командиров и политработников Ленинградского фронта и Балтийского флота. На три четверти вопрос войны решается фактором моральным, — напоминал об этом еще Напо-

леон Бонапарт, битый в России. И России полезно самой сейчас вспомнить это. Ты, Москва, ты, Россия, — побеждала, умела побеждать...

У нас снежные вьюги, холод, атаки, контратаки, бомбежки, канонады. Ленинград, верный своей традиции, гордый город, город Октября, сказал: «Ни шагу назад!..» И фронт понял это, понял душой, русским сердцем! Бойцы остановились, — враг завяз в болотах, лесках, на ручьях, где попало. Никаких особых рубежей. А есть наша народная воля к обороне, к жизни, к победе.

Балтийские моряки занимают авангардное место в этой борьбе за Балтику и Ленинград. Балтфлот уничтожил уже более пятидесяти боевых кораблей врага, до двухсот вражеских транспортов, вспомогательных судов и около четырехсот вражеских самолетов, то есть более тысячи фашистских летчиков. Да, и мы несем потери, да, война есть война. Но мы действуем напористо, — никто не смеет бросить упрека балтийским морякам. Их героическая четырехмесячная борьба — свидетель тому.

Сегодня мы обращаемся к тебе, Москва, — брат и старший город! К вам, граждане центра России, и к вам, к тем, кто дальше на Восток, в ком слово «Москва» вызывает гордую дрожь сердца и мысли о величии, вековом величии России.

Так слушай же нас, Москва!

Россия некогда была в черной мгле пожаров и клубов пыли, поднятых татаро-монгольскими ордами. Россия подвергалась и ударам с Запада. Она часто жила войной на двойном, тройном, кольцевом фронте. И она не боялась. Она не убоялась ничего. Россия шла через эти века, высоко держа голову, утирая кровь, отвечая усмешкой на все удары, переступая через убитых. Россия — великая, единственная, неповторимая, гениальная, великой души страна! Вся — от мала до велика, — вспомни свою историю сегодня!

Москва, твои стены видели орды и армии многих врагов, и всякий раз ты умела ответить, изловчиться, собраться и ударить наотмашь под сердце врага.

Москва, весь мир в эти часы глядит в лицо твое, не отрываясь. Ты была победителем полуторамиллионных конных орд Азии; ты била пришельцев с Запада; ты горела вся и вновь восставала, прекрасная; ты победила ряд интервенций; ты победила Наполеона; ты победила лавину чужеземцев в гражданскую войну; ты оставалась всегда средоточием сильного духа, русского характера. Русский не криклив, многомиллионный наш народ, запечатленный гением Льва Толстого, прост, свято-скромен, неимоверно вынослив. Так пусть Гитлер рассчитывает на чей-нибудь другой испуг, но только не на русский... На всё в мире смотрим мы ясными глазами народа

чистого, благородного, независимого. Нас не поставишь на колени! Наши дети кидаются на фашистов с ножами и гранатами. Стреляет и будет стрелять каждый лес, куст, канава, болото... Это и есть неукротимая Россия. О, они еще узнают, кто мы такие!

Мы видим ее, она вокруг нас, в бою сейчас. И мы, балтийцы, — ее часть, верные ее сыны... Мать не бросают в трудную минуту. И каинов в народной среде не будет, если считать по большому историческому счету... А предательскую, трусливую мелочь народ разотрет в пыль — и сейчас разотрет, и со временем, когда придет победа.

Москва! Мы, ленинградцы, балтийцы, плечом к плечу с тобой, родная Белокаменная! Ты, Москва, ходила во многие бои, твой голос слушает весь мир; твои труды и праздники — откровение и завтрашняя перспектива человечества.

Москва! Подымайся вся, от велика до мала. Пусть идут на борьбу все те, кто носит имя гражданина Советского Союза. Имя это обязывает. А тот, кто гражданин нового мира, тот должен быть воином, бойцом.

Москва, скажи своим гражданам, повторяй это ежечасно: даже если ты не успел освоить деталь в боевом оружии, товарищ москвич, иди в бой всё равно, — в бою освоишь. Так поступали бойцы Октября, ленинградцы и москвичи в 1917—1920 годах, так поступали победители.

Напомни, Москва, каждому живым, человеческим голосом, взяв каждого за руки, в душевной беседе:

«Мы не можем, не имеем права сдавать. Россия стала судьбой человечества. От нас зависит победа. И мы обязаны драться так, чтобы фашисты выдохлись. Чтобы они сказали наконец: «Да, эту беспримерную страну — Россию — не сломить...» Так будет, так должно быть, товарищи!»

Россия будет драться за каждую речку, за каждый мост, за каждое село, за каждую околицу, за плетни, за поля, за ложбинки. Шаг за шагом будем драться... Полно в нас всё, всё полно решимости. Капитулянтов, хлипких душ в народах России не будет! Не будет капитулянтов здесь! Это видит весь мир! И он свидетельствует это!

Москва, твоя воля и сила сейчас решают многое. Брат твой, Ленинград, он сделал уже многое, и он требует, и он рассчитывает, что его упорство и опыт пригодятся Москве и пригодятся многим.

Москва, двигай сейчас, не медля, всё живое, боевое, честное в бой! Будь смела и крута в решениях, Москва. Никаких сбоев, никакой дрожи, никаких срывов. Будь неизменна в русском стоицизме! Умирающие балтийские матросы могут показать пример. Они отстреливаются, кровь вытекает, умирают, плюют в лицо фашистам: «Собаке

Гитлеру будет конец»... И в преддверии смерти эти люди могли видеть и видели победу. Грядущую победу. Она придет. Она за зимними вьюгами, она там, дальше.

Ты, Москва, ты воспитала таких людей. Твои века, твой эпос создали этих людей. Так и сама держись крепко. И мы знаем, что ты, Москва, будешь достойной имени своего. Москвичи! Забудьте о возрасте! Помните только одно: я — советский гражданин! Повторяйте это себе.

Москва, отдай всё фронту: чувства, мысли, белье, ласковое слово... Всё, всё. Отдай всё Родине, Советскому Союзу, всё для человечества. Так нужно нам сделать. Такова наша судьба.

У нас в Москве у каждого тысячи друзей и знакомых. Вы слышите нас отсюда, из Ленинграда, с Балтики. Мы обращаемся к своим друзьям, товарищам, к тем, с кем прожили всю жизнь. Мы говорим, мы просим, мы сигналим вам: всё для фронта! Мы требуем от вас, от каждого — работы на совесть и по чести.

Так прими, Москва, наш братский привет! Гул орудий на подступах к Москве сливается с гулом орудий на подступах к Ленинграду на Балтике, как сливаются воля и мысли наши с твоими, Москва!

Бьемся и будем биться так, чтобы два с половиной миллиарда, все, всюду, всё человечество сказало бы и повторяло бы потом веками: «Да, они бились, как русские, они бились, как Москва и Ленинград!»

ТАК ЖИЛИ В ТЕ ДНИ...



Воины Ленинградского фронта заставили немецко-фашистские войска перейти к обороне. Фашисты возвели вокруг Ленинграда не одну линию укреплений: они ставили колючую проволоку, закладывали минные поля, превращали все ближайшие деревни в укрепленные узлы, создавали сложную систему огня, подвозили дальнобойные орудия, чтобы ежедневно бить по городу, разрушать квартал за кварталом.

В осажденном Ленинграде начиналась незабываемая, потрясающая своей героикой зима 1941/42 года. Жизнь в городе становилась всё труднее, люди перешли на голодный паек: 250 граммов хлеба рабочим, 125 граммов — служащим и иждивенцам. Прекратилось движение трамваев, люди пешком ходили на работу за 8—10 километров. Не было света — стали пользоваться коптилками. Не было дров — начали разбирать старые деревянные дома. Не было транспорта — хлеб в магазины привозили вручную на санях. По «дороге жизни», проложенной по льду Ладожского озера, непрерывно шла помощь Родины осажденному Ленинграду.

Город был величествен и мрачен. Вмерзли в снег машины, трамваи, троллейбусы. Водопровод не действовал, и вереницы людей шли по улицам к Неве, спускались к прорубям за водой с ведрами и бидонами.

Люди стали суровыми, как сама жизнь. Всё стало просто и понятно: враг хочет сломить город голодом, но город сломить нельзя!

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ЛЕНИНГРАДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТАК ЖИЛИ В ТЕ ДНИ...

О, эти солнечные, яркие, полные морозного хруста, морозного ветра дни первой блокадной зимы! Прелесть садов с ветвями, заваленными снегом, осыпанными сверкающим инеем, как будто природа хотела нарочно подчеркнуть, как великолепна ее зимняя жизнь и как мрачна жизнь осажденного города.

Закат на Неве. Огненный шар солнца уже потух за туманом. На всем лежат мертвые синие тени. Корабли, зимующие на реке, как будто брошены людьми, палубы пустынны. Сугробы снега лежат на набережной — на ней нет ни души.

Редкая цепочка людей идет через реку медленно-медленно, как будто они боятся сделать быстрый шаг. Они не могут его сделать. Они бредут, как призраки, закутавшись до глаз. Вьюга заметает их следы.

В городе нет хлеба, нет топлива, нет света, нет воды. Сюда, к Неве, к полынье у каменного спуска, идут за водой женщины и дети. Они похожи на эскимосов, так тяжелы их одежды. Они надели на себя все теплые вещи, и им всё-таки холодно, потому что они ослабли от голода.

Но они идут за водой, чтобы принести ее домой, в свои темные квартиры, где на стенах атласный иней и сквозь разбитые окна в комнаты наметен снег. Ледок хрустит в пустых кухнях.

Женщины и дети ставят на санки ведра, бидоны, чайники, детские ванночки, жестяные большие коробки, котелки, кастрюли, — всё годится, во всё можно налить воду, такую ледяную, что страшно к ней притронуться.

Сил нет спуститься сразу к реке по скользким ступеням, на которые непрерывно выплескивается вода из рук усталых и слабых водонош. Вода эта сразу замерзает слоями один на другом, неровными, толстыми, скользкими. Мученье только спуститься по такой лестнице. А надо еще поднять наверх тяжелое ведро, которое оття-

гивает руки, надо поставить его на сани и сани притащить домой, а дом — у Исаакиевского собора, а то еще дальше.

Девочки, жалея матерей, спускаются с чайниками, цепляясь за промерзшие каменные стенки, набирают воду, поднимаются и льют из чайников воду в ведра. Сколько раз надо спуститься с чайником, тащить его обеими руками, возвращаясь, потому что он очень тяжел, этот неуклюжий чайник!

Снежные наросты от пролитой воды появляются на одежде. Ветер превращает их в лед. Пар идет изо рта. Люди дышат широко раскрытыми ртами. То, что было веселой забавой в иные времена, теперь стало адски трудным делом.

Вода! Вы открываете кран, и льется белая струя, льется без конца. Вы открываете кран, горячий и холодный, и ванна наполняется голубоватым сумраком, который пьянит вас теплотой. И как приятен после ванны крепкий горячий чай с вареньем!

Это так просто: если засорили кран, вы звоните, и к вам приходит водопроводчик, молодец шутливый, высокий, ловкий. Он вмиг исправит ваши краны и трубы.

И вот ничего этого нет. Умерли все краны, все трубы мертвы. Враг окружил город блокадой, враг хочет уморить ленинградцев голодом, заставить их роптать.

Но каждый день целые процессии шли по городу за водой, жуткие, длинные, — это шли непобедимые ленинградцы, которых ничто не могло сломить.

НАШИ ДОНОРЫ

Этот дом — особенный. В нем всегда полно людей, и все в халатах. Тут и старые, и молодые, и много девушек. Но это не больница и не военный госпиталь. Сюда приходят давать свою кровь для фронта, для раненых бойцов.

Те, кто дают свою кровь, называются донорами. Раненых много, и крови надо много. Это особая жертва, и жертва благородная — своей кровью спасти жизнь защитника Ленинграда. Кровь отправляют на фронт в особой упаковке.

Если войти в подвал этого дома в зимний вечер, то можно увидеть поразительную картину. Новый человек не догадается, что происходит. В низком широком зале стоят высокие столы, на которых лежат люди, закрытые простынями. Над ними склоняются другие с блестящими металлическими инструментами в руках. Полное молчание царствует в этом зале. Только сверху доносится какой-то глухой грохот. Весь зал освещен фонарями, стоящими на полу и висящими на стене.

Похоже, что вы в каком-то египетском храме и что тут происходит какой-то таинственный обряд. Все в белом, и тени бегают по стенам.

Окон нет, фонари горят зловещим желтым светом, и вздрагивают стекла фонарей от гула, долетающего с улицы. Там падают бомбы. Но и во время воздушного налета продолжают работу доктора. Доноры сменяют друг друга на высоких столах и бесшумно идут наверх.

А потом по ночному городу пройдут темные грузовики, везущие кровь на фронт. У них долгий путь по ночным дорогам среди перелесков и холмов. Но вот они достигают медсанбата, а там их ждут давно.

Лежит раненый разведчик, только что доставленный из-под огня. Он полз по снегу, был ранен миной и потерял много крови. Его посиневшее лицо с закрытыми глазами кажется мертвым. Руки неподвижно свесились. Ему делают вливание свежей крови. Шевельнулась рука, дернулся рот, открылись глаза. У него был шок. Он смотрит вокруг и ничего не понимает. Он не помнит, как попал в эту комнату, где такие странные запахи и люди в белом.

Он просит:

— Пить... пить...

У него лихорадочно блестят глаза. Постепенно он приходит в себя, узнаёт, что́ у него за ранение, как его спасла донорская кровь. Тогда он спрашивает:

— Чья эта кровь? Я хочу знать.

На этот вопрос можно ответить, потому что на каждой склянке написано имя донора.

Проходит еще несколько недель... Из команды МПВО вызывают Варю Петрову. Она выходит и видит незнакомого военного, который говорит ей, улыбаясь:

— Вы Варя Петрова?

— Да. А что? Я вас не знаю.

— Вы меня не знаете, а я вам обязан жизнью. Разрешите познакомиться и пожать вам от всего сердца руку. Я разведчик Николай Петров. Мы, выходит, однофамильцы. А теперь вроде как брат с сестрой. Не мог я идти обратно в часть, вас не отыскав.

Смущенная Варя стоит и радуется, и слезы набегают на глаза. Она спасла этого храброго разведчика! У него и орден и медаль. И она стоит, не зная, что сказать.

— Будем знакомы, — говорит Николай Петров. — Пишите мне на фронт, может, и я вам чем-нибудь буду полезен. Я у вас в вечном долгу...

ПУТЬ В СТАЦИОНАР

На пустынной набережной я увидел лошадь, которая кланялась Петропавловской крепости. Она так аккуратно кланялась, что я пошел к ней, чтобы посмотреть, в чем дело.

Лошадь была такая тощая, что кожа на ней была почти прозрачная. Она была запряжена в сани. Возница куда-то ушел. Там, где он ее оставил, было набросано на снегу немного сена, совсем немного.

Лошадь видела эти клочки пожелтевшего холодного сена. Она не могла нагнуться и взять их. Она набиралась сил, становилась на колени, одним резким движением хватала травинки и, встав, жевала их долго-долго. Потом она набиралась сил, снова становилась на колени и снова хватала сено большими губами, сморщив морду. Потом она стояла, отдыхая, тяжело дышала, качаясь на несуразно длинных и тонких ногах.

В те дни я видел людей с красными кругами на белых щеках. Я видел людей, у которых по лицу шли зеленоватые полоски, как в тетради для арифметики. Я видел людей, у которых сквозили кости черепа сквозь тонкую кожу.

Люди от голода слабели и умирали, и тогда в городе появилось новое слово: стационар. Так называлось место, куда привозили и приводили самых истощенных людей. Там их клали на чистые постели в теплых комнатах, кормили под наблюдением врачей и давали им разные укрепляющие витамины.

Человек, который чувствовал, что он слабеет, не должен был терять душевной силы. Если он теряет эту душевную силу, его было труднее вернуть к жизни.

Тогда, в те дни, на улицах нельзя было увидеть никакого транспорта. Редко-редко проходили военные грузовики, нагруженные снарядами, или автобусы, перевозившие раненых. Трамваи, автобусы и троллейбусы, занесенные до крыш снегом, со стеклами, на которых была толстая наледь, стояли и не могли никуда уйти, потому что не было горючего и электричества. Поэтому больных возили в стационар на санках их родные или друзья. Есть в Ленинграде Кленовая улица. На ней почти нет домов. В одном конце возвышается большой дом военного ведомства, а в другом — красный Инженерный замок, похожий на крепость.

По этой улице маленькая, закутанная в три платка женщина, спотыкаясь в глубоком снегу, везла на детских саночках изможденного мужчину. Трудно было сказать, сколько ему лет, потому что он давно не брился и весь зарос колючей, мертвенно-синей щетиной. Он сидел на саночках, закрыв глаза, и через каждые три шага падал

навзничь. Женщина освобождалась от веревок, за которые она тащила санки, подходила к нему, приподнимала его, и он снова сидел, страшный, как кощей, с закрытыми глазами. И снова он падал, когда женщина успевала сделать вперед несколько шагов. Прохожие молча смотрели на эту сцену и шли дальше.

Наконец, когда он упал в десятый раз, женщина остановилась и впервые беспомощно посмотрела вокруг. Тогда с тротуара сошла высокая костистая женщина с упрямым выражением глубоких синих глаз, подошла к упавшему, подняла его резко, посадила и громко три раза прокричала ему на ухо:

— Гражданин! Сидеть или смерть! Сидеть или смерть! Сидеть или смерть!

Он открыл глаза, заморгал и уселся. Больше он не падал. Так скрылись санки, увозившие его в стационар, а он всё сидел, прямой, как палка.

ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ

Снаружи стены цехов темнели, как обледенелые скалы арктического залива. Казалось, жизнь замерла на всем пространстве, заваленном мерзлыми кусками металла, бочками, грудами шлака. Как застывшие волны, всюду подымались сугробы. Мрак январской ночи не освещался ни единым огоньком.

Если бы привести свежего человека и поставить его в безмолвии этого двора, среди мрака и снега, то он сказал бы, что он находится в ледяной пустыне, за много километров от человеческого жилья. И, однако, это был двор завода-гиганта.

И если отыскать маленькую дверь и открыть ее, то вошедший увидел бы подобие сталактитовой пещеры. Это был цех. В пробитые снарядами дыры чернело небо, наледь покрывала своды и стены, слабый электрический свет, тщательно прикрытый, освещал небольшие пространства; и если вглядеться, то в разных уголках огромного зала копошились люди. Они работали.

Они были закутаны в самые разные одеяния, которые при слабом свете отбрасывали дикие тени. Изможденные лица резкостью черт напугали бы непривычного человека, но Потехин знал здесь каждого, и то, что эта фантастическая картина называется ночной сменой, было ему привычно.

Мороз пронизал его даже сквозь полушубок. От ледяного металла шло слабое сияние, как от раскаленной стали, покрытой пленкой. Кругом возвышались бугорки бурой, серой, черной, светлой окраски. Это была формовочная земля — священная земля опок, как возвы-

шенно любил говорить Потехин с шутливым пафосом доброго мирного времени.

Приготовление этой формовочной смеси сейчас было подвигом. В полумраке смешивалась она в определенных пропорциях, и от правильности соединения этих разнообразных частей зависело литье. От этого литья зависело приготовление снарядов, от этих снарядов зависела оборона города, который только угадывался в черной безмерности этой зимней ночи.

Днем до завода долетали далекие протяжные крики. Это было слышно, как шли в контратаку там, на передовой.

Снаряды были нужны днем и ночью. Снаряды надо было делать, даже если бы полюс пришел и поселился на заводском дворе со всеми своими буранами и холодами.

И нужно было приготовлять землю опок. Между бурыми холмами, когда к ним подошел Потехин, мастер и конструктор, сидела женщина, низко склонив голову, и совком перекидывала комья из одной кучи в другую. Потехин стоял над ней и следил, как с медленным упорством она наращивала новый холмик.

Она подняла на него глаза и, ничего не сказав, посмотрела в сторону, где на доске, полусогнувшись, притулился человек, руки которого были сложены на груди. Потехину показалось, что он крепко спит. Но сейчас же он увидел, как задрожал совок в руке женщины, и нагнулся к ней.

— Тетя Паша, — сказал он, — устал Тимофеевич, умаялся.

Женщина поглядела на него сначала строго, потом лицо ее, покрытое металлической холодной пылью, смягчилось, она ответила не сразу:

— Умаялся Тимофеевич, не трогай его, дай покой...

— Так ему лучше бы домой пойти, тетя Паша. Или не в силах? Как бы он не замерз тут, не охолодал, тут — как на улице...

Тетя Паша быстрым движением притянула его за руку так резко, что Потехин принужден был сесть на корточки рядом с ней. Тогда, почти вплотную придвинув к нему свое лицо, она начала говорить, шевеля почти каменными от холода губами:

— Русский ты человек, скажи мне?

— Русский, конечно, — сказал Потехин. — Что с тобой, тетя Паша?

— Ну, раз русский, хорошо, — ты поймешь, тебе рассказывать много не надо. Ослаб мой, совсем ослаб, а всё ходит, всё работает. «Душа горит, — говорит он мне, — душа горит, Паша. Давай, давай быстрее!» А как мне быстрее — руки не идут. И самоё от холода крутит. Говорит: «Совсем плохо мне». Я ему: «Не говори, старик, такого, отлежишься». — «Не отлежусь, — отвечает. — Слушай меня: зем-

лю-то какую ответственную делаем! А ты-то не знаешь, сколько ее надо, как смешать — плохо умеешь. Учись-ка, повторяй за мной и смотри. И смотри...»

Женщина заплакала. И Потехин сидел на корточках и глядел, как тетя Паша вытирала слезы и они застывали на металлическом ее лице светлыми полосами.

— Повторяла я свой урок, он всё твердил свое и всё повторял. И сказал: «Хорошо, вот так и запомни». Прилёг — и всё. И всё, голубчик ты мой, — сказала она по-бабьи и всхлипнула, не выпуская из рук совок. — Тружусь, как велел...

Потехин обернулся в сторону лежащего. Тетя Паша тронула его за рукав.

— «У меня душа горит», — говорил. И у меня, сынок, душа горит! Сказала ему: «Спи, Тимофеевич, отработал, уж я за тебя, за двоих сегодня земли нарою». Ишь сколько, смотри, а всё мало. Мало мне, и мороз меня не берет.

Потехин встал и подошел к мертвому. Тимофеевич лежал, положив голову с заиндевевшей бородой на грудь, и руки его были аккуратно связаны крест-накрест веревочкой.

— Нечего мне сказать тебе, тетя Паша, — сказал Потехин. — Сама знаешь, какие тут слова...

— «Какие тут слова», — повторила она, всё ускоряя движения совка. — Иди, голубчик, работай, я тут с ним посижу, свой урок исполню. Не спутаю. Иди, иди, дай мне одной быть...

«Как она сказала, — думал Потехин, идя по цеху в его широкой, темной холодине, — «ответственная земля». Да, хорошо старуха сказала: «ответственная земля»! Ленинградская, родная, непобедимая!»

ВСТРЕЧА

Он быстро шел по обледенелому тротуару, погруженный в свои думы. Изредка он кидал взгляд на дома, темные, вечерние, зимние дома военного времени. Иногда он проходил мимо развалин, не замедляя шага. У одного только здания с широким входом он задержался невольно. В этом доме помещался Детский театр. Сколько шума, веселой суетни, гама и восклицаний знали эти стены! Сколько восторженных, сияющих глаз смотрели на сцену, какие овации вырывались из сердец маленьких зрителей и как дорожили этим детским вниманием взрослые — талантливые актеры этого прекрасного театра!

Теперь всё было пусто и мрачно. Только клочки афиш, обледенелые разноцветные куски бумаги, трепал ветер, пробегавший по темной

улице. Режиссер вздрогнул и ускорил шаги. Он ясно представил себе артистов, еще недавно весело шутивших, сидевших перед большими зеркалами, гримировавшихся, повторявших роли с таким же увлечением, с каким там, в зале, следили за их жизнью на сцене маленькие люди большого города.

Иные из этих артистов уехали, а иные... Он вспомнил с жестокой ясностью двух, которые работали в его бригаде на фронте. Какая простая стала жизнь! Они сумели быть артистами в тесных блиндажах, где суровые, с обветренными лицами бойцы высоко ценили их искусство. Они выступали с площадки грузовика, среди больших снежных полян, они играли на пространстве в несколько метров в землянках, они были веселые, хорошие люди, простые сердца, и фамилии у них были простые: Семенов, Емельянов... Они пробирались под визг мин, под оглушительный рев снарядов по ходам сообщения, перебежками по полю на передовые, они не отступали перед опасностью.

Они умерли одновременно в тихое зимнее утро, и другие артисты с железной дисциплиной людей искусства без них провели бригадное выступление.

Режиссер сам видел, как два черных смерча поглотили их и как покраснел снег на том месте. Да, всё стало просто, как этот темный город, который когда-то весь сиял и переливался огнями. Величественная простота вечера, темных зданий, пустынных улиц — и такая же простота жизни и смерти.

Режиссер внезапно ускорил шаги, так как он увидел, как шедший впереди него пешеход покачнулся и стал взмахивать руками. Эти взмахи были похожи на слабые движения утопающего. Режиссер добежал до него и подхватил под руку. Пешеход упал головой ему на плечо, и они так стояли несколько мгновений. Режиссер увидел старика с исхудалым лицом, большими лихорадочными глазами, жадно глотавшего воздух широко открытым ртом.

Наконец старик, покачнувшись еще раз, несколько пришел в себя. Он взглянул на пришедшего к нему на помощь и сказал тихим хриплым голосом:

— Простите меня великодушно, я ослабел...

— Вы далеко живете? — спросил режиссер.

— Нет, — отвечал старик, опираясь на него, как на великана; и действительно, режиссер казался великаном рядом с тщедушным, тонким, почти призрачным стариком.

— Нет, — повторил старик. — Я живу вон в том доме, в конце улицы...

— Я провожу вас, — сказал режиссер, — мне по дороге.

Он взял старика под руку, и они отправились.

Старик шел вздыхая и что-то шепча. Режиссер поддерживал его бережно, как больного отца. Так они молча, спотыкаясь на льдистом тротуаре, дошли до ворот дома, до подъезда черного, как пещера.

Старик сказал: «Здесь» — и прислонился к дверям подъезда. Режиссер стоял против него. Старик медленно поднял голову, осмотрел улицу, взглянул на темное холодное небо и пристально всмотрелся в своего спутника.

— Молодой человек, — сказал он, и бледная тень улыбки появилась на его тонких, почти черных губах, — знаете ли вы, в каком городе живете?

Режиссер молчал. Старик приблизил свое исхудалое лицо к его лицу.

— Вы живете в Илионе, — сказал старик громко.

— В Илионе, — повторил режиссер. — Почему вам пришла мысль сравнивать наш город с Троей древних?

— Простите меня, я — старик, я старый преподаватель древней истории... Я не знаю города, легенда о котором была бы так величественна, как легенда о Трое, и только наш город сегодня — не кажется ли вам? — не только сравнялся с Илионом, но... — сказал он совсем тихо, — но и превысил его своим героизмом...

Режиссер ответил не сразу. Они стояли друг против друга в безмолвной тишине у входа черного, как пещера, и, как крепостные стены, поднимались дома вокруг них.

— Пожалуй, вы правы, — сказал режиссер, — но в нашей Трое не будет троянского коня! Не будет — никогда!

Они горячо пожали друг другу руки, взаимно пожелали спокойной ночи и расстались.

БОРИС ЛИХАРЕВ

ЛЕНИНГРАДКА

Навсегда дорогой, неизменчивый,
Облик твой неподкупен и строг.
Вот идет ленинградская женщина,
Зябко кутаясь в темный платок.
Путь достался не близкий, не маленький.
Тяжко ухает пушечный гром.
Ты надела тяжелые валенки,
Подпоясалась ремешком.
А в суровую полночь морозную
Из-за туч не проглянет луна,
Ночь распорота вспышками грозными,
В тихий дом твой ворвалась война.
Только нет, не распалась рабочая,
Трудовая, большая семья,
В санитарках, в дружинницах дочери,
В батальонах твои сыновья.
Ты взрастила их сильными, смелыми,
Ты для них не жалела любви.
Разве дрогнешь теперь под обстрелами, —
Ведь на фронте ребята твои.
Дума брови сурово нахмурила,
И взаправду ты стала бойцом.
Ты в тревожные ночи дежурила,
«Зажигалки» гасила песком.
И любые осилишь ты горести,
Как спокоен и светел твой взгляд.
Сколько в сердце у матери гордости:
Дети, родина, честь, Ленинград!

ЕЛИЗАВЕТА ШАРЫПИНА

ЗА ЖИЗНЬ И ПОБЕДУ

Из записок политорганизатора

В БОЕВОМ ОХРАНЕНИИ

Сколько я облазила крыш и чердаков, уже и счет потеряла! И ночью, и днем!

Только завоет сирена — беру противогаз, пропуск, разрешающий ходить по городу после сигнала ВТ,[1] и бегу на один из своих объектов. Проверяю, как быстро являются группы самозащиты на посты по сигналу, как расставлены силы, нет ли излишней суеты.

На постах противовоздушной обороны жилых домов больше всего женщин. Нередко — подростки.

Начальники объектов, как правило, тоже женщины. Многие из них пришли руководить домохозяйствами в дни войны, заменив ушедших на фронт мужчин. Когда принимаю новых работников, происходит примерно такой разговор:

— Ты должна понять, что будешь не только управляющей хозяйством, но больше того, — начальником объекта; будешь отвечать за оборону своего дома от врага и, главное, будешь отвечать за жизнь людей... А как у тебя с нервами?

— Да как у всех...

— Запомни правило: всегда быть спокойной, выдержанной. Может, кто из жильцов сгоряча покричит на тебя, а ты ответь спокойно, объясни. От нас, работников домохозяйств, от нашей заботы о нуждах людей во многом зависит их настроение. Ты сама посмотри: ленинградцы работают для фронта по четырнадцать—шестнадцать часов, а то и сутками, недоедают, не у всех запасены дрова, живут в холоде. А тут мы еще начнем грубить да покрикивать. Понимаешь, в чем дело? И лучше сразу подумай: если за себя не ручаешься — не берись, но если возьмешься, строго буду спрашивать, предупреждаю!

Почти все, кого я подбирала на посты начальников объектов, работали не за страх, а за совесть.

---

[1] ВТ — воздушная тревога.

Но в одном из запущенных хозяйств на Глазовой улице я долго никак не могла найти управхоза. Много лет подряд там работал старичок Труханов. Трудно ему стало справляться с хозяйством в дни войны. Почти два месяца Труханов проболел...

А тем временем всё хозяйство пришло в запустение. Водопровод вышел из строя. Решили сменить Труханова. Пять человек я направляла в это домоуправление, и все приходили ко мне на следующий день и возвращали печать домохозяйства.

Пришел обратно и шестой — Аравелов. Думала: этот «осядет». Но ошиблась. Положил на мой стол домовую печать, и тут узнала я, что старичок-то Труханов каких только страхов каждому не наговаривал: за свою судьбу беспокоился — удобно ему было работать в том же доме, где жил.

— Ты уж дай мне другое хозяйство, — сказал Аравелов, — всё подальше от греха будет!

Седьмой пришла ко мне коммунистка Коняшина. Еле-еле из Павловска от фашистов убежала с двумя детьми да со старушкой-матерью.

Рассказываю ей, что́ за хозяйство.

— Шесть мужчин туда посылала — все отказались: запугивал бывший управдом. Если и ты трусишь, тогда сразу откажись. Ну как, боязно?

— Волков бояться — в лес не ходить, — улыбается Коняшина. — Обещаю тебе и дом сберечь и за жильцов не бойся — подружусь с ними...

Долго я с ней толковала. Коняшина раньше не работала в жилищной системе, но как-то очень быстро освоилась, и все увидели, что она дельный человек.

Восстановила водопровод; в самое трудное время — зимой — вода в доме была. Жильцов дома Анна Никитична сплотила в крепкий коллектив, на общественные работы выходили дружно все от мала до велика.

Раньше других со своим активом организовала она в доме комнату отдыха. Уютно обставила, отапливала, осветила лампой-«молнией». В огромном самоваре был всегда кипяток. По вечерам — людно. Кто с вязаньем, кто с книжкой, кто просто кипяточку «пропустить» приходил. После холодной комнаты с коптилкой (не у всех и коптилки-то были!) приятно посидеть в тепле и при свете, послушать беседу или перекинуться живым словом с соседом.

Радовалась я, видя, с какой любовью и энергией налаживает хозяйство Коняшина.

И выходило, что нередко у женщин лучше дело шло, чем у мужчин.

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ

...Вчера ответственной дежурной по РЖУ[1] была Наташа Кочина. Помогала ей молоденькая паспортистка. Находясь на казарменном положении, я почти всегда третье действующее лицо в коллективе дежурных.

Около восьми часов вечера сигнал ВТ. Начальник РЖУ отправился на КП[2] района. Через несколько минут — отдаленные звуки разрывов и, почти тотчас, телефонный звонок из домохозяйства на Лиговской улице:

— Прямое попадание фугаски во флигель во дворе. Двумя другими бомбами повреждена труба городского водопровода. Дом как на острове, кругом вода. Прошу прислать помощь. Не знаю, что с водой делать?!.

Это звонит начальник объекта — управляющая домом старушка Шантова. Она в течение пятнадцати лет работает в этом домохозяйстве.

Вызвали бригаду городского водопровода, а пока направили туда теплотехника Рядкова.

Через десять минут от него звонок:

— Не пройти, кругом вода. В темноте не могу определить, что́ случилось. Улицы залиты водой.

А из очага поражения снова звонит Шантова:

— В газоубежище паника. С трудом успокоила людей. Придет ли кто-нибудь на помощь?

Впервые на очаге поражения нет никого от нас, чтобы помочь расселить людей из разрушенного флигеля.

Хотя Шантова опытный работник, но всё же я решила вместе с Наташей Кочиной пойти на помощь.

Доложили начальнику РЖУ, — разрешил идти. Оставили паспортистку у телефона. Пошли.

Сразу охватила такая темень, что долгое время глаза не могли к ней привыкнуть. Глухая осенняя ночь, одна из тех ночей, когда на расстоянии вытянутой руки ничего не видно.

По Разъезжей улице быстро дошли до Лиговской. Но подойти к очагу поражения не можем: вся улица под водой.

Точно водопад, шумит ревет вода. В темноте ничего не разобрать. Обошли квартал по Роменской улице, — и с другой стороны не подойти.

Но нас ждут! Решили идти прямо по воде. Если не попадем

---

[1] РЖУ — районное жилищное управление.
[2] КП — командный пункт.

в воронку — значит не утонем! Туфли полны воды. Холодно! Идем поодаль друг от друга. Если что-либо случится с одной, другая поможет...

Вот мы и у Шантовой. Осунулась бедная наша старушка, побледнела, но держится хорошо, распоряжается уверенно. По глазам ее вижу, чувствую — рада она нашему приходу.

И забывается сразу ледяная вода в туфлях, на сердце теплеет от ее взгляда. Это у Шантовой первое испытание «боем».

Уже начались раскопки... Бойцы МПВО, с ними врач — маленькая женщина в шинельке. Все включились в работу. Как сумели, успокоили дворника Иванову, — у нее двое детей под развалинами. Металась мать, мешала раскопкам. Женщины из группы самозащиты увели ее в контору домохозяйства.

В оборудованном под санкомнату магазине — четыре койки, здесь окажут первую помощь пострадавшим.

Со двора из очага поражения в санкомнату лучше пройти через кладовую магазина. Кладовая наполовину завалена дровами, досками. Торопимся уложить дрова на полки и освободить место. Освещение выключено. Ставлю пятилинейную лампочку на полку, свободную от дров.

Дверь во двор открыта. Видно, как движется у развалин огонек фонаря. Вот он замер на месте. Потом исчез, — это входят в дверь бойцы МПВО с носилками. Носилки опустили на пол. Над ними склоняется врач. Беру с полки лампочку, подношу ближе. На носилках шестилетний мальчик. Головка неестественно повернута набок и запрокинута. Врач открывает ему веки, приближает и удаляет лампочку — ребенок не реагирует. Врач зажигает спичку, через секунду-две тушит ее и огонек обуглившейся спички прикладывает к ручке ребенка. Невольно делаю движение — хочу удержать руку врача. Кажется, мальчику будет больно. Но ребенок не отзывается на боль. И тут я вижу в сжатом кулачке «фантик» с изображением петушка. По грустному взгляду врача я понимаю — не на что надеяться. Глазки не откроются, чтобы порадоваться зажатому в кулачке «петушку».

НА ВОЛОСКЕ ОТ СМЕРТИ

Почти три недели тяжело болела. Лежала в абсолютной темноте. Стекла из окна вылетели при бомбежке. В заделанное фанерой окно дневной свет не проникает. Коптилку жгла два-три часа в сутки: экономила драгоценный керосин.

Очень ослабла. Но твердо знала: поправлюсь, поднимусь!

И вот опять я в строю ленинградцев. Живу и работаю!

Но как я изменилась! Когда посмотрела в трюмо, удивилась: на чем голова держится — шея тоненькая-тоненькая. И сама стала совсем-совсем миниатюрная. Но, несмотря ни на что, я работаю!

Правда, радость моя омрачается тем, что я уже не в РЖУ. Дистрофия заставила меня бросить работу, где нужно много бегать.

Меня направили в небольшую артель, работающую для нужд фронта, заместителем председателя по культработе. Там же я исполняю обязанности секретаря партбюро.

С чего начать? Председатель артели — старый коммунист — тяжело болен, — истощение. Но через неделю после того, как я приступила к работе, он тоже пришел в артель. Ему разрешили эвакуацию, — он очень слаб, да и возраст преклонный.

— Аленушка всё приготовит к отъезду, а мы с тобой, Елизавета Трофимовна, давай подумаем, как оживить артель. (Аленушка — жена его, трогательно о нем заботившаяся.)

А подумать нам было о чем. За последнее время работа почти приостановилась.

— Надо сначала проверить, все ли живы, — предложила я.

Так и решили: обойти квартиры всех рабочих, не приходивших в артель последний месяц.

Подобрала актив из нескольких девушек. В конце дня каждой девушке дала несколько адресов. Трамваи еще не ходили, и я старалась дать адреса «по пути»: девушки тоже истощены, надо беречь их силы, не посылать далеко. И сама ежедневно брала себе адреса больных рабочих.

Несколько дней назад я была на Невском, 86. Во дворе в трехэтажном флигеле жил член партии Пружан, уже два месяца не являвшийся в нашу организацию. Что с ним? С трудом поднимаюсь на третий этаж. Дверь в квартиру не заперта. Вхожу в темный коридор, напоминающий пещеру.

— Кто есть дома? — громко спрашиваю, и иду ощупью по коридору, и опять взываю: — Кто дома?

Нащупала дверь, она закрыта на висячий замок. Иду дальше. Вторая дверь тоже не открывается. Неужели вся квартира пустая? Стало как-то не по себе... Наконец нащупала еще дверь, открыла:

— Можно войти?

Очень слабый голос отвечает:

— Можно...

Вхожу, осматриваюсь. Комната давно не прибиралась. Посредине железная печка, около нее несколько щепок, остатки стула и топор валяются. В комнате холодно. На большой кровати лежат двое. Мужчина повернулся лицом к стене. Рядом на спине лежит жен-

щина. Не женщина, а живые мощи. На обтянутом кожей лице резко выступают скулы. Лихорадочно блестят глаза.

— В этой квартире живет Пружан? — спрашиваю я.

— Жил в этой... Да недавно помер, — с передышкой рассказывает женщина. — Сначала жена умерла, а через неделю он получил направление в больницу... Пошел да здесь во дворе и помер...

— А дочка где? У него дочка была.

— Она у нас в комнате живет. Одной-то ей боязно... А сейчас пошла в магазин за хлебом... За продуктами...

— Можно мне ее подождать?

— Подождите... — уже совсем безразлично отвечает женщина.

Я села на единственный оставшийся в комнате стул.

Надо найти партийный билет Пружана и сдать его в райком партии. Дочь должна знать, где документы отца. Ей уже семнадцатый год. Дождусь ее, сделаю всё сегодня. Второй раз приходить сюда трудно, да и девочку надо поскорее куда-то пристроить...

Но что за люди передо мной? Мужчина так и не обратил на меня внимания, только по прерывистому дыханию чувствую, что он жив.

— А вы что, заболели? Врач был? — спрашиваю у женщины.

— Не заболела, а ослабла, — говорит она. — Карточки потеряла...

Прошла только половина месяца, а у человека нет карточек. Это настоящая трагедия! Это голодная смерть!

— Так что же вы лежите? Есть у вас свидетели, что потеряли карточки? Надо составить акт, пусть они подпишут, и вы получите новые карточки. Какая у вас была карточка?

— Рабочая... Я работала в «Швейнике»... Гимнастерки шила... Норму перевыполняла... — сразу оживилась она. — Только ослабла, забюллетенила... За карточками на этот месяц сама ходила... А сейчас и не дойти...

Вздохнула глубоко, от длинной речи устала.

— Надо в следующий раз беречь карточки. А теперь получишь иждивенческие, — уж порядок такой. Всё-таки подспорье... «Швейник» по соседству с моей работой, я тоже в Апраксином дворе работаю, во Фрунзенском районе. Позвоню сегодня к Алексеевой, попрошу ее прислать тебе кого-нибудь на помощь, чтобы похлопотали о карточках.

— Меня Алексеева хорошо знает...

— Так что же ты не известила артель, что у тебя такая беда?

— Не знаю... Отчаялась как-то... Как потеряла карточки, думаю: «Вот и смерть моя!»

— Эх, бить тебя некому, — с укором и строго говорю ей. — Так

и легла умирать! Дело идет к лучшему, хлеба снова прибавили, а она — умирать! — стараюсь пробудить интерес к жизни разговором о хлебе, работе. — А говоришь, нормы перевыполняла... Разве можно так лежать и ждать смерти?! Ты еще поднимешься и нашим бойцам сколько гимнастерок к лету нашьешь!..

— Только бы поправиться... Нашью... Я быстро шила, — еще больше оживилась женщина. А как акт составлять, я не знаю...

— Есть у тебя чернила?

— Где-то на этажерке был пузырек.

В пузырьке сухо. Влила немного воды, взболтнула. Очень бледные получились, но всё же чернила. Составила акт о потере карточек.

— Ну вот и написала тебе акт. Подпишет его дочка Пружана да еще двое свидетелей, кто знает беду твою, и получишь новые карточки.

— Официантка одна в столовой знает... Я искала там, плакала... А больше свидетелей нет...

Я поставила свою подпись. Может быть, эта подпись спасет жизнь человека.

Просидела около нее час. Девочка всё не возвращается.

На улице уже темнеет. Решила уходить.

— Ну, до свидания. Скажи дочке Пружана, чтобы к нам в артель пришла. На работу ее устроим. Будет рабочую карточку получать. И пусть принесет партийный билет отца в партбюро, мне лично... А сама не залеживайся. Смерть-то боится тех, кто не поддается. А ты было сама к ней в лапы полезла.

— Да я боевая была, — слабо улыбается женщина, и голос вроде крепче стал у нее: — Ты не бойся, я поднимусь... Только бы карточки... И к тебе зайду, как поправлюсь... Спасибо тебе... А Алексеева меня хорошо знает, — повторяет она и с тревогой смотрит на меня. — Ты не забудь, позвони ей...

— Позвоню, позвоню, не беспокойся.

Вечером долго не могу заснуть. В темноте вижу лихорадочный блеск больших глаз моей новой знакомой.

Утром позвонила председателю артели Алексеевой.

— Знаю, знаю такую; это хорошая работница. Вот какая беда стряслась, а мы и не знали. Ладно, спасибо. Скажу нашим комсомолкам, помогут ей.

* * *

Вчера был ясный, солнечный день. Пошла на улицу Шкапина, дом 39. Надо навестить рабочего Климова, узнать, почему он давно не появляется в артели.

Путь кажется невероятно длинным. Как это раньше не замечала расстояния?

Иду, иду, а еще не дошла и до Балтийского вокзала. Вот и улица Шкапина. Она кажется длинной-предлинной!

Сразу за пустырем и дом 39. Вхожу в квартиру, где живет Климов. И опять я в глухом, темном коридоре. Но на мой окрик: «Кто здесь есть? Хозяева!» — сразу откликнулся мужчина: «Сюда, сюда проходите».

На его голос и пошла. Впереди слабый свет увидела. Попала в кухню. На большой плите постель устроена, на ней и лежит мужчина. Коптилка рядом горит, стекла вылетели при артобстреле, и дневного света человек не видит. Это и есть Климов.

— Навестить пришла. Долгонько у нас не были. Давайте знакомиться: я ваш новый секретарь партбюро. Звать меня Елизавета Трофимовна... Ну вот. Теперь знаете, кто я, рассказывайте о себе.

Обрадовался, засуетился...

— Спасибо, что пришли... В такое время навестить пришли! Спасибо... Вот нога меня привязала к месту, не действует, доктор говорит — цинга.

Раскрыл одеяло. Подношу ближе коптилку: нога до самого колена распухла, у колена — синие пятна. Вторая нога чуть-чуть стекла.

— Не поддавайся, Иван Евсеич, болезни. Вот солнышко уже пригрело. Надо выходить на воздух, на солнце. Быстрее поправишься. Один живешь?

— Жена есть, да она на казарменном положении. Раза два в неделю забегает. Вчера была, сказала — неделю не придет теперь Гостинец принесла: бутылку кефира. У меня еще полбутылки осталось. Может, покушаете? Я вам в чашечку налью, Елизавета Трофимовна.

— Что ты, что ты, Иван Евсеич! Кушай сам, поправляйся.

Он настаивает:

— Да вы такую даль шли, устали, поди. Подкрепитесь.

— Спасибо, Иван Евсеич, я сыта! — глотая набежавшую слюну, твердо говорю я. А сама с каким бы удовольствием попробовала кефиру! Но я же на ногах, — ему нужнее этот кефир.

— Иван Евсеич, завтра выдача карточек! Кого пришлешь? Только обязательно с доверенностью и с паспортом твоим.

— Да некого послать, Елизавета Трофимовна. Я уже думал: что́ делать? Жёнка только через неделю придет.

— Ну что же, давай паспорт. Вот тебе бумага, пиши доверенность. Принесу тебе карточки.

Заволновался:

— Что вы, Елизавета Трофимовна! Такую даль из-за меня второй раз идти?! Может, прислали бы с кем. А то и сами вы не ахти как выглядите... Кефирчику бы хоть съели...

— Оставь ты кефир себе на здоровье! Да и церемонии свои оставь. Если бы я болела — разве ты бы мне не принес карточки, не помог?..

— Ох, да я бы для вас...— так и не закончил он мысль, что бы такое он для меня сделал. — Спасибо вам... Только я вас еще одной просьбой затрудню, раз уж вы ко мне еще пойдете. Уж очень покурить хочется! А жена вчера говорила, что курящим на производстве табачок дают.

— Сегодня и у нас в буфет привезут табак. Только очень неважный. Ладно, и табачку тебе принесу.

— Вот спасибо! Так хочется затянуться разок-другой! Вроде курить больше хочется, чем есть.

Расстались друзьями.

И только прошла пустырь и несколько домов, услышала свист снаряда и почти тотчас разрыв. За ним сразу — второй. Начался артобстрел района. Снаряды ложатся вдоль улицы Шкапина.

Близко Балтийский вокзал, — может быть, в него метят? Вот очередной разрыв. Улица сразу опустела. Меня взрывной волной ударило о стенку, сильно ушибло. В голове шумит, в ушах звон, а соображаю всё хорошо. Еще не осела пыль и... опять разрыв!..

Встаю под арку дома с необстреливаемой стороны. Немного тошнит... Вдруг вспомнила: у меня паспорт Климова, он будет ждать продкарточки, а меня могут убить...

Всё боялась за Климова: поздно узнáет он, что меня не стало. Тогда и он ослабнет, — и еще жертва. Проклятые фашисты!..

Стала сомневаться: правильно ли я сделала, что взяла паспорт?

«Но какой же у него еще выход?.. Нет, нет, ты не подумаешь обо мне плохо, Климов! Ты слышишь разрывы снарядов, и если завтра я не приду — поймешь, чтó со мной...»

Простояла я под аркой еще минут десять—пятнадцать, пока не кончился артобстрел...

...Сегодня тоже солнечно. В два часа пошла к Климову. Несу и табачок, и карточки. Но табак такой, что по виду даже не похож на табак: тронешь — сучки да палки, а запахом и не напоминает табак! Настоящая «Лесная быль», как его называют ленинградцы...

Как мне обрадовался Климов!

— Живы? Слава богу! А я за вас так боялся вчера. И сегодня всё думаю: жива ли? Хорошо, что пораньше пришли.

— А я-то как перепугалась! Унесла твой паспорт, а вдруг — убьют?.. Всё хорошо, что хорошо кончается... Ну, небось, не выходил на воздух?

— Часиков в одиннадцать выполз. Потом спал, как пьяный, часа два! Давно не был на улице.

— На солнце побольше бывай, быстрее поправишься.

Он разговаривает, а сам дрожащими пальцами крутит цигарку, торопится, просыпает табак, нервничает. Затянулся с наслаждением, даже глаза закрыл.

— Большущее вам спасибо, уж не знаю, как и выразить...

— Ты спасибо про себя оставь. А вот поправляйся быстрее да на работу выходи.

— Теперь я поправлюсь... Мне сегодня куда лучше...

— Вот тебе витамин С. Сегодня прими две и завтра две таблетки, — вынимаю из сумочки и передаю ему пакетик.

Знаю, что четыре таблетки витамина ему мало помогут, но здесь будет иметь значение не столько сам витамин С, сколько моральный фактор... Кстати, рассказала ему рецепт, как приготовлять витамин С из хвои. Этот рецепт вычитала в «Ленинградской правде» и всем о нем рассказываю.

— Спасибо... спасибо, родная, — говорит он, а у самого навернулись слезы.

Пожала ему на прощанье руку. Иду уже к двери.

— Подожди-ка, Елизавета Трофимовна! Вот вчера сосед заходил, говорил, что должен быть новый заем. Я к этому времени, может, еще не приду, так ты меня подпиши. Сейчас он нужнее государству, чем в другое время...

— Это верно, что нужнее. И я тоже думаю, скоро выпустят новый заем. А на сколько же, в случае чего, тебя подписать?

— Да на средний пиши...

— Спасибо, Иван Евсеич! Вот ты уже и начал мне помогать... Первым в списке подписчиков будешь!.. Ну, всего доброго! Скорее приходи!

ГРИША

Встретила я его в конце февраля 1942 года. Стою во дворе одного из домов своего участка, пришла посмотреть, много ли предстоит работы по очистке двора, и чувствую, я не одна, кто-то наблюдает за мной. Кто? И вижу: через стекло двери ближайшей парадной смотрят на меня синие-синие детские глаза. Поманила. Немного помедлив, выходит из парадной бледный, худой, неказистый парнишка лет десяти.

— Ты в этом доме живешь?
— В этом... У своего дядьки — дворника...
— Как звать-то тебя?
— Грыгорый Трохымыч Тарасюк, — говорит с сильным украинским выговором, затем просительно: — Тетя, у вас, может, найдэться яка робота. Чи попылыть дрова, чи воды принэсти. Я вам помогу... А вы мени супу чашку даетэ...

Взметнулись длинные ресницы, синие глаза смотрят на меня серьезно и выжидательно. Они ярко выделяются на прозрачно-бледном лице.

Мне положительно нравится мой новый знакомый.

— Пойдем-ка ко мне, Григорий Трофимович. У меня сейчас обеденный перерыв. Закусим вместе.

— А робота е? — несколько нерешительно спрашивает Гриша.

— Потом и о работе подумаем, обсудим вместе. Что же ты стоишь? Идем!..

Он молча пошел за мной. Внимательно наблюдает, как я наливаю суп.

Вижу, голоден, — суп быстро исчезает.

— Спасыби... Ну, шо робыть?.. — встает он из-за стола.

— Подожди, подожди! У меня еще каша есть.

Раскладываю миниатюрную порцию каши на две тарелки. Обедаем мы оба без хлеба: обычно я делю хлеб на два раза — на завтрак и ужин. Сегодня делаю исключение. Наливаю по чашке чаю и отрезаю обоим по малюсенькому ломтику хлеба.

С каким наслаждением пьет Гриша чай с хлебом! Пот крупными каплями выступил у него на лбу и на носу. Он вытирает его рукавом.

Во время обеда мальчик молча наблюдал за мной. И видела я, удивляется Гриша, что всё делю поровну. Когда выпил чай, разговорился:

— Колы мого батьку вбылы в финьску войну, так мэнэ взялы до сестры батьки, до моей тетки. И тетка и дядько Трохым жалилы мэнэ. А як начався голод, то дядько Трохым став лаять тетку: «на що его взялы!» Воны мають ще двое дитей: Розу та Маруську... Мэни б роботу яку, вин бы не лаявся...

Скоро я познакомилась с семьей, в которой жил Гриша. Тетя очень жалела Гришу, но сказала, что трудно с такой семьей: ведь девочки еще не помощницы: Розе девять лет, а Марусе — пятнадцатый. И приходится выслушивать «укоры» мужа, что и «своих хватает».

— Но что делать? Не выбросить же мальца на улицу... — тоже с украинским акцентом говорит она.

— Он — хороший мальчик. Уже сейчас ищет работу, чтобы вам легче было. А подрастет — за сына вам будет.

— Та мы к тому и взялы его. Колы б не Гитлер, жили б без беды. Я в совхозе «Ручьи» работала. Вот эти стулья — моя премия. На всех хватало, шо я заробляла.

— А что, Ульяна Петровна, если я Гришу в детский дом определю? И учиться будет, и сыт будет. И вам полегче станет.

— То б само лучшее було б! — говорит она. — Но надо с Трохымом побалакать...

— Конечно, я поговорю с ним. Думаю, что согласится...

Тут и Трофим вошел. Я сразу к нему:

— Я по заданию парторганизации. Вот зашла познакомиться, посмотреть, как вы живете, и поговорить с вами насчет будущего.

Трофим угрюм и неразговорчив.

— С такой оравой одно у меня будущее — подыхать, — злобно говорит он. (Кстати сказать, выглядит Трофим совсем не дистрофиком.)

— Ну, сразу и «подыхать»! Что приютили племянника — это вы молодец! Но сейчас вам трудно, вот я и пришла поговорить — а не похлопотать ли за Гришу, чтобы его взяли в детский дом?

Вижу по глазам — доволен, но говорит угрюмо:

— Улита едет, когда-то будет... А до того и ноги протянешь.

— Ну, самое страшное — голодную зиму — пережили, так теперь живы будем. Вы молодец, что всех троих детей сберегли. А Гришу устроим, еще полегче вам станет. Но если не хотите, я не буду хлопотать, — заканчиваю я разговор и боюсь, что он скажет: «Не надо». А как хочется мне устроить в детский коллектив синеглазого Гришутку, взять его от этого угрюмого человека! Хочется, чтобы его больше «не лаяв дядько Трохым».

Может быть, и неплохой был «дядько Трохым» человек, и, конечно, это так: он — инвалид финской войны, был ранен и отморозил руки. На правой руке у него четырех пальцев не хватает. И, несмотря на инвалидность, взял же он к себе племянника-сиротку. Но тяжелое положение в эту зиму (холод, голод) сделало его раздражительным, угрюмым. А тут еще навязчивая идея об эвакуации, овладевшая им, и куда эвакуируешься с такой «оравой»?..

— Ну, так подумайте, потом скажете мне свое решение, — говорю я. — Мне пора. До свидания...

Я не ошиблась: хочет он куда-нибудь пристроить Гришутку. Не дал и до двери дойти:

— Что ж там думать! Хлопочите... Что он так болтаться будет...

Да посоветуйте мне: хочу эвакуироваться. Куда лучше ехать? В Сибирь — холодов боюсь. Что если на Кавказ?

— Затрудняюсь советовать. Сами выбирайте.

— Поеду только с Розой. А как устроюсь, так всех выпишу.

Жена смотрит на меня умоляюще. Я понимаю ее взгляд и советую ему:

— Лучше ехать вам одному, а потом и семья приедет. Куда вы с девочкой? И в дороге труднее, и на месте забот больше. Недосмотрите, болезнь может привязаться.

Вижу, моими речами мать довольна. Отец тоже не прочь уехать один, только неловко ему оставлять «ораву» на жену. Вдруг он оживился:

— Вы правду говорите. Без нее я и устроюсь быстрее.

— Та вже ж езжай один, — совсем просветлела мать.

Не очень-то, очевидно, доверяет она своему Трофиму ребенка, рада, что девочка с ней останется.

* * *

Не сразу удалось достать путевку в детдом. Эти дни Гришутка почти всё время у меня дома. Починила я его рваное пальтишко, подшила обтрепанные штанишки. Приду с работы (я уже не на казарменном положении), а кипяток готов, плита топится. Чем мог, Гриша отвечал на мои заботы о нем... Прихожу как-то, а он полы вымыл (жила я на кухоньке). Побранила, — больше извозился, чем мне помог. Запретила без разрешения что-либо делать. Огорчился малец!

Вечерами готовила ему в детдом «приданое»: собрала рубашечки и нижнее белье своих эвакуированных мальчуганов. Носков несколько пар подобрала. Всё починила, заштопала. Из стареньких вещей платочков носовых нашила. И, пока работаю, ведем с ним разговоры по душам. Он вспоминает о своей «мамо», расспрашивает о моих ребятах. Я рассказываю, как мы перед войной елку устраивали. Хочется как-то отвлечь его хоть ненадолго от трудностей жизни, так рано им познанных, вызвать у него детскую ясную улыбку.

Положит Гриша на руку голову, немного набок склонит ее и слушает сказку, не сводя с меня серьезного взгляда своих синих глаз.

...Наконец пришла путевка в детдом на улицу Правды. Связала ему узелок. В последний вечер рассказывала о детских домах, какие хорошие люди из них выходят.

— Я дуже хочу учиться, та шось не дается. Взяв у Розы задачник, а не можу решить задачку, — сокрушенно говорит Гриша.

Бедный мальчик! Он не понимает, что сейчас дело не только в его желании или умении, а в том, что ослабела память. Сладкого мало, очень мало. Да и что́ это за сладкое? Чаще всего его тетя брала соевые конфеты вместо сахара, полагающегося по его, детской, карточке. Скоро, скоро, мальчик, тебе будет легче! Завтра пойдешь ты в детский дом.

— В детдоме ты быстро научишься решать задачи. Там учителя помогут, объяснят непонятное.

Я так привыкла к нему, что жаль было расставаться. Но оставить у себя не могла: я целый день на работе, и Гриша предоставлен сам себе. Я себе бы никогда не простила, случись с Гришей что-нибудь во время обстрелов!

И вот Григорий Трофимович Тарасюк — полноправный член коллектива детского дома! Узнаю, что две недели ходить к нему нельзя, он будет на карантине.

За это время хлопочу об эвакуации «дядьки Трохыма». Он шофёр по специальности, и только из-за инвалидности ему дают разрешение на эвакуацию. Едет на Кавказ.

— Там я смогу и со своими отмороженными руками работать по специальности, тепло там! — очень довольный своим отъездом, говорит он.

Я тоже довольна его отъездом. Уж очень рвется он из Ленинграда. Это не боец для нашего города-фронта.

* * *

В воскресенье часов в одиннадцать утра звонок. Открыла дверь и очень обрадовалась — Гриша! Прошло только двенадцать дней, но я уже о нем соскучилась.

— До другого воскресенья далэко. На сегодня пустылы. Я вже до тетки заходыв, потом вас навэстыть решив. Мэни к часу дня обратно.

От детского дома в восторге! Рассказал подробно о порядках там, рассказал о питании, причем со всеми подробностями, что́ бывает на первое, что́ на второе. И никак не мог вспомнить, как называется третье, которое было вчера.

— Кисель? — пытаюсь помочь ему.

— Ни!.. Це позавчора було.

— Компот?

— О це ж — компот! — обрадованно подтверждает он и тихо добавляет: — Моя мамо называла взвар...

...В следующее посещение Гриша рассказал, что ребята организованы по группам, что он назначен «...вот же забув, як це зоветься».

— Бригадиром? — опять помогаю ему.

— Ни, нэ так!

— Групповод?

— Ни, ни! Тетя Лиза, я сам припомню, — говорит Гриша, напряженно хмурит брови, прищурил даже глаза. — Припомнив! Звеньевой!

— Это хорошо, Гришенька! Значит, воспитатели тобой довольны, раз в звеньевые назначили...

— Та довольны ж! Перед строем казалы: «Надо весты себэ, як Гриша Тарасюк!»

Прошло всего три недели, а Гришу не узнать: стал разговорчивым, живым мальчуганом. И поправляется не по дням, а по часам.

ЕФИМ УЧИТЕЛЬ,
кинооператор

ДВЕ ВСТРЕЧИ

В самые тяжелые дни ленинградской блокады студия кинохроники вела съемки не только на передовой линии обороны города, но и в самом Ленинграде, который, в сущности, тоже был фронтом. Тогда я получил задание запечатлеть на кинопленке деятелей культуры и науки, продолжавших жить и трудиться в осажденном городе. В их числе был известный архитектор Александр Сергеевич Никольский. Я отправился к нему в обычный блокадный день, похожий на все другие дни, с артиллерийскими обстрелами и частыми бомбежками. Электрической энергии в городе не было. Трамвайные вагоны сиротливо стояли на путях, заиндевевшие от мороза. Не действовал и водопровод; за водой ходили на Неву.

А. С. Никольский жил тогда на Клинском проспекте возле Витебского вокзала. Отыскав дом, я поднялся на третий этаж и по старой привычке нажал кнопку электрического звонка. Звонок, конечно, действовать не мог. Он красовался на двери как примета довоенного времени. Я постучал. Через несколько секунд из квартиры послышались легкие шорохи, щелкнул замок, и дверь открылась. Передо мной стояла женщина в теплой шубе и больших валенках, голова ее была закутана в белый пушистый платок. Это была жена Никольского — Вера Николаевна.

Я объяснил ей цель своего посещения, она впустила меня в небольшую прихожую и сказала, как, очевидно, говорила всем приходившим в дом: «Раздеваться, простите, не предлагаю, у нас холодно». Вера Николаевна провела меня в просторную комнату, стены которой были сплошь завешены картинами, эскизами архитектурных сооружений. Тут были в огромных репродукциях великолепные образцы фресковой живописи и мозаичного искусства, рядом с проектными набросками будущего Ленинградского метрополитена висели скорбные лики святых, написанные талантливыми древними живописцами. Комната походила на зал небольшого художественного музея. Но всё это я рассмотрел позднее. Когда же я вошел в комнату, то увидел только одного Александра Сергеевича. Отложив какой-то чертеж, он

поднялся мне навстречу. Это был высокий пожилой человек, почти атлетического сложения, с красивыми чертами лица и аккуратно подстриженной седой бородой. На нем была спортивная теплая шапка с козырьком, стеганая фуфайка и валенки. Мы познакомились, разговор завязался легко. Мы говорили о положении на фронтах, об усиливающихся в последнее время обстрелах — обо всем, что служило темой для беседы в любой ленинградской квартире.

— Знаете, что больше всего меня мучит сейчас? — сказал Александр Сергеевич. — Отсутствие возможности работать в полную силу. Мыслей много, но фиксация их на бумаге затруднена, а иногда и просто невозможна. Вот и обидно... Электричества нет, дневное время тратится на бытовое обслуживание, а работать при коптилке трудно. — И, помолчав, добавил: — Только вы ошибетесь, если решите, что я сижу сложа руки. Нет, кое-что всё-таки делаю.

Александр Сергеевич взял со стола объемистую тетрадь и раскрыл ее на странице, где карандашом был сделан какой-то рисунок.

— Вот, посмотрите, — сказал он, протягивая мне тетрадь, — это первая зарисовка арки Победы. Пока только в блокадном дневнике. Скоро будет готов и настоящий проект. Текст тоже можете прочесть — он имеет прямое отношение к делу.

На страничке дневника, где стояла дата «22 января 1942 года», четким, каллиграфическим почерком было написано:

«Кругом люди слабеют и мрут... Но сдавать город нельзя. Лучше смерть, чем сдать. Я твердо верю в скорое снятие осады и начал думать о проекте триумфальных арок для встречи героев — войск, освободивших Ленинград. Специалист должен быть готов всегда, и я готовлюсь, не ожидая понукания...»

Арка, изображенная на рисунке, была проста, но вместе с тем празднична и нарядна. По верхней части арки шла надпись: «Да здравствуют героические защитники Ленинграда! Слава героям!»

Александр Сергеевич начал рассказывать о технических деталях будущего сооружения. Он был из тех людей, которые не только увлекаются сами, но умеют увлекать и других. Раньше, например, я никогда не думал о необходимости постройки триумфальных арок, а после беседы с Александром Сергеевичем они мне казались чуть ли не одним из непременных условий нашей победы.

— Главное, — говорил он, волнуясь, — чтобы всё было красиво и просто, просто и красиво. При наличии одних и тех же материалов может быть множество вариантов, а задача заключается в том, чтобы выбрать наиболее эффектный. Вы представляете себе, — сказал он вдруг, вставая с кресла и высоко поднимая руку: — вот арка с барельефами и надписью по фронтону. На ней в самых различных

положениях укреплены флаги... Они развеваются по ветру... Всё залито солнцем... Под аркой проходят овеянные славой полки Ленинградского фронта... проезжает могучая техника... И цветы... море цветов на пути победителей.

Взволнованную речь Александра Сергеевича прервала истошно завывшая сирена. Началась очередная тревога.

— Авантюристы! — брезгливо поморщился он. — Неужели они в самом деле думают побывать в Ленинграде?

Не дожидаясь окончания тревоги, я решил приступить к съемкам. Пленки у меня было мало, и поэтому съемка продолжалась недолго. Я снял Александра Сергеевича в кресле за проектированием триумфальной арки.

Мне довелось увидеть Александра Сергеевича еще раз. Эта встреча была как бы продолжением и завершением первой.

Состоялась она летом 1945 года вскоре после Дня Победы. Я получил задание участвовать в съемках торжественной встречи воинских частей — участников героической обороны города Ленина. Это событие никогда не изгладится из памяти тех, кому довелось быть его свидетелем. Весь Ленинград, проникнутый единым чувством благодарности, вышел навстречу своим защитникам. И именно в этот день, среди ликующей массы людей, я снова увидел Александра Сергеевича Никольского. Он стоял у триумфальной арки. И всё вокруг было так, как мечталось в те далекие дни. Развевались по ветру флаги, всё было залито солнцем, под аркой проходили овеянные славой полки Ленинградского фронта...

ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ

БАЛЛАДА О ЧЕРСТВОМ КУСКЕ

По безлюдным проспектам
Оглушительно звонко
Громыхала
На дьявольской смеси
Трехтонка.
Леденистый брезент
Прикрывал ее кузов —
Драгоценные тонны
Замечательных грузов.

Молчаливый водитель,
Примерзший к баранке,
Вез на фронт концентраты,
Хлеба вез он буханки,
Вез он сало и масло,
Вез консервы и водку,
И махорку он вез,
Проклиная погодку.

Рядом с ним лейтенант
Прятал нос в рукавицу.
Был он худ.
Был похож на голодную птицу.
И казалось ему,
Что водителя нету,
Что забрел грузовик
На другую планету.

Вдруг навстречу лучам —
Синим, трепетным фарам —
Дом из мрака шагнул,
Покорежен пожаром.

А сквозь эти лучи
Снег летел, как сквозь сито,
Снег летел, как мука, —
Плавно,
медленно,
сыто...

— Стоп! — сказал лейтенант. —
Погодите, водитель.
Я, — сказал лейтенант, —
Здешний всё-таки житель. —
И шофёр осадил
Перед домом машину,
И пронзительный ветер
Ворвался в кабину.

И взбежал лейтенант
По знакомым ступеням.
И вошел...
И сынишка прижался к коленям.
Воробьиные ребрышки...
Бледные губки...
Старичок семилетний
В потрепанной шубке.
— Как живешь, мальчуган?
Отвечай без обмана!.. —
И достал лейтенант
Свой паек из кармана.
Хлеба черствый кусок
Дал он сыну: — Пожуй-ка, —
И шагнул он туда,
Где дымила «буржуйка».

Там поверх одеяла —
Распухшие руки.
Там жену он увидел
После долгой разлуки.
Там, боясь разрыдаться,
Взял за бедные плечи
И в глаза заглянул,
Что мерцали, как свечи.
Но не знал лейтенант
Семилетнего сына:

Был мальчишка в отца —
Настоящий мужчина!

И когда замигал
догоревший огарок,
маме в руку вложил он
отцовский подарок.
А когда лейтенант
вновь садился в трехтонку,
— Приезжай! — закричал ему
мальчик вдогонку.
И опять сквозь лучи
снег летел, как сквозь сито,
снег летел, как мука, —
плавно, медленно, сыто...
Грузовик отмахал уже
многие версты.
Освещали ракеты
неба черного купол.
Тот же самый кусок —
ненадкушенный, черствый —
лейтенант
в том же самом кармане нащупал.
Потому, что жена
не могла быть иною
и кусок этот снова
ему подложила.
Потому, что была
настоящей женою,
потому, что ждала,
потому, что любила.
Грузовик по мостам
проносился горбатым,
и внимал лейтенант
орудийным раскатам,
и ворчал,
что глаза
снегом застит слепящим,
Потому, что солдатом он был
настоящим.

Д. ДАР

ХЛЕБ И КАМЕНЬ

Рассказ

Сын умирал. Смерть застыла в его глазах, безразличных ко всему на свете, устремленных сквозь предметы в ничто.

Он лежал на диване беспомощный и жалкий, не шевелясь, ничего не говоря, ничего не желая. Только иногда облизывал губы, желтые, как и всё лицо.

Он умирал. Умирал ее Анатолий, ее ненаглядный, единственный. Она глядела на него часами, сутками, и всё ей было мало. Не было у нее других радостей, кроме его радостей. И горя другого не было, кроме его горя. И вот теперь он лежит здесь чужой, отсутствующий, с потухшими глазами.

Старуха сидела у дивана, подперев сухое и сморщенное лицо костлявыми, давно не мытыми руками. Ее жесткие седые волосы выбились из-под платка. Она не плакала, у нее уже не было слез. Слезы остались в прошлом. Они остались в том морозном декабре, когда всё погрузилось в могильный холод: остановились трамваи, потухло электричество, иссякла в кранах вода. День и ночь истошно выли сирены воздушной тревоги. За Невой пылали пожары. Все ночи над городом полыхало зарево. Люди брели по улицам, пошатываясь от голода и усталости, присаживались на занесенные снегом ступеньки отдохнуть и шли дальше.

Старуха надевала на себя всё теплое, что было в доме, и шла на Неву за водой. Нева была очень далеко, путь к ней — бесконечен. Возвращаясь домой, с усилием поднимала по лестнице на четверть наполненное ведро и садилась, как была, в пальто, такая усталая, что не могла распутать платка.

Голод преследовал ее всё время. Он отнимал последние силы, хотелось только лежать, не двигаясь, с закрытыми глазами. Но надо было жить. Ради сына. И она опять спускалась по лестнице, часами простаивала в очередях за скудным пайком хлеба, потом разжигала маленькую печку, сложенную посреди комнаты из кирпича, кипятила воду в черном от копоти кофейнике и, вынув из кошелки, клала на стол два ломтика хлеба: побольше — сыну, поменьше — себе.

Сын приходил усталый, молчаливый, небритый. Быстро съедал оставленный ему кусок хлеба, выпивал кипяток и долго сидел над газетой или книгой, слабо освещенной желтым неверным светом фитилька, чадящего над консервной банкой.

Мать глядела на него не отрываясь, следила за каждым его движением. Она видела: лицо его пухнет, становится каким-то рыхлым, а взгляд, скользящий по строкам, наполнен такой намертво застывшей тоской, что сердце ее не выдерживало. Она закрывалась платком и плакала от жалости к сыну и страха за него.

И был день, когда сын не вернулся с завода. Это был один из самых страшных дней в ее жизни. Она пошла на завод. Вышла на рассвете, а пришла туда к вечеру. По дороге не раз садилась отдыхать и думала, что больше не сможет встать, но вставала. Иногда она падала и лежала на грязном снегу, думая, что больше не сможет подняться, но поднималась.

В цехе было так же холодно, как на улице. Сын сидел на скамье возле своего верстака, устало прислонившись к белой от изморози стене. Он не хотел уходить домой, но мать прильнула к нему и просила:

— Пойдем, сынок! На тебе лица нет — какой ты сейчас работник?

Пошли домой вместе. Она была слабее его и шла, опираясь на его руку. И он поддерживал ее. Но на половине пути он стал так шататься, что ей пришлось поддерживать его. И теперь он опирался на ее плечо.

Так они дошли до дома. Дома он лег на диван. И вот умирает. Нет, она не переживет его смерти, да и зачем это ей? Во всем свете никого у нее нет. Кому нужна она, старая, больная, беспомощная?

Несколько дней и ночей она сидела возле сына, маленькая и сморщенная, закутанная в большой серый платок, и всё глядела и глядела в его слепые, хотя и открытые глаза.

Может быть, спасли бы его мясо, масло, сахар. Но у нее ничего не было, кроме одного черствого куска хлеба. Хлеб лежал на тарелке посреди пустого стола, и умиравшему от голода человеку стоило протянуть руку, чтобы взять его. Но он уже не хотел есть, как не хотел ничего. Ни одно желание, ни одно чувство не оживляли его мертвенно-безразличного взора, не пробуждали на лице движения мышц и мускулов. Только один раз он взглянул на мать и сказал ей тихо, с мольбой:

— Хоть бы весна скорее!

Он не знал, что уже пришла весна: вместо выбитых стекол окна забиты фанерой и в комнате было так же темно и холодно, как в разгар зимы.

Он умер утром. Мать перекрестила его, поцеловала в лоб, и вдруг всё для нее сразу кончилось, отошло на задний план, померкло, затуманилось, стало совершенно безразличным. Она даже не заплакала. Даже смерть сына стала теперь для нее безразличной. Она сидела на диване, касаясь мертвого окостеневшего тела, в той же позе, что и вчера, ничего не видела и не слышала, и ее окружал какой-то нереальный мир. Он был бесплотным, лишенным предметов, очертаний и перспективы.

Сначала ей показалось, что это и есть смерть, что она тоже умерла, как и ее Анатолий. Но постепенно в тумане ее сознания стала формироваться мысль: «Как же мне умереть? Кто же его тогда похоронит?»

Она стала подниматься. Это оказалось очень трудно. Она уперлась обеими руками в край дивана и только тогда сумела поднять свое маленькое тело, которое сейчас казалось ей невероятно тяжелым. Медленно двигаясь, завернула сына в одеяло, притащила из прихожей санки и стала класть на них длинный и тонкий куль. Стаскивать этот куль с дивана было тяжело, и она делала это так неуклюже, что мертвое тело несколько раз стукалось головой о пол. Но у старухи не было больше жалости ни к сыну, ни к себе. Только одного хотелось — скорей похоронить сына и умереть самой.

С трудом повезла санки на Волково кладбище. С моря дул холодный ветер, но солнце уже пригревало. Снег таял, и полозья санок почти не скользили. Добиралась до кладбища чуть не весь день. Домой вернулась только ночью.

Ощупью вошла в квартиру, двери которой были не заперты. И опять забыла запереть их за собой. В квартире было темно, но старуха не стала зажигать коптилки. Ей нечего было разглядывать. Ей больше ничего не было нужно. Всё было чужим, непонятным, ненужным.

Она прошла к дивану, на котором лежал сын, и легла не раздеваясь, в пальто, валенках, не размотав платка. Ее жизненный путь был пройден до конца. Всё, что могла совершить в жизни, она уже совершила. Больше ничего ее не ждало. Жизнь не могла больше иметь для нее никаких благ.

Она стала ждать смерти.

Смерть должна была прийти скоро. Смерть не могла не прийти скоро, — ведь старуха больше двух суток ничего не ела, и есть ей совсем не хотелось, и кусок хлеба, который всё еще лежал на столе, был безразличен ей, как и всё другое.

Она ждала смерти, и кругом были могильный мрак, могильный холод и могильная тишина. Так прошло какое-то время, и вдруг стало еще темнее, холоднее и тише. Сначала она не могла понять,

как это могло стать еще тише, когда и раньше не раздавалось ни одного звука, ни одного шороха. Потом догадалась: перестали тикать часы.

Ночь была очень длинной. Старуха не спала. Было так холодно, что она не решалась пошевелиться, чтобы не стало еще холоднее. И она лежала не шевелясь, с закрытыми глазами, не мертвая, но как мертвая.

Вместе с часами остановилось и время. Она не знала, наступило ли утро или всё еще продолжается ночь. Она не знала — спит она или бодрствует. Она чувствовала только холод, пронизывающий всё ее тело, сковывающий, сжимающий сердце. Но от голода, холода, от неподвижности и тишины она ослабела настолько, что уже даже не появлялось желания что-нибудь сделать, чтобы стало теплее. Иногда сознание совсем покидало ее, но временами оно возвращалось, и тогда старуха понимала, что еще жива, и начинала молиться, не разжимая заледеневших каменных губ:

— Господи! Я готова, я жду...

Утром или днем, вечером или следующей ночью дом содрогнулся от грохота. Что-то упало в соседней комнате. Не успело умолкнуть эхо, как новый взрыв потряс стены. Это дошло до сознания старухи, но не испугало ее. Она не пошевелилась, только подумала: «Вот, может быть, теперь-то конец!»

Но конца не наступило. Опять расплылась тишина, опять сковал холод, и опять потекло бесконечное время. А старуха всё лежала, ожидая своей смерти и не умирая.

Так продолжалось очень долго — быть может, целые сутки, а может быть, двое суток или трое. А смерть всё не приходила. Тогда старуха обиделась на бога, который не посылает ей смерти. Ведь она уже почти умерла, но всё-таки не умерла. И эта обида на то, что умирают те, кто не должен умирать, а она не умирает, была так сильна, что старуха даже раскрыла глаза, чтобы еще раз взглянуть на этот удивительный и несправедливый мир.

Но, раскрыв глаза, она увидела щель между краем фанеры, которой было забито окно, и рамой окна. За щелью было небо — синее и безоблачное, такое же пустое и прозрачное, как и всё остальное в ее призрачном полусуществовании. И небо не привлекло ее внимания. Но в комнате теперь было светлее. И ее внимание привлек стол и на нем — кусок хлеба, маленький, черный, черствый, и, наверное, твердый как камень. Он был похож на камень, этот кусок хлеба, и, может быть, он действительно стал уже камнем. Тогда в ее сознание пришла неожиданная и странная мысль: «Если бы этот кусок хлеба и мог превратиться в камень, он не должен бы этого

сделать. Ведь это всё-таки хлеб, который может достаться голодному».

Когда она так подумала, то сразу потеряла покой. Сначала никак не могла понять, почему окружающее перестало быть бесплотным и из ничего выступили предметы: стол, буфет, самовар. Она никак не могла понять, что́ случилось, почему сознание вновь пробудилось в ней и стало отчетливым, как и прежде. И она всё повторяла: «Если бы даже он мог превратиться в камень, он не должен бы этого сделать, ведь это всё-таки хлеб, а не камень...»

Эта странная мысль грызла ее, как укоры совести. Она мешала умереть. Она требовала какого-то решения и действия. И старуха поняла: она не должна умереть, пока не отдаст кому-нибудь этого хлеба, который еще не превратился в камень, который не может и не должен превратиться в камень.

Тогда она попыталась подняться, чтобы осуществить свое намерение и отдать кому-нибудь этот кусок хлеба. Но подняться не могла, не было сил. А хлеб всё лежал на столе, похожий на камень, и этот кусок хлеба притягивал к себе, обладал колоссальной силой, и она твердо знала, что если бы даже он мог превратиться в камень, то не должен бы этого сделать, потому что это всё-таки хлеб, а не камень.

И старуха поднялась со своего ложа. Так мертвый поднялся бы из своей могилы. Ей самой стало страшно, когда она поднялась, потому что еще несколько минут назад она считала себя умершей, и теперь было так, будто пришла она с того света.

Она не могла стоять и идти и должна была придерживаться руками за стены и мебель. Но даже придерживаясь, она шаталась, будто в комнате дул сильный ветер. Ноги не держали ее, она не могла переставлять их, а могла лишь волочить за собой, и она поволокла их, и поползла по комнате, изнемогая от усталости и слабости, зажав в руке кусок хлеба, холодный и твердый, как камень.

Так она выползла из комнаты, из квартиры, спустилась по лестнице и оказалась во дворе. В первый момент, после полумрака комнаты и лестницы, она была ослеплена золотым сиянием, исходившим от всех предметов во дворе, освещенных весенним солнцем. Сияние исходило от груд грязного неубранного снега, от луж, от кирпичных развалин соседнего дома, от битого стекла, от осыпавшейся штукатурки, от громадных хрустальных сосулек, свисавших под крышей.

Девочка и мальчик сидели на каменных ступеньках. Мальчику было лет десять. Он был высокий и худой, с землисто-зеленым цветом кожи. Он сидел смирно и широко раскрытыми глазами глядел на сосульки. Девочка, ей было не больше семи-восьми лет, с желтыми,

аккуратно зачесанными косичками, сидела с ним рядом. Она сосала палец правой руки, а левую руку положила на колени брата.

И старуха села рядом с ними. Она вытянула ноги, обутые в валенки, прислонилась к каменной стене дома и дала детям кусок хлеба. Он был так тверд, что мальчик не сразу сумел разломить его пополам. Когда он ломал хлеб, девочка сложила ладони «лодочкой», чтобы хлебные крошки не просыпались на землю.

— Спасибо, бабушка, — сказала она и, уже для себя, с восхищением добавила: — хлеб!

И от этих нескольких слов у старухи защекотало в горле. Она почувствовала, что вновь ее иссякшие глаза увлажнились. Ей вдруг стало очень жалко. Кого? Себя? Детей? Она не знала, кого ей стало жалко, но сердце ее раскрылось для жалости. Ей захотелось прижать к себе эти детские головки, почувствовать их тепло, приласкать, услышать ласковое слово и самой сказать что-нибудь ласковое. Но она не могла вспомнить ни одного ласкового слова, — она забыла все такие слова, и язык ее еще был холоден и черств, как камень. Она только притянула к себе девочку и коснулась своей сухой и холодной ладонью ее тоненьких и слабеньких ручек. И ее старая, шершавая кожа согрелась от этого прикосновения, и под ней опять стала пульсировать кровь. Стало теплее. Утирая слёзы, застилавшие глаза, старуха шептала:

— Если бы даже хлеб мог сделаться камнем, то не дал господь ему такого права, не допустил бы он этого, чтобы хлеб стал камнем...

— А зачем хлебу стать камнем? — с удивлением и очень серьезно спросил мальчик. — Вот если бы камень стал хлебом...

— Я бы тогда все ступеньки съела, — сказала девочка и улыбнулась.

— А я бы весь дом съел, — сказал мальчик и тоже улыбнулся.

Быть может, это были первые детские улыбки в Ленинграде весной 1942 года. И когда старуха увидела эти улыбки, она подумала: «Вот и я, как хлеб. Если даже я и хочу умереть, я не должна этого сделать, потому что я живая, а не мертвая, я хлеб, а не камень».

Эта неясная мысль как-то вдруг всё преобразила. Старуха почувствовала ласку солнца и испытала сладость этой ласки. Она жадно вдохнула в себя свежий ветер и испытала сладость этого ветра. Он донес до нее что-то почти забытое, далекое и благостное. Был в нем запах приближающегося лета, распускающихся почек, детских пеленок, свежего хлеба и глаженого белья. И она стала вдыхать и впитывать в себя этот запах жизни и чувствовала, что жизнь возвращается к ней, что она создается из ничего, из самого воздуха, из солнечных лучей, из пылинок, искрящихся в этих лучах.

В это время раздался зловещий свист снаряда. Он завершился тяжелым ударом, который долгим громыхающим эхом раскатился между каменными стенами домов, по улицам и площадям города. Дети вскочили, и вслед за ними поднялась старуха.

— В подвал? — спросила она.

— В подвал, бабушка, скорее! — крикнул мальчик и схватил ее за руку.

И старуха поплелась за ними. Она спешила, потому что опять была живой, а не мертвой. Она спешила от смерти и, крепче сжимая руку мальчика, шептала про себя: «Хоть бы на этот раз пронесло!»

А. САПАРОВ

ЛАДОЖСКАЯ ХРОНИКА

ТАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

В середине ноября 1941 года ударили морозы. Они крепчали с каждым днем, как бы торопясь помочь угодившим в беду ленинградцам.

Протянуть коммуникацию, которая свяжет осажденный Ленинград с большой советской землей, можно было лишь в районе Ладожского озера. На южном берегу Ладоги уже стояли дальнобойные батареи врага. В северной части озера хозяйничали белофинские прислужники Гитлера. Но еще оставалась незахваченной узкая полоска воды между западным и восточным берегами озера. На нее-то и устремились в эти дни все надежды, она и стала вскоре легендарной «дорогой жизни».

Крепкий и звонкий у берегового припая, молодой ледок, отдаляясь в озеро, становился всё тоньше, пока, наконец, не сливался на горизонте со свинцово темнеющей водой.

Когда же, когда замерзнет озеро? Костлявая рука голодной блокады всё туже сжималась на горле Ленинграда. Мучительно трудно было ждать конца ледостава.

18 ноября из прибрежной деревни Кокорево выступила разведка. Воентехник Василий Соколов, которому было приказано во что бы то ни стало дойти до восточного берега, отобрал в свой отряд тридцать добровольцев из числа бойцов дорожного батальона. Кроме личного оружия и гранат, каждый разведчик получил недельный паек сухарей, подбитую шипами обувь и туристский посох с острым наконечником. В легких санях был уложен запас вешек для обозначения будущей трассы.

Неприветливо встретила Ладога разведчиков. Занималось хмурое зимнее утро. В лицо бойцам дул холодный ветер, вздымая облака колючей снежной пыли.

Первые три километра разведчики прошли быстро. Лед держался прочно, и тревожное ощущение опасности мало-помалу покинуло людей.

В полдень на озере разгулялся штормовой, сбивающий с ног ветер. Проводник Никанорыч, старый ладожский рыбак, вызвавшийся указывать дорогу разведчикам, сразу помрачнел.

— Идти дальше опасно, — объявил он Соколову. — Слышишь, как лед крушит?

И, как бы подтверждая слова Никанорыча, впереди отряда появилась широкая трещина. Тотчас из нее выступила вода.

Соколов остановился. Позади него, вытянувшись в цепочку, застыл весь отряд.

Как быть дальше? Проще всего — вернуться в Кокорево, но отдать такой приказ Соколов был не в силах. Сам ленинградец, он знал, что происходит сейчас в городе, оставшемся без хлеба. Разве опасности, которые угрожают им, сравнишь с бедой, обрушившейся на Ленинград? Нет, назад возвращаться нельзя!

Но и вперед идти было трудно. На озере разгулялась злая ладожская пурга. Под ногами ожил лед. Явственно чувствовалось, как раскачивает его ветер, как шевелится он, то опускаясь, то поднимаясь. На всякий случай Соколов приказал бойцам обвязаться веревкой.

Уже смеркалось, когда впереди была замечена открытая вода. Майна преграждала путь в Кобону — к заветному восточному берегу с его запасами продовольствия для ленинградцев. Кто знает, как далеко она тянется... Местные жители предупреждали, что в иные ледоставы эти разводья доходят чуть ли не до середины озера.

Взяв с собой трех бойцов, командир отряда отправился в обход майны. Остальные расположились отдыхать прямо на льду.

Пока группа Соколова искала обход майны, пока уставшие разведчики окликали друг друга, опасаясь, что замерзнут, если не совладают с дремотой, на западном берегу всё возрастала тревога. Где же теперь отряд? Не случилось ли с разведчиками несчастья? Прошло много часов, а вестей с озера не было.

Связной от Соколова прибыл на рассвете. Командир разведки сообщал, что разыскал дорогу в обход майны и продолжает движение всем отрядом, надеясь к утру достигнуть Кобоны.

В конце донесения Соколов добавлял, что убежден в возможности пустить по озеру конный транспорт, правда — с облегченной нагрузкой. Тотчас об этом доложили в Смольный, Военному совету фронта.

Ледовая трасса была пробита. Еще хвастались гитлеровцы своей блокадой, сквозь которую будто бы и птице не пролететь, еще ничего не знала обеспокоенная Родина, тревожась за попавших в беду ленинградцев, и даже сами ленинградцы еще только надеялись на подмогу, а легендарная «дорога жизни» уже начала действовать.

Первые ее дары Ленинграду прибыли на следующий день — 19 ноября.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

Ледовая дорога через Ладогу была делом, какого не знала мировая история.

По замыслу Государственного Комитета Обороны, военно-автомобильная дорога № 102 (так она называлась официально) должна была начинаться в Ленинграде. На лед Ладожского озера она выходила возле мыса Осиновец, а затем 30 километров тянулась по ледяным просторам, снова поднимаясь на грунт у прибрежного рыбацкого села Кобоны. От Кобоны по глухим бездорожным местам дорога пробивалась к станции Заборовье, ставшей к тому времени главной базой снабжения Ленинграда. Длина всего маршрута составляла 308 километров.

Самым тяжелым и самым опасным, был, конечно, озерный участок. Представьте себе бескрайнюю снежную равнину с длинными рядами черных вешек, уходящих к горизонту. Равнина скована лютым холодом и кажется застывшей навечно. Впрочем, это до первого ветра. Стоило ему задуть, и над ее поверхностью начинали носиться белые хлопья. Их становилось всё больше, они всё ускоряли свою неистовую пляску. Это означало, что на ладожскую равнину пришла очередная метелица. Она могла бушевать несколько суток подряд, а могла и стихнуть так же внезапно, как началась.

Если выдавался погожий денек, залитая холодным зимним солнцем ладожская равнина казалась необыкновенно привлекательной. Ослепляюще ярко блестел снег, зеленоватые ледяные глыбы переливались всеми цветами радуги, а выкрашенные в белый цвет машины выглядели даже нарядно. Но это было обманчивое впечатление, которое скоро рассеивалось.

Всякий, кто попадал в те дни на Ладогу, мог почувствовать, что «дорога жизни» полна опасностей и тревог, что скорее она является полем незатихающей битвы, нежели дорогой в обычном понимании этого слова. По хмурой сосредоточенности, с какой действовали здесь люди, по измученным лицам шоферов с воспаленными от бессонницы глазами, по множеству черных воронок на льду и сгоревшим либо наполовину затонувшим машинам, которые попадались на всей трассе, нетрудно было понять, насколько серьезна здесь обстановка.

Редко кому удавалось проскочить «дорогу жизни», не попав под бомбежку или артиллерийский обстрел, или под то и другое одновременно. С самого раннего утра в ладожском небе стоял гул моторов. Звенья наших истребителей, патрулировавших ледовую трассу, беспрерывно кружились над ней, ввязываясь в ожесточенные схватки с «юнкерсами» и «мессершмиттами».

Воздушные налеты начинались без обычных сигналов тревоги.

Выбирая участки, где скопилось побольше груженых машин, бомбардировщики врага круто пикировали на дорогу. Взлетали к небу огромные каскады воды из воронок, пробитых тяжелыми фугасными бомбами, загорались машины, громко взывали о помощи раненые и тонущие. Почти всегда одновременно с налетом авиации начинался артиллерийский обстрел. Вражеские батареи били по квадратам, снег покрывался черными опалинами.

Столь мирная, на первый взгляд, дорога мгновенно становилась огнедышащим передним краем. Но, в отличие от передовых позиций где-нибудь возле Пулковских высот или Колпина, здесь не было под ногами твердой земли.

Движение по Ладоге замирало, но лишь затем, чтобы тотчас возобновиться с новой силой, едва оттащат в сторону остовы сгоревших машин, увезут раненых и устроят объезды воронок.

Работать на ледовой трассе в ту пору могли лишь геройские люди, истинные богатыри духа, превыше всего ставившие свой долг перед Отчизной. Они знали, что великий город революции переживает черные дни, что спасти ленинградцев от мучительной смерти можно только самоотверженным трудом.

Святого труда работников «дороги жизни» никогда не забудет наш народ. Это был массовый подвиг, навеки обессмертивший имена ладожских шоферов, регулировщиков движения, грейдеристов и дорожников.

ЛЕГЕНДА И БЫЛЬ

В ту зиму родилась легенда о водителе, которого застигла на озере пурга. Все ветры Ладоги дули ему в лицо, все батареи врага открыли огонь, но это не остановило храбреца. Он вез хлеб для Ленинграда — тонну черного хлеба, которым можно спасти от голодной смерти пять тысяч человек. Если ему становилось невмоготу, он вспоминал своих голодающих детей и снова мчался вперед. Наконец не выдержал мотор его машины, замолк, скованный морозом. Напрасно пытался оживить его водитель, напрасно рвал из последних сил заводную ручку, — мотор не хотел оживать. Тогда этот герой, не найдя другого выхода, облил свои руки бензином и зажег их, как факел, чтобы вдохнуть жизнь в застывший мотор.

Такова легенда, которую из уст в уста передавали в солдатских землянках. Нечто подобное случилось на Ладоге и в действительности.

Было это так.

Из-за поломки машины водитель Филипп Сапожников отстал от

своей колонны. На озере его застигла пурга. Она засыпала снегом ветровое стекло, и Сапожникову пришлось вести свой «газик» вслепую.

Пурга завывала с такой силой, что временами казалось, будто машина совсем не движется вперед. Но коммунист Сапожников не хотел сдаваться. Позади оставался длинный путь, а впереди, в каких-нибудь десяти километрах, был ленинградский берег.

Важнее всего в таких случаях — не сбиться с пути, не заскочить по ошибке к фашистам. Часто выскакивая из кабины, Сапожников пытался разглядеть хоть какие-нибудь признаки дороги. Всё было напрасно. Темная, беззвездная ночь нависла над Ладогой, а в ночи свирепствовала лютая пурга.

В довершение всех несчастий заглох мотор. Сапожников был опытным шофером и знал, что если дать мотору застыть, то никакими силами не заведешь потом машину. Он испробовал все средства, — мотор молчал. Тогда водитель скинул свою меховую рукавицу, облил ее бензином и, надев на заводную ручку, зажег.

Раздуваемое ветром пламя доставало руку, раскалившийся металл обжигал пальцы. Стиснув зубы, Сапожников терпел. Несколько раз он выпускал горящую рукавицу, не в силах вынести боли, потом снова подносил ее к мотору. Обожженные пальцы Сапожникова покрылись волдырями, а он всё держал заводную ручку с ярко пылающей рукавицей, стремясь во что бы то ни стало отогреть мотор.

И добился своего: мотор загудел. Теперь оставалось проехать несколько километров, чтобы сдать груз на склад. Начала стихать пурга, и Сапожников отчетливо увидел огоньки западного берега. Изредка там вспыхивала и быстро, словно испугавшись своей смелости, гасла яркая автомобильная фара. Берег был так близко, что, казалось, стоит разогнать машину, и мигом доберешься до склада.

Эти последние километры стали для Сапожникова самыми мучительными. Обожженные пальцы не давали взяться за баранку.

Огромным усилием воли Сапожников заставил себя сдвинуть машину с места, но удержать баранку не смог. Он уперся в нее локтями и так повел свой «газик».

Его машину, которая шарахалась из стороны в сторону, словно пьяная, увидели регулировщики, стоявшие у спуска на озеро. Они решили, что какой-нибудь разгильдяй-шофер хватил лишнего и теперь может застопорить всё движение, остановившись у подножия крутого спуска. Но, подбежав к машине, строгие регулировщики застыли в изумлении. В кабине сидел, как-то неестественно растопырив пальцы, водитель с перекошенным от боли лицом.

— Позовите кого-нибудь из шоферов! — прохрипел он регулировщикам. — Самому мне не поднять машину в гору...

Так коммунист Сапожников привез голодающим ленинградцам тонну черного хлеба, того самого, про который Вера Инбер писала, что он «белого белей».

Когда к машине прибежала запыхавшаяся санитарка и, глянув на ожоги водителя, заторопила его в палатку медчасти, Сапожников медленно покачал головой:

— Обожди, не торопись с лечением...

Ему хотелось сперва сдать на склад привезенный груз, самому убедиться, что всё в порядке, а потом уж идти к медикам. Так он и поступил, упрямая душа.

ПОДАРОК ТВЕРДОХЛЕБА

Максим Твердохлеб вез Ленинграду новогодние подарки, присланные из далекой Грузии. В кузов его полуторки были погружены ящики с мандаринами, и на каждом из них виднелась короткая, всё объясняющая надпись: «Ленинградским детям».

Надо ли рассказывать, каким бесценным сокровищем был по тем временам этот груз! Мандарины солнечной Колхиды как бы символизировали любовь отчизны к героическим ленинградцам. Недаром даже строгие контролеры, зорко следившие на восточном складе, чтобы в машины грузились только продукты первостепенной важности (а важнее ржаной муки тогда ничего не было), пропустили эти ящики без возражений.

Уже смеркалось, когда Максим Твердохлеб выехал на ледовую трассу. Вечерние часы на Ладоге считались самыми спокойными. Самолеты врага прилетали либо днем, либо позднее, чтобы, заливая лед ослепительным светом ракет, гоняться за ночными колоннами.

Не мела в этот раз и пурга — злейший недруг ладожских шоферов. Единственное, что давало себя почувствовать, — это лютый морозище, завернувший к вечеру до тридцати градусов.

Максим Твердохлеб рассчитывал быстро проскочить ледовый участок. Тогда, пожалуй, грузинские мандарины смогут еще поспеть к Новому году.

Но расчеты его не оправдались. Едва доехав до середины озера, Твердохлеб услышал знакомое завывание бомбардировщиков. Он выглянул из кабины. Так и есть! Идут девяткой, в четком строю, возвращаясь, очевидно, после очередного налета на Войбокалу или Волхов.

Тведохлеб прибавил газу. Он еще надеялся проскочить незамеченным. Но, когда от девятки отделились два крайних самолета и начали заходить для пикирования, сомнений больше не оставалось: фашисты увидели одиночную машину.

Теперь всё зависело от умения обмануть врага. Надо сказать, что ладожские шоферы разработали искусную тактику самообороны. Ловко и бесстрашно маневрируя скоростями, они часто уходили невредимыми от стаи воздушных стервятников.

Твердохлеб ждал разрывов бомб, а услышал резкие пулеметные очереди. Метрах в пятнадцати от его машины пули прострочили лед, целый дождь осколков льда застучал по кабине и ветровому стеклу. Твердохлеб стремительно рванулся вперед, а когда самолеты снова завыли, свалившись в пике, резко притормозил машину. Первый бомбардировщик всадил всю очередь впереди Твердохлеба, но второму удалось попасть в кузов. Несколько пуль пробило кабинку.

Можно было выскочить на лед и, отбежав в сторону, залечь. Так поступали на Ладоге, если положение становилось критическим. Так бы, верно, сделал и Твердохлеб, случись ему везти муку или консервы. Рисковать драгоценным грузом он не захотел: дадут очередь зажигательными — и не видать ребятишкам подарка...

А летчики заходили в новый круг. Похоже было, что они решили непременно прикончить этого упрямца, выскочившего на озеро в одиночку. Вновь затрещали пулеметные очереди, и несколько пуль попало в кузов.

Вдруг машина резко рванула вправо. Твердохлеб понял: пробит передний скат. Но мотор работал, значит есть еще возможность бороться. В конце концов, на всяком самолете кончается боезапас и не каждая очередь убивает наповал.

В следующий заход вся очередь пришлась по ящикам с мандаринами. Еще несколько пуль угодило в ветровое стекло. Только сам Твердохлеб, словно завороженный, оставался невредимым.

Трудно стало управлять машиной. Из пробитого радиатора вытекала вода, тут же замерзая длинными сосульками. От баранки остались лишь обломки: пуля размозжила ее, и несколько острых осколков пластмассы впилось в лицо и руки водителя.

Твердохлеб не сдавался. Он лишь скрипел зубами от ярости.

Шесть раз пикировали враги на машину Твердохлеба, а она пробивалась вперед, словно вся наша Родина помогала ей дойти до цели.

Оставалось часа полтора до Нового года, когда Максим Твердохлеб привел свой растерзанный «газик» на западный берег. Сорок девять пробоин насчитали на его машине.

Ленинградские ребятишки всё-таки получили драгоценные плоды, выращенные для них под знойным небом Колхиды. Пусть некоторые мандарины были продырявлены пулями — неважно. Зато кто опишет, какую радость доставил голодным детям Максим Твердохлеб, бесстрашный рыцарь ледовой Ладоги!

МЕШОК МУКИ

Огромный размах, который приняло автомобильное движение на Ладоге, потребовал четкой организации службы регулирования.

«Дорога жизни» была организованной магистралью. На ледовом участке действовало 60 постов регулирования движения — по одному через каждые полкилометра.

Чтобы двенадцать часов простоять на льду в лютый мороз или неистовую пургу, да еще наблюдать за каждой машиной, часто подвергаясь опасности, нужна железная выдержка.

Тысячи машин пробегали мимо регулировщика, и за каждую он отвечал, словно сам сидел в ее кабинке. Ведь это не просто машины, — в них хлеб осажденному Ленинграду.

Регулировщик Илья Рядных дежурил ночью. В этот раз всё шло на дороге отлично. В высоком звездном небе урчали невидимые самолеты, но бомбежки, против обыкновения, не случилось. Молчали и батареи врага.

Когда стало рассветать, Рядных увидел невдалеке от себя какой-то предмет, темневший на снегу. Сперва он подумал, что это замерзший человек, но, подойдя поближе, увидел мешок с мукой.

Как попал сюда мешок? Быть может, нашелся среди водителей негодяй, которому удалось воспользоваться оплошностью складских работников и нарочно скинуть его здесь, чтобы вернуться позднее и припрятать? Или это результат ротозейства какого-нибудь растяпы, сидящего теперь на складе, не зная, как объяснить пропажу?

Рядных взвалил мешок на плечи и отнес его к своему посту. Ему нелегко было сделать это: всего месяц, как он выписался из батальона выздоравливающих, откуда шло обычно пополнение на «дорогу жизни».

До конца вахты оставалось еще несколько часов. Можно было, правда, вверить мешок любому попутному шоферу с просьбой сдать на склад, но Рядных решил сам довести дело до конца.

Сдав дежурство, он поехал со своей находкой на склад и долго, с крестьянской неуступчивостью, спорил там с заведующим, доказывая, что ему должна быть выдана расписка: «иначе безвинный человек пострадает...»

Возвратясь к себе в роту, Рядных завалился спать, никому не сказав о ночном происшествии. Командир батальона узнал о его поступке через несколько дней, когда пришло письмо со склада с просьбой объявить благодарность красноармейцу Рядных.

Ворам, лодырям, дезорганизаторам не сладко жилось на «дороге жизни».

В одном из автомобильных батальонов мне как-то довелось при-

сутствовать на товарищеском суде над водителем Потаповым. Вина Потапова состояла в том, что работал он с прохладцей, без напряжения сил, а такая работа считалась на Ладоге преступлением.

Товарищеский суд предупредил Потапова, что он будет строго наказан, если не исправится в ближайшие дни.

— Мы отправим тебя в Ленинград, — сказал Потапову председатель суда. — Отправим и скажем народу: смотрите, вот человек, который не желает трудиться в полную силу! Оправдывайся перед ленинградцами как сможешь...

Водитель Богданов прославился лихой ездой с «газком». Ухабов он не разбирал, гнал машину на предельной скорости.

Товарищи нашли способ воздействия на лихача. Выезжая в очередной рейс, Богданов обнаружил в кабине своей машины «памятку», приклеенную к дверце. «Красноармеец Богданов! — говорилось в памятке. — У тебя есть плохая привычка не тормозить на ухабах. Брось эту привычку, береги рессору! Сломать ее легко, а заменить трудно. Помни, что один день простоя твоей машины оставит голодными десять тысяч ленинградцев!»

НА ДЕВЯТОМ КИЛОМЕТРЕ

Самым тяжелым участком ледовой трассы считался девятый километр. В этом месте чаще всего появлялись неожиданные трещины. Девятый километр ежедневно подвергался усиленному обстрелу с южного берега Ладоги. Водители спешили проскочить его на предельной скорости.

Неподалеку от девятого километра стояла санитарная палатка военфельдшера Ольги Писаренко. Поселилась она в этой палатке 27 ноября 1941 года, а на берег ушла лишь 16 апреля 1942 года, когда ледовая трасса доживала последние дни.

Писаренко знали все. Однажды прибыло письмо с необычным адресом: «Ладожское озеро, товарищу Писаренко». Никто не удивился, письмо попало по назначению. «Родимая сестрица, — писал ей боец с Волховского фронта, — еще раз спасибо тебе за то, что спасла мою жизнь. Чувствую себя хорошо, рана совсем затянулась».

Ольга Николаевна долго припоминала этого бойца. Тысячи людей побывали в ее палатке за пять месяцев. Раненые, контуженные, обмороженные, просто озябшие, которым лучше всякого лекарства кружка кипятку.

Бомбежки и обстрелы доставляли Писаренко много хлопот. Но самая ответственная пора начиналась на медпункте, когда разыгрывалась очередная ладожская пурга. В эти часы по озеру гуляла

белая смерть, выискивая свои жертвы. Надо было спасать замерзающих, заблудившихся, потерявших надежду на спасение.

Особенно трудной была одна январская ночь. Вторые сутки на Ладоге бушевала пурга. Писаренко сообщили по телефону, что пурга застигла группу бойцов-лыжников. Многие из них уже побывали в ее палатке, полузамерзшие, выбившиеся из сил.

Ночью, возвращаясь к себе в палатку, Писаренко сбилась с дороги. Долго шла она в кромешной темноте, тщетно напрягая зрение, чтобы увидеть знакомые ориентиры. Вдруг недалеко от нее раздался тихий стон.

— Кто здесь? — громко спросила Писаренко.

Никто не отозвался. Тогда она начала искать, шаг за шагом осматривая торосы, образовавшиеся после взрыва большой фугасной бомбы.

И нашла. На ледяном ложе в расщелине двух торосов лежал засыпанный снегом боец. Он был без сознания. Пришлось немало потрудиться, пока удалось привести его в чувство.

— Идти можешь? — спросила Писаренко.

— Нет... Ногу сломал...

— А ты кто, из лыжного отряда?

Боец утвердительно кивнул головой. Потом сказал, чтобы она оставила его, а сама добиралась до тепла:

— Не пропадать же нам обоим...

Писаренко сердито оборвала его и стала думать, как бы половчее взять бойца на плечи. Это оказалось трудной задачей.

Согнувшись и задыхаясь, Писаренко потащила свою тяжелую ношу. Через каждые тридцать шагов она останавливалась. Боец, снова впавший в забытье, висел у нее на спине, крепко уцепившись за ее плечи.

Сколько времени продолжалась эта пытка? Писаренко не смогла бы ответить на такой вопрос. Одно знала она наверняка: это было самое тяжелое испытание, какое досталось ей на Ладоге.

Лыжник, которого она спасла, вдобавок заболел воспалением легких. Ей самой нездоровилось после этой ночи, но она превозмогла свой недуг и ни на минуту не отходила от заболевшего бойца, пока его не увезли в госпиталь.

Придя на ладожскую равнину хрупкой, мечтательной девушкой, преисполненной ребяческих представлений о жизни, Ольга Писаренко спустя пять месяцев покинула свою знаменитую палатку закаленным бойцом. Недаром через несколько дней после того, как ледовая дорога перестала существовать, в одной из землянок западного берега состоялось партийное собрание, на котором ладожские водители приняли ее в партию.

Похороны ленинградца.

Дорога жизни.

Дорога жизни.



Урок зоологии в блокадную зиму.

ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕНИНГРАДА

Главный поток грузов по «дороге жизни» шел, разумеется, на Ленинград. От этого потока зависела судьба города. Как кровеносная артерия, он питал ленинградскую оборону живительными силами.

Но «дорога жизни» не была односторонней магистралью. Мощный поток встречных перевозок шел и на восток, на «большую землю». Осажденный Ленинград пользовался восточным направлением дороги для самых разнообразных целей и, прежде всего, конечно, для эвакуации женщин и детей, инвалидов и стариков.

В первую блокадную зиму через Ладогу было эвакуировано свыше полумиллиона ленинградцев.

Если вспомнить необычайную суровость той зимы, если иметь при этом в виду, что пассажирами, которых перевозили ладожские шоферы, являлись истощенные голодом ленинградцы, станет понятна исключительная сложность этой массовой эвакуации.

Однажды водителю Александру Тихоновичу было приказано перевезти на восточный берег воспитанников детского дома. Как нарочно, в этот день выдался особенно лютый мороз.

— Посмотрел я на этих пацанов, и сердце у меня дрогнуло, — рассказывал потом Тихонович. — Худые, бледные, еле губами шевелят. Посмотрел и думаю: как же я их повезу? Замерзнут, не вытерпят. На скорость тоже надежда плохая. Как ни газуй, меньше чем за сорок минут Ладогу не проскочишь. А если на бомбежку нарвешься или еще какая-нибудь неприятность, — значит, и того больше. Выходит, как ни прикидывай, всё равно с этими пассажирами добром дело не кончится. Троих, самых заморенных, я втиснул к себе в кабинку. Остальных накрыл в кузове одеялом и велел потеснее прижиматься друг к дружке. «А если, — говорю, — совсем невтерпеж будет, постучите — остановлю машину и что-нибудь придумаю». Так и поехали. Гоню машину, как сумасшедший. Сколько может дать, столько и выжимаю. Регулировщики мне вдогонку свистят, а я про себя думаю: ладно, по такому случаю можно и неприятность схлопотать. Еду я так минут десять и всё прислушиваюсь, не стучат ли мои пацаны, однако ничего не слыхать. Проехал полдороги. Не вытерпел, решил остановиться. Приподнял одеяло, гляжу, а они уже и слова сказать не могут, только зубами лязгают. В таких случаях мы высаживали пассажиров на лед, заставляли немного побегать, подразмяться. А этих разве высадишь? Они, еще когда садились, сами в кузов не могли влезть. Что тут было делать? Снял я с себя шинель и ватник, укрыл ими пацанов и качу изо всех сил. Сам в одной гимнастерке, сижу в кабине будто голый. Так и доехал до Ко-

боны. А пацанов всё-таки довез. Оттирать их пришлось снегом, ну да это ничего. Главное, живы остались...

Эвакуация населения была одним из самых выдающихся достижений коллектива «дороги жизни».

Но не только людей эвакуировал Ленинград по ледовой трассе. Из города вывозились промышленное оборудование, культурные ценности, сокровища искусства. Одних только станков, подготовленных к отправке в тыл страны, накопилось на ленинградском железнодорожном узле свыше двух тысяч вагонов. В течение зимы всё это оборудование было подтянуто к Ладоге и на автомашинах переправлено через озеро.

До войны в Ленинграде было сосредоточено производство медицинских инструментов, а также различных лечебных препаратов и вакцин. Понятно, что во время войны потребности страны во всем этом неизмеримо возросли. Блокированный Ленинград не имел возможности удовлетворить их полностью, но и то, что он сумел сделать, достойно удивления.

Более двухсот тонн медицинских инструментов, более пяти тонн лечебных сывороток и вакцин перевезла «дорога жизни» из Ленинграда в эту памятную зиму.

По ледовой трассе производились и оперативные воинские переброски. К началу зимы 1941/42 года обстановка под Ленинградом изменилась к лучшему. Разгром фашистов на подступах к Москве облегчил оборону города Ленина.

Верховное Главнокомандование решило в связи с этим высвободить часть войск с Ленинградского фронта. Первая такая переброска войск состоялась еще в конце ноября, когда ледяной покров на Ладоге был совсем ненадежным. Она прошла в образцовом порядке и осталась тайной для врага.

КВ ИДУТ ЧЕРЕЗ ЛАДОГУ

В январе 1942 года через Ладогу была переброшена на Волховский фронт бригада тяжелых танков КВ. Каждая из этих грозных машин весит свыше пятидесяти тонн.

Как организовать переправу танков? Специалисты по-разному отвечали на этот вопрос. Одни считали, что нужно наращивать лед на танковой трассе, другие советовали строить сани-катки особой конструкции, третьим казалось, что без разборки машин не обойтись.

Все эти способы можно было проверить, если бы не срочность задания. Но танки потребовались на соседнем фронте немедленно, и потому было решено переправлять их своим ходом.

Больше всего беспокоили инженеров, готовивших переправу, трещины льда на седьмом и девятом километрах трассы. Ширина этих трещин достигала полутора метров. Сумеют ли КВ преодолеть такую преграду?

Сумеют, сказали танкисты. Они решили... прыгать! Тяжелый КВ, развив предварительно максимальную скорость, должен был с ходу перемахнуть через трещину.

Наконец наступил день переправы.

— Мне выпала честь идти на головном танке, — рассказывал ленинградский инженер Маркелов, один из организаторов всего дела. — Это была машина Героя Советского Союза лейтенанта Федора Фомина.

Тяжелая громада КВ остановилась у бревенчатого спуска на лед. Теперь оставалось получить разрешение в штабе переправы. Люки танка оставались открытыми, хотя мы не верили в эту предосторожность: уж если провалимся — вряд ли удастся выскочить...

Штаб переправы расположился здесь же на берегу в небольшом шалаше из хвои.

— Говорит «Скворец», говорит «Скворец»! — проверял линию связи телефонист. — Все ли готовы к встрече? Слушаю четвертый! Слушаю шестой! Слушаю седьмой!

На всем маршруте мы установили телефонные посты. Их обязанность состояла в том, чтобы немедленно докладывать штабу о проходе «скворцов», — так называли танки на условном языке позывных.

Проверка линии закончилась. К нашему КВ подошел командир бригады. Фомин доложил ему, что экипаж танка и прикомандированный гражданский инженер готовы к рейсу.

— В добрый путь! — сказал командир бригады, испытующе глядя на всех нас...

Тихо и необыкновенно спокойно было в этот час на Ладоге. Весь день почти без перерыва продолжался артиллерийский обстрел, но к вечеру батареи врага затихли.

Слева от нас светилась многочисленными огнями ледовая трасса: на ней шла обычная работа. Справа темнел вражеский берег. Ночью он казался еще ближе. Что там происходит, подозревают ли фашисты, какой сюрприз мы им готовим? Ни огонька, ни вспышки выстрела. Вражеский берег безмолвствовал.

— Заводи! — приказал водителю Фомин. Вздрогнув, наш КВ тяжело загудел и, накренившись вперед, стал съезжать на лед. Теперь вперед, не останавливаясь ни на минуту!

Но не успели мы отойти и ста метров, как тишина вдруг раскололась оглушительной канонадой. Будто фашисты только и ждали

момента, когда мы начнем переправу. Это смутило Фомина. Он оглянулся назад, но берега уже не было видно.

Строго придерживаясь линии вешек, наш КВ мчался вперед. Вспышки разрывов сверкали левее нас, на главной магистрали ледовой дороги.

Впереди мы увидели несколько человеческих фигур. Когда танк поравнялся с ними, мы догадались, что это телефонисты четвертого километра. Они подбрасывали вверх свои шапки и что-то кричали. Фомин помахал им рукой.

— Всё в порядке, инженер! — прокричал он мне на ухо. Действительно, всё шло хорошо. Если бы ладожский лед не способен был выдержать столь большую нагрузку, то мы давно бы уже очутились на дне озера.

Но впереди трещины. Первая из них была на седьмом километре. Как-то удастся проскочить через них?

Чем ближе мы подходили к трещине, тем сосредоточеннее становился Фомин. Вот и предупредительный сигнал — большой щит. Командир экипажа быстро наклонился к механику-водителю и что-то крикнул. Вслед за тем наш КВ резко рванулся вперед, заметно набирая скорость.

Вот и трещина. Рядом с ней, сигнализируя фонарем, стоят связисты. Тяжелый КВ легко оторвался и плавно перепрыгнул через темную линию воды. Это было так поразительно, что я даже вскрикнул от изумления, а когда оглянулся на Фомина, увидел, что лейтенант весело смеется над моими страхами.

Механик-водитель сразу сбавил ход. Правда, метрах в шестистах от этого места была еще одна трещина. Я понял, что танкисты не хотят зря рисковать. Высокая скорость создавала дополнительную нагрузку на лед.

Сильно поволноваться пришлось на девятом километре. То ли случайно, то ли в результате прицельного огня, но снаряды стали ложиться впереди нас, как раз в районе большой трещины. КВ мчался прямо на разрывы. Нечего было и думать о том, чтобы остановить машину, надо идти напролом.

Метрах в пятидесяти с грохотом разорвался тяжелый снаряд. Нас с Фоминым обдало горячим воздухом. По счастливой случайности осколки никого не зацепили.

Большую трещину КВ перепрыгнул так же легко, как и предыдущие. Теперь мы могли вздохнуть спокойно. Самое трудное осталось позади. Пройти еще середину озера, и всё будет в порядке. Начиная с тринадцатого километра, толщина льда уменьшалась на десять сантиметров. По графику этот участок нужно переходить на малой

скорости, чтобы «не раздражать» ледяной покров. Фомин приказал уменьшить газ.

Нам повезло. Участок тонкого льда был пройден благополучно. Миновав телефонный пост восемнадцатого километра, мы окончательно убедились, что танковая переправа через Ладогу возможна. Фомин снова приказал прибавить скорость. До восточного берега оставалось меньше половины пути.

Было без пяти минут двенадцать, когда наш КВ, словно отдуваясь после тяжелой дороги, начал медленно взбираться на берег близ села Кобоны. Нас здесь ждали, и едва мы выпрыгнули из машины, как очутились в объятиях друзей.

«Скворец» перелетел Ладогу! Снова под ногами была твердая земля. Только теперь я почувствовал, что здо̀рово замерз за эти полтора часа.

После испытательного рейса первого КВ танковая переправа заработала на полную мощность. За двое суток на восточный берег благополучно перешла вся бригада.

УДАРНАЯ СТРОЙКА

С середины января «дорога жизни» начала регулярно выполнять планы перевозок. Но всех потребностей осажденного Ленинграда она еще не удовлетворяла.

Надо было резко повысить голодные ленинградские нормы снабжения. Надо было создавать в городе запасы продовольствия. Для этого требовалось перевозить через Ладогу по крайней мере втрое больше грузов.

В конце января 1942 года Государственный Комитет Обороны принял решение построить железнодорожную ветку к восточному берегу Ладожского озера. Приблизить перевалочную базу к Ладоге — значит сократить протяженность трассы, тогда каждая полуторатонка доставит Ленинграду по 8—10 тонн грузов за сутки.

Срок строительства был установлен жесткий. На создание тридцатипятикилометровой ветки, на строительство мостов, одним словом на всё — десять дней. К 5 февраля ветку планировалось дотянуть до Лаврова, а к 11 февраля — выйти на берег озера.

На стройку прибыли ленинградцы, люди, перенесшие все тяготы голодной блокады, но готовые совершить невозможное, лишь бы спасти родной город. Они составили костяк коллектива строителей.

Путеукладочные колонны вступили в соревнование. Борьба шла за каждый метр пути. По ночам работали при свете костров. Чтобы сбить с толку фашистских летчиков, в стороне разжигали фальшивую

линию огней. Вражеские летчики подолгу кружились над стройкой, не зная, на какие костры сбрасывать бомбы.

Первенство в соревновании завоевала колонна мастера Денискина: в ней было больше ленинградцев. За сутки колонна Денискина давала по полтора километра готовой ветки.

Путь строителям преградила река Сарья. Через нее требовалось перекинуть мост.

Среди строителей сарьинского моста особенно отличился мастер Шамаль. В этом немолодом человеке с опухшим от голодной водянки лицом скрывалась богатырская сила. Десять дней и ночей шла стройка моста, и никто не запомнил случая, чтобы Иосиф Шамаль бросил работу. Выбывали из строя, засыпая прямо на снегу, куда более здоровые люди, а Шамаль держался.

Многие, слыша его простуженный и хриплый голос, думали, что мастер Шамаль большой любитель пения. А он пел, чтобы не заснуть. Он даже ел стоя, опасаясь разомлеть от горячей пищи, а если подходил к костру, то стоял возле него настороженный, карауля предательскую дремоту.

11 февраля в полдень удалось закрепить последнюю ферму, а два часа спустя через новый мост, осторожно толкая перед собой несколько пустых платформ, прошел паровоз. На паровозе, широко расставив ноги, стоял Иосиф Шамаль. Заросшее черной бородой лицо его светилось радостной улыбкой.

12 февраля эшелоны с грузами для Ленинграда начали подходить к восточному берегу озера. Это сократило рейс до 70 километров в оба конца. Короче он уже не мог быть.

ВЕСНА НА ЛАДОГЕ

После трудной зимы с ее морозами и метелями, после суровых испытаний, потребовавших всех сил работников «дороги жизни», стремительно приближалась весна. На Ладоге заметно потеплело. Всё чаще стало выглядывать солнце, всё продолжительнее становился день.

Весна была злейшим врагом ледовой дороги. Она несла разрушение трассы, а следовательно и обрыв единственной коммуникации Ленинграда.

Хуже всего было то, что против этого врага не имелось защиты. Оставалось лишь одно: торопиться с перевозками, беречь каждый час, каждую минуту.

Правда, самые трудные для Ленинграда времена миновали. Нормы были повышены, голоду обрубили костлявые руки. Город повесе-

лел, ожил. Побывавшие в нем шоферы с удовольствием рассказывали, что всё его население — от мала до велика — вышло на уборку мусора и нечистот, что снова сделались нарядными ленинградские улицы и площади.

Надо было успеть перебросить в Ленинград все грузы, которые накопились на восточном берегу.

На Ладоге наступила напряженная пора. Никогда еще коллектив «дороги жизни» не трудился с таким напряжением, как в эти апрельские дни.

Дорожники круглосуточно дежурили на трассе. Едва лед давал свежую трещину, как на нее накидывался заранее изготовленный мостик. Через каждые двое суток приходилось менять грузовую трассу, чтобы не обременять лед чрезмерной нагрузкой. Специальным приказом была ограничена скорость движения.

Понимая, что ледовая дорога доживает последние дни, враг резко усилил артиллерийские обстрелы и бомбежки. 14 апреля за одни сутки было семнадцать налетов бомбардировочной авиации.

Но главным врагом оставалась весенняя распутица. Уже в первых числах апреля вся поверхность озера покрылась талой водой. Лишь на середине Ладоги ее глубина не превышала десяти сантиметров, а ближе к берегу вода доходила до радиаторов автомашин.

Трудно стало выезжать на озеро, не видя дороги, но хорошо зная, что под водой скрываются промоины и трещины. Машины уже не шли по трассе, а как бы плыли, оставляя позади себя пенный след.

Сколько раз за время рейса моторы глохли, а чтобы завести их, шоферам приходилось лезть в ледяную воду!

Старший сержант Федор Ивонин в дни распутицы приобрел репутацию «спасателя на водах». Не было дня, чтобы он не оказал кому-нибудь помощи. Одного Ивонин прихватывал на буксир, другому помогал выбраться из трещины.

17 апреля на трассу выпускали лишь самых опытных водителей. Ивонин вез на западный берег ящики со сгущенным молоком. Вдруг он заметил, что впереди идущая машина, клюнув передними колесами, начала тонуть. Водитель ее, видимо, растерялся и выскочил из кабины слишком поздно. Пока Ивонин осторожно подъезжал к месту несчастья, машина успела скрыться под водой, а ее водитель барахтался в полынье.

Ивонин выскочил из кабины. Ни шеста, ни доски, которую можно бросить утопающему. Оставалось одно: самому лезть в воду.

— Держись, товарищ! — крикнул Ивонин и начал раздеваться. Сбросил шинель, хотел снять сапоги, но в это время утопающий, взмахнув в последний раз руками, погрузился под воду.

Ивонин нырнул вслед за ним. Он успел схватить его, но неудачно: тонущий шофер судорожно вцепился в руку Ивонина. В таких случаях спасающему бывает не легче, чем тонущему. Набухший ватник тянул Ивонина ко дну. Изловчившись, Ивонин с силой ударил водителя. Рука разжалась...

Ступив на лед, Ивонин почувствовал, как он устал за эти несколько минут. Но отдыхать было некогда. Спасенный им шофер потерял сознание. Пришлось тащить его на себе до машины, приводить в чувство.

Всё чаще стали происходить такие случаи. Управление дороги приказало снять со всех машин дверцы кабинок. 19 апреля с утра был запрещен выезд тяжелым машинам.

Весна сделала свое дело — ледовой дороге пришел конец.

ПОСЛЕДНИЙ ДАР

20 апреля вечером был издан приказ, запрещавший выезд на озеро всем машинам. Военно-автомобильная дорога прекратила свою работу. А 23 апреля произошло событие, которое заставило пересмотреть принятое решение.

Перенесшие голодную зиму ленинградцы остро нуждались в витаминах, — от них зависели тысячи человеческих жизней. И вот 23 апреля на перевалочную базу восточного берега неожиданно прибыли три вагона лука — огромная силища, способная расправиться с любой цингой.

Как быть? О переброске лука на автомашинах не могло быть и речи. Еще накануне за полчаса утонуло десять полуторатонок.

Пришлось искать выход, и он был найден.

Шоферы, лишь накануне сошедшие со своих машин, дорожники, связисты, грузчики, работники штабов и управления дороги взвалили на плечи кто пуд, кто полтора пуда луку и по колени в студеной воде отправились в тридцатикилометровый поход на западный берег.

Два дня, 23 и 24 апреля 1942 года, продолжалась эта неслыханная работа. Шестьдесят пять тонн лука перенесли на своих плечах герои Ленинграда.

8 мая 1942 года в центральных газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении особо отличившихся работников ладожской ледовой трассы. «История ладожской трассы — это поэма о мужестве, настойчивости и стойкости советских людей, — писала «Правда».— Когда-нибудь поэты и писатели сложат песни о ленинградской „дороге жизни"»

Думается, это время давно наступило.

К. ЗОЛОТОВСКИЙ

КОГДА ВСПЫХНУЛ СВЕТ...

Записки водолаза

До войны ток в город поступал от гидростанции. Теперь она находилась на земле, занятой врагом. Дать свет осажденному городу можно было, только проложив электрический кабель по дну Ладожского озера.

Работу эту поручили нашему водолазному отряду. В дневное время противник наблюдал за озером, мы были бы сразу обнаружены и обстреляны артиллерией. Работы велись только по ночам.

В темные октябрьские ночи проложили мы по дну озера четыре свинцовые нитки кабеля общей длиной девяносто шесть километров, а в ночь на 1 ноября 1942 года вышли укладывать пятую, последнюю нитку.

На северном берегу у песчаного мыса Коредж в темноте нас ждал инженер-лейтенант Соколов с монтажниками, чтобы принять наш кабель и присоединить его к кабелю электрической станции.

Уже несколько дней озеро было неспокойно, но в эту ночь грянул шторм, какие бывают только поздней осенью. Тральщик, ныряя в глубокие водные провалы, едва тянул нашу тяжелую железную баржу. В ее трюме лежал толстый, как удав, электрический кабель, свернутый большими восьмерками.

Он тянулся по деревянной дорожке к кормовому отверстию баржи, куда врывалась вода и с шумом раскатывалась по палубе.

Шторм усиливался с каждым часом. Сердитая волна сбивала нас с ног и вырывала из рук тяжелый электрический кабель. По техническим правилам нельзя укладывать кабель даже при легком волнении воды: может быть излом, и в тело кабеля проникнет сырость.

Но в дни войны не всегда считались с правилами. Мы тянули кабель из восьмерки и бережно, как ребенка, держали его на руках, чтобы избежать излома.

Труднее всего было переносить концы кабеля на прыгающий, как мяч, плоскодонный тендер и здесь надевать на них чугунную соединительную муфту, предохраняющую кабель от ржавчины, сырости и ударов.

Палуба уходила у нас из-под ног, и мы падали друг на друга, но кабеля из рук не выпускали.

Было совсем темно. Наш водолазный старшина Подшивалов на несколько секунд высекал карманным фонариком синий снопик света, освещая то кусок кабеля, то пластырь, большой и выпуклый, как подушка, обтянутый на деревянных рамах корабельным брезентом. Пластырь был приготовлен на случай аварии для заделки пробоины.

Ветер бросал нам в лицо колючую ледяную кашу. Это было «сало» — предвестник зимнего льда.

В середине ночи шторм достиг восьми баллов. Пришвартованный к борту баржи легкий тендер с водолазным снаряжением сорвало со швартовых и кинуло в темноту. Его маломощная машина захлебнулась под ветром, и суденышко, как кусок древесной коры, понесло к берегу, где сидели фашисты.

Командир тендера старшина Подшивалов сразу сообразил, как можно задержать тендер: он распорядился привязать к тросам и сбросить на дно тяжелые, налитые свинцом, водолазные грузы. Но этого оказалось мало. Разбушевавшийся ветер гнал тендер к вражескому берегу. Тогда связали два чугунных маховика от водолазной помпы и тоже сбросили на грунт. Грузы и маховики ползли по грунту, а старшина Подшивалов следил, чтобы не поставить тендер боком к волне, иначе бы его опрокинуло.

Только перед самым рассветом шторм утих... Мы быстро подняли из воды грузы, машина заработала, и тендер своим ходом пошел обратно.

* * *

Измученный штормом, я уснул, сидя на холодном медном кнехте тендера.

Вдруг на плечо мне легла тяжелая рука, и старшина Подшивалов сказал:

— Вставай!

Я вздрогнул и открыл глаза.

Вокруг лежала темно-фиолетовая, промозглая предрассветная мгла.

Где-то рядом надсадно шипела паровая труба, и в борт били беспокойные волны.

Мы подходили к барже.

Шторм утих, и уже наступило утро. Бо́льшая часть ночи у нас была потеряна, и теперь приходилось тянуть кабель при дневном свете на виду у противника.

Мы услышали далекий гул авиационных моторов. В полутьме

обозначились на воде силуэты судов озерного каравана с грузом для Ленинграда.

Над караваном возникло небольшое облачко, по воде прокатился глухой удар.

— Бьют по каравану, — сказал кто-то из команды. Все стали искать в небе вражеские самолеты.

— Трави муфту! — крикнул Подшивалов.

Муфта, покачиваясь на тросах, начала уходить в воду. Не успела вода сомкнуться над ее чугунным телом, как раздался протяжный вой и за ним тяжелый удар.

Тендер, как маленькую ракушку, подкинуло на волне. С баржи ударил счетверенный зенитный пулемет.

На тральщик и баржу налетели вражеский бомбардировщик и три истребителя. Один из них пулеметной очередью полоснул по шлюпке, прикрепленной к корме тендера. В воду полетели щепки. В тот же миг я услышал звенящий звук оборванной струны и увидел, как кольцами взвился вверх перебитый трос.

Еще удар — и высоко над палубой тральщика взлетели обломки шлюпок, а возле борта рассыпался высокий столб воды.

Тральщик накренился... Бомба пробила ему борт и разорвала междудонные переборки. В трюм хлынула вода. Матросы бросились к помпам.

Но помпы не успевали откачивать воду. Корабль тонул, увлекая за собой тяжелую, груженную кабелем железную баржу. Вся надежда была теперь на водолазов.

Пластырь не закрыл плотно пробоину: мешали большие стальные заусенцы, торчавшие на ее рваных, зазубренных краях.

— Срочно к пробоине! — приказал мне Подшивалов.

— Есть! — ответил я и сорвал с рубки тендера водолазную рубаху.

Я сел на кнехт и сунул ноги в резиновый воротник костюма. В нашей одежине полезай через ворот, — других ходов нет.

Костюм был новенький, воротник у него толстый и узкий. Несмотря на холод, я даже вспотел, пока растянул резину воротника и просунул в него ноги. Руки были еще слабыми после блокадной зимы.

Подшивалов, дядя Миша и два матроса по команде «дружно» потащили во все стороны воротник.

В это время взорвалась бомба. Тендер снова подбросило, я чуть не упал, но меня удержали свинцовые подметки галош.

Палуба вздрагивала под ногами. Я прошел к корме и заметил у ног кувалду. Она выстукивала о палубу дробь деревянной ручкой.

Подшивалов навесил мне спереди и сзади свинцовые грузы и

затянул их внизу подхвостником, чтобы плотнее легли. Я колыхнул широкими, как коромысло, плечами костюма и загрохотал вниз по ступенькам трапа.

В воде сквозь стекло я увидел большого оглушенного сазана, который бился возле железной ступеньки.

Я двинулся к пробоине. Вдруг будто молотом что-то ударило меня по шлему, и я провалился в желтый, горячий туман...

...Очнулся я на грунте.

Сердце мое билось учащенно, не хватало воздуха. В шлеме стояла тишина: был поврежден шланг. Хватая ртом воздух, я уже терял сознание, как вдруг почувствовал, что меня поднимают наверх.

По огромным загорелым рукам, которые заботливо поддерживали мою голову, я узнал старшину Подшивалова. С меня быстро сняли водолазный костюм, отвинтили шлем.

Я обернулся и увидел старшину уже за бортом. Он спускался мне на смену в кипящую пену возле пробоины, огромный, неуклюжий, с кувалдой в руке. Его шлем виднелся под водой, вокруг него рассыпались пузыри.

Ледяная вода бурлила и гудела у пробоины.

Даже такому богатырю, как Подшивалов, нелегко было отогнуть толстую сталь. Тяжело работать на весу, размахнуться у борта негде; одно неверное движение — и полетишь вниз.

Стальные края пробоины, когда корабль лежит спокойно на грунте, легко обрезать автогеном. Но какой может быть сейчас автоген, когда даже баллон с кислородом опасно было вынести на палубу: он тотчас взорвется... Да и автогенная горелка при таких толчках у борта ударит водолаза обратным огнем.

Бомбы падали уже далеко в воду, но толчки взрывной волны были сильными. Подшивалова бросало грудью прямо на стальное острие заусенцев, и мы видели, как вместе со взмахами кувалды его самого бросает к пробоине.

— Выходи! — не выдержав, закричал дядя Миша.

Подшивалов не отвечал и продолжал работать, отгибая железо. Из его костюма фонтаном били пузыри. Это сквозь дыры, пробитые в костюме, вырывался воздух. Мы изо всех сил качали помпу. Но вода всё больше обжимала водолаза, и он тяжелел.

— Выходи наверх! — снова закричал дядя Миша в телефонную трубку.

Подшивалов уже выпустил кувалду из рук и, подтянув к себе пластырь, налег на него всей грудью.

Мы схватились за поджильные концы и прижали пластырь к пробоине.

Корабль быстро пошел на откачку. Помпы вскоре захрапели,

осушая трюм. Корабль выровнялся. Пластырь плотно лег на пробоине, будто его заложили в сухом доке.

Мы уперлись ногами в борт и вытянули отяжелевшего Подшивалова.

Он упал, как глыба, на палубу. Сняли с него шлем и грузы, а костюм от манишки донизу распороли ножом. Из костюма сразу хлынула побуревшая от крови мутная вода. Шерстяное белье на Подшивалове сбилось в комки, а ватник был в нескольких местах прорезан насквозь. Глаза старшины были закрыты.

— Максим, очнись! — тормошил его дядя Миша, но Подшивалов лежал неподвижно.

Врач Цветков подбежал с перевязочным материалом, схватил водолаза за руку. Быстро нащупав пульс и сделав удивленные глаза, он что-то сказал по-латыни.

Мы очень испугались.

— Умер? — прошептал Никитушкин.

А Подшивалов вдруг открыл глаза и спросил:

— Плотно лег пластырь?

Мы даже вздрогнули.

— Железное здоровье! — сказал Цветков, делая перевязку.

Но Подшивалов поднялся на палубе и закричал:

— Чего стоите? Ждете, когда залепят в баржу прямое попадание? Травите кабель!

Уже темной ночью, сгибаясь в три погибели, вынесли мы конец последней подводной нитки кабеля на северный берег и подали инженеру Соколову с монтажниками для присоединения к электрической станции.

Мы шли пятьсот метров по ледяной воде, — так далеко тянулась песчаная отмель. Шли в водолазных рубахах без шлемов: волна сшибала нас, обдавала с головой, но мы поднимались и снова шли.

Подхваченные гулкой пеной прибоя, мы падали на береговую отмель. Совершенно мокрые, осыпанные с головы до ног крупным песком, мы выбрались, наконец, на этот желанный берег. Монтажники в темноте приняли с наших плеч кабель и радостно пожали нам руки.

Подшивалова в ту ночь с нами не было: его увезли на катере в госпиталь.

А седьмого ноября, в день праздника Великой Октябрьской социалистической революции, мы пошли в госпиталь навестить нашего старшину. В этот день в осажденном городе должен был зажечься свет.

Мы шли и представляли себе, как загорятся лампочки в наших квартирах.

Темное, с занавешенными окнами здание госпиталя выросло перед нами.

Медицинская сестра провела нас в палату к забинтованному, как мумия, больному. За бинтами мы никак не могли угадать Подшивалова и видели только его нос, который торчал из марли. На забинтованной голове темнела дужка радионаушников: Подшивалов слушал музыку.

Был уже вечер.

В керосиновых лампах качалось неяркое желтое пламя, освещая нос Подшивалова.

И вдруг под потолком в один миг засияли три больших матовых шара. Огромная палата осветилась ярким электрическим светом, таким ярким, что стал виден каждый ее уголок.

Глаза больных наполнились радостью. «Ура, товарищи!», «Да скроется сумрак, да здравствует свет!» — неслись со всех сторон восторженные голоса.

Сквозь раскрытые двери стало видно, как залило светом темные коридоры. Осветилась даже бочка с песком, стоявшая в темном углу.

Радостный вздох пронесся по всему госпиталю:

— Свет включили!

И не только по госпиталю. По всему городу — по закопченным квартирам, где не повреждена была вражеской бомбежкой электросеть, по цехам заводов — понесся ослепительный световой поток.

Рабочий надевал защитные очки и приступал к срочной электросварке брони поврежденного на фронте танка.

Изумленный горожанин радостно, словно впервые, разглядывал при ярком свете свою комнату и улыбался, никак не догадываясь, что возвращение света — дело рук наших водолазов.

Подшивалов отогнул края бинта, прикрывавшие ему глаза, и, улыбаясь, молча смотрел на сияющий матовый шар. Он мысленно представил себе, как на огромном мраморном щите станции нажали пусковую кнопку и по толстому кабелю пронесся электрический ток.

— Хорошо лег кабель на грунт, без колышков, — сказал дядя Миша.

— Толково лег, — кивнул головой Никитушкин.

Сестра с удивлением поглядела на нашу морскую форму.

— Разве вы монтеры? — спросила она.

— Нет, мы водолазы, — ответил дядя Миша.

А. КУЧЕРОВ

МЕТЕЛИЦА

Рассказ

Едва теплится голубой язычок «летучей мыши», освещая раскрытую санитарную сумку, бинты на сосновом ящике и солому на полу. На соломе лежат раненые. Одни с головой укрылись шинелями, полушубками, другие упорно и пристально смотрят куда-то перед собой. Соседи разговаривают вполголоса, кто-то в полузабытьи твердит одно и то же.

Над головами сквозь щели потолка сияют светлые, как серебро, звезды. Залетает снег. Крышу сдуло снарядом, и от потолка струится густой крепкий мороз. Балки одеты в мохнатые белые шубы.

У стены Маруся топит печурку и греет чайник. Дверцы печи открыты, и пламя по временам от ветра лезет из нее, ворчит; синие огоньки пляшут на сосновых поленьях.

Маруся смотрит в огонь, широко раскрыв усталые глаза, и считает, чтобы не уснуть: сто, сто один, сто два, сто три... «А машина, наверно, только доехала до оврага».

Ей семнадцать лет. Когда началась война, Маруся из седьмого класса поступила на курсы медицинских сестер, оттуда ее послали в армию. Она маленькая, худенькая и совершенно тонет в сапогах и непомерно длинной шинели. Но шинель с чужого плеча не портит ее. Лицо у Маруси ребячье, безбровое и задорное. Раненые отечески называют ее «дочкой».

На плите закипел чайник. Крышка подпрыгивает, по закопченным бокам сбегает кипяток и, шипя, расплывается белым облаком.

Маруся снимает чайник с огня и с кружкой идет по соломе между рядами:

— Кто чаю хочет?

Несколько рук протягивается к ней.

— А скоро машина? — спрашивает сквозь зубы артиллерист в морской шинели. Обе ноги его в бинтах. Артиллерист морщится.

Маруся знает, что ему больно. Она привычным движением становится на колени и гладит горячий лоб.

— Скоро приедут, — говорит она, — теперь скоро.

Маруся выбегает из сарая, смотрит в темноту. Вдали над Ленинградом горят осветительные ракеты и в бурном дымном морозном небе плывут, плывут пестрые трассирующие пули. «Опять бомбят, гады», — думает Маруся, и у нее сжимается сердце. Она вспоминает маленькую теплую квартиру, из которой эвакуировалась ее семья. «Холодно там теперь, пусто. Да и стоит ли дом?» Она вспоминает голубые цветы на обоях. Когда она была совсем маленькая, она любила их разглядывать, лежа в постели. Не надо думать о доме, о коте Буське, о школе, куда она ходила так недавно. Там теперь наверно госпиталь. Не надо вспоминать веселые огни витрин, не надо вспоминать булочки или шоколадные палочки в пестрых бумажных рубашках, которые ей покупал отец. Она теперь большая, и, может быть, у нее нет отца, а может быть, он лежит на соломе вот в таком же сарае и над ним трещит мороз. Не надо думать об этом, потому что она еще разревется — с нее станет.

— Сестрица! — кричит кто-то из сарая.

— Иду, иду!

Маруся глядит в сторону фронта, где всё время глухо бьет артиллерия и тоже в небе огни, и на дорогу, темнеющую в заснеженном поле, и возвращается в сарай.

Автобус еще не пришел.

За домом слышны шаги. Маруся по шагам узнает своих санитаров. Их четверо. Они вносят на носилках двух раненых. И те, кто несет носилки, и те, кто на них, обросли инеем.

— Вот сюда положите, к печке. — Маруся разгребает колючую овсяную солому.

Санитары кладут бойца. Тельняшка его в крови, ворот гимнастерки расстегнут. Он лежит с закрытыми глазами и тяжело дышит. А рядом укладывают другого — он молоденький, будто мальчик. Маруся смотрит в его мальчишеские, сейчас запавшие глаза, на безусый рот и на беспомощные руки. Он совсем не может шевелить кистями, и варежки на них как деревянные.

Маруся снимает варежки, осторожно берет руки раненого в свои, греет и дышит на них.

— Согрелись?

— Согрелся, сестрица.

— А скоро автобус?

— Как только довезут, разгрузят — и сразу обратно.

— Пить дай! — просит кто-то из темноты.

Маруся наливает в кружку чаю, берет фонарь и, осторожно переступая через раненых, идет в угол.

Раненый жадно пьет. Он оброс густой черной щетиной, и глаза его, тоже черные, лихорадочно горят. Он удерживает руку Маруси,



Еще одна жертва.

Невский проспект. Февраль 1942 г.

Первый грузовой трамвай прошел по Невскому после трехмесячного перерыва.

и девушка покорно садится рядом, поправляет на нем шинель и прислушивается к его дыханию.

— Расскажи что-нибудь, дочка.

— А что вам рассказать?

— Расскажи сказку.

— Не помню я сказок, — смущается Маруся.

— А ты вспомни, — говорит другой, — или спой. С песней время скорее летит, не заметишь, как подойдет автобус.

Маруся молчит. Все песни будто исчезли, будто растаяли. Но вот одна всплывает в памяти, как со дна глубокой реки. Тоненьким промерзшим голосом Маруся запевает:

Вдоль по улице метелица метет,
За метелицей мой миленький идет.
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

За домом раздается гудение мотора. Маруся останавливается. Но машина проносится мимо.

— Чего слушаешь? — говорит молоденький у печи. — Пой!

Маруся продолжает. Голос ее становится крепче, увереннее, ей подтягивают:

На твою ли на приятну красоту,
На твое ли, что ль, на белое лицо...

Марусе становится легко и хорошо. Она встает, чтобы легче было петь, и словно становится выше. И кажется, — шинель и сапоги на ней ладные и красивые и сама она красавица.

...Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

Легк‹ раненые подхватывают. Песня несется в ночь, в темноту. У кого нет сил петь — слушает, и как-то всем становится легче. И Маруся вдруг чувствует великую врачующую силу простых слов песни. При свете «летучей мыши» стоит она, словно озаренная светом, а голоса льются и льются, заглушая стоны, и боль, и горе.

— Хорошо поешь, хозяйка! Берет за живое, — говорит молчавший до того артиллерист.

А Маруся улыбается, голос ее тонет в общем гуле, и уже не разобрать слов песни, только повелительно звучит припев:

Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

На этот раз никто не слышит, как у дома останавливается машина, как раскрываются двери и входят два санитара в халатах поверх полушубков.

— Вот и за нами, — говорит артиллерист, — а никто и не заметил. Спасибо, хозяйка...

— Спасибо и вам, — говорит, смущаясь, Маруся.

Санитары выносят тяжелораненых. Маруся провожает их. Всех не забрать, остаются двое: один потому, что ему больше не нужна ничья помощь, а другого принесли последним и он ранен легче других.

Маруся выбегает в январскую морозную снежную ночь, смотрит вслед уходящему по лунной дороге автобусу и с тревогой туда, где высятся трубы разрушенных деревень, и дальше, откуда сквозь вьющийся в лунном сиянии снег доносится отдаленный грохот боя.

Постояв, она возвращается, садится у печи и задумчиво смотрит в огонь. На сердце у нее легко и хорошо. На шинели, на ушанке, на обветренном лице тают снежинки. И снова ее неудержимо клонит ко сну.

«Теперь уже наверно доехали, — думает Маруся. — Далеко стреляют, видно, наши вперед ушли».

— Чаю хотите? — говорит она раненому, чтобы стряхнуть сон. — У меня есть сахар.

Она протирает глаза, наливает кружку, достает сахар из сумки противогаза, колет ножом и придвигается к раненому.

— Как ты сюда попала? — спрашивает раненый.

— Прислали с курсов, — сонным, усталым голосом говорит Маруся. Она устраивается поудобнее.

— Ох, только бы не уснуть... Не услышу, когда приедут: так крепко усну, что и не разбудить. Которую ночь не сплю, — говорит Маруся.

Она садится к печи, подбрасывает поленья и прислушивается к разбушевавшейся за стеной метели.

Раненый засыпает. Маруся долго смотрит в его усталое молодое лицо, подкладывает ему соломы под голову и укрывает шинелью.

Сквозь щели потолка падает снег.

Скоро должны приехать... Голова Маруси клонится на грудь. Маруся начинает считать. «Где я остановилась?.. Сто четыре, сто пять, сто шесть, сто семь...» И пока она считает, перед ней встает город за рекой, где она гостила у деда, где застала ее война, купола, плоты, степь, акации у заборов, огоньки на железной дороге. Она стоит у паровоза и протягивает деду завернутый в бумагу обед на дорогу. И над всем этим, где-то высоко в небе, победно звенит-переливается песня:

Красота твоя с ума меня свела,
Иссушила добра молодца, меня.
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

«...Двести двадцать, двести двадцать один, двести двадцать два...» Дорога, бесконечная дорога в степи, старики, женщины, дети, непоеный, мычащий скот в облаках пыли, и низко плывущая над дорогой смерть. И она лежит на меже между высокой потоптанной рожью и сладко цветущей гречихой, полной пчелиного гуденья... И вот она снова дома в Ленинграде, в своей квартире, где всё так знакомо, где так холодно, где всё дрожит от грохота артиллерийской стрельбы. Но, может быть, это только снится?

...Когда санитары принесли раненых, Маруся спала, сидя у печурки, поджав под себя ноги.

— Убегалась Метелица, — сказал санитар в овчинном полушубке торопливому военфельдшеру. — Пускай поспит, а я подежурю.

Одни вдвоем перенесли Марусю к стене, оба поглядели на ее раскрасневшееся от печного жара задорное мальчишеское лицо. Потом санитар подсунул ей под голову охапку соломы и подкрутил фитиль в фонаре:

— Спи, дочка.

СЕМЕН БЫТОВОЙ

ДОЧЬ ПУТИЛОВЦА

Раненый стонал. Чуть заметно шевеля сухими губами, он просил пить. Черноволосая девушка поила его крепким чаем с ложечки. Раненый открыл глаза и увидел заплаканное лицо девушки. Он хотел спросить, почему она плачет, но только едва шевелил губами.

В палате горела одна лампочка, и свет ее падал на середину комнаты.

Раненый не спал, он глядел на девушку.

Наконец он сделал усилие и приподнялся. Девушка взяла руками голову раненого и осторожно положила на подушку.

— Засните, товарищ, засните, сон все болезни лечит, — сказала она.

— Ты плачешь, сестрица? — после долгих усилий совсем тихо прошептал раненый.

Тоня плакала. Ей стало неловко, она встала и подошла к окну, за которым завывала метель и жалостно шумели высокие сосны.

— Маму убили на фронте, вот я и плачу, — сказала тихо Тоня. — Мама была военфельдшером... Вчера ее убили.

Тоня проговорила это, не обернувшись. Она смотрела в просветы между морозными узорами на стекле. За окном была дорога, по ней мчались автомашины, с грохотом проносились танки, тракторы тянули могучие орудия. Метель не успевала заметать путь на фронт, к лесам Финляндии беспрерывно шли колонны.

Тоня вспомнила, как ее с матерью провожали на фронт, как они приехали в штаб, и мама определила ее в госпиталь, а сама куда-то уехала в закрытой машине с красным крестом на кузове.

Раненый говорил тихо-тихо:

— Не плачь, сестрица, не надо. Я не оставлю тебя, не плачь.

...Это было в 1939 году. Прошло уже с тех пор больше двух лет, а штурман в каждом письме вспоминает, как Тоня сидела у его постели, ухаживала за ним, поправляла подушку, читала книгу и... плакала. Письма неизменно кончались привычными ласковыми словами:

«Я не оставлю тебя, сестренка!»

...Чудак этот штурман. Он всё еще считает ее девчонкой. Посмотрел бы он теперь, как Тоня ходит с пограничниками по военным дорогам, с двумя санитарными сумками по бокам, с карабином за плечом, с наганом за поясом. Посмотрел бы штурман на Тоню осенью 1941 года.

* * *

Заставу подняли по тревоге. На соседний пост прорвались немцы, и пограничникам приказали выступить, отстоять рубеж. По размытой лесной дороге идут бойцы, а с ними, не отставая, шагает санинструктор Тоня Богданова. В пути их нагоняет отряд морской пехоты, идут вместе. Встреча с врагом близка.

...На рассвете разгорелся бой. Фашисты встретили отряд сильным минометным огнем. Бойцы, скрытно подобравшись к рубежу, отвечали очередью пулеметов и гранатами. Бой становился всё жарче. Появились раненые. Тоня перевязывала их, вытаскивала в безопасное место, старалась помочь каждому, чем могла.

— Сестрица, помоги, сестрица... — звали с разных сторон.

Бойцу миной раздробило ногу. Тоня быстро сняла с себя пояс и перетянула раненому ногу выше колена — кровь остановилась. Бинты были на исходе, а раненых — всё больше и больше. Девушка разорвала на бинты свою гимнастерку.

Рубеж отстояли. Враги откатились, оставив на поле боя десятки убитых. Только теперь девушка, тяжело дыша, присела на сырую землю. Командир снял с себя плащ-палатку и накинул на Тоню.

От усталости клонило ко сну. Тоня на минуту забылась. Перед ее глазами встала мать. Она, наверное, так же работала на поле боя, перебегая от бойца к бойцу, так же помогала каждому.

Тоня поднялась и, шатаясь, подошла к леску, где были укрыты раненые. Командир позвал ее в избушку на краю села. В пути над головой просвистел снаряд и разорвался около девушки. Тоню сшибло с ног. Она потеряла сознание. Очнувшись, почувствовала кровь во рту.

* * *

Из госпиталя Тоня в третий раз ушла на фронт. Она снова почувствовала себя здоровой.

На фронт Тоня шла по широким улицам с детства знакомого родного города. Думала о только что состоявшейся встрече с отцом.

Старый путиловец-литейщик в финскую войну потерял жену. Теперь он послал на фронт сыновей. Решению дочери старик не совсем был рад.

— Можно было работать в госпитале, помогать раненым, так нет, гляди ж, выбрала новую профессию — зенитчица!

Он поворчал, но чувствовалось, что дочерью всё-таки гордится, и на прощание крепко, по-отцовски поцеловал ее.

...Прошло уже несколько месяцев службы на батарее. Время бежало быстро, девушки становились артиллеристами, связистами. Их молодые лица обветрились, загрубели руки...

Однажды рано утром, когда батарея готовилась к выезду на передний край, к Тоне по пути на завод зашел отец.

— Ну как, дочка, много самолетов сбила? — смеялся Осип Леонтьевич. — Смотри, дочка, воюй хорошо, да держи себя аккуратно. Воевать — это тебе не кино смотреть.

— Я, папа, знаю уже, что̀ значит воевать.

И Тоня крепко обняла и поцеловала отца. Осип Леонтьевич, отвернувшись, смахнул непрошеную слезу.

— Ну, прощай, дочка, пойду на завод, а то опоздаю.

И зашагал старый литейщик на завод лить металл, чтобы двум его сыновьям, дочери и всем другим воинам было чем бить ненавистного врага.

Морозной светлой ночью батарея прибыла на позицию. Командир познакомил связистов с местностью. Тоня и ее подруга пошли тянуть линию.

Утром началась наша артиллерийская канонада. Немцы стали отвечать, и в нескольких местах порвалась линия связи. Красноармейцы вышли в поле. Ефрейтор Косов шел первым. Он, нагибаясь, перебегал с одного места на другое. Тоня Богданова следовала за ним. Когда снаряды рвались близко, связисты ложились в снег и ползли. На дорогу налетели «мессершмитты». Строча из пулеметов, они пронеслись над землей. Косов и Тоня Богданова метр за метром ползли вперед, ощупывая провод, сращивая концы, пока не прекратился вражеский огонь.

Тоню уже хорошо знали на батарее как умелую, храбрую связистку. Однажды, когда зенитчики вели огонь по скопищу врагов, вышел из строя третий номер. Тоне пришлось заменять его. Став у пушки и быстро установив прицел, она громко доложила:

— Готово!

Снаряды летели на врага.

— Ну и голос у тебя, Тоня, — подзадоривали ее бойцы.

— Сами так учили, — бросила Тоня.

— Правильно, третьему номеру нужен сильный голос, — поддержал ее командир орудия.

Когда в зоне батареи появились вражеские бомбардировщики и зенитчики открыли огонь, опять раздался голос третьего номера:

— Трубка — сто двадцать!

— Точно!

— Трубка — сто двадцать пять!

— Точно!

Командование наградило мужественную зенитчицу медалью «За отвагу».

...Фронт. Над черным лесом рвется шрапнель. Синие сумерки ложатся на землю. На линию выходят связисты. По снежным тропам, пригибаясь к земле, идет ленинградка, дочь путиловского литейщика Тоня Богданова

А. САДОВСКИЙ

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО КУРЕНЕВА

Он погиб в воздушном бою при налете нашей авиации на неприятельский аэродром в Сиверской. Немецкие эскадрильи часто несли оттуда фугасные бомбы на Ленинград. Николай Куренев и его товарищи отвечали фашистам ожесточенными бомбовыми ударами по их аэродрому. То была нелегкая работа. Каждый боевой вылет наших летчиков был сопряжен с большой опасностью, но самые большие потери они понесли при налетах на Сиверскую.

Товарищи Куренева помнят вечер накануне его последнего вылета. Он долго что-то писал и перечеркивал, сидя ко всем спиной в углу общежития, где стояли его кровать и тумбочка, когда же кто-нибудь, проходя мимо, нечаянно взглядывал на листки, Куренев прикрывал их рукой и говорил грубовато:

— Давай без остановок.

Он не любил, когда другие заглядывали ему в душу. После его гибели друзья прочли оставленные им благородные строки и подумали, что вслух бы это никогда не произнес Куренев. Он был скромен, тих, не болтлив, обладал большой физической силой. Брал любого летчика под согнутые локти и поднимал, медленно вытягивая мускулистые руки, — поднимал до тех пор, пока летчик не касался головой потолка общежития. Все знали, что Куренев обладает и большой нравственной силой. Он сбил в воздушных боях пять немецких самолетов. Для истребителя такой счет не так велик, но ведь Куренев не был истребителем. Он не водил самолет и не мог сам атаковать воздушного противника. Он летал стрелком-радистом на бомбардировщике «Петляков-2». «Петляков» бомбил позиции противника, а стрелок-радист, сидя сзади в своей кабине, следил за воздухом сощуренными, колючими глазами. Когда на «Петлякова» нападали немецкие истребители, Куренев отбивал их атаки огнем пулемета. Многое в эти минуты зависело от зоркости и самообладания стрелка. Минутное замешательство, короткая слабость — и «Петлякову» конец. Но Куренев, защищая жизнь своего экипажа, не давал его в обиду.

Он был родом из небольшого городка Ивановской области. Своей семьи он не имел. В городке жили самые близкие Куреневу люди: сестра Софья и племянница Маша. Летчики знали об этих людях по рассказам Куренева. В общежитии рядом с койкой воздушного стрелка всегда стояла фотография племянницы. Куренев охотно показывал ее всем:

— Видали такую? Типичное куреневское лицо.

Куренев обманывал себя. Племянница совсем не походила на своего дядю. У Куренева лицо было суровое, неприветливое, а у Маши — тонкое, трогательно-милое, с нежно очерченным ртом и большими, ясными, улыбающимися глазами. Она их только щурила чуть-чуть по-куреневски. Машу сфотографировали в костюме пушкинской няни Арины Родионовны на каком-то смотре юных дарований, где она рассказывала детям биографию Пушкина. Ее тогда усадили в глубокое кресло, повязали ей голову белым платочком, нацепили на нос очки, укутали узкие плечики шерстяной шалью, дали в руки спицы с вязаньем, — и всё это очень шло к ее милому, наивному лицу. Куренев, видя, что его товарищи только из вежливости признают сходство племянницы и дяди, говорил:

— Согласен, лицо у нее другое, но характер — куреневский.

И это, наверное, правда, хотя больше мы ничего не знаем о маленькой Маше. О Куреневе же знаем, что весной 1943 года он совершил свой последний вылет на Сиверскую, где немецкие зенитки подбили его «Петлякова», а два немецких истребителя зажали в клещи подбитый и отставший советский бомбардировщик. Немцы нападали на «Петлякова» сзади, хотели убить стрелка, а затем безнаказанно расправиться с самолетом. Они пробили грудь Куренева пулеметной очередью, но ничего не смогли сделать с его самолетом. С других машин стрелки увидели, как один из нападающих сзади МЕ-109 задымил и пошел вниз, описывая неровные круги, а другой пугливо нырнул в облака. Эскадрилья убавила скорость, и в ее строй вошел поврежденный «Петляков». Когда все вернулись на базу, Куренев уже не смог выйти сам из кабины. Летчики вынесли его на руках. Он умер на санитарных носилках.

С него сняли планшет, в котором лежал голубой конверт с адресом сестры и припиской: «Просьба отослать в случае моей смерти». Письмо послали сестре в Ивановскую область. Оно гласило:

«Соня, дорогая моя сестренка! Как бы мне хотелось многое рассказать, поделиться моими мыслями. Вот уже много месяцев идет Отечественная война, я испытал опасности, но я постиг и счастье победы. И сейчас я думаю о смерти — страшна она или нет? Завтра летим на немецкий аэродром в С., оттуда многие не возвращались, а я спокоен. Нет, смерть не страшна, когда умираешь во имя гряду-

щих светлых дней, за счастье наших детей. Я иду по стопам моего отца, который погиб в 1919 году, я сохранил его традиции. Он дрался за мою жизнь, я дерусь за твою жизнь и Маши, я храню любимую фотографию нашей девочки-артистки. Не знаю, что сейчас делается у вас дома, а как хотел бы обеих прижать к сердцу. Пожалуйста, прошу не плакать, прошу об одном — помнить, что я сражался и погиб честно, как положено русскому человеку, большевику. А тебе, мой спутник наших детских, юношеских забав, Софье моей любимой, желаю жить долгие годы и большого счастья. Николай».

То были последние строки, написанные Куреневым, и мне ничего не хочется к ним добавлять.

ПИСЬМО М. Г. АНДРЕЕВА,

проживающего по Дерптскому пер., д. 8, кв. 6

В ЛЕНИНСКИЙ РК ВЛКСМ

Цинга (скорбут-III) свалила одновременно меня и жену. Мы оказались оба беспомощными лежачими больными. Тогда написали письмо в РК ВЛКСМ Ленинского района, просили о помощи. Ее нам оказали почти немедленно. Ежедневно приходили товарищи комсомольцы и помогали чем могли. Но мы хотим особо отметить, по долгу справедливости, и поблагодарить отдельно Тузанскую Тамару Тарасовну, благодаря заботе и помощи которой на ноги встала моя жена, да и я чувствую себя на очереди.

Тузанская Т. Т. ухаживала за нами, как за родителями (вызывала врача по нескольку раз, получала по доверенности деньги, ходила за обедами в столовую, приносила воду и убирала квартиру). Благодаря ей же моя жена получила усиленное питание.

Помимо вышеизложенной помощи Тузанская Т. Т. сумела, как никто другой, оказать и моральную поддержку в связи с тем, что наш сын находился на фронте. Больше того, и теперь, несмотря на то, что она переведена на другую работу — в райсовет, она продолжает оказывать всестороннюю помощь в часы своего досуга, и всё это бескорыстно и добровольно.

В лице Тузанской Т. Т. разрешите передать нашу глубокую сердечную благодарность РК ВЛКСМ Ленинского района за отзывчивость и заботу о нас.

Тузанская Т. Т. — достойная дочь ленинского комсомола, честная, благородная и отзывчивая к страданию других. Это она спасла от смерти жену и меня подняла на ноги, чтобы быть полезными стране.

Михаил Григорьевич Андреев

ДЛЯ ПОБЕДЫ

Рассказ дружинницы
Российского общества
Красного креста В. Щекиной

Когда началась война, стала я проситься на фронт. Бегала несколько раз в военкомат... В комиссии на меня посмотрели и говорят:

— Что пришла, это хорошо, только пока таких не берем в армию. Это значит, что девушка, и молодая слишком.

Обиделась я и про себя решила: «Поищу в городе что-нибудь поближе к военному». Записалась в дружинницы Красного Креста Ленинского района. Считала так: дружинниц всё равно на фронт всех пошлют.

Только получилось иначе. Остались-то мы в городе, а работать пришлось по-фронтовому.

Как только в Ленинграде начались бомбежки и артиллерийский обстрел, Красный Крест стал на место поражения высылать дружины, чтобы помогать раненым. Вот меня в такую дружину и включили.

Однажды во время моего дежурства тяжелая фугаска попала в большой дом на Обводном канале. Мы бегом туда. Дом оказался сильно разрушенным, были убитые и раненые. Особенно в верхних этажах много осталось раненых и засыпанных обломками.

Стали мы пробираться наверх, а лестницы разрушены. Там, где остатки лестниц и были, они под ногами обваливались. А пробраться всё равно надо. И вот тут несчастье случилось: одну нашу дружинницу завалило, а другой обе руки тяжело ранило. Мы быстро оказали помощь подругам, отправили их в больницу, а сами опять стали наверх пробираться. С большим трудом, а всё же добрались.

Всю ночь мы тогда работали. Я сама пять человек из-под обломков откопала, одиннадцать раненых перевязала. Ушли только после того, как всех пострадавших в больницы отвезли.

Мы видели, что это настоящая фронтовая работа, очень нужная городу, его защитникам.

Потом наступила зима. Гитлеровцы хотели нас голодом взять. В городе было очень тяжело. Люди на улице падали. В домах целые семьи от голода и холода умирали. Мы и сами в это время еле на

ногах держались, а думали только о том, как другим ленинградцам помочь.

Стали мы ходить по квартирам, разыскивали больных, ухаживали за истощенными, приносили им воду (а за ней другой раз километр надо было идти), раздобывали дров, чтобы хоть пару раз печку истопить.

В другую квартиру зайдешь, — лежит женщина в кровати, совсем истощенная, а по карточке даже ста двадцати пяти граммов хлеба не получила: нет сил в булочную сходить. Мы и драгоценный паек хлеба принесем, и из столовой тарелку супа с десятком крупинок. А тех, кто совсем был без сил мы бережно укладывали на санки и на себе везли в больницу.

Эта работа зимой была страшней, чем под бомбежками. Сколько раз, бывало, придешь в квартиру проведать больных или истощавших, помочь им, — и такое видишь человеческое горе, что от него, кажется, окаменеть можно было.

Поручили мне однажды обследовать квартиру на проспекте Огородникова. Пришла я туда вечером. Входная дверь открыта, темень. Я посветила себе спичкой и пошла по комнатам. Комнат много, а всюду пусто и мертвая тишина. В одной комнате на кровати под одеялом лежали две женщины. Я подошла поближе и увидела, что им уже никакая помощь не нужна...

Пошла дальше, — всюду пусто. Решила уже вернуться обратно. Вдруг слышу: где-то шорох. Зажгла еще спичку. Подхожу к кухне. Оттуда шорох и слышен. Стала я шарить и нашла: на стуле лежит завернутый в одеяло ребенок, чуть шевелится, а пискнуть, видно, уж сил у него нет. Схватила я сверток и бегом домой к себе. Достала теплой воды, обмыла ребенка, из крошек хлеба сделала ему кашицу, покормила и всю ночь около себя на кровати продержала.

Утром снесла ребенка в Дом малютки.

За зиму и весну я так разыскала и определила в ясли и детские дома тридцать девять осиротевших детей. Семь из этих ребят носят теперь мою фамилию.

АЛЕКСАНДР РОЗЕН

ЗИМНЯЯ ПОВЕСТЬ

I

Темным ноябрьским вечером Анна Евдокимовна возвращалась домой. Холодный дождь сменился тающим в воздухе снегом, но она шла медленно, погруженная в свои мысли. Крытая машина с красным крестом на треснутом ветровом стекле чуть не сбила ее с ног. Из машины выскочил человек и, осветив фонариком дверь и ступеньки, быстро вошел в дом.

Анна Евдокимовна остановилась. Только что она мысленно представляла себе эти ступеньки и эту дверь. Изо дня в день, из года в год она приходила сюда. За этой дверью — другая, стеклянная, за ней широкий коридор, первая комната направо — учительская. Дима Рощин — староста класса, как обычно, уже ждет ее. В руках у него глобус и свернутые в трубку полотняные карты...

Вот уже два месяца в здании школы помещается госпиталь. Анне Евдокимовне хотелось зайти и посмотреть, как там теперь, но она продолжала свой путь по темной осенней улице. Долго тянулась низкая железная решетка школьного сада.

Покрытые снегом, неровной пирамидой громоздились сваленные в саду парты.

Дойдя до конца ограды, Анна Евдокимовна остановилась. Не хотелось уходить от этих знакомых и печальных мест. Было такое чувство, словно она вторично прощается со школой.

Еще два месяца назад всё было ясно: здание школы нужно госпиталю, Анна Евдокимовна будет учить детей в другом месте; может быть, в бомбоубежище. И в самые тяжкие дни той осени она надеялась: еще немного — и начнутся занятия.

Сегодня она снова была в районном отделе народного образования. Но заведующего не нашла, и какая-то остролицая женщина сказала, что он болен.

— На что вам Андрей Николаевич? — спросила она Анну Евдокимовну. — Ну что вы ходите сюда? Как это дико! Поймите — дико... — И заплакала.

Анне Евдокимовне остролицая женщина не понравилась, но поняла она ее ясно: в осажденном Ленинграде невозможно учить детей, да и незачем...

Талый снег забирался за воротник пальто, ноги стыли, и Анна Евдокимовна поспешила наконец домой.

Ветер с ожесточением рвал тучи. Снег закручивался всё выше, и наконец последние бесформенные хлопья исчезли в небе. В лужах замелькала неспокойная луна.

Через несколько минут Анна Евдокимовна уже была в своей комнате. Подышав на стекло, она зажгла небольшую керосиновую лампу, затем расколола полено на мелкие лучинки и растопила печурку. Убедившись, что печурка не дымит, поставила на нее чайник с водой. Затем, взяв с полки книгу в старинном с застежками переплете, села в кресло.

Всякий раз, когда в жизни становилось трудно, Анна Евдокимовна успокаивала себя чтением. Особенно любила она Диккенса. Писатель хорошо знал сердца людей и для каждого находил слова простые и исцеляющие. Многие страницы она знала наизусть и всё же вновь и вновь их перечитывала.

«Вот в толпе, которая вереницей проносится в моем воспоминании, один образ, спокойный и тихий. Он в своей невинной любви и детской прелести говорит: остановись, вспомни обо мне. Я исполню это...»

Анна Евдокимовна читала эти любимые ею строки, но книга не приносила облегчения. Тайный смысл слов не раскрывался ей, как обычно. Книга оставалась холодной, не для нее написанной.

По-прежнему Анна Евдокимовна чувствовала себя разбитой, опустошенной. Читая, она думала о своей жизни.

Ей уже за пятьдесят. Годы ее ушли. Вся жизнь была заполнена только работой. Но разве все эти годы чувствовала она себя одинокой? С гордостью Анна Евдокимовна могла сказать, что жизнь не была для нее скупой. Четыре школьных поколения вырастила она. Пятое должно было сесть за парты в дни, когда фашисты окружили Ленинград.

Она всегда преданно служила своему делу. Иные из ее товарищей считали Анну Евдокимовну суховатой — она всегда ровно относилась ко всем детям, но потом, познакомившись ближе, убеждались, что это лишь характерная сдержанность, за которой видна живая человеческая душа.

Еще этим летом Анна Евдокимовна готовилась к преподаванию географии в двух соседних школах: многие педагоги ушли в Народное ополчение и надо было их заменить. Еще в сентябре ей поручили подыскать новое помещение для занятий. Еще неделю назад она

разговаривала с Андреем Николаевичем. Но, может быть, Андрей Николаевич зря ее обнадеживал?

Сегодняшний день как бы подвел итоговую черту. За этой чертой она ничего не могла разглядеть.

Вой сирены прервал ее размышления. Пока диктор объявлял воздушную тревогу, Анна Евдокимовна успела потушить лампу и плеснуть воду в печурку. Сунув ноги в валенки, она надела пальто и, повязав голову большим шерстяным платком, выбежала из квартиры.

Она слышала, как по всем этажам захлопали двери. Синяя лампочка неохотно отбрасывала на стены слабые тени людей, спешивших вниз, в убежище. Анна Евдокимовна, держась стены, поднималась по лестнице вверх. Сегодня была ее очередь дежурить на крыше.

Сухо и холодно. Большие зимние звезды. Белые с желтизной лучи прожекторов сузили небо и словно определили небесный материк. Луна неподвижна, и крыши домов залиты голубым светом. И удивительно тихо.

— Дежурная на крыше!

— Слушаю.

— Сегодня будете дежурить одна.

И снова тишина.

Вдали заблестели невидимые раньше звезды. Заблестели и погасли. И вновь заблестели. Звездный сноп, то исчезая, то вновь возникая, приближался. Вместе с его приближением Анна Евдокимовна слышала нарастающий шум, идущий перекатом по небу.

Вдруг сильный выстрел откуда-то совсем близко от нее. Такой же выстрел, но с другой стороны. Сквозь сухой треск отовсюду забивших зениток Анна Евдокимовна услышала однообразный, сверлящий звук авиационных моторов.

Где-то вдалеке, на окраине неба, два луча прожекторов скрестились, и в их бледно-желтом свете небольшая черная точка быстро поплыла к земле, увлекаемая невидимой силой. Багровые отсветы легли на небо.

Над собой Анна Евдокимовна слышала всё тот же настойчивый звук авиационных моторов.

«Меня можно сделать бессменной дежурной, — думала Анна Евдокимовна. — Это будет справедливо. Я единственная в доме «неработающая». — Она стала перебирать в памяти жильцов дома. — Эта работает на «Электросиле», у другой — маленькие дети, третья... та работает машинисткой в каком-то учреждении. Одна Анна Евдокимовна нигде не работает...

Вдруг она услышала тяжелый шелест и свист летящей бомбы.

Анна Евдокимовна прижалась к трубе, обхватила ее руками и замерла.

Дом вздрогнул, как живой человек от тока высокого напряжения. И вслед за толчком — тяжелый грохот обвала.

С минуту еще Анна Евдокимовна стояла не двигаясь, всё еще прижавшись к трубе, словно пытаясь этим движением удержать жизнь. Наконец она выпрямилась.

В квартале от нее громадный столб черного дыма вырывался изнутри пятиэтажного дома. Минуту спустя из здания брызнуло пламя и, одолев черный дымовой настил, в яростном порыве охватило все этажи.

Снова шелест и свист над головой. Десятки зажигательных бомб летели в пожарище, словно не доверяя ему, словно напоминая: «гори!»

— Дежурная на крыше!

— Я.

— Зажигалки есть?

— У нас нет.

Бомба миновала ее дом. Невдалеке от нее горит здание. «Что это за здание? — припоминала Анна Евдокимовна. — Может быть, это школа? Нет, это не школа. Но, может быть, это всё-таки школа? Да, может быть. Наверное, это школа».

Когда прозвучал сигнал отбоя, Анна Евдокимовна, с трудом передвигая окоченевшие ноги, спустилась по лестнице.

— Что горит? — спросила она у женщины, сидевшей возле ворот.

— Не знаю. Где-то недалеко.

Тучное багровое пламя низко стояло в небе. Анна Евдокимовна пошла по направлению к школе. Чем ближе, тем ярче становился красный цвет неба. Слышались гудки пожарных машин и «Скорой помощи», сигнальные колокола, крики людей. Анна Евдокимовна уже не шла, а бежала. Наконец она достигла улицы, на которую выходил школьный сад. На углу остановилась, пораженная страшной картиной разрушения.

Здание было рассечено и словно распахнуто на две половины. Огонь в неистовом рвении уничтожал всё, что еще не было уничтожено. Железные лестницы, обхватившие здание, были раскалены, и даже тяжелые струи воды, направленные в огонь, от отблесков пламени казались окровавленными.

Еще продолжали спасать раненых. Обгорелых людей выносили из здания и погружали в санитарные автобусы. Анна Евдокимовна рванулась вперед.

— Нельзя, гражданка, нельзя... Видите, что делается, — остановил ее какой-то старик в кепке и с винтовкой за плечами.

— Товарищ! Я...

— Знаю, что помогать, да только не поможете, — еще больше помешаете. Приказано не допускать. Сын, что ли здесь? — спросил он, заметив выражение ее лица.

Анна Евдокимовна ничего не ответила.

— Не все погибли, — продолжал старик с винтовкой. — Спасли многих. Еще спасут. — Анна Евдокимовна видела, как по его лицу текут медленные стариковские слезы.

Еще с минуту она стояла в нерешительности, затем повернулась...

Анна Евдокимовна шла домой. Вдруг обессилев, она шла долго и, когда пришла, не раздеваясь легла в постель и, едва натянув на себя одеяло, заснула.

Утром, проснувшись, почувствовала болезненную ломоту во всем теле. С трудом поднялась.

В комнате было холоднее, чем всегда. Подойдя к окну, Анна Евдокимовна увидела чистый ровный снег на дворе. Напротив во флигеле фанера на окнах покрылась изморозью.

«Зима», — подумала Анна Евдокимовна.

Одевшись, села в кресло. Надо растопить печурку, согреть чай, сходить за хлебом, в столовую.

Все эти дела казались сейчас Анне Евдокимовне невыносимо тяжкими. Печуркой она решила заняться после. Встала, надела пальто, но тут же снова села в кресло. Лучше потом постоять лишний час в очереди, только бы сейчас не двигаться. Она протянула руку к полке с книгами, но какое-то неясное чувство остановило ее, какая-то неприязнь к чужому миру образов.

Вытянув ноги, она сидела в кресле, думая только о том, что ей непременно надо будет встать, пойти в булочную и столовую, обязательно надо... Так она просидела долго, и когда наконец взглянула на часы, оказалось, что часы стоят. Анна Евдокимовна заторопилась.

На улице мороз. Свежо и по-зимнему тихо. Анна Евдокимовна купила хлеб и, узнав верное время, завела часы. Дошла до столовой. У дверей стояла длинная нестройная очередь.

«Нет, нет, — подумала Анна Евдокимовна, — не могу...»

Она повернула обратно и, придя домой, сразу же села в кресло. Съела хлеб и подумала, что теперь уже никуда не надо торопиться. Хорошо, что не надо. Сидя в кресле, Анна Евдокимовна то дремала, то, просыпаясь, проверяла, заведены ли часы.

Был уже вечер, когда в комнату постучали. Очнувшись от сна,

Анна Евдокимовна снова проверила часы, затем, когда стук повторился, насторожилась.

— Кто там?

— Анна Евдокимовна, откройте, свои...

— Подождите минуту, я лампу зажгу.

Она зажгла лампу. Вошел мужчина лет около сорока; почистив метелкой валенки, подошел к Анне Евдокимовне:

— Здравствуйте, Анна Евдокимовна! Не узнаете?

— Товарищ Алапин?

— Ну вот и нет... Алапин — это отец Миши Алапина, а я Рощин — отец Димы Рощина.

— Да я так и хотела сказать... Забыла фамилию.

Оба сели. Рощин молчал, искоса поглядывая на Анну Евдокимовну.

— Что Дима? — спросила Анна Евдокимовна.

Рощин нахмурился.

— Бегает, — сказал он неопределенно. Он встал, прошелся по комнате. — Ей-богу, я не знаю, что делать! Я, например, работаю. Жена тоже работает. Димке-то уже тринадцатый пошел. Вы же сами говорили, что он способный...

— Способный, — тихо отозвалась Анна Евдокимовна.

— Он потушил пятнадцать зажигательных бомб. Это, конечно, хорошо, но всё-таки надо подумать, что с ним делать. Оставим Диму. Миша Алапин... Конечно, это не мое дело, но он тоже... — Рощин оборвал фразу, потом, видимо решившись, сказал: — Анна Евдокимовна, давайте наладим учебу!

— Что? — Анна Евдокимовна резко поднялась с кресла, шагнула к Рощину. Он увидел ее напряженный взгляд...

— Сядем, — сказал Рощин. — Ну так вот, Андрей Николаевич болен. Я был у него сегодня и говорил. Советовался с родителями. Ну, то есть с Алапиным, с Ильей Александровичем и с Носовым. Решили обратиться к вам, просить вас...

— Я видела, как горела школа... — сказала Анна Евдокимовна, опустив голову.

Рощин слегка дотронулся до ее руки:

— Вы знаете, что Андрей Николаевич предлагает? На дому заниматься, по квартирам. Для школы нужны топливо, освещение, обслуживающий персонал. Ну, в общем так: в доме, где я живу, живут еще девять ваших учеников. Дрова у меня есть. В назначенный час, будьте добры, мы начинаем учебу.

Анна Евдокимовна удивленно взглянула на Рощина.

— Но ведь я преподаю только географию, — сказала она.

— А почему только географию? — спросил Рощин.

Анна Евдокимовна не успела ответить. Завыла сирена.

— Я сегодня дежурю. Идемте!

Они спустились в убежище, и, когда все разместились и стало тихо, Анна Евдокимовна подошла к Рощину:

— Я никогда в жизни не преподавала ни математики, ни литературы...

— Ну, какая там математика! — сказал Рощин. — А + Б в квадрате и так далее. И вообще надо диктовки давать, учить писать без ошибок. Ну какое-нибудь стихотворение: «В песчаных степях Аравийской земли...» Правильно?

— Совсем близко бомбит! — вскрикнула женщина, сидевшая в углу.

Кто-то остановил ее:

— Тише, дайте послушать!

— Надо подготовиться, — сказала Анна Евдокимовна. — Посмотреть программы.

— Ну ясно, ясно, — подхватил Рощин. — Вам и карты в руки.

Где-то рядом или над ними разорвалась бомба.

— Погибаем!

— Тихо, я говорю!

Анна Евдокимовна выбежала из убежища и сейчас же вернулась:

— Не волнуйтесь, товарищи! Дом наш цел.

— А что, — спросил Рощин, — долго вам надо готовиться?

— Сутки.

— Хорошо.

— Опять летят! — сказала женщина в углу.

— Да это наши, оставьте, пожалуйста.

— В десять часов утра будем начинать, — сказал Рощин. — Если бомбежка, так у нас убежище не хуже вашего. Вы не беспокойтесь, никакой возни с ребятами не будет. Уж они-то насчет бомбежки спецы! Уж чего-чего, а насчет бомбежки они спецы!

Анна Евдокимовна рассталась с Рощиным после отбоя. Было уже поздно. Лунный свет плотно лежал на крышах. Громадная синяя тень дома почти полностью закрыла заснеженный двор.

Анна Евдокимовна быстро поднялась к себе. Она так торопилась поскорее зажечь лампу, что уронила на пол стекло. Что ж теперь делать?

«Ничего, — подумала Анна Евдокимовна, — стекло бьется к счастью».

Она подняла штору. Голубой свет луны упал на подоконник, не в силах осветить комнату. Анна Евдокимовна наугад взяла с полок несколько книг и положила их на подоконник. Затем, опустившись

на колени, склонилась над книгами и стала их перелистывать. Это были учебники, сохранившиеся у нее еще с детских лет. Грамматика, арифметика, история.

II

Через день ровно в десять часов утра Анна Евдокимовна пришла к Рощину.

Дима открыл ей дверь, и Анне Евдокимовне стоило большого усилия ничем не выдать своего волнения.

— Как ты вырос... — сказала она Диме.

Мальчик провел ее в комнату.

— Здравствуйте, Анна Евдокимовна! Здравствуйте, Анна Евдокимовна! Здравствуйте, Анна Евдокимовна!

— Здравствуйте, ребята!..

Затем она поздоровалась с каждым учеником в отдельности.

К комнате было чуть дымно от только что протопленной печурки. На стене — большая карта Советского Союза. На буфете — грифельная доска. Дети сидели за круглым обеденным столом.

— Ну-с, — сказала Анна Евдокимовна, — первый урок — география. — На столе зашелестели тетради. — Повторим пройденное, — продолжала она, чувствуя, как обретает желанное спокойствие. — Дима! Расскажи, что ты знаешь об Украине.

Дима взял со стола указку и, подойдя к карте, обвел границы Украины.

— Правильно, — заметила Анна Евдокимовна.

— Украинская Советская Социалистическая Республика граничит с запада... — начал Дима, но вдруг осекся. Через минуту, не глядя на учительницу и на товарищей, сказал: — Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года фашистские разбойники напали на нас и вторглись в Украину. Фашисты...

Он заторопился, словно боясь, что не успеет рассказать всё, что знает. Маленький Рощин называл города и переправы, за которые шли долгие и упорные бои. В этих боях враги теряли лучшие свои полки и дивизии.

Дети перебивали Диму, напоминали ему о том, что читали, и о том, что рассказывали им взрослые. Анна Евдокимовна сама приняла участие в этом бурном разговоре у карты, продолжавшемся (сейчас только она проверила время) два с лишним часа.

— Перемена, — сказала Анна Евдокимовна.

— Не надо перемены, — предложил флегматичный Миша Аланин. — Сейчас спокойно, а начнут бомбить, тогда сделаем перемену.

— Хорошо, — согласилась Анна Евдокимовна. — Займемся арифметикой.

После арифметики и диктовки она закрыла тетрадку, на которой рукой Рощина-старшего было написано «Классный журнал», и сказала:

— На сегодня уроки кончены.

Дети сразу же повскакали с мест и обступили свою старую учительницу. Им хотелось поговорить с ней, но они не знали, с чего начать разговор. Они видели, что Анна Евдокимовна изменилась за эти полгода. «Строже стала», — определила во время уроков Лиза Лебедева. «Не строже, а просто ей туго пришлось», — буркнул в ответ Витя Мелентьев, самый маленький мальчик, которого ребята звали «Подрасти немножко».

Витя первый прервал молчание:

— Ваш дом цел?

— Цел, — ответила Анна Евдокимовна.

— У нас бомбы в соседний попали, — сказал Витя оживленно. — Четыре по двести пятьдесят. Он ка-ак бросил первую!

— Да ты спал тогда, — спокойно заметил Миша Алапин.

— А вот и не спал!

— Спал. Ты и тонновую проспишь.

— Анна Евдокимовна! Не верьте ему. Он врет!

— Нет, Миша не врет, — сказал Дима. — Ты спишь, как сурок, «Подрасти немножко».

— Это ничего, — рассудительно вмешалась Лиза Лебедева. — Зато он не трус.

— У нас в доме нет трусов, — громко сказал Дима и посмотрел на Анну Евдокимовну: какое впечатление на нее произведут эти слова.

— У меня тетя трусит, — сказала Надя Волкова, стройная девочка с бледным курносеньким личиком. — Боится, что умрет.

Анна Евдокимовна вспомнила, что мать Нади умерла за год до войны и тогда к Волковым переехала сестра отца — старая, ворчливая женщина.

— А папа пишет? — спросила она девочку.

Надя покачала головой:

— Редко. Он на «пятачке».

Дети с уважением смотрели на Надю. Ее отец воевал на «пятачке»! Так назывался небольшой клочок земли на левом берегу Невы, недавно занятый нашими войсками и непрерывно обстреливаемый немцами.

Возвращаясь домой, Анна Евдокимовна думала о том, что каждый из ее учеников остался таким же, каким был раньше: Дима —

способным и исполнительным, Миша — невозмутимым, Витя — упорным, Надя — приветливой, Лиза — рассудительной, но все они теперь живут жизнью взрослых людей, их прежние, особенные, детские интересы оборваны и раздавлены войной, участниками которой они теперь стали.

Вернувшись домой, Анна Евдокимовна быстро справилась с хозяйственными делами и, придвинув к креслу маленький столик, занялась подготовкой к завтрашним урокам.

Анне Евдокимовне пришлось работать до поздней ночи. Иногда она чувствовала непривычную слабость: кружилась голова, ноги становились свинцовыми, строчки дрожали и вдруг, обратившись в черные змейки, куда-то исчезали. В такие минуты Анна Евдокимовна отрывалась от книги и, закрыв глаза, отдыхала пять — десять минут.

Она укоряла себя за то, что не сберегла немного еды от обеда. Было бы легче работать.

И заснуть мешала ей та же гнетущая слабость.

«Надо правильно распределять еду, — думала Анна Евдокимовна. — Надо за этим следить».

Утром, перед тем как идти к Рощину, она зашла в булочную и, получив хлеб, спрятала небольшой кусочек в портфель. В обед она съела только второе, а суп вылила в судочек и унесла домой.

Прошло две недели, и она ни разу не нарушила установленных ею «правил еды». Но приступы слабости не прекращались. Несмотря на строго соблюдаемый режим, эти приступы становились всё более продолжительными. Дома она часами просиживала в каком-то мучительном забытьи. Ночь проходила в смутных снах, в томительном ожидании рассвета.

Иной раз Анна Евдокимовна приходила к Рощину задолго до того, как собирались дети. Она стремилась к своей удивительной школе, как к спасительному оазису, но знала, что каждый новый вдох жизни потребует от нее новых, быть может, последних усилий.

Дети не опаздывали, приходили ровно к десяти, садились за круглый обеденный стол, и тогда самому пытливому взгляду не могло быть доступно то усилие воли, которое совершала Анна Евдокимовна, прежде чем начать очередной урок.

Ученики ее изменились за две недели. Они притихли, лица потемнели, глаза запали. И всё же они никогда не жаловались своей учительнице...

Рощина Анна Евдокимовна видела редко. На работу он уходил вместе с женой рано утром, возвращались они уже после того, как уроки были кончены. Но всякий раз, когда Анна Евдокимовна встречалась с Рощиным, он живо интересовался ее занятиями с деть-

ми. Слушая Анну Евдокимовну, он по своей привычке искоса поглядывал на нее, словно оценивая каждое слово.

— Блокада — это кольцо, — говорил Рощин, чуть дотрагиваясь до руки Анны Евдокимовны. — Во-первых, его надо рвать. Во-вторых, внутри нельзя рассредоточиваться. Иначе кольцо сожмется.

Анна Евдокимовна слушала молча, соглашаясь с Рощиным. Не хотелось уходить отсюда. Мучительны были переходы от бесстрашной и трезвой работы к темному быту.

Морозы стояли свирепые, бесснежные. Веселый и щедрый до войны поток троллейбусов и трамваев застыл, словно околдованный лютой зимой. Вагоны вмерзли в землю. Лед крепко схватил их и держал в тяжком плену. Улицы были словно перекошены холодом. Анне Евдокимовне казалось, что слова Рощина, ставшие для нее драгоценными, глохнут на холодном сквозняке.

Четырнадцать обледенелых ступенек, мохнатая от нависшего снега дверь, с трудом поворачивается ключ в заржавленном замке. И новые усилия, чтобы на самом ничтожном огне согреть суп.

Однажды Рощин сказал ей:

— Вы бы навестили Андрея Николаевича. Он совсем плох. Понимаете, у него и раньше был туберкулез, ну, а теперь... — Рощин не закончил фразы и сунул Анне Евдокимовне листок с адресом больницы.

В тот же вечер Анна Евдокимовна пошла в больницу к Андрею Николаевичу. В проходной старая женщина в дворницком тулупе выписала ей пропуск и сказала номер палаты. Всё же Анна Евдокимовна долго еще блуждала по длинным больничным коридорам, слабо освещенным «летучими мышами».

Дежурная сестра, положив голову на руки, спала за своим столиком. Анна Евдокимовна разбудила ее.

— Кто? — переспросила сестра фамилию. — Да, да, жив. Вот сюда. — И Анна Евдокимовна вошла в указанную палату.

Среди неподвижно лежавших людей она не могла найти Андрея Николаевича, но в это время к ней подошел мужчина в очках:

— Вы к Андрею Николаевичу?

— Да.

— Идемте.

Андрей Николаевич лежал в глубине палаты. Когда Анна Евдокимовна подошла к нему, он не шевельнулся. Анна Евдокимовна села на стул. На другой стул сел ее спутник. Тишина в палате ничем не нарушалась. Наконец мужчина в очках спросил:

— Вас зовут Анна Евдокимовна?

— Да...

— Я о вас слышал. Обязательно приду к вам. Моя фамилия

Левшин. Я замещаю Андрея Николаевича и тоже пришел его навестить. Но... — Он не докончил фразу и внимательно поправил одеяло на больном.

Анна Евдокимовна молча посидела у койки еще с полчаса, затем в коридоре разбудила дежурную сестру, отметила пропуск и вышла на улицу.

Мороз нарастал. Казалось, что он ледяным поясом туго перетянул улицы и дома. Совершенно белая луна вдруг вышла из-за облака и замерла над больничным зданием.

Анна Евдокимовна вспомнила лицо Андрея Николаевича, поразившее ее своей неподвижностью. И по пути домой, и уже в своей комнате Анна Евдокимовна мысленно видела это лицо с сухой кожей и складками, собранными у глаз и рта.

Левшин отрицательно покачал головой в ответ на ее немой вопрос. Да, конечно, Андрей Николаевич умрет. У него туберкулез, и он не выживет. Анна Евдокимовна чувствовала ужас перед этим медленным угасанием, свидетелем которого только что явилась. Неужели и ей угрожает та же судьба?

Анна Евдокимовна отогнала от себя эту мысль. Ведь у Андрея Николаевича туберкулез. Третья стадия. Она совершенно здорова... И всё же немногое отделяет и ее от больничной койки...

Но утром она пойдет к Рощину и будет учить детей. Разве этого недостаточно, чтобы противостоять концу, начертанному ее испуганным воображением?

В десять утра она придет к Рощину, увидит учеников и забудет бессонную ночь. Но верно и то, что, уйдя завтра от Рощина, она снова вернется всё к тем же мыслям. И сможет ли она долго скрывать от детей эту двойную жизнь? Скоро ее тайна будет обнаружена, напряжение воли станет физически невозможным, и она на глазах учеников подчинится своему позорному бессилию.

На следующий день после уроков Анна Евдокимовна дождалась Рощина. Он не успел еще скинуть полушубок, как Анна Евдокимовна подошла и коротко сказала:

— Больше я на занятия не приду.

Рощин испугался:

— Что с вами, Анна Евдокимовна?

Но она, ничего не ответив, открыла дверь на лестницу. Рощин схватил ее за руку:

— Обязательно надо прийти! Разве вы не видите, что с детьми делается? Они и так как воск... Как воск!

— Больше я не приду, — повторила Анна Евдокимовна и вышла на лестницу. Спустившись вниз, она слышала, как Рощин что-то кричал, но не могла разобрать его слов.

Она уже перешагнула тот рубеж, за которым измена казалась ей единственным для нее верным выходом. Больше в ее жизни не будет никаких усилий. Но чем же тогда станет ее жизнь? Об этом Анна Евдокимовна еще не думала.

Она не торопясь шла домой, рассеянно глядя по сторонам. Возле булочной, вытянув вперед руки, громко рыдала девочка лет двенадцати.

Анна Евдокимовна вошла в булочную, сказала:

— На сегодня и на завтра.

Получив хлеб, она задержалась, чтобы согреться. Вокруг девочки уже собралось несколько человек. Девочку привели в булочную. Ее спрашивали:

— Чего ты плачешь?

Но она не в силах была ответить, захлебывалась слезами, и ничего нельзя было разобрать.

— Карточки потеряла?

Девочка зарыдала еще громче.

— Так и есть, — понял наконец какой-то бородатый мужчина, — потеряла карточки.

— А где твои родители? — спрашивали девочку.

— Мамы нет, — сказала она, — еще до войны нет. Папа на фронте. Я живу с тетей, но она ушла позавчера и больше не приходила.

Голос девочки показался Анне Евдокимовне знакомым. Она обернулась, затем подошла ближе.

— Надя... — сказала Анна Евдокимовна, только сейчас узнав свою ученицу.

Девочка сразу же перестала плакать.

— Это я... — ответила она виновато.

— Надо написать заявление в бюро заборных книжек, что-нибудь да сделают, — сказала какая-то женщина в темном платке, порылась в карманах и, найдя бумагу и карандаш, подошла к прилавку.

— Как тебя зовут?

— Надежда Михайловна Волкова, — отвечала Надя, не сводя глаз с Анны Евдокимовны.

— Так... Нá вот заявление. Надо было бы сходить с тобой, да времени нет, опаздываю на работу. Граждане, кто может свести девочку в бюро заборных книжек? Это же рядом...

— Я могу, — сказала Анна Евдокимовна.

В бюро заборных книжек сказали, что заявление рассмотрят к завтрашнему дню.

— А сегодня ты ела что-нибудь? — спросила заведующая.

Девочка покачала головой.

— Я тебе дам талон на суп, — сказала заведующая. — Это ваша родственница? — спросила она Анну Евдокимовну.

— Нет.

— Ну, всё равно. Возьмите ей суп в столовой, где вы обедаете. А чего ты так руки держишь? Замерзли? — Она сняла девочке варежки. — Ну-ка, пошевели пальцами! Так. Теперь спрячь руки в карманы. Уж на суп-то я тебе дам талончик...

В столовой Анна Евдокимовна вынула из портфеля хлеб и разделила его пополам.

— Так ведь это же вам на сегодня и на завтра? — спросила Надя. — Ну, ничего. Мне, наверное, завтра выдадут карточку, я тогда возьму на завтра и послезавтра.

И она принялась за суп, отщипывая от хлеба маленькие кусочки.

— Теперь я вас до дому провожу, — сказала после обеда Надя и осторожно взяла Анну Евдокимовну под руку, видимо опасаясь, что та может поскользнуться и упасть.

«Два дня девочка живет совершенно одна, а я об этом ничего не знаю», — думала Анна Евдокимовна...

— Почему ты мне раньше не сказала, что тетя ушла?

— Совестно было об этом на уроках говорить... Ну вот, мы и дошли. Спасибо вам, до свидания.

Но Анна Евдокимовна всё стояла у ворот своего дома. Какое-то неизъяснимое чувство притягивало ее к удалявшейся Надиной фигурке. Как будто тоненький ее след еще связывал Анну Евдокимовну с той жизнью, которую она сегодня покинула. Вот еще немного — и Надя скроется за поворотом.

— Надя! — крикнула Анна Евдокимовна. — Надя! — крикнула она громче, боясь, что девочка не услышит.

Надя обернулась, подбежала к ней:

— Вам дурно, да? Я вас по лестнице провожу...

— Нет, ничего, — ответила Анна Евдокимовна и добавила строго: — Если хочешь, можешь зайти ко мне.

— Очень хочу, — сказала Надя. — А я думала, что вы не хотите.

Дома Анна Евдокимовна прилегла на постель.

— Дров у вас, конечно, нет? — спросила Надя.

— Есть еще немного...

Анна Евдокимовна заснула мгновенно. Когда она проснулась, топилась печурка. Надя сидела на маленьком табурете и рассматривала открытки в альбоме. Анна Евдокимовна видела, как она тихонько встает, на цыпочках подходит к шкафу, кладет альбом на прежнее место и, взяв новый, так же на цыпочках возвращается к своему месту у печурки.

— Надя!..

— А вы спали, — сказала девочка. — Целый час спали. У вас книг так много! Хотите, я вам что-нибудь вслух почитаю? — Она взяла с полки запыленный томик в старинном с застежками переплете и, закрыв вьюшку, села поближе к Анне Евдокимовне. — Ой, да у вас тут закладка! Вы не дочитали до конца?

«Вот в толпе, которая вереницей проносится в моем воспоминании один образ, спокойный и тихий. Он в своей невинной любви и детской прелести говорит: остановись, вспомни обо мне. Я исполню это...» — читала Надя, и Анна Евдокимовна не прерывала ее, хотя наизусть знала эти любимые строки.

Книга жила заново. Писатель был третьим здесь, желанным и необходимым.

— Ну, довольно, — сказала наконец Анна Евдокимовна. — Надо ложиться спать. Постели себе на диване.

Но когда Надя погасила коптилку, Анна Евдокимовна долго еще лежала с открытыми глазами.

— Анна Евдокимовна, — услышала она тихий шепот, — Анна Евдокимовна, вы уже спите?

— Что тебе, Надя?

— Можно мне к вам?

— Ну, иди... — Она слышала, как Надя встала и, подбежав к ее постели, быстро нырнула под одеяло. Девочка всем телом прижалась к Анне Евдокимовне и, обняв за шею, сказала:

— У меня есть сухарик. Я его давно припрятала. Сейчас съедим, да? — Она быстро сунула Анне Евдокимовне в рот половину сухарика.

— Вкусно, да? — спросила Надя. — Ну, теперь будем спать.

Встала Надя рано и невольно разбудила Анну Евдокимовну.

— Я за карточками, узнать, — говорила она, — а потом я домой зайду. В школе мы увидимся, и в перемену я всё расскажу.

— Хорошо, — сказала Анна Евдокимовна. «Надо обо всем поговорить с Рощиным», — подумала она, когда Надя ушла.

Анна Евдокимовна искала сло́ва, которые могли бы объяснить Рощину пережитое, не находила их и боялась встречи. Она нарочно вышла из дому позднее обычного.

Еще издали Анна Евдокимовна увидела Рощина. Он стоял у ворот своего дома, размахивал руками и притопывал, чтобы согреться. Заметив Анну Евдокимовну, Рощин быстро пошел ей навстречу.

— Так я и знал, что придете, — сказал он вместо приветствия и, взглянув на часы, прибавил: — Извините, спешу.

Анна Евдокимовна взглянула на него с благодарностью.

Урок уже начался, когда Надя вбежала в класс. По веселым гла-

зам девочки Анна Евдокимовна поняла, что с карточками всё благополучно. Но Надя, сев поодаль, знаками показывала учительнице, что карточки ей выдали, и, наконец не выдержав, вытащила карточки и разложила у себя на коленях.

В перемену Анна Евдокимовна подозвала Надю:

— Что у тебя дома? Вернулась тетя?

Лицо девочки сразу же стало виноватым.

— Нет, не вернулась.

— Как же ты теперь жить будешь?

— Не знаю, — сказала Надя, испуганно глядя на Анну Евдокимовну.

— Возьми свои вещи и на саночках перевези ко мне. Слышишь?

— Слышу, — отвечала Надя тихо. Потом вдруг бросилась Анне Евдокимовне на шею и поцеловала.

— Куриные нежности! — заметил Миша Алапин.

Сразу же после занятий Надя со всем своим незатейливым имуществом перебралась к Анне Евдокимовне. Она даже привезла ветхий кухонный столик.

— Для растопки, — объяснила девочка.

Вечером, разламывая стол, Надя сочинила целую историю о корабле, потерпевшем крушение, и о том, что она ловит теперь в бурном океане то немногое, что осталось от гордого корабля.

Но вскоре оказалось, что они не мореплаватели, а отважные полярники. Надя назвала кровать и диван нарами, а одеяла — спальными мешками. Она ходила по комнате со щепкой в руках, нахмурившись смотрела на нее и поминутно сообщала:

— Пятьдесят пять ниже нуля, шестьдесят ниже нуля. Анна Евдокимовна, сейчас льдина треснет!

Но утром, когда Анна Евдокимовна собралась уходить, Надя еще лежала. Анна Евдокимовна подошла к ней:

— Что с тобой, Надя? Нездоровится?

— Нет, ничего... Сейчас я встану. Спала, а не отдохнула, — призналась девочка.

Анне Евдокимовне хорошо было известно это состояние утренней беспомощности. Лицо Нади казалось совсем прозрачным. «Как воск», — вспомнила Анна Евдокимовна слова Рощина.

— Сегодня ты в школу не пойдешь, — сказала она девочке.

— Ой, что вы, Анна Евдокимовна! — Надя приподнялась. — Нельзя. Идите, идите, я вас догоню.

«Они и так как воск... как воск», — вспоминала Анна Евдокимовна слова Рощина. Она и раньше думала об этих словах, но только сегодня, когда Надя так настойчиво потянулась к школе, Анна Евдокимовна до конца поняла их внутренний смысл.

«Рощин не только заботится об учебе, он убежден, что ежедневные занятия поддерживают самую жизнь детей», — думала Анна Евдокимовна. Как же так? Ведь занятия не могут дать детям лишних калорий. Скорее, наоборот. Занятия требуют от детей дополнительных калорий. Но Рощин не спец по калориям. Калории, видать, путаное дело. Пройдут годы, и ученики Анны Евдокимовны — врачи, педагоги, историки — напишут правдивую книгу об этих днях и подтвердят: в те дни по неписаным законам жизни Анна Евдокимовна была им необходима.

После уроков Надя, подойдя к Анне Евдокимовне, тихонько сказала:

— Я сейчас в столовую побегу, а вы спокойно идите домой. Я всё принесу. — И, не дождавшись ответа, быстро исчезла из комнаты.

Когда Анна Евдокимовна пришла домой, девочка еще не вернулась. Анна Евдокимовна ждала ее, тревожась. Не случилось ли что-нибудь? Тревожное это чувство было новым для нее, еще не изведанным в жизни.

Она и раньше беспокоилась, если кто-нибудь из учеников не являлся или опаздывал на занятия. Но это щемящее душу беспокойство возникло только теперь, когда она почувствовала нераздельность своей и Надиной судьбы.

— Вы меня, наверное, ругаете за то, что я так поздно? — услышала она голос Нади.

Анна Евдокимовна обняла девочку. Ей было весело слушать пустяковые новости, которые рассказывала Надя, и, когда они принялись за обед, ей было приятно следить за тем, как Надя, высоко поднимая ложку, не спеша ест суп.

Быть может, давно заглохшее чувство дало живые ростки и запоздалое материнство проснулось, чтобы согреть и осветить зимнюю ночь? Анне Евдокимовне казалось, что никогда еще в Ленинграде не было таких длинных ночей. Как будто немецкое кольцо вокруг города сжало и без того короткий январский день.

Они вставали утром в полной темноте и домой возвращались в сумерках. Анна Евдокимовна видела, как оживают дети в теплом и светлом «классе» — на квартире Рощина. Левшин, который теперь часто приходил на уроки, был доволен.

— Хорошо у вас, — искренне говорил он. — Но смотрите, придет весна, наладим школьное хозяйство и выселим вас отсюда. — По его утомленному лицу видно было, как сложно всё то, о чем он говорил смеясь.

«Да, да, скорее бы весна, — думала Анна Евдокимовна. — Когда светло и тепло, всё не так страшно».

— Раньше станет легче, — говорил Рощин. — Это факт. Дорога через Ладогу действует? Действует. Бросим людей, выведем хозяйство из прорыва. Я хочу сказать: надо освободить паровозы ото льда, понимаете?

— Понимаю, — ответила Анна Евдокимовна, думая, что, собственно говоря, надо им выдержать до воскресенья. В воскресенье занятий в школе не будет, и они с Надей отдохнут.

В субботу, возвращаясь домой, она сказала Наде:

— Сегодня ложимся рано, а завтра спим до какого угодно часа. Завтра я сама пойду в столовую, а тебе надо будет только сходить за хлебом.

Закончив домашние дела, они, как условились, легли рано.

— Анна Евдокимовна, а как мы с вами будем жить после войны? — спросила Надя.

— После войны? Хорошо будем жить, — не задумываясь, отвечала Анна Евдокимовна.

— Хорошо... Папа вернется... А вы будете... самая главная учительница!

— Ну-ну... — сказала Анна Евдокимовна, которой никогда не приходили в голову такие тщеславные мысли.

— Над всеми школами Ленинграда!

— Да нет же, Надя! Буду преподавать географию. Только не на квартире у товарища Рощина, а в школе.

— А я что буду делать? — не успокаивалась Надя.

— Учиться будешь.

— А потом?

— Потом выберешь специальность.

— Какую?

— Какую захочешь.

— Нет, а всё-таки?

— Ну, не знаю...

— А я знаю.

— Какую же?

— Я буду учительницей, как вы.

Надя ненадолго затихла.

— Анна Евдокимовна!

— Спи, Надя...

— Нет, вы мне скажите, почему меня все зовут вашей дочкой, а вы меня так никогда не зовете, и я вас мамой не зову?

Анна Евдокимовна почувствовала, как сильно забилось ее сердце. Она молчала, стараясь продлить эти счастливые минуты.

— Вы мне мама, — сказала девочка. — Сплю, сплю, — поспешно добавила она.

III

На следующий день они встали поздно, и Анна Евдокимовна, поручив Наде купить хлеб, одна пошла в столовую.

День был не снежный, солнце сильным радужным светом окрасило застывшую землю. Словно кто-то там, в самом зените неба, ударил по струнам веселого инструмента, а здесь, на земле, отозвалось и зазвучало. Мороз, бахвалясь своей злой и независимой от солнца властью, крепчал, но под щедрыми солнечными лучами эта власть казалась мнимой.

Анна Евдокимовна задержалась в столовой: начался артиллерийский обстрел и никого не выпускали из помещения. Когда она вышла на улицу, солнца уже не было, мглистые тени лежали на снегу, в сумерках дома казались окоченевшими от холода.

Подойдя к своему дому, Анна Евдокимовна увидела нескольких людей, образовавших тесный круг и как будто что-то рассматривавших. Один человек вышел из круга, и стало видно, что на снегу у стены лежит Надя. Анна Евдокимовна так испугалась, что выронила из рук судочек. Растолкала людей.

— Надя!

Надя не отвечала. Анна Евдокимовна быстро опустилась на колени:

— Надя!

Надя не отвечала. Нужно немедля натереть снегом виски... Анна Евдокимовна скинула варежки, взяла комок снега и увидела кровь. Тоненький ручеек, уже впитавшийся в снег. Почему кровь? Откуда? Анна Евдокимовна обхватила Надю за плечи, приподняла. На левом ее виске была кровь. Она сочилась из небольшой, но глубокой ранки и сразу же густела и застывала на морозе.

— Надя!

Надя не отвечала. Анна Евдокимовна привлекла ее к себе, пристально рассматривая маленькую, но очень глубокую ранку.

— Убили, — сказал кто-то из стоявших вокруг. — Снаряд вон куда попал. А ее осколком...

Анна Евдокимовна резко обернулась.

— Нет, нет! — сказала она, со злобой глядя на сказавшего эти слова.

Она взяла Надю на руки, с силой приподняла, встала. Ей было очень тяжело. Не глядя на людей, она понесла Надю домой. Она слышала, как на улице кто-то сказал:

— Детей убивают... Ироды проклятые!..

С трудом открыв дверь, Анна Евдокимовна внесла Надю в комнату, положила ее на диван, сняла с нее пальто (хлеб из кармана

выпал), сняла с ее головы вязаную шапочку. В последний раз негромко сказала:

— Надя!

Приложила голову к ее груди. Не услышала биения сердца. Схватила зеркальце и поднесла к Надиным губам. Прошла минута, другая, третья. Она всё еще стояла не двигаясь. Зеркальце не запотело. Тогда она села на стул рядом с Надей.

Анна Евдокимовна долго сидела рядом с мертвой девочкой, но всем своим существом она была с живой Надей.

Она видела, как Надя бежит из булочной домой. Ей хочется прибежать раньше, чем придет Анна Евдокимовна, и затопить печурку. Ей хочется, чтобы всё было хорошо в это воскресенье. Отдохнув, Анна Евдокимовна, наверное, ей почитает. Потом они еще поговорят перед сном.

«Анна Евдокимовна, будет в этом году лето, как вы думаете?» — явственно слышала она Надин голос.

Она никогда не представляла себе Надю летом. Тут она увидела девочку в жаркий июльский день. Надя идет в светлом ситцевом платье, жмурится на солнце, довольная солнцем, теплом. «Как она выросла у вас!» — говорит Рощин.

Наступила ночь. Анне Евдокимовне захотелось увидеть Надино лицо, она встала, зажгла коптилку. Эти привычные движения оказались неожиданно болезненными. Но они заставили ее подумать о своей жизни, в которой теперь, после смерти Нади, будет только постоянная боль.

Взгляд ее упал на лицо Нади, на книгу, раскрытую и брошенную на столе.

«...Вот один образ... — спокойный и тихий. Он в своей невинной любви и детской прелести говорит: остановись, вспомни обо мне».

Впервые за эти гибельные часы Анна Евдокимовна разрыдалась. Но слезы не принесли ей облегчения. Они бы облегчили ее горе, если бы она плакала, только жалея убитую Надю. Но это были слезы человека, который надорвался на подъеме и, вернувшись домой, знает, что не проживет и трех дней.

Час спустя, уже с сухими глазами, строго и прямо сидя подле Нади, она призналась себе в этом.

Очень недолго осталось жить. И то, что осталось, будет, собственно, не жизнью, а только лишь продвижением к смерти. Как только она подумала об этом, так сразу же в ее сознании стали отпадать все ее жизненные обязанности. И вслед за этим она почувствовала облегчение и спокойнее провела остаток ночи.

В обычный час Анна Евдокимовна вышла из дому. С утра разметелило. С каждым новым резким и холодным порывом ветра снеж-

ные вихри становились всё плотнее и круче. И казалось, что с каждым новым порывом ветра тяжелое небо всё ниже придвигается к земле. Еще немного — и не различить будет неба от земли: снежный столб, несущийся по воле ветра в пространство.

Анна Евдокимовна шла с трудом, увязая в горбатых сугробах. Она шла к дому Рощина, но не для того, чтобы заниматься с детьми. Значит, для того, чтобы проститься с ними? Но Анна Евдокимовна меньше всего хотела сделать детей свидетелями своих последних минут.

Она шла потому, что чувствовала потребность двигаться — всё равно куда и зачем. Было без пяти минут десять, когда она прошла мимо дома Рощина.

Всё больше накидывало снега, всё труднее было идти, но неудержимое стремление двигаться заставляло Анну Евдокимовну крепко держаться на ногах.

Анна Евдокимовна не знала, сколько времени прошло с тех пор, как она ушла из дому, и уже не замечала, по каким улицам идет.

Вдруг она услышала короткие выстрелы вдалеке и вслед за этим свист над головой и где-то вблизи грохот обвала. Анна Евдокимовна, не останавливаясь, свернула в какой-то незнакомый ей переулок. Выстрелы, свист, грохот и треск продолжались.

Артиллерийский обстрел, такой же, как тот, от которого погибла Надя...

Выстрел. Но вслед за ним она не услышала ни свиста, ни грохота. Тяжелая волна воздуха сбила ее с ног. И в это мгновение ей показалось, что она увидела бешеный разлет осколков, ворвавшихся в этот переулок и остановивших здесь метель... Анна Евдокимовна поднялась.

Снег был иссечен осколками, а над большим сугробом стоял дым, уже колеблемый ветром, и сам сугроб казался вдруг ожившим вулканом.

Снаряды продолжали рваться в переулке, но Анна Евдокимовна, повинуясь какому-то еще неясному, но сильному зову, шла вперед. Обтерев рукой мокрое от снега лицо, чуть откинув назад голову, она шла и смотрела вокруг себя, словно желая пережить за Надю всё, что пережила девочка перед гибелью.

Пройдя переулок, Анна Евдокимовна вышла на пустырь и остановилась.

Позади нее еще всё звенело и дрожало. Позади нее, в переулке — Анна Евдокимовна отчетливо представила себе это, — Надя, лежащая на снегу.

«Детей убивают... Ироды проклятые!»

Быть может, впервые она почувствовала себя кровно связанной с Надей, матерью, еще рыдающей над телом убитой, но уже призы-

вающей к мести и уверенной, что душа ее девочки успокоится лишь тогда, когда убийцы будут наказаны.

Казалось невозможным, чтобы в этом почти бездыханном теле яростно закипала новая страсть. Она не потеснила любви. Она бурно и прямо выросла из любви и, равноправная, встала рядом.

Вот, значит, как сложилась ее жизнь: труд равномерный и упорный, долг, возведенный в мужество, любовь, ставшая смыслом жизни, и ненависть, которую она узнаёт перед смертью.

Изможденной, ей невозможно совершить дело ненависти так, как она совершила дело любви. Другие посвятят свою жизнь этому требовательному чувству.

Вокруг Анны Евдокимовны было тихо и глухо, но ей казалось, что она видит и слышит великое множество людей, способных любить и ненавидеть до конца.

Час спустя она вернулась домой. Она так устала, что едва поднималась по лестнице, с трудом удерживала сознание, чтобы добраться до квартиры и еще раз увидеть свою девочку.

Но, войдя в комнату, Анна Евдокимовна остановилась на пороге. Она увидела Диму и Мишу, стоявших в изголовье у Нади, и Витю и Лизу, стоявших у ее ног. Другие ученики Анны Евдокимовны тоже находились в комнате и тоже стояли прямо и неподвижно.

Горела коптилка. Надя лежала по-прежнему на диване, но голова девочки была теперь убрана цветами. Анна Евдокимовна подошла к ней. Много гвоздик, ландышей, фиалок и роз, правда искусственных, но таких ярких, что ей показалось, будто Надина голова покоится на свежей летней поляне. Не было видно раны на виске. Темно-красный георгин скрыл ее. Кровь была вытерта, лицо умыто.

Дима, Миша, Витя и Лиза отошли от Нади, и на их место встали у изголовья Маруся и Юра, к ногам — Леня и Саша. Только теперь Анна Евдокимовна поняла, что это почетный караул.

Дима усадил Анну Евдокимовну в кресло, снял с нее валенки и стал быстро растирать ей ноги. Маленький Витя, которого все звали «Подрасти немножко», взял руку Анны Евдокимовны и стал деловито дышать ей на пальцы.

Вскоре пришел Рощин и сел рядом с Анной Евдокимовной. Он не расспрашивал ее о Наде, а говорил о самых разных вещах: о том, что скоро прибавят хлеба, что Левшин в районе энергично готовится к весне, к занятиям; рассказывал он и о своей работе и о том, как паровозы очищают ото льда.

— Дети, — сказал Рощин, посмотрев на часы, — уже поздно. Идите домой. Дима, скажи маме, что я дома ночевать не буду. Идите, идите, поздно.

Когда дети ушли, Рощин спросил Анну Евдокимовну:

— Как же это случилось?

Никогда она не думала, что сможет рассказать о случившемся. Но она обо всем рассказала Рощину: как она шла из столовой, как увидела лежавшую у стены Надю...

Оба долго молчали. В теплой комнате рядом с осторожным и бережным Рощиным Анна Евдокимовна чувствовала, как ее клонит ко сну. Сквозь сон она думала о своей жизни, с которой недавно так смело прощалась и которая продолжается, несмотря ни на что.

Рощин провел рукой по ее голове, встал, накрыл своим полушубком.

«Да, жизнь еще продолжается», — думала Анна Евдокимовна.

Рощин встал рано, и к приходу детей всё было готово.

— Я тоже хочу постоять в карауле, — сказала Анна Евдокимовна.

Она встала у гроба рядом с Рощиным и, думая о Наде, вместе с тем думала, что жизнь еще продолжается.

Рощин с помощью двух самых сильных мальчиков — Миши и Димы — вынес гроб и установил на санках. Затем все вместе они отправились в путь. Санки вез Рощин, за ним шла Анна Евдокимовна, за нею — ее ученики.

Ко всему привыкшие ленинградцы с удивлением смотрели на эту процессию. Только двое взрослых и девять детей.

Когда Надю похоронили, Рощин сказал:

— Дети, по домам! Я пойду к Анне Евдокимовне. Дима, скажи маме...

— Не надо, товарищ Рощин, — сказала Анна Евдокимовна. — Я пойду одна. Вы не сердитесь, но я хочу быть одна.

Не страшась, Анна Евдокимовна открыла дверь в свою одинокую комнату. Она осталась жить.

Как это случилось?

Не потому ли, что друзья и ученики в страшный час разделили ее горе и сказали ей о том, как она им нужна? Да, потому. Не потому ли, что она никому не захотела уступить дело своей ненависти и решила дождаться возмездия. Да, и поэтому. Потому что душа человеческая не может быть опустошена ничем. Даже смертью.

Анна Евдокимовна зажгла коптилку и не спеша обвела взглядом комнату, в которой она жила и в которой ей предстояло жить. Надо затопить печурку и приготовить еду. Надо записать дела на завтра, надо прибрать Надины вещи и поставить на полку Диккенса.

Утром она пошла к Рощину. Дети ждали ее.

— Мы два дня не занимались, — сказал Дима. — И я не знаю, какой первый урок.

— Первый урок — география, — ответила Анна Евдокимовна.

ГЕОРГИЙ ХОЛОПОВ

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

ЖЕНЩИНА В БЕЛОЙ ШАЛИ

Среди ночи мы стороной проехали село Паша и через час оказались в большой, но пустынной деревне.

— Хорошо бы сейчас выпить горячего чайку! — мечтательно сказал шофер.

— Да, — согласился я, думая о чае, как о чем-то несбыточном.

И вдруг в свете фар перед машиной показалась женщина в белой пуховой шали. Такие шали, помнится мне, я видел перед войной в Гори, где туристы покупали их у местных вязальщиц.

— Стой! — кричала женщина, подняв руку.

Шофер резко остановил машину.

— Давай вон к тому дому! — прокричала женщина в белой шали.

— Кто ты такая... чтобы приказывать? — толкнув дверь кабинки, зло проговорил шофер.

— Человек! — ответила женщина и, поскрипывая валенками по снегу, пошла к дому.

— Че-ло-век! — откинувшись, протянул шофер, ошеломленный ответом. Потом нашелся, сказал: — Человек — это звучит гордо! Так, что ли, капитан, говорил товарищ Горький?

— Так, — сказал я, вылезая из машины.

Мы вошли в жарко натопленную просторную избу, половину которой занимала русская печь. На столе стоял поющий самовар.

— Раздевайтесь и располагайтесь, как дома. — Хозяйка поставила на стол стаканы и солонку с крупной почерневшей солью, спросила, есть ли у нас, военных, что покушать, подошла к кровати, на которой, раскинув руки, спал мальчик лет восьми, поправила на нем одеяло и, бросив нам: — А вы чаевничайте! — ушла.

Мы ее и разглядеть-то не успели, нашу благодетельницу, не то что расспросить... Переглянувшись с шофером, мы скинули полушубки и принялись за чай.

Расстегнув ворот гимнастерки, блаженно улыбаясь, истекая по-

том, шофер держал блюдце на растопыренных пальцах и хрустел сахаром.

После пятого стакана, распаренные, словно после бани, мы пересели на лавку у заиндевелого окна и стали крутить цигарки.

В это время у крыльца раздался шум машины, послышались голоса. Дверь в избу широко распахнулась, и в комнату вошли измученные, продрогшие люди в невообразимых одеяниях, волоча за собой помятые чемоданы, узлы и свертки. Среди них был древний старик и трое детей.

Вслед вошла и хозяйка дома. Она энергично размотала пуховую шаль, сбросила шубенку. Это была краснощекая чернобровая женщина лет тридцати пяти, совсем не красавица, с тугой косой, перекинутой на могучую грудь. Рассадив эвакуированных ленинградцев за столом, она принесла гору тарелок, большую миску капусты и чугунок горячей картошки. Перед детьми хозяйка поставила по кружке молока и по куску черного хлеба.

За столом, как стон, раздались восклицания:

— Подумать только — квашеная капуста!

— Что может сравниться с картошкой в мундире!..

— Вы слышите, как поет самовар?

— А вы чувствуете запах хлеба?.. Это ржаной хлеб! — прослезившись, сказал старик.

Пока за столом шел лукуллов пир, хозяйка внесла в комнату большие соломенные матрацы и разложила их вдоль стены. Потом подсела к нам на лавку, скрестив свои большие руки на груди.

Шофер, застегнув ворот гимнастерки, осторожно спросил у нее:

— От кого держишь этот пункт?

— От себя... Колхоз наш эвакуировался еще в августе... Какой еще такой «пункт»? — вдруг сердито посмотрела она на него. — Изба как изба...

— Так и торчишь всю ночь на дороге? — смутившись и решив сказать ей что-то очень приятное, спросил шофер.

— Не торчу, а дежурю на дороге! — строго поправила она его. — Ночью — я, днем — Валерик. На таком морозе не поторчишь! Селезенки померзнут!

— А в деревне есть еще кто-нибудь? — вмешался я в разговор, чтобы выручить совсем уже обескураженного шофера.

— В том-то и дело, что никого, а то бы горя не было! Мы уж как-нибудь дежурили бы по очереди. — Она тяжело вздохнула, опустив глаза. — Я оставалась с фермой, потом сдала коров уполномоченному от фронта и так никуда не собралась уехать. Всё мужа ждала!.. Он у меня воюет где-то совсем рядом — не то на Ладоге, не то на Свири, а где точно — не знаю...

Шофер попытался заплатить ей за чай, но она так грозно посмотрела на него из-за плеча, что он готов был провалиться сквозь землю.

Когда мы собрались уходить, хозяйка оделась, закуталась в свою пуховую белую шаль и проводила нас до нашего грузовика.

Мы уехали в сторону Ладожского озера, а она осталась встречать проходящие машины — в осажденный Ленинград и из Ленинграда.

Долго виднелась в предрассветной мгле среди снежных сугробов ее одинокая фигура.

НЕРАСКРЫТЫЙ СЕКРЕТ

Хотя о моей поездке в Ленинград почти никто не знал, однако с утра ко мне началось паломничество ленинградцев из ближайших частей. Они робко спрашивали, не возьму ли для передачи письмо, и, когда я соглашался, добавляли:

— И небольшую посылочку!..

Насчет посылок я посоветовался с шофером. Тот наотрез отказался.

И я стал брать только письма. Я подумал: «Если и не удастся разнести по адресам, я опущу их в почтовый ящик. Почта-то наверное там работает!» Взял я и две крохотные посылки. В одной были три плитки шоколада, а в другой — лекарство.

Вечером, за несколько часов до отъезда, я лег отдохнуть. Вскоре ко мне постучались.

— Войдите! — крикнул я.

В облаке пара в землянку вошел невысокого роста боец с опушенным инеем лицом. Он долго переступал с ноги на ногу, не зная, с чего начать разговор...

— Вы ко мне по делу? — спросил я, вставая с койки.

— Да, я хотел просить вас взять письмо и небольшую посылочку... У меня в Ленинграде мать-старуха и братик Вася...

Солдат вытащил из карманов закопченного полушубка две бутылки и поставил их на мой шаткий стол.

Я взял бутылки, посмотрел их на свет и удивился:

— Цыплята?

— Вы почти угадали, — грустно ответил боец. — Вороны!

— Каким же образом вам удалось вогнать их в бутылки?

— О, это мой секрет!.. Заметьте, вороны общипанные, потрошеные, но совсем целые. И бутылки совсем целые! Секрет я открою, когда вы вернетесь.

Я снова посмотрел бутылки на свет.

— Вы никогда не ели вороньего мяса? — спросил боец. — Тогда не отличите от куриного! Привезите только мелкокалиберное ружье из Ленинграда... Там оно ничего не стоит, а здесь за него просят больше тысячи.

— Но где вы тут, на фронте, находите ворон?

— Так я же разведчик! — Боец широко улыбнулся, и на этот раз его лицо показалось мне и юным и озорным. — После удачного поиска наш лейтенант всегда разрешает на денек съездить в тыл пострелять ворон... У него тоже в Ленинграде семья...

Посылка была столь необычная, что я взял бутылки и спрятал их в вещевой мешок.

Пожелав мне счастливого пути, солдат ушел в ледяную ночь. Было тридцать три градуса ниже нуля. Идти ему к себе в часть надо было больше двадцати километров.

Спать я уже не мог... Даже в напряженном переезде через Ладожское озеро, где в снегах чернели разбитые вражескими авиабомбами грузовики, виднелись раскиданные ящики и мешки с продуктами, а порой и замерзшие люди, я всё думал о бойце и его диковинной посылке... Приехав в осажденный Ленинград, я к концу дня пошел на Советскую улицу, где жили родные моего разведчика.

Но указанный в адресе дом, как и два соседних с ним, были разворочены прямым попаданием фугаски. Перед развалинами стояла простоволосая старуха в расстегнутом пальто и кричала:

— Ва-ся!

Увидев меня, старуха сказала:

— Покричите его, я устала...

Я крикнул:

— Ва-а-а-ся-я-а!

Сошедшая с ума старуха, хихикнув в кулак, сказала:

— Вы громче, мы живем на пятом этаже...

Я попытался сунуть ей в руку кусок хлеба, но она швырнула его в сторону и скрылась среди развалин...

Тогда я опустил голову и побрел по пустынной улице...

На третий день нашего пребывания в Ленинграде шофер разбил бутылки с воронами и приготовил жаркое. Разведчик был прав: трудно было в голодном городе отличить воронье мясо от куриного.

— Всю жизнь теперь буду есть ворон! — сказал шофер после обеда. — Знать бы только секрет консервирования!

Но секрет этот навсегда остался нераскрытым. Через восемь дней мы возвращались к себе на Свирь. По пути заехали в часть, в которой служил наш разведчик. Там с большой печалью нам сказали, что он и трое его боевых друзей не вернулись из последнего трудного поиска...

СТАРИК И СУХАРЬ

Старик поднимался по ступенькам с таким трудом и осторожностью, точно на его плечи был взвален тысячепудовый груз. Так грузчик, косясь на волны, идет с тяжелой ношей по шаткому трапу. Услышав мои шаги, старик вздрогнул, обернулся и, когда я поравнялся с ним на одной ступени, протянул руку, желая опереться на мое плечо...

— Вам не нужен ли рояль? — спросил старик.

Я не понял его.

— Я уступлю за кусок хлеба, — сказал старик.

До музыки ли было мне, когда на улице неистово выли сирены и палили зенитки, и дома от бомб рушились, словно сложенные из игральных карт...

Я нащупал в кармане сухарь, на который не раз покушался за эти дни пребывания в Ленинграде, отдал старику и, не глядя на него, подгоняемый, будто плетью, его криком: «Молодой человек! Возьмите мой „Шредер"!» — побежал наверх...

С карманным фонарем в руке я пробрался между высоких спинок древних кресел и, прямо в полушубке и сапогах, завалился на кровать.

Комната была подобна подземелью: холодная, с леденящей сыростью, с дымом, застывшим и густым, как туман, который не изгнать, если даже открыть дверь настежь и распахнуть все три окна.

Мне было душно. Губы мои шептали страшную ругань. За одного этого старика я четвертовал бы Гитлера!

Мучила жажда. Я нащупал на столе графин, встряхнул его, и в нем в глотке воды забился кусок льда. Тогда я вновь засветил фонарь и увидел записку: «Ушла за водой. Натопи печку и жди».

Я принялся за растопку «буржуйки». Огонь загремел в трубе, труба мгновенно накалилась докрасна, от горячих струй воздуха где-то под потолком зашуршали свисающие обои, и я скинул полушубок.

Нину не пришлось долго ждать. Она вошла совсем замерзшая, безмолвно протянула руки, и, глядя ей в глаза, я стал осторожно растирать ее огрубевшие пальцы. Долог был путь до Невы за ведром воды. Но, посидев у «буржуйки», Нина будто бы оттаяла, разрумянилась и повеселела, и я снова узнал ее, неузнаваемую в стареньком пальто, залатанной прабабушкиной шали и огромных мужских сапогах.

Мы сидели перед огнем, глядели в огонь, и от него не оторвать было взгляда. Горел старый гардероб, распиленный на дрова. Я третий день находился в городе, не видел Ленинграда полгода, с первых

дней войны, а Нина всё рассказывала и рассказывала о долгих месяцах блокады.

А за окном уже наступал ранний зимний вечер, где-то рокотали наши и немецкие самолеты, и всё били, били и били зенитки.

В дверь постучали. Нина встала и вышла. Вскоре она вернулась с хлопотливым управхозом Марией Михайловной, о которой я много слышал за эти дни. Женщина она была грубая, высокая, широкая в плечах, с походкой солдата.

— Посиди, отогрейся, — сказала Нина. — Что, разве что случилось?

— Ох, уж эти мне рахитики! — шумно вздохнула Мария Михайловна. — Надо опять идти составлять опись имущества!

— У кого же это?

— У старика из тридцать седьмой квартиры. У старика с его дурацким роялем.

— Я же видела его утром... Старик выглядел совсем хорошо, — сказала Нина.

— Они все так внезапно умирают, эти на вид совсем здоровые. Сидорчук тоже был «здоров». И у Кулова румянец не сходил со щек! И я вот скоро, черт побери, умру, и ты опять будешь удивляться всем и говорить: «Она выглядела совсем хорошо!» — Она рассмеялась басом и погрозила пальцем. — Но нет, я не умру! На это ты не рассчитывай! Я не из того десятка рахитиков! У меня отец шестнадцать пудов брал на плечи и шутя поднимался из трюма на палубу парохода.

Нина взяла «летучую мышь» и ушла с управхозом.

А я всё сидел у «буржуйки», дымя своей трубкой, и мне не оторвать было взгляда от огня... Невероятное время!

Не прошло и двадцати минут, как Нина вернулась.

Я с удивлением посмотрел на нее.

— Странный случай... — задумчиво проговорила она. — Это был состоятельный старик, известный у нас в доме как скопидом, как Плюшкин. У него была богатая квартира. Но удивительно, мы в ней ничего не нашли... Всё, что можно сжечь, он, видимо, давно сжег. Всё, что можно было променять на продукты, он променял. Остался только никому не нужный «Шредер». И на рояле — вот этот по краям обгрызенный сухарь. — Она вытащила из кармана знакомый мне румяный солдатский сухарь. — Я предложила его Марии Михайловне — у нее трое ребят, но она говорит, что ты военный, что ты с дороги, что ты еще не привык к нашему блокадному голоду и лучше будет, если ты съешь этот сухарь...

И она бережно положила его мне на колено.

С. АНДРОНОВ

ЛЮДИ ВЫСОКОГО ДОЛГА

Короткие рассказы

ОДИН ЗА ДЕСЯТЕРЫХ

Перед концом смены старший мастер подошел к станкам Георгия Ахрамеева, чтобы передать очередной заказ. Он хотел только положить деталь и уйти. Но, взглянув, как работает этот двадцатилетний станочник, мастер остановился изумленный. Только вчера он стоял на этом самом месте и внимательно изучал приемы работы комсомольца Ахрамеева, чтобы передать его опыт другим. А сегодня Ахрамеев уже опять работает по-иному: на станках поставлены совсем другие, более удобные приспособления, да и приемы работы не те. А станки... Да ведь он уже работает не на трех, а на четырех станках!..

И мастер вспомнил, как несколько месяцев назад в цех пришел этот высокий, стройный юноша и сказал:

— Меня направили к вам. Я еще никогда не работал на станках, но сейчас я хочу освоить эту работу.

Его поставили на долбежный станок. Через неделю новичок уже перевыполнял норму.

Потом в цехе стало не хватать токарей. Ахрамеев сказал, что он сможет одновременно работать и на токарном станке. Вскоре он уже стал токарем. А когда в цехе заболел единственный квалифицированный строгальщик, Ахрамеев начал изучать строгальное дело.

Всегда серьезный, сосредоточенный, он работал с каким-то фанатическим рвением. Он весь отдавался работе. Его рабочий день был уплотнен до предела. Он постоянно что-то выдумывал, изобретал, совершенствовал, и зато какой радостью светились его глаза, когда ему удавалось внести что-нибудь новое, ценное, свое.

Ему дали четверых учеников. Он с жаром принялся рассказывать им устройство станка, его настройку, заточку резцов. Своей энергией он заразил всех. Через две недели его ученики уже освоили норму и встали на самостоятельную работу. А сам Ахрамеев за это время успел изучить строгальное дело и начал работать одновременно на трех станках. И вот сегодня он уже работает на четырех...

Прозвучал звонок — рабочий день окончен. Ахрамеев один за другим остановил все четыре станка, снял обработанные детали. Потом, вытирая потный лоб, подошел к старшему мастеру и осмотрел принесенную им новую работу.

— Георгий, — сказал мастер, — как-то ты мне начал рассказывать о своем отце, но меня отвлекли, и я не дослушал...

Ахрамеев быстро взглянул на мастера.

— Я говорил, что мой отец тоже работал на станке на одном из ленинградских заводов, — сказал Ахрамеев. — Он был хороший рабочий — двухсотник. Во время работы его убило фашистским снарядом...

И мастеру многое стало понятно. Этот молодой рабочий пришел на завод, чтобы заменить отца. Гнев и ненависть к фашистским убийцам вкладывал он в свой самоотверженный труд...

Мастер подсчитал его дневную выработку — сегодня на каждом из четырех станков он дал по две с половиной нормы, один работая за десятерых.

РАЦИОНАЛИЗАТОР ОРУЖИЯ

Начальник конструкторского отдела еще раз, как бы обдумывая свое решение, пристально посмотрел на молодого худощавого человека.

— Вам, товарищ Торгунов, оказано большое доверие, — сказал начальник. — Вы назначаетесь старшим конструктором по изготовлению нового образца боевого оружия. Вот вам чертежи, внимательно изучите их, продумайте, как быстрее и лучше пустить заказ в производство.

Торгунов бережно взял объемистый сверток и удалился. Через несколько минут его уже видели склонившимся над большим чертежным столом. Вскоре он вошел в кабинет начальника и решительно положил чертежи на стол. Всегда спокойный, неразговорчивый, он заговорил быстро и взволнованно:

— Всё это задумано глубоко, талантливо, но здесь слабо учитываются требования военного времени! Вы посмотрите, — и Торгунов развернул один из чертежей. — Толщина детали — 1,8, конфигурация — простая. Деталь можно делать холодной штамповкой, а здесь предлагается горячая. Это в два раза дольше и в полтора раза дороже.

— Вы правы, — согласился начальник. — И потому я поручаю вам разработать и внести в чертеж все ваши предложения.

Работа предстояла огромная. Рано утром становился Юрий Торгунов к своему чертежному столу и не покидал его до поздней ночи.

Он часто ходил в цехи, беседовал с опытными рабочими, изучал производственные возможности завода, советовался, как удобнее и быстрее обрабатывать детали, а затем снова возвращался к чертежному столу.

Иногда переутомление, казалось, свалит его с ног. Тогда он садился на стул и вынимал из стола пачку писем. «Уже несколько сот фашистских бандитов истребили мои бойцы», — писал брат Дмитрий, командир подразделения. «Выполняю четыре с половиной нормы и думаю сделать еще больше», — сообщал брат Федор, работающий шлифовщиком на Урале. «Недавно закончил важнейшие исследования оборонного значения, над которыми день и ночь работал два с половиной месяца. Работай и ты, не щадя сил», — писал из Сибири третий брат Николай, инженер.

И Юрий Торгунов с новой энергией принимался за работу.

...В начале ноября он вошел в кабинет начальника конструкторского отдела и положил на стол чертежи. Работа была закончена. Рационализатор Торгунов сделал оружие более простым, удобным, безотказным в бою.

Начальник протянул руку, чтобы горячо поблагодарить молодого конструктора. Но тот беспомощно повалился в кресло. Вызванный врач, осмотрев больного, сказал:

— Не понимаю, как он мог в таком состоянии что-то делать! — и с удивлением развел руками.

ДОНОРЫ

...Утром, как только открывается входная дверь института, посетители заполняют его многочисленные комнаты. Вот торопливо поднимается по лестнице девушка в стеганом ватнике и таких же брюках. Это — дружинница, комсомолка Вера Дармичева. Ей скоро на пост. Но до этого она еще успеет дать свою кровь.

Следом за Дармичевой входит студентка Технологического института комсомолка Надя Лейферт. Здесь, в Институте переливания крови, работает ее мать — Вера Николаевна Лейферт. Она одновременно донор. По примеру матери донором стала дочь, потом другие члены их семьи, а затем и соседи по квартире.

У кабинета врача — небольшая очередь. Тут стоят люди различных профессий и возрастов: заслуженная артистка республики Вельтер и работница Н-ской фабрики Чуйкина, преподавательница Ползикова и лаборантка Ефимова.

Старшая медицинская сестра Тамара Садова — секретарь комсомольского комитета института — от врача проводит доноров в операционную. Сегодня доноров, как всегда, очень много. Но благодаря

распорядительности Садовой всё проходит четко, организованно. Люди нигде не задерживаются подолгу.

Через несколько минут после своего прихода Вера Дармичева и Надя Лейферт уже побывали у врачей и получили разрешение дать кровь. В операционной они облачились в белоснежные халаты, колпаки, рот прикрыли марлевой маской и обнажили руки.

— Сегодня мне разрешили дать 200 граммов, — говорит Дармичева.

Небольшая стерильная бутылочка быстро наполняется.

— Теперь пройдите в кассу, там получите сто двадцать рублей, — говорят Дармичевой.

— Нет, — обиженно отвечает она, — кровь я даю не за деньги!..

Надя Лейферт тоже отказалась получить деньги.

Вместе они вышли из операционной. В соседней комнате на столах стояли ряды уже тщательно упакованных бутылочек с белыми этикетками. Их, этих бутылочек, было много — тысячи, а это сотни килограммов крови. Она пойдет в госпитали и больницы, на фронт, чтобы восстановить силы раненых бойцов и командиров, вернуть их в строй.

«БОЛЬШОЙ ГИДРОТОРФ»

Мощная струя воды вырывалась из брандспойта, размывая и руша податливую породу. Здесь для осажденного Ленинграда добывался торф.

За ходом размыва внимательно наблюдал дежурный техник комсомолец Борис Черников.

Особенно часто дежурный техник поглядывал на кран № 1. Там надо было произвести срочный ремонт, не останавливая агрегата. За эту работу взялась молодая работница Мария Журавлева.

Повиснув над глубоким котлованом, она ремонтировала кран. Но вдруг, потеряв равновесие, сорвалась и полетела в котлован, наполненный холодной жидкой массой.

Ее вытащили наверх.

— Такая досада, — морщась от боли, сказала Журавлева, когда пришла в себя. — Пустяки осталось доделать... Уж вы мне разрешите, товарищ Черников...

— Конечно, — сказал он. — Пойдите к врачу, вам дадут бюллетень.

— Да нет же, разрешите я доделаю — сущие пустяки остались...

И она снова пошла на кран.

Когда после смены старший техник подошел к Журавлевой, она спросила:

— Давно я хочу узнать у вас, товарищ Черников: почему наш участок называется «Большой гидроторф»?

— Почему большой? — переспросил он, взглянув на нее. — А, вероятно, потому, что тут творятся большие, замечательные дела, товарищ Журавлева.

ЛЕСНОЙ ФРОНТ

Мастер Хренов шел по участку. Путь ему преграждали поваленные толстые сосны, густые ели, белоствольные березы. Казалось, тут хозяйничал человек богатырской силы. И мастеру вспомнилась прочитанная когда-то в детстве сказка о богатыре, с корнем валившем огромные деревья.

В чаще мелькнула тонкая девичья фигурка в сером комбинезоне. Ловко орудуя топором, девушка счищала сучья с поваленных деревьев.

— Хорошо работаете, — здороваясь, сказал мастер лесорубу Марии Фокиной. — Но где же ваша помощница?

— Она сегодня больна, не вышла.

— Больна? С кем же вы свалили все эти деревья?

И Фокина ответила:

— Одна. Я, видите ли, давно собиралась перейти на работу в одиночку. Да всё боялась — не справлюсь. У нас даже квалифицированные лесорубы работают по-двое. А сегодня такой случай подвернулся. Вот я и решила попробовать...

Мастер невольно с уважением посмотрел на эту хрупкую восемнадцатилетнюю девушку, которая первой на участке начала работать в одиночку.

Фокина, взяв лучковую пилу, подошла к дереву. Сделала надрез, подрубила. Затем, упершись коленом в ствол, стала пилить. Через несколько минут дерево с громким треском, ломая ветви, тяжело грохнулось на землю.

Мастер дал девушке несколько советов и пошел дальше.

К концу дня на всем участке стало известно, что Мария Фокина, работая в одиночку лучковой пилой, выполнила за смену три нормы.

Сразу после работы Фокина пришла к секретарю комсомольской организации Герасимовой.

— Моя мать в плену у немцев, — сказала она, — фашистские звери жестоко издевались над старой женщиной. Может быть, сейчас ее уже нет в живых. Я думала, что бессильна отомстить фашистам, но потом поняла: работая здесь, на заготовках дров для ленинградских заводов, делающих оружие для фронта, я помогаю громить

врага. Сейчас я хочу продолжать эту работу вместе с вами как комсомолка.

И Мария Фокина протянула секретарю заявление с просьбой принять ее в ряды ВЛКСМ, чтобы вместе с другими комсомольцами беспощадно мстить фашистским бандитам.

ПЕСНЯ МЕСТИ И ГНЕВА

Он сидел на стареньком стуле в махровом халате, закутав голову женским платком. Виднелись только сухие, бледные губы, впалые щеки и острые, удивительно живые глаза.

Да, конечно, это был он — Борис Владимирович Асафьев, известный композитор, народный артист, академик. Он отказался покинуть родной город. И, как всегда, был неугомонен, подвижен, полон творческих замыслов.

— Вы хотите знать, чем я занят? — прищурясь, спрашивает композитор сидящего рядом журналиста. — О, на очереди уйма дел! Во-первых, хочу написать Славянский балет — музыка уже неотвязно звучит в ушах. И статьи — да, да, серию статей по искусству...

Его слова прозвучали поразительным контрастом окружающей обстановке. На столе — едва горит коптилка. Рядом с ней — стакан остывшего кипятку и крошечный кусочек хлеба. Большая холодная комната тонет во мраке. С улицы донеслись звуки сирены, здание сотрясли разрывы зениток.

Борис Владимирович подходит к окну, задергивает штору, как будто крошечный язычок коптилки может нарушить светомаскировку.

— Но сейчас, — продолжает он, — я думал не о балете. — Голос его дрогнул: — Я только что получил известие о гибели друга.

Он снова сел и заговорил страстно, вдохновенно:

— Часто вечером он приходил ко мне, мой друг, молодой композитор Виктор Томилин. Скромный и мягкий, задумчивый и мечтательный, он как-то неожиданно воспламенялся, когда заходил разговор о советской музыке, о русской национальной культуре. Его музыку к фильмам слушала вся страна, его чудесные песни о Тельмане и Долорес Ибаррури распевали в столице и в далеких колхозах. А он строил новые планы, создавал новые песни...

Как-то он играл мне отрывки из своей новой оперы «Сын трудового народа». Это была, как всегда, искренняя, глубокая, очень мелодичная, волнующая музыка. А он требовательно, с пристрастием спрашивал: «Понятно ли это, дойдет ли до слушателя?»

И вот, когда началась война, я потерял его из виду. Потом

я узнал, что он добровольцем ушел на фронт. Я не удивился. Мог ли поступить иначе он, сын трудового народа, когда на его Родину посягнули дикие гитлеровские орды!

Он ушел на фронт мстить оружием и песней. И сочинил звонкую боевую «Батарейную песню». Ее пели бойцы в походе и на привале. Она победно звучала под грохот артиллерийской канонады. Ее пели бойцы, бросаясь в штыковую атаку. И вместе с ними пел и шел на врага он, композитор Томилин...

Борис Владимирович умолк и с глубоким благоговением склонил голову. Потом, встрепенувшись, обвел глазами комнату. Все ее стены — от пола до самого потолка — были заставлены стеллажами с книгами. Книги были везде — грудой лежали на полу, на переполненных этажерках, на столе, за которым он сидел.

Разжав закоченевшие пальцы, он взял со стола стопку листков бумаги, исписанных нервным, торопливым почерком.

— Вы хотите знать, чем я был занят сейчас? — спросил он. — Вот, посмотрите.

И он протянул листки своей новой статьи о светоче русской музыки, воспевшем великий патриотический подвиг простого крестьянина, — статьи о Михаиле Ивановиче Глинке.

ДЕВУШКА У КИНОАППАРАТА

Перед тем как включить аппарат, комсомолка Наталья Ефимова взглянула в маленькое квадратное окошко.

Зал был полон. Ефимова знала, что зрители пришли сюда прямо из цехов завода и научных лабораторий, из воинских частей и команд МПВО.

Ефимова повернулась к аппарату. Привычно и ловко она включила усилитель, пустила мотор, открыла заслонку. На экране вспыхнули слова: «Ленинград в борьбе».

Не один десяток картин демонстрировала за это лето Наталья Ефимова. Но этот документальный фильм она всегда ведет с каким-то особым волнением. И сегодня она особенно зорко следит за аппаратом. Перед глазами встают знакомые картины.

...Вражеские самолеты кружат над городом. Вот, словно дождь, посыпались зажигательные бомбы. Да, Наташа Ефимова помнит это время. Одна из таких бомб пробила крышу кинотеатра. Ефимова находилась тогда в аппаратной. Увидев огонь, она кинулась на чердак, засыпала бомбу песком, а затем струей воды из пожарного шланга сбила пламя, охватившее перекрытие чердака...

Кадр за кадром мелькает на экране. Зима. Мороз. Трамвайные

пути занесло снегом. Не стало электрического света. Трудно жить в осажденном городе. Но Наташа, как и все ленинградцы, продолжала бороться, работать, преодолевать трудности. С далекой окраины она ежедневно через весь город ходила к своему кино. Дежурила на посту, — она была командиром пожарного звена. Колола дрова. Убирала снег. Кинотеатр не работал, но она заботливо следила за аппаратурой.

В начале марта директор кинотеатра сообщил:

— Скоро возобновляем работу. Подготовьте посты к эксплуатации.

В аппаратной стоял мороз. Все приборы покрылись инеем. Пальцы примерзали к металлу. А у кассы уже выстроилась очередь. На афишах значилось: «Смотрите новый документальный фильм „Разгром немцев под Москвой"».

Ефимова работала с лихорадочной быстротой: каплю за каплей выкачивала застывшее масло, разогревала его на времянке и снова заливала в промерзший механизм. Она вертела аппарат вручную, отогревая собственным дыханием. И вот на экране вспыхнул свет, началась демонстрация фильма. Это была первая кинокартина, показанная в городе после долгого перерыва...

* * *

Ровно гудит аппарат. С напряженным вниманием следят за экраном в зрительном зале.

И когда кончился фильм о Ленинграде в борьбе, о мужестве и стойкости ленинградцев, в зале раздались аплодисменты. Зрители аплодировали непреклонным защитникам города. Эти аплодисменты относились и к ней — киномеханику комсомолке Наталье Ефимовой, честно и самоотверженно выполняющей свои скромные обязанности.

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛУЧАЙ

В Ленинграде проживал видный изобретатель инженер-механик Федор Павлович Кирюшин. Он возглавлял цех одного из заводов. Завод был небольшой, но по военному времени незаменимый. Его решили эвакуировать в Сибирь, а в последнее время была из Москвы команда — работать на месте.

В зиму 1941/42 года инженер Кирюшин, как и все ленинградцы, испытывал холод и голод. Впрочем, он не унывал, с удвоенной энергией продолжал нужную для Родины работу. Его завод — это фронт, его рабочий кабинет — это неприступная твердыня, куда закрыт вход малодушию и колебаниям.

Однако любая печь без достаточного количества топлива постепенно начинает остывать. Начал от недоедания хиреть инженер-механик Кирюшин: нервы стали сдавать, мысль меркнуть. Директор завода решил направить Кирюшина в специальный стационар подлечиться.

Но вот телефонный звонок изменил всё дело. Звонили в час ночи:

— Кирюшин, ты? Вот что, брат... Получена из Москвы продуктовая посылка. Тебе и прочим. Персонально! Ведь у тебя ночное разрешение по городу есть? Ну вот и отлично. Бери санки и приходи. Тут близко.

Через час он уже вскрыл у себя дома спасительный плотной парусины мешок. На мешке надпись: «№ 18. Лично. Ф. П. Кирюшину».

Боже мой, боже мой! Вот так посылочка... Масса великолепных черных сухарей. Большущий кусок шпику. Два кило сливочного масла. Два кило сахару. Много крупы, несколько банок сгущенного молока и разных консервов. И тридцать плиток великолепного шоколада. Даже шоколада. Даже шоколад... Ура!

«Куда же мне это одному? — думает растроганный Кирюшин. — Ну да поделюсь кой с кем». И первая мысль — о матери. А где она? Старуха мать эвакуировалась к своей племяннице в Воронеж, он получил от нее только одно письмо, а ведь прошло целых семь меся-

цев. То ли письма пропадают, то ли она переехала из Воронежа куда-либо в другое место. Впрочем, мама должна жить там в сравнительно приличных условиях.

А вот сестра... Его сестра, учительница, вместе с институтом, где она преподавала английский язык, эвакуировалась в Казань. При ней четырехлетняя дочка Танечка, а муж ушел в Красную Армию. Ей как раз посылка будет кстати. Может быть, удастся переслать с попутным летчиком, подобные случаи хоть редко, но бывают.

Он сел за письмо:

«Дорогая Анна! Знаешь, как у дедушки Крылова: «Вороне бог послал кусочек сыру», ну вот так же и мне добрые люди прислали из Москвы, вспомнили. Так вот, кусочек от этого кусочка я посылаю тебе. Послал бы больше, да ведь ты знаешь, какой народ эти летчики, — четверть кило, они и то морщатся, ведь им не один десяток таких поручений дают. Поэтому посылаю тебе полкило шпику и двадцать семь плиток шоколада, тебе и Танечке. А я не живу, не существую, а прямо парю над землей на крыльях. Бомбежки, блокада, обстрелы — чёрт с ними! Я изобрел одну штучку, которая будет весьма не по вкусу немцам и, помимо всего прочего, даст экономию за год до двух миллионов рубликов. Я представлен к следующей правительственной награде. Порадуйся со мной. Ну, а теперь слушай, как я живу, как идет жизнь в Ленинграде...»

Письмо было обстоятельное. Это письмо вместе с посылкой он отнес в штаб армии, сдал приятелю. Приятель, подполковник Цветков, сказал ему:

— Ладно. Исполню в точности. Вылет в Казань у нас дня через два.

* * *

Вскоре в скромную комнатку, что в доме на берегу озера Кабана в Казани, постучали. Было раннее утро. Танечка еще спала. Анна Павловна тоже только что проснулась. Она накинула халат, наскоро причесала волосы, крикнула: «Одну минутку!» — приподняла штору. С улицы хлынул солнечный весенний свет, нежно заголубело небо меж двумя высокими березами с молодой листвой, и, наконец, она открыла дверь.

В комнату вошел молодой, в форме летчика, черный, как цыган, человек. Он поклонился и сказал:

— Простите, не ошибся ли? Не вы ли будете Анна Павловна Рябинина? Ах, вы? Ну, значит, правильно. Документ с вас я спрашивать стесняюсь... Нет, нет, не беспокойтесь... Будьте добры, посылочка вам из Ленинграда, — и молодой человек, порывшись в сумке, вытащил небольшой сверток, заделанный в бумазею, на ней надпись:

«Анне Павловне Рябининой». Надпись печатными буквами, химическим карандашом. От кого же это?..

— Скажите, от кого эта посылка? — спросила Анна Павловна.

— Хоть зарежьте, не могу вам ответить.

— Да кто же вам ее передал? Может быть, мой брат, инженер Кирюшин?..

— Посылка вручена мне подполковником Цветковым в штабе армии.

— Но, может быть, письмо при ней было?..

— Возможно, что и было. А скорей всего, нет ли письма в середке. Вы вскройте, чтоб без всяких яких, чтоб начистоту!

— Присаживайтесь. Я вас кофейком угощу.

— Благодарю покорно. С удовольствием бы, но в нижеследующих видах, как я тороплюсь, доведется отказаться... Мне еще в двенадцать мест наматывать посылки разносить, до вечера хватит...

Никакого письма в посылке обнаружено не было.

— Нету здесь, — печальным голосом проговорила Анна Павловна и стала взором быстро пересчитывать плитки шоколада. Двадцать семь штук. А тут что? Шпик! Как жаль, что нет письма.

— Будьте столь добры, вот здесь распишитесь в получении, — и летчик подал ей свою записную книжку, где на аккуратно разграфленных страницах были перечислены фамилии с адресами.

Пока Анна Павловна искала чернила и расписывалась, летчик говорил:

— Возможно, что письмо к вам имелось. Да дело тут стряслось такое-этакое, понимаете... Уж я вам по секрету... Посадку нам довелось сделать вынужденную, чего-то мотор шалить стал, чихать да кашлять. Сели на ближайший аэродром поправиться. Из кабины кой-что повытаскивали, в том числе сумку, а в ней письма. Да и забыли ее там. Я уже отсюда телеграмму-молнию дал. Письма будут доставлены.

После его ухода Анна Павловна долго ломала голову: от кого посылка? Скорей всего нужно было бы ожидать от брата Феди. Но Анна Павловна знала, что брат и сам в Ленинграде голодает, да тем более, что видно из его последнего письма, их завод должен был переводиться в Сибирь, кажется в Курган. Впрочем, письмо было два месяца тому назад. А-а, вот от кого! Шоколад ей прислала знакомая киноактриса Истомина, она брала у Анны Павловны уроки английского языка, они с ней хорошо подружились. У этой Лидочки Истоминой цветов, духов, разных косметических притираний и шоколада в изобилии. Она!

Анна Павловна посылке была рада. Она в сладком нуждалась. Впрочем, знакомый летчик, майор Руднев, которому она преподает

английский язык, подарил ее дочке Танечке полкило шоколада. И всё-таки Анна Павловна была чрезвычайно обрадована посылкой. Спасибо Лидочке Истоминой! Да, добрые люди еще на свете не перевелись. Как приятно сознавать, что в людях не угас еще святой огонь взаимной помощи и заботы о других!

Анна Павловна и сама принадлежала к числу таких отзывчивых людей.

Самым близким, самым любимым существом была для нее старуха мать. Она заботилась о ней больше, чем о Танечке. Вот матери-то она и отправит шоколад. Она деятельно стала разыскивать попутчика в Богучар, где жила у своей племянницы Настасья Прохоровна Кирюшина.

Прошло десять дней. Летчик Руднев пришел к ней радостный и говорит:

— Давайте посылочку. Завтра лечу... Командировка.

Анна Павловна оставила три плитки шоколада: одну себе, две Танечке, остальные двадцать четыре запаковала и вместе с письмом отправила матери.

* * *

Летчик майор Руднев привел машину в Богучар еще до заката солнца. Он застал старушку в огороде, она сидела под вишневым, в густом цвету, деревом и вязала чулок. А возле нее спал в колясочке грудной ребенок. Кругом жужжали работящие пчелы, нарядные бабочки перепархивали с цветка на цветок, в борозде меж гряд играла с котятами пестрая кошка.

Настасья Прохоровна встретила летчика приветливо. Сняла очки, сказала:

— Этакий вы огромный, батюшка... И как это вас самолет-то держит?

Она поблагодарила его за доставку, усадила возле себя и стала расспрашивать. Заметив, что он торопится, она крепко взяла его за руку, чтобы не ушел. Он рассказал ей, что ее дочь, Анна Павловна, живет неплохо, как и все прочие. А вот о своем брате, о вашем сынке Федоре Павлыче, она очень беспокоится... Главное, не знает, где он живет, давно не писал. Знает только, что их завод эвакуировался в Сибирь.

Старуха, выслушав его, улыбнулась и сказала:

— Ничего подобного! Федя как жил в Ленинграде, так и живет там. Я и сама-то думала, что он давно в Сибири. Ан вон третьего дня везу колясочку, — мальчик-то моей племянницы сынок, — глядь-поглядь, кулдыхает с палочкой навстречу мне знакомый старичок, наш, ленинградский, с Феденькина завода. «Нилушка! Нилушка! —

кричу ему. — Ты как это очутился здесь?» А он мне: «Хворость выгнала, захирел. В побывку отпустили. А у меня здесь кой-какая хатенка своя, к дочери приехал». А борода-то у него длинная да серебряная. Он, бывало, в Питере-то и чайку попить захаживал к нам. Ну, обняла я его, и горько мы оба с ним заплакали... Господи, что сталось, что сталось?! Родственники его кто в Ленинграде умер, кто на войне убит. Из четырех его сыновей один убит, другой ранен... Ну, я тем же часом сынку телеграмму послала, адрес сообщила свой... Только дойдет ли, да и когда дойдет... Эх, война, война...

Летчик встал. Она тоже поднялась, сказала:

— Куда же ты теперь, батюшка?

— Под Ростов. Фашистов колотить!

— Колоти их, батюшка! — воскликнула старушка. — Колоти хорошенько, чтоб ни вздохнуть им, ни охнуть. Жива ли матерь-то твоя?

— Нету, Настасья Прохоровна... В прошлом году умерла моя старушка...

— Ну так нагнись, я тебя замест матери благословлю. Ну, сын мой, будь вовеки невредим. Прощай, храни тебя господи и ангелы его! — Она перекрестила его большим крестом, обняла за шею и поцелсвала.

Обласканный, растроганный выходил летчик из огорода приветливой старушки. Человеческая ласковость!.. Что может быть на земле драгоценнее тебя?

* * *

Нилушка говорил ей, что Феденька живет в нужде. Вот ему-то она и отправит шоколад. Две плиточки оставит себе с племянницей, а двадцать две Феденьке перешлет. Как раз ему будет кстати. Да постарается еще немного маслица скопить. Нилушка живет здесь вот уже две недели. Подкормился. Через недельку и назад. Вот с ним-то Настасья Прохоровна и направит посылку сыну. Уж Нилушка не подведет, свой человек, заводской мастер, природный пролетарий.

Выбрав свободный денек, старушка уселась за письмо.

«Дорогой Феденька, чадо мое ненаглядное, здравствуй! — писала она. — Когда ты был еще маленький и учился в школе, то, помнишь, всё читал мне наизусть басни дедушки Крылова. Помнишь: «Вороне бог послал кусочек сыру». Вот так же и мне...»

Письмо было длинное, сердечное, слезы капали на письмо, драгоценные слезы родимой матери.

«...а мне, старухе, шоколад не надобен, куда мне! Племяннице мешок картошки обещали, да и в огороде нам четыре грядки отвели, скоро своя овощь будет. А Нилушка говорит, что ты в нужде. Голуб-

чик, Феденька! Ведь ты мой самый любимый в мире человек. Ты и для Родины нашей большой старатель. Нилушка мне кой-чего нарассказывал про работы про твои. Старайся, Феденька, живи, а обо мне не думай, аж я как-нито свой век протяну. А перед тобой вся жизнь. В парнях ты, Феденька, засиделся. Ну, да уж теперь не до женитьбы, что бог даст после войны...»

* * *

Минут за десять до начала утренних работ в служебный кабинет Федора Павловича Кирюшина вошел, подпираясь палочкой, возвратившийся в Ленинград Нилушка. Поздоровался, выложил на стол посылку и письмо, сказал:

— А это вам от маменьки вашей, из города Богучара, подарочек. Тут не знаю чего, а это вот криночка топленого масла. И письмо пожалте.

Инженер Кирюшин подробно обо всем расспросил Нилушку и вскрыл пакет.

— Шоколад... Чёрт возьми... Да это же мой шоколад! — Он распечатал письмо матери, поцеловал ее вихлястые каракульки, быстро прочел и с убеждением проговорил: — Да, определенно... Мой!..

Когда он рассказал Нилушке, как его шоколад пропутешествовал от него к сестре, от сестры к матери и, замкнув круг, возвратился к нему, изумленный Нилушка, оглаживая свою серебряную бороду, молвил:

— Примечательно... Нет, это прямо удивительно! — Он взбросил вверх палец и каким-то вещим голосом воскликнул: — Перст судьбы, Федор Павлыч! Указующий перст судьбы...

— Ну, какой там перст судьбы, — улыбаясь возразил инженер Кирюшин, — просто любопытный случай.

ЕЛЕНА ВЕЧТОМОВА

КАНУН 1942 ГОДА

Новый год был в семь часов. Позднее
Не пройти без пропуска домой.
Был обстрел. Колючим снегом веял
Смертоносный ветер над Невой.

Стены иней затянул в столовой.
В полушубках, при мерцанье свеч
Мы клялись дожить до жизни новой,
Выстоять и ненависть сберечь.

Горсть скупая драгоценной каши,
Золотое светлое вино, —
Пиршество сегодняшнее наше,
Краткое, нешумное оно.

Лед одолевал нас. Лед блокады.
В новом, начинавшемся году
Победить хотел и тот, кто падал, —
Не остановиться на ходу.

ТРУДЯЩИМСЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЛЕНИНГРАДА

Из письма делегатов от партизан и колхозников двух районов Ленинградской области, временно оккупированных фашистами, написанного по дороге в Ленинград

С сердечным волнением и радостью приближаемся мы к берегам Невы, готовимся к встрече с вами, дорогие братья — трудящиеся героического Ленинграда. Мы знаем, что вы стойко и мужественно переносите все трудности и лишения, связанные с блокадой города. Весь советский народ гордится вами. Ваш мужественный героический образ вдохновляет нас на борьбу и победу во славу любимой Родины. В районах, временно оккупированных фашистскими захватчиками, мы стремимся стойкостью и мужеством быть похожими на ленинградцев. Наша партизанская борьба с врагами — это такая же помощь славной Красной Армии, как и ваша дружная работа для фронта.

Дорогие товарищи ленинградцы! Немецко-фашистские разбойники хвастают, что они заняли наши районы, но в этих районах они сидят, как в осажденной крепости, и почва горит под их ногами. Партизаны и колхозники — советские люди, глубоко преданные матери-Родине, — вот кто является настоящими полновластными хозяевами наших районов. Мы держим под своим контролем площадь в 9600 кв. километров. Ни карательные экспедиции, ни жестокие расправы с мирными жителями — ничто не сломило и не сломит нашей воли к победе. Вооруженная рука партизан поддерживает и охраняет в районах, в тылу у фашистских захватчиков советские порядки. Вооруженная рука партизан пускает под откос вражеские поезда, останавливает транспорты, везущие боевые припасы и солдат на фронт.

Мы с вами, дорогие друзья, боевые товарищи. Более двухсот подвод с продовольствием для вас собрали мы во временно оккупированных районах, провели свой красный обоз через линию фронта. Великая честь выпала на нашу долю: вручить продовольствие партизан и колхозников наших районов и передать от их имени вам, трудящимся героического Ленинграда, горячий привет. Мы рады, что в суровых условиях нам удалось подготовить для вас скромный

подарок и увлечь своим примером многие районы Ленинградской области. Мы не забудем волнующих встреч с населением по пути к Ленинграду. Наши встречи с колхозниками, железнодорожниками, лесорубами, трактористами и интеллигенцией Ленинградской области явились яркой демонстрацией единства фронта и тыла, единства всего Советского народа.

Прибывая в славный город Ленина, еще раз от имени пославших нас партизан и колхозников мы говорим:

Здравствуй, друг наш, богатырь Ленинград!

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

В ТЫЛУ ВРАГА

В залах пушкинских дворцов сидели фашисты. Они выламывали мозаики из стен и потолка, упаковывали и увозили в Германию. Они сидели в теплых блиндажах, построенных из деревьев, вырубленных в дворцовых парках, играли в карты, пили спирт и ругали русскую зиму. Они пели песни, что они ничего не боятся на свете.

Но они на самом деле боялись многого: они боялись русской артиллерии, русских танков, русского штыка и русских дорог.

Дороги уходили на юг и на запад от Ленинграда. Ходили гитлеровские патрули, на перекрестках стояли часовые, всюду были указатели со стрелкой, направленной на Ленинград. И вот этих дорог боялись фашисты, потому что там царили партизаны.

Они снимали бесшумно часовых, закладывали мины, и вражеские машины летели на воздух.

Партизаны минировали мосты, и поезда с разбегу падали в реку, а вагоны взбегали один на другой, и ничего нельзя было разобрать в этой груде искривленного металла.

А по снежным полям скользили легкие тени народных мстителей. Они не боялись ни зимы, которая была своей, родной зимой, ни фашистов — чужих, страшных, звероподобных мучителей, которые сжигали деревни и вместе с избами сжигали женщин и детей. И фашистам не было пощады. Народная война шла по всей Ленинградской области как пожар, который нельзя остановить.

Когда партизаны узнали, какие бедствия переносят ленинградцы, как голодают в осаде, они начали собирать продукты по деревням и колхозам и собрали много. Трудно было доставить в Ленинград эти продукты через вражеские тылы, через линию фронта. И, однако, партизаны достигли цели.

Продукты грузились на сани, и составлялись отдельные обозы, которые приходили в деревни обычно к вечеру, останавливались, и лошади, сани и люди исчезали, как под землю, и на рассвете уходили в тумане дальше. Их сменял следующий обоз.

Так шли обозы день за днем по территории, занятой фашистами,

которые и не подозревали, что такое множество саней у них под носом движется к Ленинграду.

Всё было так хорошо рассчитано, что ни один предатель не смог донести о том, что происходит. Самое трудное было перейти линию фронта. Но тут выручили болота. Они замерзли и хорошо держали тяжесть лошадей и саней. Русские люди знали свои места наизусть. Им не нужны были проводники, а мороз, заставлявший гитлеровцев кутаться в драные шинели и ворованное тряпье, не мог пробиться сквозь хорошие полушубки, испугать привычных к холоду крестьян.

Обоз пришел в Ленинград и был встречен восторженно. Партизаны увидели, как борются ленинградцы, как непоколебимо их мужество, как поражают они врага на подступах к городу Ленина.

БОРИС ШМИДТ

ТОВАРИЩУ

Памяти поэта Ивана Федорова

Мне нелегко, товарищ, вспоминать,
Как молча нас благословила мать,
Как мой сынишка, кроха, умирал,
Как фитилек в коптилке догорал...

Мне не забыть, товарищ, никогда
Полночный город стужи, тьмы и льда.
В бездонном небе мертвый блеск планет
И «фокке-вульфа» ненавистный след.
...Ни слез, ни мамы, ни сынишки — нет.
Не знаю, где лежат они вдвоем
Там, в осажденном городе моем.
Но вижу я —
сквозь вёрсты, стужу, тьму —
Они остались верными ему.

И сердце повелело:
«В бой иди!
За Ленинград! —
что у тебя в груди».

ГОРОД-ФРОНТ



Никакие трудности не смогли сломить гордого духа ленинградцев. К весне 1942 года стало ясно, что подлый человеконенавистнический план фашистов — задушить Ленинград голодом — провалился.

В конце марта 1942 года, по призыву городского комитета партии и Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, все ленинградцы, которые могли стоять на ногах, приступили к очистке города. Люди вышли на улицы и площади, обходили дом за домом, проверяли их от чердаков до подвалов и приводили в порядок. Скалывали лед, очищали канализацию, свозили снег в Неву и каналы.

300 тысяч ленинградцев ежедневно принимали участие в этих работах. Они очистили 16 тысяч дворов, 27 тысяч канализационных колодцев, привели в порядок свыше 3 миллионов квадратных метров улиц и площадей.

Когда весеннее солнце пригрело многострадальную ленинградскую землю, городу не грозила эпидемия. Он был готов продолжать борьбу.

В ленинградцах жила спокойная уверенность в завтрашнем дне, в своих силах, в могуществе нашей страны, в том, что мы победим. Не можем не победить!

Войска Ленинградского фронта готовились к прорыву блокады, и население Ленинграда работало для фронта, всемерно приближая День Победы. Так пришла новая зима, но она уже совсем не походила на прошедшую зиму.

В. ШЕФНЕР

ЗЕРКАЛО

Как бы ударом страшного тарана,
Здесь половина дома снесена.
И в облаках морозного тумана
Обугленная высится стена.

Еще обои порванные помнят
О прежней жизни, мирной и простой.
Но двери всех обрушившихся комнат,
Раскрытые, висят над пустотой.

И пусть я всё забуду остальное, —
Мне не забыть, как на ветру дрожа,
Висит над бездной зеркало стенное
На высоте шестого этажа.

Оно каким-то чудом не разбилось,
Убиты люди, стены сметены, —
Оно висит — судьбы слепая милость —
Над пропастью печали и войны.

Свидетель довоенного уюта,
На сыростью изъеденной стене
Тепло дыханья и улыбку чью-то
Оно хранит в стеклянной глубине.

Куда ж она, неведомая, делась
И по дорогам странствует каким
Та девушка, что в глубь его гляделась
И косы заплетала перед ним?

Быть может, это зеркало видало
Ее последний миг, когда ее

Хаос обломков камня и металла,
Обрушась вниз, швырнул в небытие.

Теперь в него и день и ночь глядится
Лицо ожесточенное войны.
В нем орудийных выстрелов зарницы
И зарева тревожные видны.

Его теперь ночная душит сырость,
Слепят пожары дымом и огнем.
Но всё пройдет.
И что бы ни случилось —
Враг никогда не отразится в нем!

Не зря в стекле, тускнеющем и зыбком,
Таится жизнь,
Не зря висит оно:
Еще цветам и радостным улыбкам
Не раз в нем отразиться суждено!

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ВЕСНА 1942 ГОДА

Раньше в Ленинграде говорили, смеясь, в марте: вот дворники весну делают. И правда, выходили дворники в белых передниках, с метлами и лопатами, счищали с панели снег, кололи лед на дворе и у дома, собирали снег в кучи и топили его снеготаялками.

Раньше снег и лед были какими-то легкими словами, радостными, красивыми. «Бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз», — так писал Пушкин о невской зиме.

А теперь пришел март, и город оказался в ледяной и снежной блокаде. До второго этажа достигали сугробы, снег забился в подвалы, лед лежал на улицах толстый, как броня. Ветер нес снежную пыль, и облака ее кружили по улицам. Теперь лед и снег были врагами, и их нужно было одолеть во что бы то ни стало.

А снега были целые бастионы, ледяные окопы окаймляли улицы, и казалось, никакое солнце не растопит их. А если они начнут таять, то город будет затоплен потоками грязной, мутной воды, и улицы его превратятся в ущелья, по которым будут катиться шумные реки. В город придет эпидемия, и ко всем мучениям осады прибавятся заразные болезни, лихорадки, простуды.

И тогда на очистку города вышли все ленинградцы. Сначала казалось, что не хватит рук, не хватит сил, чтобы истребить это снежное царство. Голова кружилась от слабости, ноги подкашивались, рукам было невмоготу подымать тяжелые деревянные лопаты, полные снега. Но постепенно под весенним теплым ветерком, под солнечными мартовскими лучами чуть окрасились щеки, люди ожили, даже шутки появились кое-где. Молодой смех нет-нет да прорвется у девчат в зеленых ватниках, с противогазами через плечо. Дело пошло.

Если взглянуть вдоль широких и прямых ленинградских улиц, то увидишь, как чернеет непрерывная толпа на километры и дружная кипит работа. Кто возит снег на санках в железных ящиках, кто сваливает снег на грузовики, кто сгребает его с грузовиков в каналы и в Неву. Растут холмы снега над еще замерзшими каналами, и уже показалась мостовая, показались тротуарные плиты. Еще быстрее зара-

ботали ленинградцы. День за днем, с утра до вечера, длилась битва с зимой. Зиму выгоняли с чердаков, из подвалов, из-под ворот. Скоро только в развалинах лежал снег, а вокруг уже серели камни, торцы и асфальт.

Это работали не гиганты, а самые обыкновенные люди, и лица их хранили следы пережитой небывалой зимы. Запавшие глаза с острым блеском, выдавшиеся скулы, морщины на лицах самых молодых. Дети, похожие на взрослых, серьезные, без смеха, с туманными, задумчивыми глазами; тонкорукие, с восковыми пальцами женщины, отдыхавшие после двух-трех ударов лома; мужчины со свинцовой кожей, похожие на полярников после необычной зимовки, — все смешались в этих толпах. Чистили и дома. В свете весеннего утра квартиры были мрачные, со стенами, потрескавшимися от сырости, закопченными от дыма печек-времянок.

И вдруг по расчищенному Невскому проспекту пошел первый вагон трамвая. Люди бросили работать, смотрели, как дети на игрушку, на бежавший по рельсам вагон, и вдруг раздались аплодисменты десятков тысяч человек. Это ленинградцы овацией встречали первый воскресший вагон. А вожатая вела вагон и стряхивала слезы, которые набегали на глаза. Но это были слезы радости, и она вела вагон и плакала и не скрывала этих слез.

ЖИВЫМ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ

Документальная повесть
в письмах[1]

Валентин Мальцев, герой этой повести в письмах, погиб во время Отечественной войны на Псковщине в партизанском отряде. Ему было восемнадцать лет, и сегодняшние выпускники средней школы могут считать его своим ровесником.

А до войны Валентин Мальцев жил в Ленинграде, на Фонтанке. По утрам бегал через Польский садик в школу на Первой Красноармейской, лазил через забор в сад «Буфф», увлекался спортом, радиоделом, фотографией, ссорился и мирился с младшей сестрой.

Семья Валентина была небольшой и дружной. Отец, Михаил Димитриевич, ученый-диалектолог, старый коммунист, участник гражданской войны, старался быть для сына старшим товарищем, брал его с собой в экспедиции за словами, незаметно, исподволь передавал свой жизненный опыт, идейную стойкость, требовательность к себе, умение мыслить и обобщать. Мать, Зоя Романовна, большая любительница искусства, ходила с Валентином в театры и музеи, учила понимать и ценить прекрасное.

Валентин мечтал стать артистом. Даже играл в драмкружке при Доме пионеров. И как знать, может, и стал бы, если бы не война...

Ушел в ополчение отец. Его дивизия защищала Ленинград. Уехали в эвакуацию, в Тетюши на Волгу, мать и сестра. Валентин уехать отказался.

В армию его не брали: шестнадцать лет — молод! А враг стоял под Ленинградом. Фашисты обстреливали и бомбили город. Занятия в школе не начинались. Вместе со сверстниками Валентин дежурил на крышах, тушил зажигалки, ходил на военные занятия. Он много думал в это трудное время о себе и о своей стране и, еще не зная, что ему предстоит, внутренне готовил себя к подвигу.

Сохранилась его переписка с родными — своеобразная история становления большого человеческого характера. Некоторые из этих писем и составили предлагаемую вниманию читателей документальную повесть.

---

[1] К печати подготовили Е. Габис, А. Дидусенко, И. Мальцева.

5.X.41

Дорогие мамка и Ирина, простите за долгую задержку очередного послания, но открытки у нас не продаются, а письма идут долго; от вас вестей нет, от отца не было. Дома пусто, квартиру прибрать нужно, лень страшная... сами понимаете. Сегодня у меня два события: часа в три ночи вылетели два стекла из окна, выходящего на дворик Державина, и в два часа дня получил после десятидневного молчания открытку от отца, который жив и здоров и даже «очень благополучен». Я тоже жив и не замерз, хожу, получаю хлеб и ожидаю того момента, когда можно будеть купить рыбки и колбаски (100 и 150 г).

Кстати, сегодня, когда я продрал глаза, исполнилось три месяца со дня вашего отъезда. С чем вас и поздравляю. Перемены, происшедшие у нас за это время, вы не представите даже при всем желании, а я не представляю, что у вас и что с вами. Сам внешне изменился мало, но в отношении к окружающему очень. Если удастся выкарабкаться из этой каши живым, что маловероятно, то я просто не смогу представить, что будет. Раньше я на всё смотрел через какое-то розовато-матовое стеклышко, теперь — через прозрачное стекло, и это сказывается сильно, но не внешне. Прошло только сто пять дней с начала войны и девяносто два со дня вашего отъезда, а между старым и настоящим легла огромная пропасть.

В Ленинграде стоит исключительная осень — солнечная, сухая, но холодная; небо прозрачно, как хрусталь, а где-то вдалеке за этим хрусталем — бирюза. Листья только начали падать, еще очень много зеленых. И иногда, когда стоишь на набережной Невы, кажется, что опять мирное, старое время.

Не знаю, дошло ли до вас мое предыдущее письмо. На всякий случай позволь, мама, поздравить тебя с двадцатым юбилеем супружеской жизни и пожелать всего наилучшего. Ирка пошла в школу. Как она учится? С сегодняшнего дня начинаются мои воинские повинности (всеобщее военное обучение). Ну, будьте живы и здоровы. Кушайте побольше. Не волнуйтесь. Пишите. Целую.

Валька.

22.X.41

Милые мама и Ира! Занятия в школе не начались; есть слухи, что начнутся 25.X, а пока мне весьма неудобно: сижу без дела и трачу отцовские деньги. Если занятия не начнутся, пойду работать. Но куда? На этот вопрос ответа дать не могу.

Оставаться без дела становится всё труднее и труднее. Я надоел сам себе, опустился порядком. Часто по утрам лень умываться. Про-

сто какое-то животное существование. Поесть и поспать — вот и всё, на что я способен. Если так пройдет еще месяца два, то я превращусь в пещерного жителя. Стараюсь читать как можно больше, но толку от этого мало. Вам с Иркой трудно представить, что значит жить без коллектива и без вас.

Раньше, когда в Ленинграде бывал отец [1] (я уже не говорю, когда мы жили все вместе), нужно было что-то для кого-то делать. Хоть изредка он заходил, и приходилось то убрать, то заштопать носки, то пришить воротничок, а теперь хоть убирай, хоть нет, — всё равно, кроме меня, никто не воспользуется, никому не нужно. Тоска. Но наших священных традиций я не бросил и вот уже полторы недели уговариваю себя пойти и наколоть хоть капельку дров. В четверг я устрою себе генеральную головомойку и, может, выберусь за ними. Военные занятия — увы! — не подтянули меня ничуть, да, видно, и не подтянут. Нужно куда-то устроиться, а то просто изводишься. Так неудобно, что черт знает что готов делать...

Ну, я, видно, вам надоел, но что поделаешь: теленок бычком мычит не сразу.

Ваш Валька.

Ноябрь 1941 г.

Папка-тец! [2]

Я настроен воинственно. Меня во время дежурства в Гостином дворе с 6 на 7 октября чуть не убило. Совершенно случайно отделался ушибом. Сейчас от контузии остались лишь слабые следы. Но с 20-го по 1-е [ноября] я чувствовал себя ни к черту.

Свалился с температурой 40°. Голова трещала, в ушах звенело и т. п. В первые дни пил чай и еле-еле ел хлеб. Дальше есть стал лучше, но температура держалась. Сейчас жив, здоров, бодр...

Дрова—редкость. Я кое на что могу рассчитывать, но больше, чем два кубометра, соберу вряд ли, поэтому (без твоего ведома!) решил купить маленькую печурку. Ею буду обогреваться и на ней готовить. Ругайся не ругайся, но лучшего я не придумал.

В ночь с 6-го на 7-е из окна, выходящего на мост, вылетели все оставшиеся стекла. Забил старым одеялом. Ничего, не дует. В последнее время артобстрелы и арттревоги стали более частыми и интенсивными. Наш дом в кольце: снаряды упали в «Буфф», в Польский садик, во двор дома 118, на улице под мемориальной доской.

Девятого ноября я сел в трамвай и поехал на всевобуч. Прибыв

---

[1] Дивизия Народного ополчения, в которой служил Михаил Димитриевич Мальцев, формировалась в Ленинграде.

[2] Так Валентин называл отца.

на стадион, обнаружил, что моих доблестных сподвижников весьма мало и наш великий распорядитель, майор Никифоров, по сему случаю занятия вести не намерен. Проклиная весь мир, собрался возвратиться, но в это время начался обстрел. Майор скомандовал выйти из помещения. Мы храбро, во весь рост, ринулись по улице — и очень вóвремя. Только мы сбежали с трибун, как очередной снаряд разворотил тот зал, где мы только что были. Помянув родственников с материнской стороны, майор скомандовал перебежку. Только мы успели пробежать метров десять, как снова засвистело. Мы немедля уткнулись носами в снег.

Проделывая эту процедуру, я краем уха услыхал, как свист перешел в шипение, и почувствовал, что меня трахнуло и обдало брызгами. Приподняв голову, в полуметре от себя обнаружил что-то напоминающее зарывшийся снаряд. Недолго думая и благодаря судьбу за то, что снаряд не разорвался, я поднялся и дал ходу. Только успел добежать до стены и укрыться, как опять хлопнуло (даже без свиста). После разорвалось еще штуки четыре-пять снарядов, и огонь был перенесен глубже в город.

Сейчас наш штаб разбит, и сегодня занятий не было. Велено явиться завтра к 17 ч. в Клуб моряков за дальнейшими распоряжениями. В школе идут занятия. Каждый день четыре урока и горячие щи, которые теперь стали гораздо хуже. Восьмого мне поставили радиоточку. Стало немного веселей. Седьмого я выпил чаю с вином за твое, мамино и Иркино здоровье и за наши успехи на фронте.

Написал тебе три короба чепухи: не сердись, мой ум не может объять всё случившееся и воспринимает или часть подробно, или всё кратко. За печку не ругайся, впрочем, можешь, я не обижусь. Ну, будь жив и здоров. Пиши.

Валька.

Отец откликнулся быстро. В обычной своей сдержанно-шутливой манере он разговаривал с Валентином, как со взрослым:

...Мне кажется, что ты начинаешь подрастать по-настоящему, и потому советовать тебе много не думаю. Сказано тебе было и написано много. Обстановка мне во всех деталях неизвестна. Оцениваю ее для тебя как терпимую и прошу не терять бодрости духа. Борись, Валька, со всеми невзгодами! Гни, черт их возьми, в дугу и постигай суть того, что гнешь, чтобы ловчее его погнуть и не погнуться самому. Мы оба на фронте. И мой совет тебе: без надобности не лезь на рожон и слушай, чему обучает майор. Он, как видно, парень сообразительный. Стрелять же по Ленинграду будут еще много раз, и вести себя при обстреле учись. Не превращай разумную осторожность в глупое «как бы чего не вышло», не делай и храбрых глупостей.

Что ты праздновал 7 ноября — это очень хорошо. Так поступай и впредь. Когда тебе было четыре или три года, ты мне рассказывал стихи, что не было лучше ночи, когда рабочий взял в свои руки власть. Помнишь? Это были хорошие стихи про действительно исключительные часы, очень похожие на некоторые современные события по своей напряженности.

Ну, живи, не робей.

Тец.

Нет, Валентин «не робел». Были вокруг люди, пример которых не позволял поддаваться слабости.

12.XII.41

Папка-тец, писем от тебя нет. Пользуюсь возможностью и пишу тебе. Кончил занятия в группе «учебников»[1] у майора Никифорова. Жаль уходить. Он первый из тех военных, что я встречал по пунктам и в военкомате, который оставил глубокий след в памяти. Чувство уважения к нему сохранится надолго. Если мы рыли окопы, то и он рыл, показывая, что и как. Валялись в снегу только после того, как в нем вываляется майор. Влетало от начальства сначала майору, а после от майора нам. Но не было ни одного, хотя влетало иной раз очень крепко, кто не любил бы и не уважал его. Опытный, простой, строгий, но не придира; требует, но после того, как объяснит и покажет, да так, чтобы дошло до каждого. Жаль уходить от него. Хороший дядька! Граната, винтовка, пулемет Дегтярева и многое другое — вот что я знаю благодаря майору. Пока хватает. Знаю и практически и теоретически.

Завтра иду к штабным получать направление. Буду учить вторую очередь всевобуча. Займет это два-три месяца. В школе всё более или менее наладилось. Занятия идут весьма прилично, стали снова давать горячее без карточек. Рецептуру его привожу: на пятьдесят весовых единиц воды одна весовая единица твердых тел.

Поздравляю с двумя нашими победами. Дела под Тихвином мне ясны, но не очень ясны под Ельцом. Очевидно, скоро отобьют Орел. Что под Москвой? Радио молчит. Вероятно, угроза непосредственного прорыва исчезла? Мои новости и вопросы иссякли. Будь жив, здоров и т. д. Пиши.

Валька.

---

[1] Учебная команда при пункте всеобщего военного обучения.

Жить в Ленинграде становилось всё труднее.

14.XII.41

Иринка, собрался с духом и хочу написать тебе о своем житье-бытье. Опишу сегодняшний день. Воскресенье. Под одеялом тепло. В шесть утра заговорило радио, горит свет: всё в порядке. В тридцать пять минут седьмого пора подыматься и идти на всевобуч. Сажусь на кровати, укрывая плечи одеялом, быстро натягиваю брюки, рубашку, три пары носков, вбиваю ноги в охотничьи сапоги, надеваю пиджак, пальто, обматываюсь шарфом, нахлобучиваю ушанку, натягиваю перчатки и выхожу. На улице мороз, темно. Мелькают за сугробами черные тени прохожих. Так иду двадцать пять минут.

Дома кажутся вымершими, зловещими. Вхожу в один из таких домов. В длинном сыром коридоре темно. Воздух сырой, затхлый. Открываю дверь в левой стене. Здесь штаб. Горит свеча, глаза почти ничего не различают. Гул, дым, тесно. Двадцать-двадцать пять человек столпились в комнатушке. «Буржуйка» ничего не греет. Ждем, ждем, ждем. Стало теплее. Команда: строиться на поверку. Снова холод коридора. Свеча горит где-то далеко — темно. В 8 часов выходим во двор. До 10.45 шагаем, крутимся, бегаем. В 10.45 зовут в класс (мы занимаемся в пустой школе). До 11.25 политбеседа. Холодно.

Отпустили. Иду домой. На улицах светло. Огромные сугробы. Заворачиваю около Троицкого собора в булочную. 125 граммов хлеба стоят пятнадцать копеек. Плачу. До дома добираюсь быстро. В комнате холодно. Не раздеваюсь. Съедаю хлеб. Теперь все мои ресурсы исчерпаны. Руки еле-еле отогреваются. Мерзнут ноги. В 14 часов затопил печку, быстро нагрелся, но мерзнет бок, который не повернут к печи. До 16.35 по палочке подкладываю дрова. В 16 ч. 45 м. печка догорела. Пишу вам письма. Вот пока и всё. Дальше подчитаю уроки и спать: завтра опять рано вставать. Сегодня счастье — свет горит до сих пор. Ну вот и всё. Будь жива, здорова. Пиши. Целую.

Валька.

15.XII.41

Дорогой папка, прости, что я стал писать тебе слишком рьяно. Знаю, что времени у тебя мало, но... По радио объявили артиллерийскую тревогу. Это всё так знакомо, что не производит впечатления. Обыкновенное дело. Даже разбитый дом, мимо которого ты шел, пылью кирпичей и штукатурки обсыпан, обычен. Необычен для меня мертвый. Я не могу понять перехода живой, одушевленной материи в мертвую, неодушевленную. Труп меня пугает, как в детстве пугала «костлявая», прятавшаяся на вешалке среди маминых платьев. Тут

я остаюсь тем, кем был, когда в первый раз осмыслил слово «смерть» под именем «костлявой».

Вся эта вышеизложенная галиматья вызвана очень простым случаем. Я встретил, или, точнее, обогнал, санки, в которых лежало что-то укрытое мешками и напоминавшее «костлявую», только на торчавших ногах были надеты носки. Ты не свяжешь это одно с другим. Вспомни наше издание Гулливера, там среди рисунков есть «костлявая», которая держит в одной руке знамя, а другой стреляет из пушки. Где-то впереди маленькое летящее ядро. В детстве я очень боялся этого рисунка, и когда листал Гулливера, во мне боролись два чувства: желание «прямо глазами» глянуть на «смерть», взволноваться и бояться весь вечер (днем я не боялся ничего — так велика сила света и солнца), и пролистнуть «ее» поскорее, чтобы этот рисунок не попался на глаза.

Вот и теперь, десять-одиннадцать лет спустя, я встретил свою старую знакомую, и опять у меня возникли те же чувства. Рассмотреть «ее» как можно внимательнее и проскочить мимо, отведя глаза. Я рассмотрел «ее». И что же? Если раньше я чувствовал «ее», как сухой большой лист из книги, пахнущий тем замечательным запахом старых книг, то теперь она только приобрела «плоть», стала синей, тщедушной и мокрой. Она не пугает меня по ночам. Мои чувства огрубели. Но, подумай, превратившись из ребенка почти в мужчину; я не чувствую изменений своего внутреннего «я».

Вот почему я так сильно и резко могу перейти от одного настроения к другому. Жаловаться вообще на «настроение». Надоедать с ним. Это жалуется мое детское «я».

Ты очень не любишь мои разговоры насчет настроений. Скажу прямо, что еще в мае — июне этого года я не понимал тебя, мне казалось странным, что ты резко обрываешь меня. Я не мог понять, как дисгармонирует такая «настроенщина» с человеком, выглядящим взрослым. Ты, очевидно, не знал о диспропорции «я» внутреннего и «я» внешнего.

Всё это изложил тебе как извинение за глупости в письмах, которые пишу так часто.

Вот видишь, я стараюсь не хныкать, учиться, терпеть, но удается это мне плохо, а писать всё время в стиле «бодряк» мне не хочется. Ложь, насилие над своим настроением, по-моему, — это плохо. Внешне легко можно казаться всем, чем хочешь, но не это главное. Позолота слезает с любой вещи под действием разрушающих условий (очень и очень не абсолютных), а золото, целиком составляющее вещь, разрушится только абсолютным разрушителем. Трудно из такой дряни, как мое «я», добыть золото или даже сплав, не очень уступающий ему. Много времени требуется на это, трудно. Ну, извини, пожалуйста,

буду надоедать глупостями, может быть, всё время, пока будем так или иначе общаться, но если уж выйдет сплав, то надолго, навсегда.

Я жив и прочее. На всевобуч приходится теперь приходить к восьми часам, получил отделение. Занятия до одиннадцати часов. Пропадают в неделю первые один-полтора урока (школа занимается с десяти-одиннадцати часов). Жаль. Говоря честно, «отмотался» бы с удовольствием...

Будь жив и проч. Следи за носом и ушами.

Валька.

Перенести блокадную зиму Валентину помогли спокойные письма отца. Отец умел всё: он мог сварить обед и научить штопать носки, он писал книги и мог переложить печь, чтобы она не дымила. Однажды он своими руками построил дом. И только он мог написать о страшных вещах так, что они становились нестрашными.

Валюшня!

Несколько о твоем состоянии и «томлении духа». Понятно, что после шишек на голове, синяков на спине и боках и дрожания в ногах можно захандрить. Но, Валька, когда ты был поменьше, ты маршировал и пел: «Голов не вешать, смотреть вперед!» Этот лозунг помни до последней минуты. По-моему, у тебя есть данные для того, чтобы иной раз оказаться сильнее обстоятельств, постараться не сдаваться им. Сейчас время такое, когда изо всех сил нужно бороться с самим собой, не позволяя себе поддаваться жизни трудной и жестокой, потому что временные трудности и жестокости, скручивающие нас, безусловно будут преодолены самими же скручиваемыми, и человеческая жизнь пойдет по-иному, во много раз лучше того, что считалось лучшим. Во что бы то ни стало нужно добыть — дожить до этого времени, всеми мерами приближая его.

Одним словом, Валюша, «голов не вешать, смотреть вперед», стараться изо всех сил прогнать «костлявую», иметь в виду, что будущее стоит того, чтобы его делать и в нем жить, и потому по мере сил участвуй в устранении тяжестей настоящего и уничтожении всего, что мешает становлению этого прекрасного будущего...

...Наше место — время, Валюшня, очень замечательно. Множество народа начинает осознавать цели коллективных действий гораздо лучше, чем три-четыре месяца назад. Ты совершенно прав, что врага нужно отталкивать, и тебе хотелось бы, чтобы его оттолкнули под Ленинградом. Но сейчас во что бы то ни стало нужно не пустить его к Москве, так как он во что бы то ни стало желает ее взять. А там сейчас центр действий. Еще два-три месяца, а то и меньше, и немцу будут большущие «поронцы». Постарайся только выдержать этот суровый

кусок недель и дней и проинформируй меня, как идут твои дела с поддержанием организма. Есть ли у тебя возможности доставать что-нибудь дополнительно к карточкам и несколько «подшамывать»? Напиши поскорее, как ты решил с вариантом свидания с матерью и Иркой. Сроки особенно упускать не стоит. Словом, прикинь. Я этот вариант выдвигаю как известную возможность для тебя подкормиться, если здесь дело дошло до результатов, слишком отрицательных для твоей персоны.

Ну, за сим всем будь жив и здоров. Не унывай и держи высоко знамя защитника Ленинграда и ученика десятого класса средней школы.

...О твоих военных делах. Всевобуч будет, пока война будет. Инструктировать во всевобуче не худо. Не плохо бы тебе и в дальнейшем попасть под кров того майора, у которого ты обучался. Но, по-моему, ты маловоенный человек, и я диву даюсь, как это тебя к инструктажу допускают. Ну, на безрыбье и мы с тобой рыбы!

Ты, кажется, виляешь от занятий в школе? Это, брат, прекрати, ибо учащийся должен прежде всего учиться, а потом уже делать всё остальное.

По своему личному опыту знаю, что полуголод и голод — вещи ужасные, что они могут подвинуть человека на всякие мысли и действия, приводящие его на уровень скота. Голодающие клеточки, конечно, требуют своего, — от этого не уйдешь, но мозг должен скомандовать им поведение благопристойное, т. е. борьбу с голодом средствами человеческими — работа, объединение с другими, понимание объективности и использование всякой материи, какой только можно, для поддержания организма... Лопай всё, что только можно достать, если это только организм примет. Но, впрочем, дела показывают сами, что делать...

Пройдя через ряд голодов, я вывел важное заключение: даже в самую тяжелую пору нельзя продавать себя за похлебку, как бы она вкусна ни была. Пойми, что есть такие вещи, которые нельзя сдавать никому, даже смерти: это достоинство человека. Ты знаешь, чего стоило животному очеловечиться. И обязанность каждого из людей не сдать позиций человека натиску животных. Только вперед, по линии развития, и ни при каких обстоятельствах назад! Завоевал — держи «до последнего живота». Мне кажется, что тебе это достаточно понятно, и об этом я тебе пишу потому, что повторение — мать учения.

Только потому я тебе советовал поехать в Тетюши, что считал испытание полуголодом в течение длительного срока слишком тяжелым для тебя испытанием. Одиночество? Оно не так уж страшно: есть же школа, взвод и т. д. Его — одиночество — разрушить нетрудно.

Когда ты писал, не было московского удара по харе Гитлера. Есть

основание полагать, что его ударят и туляки. Только подожди немного, Валька, попрем так, что «другу Адольфу» и штаны «скидавать» будет некогда. Но делать дела нужно методично, а не очертя голову. Методика — дело сложное, и требуется время, чтобы ее организовать. Время проходит. Значит, дело будет. Спешить здесь нужно медленно и верно.

Так оно и выходит, Валюшня... И фашистам на наших полях, в наших лесах и горах будет неизбежный капут. Так им, чертям, и надо. Пусть не лезут куда не надо. Наша кривая пошла по восходящей, а гитлеровская — по нисходящей. Ее не поднимут ни японцы, ни тем более испанцы и французы, ни даже «пятая колонна». Ее, кстати, нужно вбить в землю начисто и бить по харе при первой возможности.

Папка-тец.

Предложение эвакуироваться Валентина взволновало и обидело.

21.XII.41

Папка-тец, сегодня получил от тебя письмо. Насчет полуголода ты сказал верно, что это вещь, могущая оскотинить человека. Голод тем паче. Что у нас в Ленинграде, сказать затрудняюсь. Суди сам: в день я съедаю 125 граммов хлеба, тарелку супу, два раза в неделю котлету, двадцать пять граммов конфет ежедневно, десять граммов масла. Всё. Кипяток — в неограниченном количестве.

Больших грехов за мной нет. Даже врать стал минимально. Но, каюсь, военное время требует хитростей (военных), а оные дают трофеи.

Продать себя за вкусную похлебку я не могу по двум причинам. Во-первых, боюсь, что такая в Ленинграде не варится, а во-вторых, я несколько скуп и боюсь продешевить. Знаешь, трудновато после того, как полопал котлы оной похлебки даром, только потому, что ты был советским человеком, отказаться от права быть им и лопать ее вновь в будущем только потому, что сейчас съешь тарелку. Я скорее издохну, чем откажусь от надежды хоть через десять, пятнадцать лет есть ее снова в неограниченном количестве. Клич гвардии — мой клич: «Гвардия умирает, но не сдается». Это я тебе обещаю.

Насчет Тетюшей. Мне немного непонятно то, что ты написал относительно испытания полуголодом. Если ты думал, что я испугаюсь голода и смоюсь, то ошибся довольно сильно. Если хотел проверить, то, конечно, немного обидно, но и лестно. Напиши, как говорят, положа руку на сердце, — проиграл ли бы я в твоем мнении, если бы уехал? Для тебя, очевидно, понятно, что я его ценю. И, весьма возможно, больше, чем ты думаешь.



Многие не дожили до первой блокадной весны.

Раненные во время фашистского артобстрела.

Гвардейцы выходят на траление.

На меня напало откровенное настроение, и хоть все классики утверждают, что если между близкими людьми нет каких-либо недомолвок, то они обязательно презирают друг друга, пойду до конца. Знаю, что ты имел очень и очень большие основания считать меня человеком без воли. Утешу, сказав, что год назад я стал бы это отрицать. Теперь нет. Объяснить это можно двояко — или наглостью, или некоторыми изменениями. Наглости как оружия я никогда не любил и не избирал. Произошли изменения. Я стал несколько лучше держать себя в руках. Еще не всегда. У меня может не хватить выдержки не похныкать, не пожаловаться иной раз на голод, на скуку, но никогда бы я не продал себя в большом, принципиальном. Буду нести всё, что потребуется, до самого конца. Нетерпение мое велико. Жить по-прежнему хочется начать сейчас, сегодня, ну, завтра. Но если для этого потребуется терпеть еще полгода, год, пять, десять лет — буду терпеть. До конца. Ни голодный, ни больной «главного редута» не сдам. Разве с жизнью.

Зачем написал это всё тебе? Если не понял, не ломай головы. Знай одно, что самая дурная черта Валентина Мальцева подавлена, уничтожена им самим, чем он очень горд! Ибо это хоть немного платит его папаше за дружбу «с колыбели», которой он всегда был очень горд. На эту лирику ты не отвечай. Мне за нее несколько неудобно, но черт с ней! До конца так до конца.

Понял, что началась наша восходящая, но, папа, только не синусоиды. Мы должны разбить эту мерзость к июню! Выгнать ее вон! За людей убитых, умерших от голода, за замученных детей — месть! Без пощады! Гитлеровские собаки не могут называться людьми. Поднявший меч от меча и погибнет! Ну, пока, а то я рассвирепел окончательно.

Валька.

А матери в основном писались письма лирические, сестре — немного наставительные. Отцу можно было рассказать всё, даже самое тяжелое, и попросить у него совета.

22.III.42

Милая мамка! 19-го написал тебе письмо. Перемен с того времени никаких.

Как-то, рассердясь, ты пожелала мне узнать, что значит жить без матери. Оценить это теперь я смог. Прости мне, родная, всё, что было плохого. Будем помнить только хорошее. «Малыша», «Тень», «Валенсианскую вдову», «Господина Пик», «Горе от ума», «Стакан воды» я теперь берегу в памяти как самые счастливые минуты моей жизни. Как я рад, счастлив и горд, что этим обязан тебе. Спасибо,

моя милая мамка, твои руки дали мне столько хорошего в жизни, что разреши их поцеловать. Я помню их больными и помню в красных бархатных креслах Александринки на «Банкире», «Кречете», «Мачехе», «Лесе», «Дворянском гнезде», помню готовящими котлеты, суп, пироги, помню их шлепки и ласковые прикосновения к моей голове: ты особенно приятно умела погладить голову. Спасибо им за всё. Я их большой должник.

Но даю слово, что всё. что будет в моих силах, я им отдам, лишь бы эти руки снова вернулись ко мне. И не забыли меня таким, каким я был до войны. Я стал уже взрослым. Взять меня на колени, как во время скарлатины, тебе нельзя, но при встрече ты положишь на них мою голову, а глаза мне закроешь руками, и я снова стану маленьким-маленьким. Но новый маленький Валя никогда больше не обидит своей мамы. Ладно, ма? Мы опять будем с тобой ходить в театры, я буду носить дрова, ходить за хлебом, топить печь и т. п. К себе мы возьмем Ирку и отца и жить будем так, что завидно будет всем и всему. Ну, дорогая, до свидания. Целую тебя.

Твой Валька.

12.IV.42

Дорогой папка-тец, пишу тебе по очень важному вопросу. Хочу попросить у тебя совета. В последнее время я работаю на пункте всевобуча. Приходится сталкиваться с бойцами, начальниками и т. п. Как нужно держать себя с ними вообще и в частности? Писать буду прямо. Если вести с начальством дело официально, то получаешь назначения на неприятные работы и гоняют тебя, как сукиного сына, взад и вперед. Если вести дело неофициально, то можно переехать границы дозволенного. Посоветуй, как быть тут, как это подсказывают тебе практика и опыт.

Дальше: что делать с бойцами, если они тебя не слушают? Выругать — толку мало, облают в ответ не хуже. Давать наряды? Тоже, знаешь, рискованно: совсем можно испортить отношения, и тебе всё будут делать назло. Где та линия и какова она, которая заставляет бойцов подчиняться и в то же время не ставит тебя в положение держиморды? Что можно «не заметить» и что нужно заметить и как реагировать на это? Проступки, наиболее часто встречающиеся у нас: убежал с трудработ, ушел из-за стола без команды, опоздал на построение, курил в неположенном месте, отказался выполнить личное приказание. Напиши, пожалуйста, как ты поступал в таких случаях. У меня плохое или очень плохое самочувствие на этой почве.

...Общие твои установки я принял к исполнению. Жалко, что ты не можешь руководить мною в отдельных случаях из-за дальности

расстояния. В них-то самые неприятные вещи. Об отношениях с комвзвода (не моего, а второго) я попрошу у тебя еще совета. Сей мальчишка моих лет, с ним мы работали в драмкружке в Доме пионера и школьника и были довольно близки как товарищи. Сейчас он чином выше. Опыта у него столько же, сколько и у меня, заносчивости, пожалуй, не меньше.

На правах старшего он часто кричит на меня, иронизирует над моими ошибками и вообще вызывает мое неудовольствие и обиду. Иногда, когда дело касается чего-либо нужного ему лично, он переходит на «товарищеский» тон. Мне это обидно и как-то не хочется продолжать с ним отношения — или товарищеские, или подчиненные. Последнее невозможно. Как дать ему это понять, чтобы не обидеть «начальство»?

Будь жив, здоров, благополучен. Поздравляю тебя с 1 Мая. Ну, всего тебе, мой папка-тец. Возьми меня к себе в часть. Ей-ей, я буду помнить наше родство только во внеслужебные встречи. Пока.

Твой Валька.

Советы отца по житейским делам были конкретны:

Валюшня! Поздравляю тебя с Первомаем. День это большой. Стоил пролетариям многого. Научил многому. Его помни!

По поводу твоего командира. Мой совет: пренебреги его воплями и узнавай побольше, чтобы тебя никто не поднимал на смех. Знания — самая верная защита от насмешек. Если ты ему нужен, то особенно дуться не стоит, но помогать следует без теплоты, тем более, что речь идет о делах неслужебных. На всякий чох не наздравствуешься.

И если не хочешь быть в глупом положении, то будь более знающим, чем он, в специальном деле. И тогда другой, старший, укажет ему на вздорность его поведения. Если тебе достается лишняя беготня из-за него, то, когда он будет с тобой говорить неофициально, ты ему тоже неофициально это скажи. На службе же полагается «слушаю», «есть сделать то-то и то-то».

А вообще этому эпизоду значения большого не придавай. Их встретится в твоей жизни очень много, и если на каждый тратить столько силы, как тратишь ты сейчас, то ее просто не останется на дела более важные...

А сейчас ясно вот что: тебе нужно привести себя в порядок — истребить насекомых, мыться почаще, пришить на место все пуговицы и т. д. Оказывается, что большому нужно поучиться не меньше, чем маленькому.

Не казнись особенно, доедая остатки. Паек так скуден, что глотнул раз-два, — и его нет. Но придерживать себя нужно не только в

большом, но и в малом. Я, например, голодая, никогда не съедал своего завтрашнего пайка. Так ты и делай, сообразуясь с обстоятельствами. А обстоятельства требуют ликвидации цинги — тепло, пока кое-что я могу подбросить, значит — зевать нечего: жми цингу, и крышка.

1.V.42

Дорогая Иринушка. Поздравляю тебя с 1 Мая и желаю тебе всех благ в мире. Я жив, здоров. Вот только цинга не отстает. Вчера бродил по Невскому — искал тебе чего-нибудь к 1 Мая. Купил две книженции — Лурье «Письмо греческого мальчика» и Л. и С. Успенских «Мифы древней Греции». Извини за такой скромный подарок, но покупать 1-й и 2-й томики Лермонтова я не стал, потому что ты писала, что мама купила собрание сочинений. «Письмо греческого мальчика» мне понравилось. «Мифы древней Греции» — тоже. Когда вернешься или будет возможность воспользоваться почтой, эти книги с дарственными надписями получишь немедленно. Если меня не будет дома, а дом будет цел, то ищи их на своей полке на этажерке.

Я обещал написать тебе о молодом человеке, которого повстречал в садике во время военных занятий. Сей молодой человек был одет в матросский бушлат, на котором были нашиты петлицы танкиста и прицеплено по три шпалы (подполковник). У него тоже есть сестренка, но гораздо моложе, чем ты. Ему десять лет, а ей — семь. Живут они дружно, хотя его сестра очень нехозяйственна. За хлебом не ходит, в столовую — тоже. И даже пуговицу пришить брату не умеет. Всё это приходится делать молодому человеку самому, потому что папа его на фронте, а мачеха на заводе на работе. И когда я его встретил, он с завистью взирал на наши винтовки, стукая себя по ногам бидоном, предназначенным для супа. Видишь, как посерьезнели ленинградские малыши. Как ты? Что нового прочла? Я перечитал Д. Лондона «Дочь снегов» и «Северную одиссею». Почитай их и напиши, понравились ли тебе Мат, Ван, Уэльс, Фрона. Ну, Иринушка, пока, будь жива-здорова. Целую.

Валька.

20.VII.42

Папка-тец, жив-здоров, благополучен. Где ты? Что тебе сказали ваши санбатовские эскулапы? Где ты? Эти вопросы меня интересуют прежде всего, и их ты не упусти из виду при послании письма.

Размечтался, знаешь, лишнее, и на меня напала хандра. На всё ругаюсь, всем недоволен, и хочется, как говорил Маяковский, чтоб выдавали бесплатные пирожные. Чтобы розы были без шипов и ва-

реники, сами макаясь в сметану, летели в рот, как только его разинешь.

Какие новости на фронтах? Когда «милые союзники» закончат подготовку и начнут действовать? Напиши твои предположения и размышления. Радио молчит, словно зареклось, и я ни черта не знаю.

Всю сегодняшнюю ночь, утро и часть дня до сего момента фашист лупит из орудий. Вообще я не против звуко-шумовых эффектов, но в слишком больших дозах они производят впечатление очень утомительное и навевают дрему. Когда ему это надоест?

Ленинград всё больше пустеет. Я сижу у окна, выходящего на мост, и на всем пространстве — не больше 17—20 человек. Они очень медленно ползают около огромных домов и напоминают муравьев, покидающих муравейник.

В ясные, теплые дни война с ее бессмысленностью чувствуется особенно сильно. В мирное время около 4-х я почти всегда сидел на этом же месте, читал или чем-либо занимался. Так же грело солнце, те же тени на домах, та же Фонтанка, но вместо суетливой, подвижной толпы — одинокие фигурки, вместо ларьков — груды обломков, битый кирпич, вместо шума трамваев, авто, троллейбусов — тишина, в которой надоедливо, настойчиво погромыхивают выстрелы и изредка — сверлящий шум самолета. Бессмыслица. Или, может быть, великая мудрость. Триста лет назад солнце было в таком же положении и так же грело леса, стоявшие на месте наших домов. Пятьдесят лет и два года назад одинаковые тени падали от зданий, а вот сейчас всё это то же, и между тем — война. Голод, смерть, холод зимы. Всё это кажется бредом, если глядишь на Фонтанку и чувствуешь тепло солнца. Кажется, что вот-вот мама крикнет: «Валентин, обедать!», что придет вечер, придешь ты и будешь варить с Иркой «кулемесь», что ярко загорится электричество. Но подыми взгляд от воды, — и всё это исчезнет, и надвинется война.

Да, века назад здесь шумели леса, и ни им, ни солнцу, ни Неве не было дела до людей, нет им дела и сейчас. Пройдут века, тысячелетия, и, может быть, опять здесь будут шуметь леса, но и тем лесам, и той Неве не будет дела ни до тех людей, ни до живших в 1942 году. А вот одному из людей 1942 года есть дело и до Невы, и до солнца, и до Ленинграда. Он к ним привязан. И не только он. Странная и забавная вещь — человеческое сердце. Оно никогда не старится, оно вечно юно и наивно, готово привязаться ко всему, что не оттолкнет, вопреки рассудку и смыслу.

Часто оно грустит, наверное, сталкиваясь с разумом, которому уже сотни тысяч лет. И противоречия между юностью и дряхлой старостью и вызывают это чувство неудовлетворения. Но, может быть,

погрустить и не удовлетворяться стоит? Помнится, у Маяковского: «Кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп». Ну, да дело не в этом. Случай: обстрел, молоденькая женщина с карапузом спряталась у нас в парадном. Почему-то плачет. Бутуз, очевидно, знает причину и требует, чтобы мать перестала. Та не унимается, и вот он тогда вносит предложение делового характера: «Мам, а ты скажи им, чтобы война перестала». Когда я вспоминаю, хочется сказать: «Пап, скажи им, чтоб война перестала».

Валька.

В июле 1942 года Валентину предложили идти радистом-разведчиком во вражеский тыл. Письма становятся короткими.

26.VII.42

Дорогие мамка и Иринка, жив-здоров. Чувствую себя прекрасно. Близится время призыва. И если в один день вы получите телеграмму о перемене адреса, а после этого с полгода не будете получать писем, не удивляйтесь и не тревожьтесь — всё в порядке вещей, и просто у меня не будет возможности связаться с вами. Не стройте никаких догадок, а тем более не хороните меня до получения официального извещения. Одним словом, если полгода или больше не будет писем, то я вас предупреждал. А пока крепко вас целую. Будьте живы.

Ваш Валька.

26.VII.42

Папка-тец! Кланяются тебе эльфы «родного» очага и посылают наилучшие пожелания.

Чтобы не показаться тебе сухим, сообщаю: погода, бывшая с неделю такой скверной, как характер подпоручика Дуба, теперь гораздо ближе к Иосифу Швейку. Я этому рад. Ну-с, теперь, отдав дань лирике, перехожу к делам.

Завтра в десять часов я вызван в райвоенкомат — очевидно, на предмет приписки и мобилизации. Мой выезд отсюда возможен в ближайшие полторы недели. Но, впрочем, черт его знает. Во всяком случае — в первой половине или даже декаде августа. Жму лапу.

Твой Валька.

Отец взволнован...

Получил твое письмо от 26.VII. Если тебя учли, то было бы тебе неплохо (если нужно, то при моем участии) подать заявление о приеме в военное училище. Какое? Интересна артиллерия — значит, артшкола. Интересна заводская работа — значит, в технико-инженерное училище. Стрелковое дело тебе уже знакомо. Химию ты, кажется,

знаешь не так чтобы. Хороши и химдела. Но артиллерия — наша традиция. Узнай, где есть шансы, когда нужно туда подать заявление и как это лучше сделать — тебе или мне? Это дела, которые заслуживают внимания: твоя работа в армии определяется сейчас, и, если у тебя будет возможность выбора, почему тебе не выбрать то, что больше подходит к твоим возможностям. Обо всем этом поразузнай хорошенько и подумай, чтобы действовать в направлении желательном.

Валентин успокаивает как умеет.

5.VIII.42

Папка-тец, жив-здоров, благополучен. Имею виды еще на неделю вперед, но не далее (это пока что).

Твое предложение поступить в военную школу неосуществимо по двум причинам. Во-первых, я не знаю в Ленинграде таковых, во-вторых, для этого нужно разрешение моего начальства, которое его, конечно, не даст.

Еще и еще читаю В. В.[1] Очень хороший поэт. Нет в нем ни сентиментальности, ни жеманства, ни ханжества. Простой, мужественный и очень лирический стих. Много в нем свежести. Жаль, что кончил он так рано.

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка! Вместо письма» — где тут грубость и вульгарность? Не найду! В. В. одобряется мною всё больше и больше.

Купил Вяч. Шишкова «Емельян Пугачев» и Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Если хочешь, подпишу что-либо тебе. Но ты, кажется, не любитель.

Валька.

8.VIII.42

Вызван в военкомат и назначен на четырнадцатое на комиссию. Весь этот день, очевидно, пройдет в хлопотах, несмотря на то, что комиссия, вероятно, ничего не изменит.

Сегодня был в музее на Первой Красноармейской и прослушал лекцию по немецкому оружию. Очень понравились их 52-миллиметровый ротный миномет и МГ-15 — пулемет-универсал. Эти вещи удобнее наших аналогичных. Демонстрировали и состоящее на вооружении немецкой армии союзное оружие — датский ручной пулемет. Это гроб в полном смысле слова. Одним словом — союзный.

Империалисты, как я и говорил, еще раз сукины дети. Думать-то они относительно второго фронта думали, а делали или очень мало, или совсем ни черта. Достукались, что их собственный народ говорит

[1] В. Маяковского.

о бездеятельности. Одним словом, «мореплаватели просвещенные», черт бы их побрал! Если второй фронт и откроют, то для рекламы или близиру — и только.

Валька.

Отец поясняет:

Валюшня!

Англичане-консерваторы всеми правдами и неправдами желают навязать народу «медлительность действий» из-за классовых интересов. Чутье же народа подсказывает необходимость немедленных решительных действий. Правительство в Англии не народное, но очень ловкое и скользит под нажимом снизу, как угорь. Но с немцами англичанам драться всё равно придется. И, может быть, в условиях менее благоприятных, чем сейчас, когда главные силы действуют на Восточном фронте. Размышляя об англичанах, помни, что их правительство сейчас вовсе не народное, а правительство консерваторов в основном. Народное правительство — дело будущего и не без революции. Сейчас только уступки массам со стороны консерваторов, чтобы остаться у власти.

Скепсис — вещь здоровая, когда дело касается твердолобых, и наша пословица «сам не плошай» — прекрасная пословица. Имей в виду, что, по сути, мы антитеза капитала. И он со скрежетом зубовным избирает меньшее из зол — помощь нам — с тем, чтобы в дальнейшем отыграться. Но объективно обстоятельства складываются так, что помощь от этих скрежещущих зубами всё же есть. А нам, Валюшня, нужно всегда надеяться на свои собственные руки. Это тяжко, но надежно. И всегда давало результаты плюсовые, хотя затраты были немалые.

Валентина волнует многое...

11.VIII.42

Добрый день, папка-тец! Питаю надежду, что ты тоже в добром здравии. Положение мое изменилось мало. Занят часа три, три с половиной в день. Чаще всего под вечер. Ем, сплю, читаю, слушаю радио. Кажется, всё в порядке. Сильно беспокоят дела на юге, Армавир, Майкоп — это нефть и Кавказ.

Одним словом, хочется о многом потолковать, «отвести душу», хотя это ничего не изменит.

Читаю как можно больше, и странно: всё меньше и меньше интереса. Слишком уж много искажений происходит в призме ума автора. Жизнь по книгам не узнаешь, а узнавать, что думал Ибсен по

поводу современного ему общества, над чем смеялся Иммерман, что казалось глупым Горацио, конечно, сто́ит, но не сейчас. Хотя, кто знает? Клоню я к тому, что в книге ты не увидишь жизни подлинной (беру, конечно, художественную литературу), а узнаешь отношение автора к тому или иному событию. Это интересно, но не всегда. Остается очень немного писателей, читаемых с интересом: Шекспир, Франс, Маяковский и еще два или три. И всё. Остальные раздражают или не доставляют особого удовлетворения.

...В жизни что нужно человеку? Ответ — бесконечно много. А в чем эта бесконечность? В количестве продуктов, которые он поглощает? В степени мнения о нем окружающих? Или, точнее, в степени самомнения? Великие мира сего, владеющие умением вскрывать и постигать тайны природы, что́ они делают? Они знают, почему винная кислота преломляет луч света влево, а не ведают, почему люди глупы, злы, жадны, завистливы, добродушны, щедры, приятны и неприятны; они не знают, почему человек — человек, а не роза без шипов, слива без косточки, ангел без крыльев. Почему?

Нагородив тебе такую кучу чепухи, я почувствовал желание пока ее не увеличивать. Кончаю.

Желаю тебе всего, чего хочешь.

Твой Валька.

Как и всегда, отец подсказывает, как разобраться в путанице мыслей.

Валюшня! Твое письмо от 11.VIII.42 получено и прочитано. О твоих вопросах — кое-что с точки зрения моей колокольни с учетом опыта других.

В художественном произведении ищи «как», а не «что». «Что» там всегда — ложь, ибо самое красивое яблоко на картине не съешь. «Как» — и есть сущность понимания мира художником, который может увидеть в нем не более того, что он может, т. е. только маленькую крохотку в самом поразительно выдающемся случае. Эти крохотки в массе и помогут понять объективное, высшую реальность. Но сколько нужно таких крохоток узнать? Восемнадцати лет для этого мало. За это время только научишься их выбирать и комбинировать; остается еще синтез, который можно более или менее определенно для себя наметить к годам двадцати пяти—тридцати после усиленного изучения фактов, фактов и фактов, изучения денного и нощного, с протиранием брюк на стульях и с вращением в людях разных чинов, званий и состояний.

Тогда примерно появляется некоторая уверенность в направлении

поисков, которые, конечно, удовлетворения не дадут, ибо чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, что нужно узнать еще больше. Однако узнавать и познавать очень интересно, и этим заниматься стоит всегда, независимо от того, что сознаешь безграничность познаваемого и ограниченность личного познания. И вот тут-то — вопрос о коллективе познавателей. Они-то, Валюшка, сделали многое. И выводы их работ узнать следует.

Подход к пониманию всего окружающего там дан наилучший из тех, какие мне известны. Советую обратить внимание на то, как общество использует художника в своих целях, и понять, что хотя использование творчества и творчество не одно и то же, но использование творчества есть тоже творчество.

Человек вне общества немыслим. Человек меряет общество. И если в твоих действиях нет антиобщественного, мешающего движению вперед, их стыдиться не нужно. Мера — общество, люди, выражающие это общество в его лучших, прогрессивных устремлениях. Их мнение — ценное мнение.

Папка-тец.

Подготовка к работе во вражеском тылу отнимает всё больше времени. Писать удается редко и не обо всем.

18.VIII.42

Дорогой папка-тец! Попутный ветер и некоторые обстоятельства заставляют меня удалиться на срок около семи дней из квартиры на Фонтанке. Встреча с тобой до двадцать четвертого — двадцать пятого августа вряд ли состоится. Я очень скорблю по этому поводу, но, что поделаешь, — ножками не упрешь. Я ждал тебя вчера вечером, но это к лучшему, что ты не прибыл, ибо сегодня в 12.00 я отбываю. Если нам придется встретиться, то немедленно после моего возвращения к пенатам, о котором я тебя извещу. Пока еду на дачу отдохнуть и собраться с силами. Ну, всего тебе хорошего. Пока и, надеюсь, досвидания. Жму руку.

Валька.

...И всё-таки тревожно Валентину в эти дни. Вот письмо отцу:

16.X. Вечер. 17.45.

После долгих тихих дней опять артобстрел. Но дело не в этом, да и вообще затрудняюсь сказать, в чем. Скорее всего опять заскучал. Привыкаю-привыкаю, а всё не привыкну сидеть в одиночку. Хочется перекинуться словом-другим, ну, вот и пишу. Тут уж, конечно, темы не ищешь.

Знаешь, очень трудно даже заниматься одному. Не в усидчивости дело. Вот сидишь-сидишь над неопределенными глаголами или там над переводом, и вдруг в ушах зазвенит — так тихо. Уставишься в одну точку и слушаешь, что делается на улице. Вспоминаю категорические требования тишины по вечерам прежде. Никогда не думал, чтобы тишина могла так мешать, т. е. не тишина, а пустота.

Пора возвращаться к английскому. Но вот еще мысль, приходящая в безмолвии. Не первый день идет так. Ждешь утра — оно приходит, и стараешься убить день. Заполнить его чем-либо, только не сидеть так. И вот читаешь, учишь, возможно, то, что никогда не понадобится. «Вещи, которые придут» или «Облик грядущего». Грядущее? В чем оно? А может быть, для меня его и не будет? Зачем оно? Что оно даст? И всё это без «интонаций», совершенно постороннее, а не мое, не меня касающееся. Абсолютный нуль... Критическая точка: остановка поступательного движения молекул — 273,4°. Холодный сине-прозрачный кислород, напоминающий воду. Разбитый сосуд Дюара. Иней на осколках... Снежный блик на полу. Чей-то очень маленький и изящный туфель, ровные дорожки на гамашах. Серая высокая печь с черной дверцей, яркий огонь... Никель волшебного фонаря, красное дерево столика-подставки. Черная рубаха и красный галстук, перехваченный зажимом. Длинное яйцеобразное лицо. Вылупленные глаза и... стол, листок бумаги. Я. Везде — я.

Я пишу, думаю о тебе, а ты, возможно, занят и совсем забыл меня, мать что-то делает. Всё это совершается в семнадцать часов с минутами шестнадцатого. Параллельно. Странно. Может быть, этого нет? Может быть, это действительно продукт моего воображения? Но, кажется, нет. Холодновато. Какая чепуха! А если войти с мороза в комнату с этой же температурой, покажется тепло. Значит, верно? Мое воображение? И только. Но вот что реально: за окном в сумерках взорвался снаряд. Багровый отблеск. Темно. Писать трудно. Кончаю. Это, па, мои мысли. В том порядке, как они шли. Мне показалось любопытным записать это «подсознательное».

Валька.

Из писем отца:

Валюшня! Хотел сказать тебе вот что: проблема сущности и явления — это очень любопытная проблема. Если бы мы ее не научились различать, то были бы кретинами, знающими только данные явления и не соотносящими их. И вот, когда научишься видеть в явлении некую сущность и представлять себе сущность, воплощать ее в явление, то тогда многое очень легко понимается.

Судя по твоим писаниям, тебе пора взяться за систематическое чтение руководства по диамату.

Пришла пора прощаться...

Почитай также хрестоматийные материалы из классиков марксизма-ленинизма, если нет возможности читать книжки целиком. Очень хорошо прочесть «Диалектику природы» Энгельса. Она лежит у меня на столе. Философией заниматься будет нелегко. Чтение книжек по философии в твои годы — очень нелегкое дело, насколько сужу по личному опыту. Попробуй-ка почитать что-нибудь из философов и их историков.

Только не ударься в метафизику. Держись поближе к земле, к фактам. Они великие учителя. Будь жив и здоров.

Папка-тец.

Декабрь 1942 г.

Папка-тец! Я сейчас направился в спецшколу повышать квалификацию. В программе дальнейшее овладение ключом и рацией. Школа, по моим данным, находится в Ленинграде. Возможно, что буду бывать дома, но сроки мне неизвестны. Пока наверняка буду двадцать пятого с. м. Дальнейший маршрут тебе известен столько же, сколько и мне. Возможно, что больше встретиться в сорок втором году не придется. Если будут сроки, то буду сообщать по мере возможности. Матери и Иринке написано о том, что я командирован военкоматом.

Имея перспективы такого рода, полагается по правилам хорошего тона попрощаться. Я это не считаю лишним, но нахожусь в затруднении перед способом. Каждый срок имеет свои особенности. Прощаться навсегда я — то ли по легкомыслию и самоуверенности, то ли по другим, еще менее обоснованным причинам, — не хочу. «Костлявая» была страшна в четыре года, в восемь лет, когда без папы даже во сне я с нею справиться не мог. Теперь же мы еще посмотрим, кто кого. Так вот. Прощаюсь — на долгий срок. И просьба к тебе и к маме: при самых неблагоприятных условиях меня не хоронить до тех пор, пока вы не увидите кого-либо из очевидцев или если даже и после освобождения области слухов обо мне не будет пять лет. Я же думаю приветствовать всех вас по возвращении в сорок третьем году. Писать завещание, я думаю, еще успею и тут ограничиваюсь только тем, что придет в голову.

Кто его знает, почему, но, несмотря на мою уверенность в благополучном исходе, мне хочется потолковать кое о чем и написать пару-другую слов. Возможно, потому, что люди, за редким исключением, любят писать жалкие сло́ва.

Вот чем их меньше, тем лучше. А посему кончаю.

Валентин.

30.XII.42 (Записка, оставленная дома для отца).

Папка-тец! Донельзя доволен твоим появлением в пределах Ленинграда. И очень встревожен заключением комиссии. Что, как и почему? Старое или иное еще что-либо? [1]

Новости у меня. Дело, о котором мы столько толковали, провалилось не по моей вине. Полет с этой целью отпал. Сейчас я в партизанском отряде радистом. При посторонних именуюсь Михайловым Сашкой. Наш вылет в конце января. Район неизвестен. В Ленинграде, дома, буду 15 января 43 г. Информирую подробнее. В смысле переписки я в тяжелом положении. Пиши в Тетюши и сообщай, что я жив, здоров и благополучен. Тебе о сем пока рапортую лично, позже будут извещать из радиоцентра по моим радиограммам.

Сына ждет трудная жизнь, и отец стремится помочь хотя бы добрыми советами.

Валюшня! Мне хотелось бы, перед тем как сказать до свидания, потолковать с тобой о многом. Прежде всего о «костлявой». Ее, конечно, нужно забить, чтобы она стала пугливее.

Тот, кто пугает тебя, может быть, испуган тобою сам до потери сознания, если ты уничтожишь в себе страх. Бабка Григориха однажды пугала меня и дядю Ваню, ставши на четвереньки и покрывшись рядном. «Подкровать» укрыла нас надежно от страшного страха, но перешедший в контратаку Иван Митрич благословил страх-Григориху костылем покойного родителя нашего так, что Григориха взревела, кинулась вон, на печь влезла и пожаловалась Катерине Петровне на нас. Мы же удивились и своей смелости и поражению страшилища. С «костлявой» ты уже встречался много раз. И ей от тебя досталось больше, чем тебе от нее. Перевес на твоей стороне. Тем больше оснований стебануть по ней сейчас, когда ты стал «немножко» побольше и поопытней. Круши ей кости при всяком удобном случае, черт ее побери, и чихай на нее до самого конца. Когда бы он ни наступил, его лучше всего встречать в действии, в драке, а не в дрожи, в бездействии.

Пара слов о поведении связиста-радиста. Больше всего бойся, чтобы твоим аппаратом не воспользовался враг любого типа, потому что крикнуть по радио можно на весь свет. Не позволяй никому браться за него без санкции соответствующего начальства и в этом отношении будь неумолим. В журнале отмечай время работы другого на твоем аппарате и формами приема сдачи дежурств не пренебрегай.

---

[1] Медицинская комиссия освободила М. Д. Мальцева по состоянию здоровья от воинской службы.

Это я говорю не к тому, что все, тебя окружающие, имеют желание выступить в качестве агентов другой стороны, а к тому, что тебе нужно быть бдительным.

Чуточку о гигиене. Старайся почаще стричься, мыться и выбивать гнид и вшей. Особенно следи за тем, чтобы в морозы ноги не обморозились; почаще их мой, суши портянки и держи в чистоте. Без надобности не таскай резиновую обувь. Она нужна только в слякоть, чтобы не промочить до простуды ног.

О действиях. Не бойся ничего, но не лезь куда зря вылупив глаза. Лучше всего — это дать врагу по морде, не получив от него сдачи. Сие же легче всего сделать при полной небоязни ударить и при умении сманеврировать при ударе. К действиям готовься сам и готовь других: оружием владеть нужно превосходно, ибо это определяет количество шансов на благоприятный исход драки для тебя; а ты без окружения, одиночкой, многого не сделаешь. Если сам стреляешь хорошо, тяни всех до этого предела. В этом их и твое спасение от лишних бед.

Папка-тец.

Было Валентину восемнадцать лет...

7.III.43

Милая мамка! Не писал тебе вечность, но не потому, что ленился. Не сердись, пожалуйста. О себе: жив, здоров и т. д. У отца бываю довольно часто.

Я работой доволен. Очень интересная и живая, хотя образования не дает никакого и, хуже того, заставляет забывать полученное прежде. Об этом ты можешь судить хотя бы по речевым оборотам письма. Успокоив тебя за мою физическую целость, хочу написать еще кое-что, чтобы ты не беспокоилась за мою нравственность. Это нечто вроде исповеди, и у меня просьба оставить ее между нами. Ты скорее поймешь меня, чем отец, хотя он очень внимателен ко мне, а Ирке, той и рано, и не ее лет дело.

Ма, ты помнишь, у меня были месяцы, когда я бывал очень груб. Дело прошлое, и о нем можно писать совершенно просто. В эти месяцы и годы во мне пробудилось страшное отвращение ко всем дамам вообще. Малейшая попытка оказать мне внимание действовала на меня, как дубина, которой пытаются приласкать кого-либо. Мне не нужно было внимание, или общество, или, боже упаси, близость когонибудь. И вот не так давно я встретил одну девушку. Не знаю, но я почувствовал, что ее внимание мне приятно, и на него я не хотел и не мог ответить безразличием. Я и сейчас не стыжусь написать, что вечера, проведенные нами вместе, когда мы сидели рядом, рука об руку и говорили о чем угодно, остались для меня дорогим воспоми-

нанием. С нею я мог быть, как с тобою: положить голову на колени, приласкаться, рассердиться, поссориться, не говорить — и знал, что это неприятно не мне одному. Мне было безразлично, хорошая ли она вообще или нет, я чувствовал, что для меня она хорошая, простая, и больше не нужно было ничего. Это был человек, понимавший меня. Я писал тебе об этом, но отправить не сумел.

Ма, в тот день, когда она умерла, было очень тяжело, тем более, что последнее, что она сказала, было обо мне и ко мне: «Сашенька, Сашенька, ухожу. Ждала тебя, упрямого, долго и не дождалась. Хотя это и лучше, я знаю, что именно поэтому ты всегда будешь думать обо мне хорошо, а я больше ничего и не хочу...»

И только тут я в первый раз поцеловал ее. Через несколько минут она умерла. Вообще это напоминает сцену из плохой мелодрамы, которые меня всегда злили. Но в жизни бывает как раз то, чего больше всего избегаешь. Было очень тяжело, и сейчас, через два месяца, я никак не хочу верить в то, что это прошло и не вернется. Если найдешь «Ингеборг» Келлермана — прочти. Она очень напоминает мне то, что было.

Мама, я написал тебе много и просто, знаю, ты не поймешь меня наоборот и, конечно, не расскажешь об этом ни отцу, ни Ирке. Они ведь не видали ни «Тени», ни «Малыша» и вряд ли увидят здесь то, что было, что знаю я и что поймешь ты.

Валька.

Через неделю отец, вернувшись с работы, нашел записку:

14.III.43

Очень поспешно уезжаю. Не было времени проститься, не сердись. Домой больше не зайду, хотя это не окончательно еще, но в Ленинграде больше не буду. Значит, до свидания. Туда[1] я не писал. Сделай это ты. Вообще же — пока. Будь жив, здоров и благополучен. Знамя гвардии держать высоко и не забывать меня и 1942 года, хотя он и прошел. Биться до тех пор, пока глаза видят! И несмотря ни на какие обстоятельства и слухи! Ну, еще раз жму твою могущественную руку, обнимаю и целую. До лучших дней и радостной встречи.

Твой В.

Потом пошли письма с дороги.

Милые мамка и Иринка! Пишу из Хвойной, куда приехал 16 марта в 21.00. Я примерно на год могу пропасть из виду, но не смущайтесь, это в порядке вещей. Меня не отпевайте, так как я твердо рассчитываю побывать на Иркиной свадьбе и на серебряной маминой.

[1] В Тетюши.

Одним словом, готовьтесь пьянствовать. А пока до свидания и надолго. Целую столько, чтобы хватило на отсутствие. Ма, я тебе написал письмо с разными историями, кои ты прочти, но близко к сердцу не принимай. Мертвым — вечная память, живым — жить на земле. Пока, родная, целую. До свидания.

Сын Валька.

* * *

Это — последнее письмо. Из вражеского тыла письма не приходили.

И хотя Валентин регулярно связывался с «большой землей», передавал сведения о движении вражеских эшелонов, о дислокации гитлеровских частей, радиограмм семье не было: на них не хватало времени и батарей для рации.

В августе 1943 года группа М. И. Ляпушева, в которой находился Валентин Мальцев, выполнила задание и получила приказ возвращаться.

Недалеко от линии фронта встретились с другой группой. В ней был больной. Чтобы раздобыть для него еды, зашли в деревню Петрово и наткнулись на полицаев...

Валентин прикрывал отход.

Пользуясь темнотой, с одним пистолетом, он сдерживал полицаев, пока не был тяжело ранен одним из предателей — Иваном Андреевым. Чтобы не попасть живым в руки врагов, Валентин выстрелил себе в висок.

На этом можно было бы и закончить историю Валентина Мальцева — комсомольца, партизана Отечественной войны. Но история на этом не кончилась. Живым жить на земле, продолжать дела павших!

Через много лет после войны бывший гитлеровский полицай Иван Андреев был опознан в Калининградской области. Следствие по делу Андреева вел Зосим Иванович Будилов. По его просьбе Иринка, к тому времени уже диалектолог Ирина Михайловна Мальцева, выслала в Калининград последние письма Валентина. Они вернулись с ответом Будилова:

14.I.55

Ирина Михайловна!

Возвращаю вам в полной сохранности письма. Кроме того, прилагаю по два экземпляра фоторепродукций с фотографий Валентина, сделанных с фотографии, имевшейся у него на паспорте. Присланные вами документы оказали большую помощь в выяснении истины, за что вам большое-большое спасибо. Теперь картина стала полной.



Первая зелень с импровизированного огорода на балконе.



Ленинградцы используют любую возможность, чтобы эвакуировать детей из города.

Ваш брат — Человек с большой буквы. Жаль, что его молодая, полная сил и энергии жизнь оборвалась так рано. Но, несмотря на величайшие трудности и опасности, которые встретились на его пути, он не спасовал. Валентин и его друзья по оружию приложили все усилия к выполнению задания. Люди, достойные не только презрения, но виселицы, выдали его. Что он мог сделать, оставшись один, тяжело раненный, среди врагов? Трус, конечно, в его положении поднял бы руки. Но он и здесь проявил храбрость, не давшись врагам живьем. Финал его героической жизни вам известен.

Ну, кажется, и довольно, а то я уж написал слишком много. Правда, о Валентине можно бы написать действительно много, его образ поучителен для нашей молодежи, но, к сожалению, я не владею талантом писателя.

Итак, мой вам совет: не впадать в уныние, не жалеть Валентина, — надо уважать его, гордиться им, следовать примеру его героической жизни.

С искренним приветом *Будилов.*

ВЕРА ИНБЕР

ТОВАРИЩ ЛЕНИН

Он не украшен свежими цветами,
Ни флагов, ни знамен вокруг него, —
Укрытый деревянными щитами
Стоит сегодня памятник его.

Он мог бы даже показаться мрачным,
Но и сквозь деревянные щиты,
Как будто стало дерево прозрачным,
Мы видим дорогие нам черты.

И ленинских бессмертных выступлений
Знакомый жест руки, такой живой,
Что хочется сказать: «Товарищ Ленин,
Мы здесь, мы отстояли город твой».

Лавиною огня и русской стали
Враг будет и отброшен и разбит.
Мы твой великий город отстояли, —
Мы сами встали перед ним, как щит.

И близится желанное событье,
Когда тебя опять со всех сторон,
Взамен глухого, темного укрытья,
Овеет полыхание знамён.

Ты будешь вновь приветствиями встречен,
Как возвратившийся издалека.
И вновь, товарищ Ленин, с краткой речью
Ты обратишься к нам с броневика.

Все захотят на площади собраться,
И все увидят жест руки живой,
И все услышат: «Слава ленинградцам
За то, что отстояли город свой!»

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВ

ШАЛАШ ИЗ ГРАНИТА

Однажды наше подразделение вывели с передовой. Было приказано следовать в тыл, двинув с собой снегоочистители. Стояли морозы, навалило много снегу, вдобавок несколько дней и ночей свирепствовала вьюга. Дороги, служившие для подвоза к передовым линиям боеприпасов и продовольствия, сделались непроезжими, а иные и совсем пропали под снежным покровом. Всё это очень осложнило боевую деятельность войск, и саперы всего фронта, — а нас было немало, — были брошены в бой против снегов.

Саперы расчищали дороги, и, признаться, для моего подразделения оказалось неожиданным, что нас послали в сторону от дороги, — к озеру Разлив. Недоумение возросло, когда близ места назначения мы повстречали артиллерийский полк, передвигавшийся по тылам с целью перемены позиции. И как раз он шел со стороны Разлива. Если артиллерия прошла — значит, путь в порядке? А мы со снегоочистителями... Непонятно! Но приказ есть приказ — обязаны прибыть в Разлив.

Чтобы стало ясно дальнейшее, надо представить себе этот полк. Я видел его в самом начале войны. Он имел орудия на конной тяге. Это обеспечивало в условиях болот повышенную маневренность: кони способны лихо развернуть орудия на такой позиции, где мехтяга увязла бы. Ах, что это были за кони!.. Рослые, с могучей грудью. Шея дугой. А ноги такие мохнатые, будто над копытами у коней морские клёши. Идет четверка таких коней, пританцовывает, словно и тяжесть орудия ей нипочем, азартно разбрасывает с удил хлопья пены... Даже танкисты, даже летчики, на что уж люди моторизованные, и те встречали и провожали полк восхищенными глазами.

Я не видел этот полк лишь несколько месяцев. Но где же кони? Ни одного. Сразила бескормица. А вражеский обстрел доконал... В артиллерийских упряжках на месте коней сами артиллеристы. Одни толпой облепили дышло и тянут передок с орудием, другие, теснясь, нажимают сзади, помогая руками, обернутыми от мороза в тряпки,

катиться орудийным колесам. Лица у бойцов изможденные, с глубокими темными глазницами, — печать блокадной голодовки.

И всё-таки орудия двигались в строгом порядке, безостановочно, выдерживая друг за другом уставную дистанцию. Каких усилий это стоило людям, можно было только догадываться...

Впереди полка колыхалось развернутое бархатное знамя. Там же с высоко вскинутой головой, позвякивая шпорами, шагал его командир. Взгляд его выражал и гордость за своих людей, и в то же время затаенное страдание. «Посмей только кто-нибудь понасмешничать над полком, — предостерегал этот взгляд, — только посмей!»

Прокаленные морозом стволы орудий были пушистыми от инея. Все артиллеристы — и молодые, и старые — одинаково выглядели седоусыми или белобородыми. Даже шинели от клубившегося дыхания густо заиндевели. И стоило полку совсем немного удалиться, как и орудия, и люди словно растворились в снежном безбрежье. Только алая капелька знамени как бы продолжала плыть в воздухе.

Полк прошел. А рассказ о нем, собственно, только здесь и начинается...

Когда наше подразделение, приближаясь к Разливу, сделало последний привал, навстречу вышел проводник из близ расположенной дивизии. Он и уточнил задание. Оказывается, из-за снежных заносов прекратился доступ к ленинскому шалашу. А дорогу туда надо держать открытой. Перебрасываемые с «большой земли» в осажденный город для пополнения молодые бойцы требуют, чтобы их прежде всего свели к шалашу. Присягая на верность Родине у шалаша, солдат как бы самому Ленину давал клятву победить или умереть.

Пока наши механики готовили снегоочистители к делу, мы, несколько человек, встали на лыжи, чтобы ознакомиться с предстоящей работой. Двигались, увязая в сугробах и то и дело запутываясь ногами в прутьях лозняка, тонких, как силки. Вдруг покатились вниз... Глядим, мы во рву. Нет, это не ров... Мы стоим на обнаженной от снега промерзшей поверхности болота. По всему видно, что здесь совсем недавно тоже высились сугробы. А глубина снега, как показали сделанные нами с лыж промеры, в этом районе достигала двух метров. И вот мы видим — снежные горы раздвинуты в стороны... Что за чудовищная сила действовала здесь? Машины? Но на размятых, истоптанных снежных откосах многочисленные следы падения людей...

Всё разъяснилось у памятника. Здесь, перед гранитным монументом-шалашом, воздвигнутым ленинградскими рабочими в десятую годовщину Октября, мы увидели на земле немецкую каску. Сквозь каску был вбит в землю прочный березовый кол. И на нем, на фанерной доске, надпись, сделанная разными почерками:

Товарищ Ленин! Будь спокоен за нас.
Клянемся: Ленинграда им не видать.
Березовый кол в башку фашистов!

Молодые бойцы-призывники,
а также старослужащие
Н-го конноартиллерийского полка.

Мы переглянулись, как виноватые. Хотя и не в чем было себя упрекнуть: пришли в срок, без опоздания, приказ выполнили точно. И всё-таки на душе была горечь. Не дождались артиллеристы саперов. Не дождались снегоочистителей. Сами проложили дорогу к ленинскому шалашу. Да еще с орудиями, в полном строю... Если бы не видеть собственными глазами раздвинутых снежных гор, не поверилось бы, что человек способен сотворить такое плечом и грудью.

Не дождались саперов... И вдруг мне подумалось: а может быть, у шалаша они и не желали помощи?

ВСЕВОЛОД
ВИШНЕВСКИЙ

БЕЛЫЕ НОЧИ

Небо северное — серо-зеленоватое, и лишь его западный край будто объят пожаром. Погода штилевая... Ленинград затихает в вечернем покое, и неповторимый звук ускоряющего свой бег трамвая летит по прямому Приморскому проспекту, летит к берегу, к постам... Он слышен, этот звук, в белую ночь и врагам, — биение жизни великого и недоступного им города.

До самого конца мая стояли холода, и приход лета казался страшно далеким... Люди внимательно, с особым чувством, с напряжением глядели на пробивающуюся траву, на распускающиеся почки. Природа говорила Ленинграду, который с упорством пробивался из-под холодных, ледниковых наслоений, что жизнь восторжествует!.. И вот пахнуло теплом.

Завершается годовой цикл войны. В июне 1941-го показались первые вражеские самолеты на подступах к Кронштадту, и вот снова июнь... Высоко в небе аэростаты заграждения. Вечерняя толпа на проспектах и бульварах... Ленинградцы дышат теплом, они не изменяют привычкам, и с дач, где роют новые окопы и новые огороды, везут зелень, букеты, ветви, и вдоль тротуаров струятся нежные медовые запахи цветов. Низкие рокочущие раскаты с моря... Это бьют наши. Крякающие тяжелые звуки — «это бьют по городу»... Но мыслимо ли разрушить этот колоссальный город из гранита, мыслимо ли нарушить привычки, ритм жизни людей этого города?

Снаряд выворачивает трамвайные крестовины, рвет провода. На углу утром открывается первый летний киоск с водами, и ремонтники — первые потребители этих вод.

Садовники делают новые посадки деревьев. Хозяйки моют окна. Рыболовы налаживают удочки. Ребята гоняют футбольные мячи — и хороший удар форварда, конечно же, важнее для них, чем немецкий снаряд... «Какая невидаль...» И вот эта простая, обыденная жизнь миллионов людей, свершивших свой зимний подвиг на «папанинской льдине» и под обстрелом вступающих в новый цикл, важнее всего. Это основа нашей борьбы и боеспособности.

Судите сами о душевной силе ленинградцев... Открываются летние художественные выставки. В Доме Красной Армии почти двести работ художников-окопников. Даю вам слово, что эти работы глубже, совершеннее всех прошлых наших выставок. В них батализм, условность, парадно-маневренный стиль властно вытесняются правдой войны. И глубинная народная выдержка, и окопный быт, и патетика схваток, и балтийские пейзажи, и сложность и стремительность боев, и десятки портретов, глядящих на вас твердым, ровным взглядом (даже со вздрагивающих и колеблемых стен), — это первые шаги нового, великого, послевоенного советского искусства. Ни одно имя экспонентов неизвестно, а выставка захватывает, и волнение овладевает всем твоим существом... Какая же силища у народа, у города, если в такой блокаде он создает новое искусство... Я бы хотел, чтобы это видели англичане и американцы: они много нового поняли бы в дополнение к тому, что они уже узнали о нас.

Начался летний концертный сезон... Тяга в театры необыкновенная, и за билет в оперетту дают двойной хлебный паек, — это просто удивительно. Ленинградские кинооператоры, сделав первый фильм о Ленинграде, начали съемки второго: о боях Балтийского флота. Они ставят себе целью снимать бои, бомбежки, атаки, труды балтийских моряков, начавших вторую кампанию. Фронтовой театр — «Агитвзвод» Б. Бродянского — едет на передовые с 1000-м спектаклем. Режиссеры, артисты и авторы Ленинграда — нашли свое место в борьбе.

31 мая в Ленинграде был первый в сезоне спортивный день. Команда «Динамо» и одна заводская команда вышли на поле. Динамовцы сделали «сухарь» своим противникам. Счет был 6 : 0.

На заводе по новому способу добывают и льют металл, удивительные вещи изобретают... Я на днях спросил друзей: «Ну, определите мне: во сколько раз повысили вы ученые технические нормативы, которые были, скажем, 21 июня 1941 года?» — «Ну-у... Да раз в пятнадцать!» — «Значит, до войны мы тут чего-то недоделали, были расточительны, тратили в пятнадцать раз больше времени, сил и средств, чем надо?» — «Точно...»

Ленинград за прошедший год устроил глубокую проверку — и своим кадрам, и методам работы. В борьбе Ленинград, и так достаточно закаленный, находит новые источники энергии. Город стал воистину военной коммуной, способной к любым делам войны. Он отстоял себя от натиска полумиллионной армии. Он уберег себя от пожаров. Он не замерз во льдах и стуже. Он создал ледовую дорогу и прокормил себя. Он сохранил нужные производства. Он сделал важнейшие технические открытия. Он сохранил чистоту и абсолютный порядок. Он творит искусство...

Тихо на взморье. Гитлеровцы, вперив тоскливо-усталые, голодные

взоры на близкий и такой далекий город, караулят выходы. Занятие напрасное. Балтийские моряки пройдут, куда им надо.

Раскатистый гром бежит по штилевой воде, ему внимают чесменские орлы в бывшем Царском Селе: они узнают русский морской разговор и запах порохового дыма. Это бьет Кронштадт, и фашисты лезут в землю, до грунтовых вод.

Балтийцы вышли в море. Над заливом — взмывающий рев моторов, как старое русское «иду на вы!»... В крови нетерпеливое бурление, молодое, неукротимое: «Мы вас, фашисты, доломаем!»

Думалось: как начнутся новые бои в эти летние дни, в эти белые ночи? Они начались без «раскачки», — как прямое продолжение осенних накаленных схваток. Под навесом из скрещивающихся на десятки километров траекторий, в рычании обоих берегов залива, в вое самолетов, в дымовых завесах. Вымпелы взвивались один за другим. «К выходу в море готовы!..» Комиссии, как консилиумы профессоров, выстукивали и выслушивали все агрегаты кораблей, были придирчивы... Но ремонт флота был сделан, — ледниковая стужа и мгла были побеждены... Воистину, это был капитальный ремонт.

В море, братья балтийцы!.. В море, — со всей силой военной страсти!

И в море пошли тральщики и катера первыми. С одного участка противник стал бить сильным огнем. Белые фонтаны взлетали, сея раскаленные осколки. Катера поставили дымовую завесу... Враг хотел огневым шквалом парализовать выход балтийцев, перетопить их или заставить обратиться вспять. Эта задача не по силам противнику. Балтийцы шли сквозь разрывы... Порывы ветра сбили завесу дыма. Образовался просвет... Корабли, шедшие на операции, стали видны противнику... Новый шквал огня. Лейтенант Окопов решил своим телом закрыть «окно» — он повел катер в адовое кипение моря и снарядов. «Окно» было закрыто... Лейтенант Окопов отдал жизнь Родине и флоту. Корабли выполнили боевое задание.

Наступательный, горячий порыв... В одной операции вышла из строя паровая магистраль. Отсеки наполнились нестерпимым жаром. Дыша, как на верхней полке парильни, люди продолжали стоять на постах. Их лица были темно-красными и мокрыми. Тогда шагнул вперед молодой коммунист Фрейдин: «Берусь исправить магистраль». — «Опасно для жизни. Учитываете?» — «С физикой знаком как будто. Иду...» Считали дело невозможным: работать в узкой щели, накаленной до 80 градусов. Фрейдин надел асбестовую рубашку и пошел в щель... Распаренное тело могло разбухнуть, и тогда человек не вылез бы... Фрейдин работал три с половиной часа. Он, задыхаясь, страшный, вылезал иногда, пил воду, делал несколько глот-

ков воздуха — и возвращался обратно. Работа была сделана... Корабль идет в море.

Драки идут жестокие... «Охотник» старшего лейтенанта Панцырного был атакован в море пятью «мессершмиттами»... С неба пролился поток зажигательных пуль и снарядов. Первый ответный выстрел Алексея Молодцова. У «мессершмитта» отлетает хвостовое оперение... «Иди в воду, не порти воздух...» Самолет со свистом врезался в воду, всплеск, шипение мгновенно образовавшегося пара, пузыри, масляные пятна, волна, другая, — и всё тихо, и нет следов. Второй истребитель зашел сзади и прострочил катерников по спинам. Двое раненых, бежит кровь, — моряки не сходят с постов и продолжают вести огонь. Пикирует, ревет мотором и бьет третий истребитель. Его встречает Федор Клочко и длинной очередью прошивает мотор истребителя. Он задымил, отвернул и потянул к берегу. У берега он качнулся и упал... Балтийцы ждали четвертого и пятого, — они не пошли на штурмовку.

Фашисты в эти начальные дни второй боевой кампании пробовали делать налеты на Кронштадт. Между 18 и 23 сентября прошлого года им крепко досталось... «Звездные» их налеты были отбиты. Старый славный Кронштадт хорошо огрызнулся и дал лапой.

На постах службы наблюдения и связи стоят внимательные и зоркие люди. Они не опускают биноклей, не отходят от стереотруб ни при обстрелах, ни в непогоду, ни при бомбежках. Бывает — бросит воздушной волной, стукнет, — отряхнется человек и опять следит за небом... Набегут тучи, потемнеет белая ночь, видимость плохая... Жди врага!.. Ты должен оповестить крепость, флот, город... Ползет туман, всё цепенеет в тишине, цепенеют и вслушивающиеся сигнальщики Кронштадта.

Шум моторов... Чьи?.. «Наши... Летают, черти, в такую погоду...» — «Значит, надо...» Истребители пронеслись, что-то высмотрев. «Скопление в районе У. Движение по шоссе...» Надвигалась ночь, было мглисто... «Отличная погода для внезапного удара...» Истребители взлетают с аэродрома и застигают вражескую мотоколонну на марше. Двенадцать машин, набитых пехотой и боеприпасами, взлетают на воздух... Огненные столбы, зарево пожара, мечущиеся фашисты. Еще одна волна истребителей, довершающих ночной налет.

Будем ждать ответных визитов, — фашисты приходят на следующий день. Их ловят прожекторы, их бьют зенитки, крупнокалиберные пулеметы, их бьют из винтовок. Стреляют теперь с навыком и холодным ожесточением, без прошлогодней суеты. Стреляют всё лучше. Одна машина ввинчивается в залив, другая, третья... Взрывается сброшенная фашистом впопыхах мина... На шлюпку кидаются выделенные: «Уха имеется», — стрельба идет жестокая, холодная. В воду врезается еще одна машина, еще другая... Кто-то аплодирует, потом спо-

хватывается, хватает винтовку и стреляет опять... «Упреждение брать! Три корпуса». — «Берем». Цветные фонтаны трассирующих снарядов. Еще одна машина. «Это вам начало лета 42-го года, герр Геринг, а не иллюзии 1939-го...» Шлюпка доставляет оглушенную рыбу, — это пока всё, что поддается геринговскому оглушению.

Временами попадается один из геринговских визитеров. Грязный комбинезон, такое же белье. Широкое лицо, понурый взгляд. Прусская стойка. Год рождения 1920-й, сын мастера автомобильной фабрики, Шторц Вернер, из Фридрихсхафена.

— Так точно, пикирующий бомбардировщик.

— Отряд, эскадра?

— Пятый отряд, двадцать второй эскадры капитана Крюгера.

— Сколько боевых вылетов?

— Пятнадцать... Я только хотел разведать погоду и...

— К делу. Сколько самолетов осталось в отряде?

— Было десять.

— Ответ не по существу.

— Осталось два.

— Вы третий?

— С моим два.

— Свой забудьте. Итого сколько?

— С моим два.

Тут поневоле люди смеются... Здоровые, сильные, опытные кадровые истребители — Сербин, Бискуп, Корешков, — они смеются.

Погромыхивает один из фортов... «Снайперский...» — «А как такого назвать: снайпер для ихнего калибра мелковато, неудобно...» — «Снайперище» — «Мм... Снайпер-гигант?..»

Вслушиваются и всматриваются в серо-зеленую сумеречную даль сигнальщики... Где-то высоко проходят с ровным звенящим гулом наши дальние бомбардировщики... На Запад! В Доме Красного Флота идет оперетта... На ночную учебную стрельбу идет рота моряков. «Воздух!» Все по обочинам дороги... «Быстрее, еще быстрее! Встать!..» Это учеба. Снова шаг, ровный, крепкий... «Газы!..» Рота готова к бою и в этих условиях...

Мелькнул на мгновение огонек... В ночи, которая длится часа два, скользнули силуэты кораблей. На Запад!.. Быть сегодня немецким и финским транспортам на дне.

...Синие вспышки трамваев над Ленинградом, и в 11 ночи во все рупоры города, во все стороны огромного «кольца» в лицо врагам гремит пылающий, как дух Ленинграда, «Интернационал»...

ВСЕВОЛОД
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

НАД ЛАДОГОЙ

Средь облаков над Ладогой просторной,
Как дым болот,
Как давний сон, чугунный и узорный,
Он вновь встает, —
Рождается таинственно и ново,
Пронзен зарей,
Из облаков, из дыма рокового
Он — город мой.
Всё те же в нем и улицы, и парки,
И строй колонн,
Но между них рассеян свет неяркий,
Ни явь, ни сон,
Как будто жизнь здесь призраком застыла,
И, не дыша,
В последний раз на всё, что так любила,
Глядит душа.
Его лицо обожжено блокады
Сухим огнем,
И отблеск дней, когда рвались снаряды,
Лежит на нем.
Сквозь голод, тьму и смерть походкой твердой,
Надеждой жив,
Пройдет он, головы, взнесенной гордо,
Не преклонив,
И как ни душит в ярости напрасной
Его беда,
Предстанет нам, бессмертный и прекрасный,
Как никогда.
Всё возвратится: островов прохлада,
Колонны, львы,
Знамёна шествий, майский шелк парада
И синь Невы.

И мы пройдем в такой же вечер кроткий
Вдоль тех оград
Взглянуть на шпиль, на кружево решётки,
На Летний сад.
И вновь заря уронит отблеск алый,
Совсем вот так,
В седой гранит, в белесые каналы,
В прозрачный мрак.
О город мой! Сквозь все тревоги боя,
Сквозь жар мечты,
Отлитым в бронзе с профилем героя
Мне снишься ты.
Я счастлив тем, что в роковые годы
Я был с тобой,
Что мог отдать заре твоей свободы
Весь голос мой,
Я счастлив тем, что в пламени суровом,
В дыму блокад,
Сам защищал и пулею, и словом
Мой Ленинград.

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

В ДНИ БЛОКАДЫ

Из путевого дневника

ГОРОД ВЕЛИКИХ ЗОДЧИХ

На всю жизнь останется в моей памяти этот вечер конца апреля 1942 года, когда самолет, сопровождаемый истребителями, низко-низко шел над Ладожским озером, и под нами на растрескавшемся, пузырившемся и кое-где уже залитом водой льду открывалась взору дорога, единственная дорога, в течение зимы связывавшая Ленинград со страной. Ленинградцы назвали ее «дорогой жизни». Она уже сместилась, расползлась и местами тоже была залита водой. Самолет шел прямо на дымный, багровый, расплывшийся шар солнца, а позади, на всем пространстве оставленного нами берега, лежал на верхушках хвойного леса весенний, нежный свет заката.

«Ленинград! Каким я увижу его? Каким он стал после всех трудностей первой военной зимы? Как выглядят его дома, улицы? Что передумали и перечувствовали за это время его люди? И каковы они теперь, эти люди?»

Такие мысли и чувства теснились в моей душе.

По сообщениям советской печати и по рассказам очевидцев я знал, сколь жестокой была зима 1941/42 года для ленинградцев... Люди голодали и умирали от голода. Топлива едва хватало для поддержания наиболее важных промышленных предприятий, наиболее крупных госпиталей и совершенно необходимых учреждений. Весь город стоял без света, обледеневший. Трамвай не ходил. Водопровод и канализация не действовали. Улицы поросли толстой, в метр толщиной, ледяной корой, были завалены снегом и отбросами.

Вид пешехода — мужчины, женщины или подростка, везущего детские санки с прикрученным к ним телом покойника, обернутым в одеяло или кусок полотна, — стал обычной принадлежностью зимнего ленинградского пейзажа. Вид человека, умирающего от голода на заснеженной улице, стал не редкостью в Ленинграде. Пешеходы проходили мимо, снимая шапки или сказав два-три слова участия, а иногда и совсем не задерживаясь, потому что помочь было нечем.

В течение осени 1941 года Ленинград подвергался сильным бомбардировкам с воздуха. Этой весной они возобновились. В течение

осени и зимы Ленинград находился под систематическим артиллерийским обстрелом.

Всему миру известно, что при всех этих неимоверных трудностях и лишениях ленинградцы не только выстояли, не только отразили натиск вооруженной до зубов гитлеровской армии, но и нанесли врагу огромные потери в людях и технике, проложили по льду Ладожского озера дорогу и благодаря этой дороге освободились от тисков голода.

Как совершилось это чудо истории? Как нашли люди Ленинграда эти силы?

Спутником моим по самолету был поэт Николай Тихонов — постоянный житель Ленинграда. Эту суровую зиму, так же как и зиму войны с Финляндией 1939/40 года, он провел в Ленинграде, в рядах армии. На короткое время он был вызван в Москву Союзом писателей для выполнения некоторых работ литературного характера и сейчас возвращался в родной город. Он получил Государственную премию за поэму «Киров с нами» и за стихи, посвященные Отечественной войне, и пожертвовал эту премию на строительство танка. Дорогой Тихонов волновался, хватит ли этих денег на постройку настоящего большого танка и попадет ли он в руки опытного боевого командира.

Была уже глубокая ночь, чуть подморозило, дул холодный пронизывающий ветер, доносивший до нас раскаты дальних одиночных орудийных выстрелов, когда на грузовой машине мы въехали в город.

И в неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами величественные и прекрасные проспекты Ленинграда, Нева, спокойно и величаво катившая свои холодные воды, набережная, каналы, дворцы, громада Исаакия, Адмиралтейство и Петропавловская крепость, вознесшие острые шпили к ночному небу.

В иных местах, зияя темными провалами окон или полностью обнажив развороченные внутренности, стояли дома, обрушенные фугасными бомбами или поврежденные снарядами. Но эти то одиночные, то более частые следы разрушений не могли изменить облика города великих зодчих. Он раскинулся передо мной совершенно такой же, каким я много раз видел его до войны. В его стройных перспективах, в его цельных ансамблях, в его строгости и размахе было что-то прекрасное.

Николай Тихонов стоял на грузовике, покачиваясь на своих цепких ногах старого кавалериста. Сняв фуражку, горящими глазами он смотрел на родной город. Ветер развевал его рано поседевшие волосы.

— Смотри, смотри! — говорил он, схватив меня за руку. — Это необъяснимо... Я не узнаю его. Как это случилось?

Никаких следов обледенения или остатков слежавшегося почерневшего снега, никаких завалов мусора не было на чудесных улицах Ленинграда. Город был необыкновенно чист. Он был даже более чист,

чем до войны. Его площади, набережные, улицы поблескивали в ночи, как стальные.

И тут же, на машине, из уст старого рабочего-грузчика мы услышали волнующую повесть о том, как жители Ленинграда очистили свой город от страшных следов зимней блокады.

— Надо было видеть, каким он был! — рассказывал старик. — Никто из людей не верил, что это можно убрать. А как стало пригревать солнце, навалились все, как один. И кого только не было на улицах! И домашние хозяйки, и школьники, и ученые — профессора и доктора, и музыканты, старики и старухи. Тот с ломом, тот с лопатой, тот с заступом, у того метла, тот с тачкой, тот с детскими саночками. Иные чуть ноги волочат. А то впрягутся человек пять в детские саночки и тащат, тащат — на большее силы нет. И что же? Посмотри, как убрали! — сказал старик, сам точно удивляясь, с улыбкой гордости на изможденном лице. — Ну-у, теперь мы оперились, — сказал он, продолжая какую-то свою мысль. — Дай только срок, мы еще взмахнем крылами. Пускай он не надеется! — закончил старик с той ровной, устоявшейся ненавистью, которая не нуждалась уже ни в какой аффектации, и кивнул в ту сторону, откуда доносились раскаты орудийных выстрелов.

И мы невольно посмотрели в ту сторону, а потом снова на город. Несокрушимый, он стоял, мощно раскинувшись в пространстве, — строен и величав.

ШКОЛА

В начале мая я видел такую сцену: на панели Лиговской улицы, зажав в горсти сетку с учебниками, полулежала девочка в белом беретике, сложив тонкие ножки на мостовую, склонив набок головку, как раненая голубка. Она шла вместе с подружками и товарищами с уроков домой и вдруг ослабела. И они все стояли вокруг нее с серьезными лицами, держа в руках сумки и сетки с учебниками и тетрадками, и молча смотрели на нее. Они не могли оставить ее одну и боялись поднять ее и отвести, боялись, что она умрет от лишних физических усилий.

На лице девочки не было выражения ни грусти, ни физического мучения. Лицо ее было бледно, спокойно-сосредоточенно. Без всякого внутреннего испуга она пережидала, пока пройдет слабость. Но нет слов, чтобы передать выражения лиц и глаз подруг и товарищей, окружавших ее. Все они прошли через то, что испытывала она теперь, они хорошо знали, что грозит ей, они хорошо знали цену жизни и смерти. И теперь, когда смерть уже не грозила им, на их лицах было выражение такого понимания и такого серьезного и глубокого сочув-

ствия товарищу, что я впервые понял: это не дети, но это и не взрослые, — это просто новые люди, люди, каких еще не знала история. Мера их любви равна мере их ненависти. Если бы видели, какой мрачный огонь горел в глазах некоторых из них!

Я говорил, что ленинградцы могут гордиться тем, что они сохранили детей. Здесь я могу сказать, что дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами.

Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и спасения семьи выпал на долю ленинградских мальчиков и девочек. Они потушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с самолетов, они потушили не один пожар в городе, они дежурили морозными ночами на вышках, они носили воду из проруби на Неве, стояли в очередях за хлебом, ловили шпионов и диверсантов. И они были равными со своими отцами и матерями в том поединке благородства, когда старшие старались незаметно отдать свою долю пищи младшим, а младшие делали то же самое по отношению к старшим. И трудно сказать, кого больше погибло в этом поединке.

И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились. Да, они учились, несмотря ни на что, а вместе и рядом с ними навеки сохранится в истории обороны города прекрасный и мужественный облик ленинградского учителя. Они стоят одни других — учителя и ученики. И те и другие из мерзлых квартир, сквозь стужу и снежные заносы, шли иногда километров за пять-шесть, а то и десять, в такие же мерзлые, оледеневшие классы, и одни учили, а другие учились. Они впервые познали друг друга, когда и те и другие умирали друг у друга на глазах на заснеженных улицах города, за партой или у классной доски.

В Ленинграде есть школы, которые не прекращали своей работы в самые тяжелые дни зимы. А большинство школ, не работавших в эти наиболее тяжелые месяцы, возобновили свою работу с 1 мая и дали выпуск к осени.

Мне пришлось часто соприкасаться с жизнью и работой 15-го ремесленного училища в Ленинграде. Оно было преобразовано из старой школы фабрично-заводского ученичества и ставило своей целью подготовку рабочих для электропромышленности.

Училище это за время блокады стало известным всему Ленинграду. Оно прославилось тем, что в равных условиях со всеми другими в самые тяжелые дни выпустило несколько сот человек, и продолжало работать на оборону города в своих мастерских, и сохранило от смерти подавляющее большинство своих учеников.

Этими своими достижениями училище обязано директору его, Василию Ивановичу Анашкину, бывшему ленинградскому мастеровому,

а теперь крупнейшему практику-педагогу, к которому десятки и сотни молодых людей навек сохранят любовь и благодарность.

Как достиг Анашкин того, что в замороженном здании училища, при скуднейшем пайке, сотни учащихся не только не умерли, но даже трудились? Вот что отвечает на этот вопрос сам Анашкин — маленький худенький человек, с выпуклыми глазами, то и дело вспыхивающими пламенем, — маленький человек со стремительной речью и нервными, тонкими кистями рук, секунду не могущими пробыть без движения.

— Они не умерли потому, что трудились, — говорит Анашкин. — А трудились они потому, что я внедрил в сознание ребят чувство дисциплины. Я внедрил его не только убеждением, но и самым суровым принуждением, зная, что только в этом спасение. Это чувство дисциплины заставляло их трудиться. В ленинградских ремесленных школах большинство детей — дети ленинградцев. Когда в городе стало плохо с питанием, многие руководители, боясь ответственности за детей, отпустили их из общежитий по домам. Я поступил наоборот: не останавливаясь ни перед чем, я забирал в общежитие всех детей, которые жили у своих родителей. Из скудных пайков я создал столовую с железной дисциплиной питания. В самые страшные дни, когда стояли лютые морозы, не действовали ни водопровод, ни канализация, я добивался того, чтобы в столовой была абсолютная чистота, чтобы на столах стояли бумажные цветы и во время обеда играл баянист. Я добивался того, чтобы ребята вставали точно в назначенный час, обязательно мылись, пили чай и шли в мастерскую. Некоторые были так слабы, что уже не могли трудиться, но всё-таки возились у своих станков, и это поддерживало в них бодрость духа. Когда из-за отсутствия электроэнергии мастерская стала, мы выходили чистить двор или занимались военным строем. Я всё время стремился к тому, чтобы с минуты пробуждения и до сна ребята были бы чем-нибудь заняты. Конечно, по обстоятельствам семейной жизни не всех ребят удалось изъять из их семей. Но и эти ребята чувствовали, что училище — это их жизнь. Катя Иванова жила в районе Смольного. Для того чтобы попасть к нам на Васильевский остров и вернуться обратно, она должна была ежедневно делать около пятнадцати километров. Я понял, что ее придется освободить от занятий и прикрепить к столовой в ее районе. Через два дня она пришла и сказала, что она просит снова разрешить ей посещать училище и прикрепиться к его столовой. «Скучно без училища, — сказала она, — никакой жизни нет». И вот, представьте себе, она всё перенесла и сейчас живет и работает.

Василий Иванович Анашкин — человек, сам не прошедший никакой школы. Но, идя путем жизненного опыта и самообразования, он поднялся до самых больших вершин педагогической мысли. Будучи

директором школы и известным общественным деятелем в своем районе, он в блокированном Ленинграде, в районе, который наиболее часто подвергается артиллерийскому обстрелу, пишет большой научно-художественный труд о своей педагогической работе.

В июне я был приглашен в одну из школ на собрание учащихся и преподавателей десятых классов этой и соседних школ. Весь фасад здания школы был побит осколками снарядов. Стекла наполовину вылетели и были заменены фанерой, парадный вход закрыт. Весь двор школы был разделан под огород, зелень только всходила. Помещение школьной библиотеки было полно учащихся и преподавателей. Молодые люди семнадцатилетнего возраста, особенно девушки, были уже то, что называется в полной форме, некоторые юноши еще несли на себе следы лишений. Но это была уже обычная наша молодежь — цельная, жизнерадостная, пытливая. У учителей, особенно у стариков, вид не то что изможденный, но усталый, они медленно, я бы сказал, экономно двигались, и только глаза с их живым и умным блеском, вдруг точно освещавшие худые, темные лица, говорили о том, какая великая сила духа управляла поступками этих людей.

В беседе возник вопрос о так называемом «новом человеке». Нельзя было без волнения слушать, как мои собеседники старшего и младшего поколений говорили о чем-то таком, чего еще нужно достичь, не подозревая, что они-то и есть живые новые люди, каждый шаг которых в Великой Отечественной войне нашего народа освещен светом самых больших мыслей и дел, какие только знало человечество.

НОСЯЩИЙ ИМЯ КИРОВА

Вот что рассказывал нам товарищ Мужейник, старый рабочий знаменитого в истории России Путиловского завода, теперь более известного в стране под именем Кировского:

— Говорят, крестьянин сильно привязан к земле и к своему родному месту. Это, конечно, верно. Но я так скажу: никто так не пристрастен к своему заводу и своему производству, как наш брат, русский рабочий. Я на заводе с тысяча девятьсот четырнадцатого года, с малых лет. Тут и отец мой работал и другие Мужейники, и я с завода не уйду до самой смерти, если меня, конечно, не прогонят. Когда фашист стал подбираться к нашему Ленинграду, сколько мы, кировцы, дали народу в ополчение? Дивизию! Немало народу полегло, а и сейчас в армии есть части, где большинство — кировцы...

То, что рассказывал Мужейник, было только одной из глав великой истории ленинградского Народного ополчения. Да, именно оно, великое ленинградское ополчение в самую решающую минуту при-

крыло город телами своих воинов. Вооруженная первоклассной техникой, в течение десятилетий готовившаяся к войне, прошедшая двухлетний опыт войны в Западной Европе и на Балканах, германо-фашистская армия была остановлена ополчением ленинградских рабочих, служащих и интеллигентов. И не только остановлена, — она понесла неслыханные потери в людях и технике, вынуждена была зарыться в землю и на ряде участков фронта была потеснена. Это исторический факт, которого нельзя скрыть, перед которым с благоговением снимут шапки будущие поколения людей.

— Выслали мы свой народ в ополчение, а сами думаем: «А ежели враг прорвется в город и отрежет наш завод, как быть?» И решили: завода не отдавать. Будем вести круговую оборону. И мы всю нашу местность так укрепили, чтобы, в случае чего, обороняться самим. И, помимо ополчения, создали еще свои дружины. Так уж пусть кто как хочет, а мы, кировцы, со своего завода не уйдем. Иногда задумаешься: а сколько нас всего, кировцев? Нас куда больше, чем числится на заводе. Здесь, за Нарвской заставой, целые поколения кировцев-путиловцев, все мы от завода живем, все мы одной семьи. И нам числа нет. Судите сами: дали столько народу в ополчение, а завод всё работает. Эвакуировали всё оборудование и всю основную рабочую массу в глубокий тыл, а завод всё работает.

— А не хотелось, наверно, уезжать рабочим из родного города в тыл? — спросил я. — К тому же, как известно, несколько тысяч рабочих эвакуировано самолетами; ведь они могли взять с собой очень мало пожитков?

— Разное бывало, — с улыбкой ответил Мужейник. — Но всё-таки я так скажу: народ легко поднялся. Вы спросите — почему? А потому, что кировские рабочие знают, что никогда ни Ленинград, ни завод не будут под фашистами и что кого-кого, а уж кировцев обязательно возвернут на родные места. Мы и сейчас эвакуируем кого можем — детей, стариков, больных. Когда они упираются, говорим: «Не бойтесь, вернетесь, когда можно будет. Завод стоял, стоит и будет стоять», — с глубокой, внушавшей уважение убежденностью, сказал Мужейник. — А потом мы говорим: «Вы едете к своим, там тоже кировцы. И мы и они — одно». И мы гордимся здесь, что они, наши ребята, работают там не только на полную мощь, а вдвое, втрое мощнее, чем работали здесь. Гордимся ими и завидуем им. Вон видите цех? Гигант! А стоит пустой, — с грустью сказал он. — Это знаете, что за цех? Это турбинный цех. В четырнадцатом году я начинал в нем работать... Вон ведь какой цех, — сколько они его ни долбают, а он всё стоит! — с гордостью сказал Мужейник и вздохнул.

Всё это он рассказывал нам, группе литераторов, из которых большинство было литераторами-армейцами, когда мы осматривали завод.

Это был завод-город, раскинувшийся на необъятной территории. Величественное и трагическое зрелище являл собой этот ветеран русского рабочего класса. В течение блокады он беспрерывно подвергался налетам вражеской авиации, тысячи снарядов упали на его территорию. Он стоял весь в ранах и рубцах. Но он стоял, он сражался! Он стоял как бы во втором эшелоне фронта, но во втором эшелоне такой важности, что весь огонь неприятеля был направлен на него.

Весь в укреплениях, он был чист и прибран. По всей огромнейшей территории тянулись цехи, часть из которых пустовала, а часть работала. Всюду, куда хватал глаз, видны были следы разрушения: проломленные стены и крыши, вылетевшие стекла, воронки в земле, стены, выщербленные осколками снарядов. Но дым труда стлался над заводом. Он продолжал работать как крупнейший оборонный завод с многотысячной массой рабочих. И звуки жужжащих станков, рев печей, грохот прокатных станов и повизгивание маленького паровозика, маневрирующего по заводским путям, ласкали наш слух нежнее, чем самая прекрасная музыка.

Чугунолитейный цех — один из наиболее мощных цехов завода — несет на себе следы попадания тяжелых снарядов: то более давние, то совсем свежие. Но это мощнейший цех, работа которого не прекращается ни днем, ни ночью.

Был случай, когда цех загорелся. Константин Михайлович Скобников, начальник цеха, не прекращая работы цеха, с группой рабочих кинулся тушить пожар. С ловкостью юноши он забрался на крышу, за ним другие. Они работали, забыв обо всем, не зная, сколько времени длится эта работа. Когда цех был спасен, Скобников увидел, что руки его изранены и окровавлены, и почувствовал, что лицо его обожжено.

— Да ведь я же, черт возьми, этот цех строил! — сказал он нам с умной улыбкой на энергичном загорелом лице. — Это, можно сказать, родной мой цех. Да, я строил его двенадцать лет назад и с той поры всё время работаю здесь. Тут, можно сказать, прошли мои лучшие, зрелые годы.

— А помнишь, Константин Михайлович, как мы его чистили с весны? — сказал седенький-преседенький старичок мастер, сопровождавший нас во время осмотра цеха.

— И мусору же было, — засмеялся Скобников, — и в цехе и вокруг! И всё обледенело — жуть! Сознаюсь, как начали мы это дело, у самого в душе сомнение было: да уж очистим ли мы его? Целые горы мусора вывезли!

— Значит, был период, когда цех стоял? — спросил я.

— Был. Было такое время, когда я жил в цехе один.

— Как в цехе?

— Да я тут при цехе и живу. Семья у меня эвакуирована. Зимой была у меня печка-буржуйка, я возле нее и грелся. В цехе тишина такая, только ветер подвывает. Окна выбиты, кругом снегу намело, всё в инее; казалось, никогда он не оживет, мой цех.

— Что же вы поделывали в эти долгие дни и ночи?

— Да дни были заняты, мало ли у нас работы в Ленинграде! А вечером сидишь один, думаешь или читаешь.

— О чем думали, что читали?

— Подумать было о чем, — серьезно сказал Скобников. — В эти тяжелые дни люди так раскрывались! Никогда еще, наверно, не видели люди таких проявлений величия духа и таких проявлений морального падения... Я помню — в декабре цех работал, несмотря на страшный холод, на голодовку. Был у нас замечательный старик, земледел, тот, что делает формовочные земли, — великий мастер своего дела, из тех старых мастеров, которые работают как артисты и сами не знают, как у них получается. Так и он. Такую умел делать землю! А когда спросят его, по каким пропорциям делает он смесь, он говорит: «Постоянной пропорции нет, я, — говорит, — руками, на ощупь, чувствую, что и сколько надо прибавить». Про таких думают, что он «секрет знает», а весь секрет у него в руках. Нам по необходимости пришлось заменить привозные пески своими, с пригородных ленинградских карьеров. Все говорят: «Не годятся». И правда, ни у кого не выходит. Он попробовал — вышло... И вот стал он у нас слабеть. С каждым днем, видим, меняется, а работу не бросает, только всё учит свою старуху, как землю делать. Всё ей что-то рассказывает, а то покажет, а то заставит самоё сделать. Рассердится вдруг: «Экая, мол, ты непонятливая», — а потом опять учит, учит. И вот в один день прибегает ко мне паренек, говорит: «Зовет...» Я уже понял, кто зовет. Прихожу, лежит он на той самой земле, которую так хорошо умел делать, рядом старуха его стоит, не плачет. Еще тут стоят рабочие-старики. Он уже совсем слабый стал. «Вот, — говорит, — Константин Михайлович, умираю... А вместо меня — будет старуха моя...» И уже перестал смотреть на нас и всё старуху наставляет, чтобы она того и того не забывала, как, дескать, замешивать что... Она всё перенимает, повторяет за ним. «Не забуду, — говорит, — не бойся». Не плачет. Можно было со стороны заплакать, да уж правду говорят, что слезы вымерзли у ленинградцев. Так вот он ее наставлял, фразы не договорил и умер... Вот какие вещи приходилось видеть. А другой опускался до того, что мог у товарища кусок хлеба украсть... — Он помолчал... — А что я читал? Читал я Бальзака, Стендаля и очень многое узнал у них о людях.

Константин Михайлович Скобников, сын паровозного машиниста, в 1917 году окончил реальное училище и в 1925 году технологический

институт. Это образованный инженер большого практического опыта. Он рассказал нам, какую величайшую изобретательность должен был проявить инженер в ленинградских условиях, когда не хватало многих и многих материалов, без которых по прежним представлениям производство казалось немыслимым: как переделать топки в паросиловом цехе, чтобы можно было топить и углем и дровами, в зависимости от того, какое топливо налицо; как получить чугун без кокса; что употреблять в качестве крепителя, если нет растительных масел. Это самые элементарные из тех больших и мелких вопросов, которые были решены живой мыслью ленинградских инженеров и хозяйственников.

Мне довелось наблюдать за работой многих хозяйственников Ленинграда. Это люди незаурядные. Если война учит хозяйственников всей нашей страны строжайшему расчету и экономии, то с точки зрения хозяйственника-ленинградца многое, достигнутое в этом направлении в других пунктах страны, кажется верхом расточительности. Ленинградцы — это самые экономные, расчетливые и изобретательные хозяева, каких только знает наша страна.

Тысячи снарядов легли на территорию Кировского завода, а Кировский завод продолжал выпускать самые разнообразные виды современного вооружения — от мин и снарядов до танков.

Главная сила на производстве — женщина. Нет той профессии, от самой физически тяжелой до самой сложной, какой не овладела бы ленинградская женщина.

В цехе Константина Михайловича Скобникова мы видели работу знаменитого на весь завод бригадира формовки, девушки Румянцевой. Она совсем не была знакома с производством, когда поступила на завод, она освоила свою профессию буквально в три недели. Беседуя с нами, она ни на минуту не прекращала работы, ее ловкие маленькие руки работали точно и споро, и во всех ее движениях была такая легкость, точно она танцевала возле своих форм.

— За нами дело не станет, товарищи военные, — весело играя глазами, сказала в ответ на нашу похвалу ее работе, — за нами дело не станет, дело за вами: скорее гоните фашистов от Ленинграда.

Как я уже сказал, многие из нас были в военной форме. Глядя на нас, Румянцева лукаво улыбнулась.

— Мы вас очень даже любим, — сказала она, — да уж больно близко вы от нас стоите. Чем дальше вы от нас уйдете, тем больше будем вас любить...

Работавшие женщины засмеялись, а мы, признаться, смутились.

В одном из отделений цеха под его темными сводами группа женщин, осыпаемая искрами, стоя у громадных точил, обтачивала мины; они, еще горячие, грудами лежали за ними. Я остановился возле од-

ной из женщин. Она стояла в профиль ко мне. Темный платок был надвинут ей на лицо, — я не мог определить ее возраста. Руками, одетыми в громадные рукавицы, она брала из кучи мину за концы и потом, навалившись всем телом, прижимала ее к стремительно вращавшемуся колесу. Сноп искр обдавал ее. Это была первоначальная грубая обточка мин перед тем, как сдать их в механическую обработку. Не обращая на меня внимания, она брала мину за миной и снова наваливалась всем телом на колесо. Видно, удержать эту мину на вращающемся колесе стоило такого напряжения, что всё тело женщины сотрясалось.

Это был тяжелый мужской труд. Мне всё хотелось увидеть лицо женщины, и я стоял до тех пор, пока она не обернулась ко мне. Ей было на вид лет сорок, лицо у нее было необычайной красоты — тонких черт и строгое, — лицо подвижницы.

— Это очень тяжело? — спросил я.

— Да, поначалу было очень тяжело, — сказала она, взяв мину и прижав ее к вращающемуся и брызжущему искрами колесу.

— Где ваш муж? — спросил я в том незначительном промежутке, пока она клала обточенную мину и брала другую.

— Умер зимой.

Я не стал спрашивать, от чего он умер, это было понятно само собой.

— Дети есть?

— Есть. Девочка одна учится, а другая, маленькая, здесь на заводе, в детском саду, а сын на войне...

Женщина Ленинграда! Найдутся ли когда-нибудь слова, способные передать всё величие твоего труда, твою преданность Родине, городу, армии, труду, семье, твою безмерную отвагу? Везде и на всем следы твоих прекрасных, умелых и верных рук. Ты у станка на заводе, у постели раненого бойца, на наблюдательной вышке, в учреждении, в школе, в детском доме и яслях, за рулем машины, в торфяном шурфе, на заготовке дров, на разгрузке баржи, ты в одежде работницы, в форме милиционера, бойца противовоздушной обороны, железнодорожника, военного врача, телеграфиста. Твой голос слышен по радио, твои руки возделывают огороды по всем окрестностям Ленинграда, в его садах, скверах, пустырях. Ты охраняешь целостность и чистоту здания, ты воспитываешь сирот, ты несешь на своих плечах всю тяжесть быта семьи в осажденном городе. И ты озаряешь своей улыбкой всю жизнь Ленинграда, как солнечным лучом.

А сколько вас, прекрасных дочерей Ленинграда, на боевых рубежах — в качестве санитарок, медсестер, политруков медсанбата! С какою застенчивостью показывала мне на одном из участков Ленинградского фронта санитарный инструктор Ольга Маккавейская свой

комсомольский билет, пробитый пулей. Она была ранена в грудь навылет. Маленькие расплывшиеся капельки крови запечатлелись на той стороне билета, которой он прилегал к груди. Ольга Маккавейская, оправившись от раны, вернулась в свою любимую роту, роту автоматчиков. Членские взносы были аккуратно вписаны в этот пронзенный пулей и окропленный кровью комсомольский билет. «Теперь у меня есть уже и другой», — с застенчивой и ясной улыбкой сказала она, показывая мне новенький партийный билет.

Кировский завод был и остался гордостью Ленинграда. Как и в былые дни, он издает печатную газету. Ее редактирует Алексей Соловьев, рабочий завода и любимый поэт. Газета называется «За трудовую доблесть». Но в Ленинграде больше, чем в каком бы то ни было другом месте страны, трудовая доблесть — воинская доблесть.

Кировские рабочие живут и работают на фронте. Они живут в своих квартирах, как в блиндажах, причем блиндажах малонадежных, идут на работу, как на боевую позицию. За полчаса до нашего прихода на заводе разрывом артиллерийского снаряда убило шестерых электросварщиков. Как и на фронте, кировские рабочие привыкли к опасности, они работают, шутят, справляют свои обычные дела. Но на их лицах, как и на лицах бойцов на фронте, есть неуловимая складка, которая образуется от подспудного сознания постоянной опасности. Это — мужественная складка, она и суровая и озорная одновременно, более строгая у людей постарше и более озорная у тех, кто помоложе.

В цехе сборки танковых моторов, которым руководит прекрасный инженер Старостенко, мы познакомились с молодым бригадиром Евстигнеевым. Вот что нам рассказали о нем.

Евстигнеев более трех суток не уходил из цеха, работая над заказом для фронта. Время было холодное, силы начали покидать его. Товарищи в один голос заявили:

— Ты бы, Евстигнеев, отдохнул маленько.

Он рассердился не на шутку и наотрез отказался покинуть свое рабочее место:

— Пока я у вас бригадиром, командую я, а не вы, ваше дело исполнять да работать...

Но нехитрый слесарный инструмент не слушался его рук. Пришлось всё-таки покинуть работу.

«Как это могло случиться? — рассуждал он, лежа дома на койке. — Я — такой молодой парень и вдруг заболел...»

Вечером к нему пришли товарищи.

— На-ка, посмотри вот, про тебя пишут, — сказал самый молодой из пришедших слесарей и протянул Евстигнееву газету.

Евстигнеев отмахнулся, но когда за ребятами захлопнулась дверь, он прочел, что было написано о нем в газете. А в газете было написано, что бригада Евстигнеева — лучшая на заводе. Тогда он оделся и, покачиваясь от слабости, отправился на завод. Его почти насильно стали выгонять из цеха.

— Не допущу я его с больничным листом до работы, — решительно заявил начальник цеха.

— А я, товарищ Старостенко, работать не буду, я посмотрю маленько, — робко возразил Евстигнеев.

Так он приходил и «смотрел» целую неделю. А 26-го числа, на четыре дня раньше срока, его бригада выполнила месячную программу.

Если бы меня спросили — какое наиболее ярко выраженное чувство владеет кировскими рабочими, я не колеблясь ответил бы: чувство мести. Здесь очень много людей, потерявших близких на фронте, и еще больше людей, потерявших близких и дорогих сердцу от трудностей и лишений блокады. Кировские рабочие хорошо знают виновника этих лишений, с заводских вышек они могут видеть его простым глазом, и они относятся к нему с ненавистью, глубоко устоявшейся, личной, смертельной ненавистью. Иногда это кажется преувеличением, будто можно мстить в труде. А между тем сотни и тысячи кировских рабочих, в труднейших условиях перевыполняющих норму в два, в три, в четыре, в пять раз, не только понимают разумом, а почти физически ощущают, что всё, что́ они делают, тут же, прямо с завода, идет на истребление бешеного врага — фашизма.

Рабочие Кировского завода пригласили нас устроить на заводе литературный вечер. В вечере приняли участие ленинградские поэты Николай Тихонов, Александр Прокофьев и я.

В подвале одного из зданий под бетонированным полом, оборудован зал для заседаний и вечеров, со сценой и кулисами. Зал, рассчитанный на 700 человек, не мог вместить всех желающих. Слушатели заполнили все проходы, пришлось запереть наружную дверь, но в течение всего вечера в нее ломились снаружи, хотя как раз в это время начался артиллерийский обстрел завода.

Николай Тихонов читал свою поэму «Киров с нами». Сюжет этой поэмы в том, что Киров, вождь и любимец ленинградских рабочих, убитый подлой рукой врага народа 1 декабря 1934 года, обходит морозной, черной, железной ночью блокированный Ленинград.

Сила этой поэмы, прекрасной самой по себе, удваивалась оттого, что она была написана Николаем Тихоновым этой жестокой зимой в промерзшей квартире при свете коптилки, и тем, что читал он ее сам кировским рабочим в подвале одного из зданий Кировского завода в то время, когда шел сильный артиллерийский обстрел завода. Все

слушали поэму, точно окаменев. В лицах слушателей было что-то суровое и трогательное.

В поэме есть глава, в которой Киров проходит мимо завода своего имени:

Разбиты дома и ограды,
Зияет разрушенный свод.
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
Боец, справедливый и грозный,
По городу тихо идет.
Час поздний, глухой и морозный...
Суровый, как крепость, завод.

Здесь нет перерывов в работе,
Здесь отдых забыли и сон,
Здесь люди в великой заботе,
Лишь в капельках пота висок.

Пусть красное пламя снаряда
Не раз полыхало в цехах,
Работай на совесть, как надо,
Гони и усталость и страх,
Мгновенная оторопь свяжет
Людей, но выходит старик.
Послушай, что дед этот скажет,
Его неподкупен язык:
— Пусть наши супы — водяные,
Пусть хлеб на вес золота стал,
Мы будем стоять, как стальные,
Потом мы успеем устать.
Враг силой не мог нас осилить —
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Такого вовеки не будет
На невском святом берегу,
Рабочие русские люди
Умрут, не сдадутся врагу.

Мы выкуем фронту обновы,
Мы вражье кольцо разорвем.
Недаром завод наш суровый
Мы Кировским гордо зовем...

Когда Тихонов читал эти стихи, по мужественным лицам кировских рабочих, мужчин и женщин покатились слезы. Тихонов сам был взволнован. По окончании чтения автору устроили овацию, его вызывали несчетное число раз.

Сопровождаемые группами молодежи, мы шли через всю территорию завода к главному входу, где ждала нас машина. Это было в середине мая, в преддверии белых ночей. Было часов девять вечера, но

солнце еще только заходило. Гигантские корпуса цехов, побитые и израненные, казались еще более величественными в вечернем красном свете. Осколки артиллерийских снарядов то и дело попадались под ногами, завод был усыпан ими. Молодежь, сопровождавшая нас, расспрашивала о судьбе и работе писателей и поэтов, своих любимцев. Молодежь шутила и смеялась. Из цехов доносился разнообразный и торжественный в этот вечерний час шум работы.

У самого входа в завод стоит громадный памятник Кирову. Киров изображен здесь таким, каким народы СССР не раз видели его на трибуне. В кожаной фуражке, он стоит на крепких, сильных ногах, с рукой, откинутой свободным и широким ораторским движением, с мужественной, уверенной улыбкой на сильном, широком русском лице. Распахнутые полы его пальто были все изрешечены осколками, следы попаданий видны были по всему его могучему корпусу. Но он стоял со своей откинутой рукой, зовущей к борьбе, с этой уверенной и обаятельной улыбкой сильного и простого человека.

ЛЕНИНГРАД БЕССМЕРТЕН

Ленинград устоял в блокаде не только потому, что люди, воспитанные за два с половиной десятилетия существования Советской власти, настолько же выше своих врагов, насколько человек выше дикого животного.

Ленинград устоял потому, что он был и остался своеобразным городом-коммуной. В тот самый день, когда город попал в блокаду, все материальные блага, которыми владели гражданские ведомства, ведомства военные, ведомства флота, были централизованы, соединены в один котел. Они распределялись из единого центра, в зависимости от потребностей войны. Нет и не было ни одной страны в мире, где такая централизация могла быть произведена.

Мне приходилось много выступать на районных активах Ленинграда — Московском, Дзержинском, Кировском, среди рабочих и интеллигенции, среди военных и моряков. Со многими и многими из этих людей я скоротал бессонные ночи в самых задушевных разговорах о всей нашей жизни и борьбе. И я могу сказать, что самое великое и прекрасное, что выковал Ленинград за месяцы борьбы и страданий, — это они, передовые люди города из среды рабочих, служащих и интеллигенции.

Это они подняли десятки и сотни тысяч ленинградского ополчения, возглавили его и остановили врага под стенами родного города.

Это они в тягчайшие дни страшного голода и мороза несли огненные слова правды и борьбы в сердца ленинградцев, и город внимал их

словам и стискивал зубы, и напрягал последние силы, стоял и боролся.

Это они шли впереди сквозь пургу и смерть, когда прокладывали трассу через Ладожское озеро. И они же подняли сотни тысяч падающих от голода жителей Ленинграда на очистку родного города с наступлением весны.

Они, эти люди, являются той самой высшей духовной силой, которая наполняет всех и всё живым историческим человеческим смыслом и движет всех и всё вперед и вперед.

Накануне вылета из Ленинграда я пошел на концерт в зал Филармонии. Симфонический оркестр под управлением Элиасберга исполнял Шестую симфонию Чайковского.

С трудом удалось достать билет. Толпы народа еще шумели у входа, когда в тишине зала перед одетыми в черное и уже наладившими инструменты музыкантами вырос над пультом высокий, сутуловатый человек с выразительными белыми руками, в черном фраке. Он поднял палочку, и симфония началась.

И только она началась, лица всех сидевших в зале преобразились. Из будничных, обремененных суровыми тяготами и заботами, они стали ясными, открытыми, простыми. Печать великого знания лежала на этих лицах.

Раза два во время исполнения симфонии начинался артиллерийский обстрел города, а лица людей с тем же ясным, открытым и простым выражением, недоступным и неизвестным людям других мест, были обращены к оркестру.

Ночью — не белой, а темной июльской ночью — я был уже на аэродроме. Друзья провожали меня. И снова низко-низко над Ладожским озером летел наш самолет; теперь он летел над подернутой утренней рябью водой, и солнце снова светило в лицо, — оно всходило.

Через три часа я был в Москве и вступил в привычные условия жизни. Но еще много дней я не мог привыкнуть к этой жизни. И когда люди говорили мне что-нибудь, я не мог вслушаться в то, что они говорят, и видел только, как они шевелят губами, — настолько то, что они мне говорили, было далеко от меня. Снова и снова вставали в памяти моей и этот зал Филармонии, и эти лица, и мощные звуки Шестой симфонии Чайковского, восходящие к небу.

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

ЕГО ПРИЗЫВ

Когда Милютин и Славнов вынесли из комнаты восьмого человека, умершего за этот месяц, и остались только вдвоем, Славнов сказал:

— Милютин, а лучше бы нам с тобой с этой комнаты съехать, пока живы. Правда. Несознательно, конечно, но... чего-то бояться я ее стал...

— Это, конечно, несознательно, ты прав. Это предрассудки, суеверие — понимаешь? — быстро заговорил Милютин, как всегда, осчастливленный возможностью что-то кому-то разъяснить. — Говорят, на войне это бывает, но я лично поддаваться этому не намерен. И даже — хочешь? — нарочно лягу на койку Смирнова.

Смирнов был тот рабочий, которого они вынесли сегодня; он умер, как и предыдущие, на этой самой койке, стоявшей у печки.

— Ну-ну, зачем же это? — испугался Славнов.

— А просто чтоб ты не нервничал. Ведь это война — война нервов, ты понимаешь? В самом деле, я займу эту койку.

— Не надо, — угрюмо произнес Славнов. — Я... пошутил. Я понимаю, что это не от комнаты.

— Вот и хорошо, что понимаешь. И не от комнаты, и не от койки! Знаешь, ведь главное — это понять, тогда ничего не страшно.

И костистое большеглазое лицо Милютина просветлело, как всегда, когда ему удавалось что-то разъяснить. А Славнов, исподлобья глядя на него, только покачал головой: чем дольше жил он бок о бок с Милютиным, тем больше удивлялся этому человеку, который в свое время невольно, но глубоко огорчил и обидел его.

Они оба еще до войны работали на одном знаменитом электромеханическом ленинградском заводе: Милютин — культпропом парткома, Славнов — мастером-обмотчиком в своем цехе. Ивану Ильичу Славнову было уже за пятьдесят, и жизнь его — и внешняя, и внутренняя духовная, семейная, общественная — достигла к этому времени такого плавного и благополучного течения, что доставляла только одно удовольствие.

Его сын Вова заканчивал институт, миловидная и свежая Нюша, жена, вела дом — «полную чашу», сам он был заслуженно и глубоко уважаем на заводе: о нем писали в газетах, всегда выбирали в президиумы торжественных общезаводских собраний. Красивый, очень подмоложенный портрет его висел в заводском скверике на Доске почета и, написанный настоящим художником, — в заводском Дворце культуры. И Иван Ильич был так доволен жизнью, своей работой и собой, что стал всё чаще подумывать: не вступить ли ему в партию? Вступление во Всесоюзную Коммунистическую партию большевиков казалось ему каким-то завершающим, закругляющим, солидным и достойным поступком в его жизни. Мысленно он уже представлял, как его будут принимать в партию, что будут говорить, и улыбался.

Как раз в это время и подошел к нему Сергей Петрович Милютин — культпроп парткома, высокий сухощавый черноволосый человек, с удивительно доверчивыми большими глазами и с какой-то еле уловимой, но всё же уловимой суетой в движениях, точно он всё время куда-то спешил. Милютин поговорил с мастером о том, о сем и потом сказал:

— Иван Ильич, а как ты относительно вступления в партию? Мы думаем, что это хорошо было бы, а?

И вдруг Ивану Ильичу стало очень неприятно, что кто-то за него, солидного, самостоятельного, всюду уважаемого человека, уже поторопился обдумать этот важный для него вопрос, да и не только обдумал, но даже решил за него, как за мальчишку.

— Я подумаю об этом, товарищ Милютин, — ответил он очень сухо.

Через несколько дней Милютин снова подошел к Славнову:

— Ну как, Иван Ильич, надумал? — спросил он. — Дать анкетку?

— А что ты спешишь-то так? — уже не скрывая досады, сказал мастер. — Я человек самостоятельный... Я пятьдесят лет беспартийный и был не хуже других.

— Конечно, не хуже, — слегка растерялся Милютин и засуетился на месте. — Не хуже! Но всё-таки...

— Что — «всё-таки»?! — раздраженно перебил Славнов. — Всё-таки не такой, не т о т человек, что ли?

— Да, — уже совершенно твердо ответил Милютин. — Но ты извини, товарищ Славнов, если я чем-нибудь задел твое самолюбие... Мы, наверное, действительно поспешили.

О партии с Иваном Ильичом больше никто не заговаривал; старый мастер сердился на Милютина, еще больше на себя, думал, как же ему теперь быть, а тут вдруг началась война. В одну из первых бомбежек прямым попаданием был разрушен дом, где жили Славновы, под развалинами дома погибла жена Славнова; сын Вова, доб-

ровольцем ушедший в армию, был убит под Стрельной, а поздней осенью Славнова вместе с группой заводских рабочих отправили с родного завода из-за заставы, где он жил всю жизнь, в «тыл», на Выборгскую сторону, на чужой небольшой завод. Свой завод остановился, на нем осталась лишь маленькая группа рабочих для его боевой охраны.

Гибель жены и сына и вместе с ними исчезновение с лица земли всей прошлой долголетней жизни, переезд на чужую окраину образовали в душе Ивана Ильича сосущую темную пустоту, какое-то постоянное недоумение. Он работал, как всегда, добросовестно, не по специальности, конечно, и всё не нравилось ему на новом месте, всё тяжело томило его, а каждое напоминание о прошлом причиняло острую боль. Он даже сморщился, и точно само сердце сморщилось в нем, когда в комнате, где он жил при заводе вместе с одним «чужим» рабочим, на третьей койке поселился Милютин. Славнов не забывал тяжелого, неловкого разговора о партии; Милютин раздражал его, бередил, вызывал глухую, непроходящую неприязнь. Но чем дальше жили они бок о бок, сведенные блокадой, чем внимательнее приглядывался мастер к обидевшему его человеку, тем больше удивлялся ему.

Бедствия зимы нарастали. По самому себе Иван Ильич чувствовал, как люди — уже невольно — начинают всё больше и больше беречь свои физические и душевные силы. А Милютин в это время, наоборот, как будто бы придумывал себе всё новые заботы и обязанности.

— Я удивляюсь тебе, товарищ Милютин, — всё-таки произнес вслух Славнов. — Почему ты такой неспокойный? Мало тебе твоих нагрузок?

— А как же? — удивился Милютин. — Ведь я же коммунист, так? Если не я — так кто же?

Бедствия зимы нарастали: наступил уже январь 1942 года. Цех за цехом, станок за станком останавливались и на этом заводе. Всё меньше людей приходило на предприятие, но даже и им нечего было делать. Страшное чувство безысходности подкрадывалось к людям. На заводе работала только одна котельная, вернее — один котел в ней еле теплился, но и он готов был остановиться: замерз водопровод, иссяк уголь. И вот Милютин, собрав горсть регулярно ходивших на завод рабочих-кадровиков, горячим полушепотом объяснил им, что никак нельзя дать остановиться котлу — никак нельзя! Котел подает пар — тепло в несколько комнат при заводоуправлении, там можно поселиться всем, кто еще находится на казарменном и живет далеко от завода, котел может дать тепло в один цех и даже привести в движение пару-другую станков, «а ведь мы можем получить срочные военные заказы — пусть небольшие», — нельзя дать потухнуть котлу, нельзя.

Так всё, что было живого на заводе, как кровь к сердцу, прилило к этому единственному котлу. Ведрами из проруби на Неве люди носили в котел воду; разбирали, кололи и пилили всё деревянное на дворе, чтобы питать котел топливом. И сердце завода билось — котел пыхтел, а люди жили около него, и жизнь их имела смысл и даже перспективу: хоть что-нибудь делали они («и ведь заказ могут дать!»), а горсточка ценнейших кадров сохранялась. И мастер Славнов с уважением подумал о том, что всё это придумал и организовал суетливый Милютин, который вместе со всеми таскал в котел воду и колол деревянные модели. А Милютин, кроме того, почти каждый день ходил в райком партии, а райком очень часто посылал его проводить беседы и доклады на разные объекты, иногда за несколько километров от завода. Трамваи давно не ходили. Милютин совершал свои походы пешком.

«Вот уж это зря, — думал Славнов, всё больше тревожась за своего беспокойного товарища. — Ну, разве людям теперь до докладов? Зря только изводится».

— Ты упадешь в дороге, — сказал однажды Славнов Милютину. — Ты присаживайся хотя бы, отдыхай.

— Нет, — сказал Милютин. — Я тщательно избегаю делать это. Уж пошел — так иди. И, кстати, я еще очень прилично хожу.

А через несколько дней, — это было в январские, в ленинские дни, — идучи куда-то, Иван Ильич увидел Милютина на набережной: Милютин сидел на ящике с песком, прислонившись спиной к стене дома, и лицо его выражало крайнее изнеможение и самое откровенное страдание. И Славнов до оцепенения смутился, увидев Милютина таким, как бы поймав, как бы уличив его в чем-то постыдном, и растерянно остановился возле него, уверенный, что Милютин тоже ужасно смущен, готовый крикнуть: «Ничего, ничего! Это вижу только я!»

Но Милютин спокойно и доверчиво взглянул на старого мастера и сказал:

— Помоги мне подняться, Иван Ильич. Я сам не смогу.

Славнов помог ему подняться с ящика и пробормотал:

— Я пойду с тобой на твой доклад, мне всё равно нечего делать.

Собрание проходило в подвале, в бомбоубежище, потому что район, куда пришли Славнов и Милютин, в это время подвергался артиллерийскому обстрелу.

— Дорогие товарищи, — начал доклад Милютин. — Мы отмечаем восемнадцатую годовщину со дня смерти нашего великого вождя Владимира Ильича Ленина в те дни, когда город наш переживает известные трудности...

И вздох — глубокий общий вздох, чуть-чуть даже близкий к стону, — промчался по подземелью, и что-то дрогнуло в сердце ста-

рого мастера Славнова, когда он услышал это трижды знакомое до войны слово «трудности». Безграничное целомудрие мужества заключалось в том, что нечеловеческие муки, которые все переживали, Милютин назвал обыкновенным довоенным старым словом «трудности». И так как он сам был такой же, как все здесь, — страшный и голодный, — он имел право на это слово, и все поняли и ощутили это, — и в нем, и в себе, — оттого и вздохнули... Но главное было не в том, что Милютин принес эти обыкновенные слова сюда, в подвал, в разгар артобстрела, что ленинские дни отмечались, как всегда. Нет! Самое главное было то, что в осажденном Ленинграде были люди, позаботившиеся об этом.

И, глядя на исхудавшее лицо Милютина, мастер Славнов первый раз отчетливо понял, что вот на таких милютиных и держится в городе жизнь. И пока в городе есть эти люди — город не только выдержит всё, но обязательно, обязательно победит.

Через два часа Славнов и Милютин возвращались обратно, к своему котлу. Мороз был таким свирепым, что трудно было говорить, но Ивану Ильичу не терпелось задать Милютину ряд вопросов.

— Сергей Петрович, — спросил он, — вот ты говорил в докладе: «Мы, большевики, в девятнадцатом году...» Ты, что же, почти с самой революции в партии?

— Нет, я не с девятнадцатого, — ответил Милютин. — Я говорил «мы» в смысле «мы — партия». Ведь поскольку я член партии, я полагаю, что вся ее история как бы и моя личная жизнь, и поэтому я...

— Милютин, — перебил его Славнов, только сейчас додумав одну глубоко взволновавшую его мысль, — вот я глядел на тебя всё время и удивлялся, что тебя на всё хватает. А ведь это в тебе не просто человеческое, что ли, ну, вот то, что только твое, — это в тебе вся партия сидит, это она тебя движет. Понимаешь? Нет? Ты этого не понимаешь, это я понимаю. Но ты с какого же года большевиком?

— Я — ленинского призыва, — тихо, с мягкой важностью ответил Милютин. — Тогда очень много народу в партию вступило. В особенности же из рабочего класса. Было очень большое горе: смерть Владимира Ильича, партии трудно стало, вот мы и вступили — ты понимаешь?

— Понимаю, — так же тихо ответил мастер и, помолчав, важно, переходя на «вы», спросил: — Товарищ Милютин, а вы мне дадите рекомендацию для вступления в кандидаты ВКП(б)? — Он помолчал и произнес полностью: — В кандидаты Всесоюзной Коммунистической партии большевиков?

— Конечно, товарищ Славнов, — неторопливо и тоже переходя на «вы», ответил Милютин, — и даже сам подготовлю вас...

Милютин ни звуком не напомнил Славнову о прошлом разговоре

насчет партии, и Славнов был глубоко благодарен ему за это: он сам ощущал огромную разницу между тогдашним своим состоянием и теперешним. Если до войны он чувствовал, что, пожалуй, он может вступить в партию, то теперь он чувствовал, что не может не вступить.

Ивана Ильича принимали в партию ранней весной, уже за своей заставой, «в своем райкоме», потому что они вернулись в это время из «тыла» на свой завод, который должен был начать понемногу работать для города. Придя в райком, Иван Ильич увидел с волнением и радостью, что с ним сегодня идет на бюро много старых его знакомых по своему заводу и заставе. Он понял, что это означает, и, вспомнив рассказ Милютина о ленинском призыве, подумал, что все, кто вступает в партию сейчас, в дни этой немыслимой блокады, тоже есть коммунисты ленинского призыва!

Он подумал даже, что, когда через несколько лет кто-нибудь спросит его, с какого он года в партии, он ответит: «Я — блокадного ленинского призыва», или: «Я — ленинского призыва ленинградской зимы сорок второго года», а вернее всего будет сказать: «Я — коммунист ленинского призыва во время Отечественной войны», — и эта мысль наполнила его теплом и гордостью.

После того как Иван Ильич стал коммунистом, внешне в его жизни ничто не изменилось, а внутренне всё время менялось и появлялось новое.

Самое главное из этого нового было то, что теперь он тоже, как Милютин, стал «беспокойным». В нем появилось и всё нарастало непреодолимое чувство постоянной тревоги и личной ответственности не только за свою работу, но и за весь город, за всю страну, за всю ее судьбу. И это новое чувство заставляло Ивана Ильича брать на себя любую работу, не размышляя даже — по силам она ему или нет. Ведь он был теперь не просто мастером Славновым, он был коммунистом Славновым. Это было очень тяжело физически, потому, что он был так же слаб и истощен, как все остальные, но он не мог иначе...

Ивану Ильичу особенно тяжело пришлось тогда, когда на завод поступил заказ на трамвайные моторы. Оживающему городу нужны были трамваи. Они уже начали ходить, но их было мало, а надо было, чтоб было достаточно: трамвай в те дни был в Ленинграде не просто транспортом, средством передвижения, он был средством сохранения сил и жизней истощенных, обессилевших ленинградцев.

— Трамвай в нашем городе имеет политическое значение, — почему-то шепотом объяснял Милютин Славнову. — Тебе придется поднажать, товарищ Славнов, именно тебе.

А дело было в том, что уже много-много лет данный завод не изготовлял трамвайных моторов, он давно перешел на гигантские машины... Ни специалистов этого дела, никаких чертежей, схем на за-

воде не было, и почему-то не оказалось их в Трамвайном управлении. Иван Ильич был единственным специалистом на заводе, да и во всем Ленинграде, который пятнадцать лет назад мотал якоря для трамвайных моторов и, значит, мог вспомнить, как он это делал, мог дать моторы. И вот Иван Ильич стал мотать якоря по памяти, а память за время голода у него сдала, а сроки были жесткие... Никогда в жизни не работал мастер Славнов с таким напряжением всех сил мозга, тела и души, и мысль, что работа его имеет политическое значение, не давала ему покоя и отдыха. Он работал, не покидая цеха, ночуя тут же, в конторке, благо было уже довольно тепло.

Первые три мотора немедленно сгорели, — один за другим. Иван Ильич был так угнетен, что на него больно было смотреть. И люди отворачивались или не смотрели ему в глаза, жалея его. Но у него и мысли не возникло о том, чтобы отказаться от дальнейшей работы, которая многим казалась в общем-то невыполнимой. Ведь он же был коммунистом: «Не я — так кто же?» И он принимался вспоминать и искать вновь и вновь, преодолевая свою неуверенность, разочарование, усталость, пока не добился своего: он дал моторы трамваю, — он по-настоящему помог людям жить и бороться в блокаде. И это была не просто производственная победа опытного мастера, старого человека над самим собой, это была победа молодого коммуниста Славнова.

Потом, хотя город всё еще был в осаде, хотя немцы продолжали свирепо обстреливать завод, пошли заказы еще сложнее и труднее: новые машины для освобождаемого родного города. Иван Ильич уже знал, что́ может коммунист, и какой бы фантастикой ни казались сроки заказа и возможность выполнения его в городе-фронте, Иван Ильич спокойно ручался своим рабочим, что заказ выполнить можно и мы его обязательно выполним.

Как-то одна из его учениц, молодая девушка, попросила у него рекомендацию для вступления в партию. Иван Ильич обрадовался и смутился:

— Я еще не имею права рекомендации давать, дорогуша, — сказал он, — у меня еще стажа не хватает...

— Да ну-у? — удивленно протянула девушка. — А ведь мы все думаем, что вы старый большевик. Вы уж, я извиняюсь, и седенький, и говорите так, и поступаете...

— Нет, — ответил Славнов, глубоко взволнованный ее словами, — человек я пожилой, это верно, но коммунист — молодой. — И, помолчав, тихо, немного стесняясь, прибавил свои заветные, давно приготовленные слова, которые ему еще не удалось никому сказать: — Мы с тобой одного призыва коммунисты: ленинского призыва Великой Отечественной войны.

АЛЕКСАНДР РЕШЕТОВ

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ УЛИЦЕ

Не первый раз идти нам вдоль пустынной,
Вдоль отсверкавшей окнами стены.
Но перед неожиданной картиной
Остановились мы, поражены...

К стене в печали руки простирала,
Как бы ослепнув, женщина. Она,
Беде не веря, сына окликала.
Еще кирпичной пыли пелена
Казалась теплой
И на кровь похожей.
— Василий,
Вася,
Васенька,
Сынок!
Ты спал, родной,
Откликнись мне. О боже! —
Из черных дыр оконных шел дымок.

Рыданьем этим, горем материнским,
Холодный день, обжег ты души нам.
А вечером
В полку артиллерийском
Мы обо всем поведали друзьям.
Кто под луной не вспомнил дымноликой
Родную мать?
Чье сердце нам верней?
Гнев наших залпов,
Равен будь великой
Любви многострадальных матерей!

АЛЕКСАНДР КРОН

РАССКАЗЫ О БАЛТИЙСКИХ ПОДВОДНИКАХ

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Лодка мягко ударилась о грунт и заскребла килем по дну. Командир сморщился от острой боли в простреленном легком и со свистом втянул в себя воздух. Чтоб затормозить толчок, он уперся ногами в переборку и вдавил шею в кожаную подушку койки. Когда лодка остановилась, он на секунду потерял сознание.

Он лежал навзничь, обвязанный ватой и марлей, задыхаясь в спертом воздухе. Штурманский хронометр показывал ноль, лодка находилась под водой уже двадцать часов. На рассвете лодку, шедшую надводным ходом, атаковали два немецких самолета. Погружаться было поздно, командир принял бой. Он уклонился от бомб и с третьего залпа поджег один самолет. Самолет задымил и повернул к берегу. Другой обстрелял мостик из пулемета. Пули поцарапали перископную тумбу, одна из них ранила командира. Однако он нашел в себе силы остаться на мостике, последним спустился вниз и пошел на перевязку только выровняв лодку на глубине. Лодка сделала несколько зигзагов и пошла прежним курсом к вражеским берегам.

Днем произошло самое страшное. Лодка клюнула носом и стремительно пошла на глубину. Под килем было метров полтораста, — достаточно, чтобы превратить маленький корабль в смятый комок металла. Механик успел дать сильный воздушный пузырь и выровнял лодку на лету. Но положение продолжало оставаться критическим: лодка висела на сорокаметровой глубине, беспомощная, потерявшая управление.

Командир хотел подняться, пройти в рубку, но не смог. Он заставил перенести себя туда на руках. Молча выслушав рапорт помощника, он кивнул головой. Ясно. Бомбежка не прошла даром, от сотрясения вышли из строя рули. Нельзя ни всплыть, ни лечь на грунт. Надо уходить и искать подходящих глубин.

— Мы можем идти?

Механик смог ответить на этот вопрос не сразу. Вместе со стар-

шиной трюмных Колесником он обошел всю лодку и через десять томительно длинных минут вернулся и доложил, что можно рискнуть. Командир скомандовал: «Малый вперед!»

Его снова перенесли в каюту. Он упрямо не выпускал из рук управления лодкой и побагровел от злости, когда комиссар спросил его, не хочет ли он передать командование старпому.[1] Командир верил своему помощнику и знал его за отличного моряка. И всё-таки он не уступил ему своих прав. Комиссар понял почему и не стал возражать. Пока командир оставался командиром, — он жил. В его сердце жили долг, месть, командирская воля, — поэтому оно билось. Он пришел в бешенство от мысли, что его хотят превратить в мешок балласта, отнять право действовать, решать, бороться. Это было равносильно смерти.

И он, лежа на спине, прикованный к койке, продолжал оставаться командиром. Вызывал механика и штурмана, требовал карту, продиктовал фельдшеру письмо к команде и попросил комиссара прочесть его по отсекам. Это было суровое и нежное послание, которое обязывало к мужеству всякого, кто его слышал. К вечеру командиру стало хуже, воздуху не хватало. Однако он властно запретил включить патроны регенерации. На этот счет он был скуп.

Теперь раненая лодка лежала на грунте, а в каюте лежал раненый командир. Лодки делаются из прочного материала. Командиры — тоже. Через секунду после толчка командир открыл глаза и пошевелил губами. Сидевший у его изголовья на складном табурете фельдшер скорее угадал, чем услышал:

— Ме-х-а-н-и-к-а...

Механик вошел в каюту. За его спиной в дверях показалась коренастая фигура старшины Колесника.

Между командиром и механиком существовала давняя прочная, хотя и суховатая по внешности дружба. Вряд ли даже это слово было когда-нибудь произнесено между ними. За пять лет они не перешли на *ты*, не ходили друг к другу в гости, не часто беседовали о личном и были до забавности несходны во вкусах и привычках. Но когда в жизни командира наступал трудный момент и он нуждался в товарищеской помощи, его первым доверенным оказывался механик. Он не выспрашивал подробностей, не терял времени на советы и нравоучения, а только коротко спрашивал: что нужно сделать? Его помощь всегда была быстрой и бесшумной, она не задевала самолюбия и не обязывала к благодарности. Свою точку зрения он высказывал редко, но без околичностей, иногда с беспощадной точностью. Так же поступал и командир. И это ни разу не испортило их отношений. И теперь,

[1] Старпом — старший помощник командира корабля.

входя в каюту, механик оставался верен себе. Он даже не задал вопроса о здоровье командира. Об этом можно спросить фельдшера, и незачем заставлять командира произносить лишние слова. Он сразу начал отвечать на незаданные вопросы, именно те и в том порядке, как их задавал бы командир.

Механик доложил, что лодка находится на траверзе вражеского порта в видимости берега. Глубина — сорок два, ноль часов ноль две минуты, рули заклинены, нужно всплывать и лезть в надстройку, чтобы сменить шарнир. Необходимое время неизвестно, но надо поспеть до рассвета. За дело берется он сам вместе со старшиной Колесником. Если командир разрешит, они приступят к делу немедленно.

Командир молчал. Ему оставалось сказать «да» или даже меньше того — выразить согласие движением ресниц. Механик бы понял. Но командир медлил. Он размышлял. Лодка может быть замечена с берега. Могут нагрянуть катера. Вопрос решается просто: срочное погружение. Но как дать срочное погружение, если в тесной надстройке по пояс в воде работают люди? На то, чтоб извлечь их оттуда, уйдут драгоценные секунды. Неужели механик этого недодумал?

Все эти мысли еще не стали словами, когда механик заговорил опять. Он угадал последний вопрос командира и добавил, как бы вспомнив упущенную в докладе подробность:

— Старшина Колесник просил вам передать: если будет нужно, давайте срочное погружение...

Командир поднял глаза, чтобы взглянуть в лицо механику. Это было то самое лицо, которое он привык ежедневно видеть в течение пяти лет. Может быть, чуть более бледное и торжественное, чем обычно.

Механик улыбнулся и сказал, неожиданно перейдя на *ты*:

— Мы хотели отомстить за тебя. Если это случится, ты отомстишь за нас.

И быстро вышел из каюты, потому что знал ответ командира и не хотел, чтобы тот говорил.

Два часа старшина и механик провели в надстройке. Они видели берег, видели вражеский порт, освещенный вспышками и заревом пожаров. Порт бомбила наша авиация. Это зрелище придавало им силы и наполняло гневной радостью. Только закончив всю работу, они вспомнили, что отсвет зарева мог их погубить.

Тогда они об этом не думали. Об этом думали старпом и комиссар, стоявшие на мостике. Об этом думал командир в своей каюте. Дверь была открыта, и в нее проникал живительный воздух с моря. За эти два часа командир понял, что любовь и ненависть неразрывны.

Он трепетал за любимого друга, и одновременно в нем росло

такое жгучее ощущение ненависти к их общему врагу, какого он еще не знал. В нем зрела трезвая и стойкая ярость, умная ярость подводного мстителя.

Вам, вероятно, попадалось в сводках Советского Информбюро коротенькое сообщение об н-ской лодке, потопившей лучший германский танкер? Он горел среди ночи, как гигантский факел. Командир видел это сам. Он смотрел в перископ, а механик и старшина осторожно поддерживали его за плечи.

Я ДЕРЖУ МОЙ ФЛАГ

Капитан-лейтенанту И. А. Быховскому

Лодка зазимовала на Невке, плотно схваченная двенадцатидюймовым ледяным покровом. Никогда еще дым человеческого жилья не доносился так явственно до рубки боевого корабля. У подъездов стояли закутанные в платки женщины, дворники скалывали лед с тротуара, на стенке играли дети. После первых дней любопытства к лодке привыкли, она вошла в быт, и ее перестали замечать. Командир приказал обшить рубку тесом, палубу закрыли досками, и грозная субмарина выглядела скромной дровяной баржей. И только обледеневшее на ветру полотнище флага напоминало, что за узкой горловиной люка начинается мир сверкающей латуни и стали, действуют строгие и неизменные законы флотской жизни. В положенный час сменялись вахты, по тревоге с орудий снимались чехлы, и комендоры впивались линзами биноклей в облачное месиво, подставляя резкому ветру смазанные жиром лица.

Командир и лодка были почти ровесниками. Лодка была стара. Командир — молод. Он командовал лодкой меньше года. Назначение пришло в майские дни, и весь месяц командира не покидала наивная юношеская радость от ощущения своей самостоятельности и зрелости. В июне началась война.

Командир сидел за узким обеденным столом в третьем отсеке, служившем кают-компанией, прихлебывал горячий чай и, хмурясь, слушал, что говорит гость — механик дивизиона Шершнев. Шершнев говорил быстро, увлекаясь и не следя за лицами собеседников. Собеседники — командир, штурман и лодочный механик — сохраняли на лицах подчеркнуто безучастное выражение, не предвещавшее ничего доброго, ибо речь шла о вещах, кровно всех интересовавших.

Другой гость — командир дивизиона — молчал. Он еле следил за ходом мысли Шершнева и очень внимательно приглядывался к лодочникам. И особенно к командиру.

Комдив — человек немолодой и крутого нрава — испытывал двой-

ственное чувство. Он не мог не оценить сверкающей чистоты, в которой содержалась лодка. Бойцы своим видом тоже производили хорошее впечатление. Ему нравилось, что, несмотря на суровую обстановку блокады, кают-компания «не потеряла себя» — никаких порций и довесков, сахар по-семейному — в общей сахарнице, посредине стола — вазочка с десятком галет. Комдив уважал традиции морского гостеприимства. Наконец, комдив признавал, что «мальчишка» в походе держал себя очень порядочно, а теперь толково управляется с зимним ремонтом. Всё это говорило в пользу молодого командира.

И в то же время комдив не мог преодолеть в себе скрытого недоброжелательства к «мальчишке». Он осуждал себя за это чувство, тем более, что отлично знал его причины и считал их вздорными.

В свое время он, капитан второго ранга Буров, командовал этой самой лодкой. Прежде чем получить корабль, он прослужил на флоте двенадцать лет. А теперь вот этот удачливый юнец, недавно слезший со школьной скамьи, распоряжается здесь так, как будто командовал лодкой всю жизнь и как будто у лодки никогда не было другого командира. В общем, это было чувство, похожее на ревность.

А дальше шли уже совсем пустяки: у «мальчишки» был слишком задорный нрав, иногда он не к месту острил. Буров был не силен по части юмора и к остротам всегда относился настороженно. Ему казалось, что он может пропустить какой-то выпад по своему адресу и вовремя не дать отпора. Комдив был властный человек и справедливо считал, что на флоте от панибратства бывает только вред.

Вот и сейчас на губах командира блуждает коварная усмешка — явный признак, что он собирается отпустить какое-то едкое замечание по адресу Шершнева. Нет, сдержался. Комдив переводит взгляд на Шершнева и крякает, — увлеченный своим красноречием, дивмех [1] потянулся уже за пятой галетой. Деликатность требовала остановиться на третьей. Хорошо, что, кроме комдива, этого никто не замечает.

Молодой командир продолжает хмуро усмехаться. Что он говорит, этот Шершнев? Видите ли, лодка стара, сильно повреждена и требует очень сложного ремонта. Это и без него известно. Завод не сможет оказать ей сколько-нибудь существенную помощь? И это известно. Куча известных вещей. Какой же вывод? Оказывается, лодку надо законсервировать, точнее говоря, — разоружить и отправить на покой. А кое-что из механизмов и частей использовать для ремонта других лодок, — это упростит задачу. Еще бы не упростит! Всё? Нет? Ну, пусть говорит до конца.

Заканчивая, Шершнев полушутливо намекнул, что такая сильная команда и такой способный командир, конечно, не останутся без при-

---

[1] Дивмех — дивизионный механик.

менения. В частности, для командира есть некоторые перспективы, связанные даже с повышением... Впрочем, это дело командования...

И только теперь дивмех заметил, что тишина, в которой он произносил свою речь, не простая тишина, и, сбившись с тона, замолчал.

Наступила напряженная пауза. Все ожидали, что скажет командир. Ждал Буров, которому хотелось проверить себя. Он еще не выработал твердого суждения о шершневском проекте. Он еще взвешивал все «за» и «против» и разрешил дивмеху высказаться, чтобы посмотреть, как примет проект «мальчишка». Ждали штурман и механик. Вестовой Леша, не проронивший ни слова из того, что говорил Шершнев, теперь нарочито долго перетирал никому не нужные ложечки, чтоб не идти на камбуз за кипятком. И даже радист, лениво выщипывавший из эфира обрывки штраусовских вальсов, выключил приемник и тихонько приоткрыл дверь рубки.

Командир встал. Он говорил негромко и по видимости спокойно. Но — комдив слышал — голос его дрожал.

— Это мой корабль, — сказал он. — Я его командир. Понятно вам? Меня назначил нарком. Ясно? Пока корабль на плаву и хоть одна палка торчит над водой, — я держу мой флаг. Ясно?

Это было не очень ясно. Шершневу захотелось уточнить: насколько он понимает, командир не согласен?

Командир пожал плечами. Он пояснил:

— Вы предлагаете мне сдаться. Согласно присяге и уставу — отказываюсь.

Шершнев сделал протестующий жест и хотел что-то возразить, но командир не дал ему открыть рта.

— Отступить перед блокадой, вывести из строя корабль, который может плавать и вести бой, — для меня равносильно сдаче врагу. И корабль будет плавать, будет вести бой, — командир стукнул кулаком по столу. — Мы ремонтируемся сами и не просим у вас ни гвоздя. Вчера мы начали корпусные работы. Не думаю, что среди моих товарищей найдется такой гусь, который решится прийти ко мне на корабль и унести хоть гайку. А найдется — пусть попробует. Я не пущу его на трап.

Тут комдив счел необходимым вмешаться. Он чувствовал себя косвенно задетым. Кроме того, разговор шел в присутствии краснофлотца. Полудетская физиономия Леши сияла от удовольствия: его командир здорово поддел опасного гостя, съевшего все галеты. Комдив сухо заметил, что командиру следует быть осторожнее в выражениях, и добавил, что горячиться преждевременно. Вопрос еще не решен и не здесь будет решаться. Не здесь и не нами. Затем он поднялся и потянулся к вешалке за своим регланом.

Командир почтительно проводил его до трапа и сам подал команду: «С-м-и-р-н-о!» Буров подал ему руку и сошел на стенку, ворча. «Мальчишка» его злил. «Я держу мой флаг», — скажи на милость, как шикарно. Подумаешь, какой флагман! — Затем он рассердился на себя и на Шершнева. Раз не решено, значит нечего было и затевать разговор. Он остановился, поджидая отставшего дивмеха, чтоб высказать ему это. Оглянувшись назад, он заметил на льду группу краснофлотцев в бушлатах и ватниках и, заинтересовавшись, подошел ближе.

При бледном свете луны пятеро краснофлотцев рубили лед ломами. По-видимому, им зачем-то понадобился вмерзший в лед лист старого железа.

Они работали с увлечением и не видели комдива. Им было жарко, хотя стоял двадцатишестиградусный мороз.

Буров продолжал стоять и смотреть, хотя не надеялся увидеть ничего, кроме того, что видел. Теперь Шершнев ждал его. Комдив не двигался с места. Он думал:

«Конечно, эти ребята отремонтируют корабль. Их ничто не остановит — ни мороз, ни блокада, никакая сила. «Мальчишка», конечно, прав. И вообще, какой он «мальчишка»? Глупое слово. Все мы были когда-то молоды, и неизвестно, были ли мы тогда хуже. Толковый парень и любит свой корабль. Откуда что берется, — моряк-то без году неделя!»

Буров вспомнил себя командиром лодки и попытался представить себе, как посмотрел бы на такой проект он сам. Конечно, так же, как этот парень, и никак иначе. Об этом стоило подумать раньше. Положим, он не выражал согласия с Шершневым, но всё-таки позволил ему задурить себе голову. А теперь «мальчишка», если сказать по чести, дал урок обоим...

Он опять назвал командира «мальчишкой», но без всякого ожесточения. Теперь в этом слове звучало нечто вроде отеческой ласки. Покойного сына Борьку, летчика, погибшего в финскую войну, он тоже называл про себя «мальчишкой». А у мальчишки были седые виски и два ордена.

Шершнев окликнул комдива и, когда тот обернулся, с удивлением заметил, что комдив улыбается без всякой видимой причины. Буров хлопнул дивмеха по плечу и проворчал:

— Ну?

И в этом «ну?» Шершнев почувствовал некий укор, смягченный всё той же улыбкой.

Они молча зашагали к базе, и всю дорогу улыбка не сходила с лица комдива, несмотря на резкий декабрьский ветер, дувший навстречу.

Боцман Ниеле мельком взглянул на часы и засвистел в дудку: «кончай работу!»

Косые лучи закатного солнца уже не проникали в док, где на стапелях покоилось величественное брюхо подводной лодки. Человек двадцать краснофлотцев облепили его со всех сторон. Боцман стоял на шаткой дощечке, переброшенной с верхней палубы на каменные ступени спуска, широко расставив длинные ноги и вытянув загорелую жилистую шею. Он провожал глазами солнце.

Солнце садилось. Медный диск висел над горизонтом, запутавшись в цепях плавучего крана. Казалось, что черный сутулый гигант хочет утопить солнце в заливе.

Ниеле молчал. Затем мотнул головой, как бы освобождаясь от навязчивых мыслей, круто повернулся и в два прыжка очутился на стенке. Присев на каменных ступенях, он вытащил кисет и не торопясь набил трубку.

К боцману подошел бригадир завода Козюрин. За те два дня, что лодка стояла в доке, боцман успел подружиться с мастером. Мастер сначала не внушал доверия боцману, — засаленный ватник, желтые шершавые ладони, махорочный запах. Ниеле привык иметь дело с мастерами совсем другого рода. Они были холеные и важные, почти не работали руками и больше командовали. Потом он увидел Козюрина в деле и подивился спокойной уверенности, с которой тот разбирался в механизмах лодки. А лодка была нерусской постройки, и эстонец боялся, что кронштадтцы затянут ремонт. К вечеру первого дня он уже понял, что ошибался, и это заставило его проникнуться уважением к Козюрину. Боцману нравились дельные люди, и с ними он был подчеркнуто предупредителен и любезен.

Увидев, что мастер сворачивает негнущимися пальцами толстую самокрутку, боцман заулыбался, указал место рядом с собой и полез за зажигалкой.

Затянувшись, мастер завладел зажигалкой. Он ощупывал и разглядывал ее с сосредоточенным видом. Так он поступал со всеми механизмами, которые ему попадались, будь то паровой молот или дамские часы. Зажигалка была самая простая, но веселенькая, в оправе из пестрой имитации перламутра. Наконец он удовлетворенно хмыкнул и, возвращая, сказал:

— Чистая работа. Мэйд ин Эсте?

Ниеле кивнул головой. Мастер спросил, чтоб поддержать разговор:

— Давно из родных мест?

Боцман медленно поднял на собеседника свои светлые, почти про-

зрачные глаза. Он задумался, припоминая, и ответил очень серьезно своим мягким, несколько запинающимся говорком:

— Нет. Во вторник на эта неделя. Совсем близко.

Козюрин попытался рассмеяться, думая, что в словах боцмана кроется какая-то не совсем понятная ему эстонская шутка или поговорка. Был сентябрь месяц. Флот оставил прибалтийские базы в конце августа.

Боцман не солгал. Наоборот, он почти проговорился и вовремя прикусил язык. Лодка стала в док в пятницу, но еще во вторник она подходила к берегам Эстонии. Тридцать дней лодка ходила в заданном квадрате моря, но немцы стали осторожны — ни одного судна, стоившего торпедного залпа, не появлялось. Однако возвращаться в Кронштадт, не отправив на дно фашиста, было досадно. Капитан-лейтенант Авраменко решился на дерзость. На рассвете лодка приблизилась к порту и знакомым фарватером проскользнула в гавань. В гавани командир поднял перископ.

За несколько секунд он увидел всё, что ему было нужно: у одного из пирсов стояла высокобортная трехтрубная громадина — груженый транспорт тысяч на восемь тонн.

Ниеле стоял рядом. То ли командиру вдруг захотелось поделиться своим радостным волнением, то ли он почувствовал на себе безнадежно-молящий взгляд боцмана, но свершилось то, о чем остро мечтал в это мгновение эстонец. Мечтал и, конечно, не смел просить. Командир порывисто схватил его за плечи и хриплым шепотом приказал:

— С-м-о-три...

Ниеле не помнил, сколько это продолжалось. Вероятно, не больше трех секунд. Рука командира больно сжала плечо и сразу же оттолкнула его от окуляра. Но боцман успел увидеть всё: порт, где прошло всё его детство, цветную черепицу остроугольных крыш родного города, длинный пирс, у которого раньше швартовалась его лодка. Теперь у пирса, привалившись размалеванным бортом, стоял бандит с задранным носом, попыхивающий дымком из труб.

И одновременно с предельной яркостью встали в памяти жгучие августовские дни, бомбы, рвущиеся в порту, домик под красной черепицей, охваченный дымом и пламенем, распростертое на мостовой тело комсомолки Марты Ветела, подстреленной из подворотни фашистскими молодчиками. Марта должна была стать его женой.

Лодка развернулась и с близкой дистанции выпустила по транспорту две торпеды. Когда раздались взрывы, командир скомандовал полный ход. Прежде чем немцы успели что-нибудь предпринять, лодка уже выбралась в открытое море и ушла на глубину.

Солнце садилось. Козюрин ждал, чтобы боцман пояснил свои слова. Но боцман молчал. Он молчал примерно минуту. Эту минуту он

отсутствовал — его мысли были на западе. Он снова видел город, порт, небо Эстонии. Затем он поднялся во весь рост. Его огромные кулаки были стиснуты, в потемневших от нахлынувшей ярости глазах отражалась горячая медь зарева. Ннеле сказал упрямо:

— Я был там, товарищ Козюрин. Это было вторник на эта неделя. Я говорю верно. И я еще приду. Я еще вернусь.

Он схватил руку Козюрина, потряс ее и сказал торжественно, почти важно:

— Мы будем там вместе, товарищ Козюрин. У меня опять будет дом, и я буду рад видеть вас в моем доме, товарищ Козюрин.

И мастер понял, что боцман не шутит.

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

ТВОРЧЕСТВО

Очерк

Боевые изделия выходили из цехов потоками серийных выпусков. Завод был одним из тех, которые создали Ленинграду его трудовую славу, одним из тех, чьи сложнейшие машины встречаются на всех новостройках, чьи золотые кадры имеют учеников на всех новых предприятиях Советского Союза. Теперь, в условиях блокады и фронта, завод стал военным арсеналом. Опытные заводские кадровики терпеливо обучали новичков, хотя нелегкое и невеселое дело для старого мастера — объяснять простейшие истины домохозяйкам и мальчуганам, впервые переступившим порог производственного цеха. Старые маститые мастера и сами не отказывались ни от какой простой, черной работы, лишь бы Красная Армия получала всё, что ей нужно. Их сердца бились для борьбы и победы... Но кому из них не мечталось порою, пока руки выполняли несложную, однообразную работу, — доживемся до высокого мастерства, снова будем строить, придумывать, создавать небывалое! Тосковали золотые руки мастеров по тонкой, хитрой работе, по неслыханным заданиям, к которым не знаешь, как и подступиться. Хотелось — ой, как хотелось! — вновь испытать свое уменье на таком диковинном изделии, когда душа горит, когда ночами сна нет от беспокойных мыслей, когда нужно превзойти самого себя в тончайшем мастерстве!

И ради этой мечты люди снова и снова, набирая всё бо̀льшую скорость, трудились на простой, массовой, боевой работе...

Анатолий Михайлович Яковлев до войны был турбинщиком, инженером-конструктором высокой квалификации. Он создавал машины очень сложные и очень умные, призванные давать народу радость, свет и богатство. Возникая на листах ватмана и кальки в продуманных, выверенных чертежах, эти машины получали на заводе свое совершенное воплощение в металле и затем начинали долгую плодотворную жизнь в светлых залах самых передовых электростанций страны. Они работали безотказно и красиво, как одухотворенные существа. Да они и были такими, — разве в них не были вложены частицы душ их создателей?

Когда война подкатилась вплотную к Ленинграду, Анатолий Михайлович не уехал с заводским конструкторским бюро в глубь страны, так как ему нужно было закончить одну срочную оборонную работу. А потом страсть ленинградского сопротивления захватила его, и уж не расстаться было с осажденным городом, с обстреливаемым заводом. Все участники ленинградской обороны знают, как в ответ на разумное предложение об эвакуации рождалось это гордое и упрямое, иногда идущее вопреки логике: «Ни за что!»

Анатолий Михайлович, сказав это «Ни за что!», стал скромным сменным инженером, вместе со всеми горожанами переживал голод, морозы, бомбежки, обстрелы. И если он иногда с завистью думал о родном конструкторском бюро, работающем в далеком тылу, то не покою, не безопасности он завидовал, а возможности совершенствоваться, технически расти, творить... Он боялся отстать.

Но это были редкие минуты творческого голода. Жизнь требовала сейчас другого. Враги грозили сломать всё, ради чего он жил. Он с болью узнавал о варварском разрушении немцами того, что он любил. Одна из станций, где работала «его» турбина (он и конструировал ее, и руководил ее монтажом на месте), стала средоточием длительных, упорных боев. Гордое детище наших пятилеток было превращено немцами в дот, снаряды изрешетили его толстые стены, вражеские трупы пачкали блестящий кафельный пол... Как жить, как дышать, зная, представляя себе, что руки фашиста уродуют, разбирают на части, ломают твое любимое создание?.. Мысль о растерзанной станции, о поруганной машине будила жажду боевого дела и торопила, торопила: отбить! воскресить! воссоздать!..

Ради этого стоило на время отказаться от своего призвания, от сладких и мучительных часов творческого раздумья и смелых экспериментов в тишине конструкторского кабинета, — надо было завоевать эту радость в сегодняшнем упорном трудовом бою.

И вдруг война потребовала от инженера Яковлева нового, высшего применения его сил и опыта. Его вызвали и сказали: «Снарядом разбита турбина, без которой Ленинграду обойтись трудно. Заказывать новую... вы сами понимаете, что это значит. Поезжайте, посмотрите!» От него ничего не требовали, так как все понимали, что отремонтировать машину, пожалуй, невозможно. Прямое попадание... Уже три комиссии пришли к горькому выводу. Уже обсуждалось, где заказывать новую машину — на «большой земле» или в Англии. Но это значило ждать год. Может быть, хоть что-нибудь можно придумать пока?.. Хоть временно?..

Анатолий Михайлович поехал смотреть. Он знал эту машину. Не он ее строил, но такие машины были делом его жизни. И он увидел ее, увидел прекрасную турбину изуродованной, непохожей на себя.

Искореженный металл вызывал жалость и выглядел страшно. Это был горестный символ разрушения, которое несли гитлеровцы нашей стране и всему миру.

Много часов провел инженер около турбины. С грустью бродил вокруг. Крышка цилиндра напоминала развороченную броню танка, пришедшего из боя на ремонт. Но тут нельзя было заменить одну поврежденную часть другой, как делали на заводе при ремонте танков. Одна отливка новой крышки весит больше двадцати пяти тонн. На изготовление модели нужно минимум двенадцать тысяч рабочих часов. Вся работа в целом займет десять-двенадцать месяцев. И делать ее пока негде... А турбина нужна Ленинграду. Нужна сейчас.

— Попробую отремонтировать, — сказал Яковлев, вернувшись на завод.

Это не было беспочвенной смелостью, — там, наедине с турбиной, он уже почувствовал общую идею ремонта, диковинную, но возможную. Идея была рискованна с начала до конца. Она распадалась на множество технических проблем, многие из которых могли быть решены только в процессе работы. А вдруг не выйдет? Страшно обещать, начать... и опозориться. Если он откажется, никто не упрекнет его, — ведь три комиссии уже признали ремонт невозможным. Если он возьмется, он поставит под угрозу свою репутацию инженера, свое доброе имя... Но турбина нужна Ленинграду. Идет война, всякий бой сопряжен с риском. Надо пробовать.

Крышку привезли на завод. Все знатоки турбин сбежались посмотреть на громоздкую калеку. Качали головами. Удивленно косились на Анатолия Михайловича: да что он, всерьез думает отремонтировать вот это?..

— Всё, что вам нужно, будет предоставлено, — сказал директор.

Пожалуй, никогда еще инженер Яковлев не был таким полным единоначальником. Все его заказы исполнялись немедленно, вне очереди, любым цехом, вся его канцелярия помещалась в кармане спецовки: книжка нарядов да книжка требований. Он сам подобрал себе бригаду из наиболее умелых работников, на которых можно было положиться, как на самого себя. Не велика, но сильна знанием и опытом была эта группа энтузиастов, которым предстояло опровергнуть выводы трех технических комиссий и доказать себе и другим, что и невозможное возможно, если человек владеет даром высокого мастерства и большевистского дерзания. Мастер Петр Трофимович Степанов работал в былое время на всех ответственных монтажах и чувствовал турбину так, как хороший хирург чувствует человеческое тело. Иванов и Павлов были первоклассными слесарями, в их искусных руках металл становился послушен. Электросварщик Усанов, которому, по замыслу инженера, нужно было провести небывалую сварку чугуна

медными электродами, был виртуозом среди сварщиков. Предстояло много кузнечных работ высокого мастерства, и для них были подобраны настоящие кузнецы, из тех, что «блоху подковать могут», во главе с кузнецом Драченовым. К этой бригаде ленинградских кадровиков присоединили двух простых, неученых женщин, недавно пришедших на завод. Их засадили делать электроды; медной проволоки не было, ее разыскали и сняли со старых трансформаторов. Было приятно видеть, как эти две подсобницы загорелись общей трудовой страстью.

Вся работа пошла по-новому, по-военному.

Раз взявшись за небывалое дело, инженер Яковлев должен был до конца поверить себе и своим людям. Он отказался от чертежей, — делать их не было времени. В то время, когда его рабочие уже начали первые предварительные работы, он составил «принципиальный» технологический процесс, заранее зная, что по ходу работы придется не раз вносить в него порою неожиданные изменения, — работа была нова и не вполне ясна, приходилось на ходу додумывать детали, изобретать, вносить конструктивные новшества...

Работа шла по-новому, по-военному, но в то же время по-старому, по истинно ленинградской доблестной традиции передового творческого мастерства.

— Мы уж думали: работать разучились! — говорили в бригаде, — а мы еще себя покажем! Рукам весело...

Полтора месяца продолжался ремонт, — полтора месяца, а не год! — и это были полтора месяца такого горения, когда труд поднимается на свою высшую, самую радостную ступень, становясь подлинным искусством — и в проникновенности конструкторской мысли, и в поковке кузнеца, и в каждом движении слесаря...

Анатолий Михайлович был душою этого творческого коллектива. А быть душою такого дела, да еще в условиях осажденного, фронтового города, значило сохранять мужество, уверенность и спокойствие даже тогда, когда, казалось бы, всё рушится. Были ли такие минуты в жизни бригады? Да, были. Они бывали и в стенах завода, когда латали никогда до той поры не испытанными методами огромную разорванную крышку цилиндра и рваные раны металла не слушались, сопротивлялись усилиям своих лекарей. Они бывали и в стенах электростанции, когда самое тяжелое оставалось позади, и вдруг во время монтажа машина начинала капризничать...

И тогда Яковлев умел спокойно сказать: «Ничего, начнем сначала!»

Как инженеру, ему было свойственно то чудесное творческое беспокойство, которое отличает настоящего творца, но в нем оно счастливо соединилось со спокойствием характера и деловой собранностью, чуждой всякой суете и нервозности. Может быть, тут сказались осо-

бенности его биографии — одной из тех биографий, которые подчеркивают талантливость народа и широкие возможности, открытые перед ним советским строем. Человек разносторонне культурный, окончивший два факультета — физико-математический и механический, любящий литературу, увлекающийся стихами, Яковлев — сын тверского крестьянина, в нем и сейчас проглядывает тверской мужичок, рассудительный и неторопливый, ненавидящий громкие слова, уважающий конкретное дело.

Мальчиком он нанялся в исследовательскую партию, прокладывавшую путь для железной дороги. Он таскал за техниками их груз и присматривался к работе. Его заинтересовал нивелир, — нельзя ли научиться работать с нивелиром? Ему ответили, что нельзя, надо знать геометрию. Мальчик достал учебник геометрии, но ничего в нем не понял. Смеясь, один из техников показал ему в конце книжки пример с нивелировкой. Мальчик продумал и понял. Первое определение он проделал дома: к восторгу соседских мальчишек определил высоту дерева и высоту своей избы. Затем он упрямо вернулся к началу книжки и понемногу стал понимать. Однажды, когда техники отдыхали в кустах, разморенные жарой, он сам прошел целый участок пути с нивелиром и всё сделал правильно, точно. Тогда техники решили его учить. Три года мальчик бродил с ними по полям и учился на случайных биваках, на природе. Может быть, это постижение таинств науки вместе с созерцанием красоты природы и создали в Яковлеве ту ясную гармоничность и спокойствие духа, которые так хорошо сказались в последней его напряженной, трудной, рискованной работе. И еще, наверное, сказалось знакомство с сыном и дочерью первого изобретателя радио Попова, у которых он учился позднее в сельской десятилетке.

Поповы вытащили его учиться в Ленинград, и в этой дружной, умной семье он впервые постиг, что такое изобретательский труд, поверил в смелость научной мысли и осуществимость мечты.

С этой верой и с чувством профессионального достоинства и гордости маленькая бригада инженера Яковлева сделала невозможное. Дерзкий и хитрый проект был воплощен умелыми руками золотых ленинградских мастеров. Машина вошла в строй. Страшные рваные раны и пугающие трещины исчезли. Она снова стала красивой и разумной, как одухотворенное существо. Да она и была такою: сердце борющегося Ленинграда билось в ней размеренно и ровно на благо Ленинграду, на радость его людям...

А те, кто дал ей вторую жизнь, вернулись к повседневному труду для войны, для уничтожения варваров, во имя возвращения в недалеком будущем к созидательному мирному труду. В эти полтора месяца они как бы соприкоснулись с будущим счастливым трудом... Но нет,

это тоже была война — светлая война жизни против смерти, человеческого разума против варварства, высокого искусства против тупой разрушительной силы врага. Искалеченная машина была символом всего того, что в отчаянной звериной злобе уничтожают и калечат враги, пытаясь превратить нашу страну в «мертвую зону». И эта же машина, возвращенная к жизни с таким пламенным дерзновением, и самый этот труд, напряженно-радостный, упоенный, и небывалые сроки, — не станут ли они символом восстановления всего того, что разрушено в Ленинграде?

АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ

РОДНОЙ ГОРОД

Весна идет, и ночь идет к рассвету.
Мы всё теперь узнали на века:
И цену хлеба — если хлеба нету,
И цену жизни — если смерть близка,

И деревень обугленные трубы,
И мирный луг, где выжжена трава,
И схватки рукопашные, и трупы
В снегах противотанкового рва.

Но так владело мужество сердцами,
Что стало ясно: он не будет взят.
Пусть дни бегут и санки с мертвецами
В недобрый час по Невскому скользят.

Людское горе — кто его измерит
Под бомбами, среди полночной тьмы?
И многие наверно не поверят,
Что было так, как рассказали мы.

Но Ленинград стоит, к победе кличет,
И все слова бессильны и пусты,
Чтобы потомкам передать величье
Его непобедимой красоты.

В. ГРУДИНИН

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

Странички
из ленинградского дневника

ВЕСНА ИДЕТ!

Безоблачный, ясный день. В воздухе носятся еле уловимые запахи весны. А мороз всё еще держится. И хотя весна, точно напуганная военным громом, задерживается где-то в дальних краях, из подвалов и бомбоубежищ, из промерзших за холодную зиму квартир выходят люди. Они чистят, скребут, скалывают лед, расчищают трамвайные пути, освобождают из-под снега застывшие троллейбусы. В эти дни мало кто обращает внимание на предупреждающие надписи, сделанные при помощи трафаретов на стенах домов: «Внимание! Эта сторона наиболее опасна при артобстреле».

На моей улице, на ее солнечной стороне, вдоль стен домов, удобно устроившись, греются закутанные в большие платки, укрытые теплыми одеялами, ослабевшие, бледные люди. Яркое солнце слепит глаза, заставляет людей жмуриться, прикрывать веки. Но оно не мешает им вести разговор, передавать новости, говорить о войне, о хлебе и «крупяных талонах», о своих болезнях. У некоторых на коленях книги, газеты, вязанье. Греющиеся на солнышке с завистью смотрят на скалывающих многослойный лед.

В один из таких мартовских дней газеты осажденного Ленинграда вышли с крупно набранными заголовками:

«Добро пожаловать, боевые товарищи!»

«Честь и слава героям народной войны с немецкими оккупантами!»

«Горячий привет вам, славные партизаны и партизанки, от трудящихся города Ленина!»

«Здравствуйте, родные!»

На войне не принято без серьезного повода удивляться, публично и громко выражать свои чувства. Но на этот раз суровая сдержанность вынуждена была отступить. Дело в том, что жители партизанского края снарядили и переправили через линию фронта обоз из 200 подвод с хлебом, овощами, мясом, жирами в подарок защитникам Ленинграда. Невероятное стало возможным.

В цехах заводов, в бомбоубежищах, на кораблях Балтийского флота, на улицах, в блиндажах и окопах переднего края — всюду говорили только об этом.

В первый день еще не были известны многие подробности легендарного похода. А они были примечательны.

...На одном сельском сходе в партизанском районе выступил пожилой колхозник Игнат Петрович Горюнов. Он обратился к односельчанам с такими словами:

— Я так думаю, граждане. Все мы одним духом с Ленинградом живем. А коли это так, то зачем, спрашиваю вас, долго разговоры разговаривать. Хотя мы со старухой и бедно живем, а для героев-ленинградцев последнее отдадим... Вношу овцу и пуд хлеба. Вот мое слово. Теперь пусть другие скажут...

Один за другим выходили колхозники и колхозницы, просто, по-деловому сообщали о том, кто что может принести для обоза. Потом собрание избрало тройку, которой поручили пройти по дворам и собрать продовольствие. Под конец опять поднялся Игнат Петрович. У него возникло новое предложение — вместе с обозом переправить через линию фронта письмо в Кремль, а копию вручить ленинградцам.

— Давайте расскажем, как мы живем, про что думу думаем.

— А что если немцы про всё это узнают? — засомневался кто-то.

— Немцы, немцы, — заворчал Игнат, — тебе они, наверное, во сне часто снятся. Немцы обязательно узнают и про обоз, и про письмо. Пусть знают, куда пришли, с кем имеют дело. Потребность у нас такая имеется — написать нашей партии, нашему правительству правду о нашей жизни и под этой правдой собственноручно подпись поставить. Так думаю я, так, по моему разумению, думает вся деревня. Думаете или не думаете так?

— Правильно, дед, все так думаем, — зашумели колхозники.

Вместе с продовольственным обозом партизаны везли стопку ученических тетрадей с подписями простых советских людей, волею военных событий оставшихся за линией фронта. Подписи эти стояли под коллективным письмом, адресованным родной партии, ее Центральному Комитету. Его писали в глухих лесных землянках, на тайных колхозных сходках. Каждый из трех тысяч подписавших это письмо знал, что этим он подвергает себя, свою семью, своих родных и близких смертельной опасности. Но ничто не устрашило, не остановило советских патриотов.

В письме рассказывалось, что в партизанском крае хозяином положения остались советские люди. Они жили и работали по советским законам, поддерживали советские порядки. Под вооруженной

охраной партизан действовали сельские Советы, колхозники готовились к весеннему севу в своих артелях, дети занимались в школах, учителя рассказывали им, как воюет наша армия, весь наш народ с фашистскими ордами.

Подарки для защитников Ленинграда готовили каждая деревня, каждая семья. В сожженных деревнях выкапывали из ям, доставали из подвалов, потайных складов, приносили из леса спрятанные от немцев продукты и передавали их организаторам обоза. Надо было видеть, с какой любовью, как бережно хозяйки завертывали в холстины мясо, ссыпали в мешки муку и картошку. А вечером, когда темнело, тщательно прятали в условленном месте. Неровен час — нагрянут каратели!

Редкая посылка не имела трогательной надписи или короткой записки. На мешках, ящиках, холстинах писали углем, мелом, огрызками чернильных карандашей: «Родным ленинградцам!», «Мы с вами», «Будьте стойкими до конца», «Привет от колхозников „Красного пахаря"».

Среди надписей можно было встретить и такие: «Мы любим вас. Нина» или «Наш отец погиб, но не пустил немцев в Ленинград. Караваевы».

В партизанский штаб каждый день поступали всё новые и новые сведения о сборе продовольствия, о том, с какой готовностью колхозники откликнулись на призыв партизан. Результаты превзошли все ожидания. Продуктов было собрано значительно больше, чем предполагали в самом начале...

Всё было готово к отправке обоза. День и час отправки, разумеется, держался в секрете. А когда пришел срок, провожали всем миром, давали наказы, передавали приветы, просили кланяться ленинградцам.

Почти в одно время из разных деревень вышли подводы. Шли под прикрытием ночи. Днем партизаны отдыхали в лесах. Спали по очереди, закутавшись в тулупы, укрывшись кто чем мог.

Наступила пятая ночь пути. Легким прикосновением руки дежурный поднимал отдыхающих. В дорогу! Без шума, по глубокому снегу двинулись подводы. Где-то там, стороной, по другим дорогам пробирались, ползли другие... Никто не знал, кроме командира отряда, где, когда, в каком месте обоз миновал последние немецкие рубежи. В четыре часа утра в темноте неожиданно раздался короткий повелительный окрик:

— Стой!

Мелькнули огоньки фронтовых фонариков. По цепочке, как искра, пробежало желанное и долгожданное слово: «Наши!»

В воздух полетели шапки. Над снежными просторами переднего

края загремело торжествующее «ура», пусть не очень дружное, но зато искреннее, вырвавшееся из глубины души каждого.

Ранним утром 28 марта подводы темной лентой вытянулись по главной улице занесенного снегом Тихвина, города, из которого части Советской Армии недавно вышибли фашистов. Партизаны и партизанки, сопровождавшие обоз, буквально пробивались через плотный строй людей. Сколько сердечных улыбок и дружеских рукоплесканий! На митинг собралось много народу. С импровизированной трибуны говорили страстные речи, читали стихи. Затем опять в дорогу через Ладогу в Ленинград!

В Тихвине, как и на всем остальном пути, к партизанскому обозу присоединялись всё новые и новые подводы, груженные продовольствием. Их количество уже трудно было точно подсчитать.

Покидая гостеприимный Тихвин, участники необычного рейса передали по телефону ленинградцам письмо. Оно начиналось такими словами:

«Здравствуй, друг наш, богатырь Ленинград! С сердечным волнением и радостью приближаемся мы к берегам Невы, готовимся к встрече с вами, дорогие братья — трудящиеся героического Ленинграда.

Мы знаем, что вы стойко и мужественно переносите все трудности и лишения, связанные с блокадой города. Весь советский народ гордится вами. Ваш мужественный героический образ вдохновляет нас на борьбу и победу во славу любимой Родины. В районах, временно оккупированных немецкими захватчиками, мы стремимся стойкостью и мужеством быть похожими на ленинградцев...»

Дальше шел незамысловатый, простой рассказ о мыслях и чувствах партизан и партизанок, их отчет о жизни и борьбе непокоренных советских людей в тылу у врага.

«...Немецкие разбойники хвастают, что они заняли наши районы, но в этих районах они сидят, как в осажденной крепости, и почва горит под их ногами. Партизаны и колхозники — советские люди, глубоко преданные матери-Родине, — вот кто является настоящими, полновластными хозяевами наших районов. Мы держим под своим контролем площадь в 9600 квадратных километров. Ни карательные экспедиции, ни жестокие расправы с мирными жителями — ничто не сломило и не сломит нашей воли к победе...

Вооруженная рука партизана пускает под откос вражеские поезда, останавливает немецкие транспорты, везущие боевые припасы и солдат на фронт... Борясь и работая в тылу врага, мы живем единым дыханием, единой волей и чувствами со всем советским народом. Об этом мы написали в своем письме родной Коммунистической партии и своему правительству...

Прибывая в славный город Ленина, еще раз от имени пославших нас партизан и колхозников, мы говорим:

— Здравствуй, друг наш, богатырь Ленинград!»

— Здравствуйте, родные! — сердечно и радостно отозвались защитники Ленинграда, встречая дорогих гостей.

В Ленинграде партизан узнавали сразу — по красным ленточкам на шапках-ушанках, по трофейным автоматам, с которыми гости по привычке не расставались. Гостей то и дело останавливали, обнимали, расспрашивали, давали адреса, просили обязательно зайти «хотя бы на несколько минут».

Вечером партизан пригласили в Смольный. Их встретили руководители партийных и советских организаций, члены Военного совета Ленинградского фронта, представители общественности города. Командир партизанской бригады представил собравшимся членов делегации, вручил партизанские подарки — немецкие автоматы, захваченные в боях с фашистами. После обмена приветствиями началась непринужденная беседа, расспросы о людях партизанского края, их жизни и борьбе. Потом в Смольном зазвучала могучая народная русская песня. Пели партизаны и генералы, партийные работники и офицеры, пели все, кому посчастливилось в этот вечер присутствовать на этой задушевной и сердечной встрече. Песня сменялась пляской. За пляской следовала опять песня, выражающая величие духа советского человека.

Было уже далеко за полночь, когда пришел час расставания.

Утром следующего дня в городском комитете партии, в Ленсовете, в редакциях газет — непрерывные звонки:

— Где находится делегация партизан? Как пригласить их в гости?

— Рабочие нашего завода хотят встретиться с партизанами. Можете ли вы нам помочь?

— У нас кончилась дневная смена, но никто не уходит. Ждем партизан... Пусть хоть один из них приедет к нам.

Подобных просьб и требований было много, а делегация партизан и колхозников состояла всего из 22 человек. Не разорваться же им, в самом деле? Пришлось составить специальный график, разделить гостей на группы, просить их в течение дня выступать по нескольку раз в разных местах.

Больших трудов и хлопот стоило ленинградским художникам «затащить» в мастерскую молодцеватого пулеметчика-партизана, которого все называли Мишей. О его боевых делах писали в газете, рассказывали по радио. Художники несказанно обрадовались появлению в мастерской посланца партизанского края, одетого в овчинный полушубок, в сдвинутой на затылок шапке-кубанке. Было решено

занять гостя разговорами и незаметно набросать эскиз его портрета, пополнить галерею героев еще одним портретом. Вначале всё шло хорошо. Шло, как было задумано. Потом, умучав свою «жертву» расспросами, художники решили, что наступило время перейти к делу вплотную. Один из них несмело предложил гостю «посидеть несколько минут спокойно».

— А в чем дело? — спросил Миша, что-то заподозрив.

Пришлось ему объяснить, что его портрет нужен для выставки.

— Мой портрет? На выставку? Что вы, что вы! — запротестовал Миша. — Я не совершил ничего героического... Вот вернусь в отряд, пойду в операцию, сотворю там чего-нибудь, — вот тогда...

Миша заторопился, пожал руки художникам, поблагодарил их и выскочил из мастерской. На улице уже ждала машина, чтобы увезти его за Нарвскую заставу на встречу с ленинградскими рабочими и работницами. Туда должны были приехать «Батя» — так звали партизаны своего командира — и Анна Васильевна — партизанка-колхозница. Миша подоспел вовремя.

Когда посланцы партизанского края вошли в зал, все поднялись со своих мест. Гости под грохот аплодисментов, с поднятыми в приветствии вверх руками прошли по центральному проходу на сцену. Присутствующие долго не могли успокоиться. Ленинградцы аплодировали гостям, гости — ленинградцам. В зале стихло только после того, как работница Надежда Петровна Гаврилова произнесла со сцены первые слова.

— Дорогие наши сынки и дочери, славные народные мстители! — звучал в притихшем зале ее взволнованный голос. — Мне, старой работнице, не передать в словах радость и счастье, которыми наполнена наша встреча. Хочется обнять, поцеловать вас, близких, родных, отблагодарить за ваше мужество, стойкость, за ваши ценные подарки, привезенные нам, ленинградцам. Они нам дороги не только потому, что мы нуждаемся в продовольствии, но прежде всего как знак нашего единства...

Пришел черед говорить «главному партизану» — Александру Георгиевичу П. Он осторожно положил на край стола свой автомат, расстегнул полушубок и неторопливо вышел к рампе. Перед собравшимися стоял среднего роста мужчина лет тридцати пяти с откинутыми назад каштановыми волосами. Несколько секунд он стоял молча, ожидая, когда успокоится гудевший зал.

— Даже не знаю, с чего начать, — не то спрашивая, не то утверждая произнес Александр Георгиевич. Его приятный тенор прозвучал необычно громко в ожидавшем его слов присмиревшем зале. Для начала он передал боевой партизанский привет героическим защитникам Ленинграда. Пока зал громыхал аплодисментами, Александр

Георгиевич собирал убегающие от него куда-то нужные слова и мысли. Но они как назло не возвращались. Тогда Александр Георгиевич вынужден был вслух признаться:

— Я не большой мастак произносить речи, дорогие товарищи. Практика у нас в тылу на этот счет небогатая. Может быть, договоримся так: вы будете задавать вопросы, я буду отвечать. Что вас интересует?

— Всё интересует. Как там живете, как немцев бьете...

Вмешался председательствующий.

— Речей нам и не надо, Александр Георгиевич. Расскажите просто, по-рабочему, о партизанской борьбе в тылу врага.

— Просто рассказывать не просто, — отвечал Александр Георгиевич, — особенно на таком многолюдном собрании. В небольшом кружке могу целую неделю, а то и больше рассказывать. Есть что сказать! А тут вдруг всё вылетело из головы. Вы не подумайте, что я не готовился к встрече с вами. Полночи речь писал. Вот она, — Александр Георгиевич при этом вытащил из кармана полушубка исписанные листки из блокнота и продемонстрировал их под дружный смех собравшихся. — И речь есть, а произнести ее не могу. Почему? А потому, скажу по секрету, я ее сегодня уже один раз прочитал работницам швейной фабрики. Не могу же я ее второй раз вам зачитывать...

Зал одобрительно зашумел. Непосредственность и откровенность помогли установить живой контакт с залом.

— Что касается нашей борьбы в тылу врага, — более уверенно продолжал Александр Георгиевич, — то меня опередили газеты и радио. Наверно вы уже успели прочитать и послушать сообщение Совинформбюро «Сокрушительные удары партизанских отрядов Ленинградской области по немецким оккупантам». В этом сообщении подведены итоги нашей работы в тылу врага за восемь месяцев. Там приведены цифры и факты, которые лучше всяких слов говорят о том, что советские люди, оказавшиеся в тылу врага, не склонили своих голов, не покорились оккупантам, не сидят сложа руки в ожидании своего освобождения. Нет, они в тылу у немцев создали свою армию — армию вооруженного народа и бьют врага и в хвост, и в гриву... Есть, конечно, у нас и такие, кто еще не взял непосредственно в руки оружие, но и тот воюет сегодня с врагом, помогает чем может партизанам. Теперь в наших районах трудно различить, кто партизан, а кто просто колхозник.

Вначале немцы пытались установить свою власть, пускали народу пыль в глаза всякой копеечной мишурой: раскрашенными коробочками, красивыми этикетками, конфетками. Смотрите, мол, какие мы обеспеченные, культурные, сколько у нас товара разного.

Мишура эта мало на кого действовала. Многие знали, что немцы бахвалятся крадеными вещами. Выбили мы их как-то из одного местечка, где штаб был расположен. Бежали они, побросали имущество, чемоданы. Мы поинтересовались содержимым чемоданов, и что же обнаружили? Много вещей и почти всё ворованные — из Франции, Чехословакии, Польши, из наших Прибалтийских республик. В одном чемодане нашли котиковое манто, очень дорогое. Смотрим на фабричную марку — рижская. Решили — не пропадать же добру и подарили это манто нашей разведчице Марии Ивановне, вроде премии за удачно проведенную боевую операцию. Все мы ходим в полушубках, а она разгуливает по лесу в котиковом манто. Пригодилось оно ей и для более важного дела.

Грубый обман, наглую ложь — всё использовал первое время враг, чтобы подавить волю наших людей к сопротивлению. В сентябре прошлого года, например, гитлеровцы у нас в районном центре устроили торжество по случаю взятия ими Ленинграда. Организовали парад с духовым оркестром. На празднества прилетел самолетом какой-то полковник. В городском саду установили столики, закатили банкет. Пили шнапс, горланили песни, кричали «Ленинграду капут», разбрасывали листовки.

Туго тогда нам пришлось. Знали, что немцы брешут, а как докажешь это? Радиоприемник не работал — подмочены были батареи, газет не получали. Развернуться сумели только после того, как добыли батареи к приемнику. Приняли сообщения из Москвы, Ленинграда. Пошли к людям, стали рассказывать правду. Когда нас слушали, лица людей светлели. Нам верили, верили и те, кто раньше говорил: «Что они там знают, сидя в лесу!» Вскоре начала выходить у нас своя газета. Возник вопрос — как ее распространять? Рассовывать где попало, передавать идущим на боевые операции — это нас мало устраивало. Решили организовать партизанскую почту. Договорились с заведующей почтовым отделением Нюрой Новиковой — она была у немцев вне подозрений. К ней и поступали наши газеты. Она передавала их трем рассыльным, которые ходили по основным маршрутам. Они, в свою очередь, передавали пачки первому звену в партизанской цепочке, те часть оставляли себе, а другую передавали дальше. Такая цепочка охватывала все сельсоветы. Часто через почту мы вызывали нужных нам людей.

Немцам очень не нравилась наша газета и наша работа. От политики заигрывания с населением, лжи и обмана они перешли к открытому разбою, террору и запугиванию. Наши люди еще больше ожесточились. Отошли на задний план мелкие ссоры, окрепло чувство дружбы, взаимной выручки, коллективности. Стало действовать золотое правило: один за всех, все за одного. Гитлеровцы нигде ничего

не могли добиться. Когда каратели приезжают в деревню, они оцепляют ее со всех сторон, бегают от избы к избе, выгоняют всех старых и малых на улицу, ставят пулеметы и учиняют допрос: где партизаны, кто помогает партизанам? Люди стоят понуря головы, молчат. Гестаповцы выходят из себя, грозят: «Если через пять минут не скажете, где скрываются партизаны, откроем огонь из пулеметов». Командир гестаповцев демонстративно смотрит на часы, вслух отсчитывает минуты. Долго, долго тянутся отпущенные на жизнь эти страшные минуты. Но ни один человек не подает голоса. Гестаповец белеет от злости, кричит, брызжет слюной, потрясает кулаками, пускает в ход плетку. Бьет наотмашь всякого, кто под руку подвернется, — древнего старика и трехлетнего мальчишку. А часто, очень часто подает своим «молодчикам» команду «огонь». Тогда стучат пулеметы. Обезумевшие люди разбегаются в разные стороны, оставляя на земле кровавый след. Некоторые падают, чтобы больше никогда не подняться...

Чувство святого гнева и возмущения овладевает людьми, заполнившими зал рабочего клуба, слова проклятья проносятся по рядам.

— В деревню Березники, — продолжает свой взволнованный рассказ Александр Георгиевич, — нагрянул отряд карателей. Собрали колхозников, спрашивают, где сапожник, который шьет сапоги партизанам. Люди переглядываются, пожимают плечами, отвечают: «Не знаем, может, в соседнюю деревню пошел». А он в это время стоит среди односельчан, бородатый, в белой холщовой рубахе, без пояса, прижимает к груди свою маленькую девочку... Покрутились, покрутились фрицы в деревне, да так ни с чем и уехали. А сапожник этот много добра делал людям. Он приходил не один раз к нам в отряд, просился, чтобы его в партизаны взяли. Подумали мы, посоветовались меж собой и сказали ему: «Куда тебе с твоей оравой по лесам бродить (у него семеро ребятишек), живи в деревне, больше от тебя пользы будет». И он согласился.

И чем дальше, тем больше смелел Александр Георгиевич, тем чаще обращался к присутствующим в зале.

— Тут кто-то спрашивал, как мы воюем с фрицами. Сидит среди вас в этом зале за столом президиума уважаемая всеми нами наша Анна Васильевна. Все видите ее? — показывая на своего товарища, спросил Александр Георгиевич.

— Видим! — ответил зал.

— А знаете ли вы, какую штуку она со своими непрошеными квартирантами выкинула? Разреши, Анна Васильевна, рассказать товарищам ленинградцам про твои боевые дела?

Лицо Анны Васильевны покраснело, она не знала, куда девать от смущения свои глаза. Она безнадежно махнула рукой, как бы го-

воря: «Разрешу или не разрешу — всё равно тебя не удержишь, разошелся как холодный самовар». Александр Георгиевич, приняв ее жест за согласие, продолжал:

— Так вот, вышла однажды Анна Васильевна к колодцу за водой. Вдруг где-то в стороне послышались одиночные выстрелы, потом застрочил пулемет. Заметались, забегали фрицы. Выскочили из дома и ее перепуганные квартиранты.

— Что такое? Кто стрелял?

Анна Васильевна спокойно им отвечает:

— Наверно, партизаны в гости идут.

— Русский партизан — очень плохо, что делать? — залепетали и пуще прежнего заметались постояльцы.

— Бегите в погреб, — говорит им сочувственно Анна Васильевна, — а то капут. Русский партизан — очень плохо...

Понеслись они сломя голову в погреб. Сидят там, дрожат от страха. А тем временем Анна Васильевна принесла из дома большой замок и заперла погреб. Ключ от замка она вручила командиру партизанского отряда...

В зале словно вспорхнула неожиданно поднятая большая стая птиц, вновь раздались аплодисменты. Ленинградцы отдавали должное храбрости и находчивости славной партизанки. Анна Васильевна, растроганная и взволнованная, поднялась с места и стала аплодировать защитникам Ленинграда. Александр Георгиевич заканчивал свой рассказ:

— Время, когда мы боялись немцев и прятались от них, прошло, и прошло безвозвратно. Теперь не мы, а они нас боятся, от нас бегают. Не они, а мы чувствуем себя хозяевами на своей земле...

Председательствующий передал Александру Георгиевичу несколько записок с вопросами. Партизан быстро прочитал их и заговорил снова:

— Товарищи просят меня рассказать про обоз, как мы его организовали, как переправили через линию фронта. О Ленинграде мы знали, знали многое, очень внимательно следили за газетами, слушали радио. А тут к нам из Ленинграда прилетел на самолете батальонный комиссар. И то, что он нам рассказал про блокадную зиму, про ваше мужество и стойкость, с какими вы защищали свой город, как вы работали, голодали, тушили пожары, — всё это превзошло самые смелые наши предположения. Мы слушали его с небывалым вниманием. Вот тогда и возникла мысль снарядить обоз с продовольствием, поделиться с вами даже последним, высказать вам свою благодарность.

Как собирали обоз, с какой любовью делились колхозники своими скудными запасами, как переправляли подводы через линию

фронта, — обо всем этом уже написано в газетах, вы, вероятно, читали. Скажу только, дорогие товарищи, мы преклоняемся перед вашим мужеством, перед вашей стойкостью...

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Через несколько дней — двадцать пятая годовщина Великой Октябрьской революции. Четверть века! Знаменательная дата! Знаменательна она для нашего народа, для всех людей труда на земле. Но в сводках Совинформбюро ничего утешительного:

«...Наши войска ведут бои с противником северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее Нальчика...»

Каждый из нас понимает, чувствует сердцем, что́ кроется за скупыми строчками официального сообщения. Враг подошел к Волге, рвется на Кавказ. Там сейчас решается и судьба Ленинграда.

Страницы газет полны высказываний иностранных политических и общественных деятелей. Создается впечатление, будто они участвуют в мировом состязании — кто лучше, бойчее признается нам в любви. С этой целью мобилизованы всевозможные эпитеты в превосходной степени:

«На протяжении всей истории нельзя найти более великого примера борьбы человеческого духа за свободу, чем великолепная борьба русского народа...»

«Все следят за героической русской обороной с глубоким восхищением и надеждой...»

«Доблестная борьба Красной Армии, выносливость и стойкость всего советского народа служат примером не только для союзников, но и для всего мира...»

«Как глубоко восхищение, которое мы испытываем перед героическим советским народом...»

«Своим героическим сопротивлением гитлеровским бандам у ворот Москвы, Ленинграда и теперь на Волге русский народ оказывает помощь цивилизации и демократии, служит такую службу, которую мы никогда не сможем полноценно оплатить...»

Читая эти строчки, советский человек думает про себя: «Хорошие, добрые слова, признания ценные, ничего не скажешь. И всётаки этим словам я предпочел бы дела, боевые действия союзных армий на Западе». А пока союзники наши ограничиваются хорошими словами, отделываются свиной тушенкой. А тушенкой, как известно, от вооруженного до зубов врага не отобьешься. Нашим бойцам, никогда не терявшим бодрости и оптимизма, оставалось только острить: «Товарищ старшина, открой баночку второго фронта». Они

понимают, что второй фронт — не универсальное средство против гитлеровских орд. Он может оттянуть, распылить войска противника, облегчить положение наших армий. Но ведь никто за нас не будет освобождать нашу землю. Мы должны прежде всего рассчитывать на свои силы.

Сейчас Ленинградский фронт сковывает десятки вражеских дивизий. Но одного этого мало! Нужна такая боевая активность, которая бы заставила гитлеровских генералов метаться из стороны в сторону, дробить свои силы. В канун 25-летия Октября на Ленинградском фронте закончился период относительного затишья. Город-фронт собирал силы, чтобы разорвать кольцо блокады. Война и блокада принесли нам, ленинградцам, не только горе и слезы, — они еще больше закалили нашу волю, наше мужество, нашу решимость. Мы встаем и ложимся под аккомпанемент артиллерийской дуэли, ходим и работаем под разрывы вражеских бомб и снарядов, съедаем свой скудный паек под вой сирен воздушной тревоги. В ночном небе Ленинграда враг часто развешивает ракеты-люстры, то и дело сверкают далекие зарницы от орудийных выстрелов. Нам трудно. Бойцам на фронте не легче. Мы полны надежды и веры в скорое освобождение города. Человеку свойственно верить в лучшее. Без такой веры нельзя жить. Желание — отец мысли, мысль — мать действия.

Большие плакаты, выставленные на заводских дворах, на улицах, спрашивают: «Всё ли ты сделал для фронта?» К одному из таких плакатов кто-то сделал чернильным карандашом приписку: «Сделали всё, что в наших силах. Дело теперь за фронтом».

И, как бы в подтверждение правоты этих слов, в ответ на прямой вопрос плаката, коллективы предприятий, цехов, бригад, участков рапортовали о досрочном выполнении фронтовых заказов.

В канун праздника Ленинград прихорашивается, как в доброе мирное время. На Невском — портреты Героев Советского Союза, на углу Суворовского и улицы Моисеенко — большое художественное панно «Клятва», написанное группой художников под руководством Н. Павлова. На предприятиях подводятся итоги социалистического соревнования, заводская самодеятельность готовит концерты, с которыми ей предстоит выступить перед бойцами армии, моряками флота и перед ранеными в военных госпиталях. В домоуправлениях идет сбор подарков для фронтовиков. На днях после перерыва вновь приступили к занятиям студенты Медицинского института. Повсюду развернулась усиленная подготовка к зиме: утепляются водопровод и канализация, продолжается слом деревянных домов на дрова. Ленинградский Совет порадовал всех, объявив выдачу продуктов в широком ассортименте. Люди бегают по магазинам, торопятся «отова-

рить» талоны продовольственных карточек. Ни бремя блокады, ни звуки войны — ничто не может нарушить трудового ритма жизни города, заглушить великое значение приближающегося Октябрьского праздника.

Театральная афиша обещает новые постановки. Ленинградские артисты, объединенные Управлением по делам искусств и радиокомитетом, показывают премьеру пьесы А. Корнейчука «Фронт». 8 ноября состоится другая премьера — опера Чайковского «Евгений Онегин». «Фронт» ставит С. А. Морщихин, режиссер И. С. Зенис. Главные роли исполняют: П. И. Андриевский, К. К. Миронов, М. С. Павликов, П. И. Лешков, Б. П. Горин-Горяинов. Постановку «Онегина» осуществили Е. П. Студенцов и В. Л. Легков. В опере заняты: С. П. Преображенская, В. Л. Легков, И. А. Нечаев, М. А. Елизарова.

Круглые сутки работает телеграф, принимая со всех концов страны праздничные поздравления ленинградцам. Защитников города поздравляют москвичи, трудящиеся Приморского края, Краснодара, работники Кировского завода, эвакуированного на Урал. Прислал свое поздравление «Ленинградцам» и Михаил Иванович Калинин.

«Можно смело сказать, — пишет М. И. Калинин, — что нет такого даже самого отдаленного уголка в нашей огромной стране, где бы люди не интересовались, не следили, не переживали каждое новое известие с Ленинградского фронта. Ленинград был всегда любимым городом советского народа, и теперь он, как никогда, любим всем населением Советского Союза от края и до края».

А как обрадовались все мы, когда прочли в газете призывы Центрального Комитета партии к 25-й годовщине Октября. Один из них был непосредственно адресован нам:

«Пламенный привет героическим защитникам Ленинграда!

Да здравствуют ленинградцы, славные патриоты и патриотки нашей Родины!»

Именно в дни подготовки к 25-й годовщине Октября ленинградцы заново перечитали историю своего города. Всё вспомнили! Надо было вспомнить славное прошлое, героическое настоящее, чтобы взять их в будущее. Надо было еще выше поднять знамя революционных традиций, вооружить ими всех защитников Ленинграда.

Ленинград принадлежит не одним ленинградцам. Он принадлежит стране, народам, населяющим нашу страну. Его защищают не только ленинградцы, — его защищает вся страна. На Ленинградском фронте сражаются представители почти всех национальностей Советского Союза. Им не лишне в канун Октябрьской годовщины напомнить, какой город они защищают. На все участки фронта Ленинград

направил своих представителей. Пробираясь по узким траншеям, собирая вокруг себя бойцов и командиров, они говорили:

«Держитесь, у нас в кармане ключи от Ленинграда. А знаете, что такое Ленинград для нашей страны, для всех честных людей на земле?»

С этого вопроса начинались многие беседы ленинградцев с фронтовиками. Затем шел рассказ, простой и душевный, о городе, его революционных традициях, о Ленине и созданной им партии. Делегаты Ленинграда спрашивали бойцов, не забыли ли они, как добывается победа, готовы ли прорвать блокаду?

Мне посчастливилось быть на одной из таких встреч. Встреча эта состоялась в дивизии, которой командовал генерал-майор С. Донсков. Дивизия только что вышла из боя. Ее бойцы и командиры отличились в этом бою, показали, что они могут не только держать оборону, но и успешно вести наступательные операции. К ним и приехали старейшие питерские рабочие: Андрей Петрович Иванов — участник Октябрьской революции, коммунист с 1915 года, Анна Ниловна Корпуснова — одна из активисток Кировского завода, Матвей Матвеевич Столяров — опытнейший судостроитель с Балтийского завода, представители партийных и советских организаций Ленинграда. Приехали гости не с пустыми руками. Привезли они с собой овеянное славой Красное знамя с боевым орденом, которым VII Всероссийский съезд Советов в 1919 году наградил Петроград и его революционный пролетариат за героическую революционную борьбу, за разгром банд Юденича. И вот сейчас это ставшее уже легендарным знамя развевается на ветру перед выстроившимися по команде «смирно» бойцами и командирами прославленной дивизии. Холодный ветер и мокрый снег хлещет прямо в лицо, образует на шинелях и стальных шлемах тонкую щербатую ледяную корку. Военный оркестр исполняет «Интернационал». Собравшиеся мысленно повторяют в эти торжественные минуты хорошо знакомые символические слова гимна: «Это есть наш последний и решительный бой...»

Комдив Донсков, подняв над головой обнаженный клинок, встречает знатных посланцев Ленинграда, докладывает им, с какой целью выстроены войска дивизии. Делегация с развернутым знаменем обходит ровные шеренги вооруженных бойцов, приветствует героев недавних боев. Под хмурым ноябрьским небом над холмами с одинокими голыми деревцами гремит, перекатываясь мощной волной, русское «ура». Андрей Петрович Иванов, сопровождаемый почетным караулом, устанавливает алое знамя перед трибуной.

По праву гостей первыми выступают делегаты Ленинграда. Уверенно и твердо звучат слова одного из старейших судостроителей города М. М. Столярова.

— От имени питерских рабочих, — говорит он, — обращаюсь я к вам: деритесь так, как дрались ваши отцы и старшие братья. Ценой огромных усилий, ценой крови лучших наших товарищей завоевали мы победоносное Красное знамя. Ваш долг, товарищи бойцы, отстоять это знамя, покрыть его новой немеркнущей славой. Мы, старые питерские рабочие, требуем этого от вас. Этого требует от вас Родина...

В этом суровом, но справедливом требовании его поддержала Анна Ниловна Корпуснова, выступившая по поручению женщин Ленинграда.

Ветеранам труда и революции отвечали горячо и страстно прославленные герои дивизии — комбат Клюканов, старшина Лешенков. Генерал Донсков взволнованно сказал тогда:

— Разрешите, товарищи бойцы и командиры, сказать от вашего имени нашим отцам, убеленным сединами, представителям Ленинграда, что это знамя, обильно политое кровью при разгроме Юденича, знамя, вызывающее чувство гордости у всех русских людей, наша часть будет свято чтить и не осквернит его в предстоящих боях. Мы будем с яростью драться с врагом и победим его, как дрались и побеждали питерские пролетарии.

Не смолкли еще последние раскаты громового «ура», как раздалась команда:

— К церемониальному маршу. По-ротно...

Заколыхались, пришли в движение ряды бойцов. Рота за ротой, молча, с винтовкой наперевес, чеканя шаг, проходят отважные воины перед Красным знаменем. В их твердом шаге, мужественных лицах, суровом молчании выражение верности Родине, Красному знамени, Ленинграду. Этот торжественно-строгий марш среди холмов, по выгоревшей, жесткой и мокрой от снега траве всё-таки чем-то напоминал военный парад на Дворцовой площади, рождал праздничные настроения, возвращал мысль к Ленинграду.

Да, на этот раз утром 7 ноября мы не выйдем на демонстрацию, не пронесем по прямым проспектам и просторным площадям праздничных знамен, не обернемся на многолюдные трибуны Дворцовой площади, не пойдем на гранитные набережные любоваться красавцами-кораблями.

Не прошумит парад,
Не прогремит салют,
Тачанки не промчат
И танки не пройдут.

Танки и корабли, пушки и тачанки — всё сегодня в деле при исполнении своих прямых обязанностей. Как хорошо, что они у нас

есть! Потребует фронт — сделаем еще больше. Есть кому делать, из чего делать, есть где делать. В этом наше счастье.

Гордые от сознания исполненного долга, в предчувствии скорых перемен, переступаем мы порог самого яркого в нашей жизни праздничного дня. В тихий, как перед очищающей грозой, ноябрьский вечер в канун 25-й годовщины Октября свидетели и участники революции, лучшие представители города и фронта направляются в Смольный. Идут пешком, подъезжают на автомашинах. Смольный встречает таинственной темнотой. В его окнах — ни огонька, ни единого признака жизни. Приземистое здание укрыто огромной маскировочной сеткой. Посмотреть с высоты — на месте, где стоял Смольный, нет никакого здания, есть парк с остатками пожелтевших листьев. Прежде чем войти в искусно спрятанное помещение, вам приходится пригнуться, преодолеть многочисленные стропы маскировочной сетки. Сделав это, вы попадаете в обстановку делового напряжения, свойственную военному и политическому центру обороны города.

Актовый зал встречает вас торжественной тишиной и яркими огнями люстр. Большие окна задрапированы плотными шторами. Белая колоннада, упираясь в высокий потолок, образует вдоль окон широкие проходы. Простор и масса электрического света подчеркивают значение и важность момента. Когда входишь, прямо перед глазами большой портрет В. И. Ленина. Смотришь на такие знакомые и дорогие черты его лица, и покойнее и теплее становится на душе. Мысль, независимо от твоей воли, переносится к тем революционным дням, когда четверть века назад в стенах этого зала искрилась ленинская речь...

В Смольном сегодня торжественное заседание Ленинградского Совета депутатов трудящихся совместно с командованием Ленинградского фронта, Краснознаменного Балтийского флота, представителями партийных и общественных организаций Ленинграда, посвященное 25-летию Октября. В Актовый зал люди входят неторопливо, с каким-то благоговением, разговаривают вполголоса. Время наложило свой след на их лица: они суровы и сосредоточены. Большинство в военных и полувоенных костюмах. Сразу и не отличишь одних от других. Общее имя им — защитники Ленинграда...

Г. СНИМЩИКОВА

ГОД В БЛОКАДЕ

Из записок библиотекаря

Осень 1942 года.

Вот уже год, как осажден наш город.

Вот уже год, как я почти безвыходно нахожусь в этом здании на Васильевском острове — в Библиотеке Академии наук СССР, работаю здесь заместителем директора.

В моем кабинете печурка с выведенной в окно трубой, в шкафах рядом со старинными книгами, энциклопедиями, справочниками — пачки агитационно-пропагандистских брошюр, фотовыставки и прочая литература для фронта.

Вечер... Зажигаю фонарь «летучая мышь» и сажусь за машинку писать отчет о работе библиотеки в условиях блокированного города. Это первый подробный отчет. За его сухими строками, за колонками цифр, за справками я вижу нечто гораздо более яркое. Вижу пережитое, выступающее из памяти в живых эпизодах, в образах людей, в облике самой библиотеки, столько раз менявшемся за этот военный, блокадный год.

...Вспоминаются лето сорок первого года, ранняя осенняя пора. Часть работников библиотеки ушла на фронт, многие выехали в пригороды на оборонные работы. Люди постарше, больные, эвакуировались в глубь страны. Мы готовили к отправке из Ленинграда ценнейшие собрания нашей библиотеки — книги, рукописи, инкунабулы, картотеки, — паковали их в ящики, которые так и не удалось вывезти: фронт слишком быстро приблизился к городу. Когда наши воины геройски сражались под Пулковом, работники библиотеки под огнем спасали остатки ценнейшего собрания книг из старинной Пулковской обсерватории.

Прозрачными осенними вечерами, зябкими осенними ночами мы дежурили на крыше нашего здания. Картина огромного города открывалась перед нами, — гигантского города, погруженного во тьму, прорезаемую то тут, то там прожекторами, зенитными огнями, вражескими «зажигалками». В сентябре—октябре сорок первого года «зажигалки» градом сыпались на наше здание. Мы быстро научи-

лись справляться с ними, обезвреживать их. Противопожарную службу несли у нас люди самых разных возрастов, библиотечные работники — П. Г. Спица, М. А. Богдзевич, А. И. Царева, Д. Л. Марголина, девушки комсомолки Валя Севастьянова, Ольга Панько, Элеонора Круштейн, Зина Антонова и многие другие.

Потом наступила пора суровых зимних испытаний. Бомбежки и обстрелы терзали наше здание. Были пробиты стены, разбита крыша, выбиты почти все оконные стекла. Температура в здании доходила иногда до минус 25 градусов. Холодный ветер гулял по библиотечным «магазинам», засыпал снегом книгохранилище. И всё же мы работали...

Холод и голод сгубили многих сотрудников библиотеки. Мы потеряли в ту зиму наших замечательных товарищей. Среди них заведующий рукописным отделом Александров, заведующий лабораторией реставрации документов Тихонов, заведующая отделом комплектования Субботина, библиограф Глаголев, знаток русской старопечатной книги Зарубин, главный библиотекарь Хохрякова и другие сотрудники. И всё же оставшиеся в живых, опухающие от голода люди ни на один день не прекращали своей работы. Мы считали себя мобилизованными, мы делали всё, чтобы библиотека продолжала жить.

Наша библиотека оказалась нужной городу-фронту. К нам шел читатель. Сквозь метель и стужу шли работники различных предприятий, шли пешком через весь город — со Ржевки, Охты, Выборгской стороны, приходили врачи из военных госпиталей и из больниц, офицеры флота и армий, стоявших на обороне Ленинграда. Часто мы, измученные голодом, не могли своими слабыми силами разбить приготовленные для эвакуации, крепко заколоченные ящики с книгами, чтобы достать нужные читателям издания, — и тогда читатели сами приходили нам на помощь.

Новый читатель шел к нам с новыми требованиями, с новыми запросами, вызванными временем, обстоятельствами, задачами обороны, военной медицины, боевой пропаганды. Вот какие темы волновали этого читателя. Влияние дистрофии на организм. Дикорастущие растения. Применение хвои и алоэ в медицине. Идеология фашизма. Войны в художественной литературе. Применение светотехники в военном деле. Производство витамина С. Воздействие искусства на фронте. Лечебная физкультура и травматология. Морские десантные операции. Ранения грудной клетки.

Это лишь некоторые из заявок, с которыми к нам обращались. Их надо было удовлетворить. И наши библиографы объединили свои усилия по организации справочно-библиографического пункта, работавшего четко, безотказно. Для читателей-врачей мы создали до-

вольно большую библиотеку по их специальности. Значительную помощь во всех работах библиотеки нам оказали сотрудники библиотек ленинградских академических институтов Э. А. Козак, А. М. Спиридонова и др. Они включились во все дела, которыми жил коллектив библиотеки.

А дел было много. Мы комплектовали передвижные библиотечки для воинских частей, для раненых. Сотрудники частенько отвозили на тележках и саночках книги в здание гостиницы «Англетер», где помещался военный госпиталь, в Академию художеств, где в части здания расположился батальон выздоравливающих. Тридцать одну библиотеку-передвижку собрали мы для различных военных организаций и заводов осажденного города... Мы создали бригаду агитаторов, лекторов, чтецов, беседчиков — людей, которые с книгой, с газетой, а главное — с бодрым патриотическим словом шли в госпитали и больницы, успокаивали раненых и больных дистрофией, согревали их сердца... Мы взяли на себя нелегкую задачу — спасение частных книжных собраний, остававшихся безнадзорными из-за отъезда или гибели их владельцев. Так было взято под охрану и свезено к нам множество ценнейших библиотечных коллекций.

В борьбе со смертью, в непрестанном труде прошла эта страшная блокадная зима. Наш небольшой, но дружный коллектив понес большие потери, но не утратил воли к жизни, стремления к борьбе. Истощенные, физически обессиленные, но сильные духом и волей, — такими пришли мы к весне.

И вот, наконец, наступила весна, за ней пришли летние месяцы. Люди отогрелись, с еще бо́льшим азартом принялись за дело. Мы взялись за восстановление нашего здания, зашили фанерой окна, мыли, скребли, чистили помещения библиотеки. Всё больше становилось у нас читателей. Число их перевалило уже за 350. В конце июня мы подготовили книжную выставку для Павловской сессии, на которую собрались врачи, физиологи и другие ученые. Новые шесть библиотек-передвижек собрали мы, чтобы двинуть их в воинские части и госпитали к предстоящей великой дате — к 25-летию Октября. Мы явно «обстрелялись»: свист снарядов, бомбежки, грохот зенитных орудий — всё это сделалось какой-то привычной, будничной «музыкой». Страха не было, вражеские налеты и обстрелы вызывали гнев, негодование. Работалось с энергией, которая побеждала испытания и трудности времени.

Был у нас летом и свой праздник, устроенный однажды после работы. Пришла в библиотеку и читала свои стихотворения Ольга Берггольц. Мы собрались в помещении справочного отдела и с сердечным волнением слушали стихи, чудесно выражавшие те чувства, которые были выстраданы всеми нами, которые давали нам силы

работать и бороться. Отбросив резким движением прядь волос со лба, Берггольц читала стихи, словно за всех нас написанные:

Сестра моя, товарищ, друг и брат,
Ведь это мы, крещенные блокадой!
Нас вместе называют Ленинград,
И шар земной гордится Ленинградом.

Берггольц ушла от нас с букетом цветов — знаком нашей глубокой любви и благодарности. Цветы в блокаде!.. Их не так-то легко было раздобыть. Достали мы их в Ботаническом институте Академии.

...Итак, мы всё еще в осаде, но не теряем живой связи со страной. С помощью партийных и советских организаций, с помощью нашей авиации мы поддерживаем переписку с учреждениями Академии наук, с Москвой, Казанью, Свердловском и другими городами. Директор нашей библиотеки — профессор Иннокентий Иванович Яковкин — часто шлет мне письма, пересылает заказы академиков, советует, указывает, словом — помогает работать. Вот его последнее письмо, написанное ровным, четким почерком. Готовится всесоюзная выставка, посвященная юбилею Исаака Ньютона, библиотека должна в ней участвовать... «Значит,— пишет Иннокентий Иванович,— здесь прежде всего нужны будут книги 17-го века и только отчасти — 16-го. Причем я бы полагал, что здесь должны быть представлены следующие отрасли знания: 1) философия, 2) математика (особенно), 3) астрономия, 4) физика, 5) механика... Конечно, к этому нужно добавить материал биографический, бытовой, иконографический...» Этот заказ мы встретили с большой радостью. Работать для страны, не только для города-фронта, — это же наша обязанность, наш патриотический долг! Книги для ньютоновской выставки мы собрали и выслали. На очереди такая же посылка с книгами для выставки, посвященной Копернику.

...Не всё в отчете библиотеки связано с минувшим годом. Надо смотреть вперед, думать о будущем. Вот почему я дописываю отчет словами о нашей готовности работать в условиях надвигающейся новой военной зимы:

«...Библиотека готова встретить вторую зиму в блокированном городе и надеется пронести многомиллионное сокровище, принадлежащее русскому народу, через все невзгоды и трудности предстоящей зимы, твердо помня установку, данную дирекцией: «Обеспечить литературой любого гражданина, как военного, так и штатского, работающего на оборону».

В. ДРУЖИНИН

ЛЕНИНГРАДЦЫ

ГЕНИНА МАМА

Если бы Геннадий был большой, мать объяснила бы ему, что в цехе выдался горячий день — вагранки дали семьдесят две плавки. Это значит: маме и ее подругам пришлось сделать семьдесят две завалки, а это не легко, особенно, когда только-только свышаешься с новым делом. Но Геннадий еще маленький. Ему четыре года. Ну что скажешь ему, когда он, обняв ручонками шею, спрашивает:

— Мама, почему ты так долго?

— Некогда было, Генечка, — говорит мать. — Я была на заводе.

— Что ты там делала?

— Я помогала папе бить фашистов, — подумав, ответила Генина мама.

Мальчик хочет знать больше.

— А как ты помогала? — допытывается он. — Ты стреляла, да? Стреляла? Скажи...

— Нет. Я не стреляла.

— А что же ты делала?

— Вот неугомонный... Понимаешь, я мастерила папе ружье.

...Мать и сын выходят из детского очага. Поздно. Стрелка показывает восемь, а до дома еще больше часа ходьбы. Лидия Александровна Ильина берет Геню на руки.

Сегодня — после семидесяти двух завалок — мальчуган кажется особенно тяжелым. Но она уже привыкла. Не первый раз проделывает шестикилометровый путь. Туда и обратно — это двенадцать километров. И почти всю дорогу — с Геней на руках. Так не два дня, не три, даже не неделю, — так целый год. Осенью — во время непрерывных вражеских налетов, когда приходилось часами отсиживаться с сыном в подвале или в сырой траншее, зимой — когда слабость сковывала ноги и каждый шаг казался последним, весной — в распутицу, по лужам окраинных улиц Выборгской стороны. Правда, весной пошел трамвай, но он лишь немного облегчил путь: далеко от остановки и дом, и завод. И распорядок дня оставался прежний: в пять часов утра встать, разбудить сонного Геннадия, умыть, приче-

сать, одеть — и в детский очаг, из очага к восьми часам в литейный цех на работу, вечером — обратно. Домой мать и сын приходили в девять, а то и в десять часов. Тут только успеешь вскипятить воду, разогреть кашу, принесенную из столовой, и пора спать. Впрочем, первым ложился Геня. Мать еще стирает или гладит.

Геня не засыпает:

— Мама, мама!

— Что тебе?

— Расскажи мне про папу.

Надо что-нибудь рассказать мальчику, а то не уснет. Особенно любит он слушать, как папа воюет с фашистами. Садится возле кроватки Лидия Александровна и, засыпая от усталости, начинает говорить.

Геня перебивает:

— Ты сделала папе ружье?

— Да, да, конечно сделала!

— А мне сделаешь ружье? — просит Геня. — Сделаешь ведь, мамочка?

— Хорошо. Спи, родной!

Наутро снова мать в цехе у вагранки. Не было случая, чтобы она опоздала на работу. Она одна из лучших завальщиц в литейном цехе н-ского завода.

Завальщица — новое слово. До сих пор завалка считалась мужским делом. И неудивительно. Чтобы загрузить печь для одной плавки, требуется подвезти и положить в устье четыреста пятьдесят килограммов — без малого полтонны чугуна, угля, шихты. Это для одной плавки. Их бывает пятьдесят—шестьдесят за день, а недавно, например, было семьдесят две. Но завальщицы считают, что можно сделать еще больше.

Дверцы вагранок открыты. Безостановочно принимают они груз. Всё жарче становится в литейном цехе. Вагранки прожорливы. Нужно еще железо, еще уголь. До обеда дали сорок плавок. Вечером подсчитали дневной итог, и сами себе не поверили. Восемьдесят три плавки! Во всей истории этого известного в Ленинграде завода не было такого итога в одной бригаде. Значит, тридцать пять тонн погрузили в печь шесть завальщиц — шесть женщин-ленинградок. Однако они даже меньше, чем обычно, чувствовали утомление, — очень уж обрадовал их рекорд.

Завтра выходной день. Лидия Александровна едет в центр города, выбирает для Гени самое лучшее ружье с пружиной, а затем едет в Озерки — на дачу детского очага. Летом, с тех пор как Геня на даче, мать ездит туда каждое воскресенье, гуляет с сыном, читает ему стихи, сказки. Вот остановка. Знакомый домик с зеленой огра-

дой и садиком. Детские голоса, среди которых хочется скорее услышать голос Гени.

— Мамочка!

Крепко обвиваются ручонки Гени вокруг шеи матери. Мокрый носик касается щеки.

— Почему ты так долго?

— Я сделала тебе ружье, — смеясь, отвечает мать. — Видишь, какое хорошее...

Мать и сын долго гуляют по парку. Геня щелкает ружьем и спрашивает:

— А папе тоже сделала?

— Конечно, сынок.

Хочется маме рассказать Гене о рекордной плавке. Но не знает, как. Не поймет Геня. Жаль. Маме многое хочется сказать сыну.

Когда Геня вырастет большой, он узнает обо всем. Он должен узнать о замечательном подвиге своей матери, которая беззаветно выполняла две священных обязанности перед Родиной: в суровую годину войны трудилась в Ленинграде для фронта и в то же время сохраняла юную человеческую жизнь, сберегала, согревала теплом своего большого сердца.

СКРОМНАЯ ПРОФЕССИЯ

Как ни уговаривала себя Анна, что нет профессий низких, что всякий труд честен, а всё же не могла решиться сразу. Долго раздумывала она в тот памятный день. Соглашаться? Надеть фартук, нацепить медную бляху с номером и надписью «дворник»? Подруги будут смеяться. И муж будет смеяться, когда вернется домой и увидит ее в таком наряде, а то еще и отругает. Анна Петрова — знатная ткачиха-многостаночница — и вдруг дворник.

Вышло так, что Анна не уехала из Ленинграда с фабрикой. Сестра предложила ей место дворника. Борясь с сомнениями, Анна всё еще — в который раз — спрашивала сестру:

— А может, место занято?

— Да нет же, говорят тебе. Моей напарницей будешь. Хоть сейчас приступай.

— И дом, говоришь, хороший?

— Фу ты! Ведь сама знаешь...

Сестра права. Расспросами своими Анна только прятала колебания, оттягивала окончательный ответ. Разумеется, дом ей хорошо известен — большой красивый дом в самом центре, на углу Невского и Фонтанки. Это утешало Анну.

Далеко не каждый город может заставить так крепко полюбить себя, как Ленинград. Анну он пленил давно. Задолго до своего приезда сюда любовалась она величавой шириной Невского проспекта, бронзовыми изваяниями на Аничковом мосту. В отцовской избе над кроватью, между иконой и цветистой рекламой «Мокко», висели старые цветные фотографии столицы. Позже Анна увидела Невский проспект на странице учебника географии. А когда, спустя десять лет, Анна сошла на перрон Октябрьского вокзала, город был ей уже сродни. Она сразу узнала заветные свои места: Невский, Аничков мост, бронзовых коней, отражавшихся в спокойной реке. И вот теперь Анна будет стоять здесь у подъезда с медной бляхой на груди. Стахановка Анна Петрова станет дворником! Странно как-то выходит... Непривычно...

— Ответа ждут сегодня, — сказала сестра.

— Ну, ладно, — помолчав, сказала Анна. — Передай, что я согласна.

— Наконец-то!

— Постой. Не спеши.

— На дежурство пора. Дела.

— Подумаешь, велики дела у вас, дворников. Сядь. Скажи, бляху непременно надо носить или нет?

Сестра засмеялась и вышла.

Теперь, когда сестры вспоминают этот разговор, они смеются вместе. Без малого год, как Анна Петрова избрала новую профессию. Это скромная профессия. Вначале жильцы не замечали молчаливую невысокую женщину, которая по утрам подметала лестницы. Велика важность — сменился дворник! Но Анна вскоре дала о себе знать. Однажды Суркова, жиличка из восьмого номера, растопила печку-времянку, поставила чайник и отправилась в булочную. Воротясь, Суркова застала в квартире Анну.

— Вы ко мне? — спросила Суркова.

— К вам, — сказала Анна. — Что у вас тут делается? Дыму-то сколько напустили!

— Печурка такая. Дымит.

— А это что? Глядите, головня пол прожгла. Дыму было — полная кухня!

— Ах, да что вы?!

— Хорошо, я заметила, — строго продолжала Анна. — Видели, как на улице Пестеля дом горел?

И она начала пробирать Суркову. Не подоспей Анна вовремя, торчали бы здесь вместо красивого здания в центре города одни почернелые стены. Разгорячась, Анна обвинила Суркову в том, что ротозейство ее — на радость фашистам. Словом, молчаливая жен-

щина разошлась, разразилась длинной гневной речью, — такой гневной, что Суркова спросила:

— Позвольте, вы кто такая?

— Я дворник, — сказала Анна. — Вы лучше меня образованы, а не понимаете.

И Суркова, обычно скорая на язык, тут вдруг смутилась, нагнулась и стала подбирать угольки.

Вскоре Анна по-новому оценила свою должность. Вот сейчас она предотвратила пожар, отстояла свой дом, частицу своего города. Ведь в этом и заключается смысл ее работы. Хранить свою часть фронтового города, свой оборонный рубеж. Так думала Анна, спускаясь к себе в комнату. Вошла, бросила взгляд на портрет мужа. Снимок любительский, не в фокусе, — но именно потому и нравится Анне. Сквозь туманную дымку ласково смотрели большие глаза мужа, черты лица казались мягкими, добрыми. Сейчас муж сражается на фронте. Анна коснулась губами стекла.

— Родной мой, — шепнула она. — Я с тобой. Слышишь меня? Где-то он сейчас? Что-то давно не было писем. Жив ли?

Бьют часы за стеной в конторе. Что ж это она стоит и мечтает перед портретом — дворник Петрова? Пора на дежурство.

Пост ее у ворот. Сюда никто не войдет незамеченным. Прохожего останавливает оклик:

— Вы куда?

— Я... в седьмую квартиру.

— К кому?

— Что за вопрос? — сердится незнакомец. — Вы, собственно, кто такая?

— Я дворник.

Теперь Анна произносит это слово без смущения. Произносит твердо, с достоинством. Прохожий объясняет, что идет к Волковым. Но таких нет и не было в седьмом номере. Прохожий хочет войти. Нет, Волковы тут не живут, и вовсе незачем без дела заходить в дом.

— Что здесь, крепость? — улыбается незнакомец.

— Да, крепость.

Она, дворник Петрова, — часовой у ворот крепости. Незнакомец не пройдет. Быть может, это вражеский агент? Может, это дезертир, прячущийся по чужим квартирам?

— Предъявите документы, гражданин.

Если незнакомец вздумает упорствовать, дворник вызовет милицию. Так случалось не раз. Зорко несет свою вахту дворник Петрова. Дежурство кончается поздно ночью. А вставать надо рано. Анна никогда не предполагала, какая это сложная штука — хозяйство дома, как много требует оно забот. В начале осени — страдная пора.

Чуть свет выходят на работу управхоз Любовь Игнатьевна, дворник Анна Петрова и ее сестра — дворник Александра Петрова. Они заделывают фанерой окна. Плотно закрывают каждую малейшую щель. Они поднимаются на чердак и белят деревянные балки. Из подвалов женщины вычерпывают воду — долго, часами черпают и носят тяжелые ведра, превозмогая усталость и боль в натруженных плечах. Воду вычерпывали целый месяц, но вода еще есть, она просачивается, и надо выяснить — откуда. Надо еще закончить очистку люков. И это не всё. Надо завершить ремонт водопровода. Теперь рабочих рук не хватает, требуется самим освоить водопроводное дело. И женщины осваивают. Вооружаются ножовками, пилят трубы, наносят резьбу, разбирают полы, заменяют трубы, лопнувшие зимой.

Жестока была первая зима в осажденном городе. В своем доме Анна, бывало, по многу раз обходила квартиры. Носила больным хлеб, колола дрова, убирала комнаты, нянчила детей, оставшихся без надзора. А одного малыша, сироту, определила в детский дом. Да, тяжелая, жуткая была зима...

Вот и вторая фронтовая зима. Зима, если не подготовиться к ней, злая помощница врага. Анна напоминает об этом обитателям дома. Впрочем, многие не нуждаются в напоминании. Одна из первых помощниц — Суркова. Та, которая чуть не пустила «красного петуха». Она домохозяйка. Когда-то это слово звучало как синоним отсталости и отрешенности от коллектива. Нет, домохозяйка Суркова сознает себя в полном смысле слова хозяйкой дома. То же и работница Ольшевская. Хоть и поздно приходит она с завода, а не жалеет остатка вечера и вместе с другими, ободряя шутками товарок, выкачивает воду из подвала. И медсестра Хабалова, и сотрудница столовой Николаева, и партийный работник Шульман — все они трудятся, готовясь к новой зиме, и дружно стыдят лентяев, пытающихся увильнуть от дела, спрятаться за чужой спиной.

Дом 66 по проспекту 25 Октября — один из лучших в районе.

Любуясь домом своим, который стоит над Фонтанкой, в самом центре прекрасного города Ленина, Анна Петровна Петрова с гордостью говорит теперь: «Я — дворник».

ВЫМПЕЛ ФЕОДОСИЯ СМОЛЯЧКОВА

Письмо токаря Т. Серовой
в красноармейскую газету

В начале войны, когда один за другим опустели цехи нашего завода и на фронт уходили товарищи и друзья, я тоже подала заявление в военкомат.

Меня вызвали в отдел кадров и сказали:

— Помоги, товарищ Серова, писать повестки.

— Повестки? А я ведь просилась на фронт. Хотела воевать. Как же так?

— На фронт решили тебя не пускать. Ты нужна заводу.

Было обидно до слез. Мама утешала меня:

— Много дел на заводе. Иди туда, где тяжело. Работай честно, не отворачивайся от самого черного труда.

Я стала токарем. Сперва было очень трудно. Руки были в ссадинах, плохо слушался станок. Я едва выполняла половину нормы. Но работала упорно.

И тогда я поняла: мама права. Вот он, мой фронт: здесь, на заводе, куда фашисты сбрасывают бомбы, стремясь испугать нас, рабочих, на заводе, где мы делаем снаряды. Вот он, фронт, и ты, Татьяна, должна стать на этом фронте отличным бойцом!

Так думали все девушки нашего цеха. Отработав день, мы снова на всю ночь становились к станкам. Отработав неделю, мы забывали, что есть выходные дни. Мы работали без перерыва, потому что знали: ведь наши руки делают снаряды, которые идут на фронт.

Весной я сказала начальнику цеха:

— Разрешите организовать комсомольско-молодежную бригаду. Девушки подобрались хорошие. Будем выпускать снарядов еще больше, чем теперь.

— Действуй, Таня, — ответил мне начальник цеха.

И вот мы стали вместе работать: Шура Попова, Леля Изотова, Аня Иванова, Надя Смирнова и я. Мы решили всей бригадой давать защитникам нашего родного города в полтора раза больше снарядов.

Комсомольцы нашего района соревновались за честь получить вымпел защитника Ленинграда, Героя Советского Союза Феодосия Смолячкова. Моя бригада решила включиться в это соревнование.

Это было в августе. Тепло было на улице, жарко было у нас в цехе.

Девчата нажимали вовсю. Леля Изотова, моя бывшая ученица, сияла от радости: она выполнила план на 170 процентов, я — на 180.

— Вот увидишь, Таня, я тебя перегоню, — говорила она мне.

Я ее хвалила, а про себя с опаской думала: неужто и в самом деле перегонит, — какой же я тогда бригадир!

И вот в конце месяца мне позвонили из райкома и поздравили с победой: заветный вымпел, за который весь месяц шла борьба, присудили нам — девчатам, молодым токарям.

И еще одно радостное событие произошло в том месяце: меня, 18-летнюю комсомолку, приняли в кандидаты партии. Об этом я мечтала в осенние дни прошлого года, когда рыла за городом окопы. Об этом мечтала в бессонные зимние ночи, думая о том, как бы побольше снарядов изготовить. Об этом я мечтала весной, когда вместе со всеми рабочими очищала заводский двор.

Взволнованная я шла с партийного собрания. Радостно встречали меня дома. На столе стоял громадный букет цветов, и мама, целуя меня, сказала:

— Теперь ты, доченька, в первых рядах! Поняла?

Да, я поняла. Быть в первых рядах — это значит работать без устали, делать всё больше и больше снарядов!

ЕЛЕНА РЫВИНА

ЛЕНИНГРАД

Июль 1942 года

Еще артиллерийского обстрела
Тяжелый гул разносится в саду...
А рядом птица радостно запела,
Вспорхнув на огородную гряду.

И солнца луч спокойно золотится
И нежно озаряет на бегу
Суровые, измученные лица
Людей, не покорившихся врагу.
И жизнь идет.
Была
и есть
и будет.

И властно говорит:
— Да будет так! —
Но снова заметался у орудий
Подползший к нам
в звериной злобе враг.

Что может он?
И где такая сила?
Здесь смерть была
и тоже отступила.
И вновь свистит на улице снаряд...
Но на земле не сделано снаряда,
Чтобы умолкло сердце Ленинграда...
Оно бессмертно.
Это — Ленинград!

ГРИГОРИЙ
МИРОШНИЧЕНКО

ГВАРДЕЙЦЫ

БАЛТИЙСКИЕ НОЧИ

Удивительно светлая, теплая июльская ночь. Месяц плывет над Финским заливом, звезды переливаются высоко и ярко...

Человек идет по аэродрому гвардейского авиационного бомбардировочного полка, и он ничего не слышит, кроме одиночных артиллерийских выстрелов. Вокруг всё как будто вымерло, как будто нет ни одной живой души. Человек ничего не видит, хотя он знает, что левее тех высоких сосен тщательно замаскированы рефуги,[1] походные мастерские, кубрики мотористов и техников. И в них — люди. Люди не спят. Они не могут спать, потому что их самолеты — в воздухе. Где-то слышится протяжный гул паровозов. Поближе к линии фронта то и дело опускаются и поднимаются вражеские ракеты: белые, зеленые, фиолетовые. Враг совсем близко, и враг не спит. И вот самолеты, мигнув бортовыми сигналами и предупредив условными ракетами, идут на посадку.

Из кубриков на площадку выходят техники и мотористы. Высоким тонким лучом самолетам дается ориентировка. Оперативный дежурный вызывает далекую «Тундру». «Тундра» ему отвечает.

— «Тундра»? «Тундра»! Говорит «Кавказ»! Запишите: тот, который ушел на концерт в ноль-ноль часов, вернулся домой!

Дежурный вешает трубку, берет другую и требует снова лучей прожектора.

Сильный вертикальный прожектор сверлит небо. В штабе отмечают время, когда пришли Дроздов, Пятков, Балебин, Кудряшев, Соловьев, Пушкин. Начальник штаба майор Бородавка беспокоится о Челнокове. После того как Челноков первый донес: «Выполнив задание, возвращаюсь на базу», — прошло много времени. Во всяком случае, Челноков должен был прийти раньше тех, которые уже приземлились.

---

[1] Рефуга — навес с тремя бревенчатыми стенами для укрытия самолетов.

Начальник штаба, перелистывая бумаги и подписывая их, вдруг отрывается и спрашивает:

— Где же Челноков?

— О Челнокове сведений больше не поступало, — отвечает оперативный дежурный.

На аэродроме уже кипит работа.

В штаб полка входит высокий, крепкий, широкоплечий и широкогрудый штурман — бывший боксер Владимир Соколов. Сняв шлем, Соколов зачесывает назад вьющиеся волосы, улыбается.

— Черт возьми, — говорит он, — вверху сплошная облачность. Но мы полезли вниз и увидели корабль. А корабль нам не нужен был. Мы промчались над ним. Мы выполнили поставленную нам задачу.

У Соколова сияющие глаза на уставшем и постаревшем за эти два часа лице. Я видел Соколова перед полетом, он надевал тогда ремни парашюта и застегивал реглан. Он был свежий, румяный...

Соколов, как и другие штурманы, пишет рапорт о выполненных заданиях.

— Удивительное дело, — говорит капитан Пятков, — на этот раз я не услышал ни одного выстрела!

— Ну, как же? — говорит штурман Герой Советского Союза Хохлов. — Разве вы не заметили, капитан, как нас рубали сзади?

— Вы не заметили, капитан Пятков, — поясняет штурман Шевченко, — вы не обратили внимания на островок справа, где маленький маячок поблескивал. Оттуда открыли такую стрельбу, что хоть сворачивай с курса. Только нам не пришлось сворачивать с курса: снаряды рвались в четырехстах метрах сзади нас...

Штурман Хохлов продолжает сосредоточенно писать дальше. Соколов с наслаждением закуривает папироску и с достоинством произносит:

— Бомба моя, товарищи, попала в самое важное место... Смотрю на циферблат: шарик в центре! Но должен я сказать вам: полет сегодня был трудный. И всё-таки, как ни кряхтела, — померла! А? Дело сделано!..

Входит Николай Васильевич Челноков. Такой спокойный, будто и не летал на задание. Но усталость выдает. Стрелок Алексеев шепчет, что взлет и посадка у Челнокова отличные. Алексеев сегодня летал с Челноковым. Штурман Хохлов подтверждает правильность сказанного медленным кивком головы.

Все необходимые формальности, связанные с полетом, закончены, и голубой автобус с летчиками помчался к дому отдыха.

Задание выполнено отлично. Настроение у летчиков бодрое. Гвар-

дии полковник Преображенский выходит вперед и перед собравшимися в круг гвардейцами произносит коротенькую речь:

— Товарищи! Летчики нашей части за год войны нанесли врагу весьма чувствительный урон. Мы первые бомбили Берлин! Мы первые бомбили Штеттин, Данциг, Кенигсберг! Мы уничтожали безжалостно военно-промышленные объекты противника.

За год войны нами потоплено много фашистских боевых кораблей и транспортов с грузами и солдатами, уничтожены сотни танков, автомобилей и фургонов с живой силой. В воздушных боях и на аэродромах противника уничтожено большое количество самолетов.

Сильнее огонь по врагу! Друзья-гвардейцы, мы должны бить его еще злее и беспощаднее! Смерть захватчикам, пришедшим на нашу землю!

Гвардии полковник Евгений Николаевич Преображенский не только строгий и требовательный в боях командир, но и отличный товарищ в минуты отдыха. В песнях и плясках он первый заводила. С родины своей, Вологодского края, принес он суровость и бесстрашие русского человека и звонкую, душевную мелодию кирилловских частушек.

Полковник берет баян.

Звуки баяна несутся далеко и плавно, и кажется: под эти звуки лес шепчет, волны в заливе поют и травы переговариваются между собой. Месяц плывет медленно-медленно, робко. Верхушки высоких сосен склоняются над озером, и друзья, боевые летчики, готовы сидеть вот на этой пахучей траве всю ночь. Они забыли усталость, забыли про сон и отдых, забыли всё.

Когда клавиши начинают вызванивать щемящие, звонкие, трепещущие жизнью вологодские частушки с приплясами, летчики поют и танцуют.

Танцует комиссар, танцуют техники, инженеры и мотористы. Они пристукивают каблуками, и всё у них получается в лад, красиво, просто. Веселый народ гвардейцы!

Балтийская ночь, просторная и светлая, кажется, утопает в звуках баяна. Я узнаю семнадцатилетнего баяниста концертной бригады, приехавшей в полк.

Баянисту понравилось у нас в полку. И он нам понравился. Полковник зачислил баяниста Алексеева в свой экипаж стрелком. Виктор Алексеев приобрел новую специальность. Когда он уходил в первый боевой полет, ночью на аэродроме я спросил его: «Тебе не страшно?»

— Что вы, товарищ комиссар? — сказал Виктор. — С полковником мне ничего не страшно. Но я ведь иду в первый боевой полет, и я просто немного волнуюсь.

Тогда все вернулись с задания, не вернулся лишь экипаж полковника Преображенского. Я всё время думал о летчике, штурмане и Викторе. У них могла случиться вынужденная посадка в тылу противника. Их могли сбить ночные истребители, могли сбить зенитки.

Все поиски летчиков ни к чему не привели. Только на пятый день начальник штаба сказал мне: «Отыскались!» Какая это была для всех нас радость!

У самолета Преображенского сдали моторы над самой целью. Он едва перетянул линию фронта. Сел в глубокий снег ночью, без выпущенного шасси, на «живот», летчики не знали, где они: у своих или у гитлеровцев? В день они делали по восемь километров пути и несли на себе пулеметы, ракетницу, парашюты. Они не шли, а плыли по снегу, так как снег был глубоким — по шею. Без еды, усталые, при сорокаградусном морозе, они двигались по замерзшим болотам, кустарникам, не зная, где находятся. На всякий случай гвардии полковник Преображенский приказал:

— Стрелять будем до последнего патрона; только оставьте по два патрона для себя.

— А как же мне быть? — спросил Алексеев. — У меня ведь нет пистолета!

— Я оставлю три патрона. Один из них будет для вас, — ответил полковник.

— Хорошо, — спокойно сказал Алексеев.

И они пошли дальше. Это было тяжелое испытание, и все они, в том числе и этот семнадцатилетний музыкант, стрелок Алексеев, выдержали его блестяще.

Вернулись они на аэродром, я и спрашиваю Алексеева:

— Ну, как, Виктор, наверно вы больше не захотите летать?

— Что вы, товарищ комиссар, — сказал мне Виктор, — только теперь я понял и полюбил по-настоящему бомбардировочную авиацию.

Сегодня Виктору Алексееву предстоит двенадцатый боевой вылет в далекий тыл врага с гвардии полковником Преображенским.

Четыре часа ночи. Летчики поют хором под баян Виктора. Песня называется — «Возвращение». Через десять минут они разойдутся по своим кубрикам и заснут крепким сном. А завтра они снова пойдут в очередное боевое задание.

Мелодия баяна слышна всё громче и громче. Брезжит уже рассвет. Мне никогда не забыть эти балтийские грозовые ночи и родные, переливающиеся звуки баяна, подаренного гвардейскому полку кирилловским мастером Иваном Захаровичем Пановым.

В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА

Старший лейтенант Василий Алексеевич Балебин, как правило, ходил в звене ведущим. За ним не числилось поломок, вынужденных посадок и катастроф. Он ходил на Мемель, Самро, Хельсинки, Ваазу и крепко дрался под Двинском. Кроме того, он выискивал фашистские корабли на Балтийском море, а на суше — танковые колонны, машины с войсками и грузами, открывал тщательно замаскированные гитлеровские аэродромы. Данные, которые он доставал как разведчик, быстро обрабатывались, уточнялись, и к месту цели направлялись тяжелые бомбардировщики. Первым поднимался гвардеец, старший лейтенант Балебин. Ему иногда в шутку говорили товарищи: «На войне могут подбить». Он отвечал шуткой: «Меня не собьют. Надо только умело вести себя в воздухе». И он часто приводил в пример воздушную драку под Двинском. Тогда с ним были летчики Ребриков и Калинкин. Они сбросили бомбы на колонну танков, а на обратном пути еще по две бомбы на аэродром, с которого взлетели фашистские самолеты. Самолеты, стоявшие на земле, загорелись. Загорелись и ангары. Немцы подняли с другого аэродрома семнадцать «мессершмиттов». «Мессершмитты» атаковали звено Балебина. Целый час в воздухе шла головокружительная карусель боя, из которого все три экипажа Балебина выбрались победителями. Немцы же недосчитались нескольких самолетов. Из звена Балебина пострадал только стрелок-радист, получивший пять пулевых ранений.

«Смелого пуля боится, смелого штык не берет!» — поется в песне. Однако в жестокой схватке даже герои погибают.

Но настоящие герои и смертью своей наносят смерть врагу. Так поступил Герой Советского Союза Борисов, так поступил гвардеец Петр Игашев — первый в истории бомбардировочной авиации под Двинском на глазах Балебина и других его товарищей протаранивший танки горящим самолетом.

Старший лейтенант Балебин и его экипаж — штурман Шпортенко, стрелок-радист Кравченко, уходя на выполнение задания, решили: если придется умирать, то честь великой Родины — выше и прежде всего! Оставшиеся минуты надо использовать не для своего спасения, а для спасения Родины.

Танки противника недолго двигались по нашим дорогам. Колонну танков бомбардировщики бомбили звеньями и девятками на самых малых высотах. Бросали сотки, двухсотпятидесятки, пятисотки. Штурман Шпортенко все бомбы сбросил отлично. Огонь полыхал на шоссейной дороге, в канавах, в середине колонны. Из танков выскакивали немцы и бежали в лес, а над лесом кружились и штурмовали наши истребители. Шпортенко сказал в телефон:

— Стрелок-радист отбивает уже четвертую атаку шести «мессершмиттов»!

Летчик забрался выше. Стрелок-радист успешно отбил атаки. Балебин должен был идти дальше, чтобы произвести после бомбометания разведку.

Но их снова встретили вражеские самолеты. Штурман отбивал атаки спереди, стрелок Кравченко — сзади.

Ранило Кравченко. Балебин ощутил в руках перебитый осколком штурвал. Самолет потерял управление. Штурман продолжал отстреливаться. Уже при падении он сбил «мессершмитт». Переворачивались поля, деревья, чернело и поблескивало озеро. Из дальней рощи била крупнокалиберная батарея. Штурман был убит.

Балебину ничего не оставалось, как выпрыгнуть с парашютом. Он выпрыгнул и не видел, как ударился о землю самолет, но отчетливо слышал, как по его следу были выпущены пять пулеметных очередей. Летчик снял китель, закопал его в землю под деревом и просидел ночь возле болота в лесу, погруженный в тяжелые мысли о погибших товарищах. Пистолет и патроны он держал наготове. Вот поднялось солнце. Балебин осторожно вышел на дорогу и направился к самолету. По дороге слева непрерывно шли немецкие танки и фургоны, крытые защитным брезентом. Возле обуглившегося самолета он заметил силуэт человека. Он подошел ближе. На корточках сидел беловолосый мальчик лет четырнадцати в синей рубахе, без шапки. Мальчик плакал.

— Ты что здесь поделываешь, парнишка?

Мальчик поднялся:

— Да здесь вчера подбили наших летчиков. Двое из них убиты, а третий куда-то девался.

— Не плачь — это я! Ты из какой деревни будешь?

— Из Красных Шим. У меня там отец и мать. Нельзя ли починить самолет? Я бы улетел с вами.

— Самолет, парнишка, починить трудно: разбились мы крепко. Придется так, пешком, пробираться...

— Возьмите меня с собой. Я здесь все дороги наперечет знаю. Проберемся в деревню Дубки, а потом заночуем в Столешней. Вы меня не бойтесь. Меня зовут Генькой...

— Да я тебя не боюсь, — сказал Балебин, — только мне поесть охота!

— Надо зайти к моей тетке Зинаиде. Она поесть даст. Гитлеровцев костыляет она, на чем свет стоит. Грабят, всё дочиста грабят! Сегодня у нас весь магазин разграбили. Пойдем — увидишь!

Простившись с убитыми товарищами, Балебин пошел за Генькой, ловко пробиравшимся среди кустарников, лесных чащ и болот. Он,

видимо, хорошо знал местность и, петляя узкими тропинками, шел уверенно и твердо, как старый лесничий.

Через час они вышли на дорогу, ведущую в село.

— Теперь подожди здесь, не торопись. Я сбегаю, узнаю, а потом свистну...

Мальчик завернул в крайний двор и пропал.

— Тут, знаешь, грабиловка была, — вернувшись, сказал он, — тетку мою — дочиста.

На крыльце стояла худая, как щепка, тетка Зинаида с заплаканным лицом.

— Гитлеровцы давно ушли? — спросил Балебин.

— Только что были здесь... Вы, наверное, летчик? Я видела, как ваш самолет падал вчера. Несчастье какое!

— Не бойся ее, — сказал Генька, — поешь, а потом пойдем с тобой спать в сарай. В сарае у нас никто не живет.

Зинаида накормила Балебина и уложила в сарае спать. Но разве Балебин мог спать?

Кругом слышались лязг гусениц танков, движение машин. Генька тоже не спал. Он лежал на соломе, заложив руки за голову.

— Тебе, видно, жалко своих летчиков? — спросил он, вздыхая и приподнимая голову.

— А ты как думаешь?

— Я думаю, жалко... — Помолчав, он сказал: — Если ты со мной пойдешь, то наверняка домой доберешься, а если сам пойдешь — пропадешь!

— Почему ты так думаешь?

— Раз думаю, значит знаю. Со мной ты нигде не пропадешь. Завтра с рассветом двинемся.

— А где же твой батько?

— К батьке мы по дороге зайдем. Я ему говорил, что с фашистами я жить не буду. Уйду! Он мне сказал — ладно! Всем, говорит, сразу не уйти! А ты давай — иди!

— Это хорошо, — сказал, засыпая, Балебин, — завтра пойдем. Ты бы только поспал немного, а то спросонок с дороги еще собьешься.

— Мы в соседний лес убежим, — сказал Генька. — Там нас никто не найдет.

Чуть свет прибежала Зинаида, дала им на дорогу хлеба и пожелала доброго пути. По дороге они зашли в Генькину избу. Отец его вылез из чердака старой бани.

— Прощай, батько! Я в Ленинград пойду.

Обросший бородой, почерневший от копоти человек молча обнял сына, доверчиво взглянул на Балебина:

— Идите! Идите, сыны мои!

— Видишь, какая тут жизнь? — многозначительно и грустно сказал Генька, оглянулся и пошел торопливо к лесу.

Генька шел на триста метров впереди Балебина и подавал сигнал руками. Если кверху одну руку поднимет — стой! В сторону выкинет — ложись! Две руки растопырит — прячься! А если сядет на землю — подходи ближе! Не бойся!

И почему-то он больше всего подавал команды: «Ложись!», «Стой!», «Не подходи!» Только один раз он дал команду: «Подойди ближе!» Балебин подошел ближе, и они пересчитали на дороге застрявшие немецкие танки, сорок восемь машин, шестнадцать фургонов.

— Вот бы их тут с самолета шаркнуть!

Балебин успокоил его и велел получше запоминать местность.

— А для чего это? — спросил Генька.

— Разведку произведем. Мне надо доставить эти сведения.

Ровно через день в штаб Военно-Воздушных Сил были доставлены ценные сведения о скоплении моторизованных сил противника по маршруту следования Балебина. Балебин в тот же день снова сел в самолет. Геннадий с любопытством разглядывал его новенький бомбардировщик.

— Что ты намерен теперь делать? — спросил Балебин мальчугана.

— Да, видно, пойду добровольцем в разведку. Приведу мамку, отца. Принесу новые сведения. Понравилось мне быть разведчиком.

Летчик написал ему рекомендательную записку, и мальчик был зачислен в разведку. А Василий Алексеевич Балебин направился в свой «юбилейный» пятидесятый боевой вылет.

ЛЕОНИД ХАУСТОВ

19 АВГУСТА 1942 ГОДА

В Рыбацком по берегу девочка шла
Тропой, что к воде протянулась,
А рядом, в волнах, бескозырка плыла,
И девочка ей улыбнулась.

Одна бескозырка, другая... И тих
Был воздух.
                    Заря опустилась.
На Охте старушка заметила их
И медленно перекрестилась.

И плыли они мимо строгих громад,
Гранитных твердынь Ленинграда,
Как будто бы их провожал
                                        Ленинград
Суровым молчаньем блокады.

И там, где кончается морем земля,
Где волны особенно зыбки,
Матросы увидели их с корабля
И сняли в тоске бескозырки.

...А я был свидетель того, как вода
Кипела в Усть-Тосно, как с хода
На вражеский берег рванулись суда
Десанта Балтийского флота.

Их встретили пушки и били
                                        внахлест,
И брали десантников в вилку,
И падал в холодную воду матрос,
Оставив волне бескозырку...

А. ЗОНИН

СИЛОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Посвящается В. К.

— Ни за что! — говорила Таня, не сдаваясь на просьбы мужа. — На зиму твои катера вытащат на берег, и часто будем вместе... Уж если уезжать, то надо было в прошлом году ехать! А сейчас, когда всё вошло в колею, даже обидно...

— Вот так колея — под артиллерийским обстрелом!

Николай Ильич и сердился и нежно упрашивал, но ничего не мог поделать. Таня работала на заводе, в цехе ее очень ценили, и ее упрямство прикрывало не только любовь к мужу, но и сильную, гордую уверенность в том, что она необходима обороне Ленинграда.

— А сынишка? — напоминал он, уже сдаваясь. — Полтора года не видались...

— Война кончится — съезжу, привезу. Что радости — ребенка снова приучить к себе и покинуть...

Николай Ильич отгонял эгоистические мысли, но всё-таки было приятно, что зимой в свободный вечер можно будет пойти «домой», — так по-новому сильно звучало в Ленинграде это простое чудесное слово!

Капитан-лейтенант Николай Ильич Старов командовал дивизионом магнитных тральщиков: у него были деревянные рыбацкие боты и неуклюжие баржи, оборудованные для магнитного траления. На своих неказистых суденышках Николай Ильич с честью закончил кампанию 1942 года, но тогда выяснилось, что с ремонтом и боевой подготовкой уйма дел, — только-только справиться к весне, а уж об отдыхе и думать нечего. Надо было перебирать дизеля и динамомашины, хлопотать о кабелях для оборудования новых траловых барж, заново вооружить дивизион против мин. Иногда ему удавалось поздно ночью поговорить с Таней по телефону, но разговор выходил невнятный, бестолковый: то в городе воздушная тревога, то слышимость плохая. Да и что скажешь по телефону? Голос Тани звучал глухо, незнакомо, и Николай Ильич злился, — вот тебе и семейная жизнь! Порою он не заставал жену дома и начинал лихорадочно

выяснять, был ли в тот день артиллерийский обстрел города и какие районы обстреливались... Нет, конечно, ей следовало уехать!

Старов вырвался в Ленинград только в конце декабря — получать кабель. Позвонил Тане на завод, — она радостно вскрикнула и сказала, что придет домой пораньше, но пришла очень поздно, так как на заводе был срочный фронтовой заказ. Он ждал до темноты в холодной комнате и начал было уже раздражаться. Но Таня прибежала такая счастливая и виноватая, что трудно было сердиться.

— Не часто мы видимся! — мрачно сказал Старов.

— Но если бы я уехала, мы бы совсем не виделись! А я здесь — и вот, встретились...

Николай Ильич был благодарен жене за ласку, коснулся губами ее виска, над которым распустилась темная прядка волос, и увидел тусклый седой волосок. Да, ей же очень трудно и, наверное, порою очень страшно... Но она никогда не скажет, не пожалуется, — гордая, милая, единственная в мире...

— Я вот думал, заеду домой, — взволнованно сказал он, — а нет... хочется назвать эту встречу свиданьем...

Следующего свидания пришлось ждать очень долго... Даже в радостную ночь, когда радио сообщило о прорыве блокады Ленинграда, им не удалось поговорить как следует. Они стояли у телефонов — он в холодной рубке базы, она — в еще более холодном коридоре своей квартиры; оба что-то восторженно кричали друг другу, но слова заглушала музыка, всю ночь звучавшая над городом.

Они не повидались ни в феврале, ни в марте, а в апреле он снова вырвался на сутки и полтора часа ждал Таню на улице возле завода. Она выбежала запыхавшаяся, такая тоненькая, совсем девушка, с девичьими счастливыми глазами. И вся их встреча прошла как свиданье молодых влюбленных. Они без повода смеялись и долго сидели у печурки, взявшись за руки, и заснули обнявшись.

Николай Ильич проснулся на рассвете. Близко и часто стреляли зенитки. Он осторожно высвободил свою руку. Таня, не просыпаясь, что-то ласково пробормотала. Босиком, неслышно Николай Ильич прошел к окну.

Небо уже просветлело, но темнота еще держалась над весенней вскрывшейся Невой, и смутно виднелись на черной воде серые, медленно плывущие льдины. Прислонясь лбом к стеклу, Старов долго следил за трассами снарядов: яркие ночью, они сейчас бледными полосами только намечали путь снаряда. Разрывы вспыхивали далекими звездочками, их дымки терялись в сумеречном свете, и совсем не разглядеть было мечущийся наверху самолет. Но он увидел другое: темное тело под парашютом бесшумно пронеслось мимо и плюхнулось в реку в крошево мелких льдин.

Николай Ильич прислушался, сдерживая дыхание, — взрыва не было. Тогда он протяжно свистнул: так и есть! Зеленый зонтик был знаком ему с прошлой весны. Зонтик удерживал на стропах магнитную мину. «Рано начали нынче, дьяволы!»

Старов отступил в глубину комнаты к стулу, на котором лежала одежда, и неловко толкнул его. Таня, мирно спавшая под выстрелы, мгновенно проснулась от легкого стука в комнате.

— Ты что, Коля?

— Собираюсь.

— Рано же... еще бы немножко поспать...

— Надо ехать, родная. Началось!

— Что началось, Коля? Я что-то ничего не понимаю, так спать хочется... это же просто зенитки...

— Немцы бросают магнитные мины. Ну, значит, моим посудинам надо выходить на работу.

Он пошел умываться, а Таня, окончательно проснувшись, строго глядела в белеющий потолок.

«Надо выходить на работу», — так просто говорит Коля об опасности! Прошлым летом взрывы мин дважды сбрасывали его в воду... Она вскочила, чтобы приготовить чай. Они оживленно разговаривали, не упоминая больше о минах, но нежность короткого свидания отступала перед заботой и тревогой.

— Ты позвони, Коля...

— Ох, этот телефон! Ненавижу!.. И голос не твой, и слова не те...

В штабе соединения Николай Ильич получил оперативный приказ: он должен несколько раз пройти по главному боевому фарватеру, протралить его начисто.

— Мы должны быть совершенно уверены в чистоте фарватера. Но не думайте, что у вас будет много времени. Вы посмотрели сроки окончания траления, Старов? — спросил командир соединения.

— Всё ясно, товарищ капитан первого ранга. Даже если противник сделает новые постановки, через четыре дня корабли должны идти спокойно...

— Ну вот, действуйте. Жена здорова? Погостили, счастливчик, дома!

— Спасибо, погостил. Недолго, правда...

— От гитлеровских подарков фарватеры очистим, — уедете на недельку. А то сюда жену выпишем. Чем у нас не дача? С бесплатными фейерверками, с фонтанами на горизонте... Впрочем, фонтаны, вы, надеюсь, ликвидируете...

Через несколько часов Николай Ильич был уже в море. Медленно шли его боты с баржами на буксирах. Юркие катера прикрыли их движение, поставили дымовую завесу между маленьким

отрядом и берегом, откуда днем и ночью пристально вглядывались в море немецкие наблюдатели. Немцы не видели отряда, но весь район был у них хорошо пристрелян, и моряки скоро услышали знакомый посвист снарядов.

— За молоком пошел!.. Так, рыбку глушат... Опять за молоком...

Николай Ильич не отзывался на шутливые замечания штурмана. Он опасался задержки в работе, а шальной снаряд мог искромсать кабели питания, перебить стальной трос. Он стоял возле старшины — командира бота, хмурился, поглядывал на часы и деликатно подсказывал: «Влево не ходить», «Вправо обойти буёк». Иногда он отходил от штурвальной рубки, чтобы посмотреть напряжение силового поля. Обмотка баржи, которая провоцировала взрыв магнитной мины, должна была питаться сильным и равномерным током. Динамо, установленное на боте, работало бесперебойно.

— Так, добро! — хвалил Николай Ильич, всматривался в цепь буйков на зыбкой зеленой воде и шел обратно.

Солнце уже стало склоняться к горизонту, придавленному облаками. Полосы света, палевые, оранжевые, нежно-розовые, пронизывали облака. Закат был прекрасен и спокоен. Тральщик в третий раз проходил по фарватеру. Штурман, проверив курс, проложил новую линию пути на карте.

— Четыре мины подцепили, товарищ командир, — весело сказал он, — а в прошлом году за первый выход только одну.

— Набросали, — неопределенно сказал Николай Ильич.

— Пожалуй, очистили, а?

— Вот вам и очистили!.. — крикнул Николай Ильич, чуть не сбитый с ног хлестнувшей волной. Бот высоко поднялся на гребне, повалился на борт, тяжело выпрямился и закачался на волне. Гул взрыва затих.

— Пятая, — заметил старшина.

Штурман сконфуженно склонился над своим столиком. На четвертом галсе[1] мина взорвалась совсем близко. В нескольких десятках метров от борта с грохотом взвился высоченный столб воды, увлекая с собою ил, камни и мелкие осколки металла. Крутой вал обрушился на бот, деревянный корпус заскрипел и застонал. Вода лизнула клотик[2] мачты. Камень с размаху хлестнул по груди рулевому, и матрос с трудом удержал штурвал.

[1] Галс — отрезок пути на одном курсе судна, периодически меняющего направление при промере глубин, тралении мин или ловле рыбы.

[2] Клотик — наделка на верхнем конце мачты, стеньги или флагштока в форме плоского кружка с выступающим закругленным краем. В клотик вделываются ролики для подъема флагов.

— Шестая, — откликнулся старшина.

Николай Ильич остался без фуражки: очевидно, смыло. Тупо болел затылок. Он с инстинктивной осторожностью провел рукой по шее, ладонь стала липкой от крови.

— Чепуха, ссадина, — отмахнулся он от предложения старшины сделать перевязку и пошел проверить напряжение силового поля. Напряжение было нормальное, но вот кровь струйкой текла под воротник, и всё же пришлось шею забинтовать. Когда Старов натянул берет поверх перекрестившей голову перевязки, штурман объявил драматическим шепотом:

— Теперь всамделишный корсар. Гроза морей.

— До темноты сделаем пятый галс, — сказал Николай Ильич, не подхватывая шутки. Голова ныла, будто ее зажали в тиски.

В короткие часы весенней ночи из-за этой боли он совсем не мог отдохнуть. А на рассвете нового дня надо было возобновить работу.

Из штаба сообщили, что немцы пытались делать новую постановку: мины упали на окраине города и на банке против острова. «Впрочем, одна мина, возможно, в районе фарватера, донесения разноречивы, надо проверить», — говорилось в конце сообщения.

Как только бот заплясал на свежей волне и с барабана лебедки весело побежал «стальной», Николай Ильич привалился к рубке и задремал. Штурман сам указал боевой курс и уже довел отряд до «колена», когда командир дивизиона проснулся. Легкий бриз обдувал лицо. Боль в затылке прошла. Николай Ильич со вкусом жевал теплый хлеб с маслом, жадно пил из большой кружки обжигающий, горьковатый, до черноты крепкий чай. Чувствуя себя отдохнувшим и освеженным, он полез на козырек рубки. Отсюда глаз легко охватывал почти всю Невскую губу с ее топкими и низкими берегами. Бот медленно полз вперед, солнце пригревало и настраивало благодушно. Николай Ильич подумал: прямо весенняя прогулка получается!

Гул взрыва заставил его соскочить. Трал-баржа, шедшая в уступе, подорвала мину. Раскатился двойной гул: от детонации подорвалась еще одна мина; за фонтаном воды исчез бот-буксир.

Николай Ильич с тревогой поднял бинокль. Сквозь ниспадавшие струи он видел буксир, который выбирался на зыбь и был как будто цел, но сидел необычайно низко.

— Запросите, что случилось, — приказал Старов.

С буксира скоро сообщили, что давлением воды на боте вырвало кингстон, дыру закрыли, воду откачивают.

Это донесение не успокоило Старова. Бот явно отставал, а задержки не входили в расчеты Николая Ильича. Вызвав к борту катердымзавесчик, он перебрался на аварийное судно. Все свободные



Здесь продают билеты в Филармонию. 1942 год.

Подготовка ко второй блокадной зиме.



Заготовка дров.

люди из экипажа были заняты откачиванием воды. Помпа не справлялась, и воду еще черпали брезентовыми ведрами. Краснофлотцы смеялись:

— Вот ударило, товарищ капитан-лейтенант! Вроде кит хвостом шлепнул! Искупало нас.

Они и вправду были мокры с головы до пят. На палубе среди подсыхающих следов поблескивала рыбья чешуя: волна забросила в бот несколько оглушенных судаков, и кок, несмотря на аварию, успел выпотрошить их к обеду.

— Сейчас рыбки свежей попробуете, товарищ командир, — сказал командир бота. Но Николай Ильич придирчиво осмотрел всё хозяйство буксира, лично убедился, что и мотор, и динамо, и руль действуют как надо, следовательно задержек в тралении не будет, посмотрел на часы и только тогда ответил:

— Кто же от трофейной отказывается? Давайте.

В течение дня на фарватере подорвались без происшествий две мины, и это был конец «улова».

Наступил вечер. На последнем галсе ветер посвежел, задувая навстречу и замедляя возвращение в гавань. Швартоваться пришлось уже в темноте. Зато сделали шесть галсов; завтра можно было заняться контрольным тралением.

Итог дня бодрил Николая Ильича, хотя к вечеру боль в затылке возобновилась и временами сильно мучила. Он безжалостно разбудил задремавшего штурмана, заставил сделать отчетную кальку и, несмотря на поздний час, отправился к командиру соединения с докладом.

На берегу ветер не ощущался. Ночь была звездная, тихая, и так всё было спокойно и красиво вокруг, что Николай Ильич вдруг поверил, что увидится с Таней гораздо раньше, чем ему казалось несколько дней назад в Ленинграде.

Он сидел у командира соединения, когда началась воздушная тревога. Оперативный дежурный доложил, что несколько групп немецких самолетов пытаются бомбить Ленинград и опять сбрасывают мины. В воздухе идет сильный бой.

— Авось с наших курсов отгонят, — утешил командир соединения... — Утром выходить подождите. Уточним итоги ночи.

Николай Ильич прошел в соседний корпус в свою комнату.

В выбитое стекло с моря задувало, ветер парусил затемнявшую окно портьеру. Карточки жены и сына запылились. Он тщательно обтер их платком, поставил на чернильный прибор и всмотрелся в родные лица. Улыбаясь ему, они словно говорили: «Ничего, вытерпим...»

Он позвонил на пристань, поговорил с дежурным по дивизиону,

потом зашагал по комнате из угла в угол... Времени до утра было много, а спать не хотелось.

Снаружи донесся гул пролетающих на посадку истребителей. Ночное сражение окончилось. С какими результатами? Через час об этом скажут донесения.

В памяти мелькнул парашют с миной, скользнувший перед окном, и крошево мелких льдин. Таня и сегодня была там, и что с нею, донесения не скажут... Надо позвонить ей немедленно, сейчас провод, наверно, свободен.

Действительно, его соединили быстро. Но долго — как ему казалось, бесконечно долго — он сжимал телефонную трубку, ожидая ответа... Вот сейчас она встает, бежит к телефону, сейчас ответит незнакомым, измененным расстоянием, голосом...

Голос ответил: «Алло!» — чужой, совсем чужой, незнакомый, испуганный голос.

— Товарищ Старов?.. Я вам вчера письмо послала... Вы не беспокойтесь, она в больнице. Никакой опасности для жизни. Увечья тоже не будет. Да, да, я сама отвозила. Осколок снаряда на улице... Правда, ничего опасного. Она сама дала ваш адрес, чтобы я написала. Вы к ней приедете?

Он вставлял в разговор только хриплые короткие вопросы. Механически повторил название больницы и сказал, что непременно приедет сегодня же, первым катером, непременно! Подчиняясь овладевшей им горячке, он побежал к командиру соединения. Дверь кабинета была закрыта. Спит? Командир работал всю ночь... Да и что сказать ему? Операция, возможно, не закончена. Возможно, придется всё начинать сначала. А личное несчастье... разве у него одного?

— Я слушаю, кто там бегает, спать не может?.. Погоды не дождался, не терпится в море рыбку ловить? — раздался рядом веселый голос с грузинским акцентом.

В дверях соседней комнаты стоял начальник штаба.

— Да нет, я к командиру...

— В море ушел командир, с третьим дивизионом. Ну, душа, придется начинать сначала. Не меньше шести мин спустили фашисты, зараза их порази! У флаг-штурмана заберите разведданные. В колене у Морского канала пошуруйте. Вдоль и поперек исходите, но чтобы завтра к вечеру никакой пакости не осталось. И тогда, товарищ Старов, с орденом тебя, и выпьем, тамадой буду.

— Есть, — с трудом выдохнул Николай Ильич.

«Не меньше шести мин», — сказал начальник штаба. Но в этот день боты, с трудом волоча против свежей волны тяжелые тралбаржи, отыскали только две мины. Николай Ильич угрюмо смо-

трел на мутные озерца, долго не расходившиеся на месте взрывов. Озерца были на середине главного фарватера. Где-то здесь еще четыре мины. А он надеялся сегодня окончить задание!..

Несмотря на ветер, Старов не увел свой отряд в гавань и поставил корабли на якорях у дамбы, чтобы выиграть несколько рабочих часов. Немцы всю ночь шарили прожекторами, а на рассвете открыли шквальный огонь по району канала. Снаряды ложились как раз в том колене, где начальник штаба приказал особенно тщательно протралить. Если бы Николай Ильич не знал, что его работа должна обеспечить к ночи проход кораблей, он пожалел бы людей и оружие. Но теперь надо было рисковать, и он снялся со стоянки.

Мглистая пелена дыма тянулась по воде в стороне Петергофа. Близкий город лежал в тумане. В городе сутки ждала его Таня, ждала, быть может, на последнее свидание. Незнакомая женщина, конечно, лгала из жалости... Люди часто думают, что горе переносится легче, если его принимают малыми дозами... Уговаривал же уехать, а она не хотела... Нет, зачем лицемерить перед самим собою; радовался тому, что Таня остается, никогда не был настойчив до конца... И вот она ранена на улице, и чужие люди снесли ее в больницу, а он даже не может навестить ее...

В середине дня снаряд упал между ботом и баржей, перебив кабель. Несколько буйков уплыло по течению, скользя на гривастых волнах, как маленькие дельфины.

Николай Ильич приказал старшине возвращаться на базу и ремонтироваться и перешел со штурманом на другой бот.

Немцы начали бить шрапнельными. Осколки порвали флаг на гафеле,[1] пробили в нескольких местах надстройку. Уже в сумерки был убит боцман и ранен электрик.

Николай Ильич приказал людям не показываться без дела на палубе. А сам он ходил между штурвальным и электриком, наклоняя голову при близких разрывах, и говорил:

— Поднатужьтесь, ребята... Такой уж денек выдался...

— Понятно, товарищ капитан-лейтенант, — сказал раненый электрик. — В обмотке постоянное силовое напряжение поддерживаем, а мы ж, люди, крепче машин. Сколько дней понадобится, на столько и хватит нашего силового напряжения. Вы за людей не беспокойтесь.

Николай Ильич сжал локоть электрика и отошел. Определение было точно. Не потому ли он ничего не сказал в штабе о своем лич-

[1] Гафель — наклонное дерево, укрепляемое нижним концом к мачте судна для привязывания верхней части паруса.

ном несчастье?.. Не этим ли живет Таня?.. Силовое напряжение! Почти весело сказал он штурману:

— Последний контрольный галс, лейтенант, и можете задать храп на два дня.

Но в этот раз штурман не поддержал веселого разговора:

— Ну да, с вами поспишь...

Сойдя на берег, Николай Ильич поколебался один миг, — его тянуло узнать, когда будет катер в город. Вздохнув, он сделал то, что должен был сделать: отправился докладывать об окончании траления главного фарватера.

— Отлично, душа! — нараспев затянул начальник штаба. — Ах, молодец, как раз вовремя кончил!.. Мы, душа, с рассвета новое траление начнем, а? Запасный фарватер, глядите сюда. Хорошо? Кстати, между фортами дорожки почистите. Скучать не даем, а?

«Сказать сейчас про Таню?.. Сказать сейчас про Таню?..» — с тоской думал Николай Ильич, принимая новый приказ, но сказалось сухое, обычное:

— Разрешите идти?

Ему стало легче только на рейде, когда бот потащил баржу между пришедшими ночью тральщиками, сторожевиками и эскадренными миноносцами. Его тихоходный зеленый рыбачий бот выглядел неказисто рядом со стройными стальными корпусами боевых кораблей. Но капитан-лейтенант Старов знал не видимую глазами красоту своих работящих суденышек. Боевые корабли были здесь потому, что тральщики выполнили труднейшую задачу. И они пойдут на боевые дела потому, что на маленьких суденышках не ослабевает великое силовое напряжение...

Штурман скосил на командира насмешливый взгляд:

— Отсыпаться будем с осени, товарищ капитан-лейтенант?

Николай Ильич неожиданно для штурмана подхватил:

— Ясно. Кто же летом спит?

Было еще много ночей, когда немцы снова и снова сбрасывали мины; много дней упорной, кропотливой, исполненной мужественной терпеливости, работы. А в промежутках был еще телефон, и в телефонной трубке чужой голос, который уверял, что рана заживает и больная поправляется, просит сказать, чтобы он не волновался... Он благодарил, стесняясь доверять чужому человеку нежные слова, и возвращался на борт тральщика, чтобы снова идти в море. Как это он раньше совершенно не ценил счастья слышать родной голос Тани, пусть измененный расстоянием, но всё-таки ее, милый, неповторимый голос!.. Дождется ли он этого счастья снова?

Они обнаруживали и взрывали мины. Они перестали прислушиваться к свисту снарядов, зато внимательно присматривались, не

несет ли волна оглушенную рыбу, и коки соревновались между собой в изготовлении рыбных блюд. Напряжение стало постоянным и перестало ощущаться.

Однажды телефон сообщил чужим голосом, что больной стало лучше: у нее начали шевелиться пальцы. Теперь Николай Ильич понял, что Таня была ранена тяжело и от него, действительно, скрывали правду, и захотелось помчаться к ней и поцеловать оживающие пальцы... Но вместо этого он снова вышел в море на три дня.

А потом он вернулся, и его позвали к телефону, и ее голос донесся через все шумы:

— Это я, Коленька! Это я... ты узнаешь?

Как будто можно было не узнать ее голос среди тысячи голосов!

Он растерялся и выкрикивал вопросы о здоровье, а она, плохо разбирая его слова, тоже выкрикивала вопросы:

— Как ты себя чувствуешь, Коленька? Ты здоров?

— Я-то? — кричал он. — Я — лучше всех!

Счастье было так мощно и так неожиданно, и ее голос так мало изменялся расстоянием, что он твердил:

— Ты говори, я хорошо слышу, ты говори!

Но она настаивала:

— Ты расскажи о себе, Коля. Мне нечего рассказывать.

— У нас силовое напряжение, знаешь? — кричал он. — Один мой краснофлотец сказал, что человек выдержит любое силовое напряжение. Понимаешь? Чудесный парень, раненный продолжал работать...

— Чудесно сказал, — вдруг очень отчетливо прозвучал голос Тани. — Коля, я завтра выписываюсь на работу.

В трубке что-то шумело и пищало, но Таня продолжала:

— На заводе ждут, доктор сказал, что если не напрягать руку...

Он слышал сквозь скрежет и гул только неповторимые звуки ее голоса, но знал без слов, что может говорить этот упрямый, гордый, нежный голос. Он знал: всё, что говорит Таня, это как раз то, что должно быть, и иначе быть не может.

И он сказал в ответ:

— Хорошо, родная, хорошо, только, пожалуйста, не напрягай руку!

НИКОЛАЙ БРАУН

МЕДАЛЬ

Пройдя сквозь долгий грохот боя,
На слиток бронзовый легла,
Как символ города-героя,
Адмиралтейская игла.

Взгляни, — заговорит без слова
Металла трепетный язык.
И воздух города морского,
И над Невой подъятый штык,

Вся бронза дышит, как живая,
В граните плещется река,
И ветер ленты развевает
На бескозырке моряка.

И даль пылает золотая,
И синью светят небеса.
И вдруг, до слуха долетая,
Встают из бронзы голоса:

«Мы так за город наш стояли,
Так эту землю берегли,
Что нынче музыкою стали,
Из боя в песню перешли.

Мы слиты из такого сплава,
Через такой прошли нагрев,
Что стала бронзой наша слава,
Навек в металле затвердев».

Слова уходят, затихая,
В металл, в бессмертье, в немоту, —
И, снова бронзой полыхая,
Игла пронзает высоту.

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ГОРОД-ФРОНТ

БОЙ В ГОРОДЕ

Да, это город-фронт. Посреди города лежит площадь Жертв Революции. Раньше она называлась Марсовым полем. Бог войны — артиллерия сегодня гремит над этой площадью, и длинные языки пламени рвутся к сумеречному небу. Клубы дыма встают по сторонам. Ветки, сорванные взрывами, усыпают мостовую. Воздух рвется на куски. Самые разные грохоты гуляют в небе и на земле. Это налет.

Постылый рев немецких самолетов над самым полем. Пикируя, немец хочет попасть в зенитную батарею. Бомба падает в стороне. Огромный столб дыма заволакивает Летний сад. Свист и рев, лязг и визг.

Но девушки-зенитчицы ловят на прицел воздушного бандита. Им не до страха. Они потом будут волноваться и переживать. Сейчас они ушли в свою трудную работу. Они забыли про шутки и про друзей, про всё. Они — бойцы, защищающие свой родной город.

Вот он снова идет, бомбардировщик с черными крестами. Они слышат надтреснутый лязг его мотора, они засекают его курс. Он кружит над Невой и сейчас снова будет пикировать на их батарею.

Но разрывы зенитных снарядов пересекают путь немцу. Вот скользнул легкий огонек, черный дым вырвался из-под хвоста, немец скользит на крыло и уходит за дома. Он не упадет в городе. У него еще большая скорость, и он вытянет из города, он рухнет где-нибудь в поле, в лесу. К себе ему не вернуться. С ним всё кончено. Потом найдут его наши бойцы и увидят, как огонь долизывает остатки крыльев.

Идет другой самолет. Немцы сегодня упорны. Этот вертится над районом, как бы ища минуту, когда будет перерыв стрельбы. Но орудия продолжают выбрасывать языки огня, глаза болят от напряжения. Голос девушки, выкрикивающей цифры, охрип, глаза ее сузи-

лись, стали маленькими черными горящими полосками. В шинели жарко. Каска давит на голову своей неуклюжей тяжестью. Скорей бы он бросил бомбу! Чего он медлит?

Время перестало существовать. Кажется, что бой продолжается уже целый день. За Невой вспыхнули пожары. Вокруг шипенье и свист осколков. Откуда-то принесло дым, низко стелющийся по земле. Немец совсем рядом. Кажется, что врежется в орудия.

Что-то приближается, захлебываясь, ввинчиваясь в воздух. Сердце стучит. Какая-то немота овладевает телом. Будто нет ни рук, ни ног. Грохнуло невдалеке. Бомба. Что-то раскололось там, где был белый дом, старый дом за углом на Мойке. Кажется, там. Да, оттуда появляется коричневый дым.

И снова бьет батарая, и снова хрипло раздается голос, называющий цифры прицела. Неужели это в центре города? Да, вот видна статуя римского воина с мечом — памятник Суворову, вон изогнулся Кировский мост. Вон начало улицы Халтурина — и всё-таки это поле битвы.

Враг ушел. Прерывисто доносится сигнал отбоя. Но каждый час враг может вернуться. Надо быть начеку. Месяц, год... Пошел уже второй год. Батарея на площади всегда в боевой готовности, всегда начеку. Пройдут годы, и молодая женщина скажет своему маленькому сыну, играющему у скамейки: «А знаешь, сынок, ты спрашивал, где я воевала? Вот здесь я воевала». И маленький мальчик оглянется с недоумением на дорожки, посыпанные песком, на клумбы с цветами и скажет разочарованно: «Здесь?» — «Да, здесь. Запомни это место, сынок. Здесь твоя мама защищала Ленинград».

ДРУГОЙ СНЕГ

Снова наступила зима. И снова улицы завалил глубокий снег. Но это был уже другой снег. Он не наводил тоски на душу, да и убирали его уже обыкновенным способом — не все ленинградцы скопом, а дружинницы.

Если не было обстрела, на Фонтанке у Летнего сада в час зимнего заката было чудесно. На всем лежал тихий сумрак. Слышно было, как скрипит снег под ногой одинокого пешехода. Сквозь порозовевшие от заката деревья Летнего сада виден дворец Петра — маленький, облепленный снегом. И ставни, которыми наглухо закрыты его окна, тоже белые. Только взрывной волной раскрыло один ставень, и он с внутренней стороны оказался ярко-красным. И это ярко-красное пятно в синеватом тумане тревожно напоминает, что город в осаде, что здания его ранены и что это — затишье перед бурей.

Вдали, в глубине Фонтанки, встают красно-малиновые перья заката. Окутанный дрожащим туманом тяжелый красный шар солнца точно остановлен и поставлен на гранитный пьедестал, так он неподвижен. Наплывая, его закрывает сизый дым, но снова красный луч скользит по белому полю Невы, уходит в розовые тени и исчезает постепенно в голубых тенях дальнего берега.

Отсюда, с мостика через Фонтанку, город кажется погруженным в полусон. Ни в одном окне нет огня. Пустынны набережные. Ветер гоняет снежную пыль по занесенным дорожкам Летнего сада. А в земле спят, глубоко зарытые от бомб и снарядов, статуи, которые всегда стояли на дорожках сада. Летом над ними шелестит трава, зимой их покрывает снег, а они спят, и им снятся весенние яркие дни, солнечные аллеи и множество веселых ленинградцев, гуляющих беззаботно с цветами в руках.

Такой Летний сад снится и тем девушкам-дружинницам, что со скребками и лопатами убирают снег на мосту через Фонтанку. Их лица озабочены. Каждая из них думает о своем. Теперь это уже не изможденные от голода ленинградки. Их щеки горят от мороза, снежинки тают на их волосах, глаза горят огнем молодости.

Они тепло одеты в ватники и ватные штаны. У них теплые варежки и темные береты. Им бы лыжи, и они махнули бы прямо на спуск к Фонтанке, примерились бы, крикнули и помчались бы к широкой Неве, оставляя длинный рельсовый след на нетронутом снегу.

Но сейчас не до забав. Сейчас надо чистить снег, потому что некому его чистить, а в городе должен быть порядок.

Когда же они прерывают работу, облокачиваются на лопаты и скребки и смотрят на закат, они чувствуют своим молодым сердцем, как прекрасен город в этих сизых, дымчатых облаках тумана, светящегося изнутри последними осколками уходящего пурпурового солнца.

Они вспоминают недавние времена, когда они дружной стайкой бегали по этой набережной со школьными портфельчиками, и никому из них не приходило в голову, что им придется убирать снег именно здесь в суровые дни осады.

Но вот показывается грузовик с красноармейцами. Молодые, веселые лица сверкают навстречу девушкам. Озорные голоса окликают их. И вмиг задумчивость сбегает с лиц девушек, и они шутливо перекрикиваются с бойцами, кидают в них снежки и смеются.

Грузовик проехал, снег убран, солнце закатилось. Идет ночь, длинная осадная ночь. Город уходит во тьму. Тишину прорезает унылый железный хрип. Первый снаряд разрывается за садом. Начался обстрел. Конец тишине.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Они прибегают на завод на роликах. По асфальту опустелой улицы мчатся их дружные стайки. Со стороны может показаться, что они — ребятишки и больше им нечего делать, как бегать по улице, смеясь и играя.

Но вот они подбегают к воротам старого завода и оставляют свои дощечки на колесах. Это уже рабочие, это уже специалисты.

Когда на один завод приехала делегация с фронта поблагодарить за прекрасное оружие, сделанное для Красной Армии, то командиры, увидав за станками ребят, воскликнули:

— Ну и рабочий класс пошел нынче!

— А вы не смейтесь, — сказал мастер. — Посмотрите, что они тут наизготовили.

И повел приехавших в другое помещение, где принимали сделанные автоматы, винтовки, пулеметы и другое оружие. Всё было сработано чисто, крепко, по-военному.

Девочки с тоненькими косичками, аккуратненькие, как птички, и мальчики с серьезными лицами стали большими помощниками взрослых, защитниками Ленинграда.

Иные из них стали мастерами, и все их уважают и называют уже не Вася, а Василий Васильевич.

Василий Васильевич не уступит старому специалисту. Посмотрите на него, когда он проверяет прицельную линию пулемета. Здесь нельзя ошибиться. Плохо рассчитал — и прицел будет негодный. Пулемет не сможет стрелять правильно — значит, и фашиста из такого пулемета убить нельзя. Да и не допустят с таким изъяном пулемет в Красную Армию.

Вот почему такой строгий вид у Василия Васильевича, когда перед ним, зажатый в тиски в точно рассчитанном положении, лежит пулеметный прицел.

Я не знал лично Василия Васильевича, но я видел много других мальчиков и девочек. Их звали почетным именем: ремесленник. До войны оно звучало обыкновенно, но во время ленинградской осады это слово стало наряду со словами сапер, артиллерист, моряк, железнодорожник. Маленькие ремесленники были очень сознательные работники. Они понимали, в каком городе они работают, они понимали, что их отцы и матери гордятся своими сыновьями и дочками, помогающими в обороне Ленинграда.

Конечно, они не походили на взрослых рабочих. Когда кончалась смена, они высыпали на двор, заваленный старым железом, грудами шлака, кучами разбитого кирпича. Но была на дворе весна. Солнце грело их замазанные смазкой лица, воробьи прыгали у больших се-

рых луж, деревья скромно начинали зеленеть. Весенний ветерок приносил запахи каких-то далеких садов.

И в них просыпалось снова детство, и они начинали громко кричать, как маленькие воробьи, толкаться, бегать взапуски, тузить друг друга, хохотать и смотреть широко раскрытыми глазами, как в город приходит весна.

Их глаза снова смеялись, голос становился звонким, движенья свободными. И тут уже и Василий Васильевич мог снова легко и просто превратиться в Васю и в Ваську и, забыв свой авторитет, поставить ногу на дощечку с колесиками и промчаться по асфальту не хуже самого маленького своего товарища. Но он мог и не сделать этого, потому что на груди была медаль на зеленой ленточке — медаль «За оборону Ленинграда», и он солидно отмахивался от приятелей и шел, довольный своей работой, напевая такую же песню, какую поют красноармейцы, уходя на фронт.

ДМИТРИЙ ОСТРОВ

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ

ОДНА НОЧЬ

Снова наступила ночь, длинная фронтовая ночь с треском пулеметных очередей, с разноцветными ракетами, медленно опускающимися на землю, с неторопливыми глухими выстрелами тяжелой артиллерии.

Еще одна ночь обороны Ленинграда.

Я иду по железнодорожной насыпи и всматриваюсь в эту ночь. За насыпью, в поле, роятся шальные трассирующие пули. Они блуждают, как светляки, в темных, настороженных просторах и гаснут на лету недалеко от командного пункта. Я вижу облака, темные и тяжелые, тусклые огоньки в землянках, белый, искристый снег на минированных полях и багровое зарево в городе Пушкине.

Больше года назад в пушкинском сквере рядом с памятником великому поэту осколком фашистской бомбы был убит мальчик. Он лежал ничком на развороченной бурой земле, курчавый и темноволосый, точно такой же, каким был Пушкин в детстве.

Рана этого мальчика была не смертельна, но он потерял много крови и умер в те минуты, когда мы покидали лицейскую площадь.

Мы подняли его с земли, и нас поразили его глаза. Они были открыты, и в них застыла горечь и боль, и еще такое недоуменное выражение, словно он спрашивал нас о своей матери и удивлялся, почему ее нет здесь.

Бурый лист, набухший от крови, как пластырь, прилип к щеке мальчика и обезобразил его лицо.

Мы сняли этот лист и перенесли мальчика в Пушкинский лицей, чтобы танки со свастикой на броне не раздавили его.

Тогда мы уходили из Пушкина. Нам было невыразимо тяжело идти по пустынным улицам, по мокрым тротуарам, по битому оконному стеклу, которое, словно лед, хрустело и ломалось под нашими ногами.

Сейчас этот город горит и пламя освещает его черные, обезображенные деревья, на которые давно уже перестали садиться даже са-

мые неприхотливые птицы. Вдали виднеется семафор с простреленным крылом, и семафор открыт.

Я поднял воротник шинели и боком сошел вниз к блиндажу, расположенному в самой насыпи. Вот и знакомая зеленая дверь. Знакомые лица офицеров и солдат, и всё тот же простреленный и перевернутый вверх дном котелок, на котором коптит мигалка.

Моему приходу здесь всегда радовались, потому что я работал в газете и узнавал новости раньше других. Были у меня приятные известия и на этот раз.

— Ну, как дела на фронтах, рассказывайте, не томите.

— Дела не плохие, — сказал я. — Наши взяли еще несколько городов.

— А мы вот всё еще топчемся на одном месте, — сказал капитан Акимов.

— Ничего. Мы тоже дождемся такого дня. Я думаю, он не за горами.

— Конечно, не за горами, — сказал капитан Акимов. — Если у вас никто из родных не остался в плену у немцев. Почти два года разлуки и расстояние всего в километр отделяет меня от города Пушкина. А я ведь там родился и жил. Я ходил по парку, и у меня был сын, совсем похожий на Пушкина. Не верите?

Он посмотрел на меня темными глазами и, вынув из кармана кожаный бумажник, спросил:

— Сколько мы уже стоим под Ленинградом?

— Пятьсот пятьдесят семь дней, — сказал я.

— Это значит, — сказал он, — я не видел сына шестьсот двадцать четыре дня. Я вам сейчас покажу его фотографию.

— Нет, не надо, — сказал я. — Никаких карточек показывать не надо. Я уже полтора года боюсь смотреть на фотографии детей.

В ПУТИ

Они шли глухой проселочной дорогой, капитан Одинцов и связной.

Это были старые знакомые еще с Пулковской горы, где им не раз приходилось петлять по минным полям, в темные ночи искать на ощупь командные пункты рот и коротать время в воронках, прячась от внезапных артиллерийских налетов.

Капитан был работником политотдела и шел в батальон Касимова читать лекцию о международном положении.

Впереди был слышен автоматный треск, но выстрелы не занимали мыслей капитана и связного, и они шли молча, щурясь от солнца и чувствуя теплоту на ресницах.

Что-то трогательное, домашнее, бесконечно дорогое было сейчас

в весеннем солнечном тепле, в обнаженных полях, пахнущих рекой, в тонких березах, стоящих в воде по обеим сторонам дороги.

Только в одном месте еще не растаял снег. Это был маленький бугорок, на котором ничком лежал мертвый фашистский солдат и своим телом закрывал снег от солнца. Его длинные руки словно сжимали этот обледеневший холмик, но живая, темная, весенняя вода подбиралась уже к ногам мертвеца и блестела под его животом.

— Вот и еще один «завоеватель», — сказал связной.

— Ишь как вцепился, не оторвешь. Он даже мертвый и то, стервец, душит нашу землю... А ведь, наверное, был вот таким же хлюстом.

Связной порылся в кармане, вытащил из бумаг маленькую фотографию и протянул ее капитану.

— Это я в фашистской землянке для памяти взял, — пояснил связной, — сильно богатая картинка. Конечно, там были и другие, всё больше женщины, которые нагишом стоят, но я человек семейный. Нет, думаю, возьму-ка я лучше эсэсовца. Может, она, история-то, подлеца и найдет.

Капитан посмотрел на фотографию с изображением гестаповца, который стоял один в русском поле с хлыстом в руке и всей своей позой выражал презрение и к огромному пространству, и к земле под ногами, и к солнцу, бьющему ему в глаза.

— Слушай, Кузьмин, — сказал Одинцов, — за каким же чертом ты носишь эту дрянь в кармане?

— А для агитации, товарищ капитан. Вот когда мы рванули от Пулкова, пожалуй, верст по сорок за сутки отхватывали. Бывало, собьешь его, фашиста-то, с рубежа, а он тебе только пятки показывает. Но нет, думаем, ты от нас не уйдешь! Доставал я тогда эту карточку и говорил: вы только посмотрите, братцы, какой хлюст гуляет по нашей земле. Неужели мы его не догоним? Он, говорю, стервец, нажрался всякого «энергетина» и думал с этими порошками победить весь мир...

И совсем неожиданно Кузьмин спросил:

— Товарищ капитан, вы когда-нибудь слышали, как плачут птицы? — Он замедлил шаги и посмотрел на удивленного Одинцова.

— Птицы? Нет, не слышал. А к чему это ты?

— А вот к чему. Весна, она, конечно, спервоначала берется с воды, а потом, значит, со скворцов. Весной, товарищ капитан, каждый человек чувствительней становится и к птицам, и к огню, и к дереву. Возьмем для примера одного нашего солдата. Сто раз смерть ходила вокруг него и ни разу не могла приметить страха в солдатской душе. А тут, когда гитлеровцы подожгли мельницу в его родном селе и когда загорелись крылья, может быть, он, солдат-то, и вспомнил себя мальчишкой, а может быть, взрослым, когда у него первый амур был у этой мельницы. Вспомнил про это солдат, сжал кулаки и белее снега

стал... Деревню эту, товарищ капитан, Богдановкой зовут. Для нас она, конечно, деревня как деревня, вырыли мы окопчики возле нее, сидим, стрельбу ведем. Но видим, меняется она, деревня-то. Жгут ее враги налево и направо, по ночам рощу рубят, одним словом, проявляют себя. Вот думаю: фашисты-то Россию нашу рубят, над нашей жизнью заносят топор. Подойду я к пулемету, дам им одну очередь, дам другую, они и замолчат.

И вот как-то однажды возвращаются из теплых краев скворцы. Возвращаются они, значит, из теплых краев к себе на родину, веселые такие, как будто бы на них сотни бубенцов навешали. Летят они прямо к деревне и начинают постепенно затихать. Что такое? Почему нет ни рощи, ни домов, ни скворешен — ничего?

Полетали они так на малой скорости, покружились над окопами, и когда поняли всё, то подняли такой плач, как будто кругом заплакали дети. Мы всем батальоном слушали. Не знаю, что там творилось у врагов, только они не выдержали и открыли по птицам пальбу. Одного скворушку они всё-таки, заразы, сбили. Упал он прямо в нашу траншею, забился весь, а потом раскинул крылья и помер.

Взял я тогда штык и думаю: раз ты погиб от пули, значит я должен тебя похоронить как полагается, положить в сырую землю и закопать. Вот так-то, товарищ капитан, — закончил связной и вопросительно посмотрел Одинцову в лицо, стараясь, очевидно, понять, дошел ли до капитана весь смысл рассказа.

Несколько минут Одинцов и Кузьмин шли молча.

Впереди показались наши траншеи, а за траншеями холмы, покрытые тусклым снегом.

Вчерашняя утихшая метель намела на их вершины много пепла. Кое-где из-под снега проступали остатки сожженных деревень, откуда дул сырой ветер, донося до сознания Одинцова запах самых бессмысленных, недавно совершенных убийств.

— Вы видите лесок, товарищ капитан?

— Да, — сказал Одинцов, разглядывая из-под ладони темную полосу, похожую на тень.

— Там сейчас фашисты, а за леском деревня. Можно сказать, моя родина, где у меня осталась семья из четырех душ. Я думаю, ее непременно угонят в Германию. А мир-то вон какой большой. Попробуй потом найди.

Кузьмин снял шапку, и пока он смотрел вдаль, где не была протоптана еще ни одна тропа, Одинцов молчал, понимая, что никакие утешения сейчас не помогут Кузьмину. Затем они услышали два пушечных выстрела, и связной сразу же выпрямился, и все его тревожные чувства вдруг стали меркнуть так же, как солнце, которое медленно и неохотно спускалось за холмы.

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

НАМ СВЕТИТ СОЛНЦЕ ПОБЕДЫ

Новогодняя речь по радио
в канун 1943 года

Вспомним, граждане и товарищи ленинградцы, конец прошлого декабря... Это были наиболее трудные дни блокированного города. Мрак, стужа, голод, и во тьме — зарницы вражеских выстрелов со всех сторон... Улицы, покрытые сугробами и ледовыми наслоениями... Почерневшие от дыма пожаров дома... Очереди ослабевших людей у прорубей — на Неве, Фонтанке... «Достать хотя бы воды». Молчаливые осадные похороны: саночки, тяжкий дальний путь — среди покрытых оцепенелым белым инеем домов, мертвых трамваев и автобусов...

...Небывалая и неповторимая картина.

Мы знаем виновника этих бед и смертей, виновника мук нашего города. Это — фашизм. В обвинительный акт народов мы, ленинградцы, впишем как улику слова речи Гитлера от 8 ноября 1941 года. Вот что говорил в Мюнхене этот людоед о нас, о Ленинграде:

«Ленинград сам подымет руки. Он падет рано или поздно. Никто не освободит его, никто не сумеет прорваться через созданные линии. Ленинграду придется умереть голодной смертью...»

Запомни, ленинградец, эти холодные слова, это попрание всех законов и понятий, это бесчеловечное стремление выморозить и умертвить всех ленинградцев — миллионы людей, включая детей.

На международном суде об этом мы Гитлеру напомним...

Весь мир следил за отчаянной борьбой Ленинграда.

Да, у этого города хватило сил осенью 1941 года остановить Гитлера и заставить его сорок дивизий месить грязь в болотах... Да, этот удивительный город и советский народ впервые в мире показали, что врагов можно остановить, можно поломать их планы... Но что можно сделать против блокады, голода, арктической зимы? Хватит ли у Ленинграда физических, нервных и духовных сил? Об этом думали миллионы людей.

Ленинград ответил стране и миру: у советских людей хватит сил! Мало того, при необходимости Ленинград поможет и другим участкам, другим фронтам. Это был русский ответ.

На окраине города.

«Кочующие батареи» бьют по врагу.

Победа куется и здесь.

Они хотели увидеть Ленинград. Они увидели его. Пленных фашистов ведут по Невскому проспекту.

Прошел, друзья дорогие, близкие, — год! Ленинградцы прошли через чудовищные испытания, не только не ослабив своих сил — ни военных, ни духовных, а усилив их.

Русский, советский человек, которому так верил Ленин, — не подвел. Граждане первого города революции оказались, как и в дни многих былых испытаний, на высоте.

Ум их ясен! Нервная система не надломлена! Руки их крепко и уверенно орудуют винтовкой, гранатой, автоматом, орудийным прицелом, замком, корабельными приборами, заводским оборудованием, пером, всем боевым и трудовым инвентарем.

Фашисты направили свой первый удар на Востоке на Ленинград.

Но — «ахнул дерзкий и упал...»

Ленинград обнаружил в себе неисчерпаемое мужество и выдержку... Гитлеровцам это кажется непостижимым, и перед сопротивлением русских они всё более теряются.

В прошлом декабре в одной из радиобесед, как раз под Новый год, мы с вами назвали грядущий 1942 год нашим годом... Да, он был нашим.

Бросим взгляд на события.

Гитлер и его «союзники» полагали, что в 1942 году они, собрав максимум сил, повторят удар на Востоке, «уничтожат Россию» и тем самым добудут победу и мир. Слов нет, — летом были серьезные моменты. Но разве война не состоит из жестокой борьбы сил и неизбежных трудностей! И разве нам, русским, проведшим две трети своей истории в напряженных войнах на кольцевом фронте, испугаться тех или иных трудностей?

Наша страна отразила и второй гитлеровский вал... Он разбился о русские окопы на берегу Волги, о железные груди русских бойцов и о предгорья Кавказа.

Враг замышлял нанести и штурмовой удар Ленинграду. Отборные дивизии и тяжелая осадная артиллерия генерала Манштейна, штурмовавшие Севастополь, были осенью двинуты к Ленинграду. Искусный и стремительный удар ленинградцев и бойцов Волховского фронта размолол эти немецкие войска. Кости штурмовых полков Манштейна всосаны Синявинскими болотами... 22 октября этого года фашистские захватчики сделали еще одну попытку взять Ленинград: они бросили десант на перехват Ладожской трассы. Десант был наголову разгромлен балтийскими моряками.

Так, на протяжении года с лишним, великий Ленинград раздавил пять попыток Гитлера добиться успеха:

1) Ленинград отбил штурм в сентябре 1941 года;

2) отбил попытку замкнуть второе кольцо блокады под Тихвином и Волховом;

3) устоял в зимней голодной осаде;

4) предотвратил и утопил в болотах попытку нового штурма города в 1942 году;

5) отбил попытку перехватить Ладожскую трассу 22 октября 1942 года.

О, это город-боец, родимый наш, любимый Ленинград! Ты всё тот же: передовой, воинственный, закаленный, поседелый от опыта и тягот и с юными глазами... И теперь, помимо старого серебряного ордена Красного Знамени за 1919 год, на груди твоей, город-отец, медаль — медаль славы и примера народам — медаль «За оборону Ленинграда».

Да, 1942 год был нашим годом, друзья! В боях, — в зное юго-восточных ветров на Дону и на Волге, в топях болот Ржева и Великих Лук, в Волховских лесах, у Синявина, Дубровки, в шуме русских перелесков, в тумане Балтики, среди минных полей, — денно и нощно закалялись офицеры и солдаты великой Красной Армии, офицеры и матросы нашего флота.

Лучшие дивизии Гитлера попали в скрежещущие жернова на размол.

Минуло лето, прошла осень... Напрасно взывал Гитлер, напрасно гнал свои дивизии. Победа была для него недостижима!

Еще один год выиграли русские люди — и, как результат этого, круто вверх пошло наше военное производство. Инициатива вырвана у врага везде. Наши удары всё нарастают.

Английские газеты пишут: «История редко бывала свидетельницей таких замечательных событий».

В непрерывных боях на Востоке, идущих 19-й месяц, Гитлер совершил множество ошибок, начиная с главной — похода на СССР, потерял миллионы кадровых офицеров и солдат, гигантское количество техники, растянул линию фронта, растянул малонадежные коммуникации, израсходовал резервы. В Германии уже догадываются, что Гитлер покатился под уклон. Там уныние, апатия, тревога. Но этого всего мало... Напомним о результате, о близящихся последствиях «ефрейторской стратегии»...

Гитлер, будучи безвестным тыловиком, один раз уже пережил погром империалистической немецкой армии и крах ее захватнических планов. Это было в ноябре 1918 года. Мы напомним ему строки одного немецкого автора — Карла Росснера:

«...Гигантская мрачная пропасть, от которой он (кайзер Вильгельм) так упорно отводил глаза, открылась перед ним. Ужас, только ужас маячил впереди: немецкие армии, которые бегут врассыпную домой, страшное разочарование масс, истерзанных нуждой и лишениями, злоба миллионов...»

И Гитлеру предстоит увидеть всё это, увидеть крах и уничтожение его проклятой системы, его «нового порядка», его армии.

Он позорно свалится туда же, куда свалились от ударов России псы-рыцари и бароны, Карл XII, Фридрих II, вздумавший тягаться силой с Россией и потерявший в 1762 году Берлин. Свалится туда, куда свалился Наполеон... Впрочем, рядом со львом замаранному фашистскому коту лежать не дадут. Его швырнут на какую-нибудь помойку — похуже и подальше...

Человечество вернется к очередным вопросам «повестки дня»... Как после бурь и наводнений, как после войн и долгих испытаний неизменно поднимался и хорошел Ленинград, так будет и теперь. Верь этому, товарищ, брат, друг! Ты сын великого, самого великого, поразительного народа, чьи мощь, гений и творческие силы необъятны. Всё залечим, всё отстроим... На диво миру развернем такие новые пятилетки, построим такого размаха дороги, каналы, порты, вокзалы, заводы, фермы, города, дворцы и парки, что станет страна наша местом паломничества...

Покажем гостям и руины, и заросшие и оберегаемые дзоты, и оставленные кое-где, как памятники, почернелые дома, шрамы на стенах, и скажем: это память об Отечественной войне, о победе, а вот — что вокруг...

И взгляд твой и твоих гостей залюбуется Россией, нежным дымчатым воздухом ее, небесами милыми, лесами и нежными рощицами, и бескрайними просторами, где хозяева — труженики — мы и только мы...

Восстановим, по заботе человеческой, здоровье усталых, раненых, больных... Вдохнут они хвойно-соленый запах лесов на тихих берегах наших морей или горных озер...

Верь, товарищ, что восстановим и любимые свои места, и прохладу и прелесть парков Пушкина, и убранство, роспись и алебастровую лепку дворцов, и воскресим эхо в сверкающем бальном зале Екатерининского дворца... Оно откликнется радостно на веселый русский голос...

Отлита вновь будет статуя Самсона в Петергофе, и брызнут, шипя, огромные бело-радужные струи фонтанов среди зелени парка. Геркулес обопрется вновь на палицу у чудесной Камероновой галереи над озером, где чесменские орлы. Влюбленные, взявшись за руки, вновь будут бродить по аллеям, признаваться, мучиться, ревновать, терзаться, мириться и сгорать от счастья...

Это будет непреложно...

С песнею пойдут строители, каменщики, монтажники. В творческом возбуждении натянет ватман на доску архитектор, инженер.

Это будет! Порукой этому — вечная жизнь России, беспредельная

мощь ее духа, трудоспособность ее, бескрайняя жизнетворящая сила.

Но, товарищ и друг, — мы не придем с тобой в этот солнечный парк, в гости к Пушкину, к истории, тишине, отдыху, музыке и литературе «на всем готовом»...

Мы пройдем с тобой, ленинградец, еще сквозь холод и бои, сквозь огонь и кровь, стоны и скрежет; еще хлебнем забот...

Наш мозг будет напряжен, и мы не позволим ослабнуть этому напряжению. Мы будем думать — и даже сны видеть — о войне, о борьбе, о деле, о наилучших способах достижения победы, об уничтожении гитлеровцев. Победа достигается не только в высоких штабах, или в цепи, или в поле, у обложенных фашистских дзотов, огрызающихся огнем.

Путь к победе — это непрестанное трудовое и духовное напряжение, дисциплина, требовательность к самому себе и к другим.

Иные скажут: «Бывает очень, очень трудно»... Я на днях получил письмо. Вот что пишет девушка из морской семьи: «Год назад у меня трагически погибла мать... Брат на фронте, дважды ранен, сейчас о нем нет известий... Я осталась совсем одна, да еще в квартире восемь комнат и все пустые — и я со своим горем одна в своей комнате, как в гробу... Темно, холодно... тоскливо...»

Милая девушка — вы не одна! С вами Ленинград и весь народ... Подавите, убейте приступы тоски. Вот на эту слабость и надеется Гитлер, а мы не поддадимся, какие бы беды и личное горе нас ни мучили... Враг и хотел разить нас в душу, в сердце. Что может быть тяжелее потери матери, отца, брата, сестры, сына, любимой дочери? Мы многих потеряли, — никогда в жизни таких потерь, такого горя мы не испытывали, как в последние полтора года. Но разве мыслимо поддаться?.. Фашистские шпионы следят за нами: кто у русских согнется? Кто потеряет веру, у кого потухнет огонь в сердце и в очах, у кого ослабнут руки, опустятся устало плечи?..

Не поддавайтесь этому и те, у кого самое большое горе. Город, сам Ленинград, с живой душой, такой большой, всё испытавший, говорит тебе: держись, друг... Город кладет свою большую ласковую руку на голову твою и гладит тебя...

Он — как отец в нашей дружной, хорошей ленинградской семье... Каждый сумеет, должен суметь одолеть трудности войны, осады... Если у тебя боль, горечь потерь щемит сердце и душу, скажи, объясни себе: «Во всем виновен враг, Гитлер...» Ты ведь запомнил то, что говорил этот враг, обрекая тебя, твою семью, твоих близких на мучения и смерть... Зажгись огнем личной мести. Скажи себе: «Я буду мстить — в бою и в труде, неустанно — до последнего дня войны!» Скажи себе: «Я буду, я хочу быть свидетелем обвинения на суде над Гитлером... Я миру расскажу свою обиду, боль, горе...»

Иди же вперед и сделай и горе, и боль свою орудиями борьбы — во имя Родины, во имя нашей правды, во имя всего человечества. Иди, и дай слово — терпеть... И боль твоя утихнет и претворится в дела, в подвиг, а в душе станет хорошо... Иди в наших общих, крепких рядах. Вот, почувствуй локоть соседа... Вот крепкие плечи... Смотри — какие кругом товарищи...

Мы идем ровной поступью, со старыми знаменами, помнящими Полтаву, Лесную, Гангут, Измаил, Альпы, Бородино, перевалы Балкан, помнящими 1905 и 1917 годы и победы 1812 и 1919 годов, — идут ленинградцы.

Ты еще обстреливаешь нас, Гитлер, из-за лесного закоулка, одиночными орудиями, с дистанции в 30—35 километров. Ты еще пробуешь посылать самолеты, — хотя их угробили уже под Ленинградом больше двух тысяч! Хорошо, ты снова получишь ответ...

Ленинградцы заняты делом... Надо держать возможно более высокий уровень производства. Больше орудий, мин, снарядов, пулеметов, автоматов, гранат, больше боеприпасов! Зальем фашистов огнем и металлом!

Больше рейсов по железной дороге! Больше рейсов на Ладожской автодороге! Больше рейсов трамвая, автотранспорта!

Каждый ленинградец должен для 1943 года наметить свой план повышения и улучшения труда и сказать Родине, Ленинграду: обязуюсь честью сделать больше, чем в любой предыдущий год моей жизни... Понимаете, так нужно!

Далее. Держать город в чистоте и порядке. Всё хозяйство должно функционировать четко... Оглядитесь, пожалуйста, вокруг, и если есть недочеты, лично займитесь наведением порядка.

Вы хотите отметить новый, 1943 год хорошо и радостно? Что может быть лучше наведения образцового порядка и чистоты вокруг!.. Пусть каждый будет подтянутым, пусть его вид говорит об уверенности и бодрости... Чистота красит город, дает бодрый импульс и будет символом нового, 1943 года. Ленинградцы встречают его по всем правилам, как доброго вестника.

Далее. Присядь, товарищ, гражданин, к столу, напиши письмо бойцам... Девятнадцатый месяц беззаветно бьются командиры, бойцы в окопах, на море, в воздухе. Обласкай их добрым словом, навести в госпиталях, подари скромный подарок, согрей... Напиши, скажи бойцу о том, что город наш мы бережем, жалеем.

В городе нашем за полтора года войны, осады вызрели новые силы. Сделаны многие научные и технические открытия, есть просто замечательные... Повысились нормы выработки! В городе нашем, как никогда, крепкое ощущение высокой гражданственности, дисциплины, личного и коллективного долга... И это входит по праву в

краткий баланс, итог, который мы с вами сейчас намечаем к новому году.

Мы оставили позади неописуемо трудные месяцы, равные по силе дел, эмоций, переживаний целым годам. Граждане города оказались достаточно энергичными: знамя города, принятое из рук отцов, они не опустили, а подняли еще выше.

Крепче же нашу братскую спайку, друзья ленинградцы! Одна поглощающая мысль да владеет нами: отбили пять гитлеровских попыток взять Ленинград... В шестой же раз пусть будет громовый наш удар и прорыв блокады! Готовить удар днем и ночью, упорно, самозабвенно, не жалея сил! Мы должны сейчас трудиться как никогда, каждый на своем участке. Всю волю миллионного города — в один узел!.. И ударить! И ударить так, чтобы гитлеровцы не оправились!..

Нас спросят: можем мы, ленинградцы, это сделать?

Можем! Есть люди, силы, великолепный дух, опыт, есть первоклассная техника.

...1943 год на пороге. И этот год будет наш! Идет он по русскому морозцу, лапу нам протягивает, и мы протянем: «Ну, здравствуй! Давай-ка, брат, на Гитлера, всем весом...» Он улыбнется: «Всегда готов!» Примет пост и дела у нашего 1942-го (неплохо послужил), взвалит груз на себя, крякнет и зашагает вперед...

Так вперед же, друзья! Вперед, храбрые офицеры и бойцы Ленинграда, вперед, доблестные офицеры и моряки Краснознаменного Балтийского флота! Вперед, неустрашимые стоические рабочие и работницы нашего города! Вперед, стойкие люди науки, техники и культуры — благородные носители культуры России, старого Петербурга и ныне Ленинграда!

Дни прибывают... Это светит нам вздымающееся солнце Победы!

БЛОКАДА ПРОРВАНА!



На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших г. Ленинград.

Наши войска имели задачей разрушить оборону противника и этим прорвать блокаду г. Ленинграда.

Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что за многие месяцы блокады Ленинграда немцы превратили свои позиции на подступах к городу в мощный укрепленный район, с разветвленной системой долговременных бетонированных и других сооружений, с большим количеством противотанковых и противопехотных препятствий.

Наступление наших войск проходило с двух сторон: с западного берега реки Невы, юго-западнее Шлиссельбурга и с востока из района южнее Ладожского озера.

Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров и форсировав реку Неву, наши войска в течение семи дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, заняли: город Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская Дубровка, Липка, рабочие поселки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и станцию Подгорная.

Таким образом, после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда.

В ходе наступления наших войск разгромлены 227-я, 96-я, 170-я, 61-я пехотные дивизии немцев, 374-й пехотный полк 207-й пехотной дивизии, 85-й пехотный полк 5-й горно-стрелковой дивизии, 223-й мотоотряд и частично 1-я пехотная дивизия.

По неполным данным, нашими войсками взято в плен 1261 солдат и офицеров.

За время боев разрушено нашей артиллерией и минометами укрепленных узлов и блиндажей 470, прочно оборудованных наблюдательных пунктов — 25 и уничтожено и подавлено 172 артиллерийских и минометных батареи противника.

Взяты следующие трофеи: орудий — 222, минометов — 178, пулеметов — 512, винтовок — 5020, шестиствольных минометов — 4, танков — 26, бронемашин — 9, ручных гранат — 17 300, раций — 72, патронов — 2 200 000, снарядов — 22 000, мин — 36 000, автомашин — 150, лошадей — 1050, повозок — 880, разных складов — 40.

На поле боя оставлено более 13 000 трупов немецких солдат и офицеров.

Прорыв оборонительной линии противника осуществлен частью сил Ленинградского фронта под командованием генерал-полковника Говорова Л. А. и частью сил Волховского фронта под командованием генерала армии Мерецкова К. А.

В боях отличились войска генерал-лейтенанта тов. Романовского В. З. и генерал-майора тов. Духанова М. П.

Сообщение Совинформбюро от 19 января 1943 года.

В. КАРП

КАК ЭТО БЫЛО

Из фронтовых записок

Январь 1943 года. Невский в вечерней мгле. За Публичной библиотекой проступают сквозь деревья очертания памятника, одетого в деревянную опалубку.

Радиорупор возвещает о начале артиллерийского обстрела. Дворник в белом переднике с лопатой в руках, преграждая путь пешеходам, говорит: «Граждане, куда же вы? Во время обстрелов надо укрываться». — «А сами-то вы?» — бросает дворнику один из прохожих. «Я, граждане, на посту».

Перебежками движется по тротуару пожилая женщина. Оказавшись рядом у подъезда одного из домов, мы разговорились.

— Иду за Невскую заставу на фабрику «Рабочий», — рассказывала она. — Далеко, ой далеко, даже подумать страшно, но ничего, надо дойти. Хлеб у меня с собой... Часть съе́ла, а граммов сто — берегу. Ведь смену еще отработать надо... А тут я внучку проведывала в МПВО. Хорошая девочка, командир ее хвалил: она, говорит, у вас отважная. Даже удивительно это мне показалось. Раньше, бывало, мышь увидит — пищит.

Неожиданно оборвав нить своего рассказа, Анна Ивановна Сочнева (так звали женщину) спросила:

— А не знаете, скоро ли наступление? Хоть нам, гражданским, и не говорят, но я так думаю и предчувствую, что в ближайшее время. Я даже уверена, что скоро пробьются наши на «большую землю».

Разрывы прекратились. Размеренно стучал метроном. Подняв с земли свой маленький, перехваченный узлом вещевой мешок, старая женщина зашагала вперед.

Теми же думами, что и она, жил весь Ленинград...

И действительно, фронт готовился к наступлению.

* * *

На пути к Неве проложены свежие гати. Под тя́жестью машин, нагруженных снарядами, вздрагивают, позванивают мерзлые жерди.

Вокруг ельник. Вглядевшись, можно различить в нем побеленный, будто покрытый изморозью, танк, артиллерийское орудие, поставленный на салазки пулемет...

Вот и Нева, прибрежные деревья с отсеченной, как сабельными ударами, хвоей, с исклеванными стволами.

Здесь, в овраге подле берега Невы, расположил свой наблюдательный пункт генерал-майор Симоняк, командир 136-й стрелковой дивизии.

Грузный, коренастый, Симоняк обычно хмур с виду, но люди, близко знающие его, говорят: «Действительно, он строг, но душа открытая, простая».

Начинал Симоняк службу еще в гражданскую войну рядовым конником. Его кавалерийский эскадрон был частицей «железного потока», воспетого Серафимовичем. Ступенька за ступенькой поднимался Симоняк по лестнице воинских званий, окончил Академию имени Фрунзе и прошел академию боев на острове Ханко, на оборонительных рубежах Ленинграда.

А сейчас новое большое испытание.

Позади остались два месяца учений.

Как ни трудно приходилось войскам Ленинградского фронта в обороне, часть дивизий была отведена с переднего края и готовилась к наступательным боям.

Учения принесли Симоняку, командирам полков и всем офицерам дивизии множество забот, оставляя для сна лишь по нескольку часов в сутки... Создавались штурмовые и блокировочные группы. Их вооружали не только автоматами и пулеметами, но и баграми, лестницами, гарпунами, дымовыми гранатами, взрывчаткой. Армейские сапожники готовили для штурмовых групп обувь с шипами, какой пользуются альпинисты.

Зачем же требовалось всё это? Известно было, что враг, стоявший на крутом, двенадцатиметровой высоты берегу, оледеняет откосы; вдобавок он может повредить огнем прибрежный лед. И что бы ни случилось, штурмовые группы с помощью приспособлений быстро переправятся через полыньи, взберутся наверх и ворвутся в траншеи. Ничто не должно помешать успеху атаки!

Полки тренировались на рубежах, напоминавших тот участок Невы, который предстояло штурмовать. Почти такая же ширина преграды... Такой же высокий, крутой «берег» на стороне «противника»... Пехота двигалась за огневым валом, училась взаимодействовать с танками, вести штыковой бой в траншеях. По десять, двадцать, сорок раз совершали штурмовые группы бросок через «реку», пока он не стал предельно стремителен и отточен.

Разведчики и артиллерийские наблюдатели терпеливо разгады-

вали огневую систему противника, наносили на карты дзоты, доты, землянки, каждый подозрительный бугор.

Парторги рот, политические работники в свободные от ученья часы и минуты вели с бойцами беседы о близящихся боях. Они старались найти путь к сердцу каждого солдата, собирали старых служивых, необстрелянную молодежь, санитаров, повозочных, поваров... Много было в дивизии бойцов из Казахстана, Узбекистана. Коммунисты казахи и узбеки беседовали с ними на родном языке.

Перед Новым годом прибыла в дивизию делегация из Ленинграда. В нее входили рабочие и работницы Кировского завода, завода «Красный треугольник» и других.

Не устраивалось в тот новогодний вечер традиционного пиршества. Сурова в своей простоте была эта встреча посланцев осажденного города с воинами, готовившимися к прорыву блокады. Ленинградские рабочие рассказывали в полках и батальонах о том, как город готовит оружие фронту, как старики, женщины и подростки даже во время обстрелов не покидают станков. И как клятва звучали ответные слова солдат: «Мы прорвем блокаду».

Дивизия получила боевой приказ.

К 5.30 12 января все полки дивизии заняли исходное положение у Невы.

В оранжевой дымке зари занимался день 12 января, день, которому суждено было войти в летопись Отечественной войны, в историю Ленинграда.

* * *

На наблюдательном пункте командира дивизии был установлен морской перископ, служивший Симоняку на острове Ханко. Оптическое стекло чудодейственно приблизило восточный берег реки. Кусок правобережного откоса и речной поймы оказался как бы внутри блиндажа. Отчетливо стали видны вражеские траншеи и окопы, даже следы сапог на снегу.

На наблюдательном пункте находился вместе с Симоняком начальник артиллерии дивизии полковник Морозов, а рядом, в глубокой щели, примыкающей к блиндажу, возле бережно прикрытой брезентом рации — связисты. Справа и слева в траншеях и на снегу, среди коряг, пней и завалов ждала начала боя пехота.

Враг стоял на высоком берегу, с которого хорошо просматривалась заснеженная Нева. За проволочными заграждениями и минными полями находились линии траншей, землянки с бойницами, дзоты, доты. Далеко вглубь уходила эта линия обороны, рассчитанная на то, что в любое мгновение каждый метр реки может быть покрыт с разных точек многослойным плотным огнем.

Симоняк хорошо понимал, что лишь при стремительной атаке можно будет добиться успеха в этом бою. Залечь на льду было бы смерти подобно! Быстро преодолеть Неву и, пробивая бреши в обороне противника, обходя его опорные пункты, двигаться вперед, — таков был замысел начала боя.

И глубоко веря в этот замысел, комдив избрал себе место у самого берега реки — в восьмистах метрах от позиций противника.

— Отдалиться от берега — значит в самом начале наступления оказаться на большом расстоянии от частей, — говорил он.

Условлено было, что командиры полков перейдут Неву сразу же вслед за наступающими батальонами.

В 9.30 заговорили орудия.

Лишь минуту назад был безмолвен, казалось, оцепеневший берег Невы. А сейчас сотни орудий разных калибров били по вражеским позициям.

Величественна и грозна была эта музыка артиллерийского удара, когда, выражаясь языком устава, артиллерия подавляла оборону врага на всю ее глубину. Громовые голоса корабельных, корпусных орудий и артиллерии БМ [1] сливались с залпами дивизионных, полковых пушек, маленьких «сорокапяток», минометов разных калибров. Часть орудий была замаскирована у Невы и стреляла отсюда прямой наводкой. Сосредоточенно, молча, полуоткрыв рты, чтобы не оглохнуть от грохота, работали номера расчетов. Раздавалось только щелканье замков, курков и резкие звуки выстрелов.

В стекло морского перископа видел Симоняк, как взлетают на той стороне вместе с фонтанами земли бревна блиндажей и землянок.

Больше двух часов — сто сорок минут! — длилась артиллерийская буря. Но еще до того, как она стала утихать, взвилась вверх серия разноцветных ракет, и по этому условному сигналу, выскакивая из траншей, спустились на лед и побежали за огневым валом бойцы штурмовых групп... Они были без шинелей... Сразу поверх фуфаек надеты маскхалаты... Ведь надо было как можно скорее оказаться у того берега.

Вслед за штурмовыми группами выбежала на лед другая цепь — первые эшелоны батальонов, потом еще одна — роты вторых эшелонов... Как гребни волн, катились они к правому берегу.

Бойцы тащили пулеметы и минометы. На конных упряжках шли легкие орудия. Лошади увязали в снегу, но артиллеристы не давали им останавливаться и гнали вперед.

Связь на наблюдательном пункте действовала бесперебойно. С первых же минут Симоняк держал управление боем в своих руках.

---

[1] Артиллерия БМ — артиллерия большой мощности.

Отдав приказание командирам полков, он следил за первой волной. Вот она подкатывается к прибрежному откосу. В перископ видно, как один из бойцов взобрался наверх с винтовкой наперевес. Симоняк сам был солдатом и хорошо понимал, какую усталость испытывает этот взбежавший первым на правый берег безвестный герой.

Неожиданно из окопа поднялась фигура вражеского солдата. Вот они оба в стекле перископа: наш боец — защитник Ленинграда, воюющий за правое дело, и враг, желающий преградить ему путь. Азарт охватил Симоняка: с такой дистанции надо применять короткий укол штыком.

— Коротким коли! — кричит комдив, забыв на мгновенье, что наш боец находится за километр от НП[1] и не может услышать его команды. Но тот будто слышит ее. Энергичным движением обеих рук оттягивает он винтовку, быстро, на полный взмах руки посылает штык вперед и, свалив вражеского солдата, шагает дальше.

— Молодец, — говорит Симоняк.

Рядом с НП слышны разрывы. В десятке шагов 155-миллиметровый снаряд повалил сосну: у основания ее торчал взлохмаченный пень. Снаряды меньшего калибра падали на крышу блиндажа, а один из них даже угодил в амбразуру, но всё обошлось благополучно. Оттерев засыпанные снегом и землей глаза, Симоняк продолжал управлять боем. А двое связных, не дожидаясь приказа, выскочили из блиндажа и под огнем отрыли амбразуру.

Части уже перешли Неву. Никто не залег на льду. Только сраженные огнем и тяжелораненые падали на лед, — другим на это права не было!

Но даже и тяжелораненые вели огонь.

Позже комдиву рассказали о подвиге пулеметчика 342-го стрелкового полка Соковина и его товарищей. При переходе через Неву Соковин был тяжело ранен и, лежа на льду, продолжал командовать пулеметным расчетом. Осколки ранили и двух других пулеметчиков. «Товарищи, — обратился к ним Соковин, — огня не прекращать, за нами Ленинград!» И трое раненых пулеметчиков, лежа на обагренном кровью льду, продолжали стрелять, пока наши части не вышли на левый берег.

Артиллерийский удар был настолько сильным, а бросок пехоты таким стремительным, что немцы не успели даже расчехлить часть своих орудий и пулеметов. Так, в чехлах, и захватывали их наши бойцы во вражеских дзотах на переднем крае.

Не останавливаясь, двигались части вперед, захватив деревни Марьино, Пильня-Мельницу, рощу Фиалка... И одним из первых шел

[1] НП — наблюдательный пункт.

в наступлении третий батальон 269-го полка. Командовал батальоном капитан Федор Собакин.

* * *

Находясь на рекогносцировке местности, Собакин вместе с командирами рот и взводов делал зарубки на деревьях у берега Невы, ставил небольшие вешки. Эти знаки указывали, где какое отделение выскочит на невский лед.

Когда началось сражение, когда, сотрясая всё вокруг, загремели у Невы сотни орудий, Собакин нервно следил за часами.

— Штурмовым группам приготовиться, — передал он в штаб.

Начальник штаба передал приказ в роты. Люди, как наэлектризованные, ждали сигнала. Каждый выдолбил в стене траншеи ступеньку. И как только часовая стрелка достигла нужной черточки, на лед высыпали белые маскхалаты. За штурмовыми группами двинулась основная волна. Собакин передал в штаб:

— Выхожу, вам подготовиться.

Вместе со своим резервом — двумя пулеметными расчетами, отделением ПТР[1], противотанковой пушкой, стрелковым взводом и отделением обслуживания — комбат выскочил на лед. Он видел, как его правофланговая блокирующая группа зацепилась за левый берег реки и поползла вверх. Весь батальон пробежал Неву за четыре минуты. Даже на самых удачных батальонных учениях так не получалось.

В легком полушубке с овчинным воротником, держа перед собой автомат, худощавый, высокий — на голову выше многих бойцов — бежал Собакин мимо вздымаемых снарядами фонтанов снега и льда к боевым цепям батальона. Рядом, то справа, то слева, появлялся связной Пасека, любимец комбата. Телефонисты тянули провод. Рацию, которая связывала Собакина с командиром полка Шерстневым, разбило миной, но вскоре заговорила новая рация. Батальон уже миновал первый ряд траншей, откуда немцы в панике бежали, и, ворвавшись во второй ряд, колол сопротивляющихся.

Через цепочку связных и по телефону комбат связался с ротами. С левого фланга донесли, что в траншеях накопились фашистские автоматчики числом более взвода, а боевые порядки нашей роты ушли вперед.

— Не беда! Два пулемета — на фланг, сам двигайся вперед, — торопил Собакин комроты Михайлова и тут же приказал части своего резерва обойти немецких автоматчиков. Пасеку комбат послал ознакомиться с обстановкой на месте.

---

[1] ПТР — противотанковое ружье.

В центре по батальону била неподавленная батарея трехорудийного состава. Она укрылась на лесной опушке перед Беляевским болотом. По коду Собакин запросил у командира артдивизиона Сыроедова десятиминутный огневой налет. Бойцы шли вплотную за огневым валом и выросли из разрывов, как привидения, перед немецкими батарейцами.

В это время к Собакину принесли раненого Пасеку. Связной долго бежал с простреленной ногой, но потом свалился и его подобрали. Пасеку несли в медсанбат, а он кричал, что должен явиться к своему командиру и доложить обстановку. Превозмогая боль, рассказал Пасека о том, что немецкие автоматчики на левом фланге попали в огневую ловушку: между пулеметами роты Михайлова и автоматным огнем резерва комбата.

— Что и требовалось доказать, — сказал Собакин. — А тебя, дружище, придется отправить в медсанбат.

И комбат поцеловал связного.

Надвигалась ночь. Батальон вырвался за Неву на четыре километра. Комбат пошел в роты, восстановил боевые порядки и приказал с рассветом снова наступать.

* * *

Первые километры освобожденной земли... Снег, перепаханный снарядами, покрытый гарью и вывороченным из глубины песком.

В офицерских блиндажах немцев стоят кровати с сетками, вытащенные из домов Пильня-Мельницы и Марьино. В шкафчиках отутюженные кителя, ром, ликер. По всему видно, что обитатели этих блиндажей очень поспешно бежали отсюда.

В одном из укрытий — командный пункт 269-го полка...

Подполковник Шерстнев — командир полка, не обращая внимания на аккомпанемент рвущихся рядом снарядов, рассказывает:

— Кроме других трофеев — пулеметов, орудий, снарядов, попал к нам в руки и этот ящик с фашистскими орденами: тут и «железные кресты» и ордена за Крым. Грех, конечно, на нашей душе: помешали мы вручить эти ордена их владельцам...

Шерстнев еще молод, ему тридцать пять лет, и пятнадцать из них отданы службе в армии. В боях у Невы проявил молодой подполковник и прекрасную тактическую подготовленность, и храбрость, но меньше всего склонен он говорить о себе. Весь он живет боем, как живет труженик неотложной горячей работой.

— Начало хорошее, — говорил Шерстнев. — Особенно умело работали наши артиллеристы. Почти все амбразуры на переднем крае противника были разбиты. В батальонах — высокий наступательный дух, люди рвутся вперед... Конечно, впереди будут серьезные контр-

атаки. Ведь благодаря наступательным действиям нашей дивизии Шлиссельбургской группировке противника грозит окружение, и немцы приложат отчаянные усилия, чтобы ее спасти, сохранить коридор с мгинским районом своей обороны.

Шерстнев был прав. Сопротивление врага усилилось. На одном из участков дивизии двинулись в наступление два полка немецкой пехоты. У немцев образовался здесь десятикратный численный перевес, и всё же они не смогли продвинуться вперед.

Нередко бывало в эти боевые дни, что и неприметный в подразделении человек представал вдруг перед товарищами истинным храбрецом.

Командира комендантского взвода Григория Лысюка послали оборудовать новый КП дивизии. Известен был Лысюк как человек хозяйственный, аккуратный, но никто и не подозревал, какой это находчивый и храбрый воин. С горсткой бойцов вернулся он в штаб, ведя большую группу немецких автоматчиков.

Вот что рассказал мне об этом, как он выразился, происшествии сам Лысюк:

— Особенного-то я ничего не сделал. Очищал я с бойцами Гребенниковым, Байтасовым, Мухамедией и другими немецкие блиндажи от мусора, ставил печи и вдруг слышу крик: «Га-ля-ля!» Выскочил — темно, ни зги не видно. Вызвал бойцов, приказал им залечь. Глаза постепенно привыкли к темноте, да и рассветало, и увидели мы большую группу немецких автоматчиков; на каждого из нас приходилось их трое, а то и четверо. Стреляли они по нас трассирующими, подползали всё ближе. Страшновато стало, но думаю: приказано тебе оборудовать КП, а теперь надо, выходит, и отстоять его. Повели мы ответный огонь, а потом поднял я ребят в атаку. Мухамедия бежит рядом со мной, ругается на чем свет стоит, очень смешно это у него получалось, но тогда было не до смеху... В общем, навели мы панику на вражеских автоматчиков своим броском, они руки подняли. Один ефрейтор на колени припадает, что-то бормочет. Я ему говорю: «Ты что дрожишь как хвост овечий?» А он вдруг в ответ: «Киев! Киев!» Меня даже обожгло. Я сам украинец, жил в городе Казатине, Киев — наша столица. Что такое он, думаю, о Киеве говорит? А потом выяснилось: он хотел сказать, что, дескать, в первом бою участвует, только что из Киева приехал, из резерва... В общем, повели мы их в штаб.

После небольшой паузы Лысюк добавил:

— Мы все — украинцы, казахи, узбеки — здесь, под Ленинградом, и свои республики защищаем.

Во всех батальонах дивизии, на всех батареях слушали бойцы и офицеры волнующий рассказ о подвиге связиста 270-го стрелкового

полка Дмитрия Молодцова. Он шел вместе со стрелковым подразделением, наступавшим на позиции батареи 305-миллиметровых орудий. С фланга подходы к батарее прикрывал огонь немецкого дзота. Немолодой уже солдат Дмитрий Молодцов вызвался подползти к дзоту и забросать его гранатами. Но и после того, как Молодцов израсходовал все гранаты, пулеметный огонь не прекратился. И тогда все увидели, как, обогнув дзот, вполз Молодцов наверх, как бросился на амбразуру, прикрывая ее своим телом. Захватив вражескую батарею, наши бойцы бережно подняли залитое кровью тело героя.

В политотдел дивизии приходили сотни донесений о геройских подвигах бойцов. Среди них было такое: «Красноармеец Бессмертный в траншейном бою вступил в штыковую схватку с четырьмя фашистами и заколол всех четырех».

Как символичны эти слова: «Красноармеец Бессмертный»!

Никогда не будут забыты героические дела участников боев по прорыву блокады.

* * *

По пять и шесть раз в сутки переносил Собакин свой наблюдательный пункт — то в блиндаж, брошенный немцами, то в щель, то в воронку от снаряда. Он требовал от ротных командиров наступать даже и в тех случаях, когда у противника оказывалось превосходство в силах. Порой могло показаться, что Собакин действует наобум, рубит с плеча, на деле же он умел в бою взвесить все «за» и «против». Он дважды, а подчас и трижды, снаряжал разведку, чтобы узнать расположение и силы противника. Но там, где другой стал бы, возможно, выжидать, Собакин приказывал начинать атаку.

На шестой день боя его батальон вошел в рощу Ромашка и вскоре вновь двинулся вперед, стараясь оседлать узкоколейную железную дорогу за поселком № 5, но попал под губительный огонь немцев. Собакин приказал ротам окопаться в снегу. Он распорядился выдать бойцам горячую пищу и водку и тут же, не теряя ни минуты, выслал отделение саперов на разведку к полотну железной дороги.

Комбат узнал о том, что командование собирается отвести батальон во второй эшелон. Многодневное напряжение боя дало себя знать. Люди устали. Большие потери понес батальон. Но весть о близком отдыхе не обрадовала, а огорчила бойцов. Физическая усталость, тяготы боевой обстановки, свирепые морозы, сон на снегу — всё это не надломило духа красноармейцев. Что греха таить, они хотели, чтобы именно их батальон, их дивизия первыми соединились с войсками Волховского фронта. И Собакин продолжал искать щель в обороне немцев. Вслед за саперами он выслал вторую группу разведчи-

ков в тыл противника. В два часа ночи из роты Михайлова ушла третья разведка. На рассвете командир батальона знал силы врага, его огневую систему. В снежных окопах у железной дороги залегла немецкая пехота. В рощах с флангов — крупнокалиберные пулеметы. В створе наших боевых порядков, в подбитом танке — фашистские автоматчики. Взвесив всё это, комбат решил наступать в направлении безымянной рощицы, которую он сам назвал «Палец». Время атаки 8.00. Условный сигнал — «Волна».

Лес гудел. Всё было напоено боем далеко вокруг.

— «Волна»! — объявил Собакин.

Артиллеристы по заявке комбата дали неподвижный заградительный огонь по роще Палец и железной дороге, чтобы немцы не могли подвести резервы. Батальон ринулся вперед.

Слева поднялась контрударная группа немецких автоматчиков. Она была скошена пулеметным огнем. Из оврага пошла в контратаку другая группа фашистов. Сквозь огонь рвались вперед бойцы Собакина. Огрубевшими, вздутыми от мороза руками сжимали они свои автоматы, тащили пулеметные салазки, хриплыми голосами кричали: «Ура!», «Вперед!», «Свобода Ленинграду!» Лихим прыжком батальон оседлал железную дорогу. А через несколько минут сюда подошел батальон Демидова с Волховского фронта.

Так здесь, у этого вот овражка, у этой занесенной снегом железнодорожной насыпи, надломилось и стало крошиться, расползаться кольцо блокады вокруг Ленинграда.

* * *

Встреча была простой и поистине величественной.

Сперва в перелеске увидели друг друга разведчики батальона Собакина и красноармейцы боевого охранения батальона Демидова.

А вскоре — это было в 11 часов 35 минут 18 января — вышли навстречу друг другу батальоны.

Волховчан вели комбат Демидов и его заместитель по строевой части Гараджа, рослый украинец с большим чубом, выбивавшимся из-под меховой шапки.

Необычайным волнением были охвачены фронтовики, но, подчиняясь суровым законам войны, они постарались в первые минуты сдержать эти чувства. Строго проверили они, знает ли другая сторона условный знак встречи.

— Пароль?

— Победа!

— Отзыв?

— Смерть фашизму!

И тотчас же смешались шинели, полушубки. В воздухе загремело «Ура!», «Да здравствует Ленинград!» Бывалые солдаты бросались на шею друг другу и застывали в крепком солдатском поцелуе, и у многих по обветренным, усталым, небритым лицам катились слезы.

Люди усаживались на снегу, на рельсах, вынимали кисеты, потчевали друг друга. Ленинградцы с жадностью курили настоящую махорку волховчан, а те из любопытства дымили блокадным табаком.

Шли шумные, возбужденные разговоры.

Комбат Демидов рассказывал, «как всё было».

— Мы наступали от рабочего поселка № 8, который перед этим захватили. Шли с боем. Противник удирал на юг, на пятый поселок. Когда я развернул батальон и мы двинулись к высоте, то увидели, что вдали по бугру ходят люди. Я подумал, что это противник, и собирался принять меры, но тут подбежали красноармейцы из боевого охранения и крикнули: «Там ленинградцы!»

Заместитель Демидова Василий Гараджа, убирая под шапку свой непокорный чуб и вытирая запекшиеся губы, говорил, продолжая рассказ комбата:

— Мы знали, как живет Ленинград, как при всех трудностях, голоде и обстрелах не склоняет своей головы. И все шли вперед с большим воодушевлением.

— Восьмой день в бою не спим, — как о чем-то обыденном, само собой разумеющемся, говорил командир роты автоматчиков старший лейтенант Белозеров. — Все мы в торфяном дыму прокопченные... Да, тут не до сна... Спать будем, когда Ленинград будет спокойно спать и работать.

— А ты откуда, папаша? — спрашивал молодой боец Ленинградского фронта пожилого, лет сорока пяти, волховчанина Нескоблинова.

— Из города Борисоглебска. Слыхал такой? Это в Воронежской области.

— Слыхал. Ну, как воюете?

— Да пока не пятились.

Многие вспоминали о своих родных местах, о семьях.

Но время не ждало. Оба батальона снова пошли в бой, на соседний рабочий поселок, и вскоре захватили его.

Дымится поселок. Два часа назад отсюда выбили врага. Кругом развалины, голые остовы труб. У колодцев и землянок, на дороге, почерневшей от пороховой гари, хлопочут бойцы. Связисты тянут провод. Саперы отыскивают мины. Идут танки. Будни войны, как и прежде, требуют неутомимого труда, собранности, дисциплины.

На завалинке уцелевшей избы согнулся над картой комбат Федор Собакин. Усталое лицо в рыжеватой щетине; рукав тулупа обуглился. Как и все бойцы, семь суток не спал командир батальона. И недавно в маленьком своем блиндаже пододвинулся он к печурке, сделанной из ведра, и, помимо воли своей, задремал ненадолго. Запах тлеющей овчины поднял комбата.

— Вот и хорошо, — пробормотал Собакин, — вроде будильника.

— Хорош будильник, — заметил Шелепа, — могло ведь быть пробуждение с ожогом.

Впереди новые бои за Ленинград. Но на душе радостно: блокада прорвана. Вместе со 136-й стрелковой дивизией одержали эту победу многие соединения Ленинградского и Волховского фронтов — пехотные, танковые, артиллерийские, инженерные.

Радио передало «В последний час»:

«Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров и форсировав реку Неву, наши войска в течение семи дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, заняли: город Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская Дубровка, Липка, рабочие поселки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и станцию Подгорная.

Таким образом, после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронта 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда».

Вскоре 136-я стрелковая дивизия была отведена на отдых. И здесь узнали бойцы и офицеры, что все они отныне гвардейцы.

На большом снежном поле вручал дивизии гвардейское знамя командующий фронтом генерал-полковник Л. А. Говоров. Симоняк опустился на колено и поцеловал алый боевой стяг. Стали на колени Шерстнев, Собакин, Михайлов, все гвардейцы. Они приняли клятву быть верными гвардейскому знамени — воинской святыне.

* * *

Из Ленинграда шли письма, адресованные героям прорыва блокады. Вот одно из них. В углу надпись: «В ночь, бессонную от счастья».

«Товарищ, дорогой товарищ! Пусть любовь и признательность ленинградцев хранит вас в бою...

Радио принесло нам счастливую весть о прорыве блокады Ленинграда.

Затаив дыхание, выслушали мы это сообщение, и только через некоторое время, придя в себя от счастья, обрели способность гово-

рить. Блокада прорвана! На столе заплясала посуда, что-то упало в шкафу, смеется и плачет соседка. На минуту замолкаем, чтобы вновь и вновь услышать коротенькую фразу из радиорупора: «Блокада прорвана!» И снова крики «ура!» и крепкие аплодисменты.

До свиданья, товарищи! До письма! Везде и всюду мысленно буду с вами.

Ленинград, 159. Боровая ул., д. № 75, кв. 9,
Раине Васильевне Критской».

Невольно подумалось о том, что под этим письмом подписалась бы и Анна Ивановна Сочнева, которая встретилась нам на Невском проспекте перед началом боя, подписались бы все ленинградцы.

ГЕОРГИЙ СУВОРОВ[1]

* * *

Над лесом взмыла красная ракета,
И дрогнуло седое море мглы.
Приблизили багровый час рассвета
Орудий вороненые стволы.

От грохота раскалывались тучи,
То опускаясь, то вздымаясь вверх,
Через Неву летел огонь гремучий —
И за Невою черной смертью меркнул.

И так всю ночь, не ведая покоя,
Мы не гасили грозного огня,
И так всю ночь за русскою Невою
Земля горела, плавилась броня.

И так всю ночь гремели батареи,
Ломая доты за рекой во рву, —
Чтоб без потерь, стремительней, дружнее
Пехота перешла через Неву.

Чтобы скорее в схватке рукопашной
Очистить дорогие берега,
Чтоб, растопив навеки день вчерашний,
Встал новый день над трупами врага.

[1] Погиб в боях за Ленинград.

ПАВЕЛ ЛУКНИЦКИЙ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

Из дневника писателя

ЧАС НАСТАЛ

Леса да болота. Болота, леса! И только вдруг где-нибудь, выгнув свою крутую гранитную спину, из болот выдвигается давно забытая геологическая эпоха: здесь следы ледниковых морей — гранитные валуны, здесь какая-нибудь вырезавшая себе глубокое ложе река Лава, спешащая к Ладоге. И сыроватый березнячок сменяется здесь сухими стройными соснами. А из деревушек и сел можно увидеть заводские дымы далекого Ленинграда и серую полосу сурового, всегда холодного озера.

Но бугор невелик — болота, кочки да мох, — и кругозор закрыт кольцом дремучего леса.

Мирный, спокойный край! И только «Пушечная гора» на географической карте свидетельствует о том, что двести лет назад здесь грохотали пушки. Шлиссельбург, и Петровский канал Мариинской системы, и деревня Апраксин городок, и село Петровщино, — только эти вот географические названия напоминают нам о славных военных походах Петра.

С тех пор здесь была тишина. Из Лаврова, из Липок, из Шереметьевки выходили на Ладогу рыбаки. По зеленым лугам Городища и Шума бродили стада тучных коров. Леса Сологубовки и Бабаново славились охотой. Только топи Назийских болот, Молуксинского Мха, Горелого Балагана оставались безлюдными, пока не пришла сюда Советская власть.

Древнерусский край сразу преобразился. Кружевные вышки могучей электропередачи прошагали от Волхова к Ленинграду, лампочка Ильича осветила вековые чащобы, к берегам озера протянулись деревянные трубы осушительных сооружений, сотни квадратных километров болот пересеклись узкоколейками торфяных предприятий. Синявинские, Молуксинские, Ульяновские торфоразработки покрылись сетью рабочих поселков. Богатые совхозы и колхозы, санатории, дома отдыха, дачи, школы согнали дремотный покой с вековечных лесов.

Мгинский район Ленинградской области процветал!

Осенью 1941 года волна варварского нашествия гитлеровцев до-

катилась сюда. Ленинград был блокирован. Узловая станция Мга сожжена и разграблена. Ленинград лишился последней железной дороги, соединявшей его с внешним миром.

Героическими усилиями Красная Армия задержала врага, перерезавшего Мгинский район пополам. Узкая полоска земли, примыкающая к Ладожскому озеру, стала дыхательным горлом героя-города. Полная блокада Ленинграда фашистам не удалась.

Враг перешел к обороне. Цепляясь за маленький клочок ладожского берега, гитлеровцы зарылись в землю, создали вокруг Мги и Синявина мощный пояс оборонительных укреплений. Вышки линии электропередачи, рельсы железных дорог, мостовые фермы, насыпи, гранитные валуны, кирпич от разрушенных зданий — всё было пущено в ход. Дзоты и доты, надолбы, разнообразные железобетонные сооружения, противотанковые рвы, минные поля, проволока в десятки рядов — всем, что только может придумать современная техника, отгородились гитлеровцы от наших войск.

А против синявинских и мгинских укреплений врага с той же осени несокрушимой стеной стали наши герои-воины. Шестнадцать месяцев охраняли они дорогу на Ленинград, завязывая наступательные бои, перемалывая одну за другой всё новые и новые части напряженно оборонявшегося врага.

Наступило 12 января 1943 года...

С девяти утра над лесами, над широкой, крепко скованной льдом Невой, над всем передним краем господствовала тишина. Это была двойная тишина, потому что она усугублялась строжайшей военной тайной.

Гитлеровцы знали, что Ленинград готовится пробить блокаду. Они предугадывали, где именно мы дадим генеральный бой, — это им подсказывала сама географическая карта. День за днем воздвигали они всё новые оборонительные сооружения на предполагаемом ими участке прорыва, стягивали сюда свои отборные части, еще и еще насыщали огневыми средствами узлы сопротивления, созданные ими за шестнадцать месяцев блокады.

Но когда именно и с какими силами мы начнем, — этого гитлеровцы не знали. И целый год ожидавшийся наш отпорный удар в этот зимний морозный день всё-таки оказался для них неожиданным... «Мы думали, — позже показал пленный санитар Ганс Петерс, — обычный огневой налет. Думали, что вот-вот перестанут. Но огонь усиливался. Солдаты стали нервничать. Потом все забрались кто куда мог. Ефрейтор Ламберт Буути закричал: «Я был во многих походах, но такого грохота не видел и не слышал».

В 9.30 утра, словно распахнув широкий занавес военной тайны и тишины, прокатился над Невой неистовый грохот орудий... Все си-

стемы заговорили сразу. Такой умопомрачающий грохот враги слышали под Москвой и, разгромленные, отхлынули. Такой же грохот они услышали под Сталинградом, — всему миру известно, что последовало затем. Пришел черед услышать подобный грохот и здесь...

Час настал!.. Этот клич проник в чувства каждого воина, видевшего в то утро перед собой ледяные просторы Невы.

В грохот канонады вступил шум многих моторов: из-за стены дыма появились фашистские самолеты. Бомбами и пулеметным огнем вражеские пилоты хотели сорвать работу артиллеристов... Внезапно шум моторов утроился, и, опрокинутые нашими истребителями, несколько самолетов рассыпалось на части. Остальные фашистские штурмовики покинули поле боя, — с этой минуты в небе стала господствовать наша авиация. Ее бомбовые удары были слышны за десяток километров вокруг.

На невский пустынный лед вступили наши танки и пехота. Широким фронтом между двумя берегами загремело «ура». Нева была форсирована решительно, я бы сказал — стремглав. Поддержанные огневым валом, одетые в маскировочные халаты стрелки, моряки, саперы, связисты, автоматчики, минометчики карабкались на высокий, яростно обороняемый врагом берег.

Участок Невы по всему фронту наступления был уже всецело в наших руках. По льду переправилась артиллерия и перекатились новые волны пехоты.

Люди были злы, вдохновенны, неустрашимы.

* * *

...В освобожденных от фашистского ига населенных пунктах Марьино и Пильня-Мельница выставляются палатки, дымят походные кухни. Немногие оставшиеся здесь от когда-то многочисленного местного населения дети и женщины рассказывают бойцам обо всем пережитом.

Один-единственный сарай сохранился на месте когда-то богатой деревни Марьино.

К Ленинграду, пройдя, наконец, Неву, под конвоем идут гитлеровцы. Давно, но совсем иначе, надеялись они попасть туда. Вид их жалок и омерзителен...

Я пишу это в землянке под немолчный грохот орудий ночью на 14 января 1943 года.

Наступление продолжается.

Блокада будет прорвана.

Мы все это знаем...

18 января 1943 года... Два-три дня назад в этом лесу находился ВПУ — выносной пункт управления. Сегодня последней уехала телефонная станция, смонтированная в автомашине. Два-три дня назад все дороги были запружены транспортом, шедшим к Неве. Сейчас дороги свободны, и навстречу попадаются только грузовики с трофеями да группы пленных. От передовых, продолжающих вести бой частей до последней тыловой канцелярии — всё передвинулось вперед, всё — в наступлении.

Мороз — градусов двадцать пять, встречный пронзительный ветер. Мы мчимся в открытой машине в освобожденный от врага Шлиссельбург. Густой лес, украшенный поблескивающим на солнце снегом, становится реже: всё больше раскромсанных снарядами деревьев, всё больше безжизненных прогалин, на которых из-под снега торчат, точно изглоданные, расщепленные пни. Вот Черная речка, текущая в глубоком овраге к недавнему переднему краю. Ее берега похожи на черный покинутый улей; землянки, блиндажи, дзоты — пусты. И весь снежный покров вокруг изъязвлен темными пятнами от разрывов мин, прилетевших из-за Невы. Чем ближе к Неве, тем хаотичнее и неприятнее пейзаж: всё изрыто, измято, искромсано. На ум невольно приходит сравнение со следами черной оспы... И дорога, по которой мчится пикап, изглодана по краям воронками, — эта страшная сыпь уже медленно затягивается свежим, девственно чистым снежком. Мороз крепчает, дали туманны, и красный, резко очерченный шар солнца бежит над распяленными деревьями, параллельно машине. Его багровые лучи выхватывают из белесой дымки то снежный купол опустевшего дота, из узеньких амбразур которого уже не глядят стволы орудий, то ряды безлюдных траншей, то фантастические зубцы руин, — здесь когда-то высились трехэтажные кирпичные здания. Вот он, передний край: первая линия береговых траншей, разбросанные в последний момент перед атакой рогатки колючей проволоки, пулеметные гнезда с устремленными на Неву бойницами, шалаши наблюдательных пунктов. Перед ними — круто обрывающийся берег реки, окаймленный, насколько может видеть глаз, черной пятиметровой полосой — следом гигантского взрыва, прогрохотавшего за несколько минут до атаки перед всей линией фронта. В момент, когда полки готовились выскочить из траншей, чтобы стремительным броском форсировать ледяное пространство Невы, был дан сигнал, по которому все минные поля перед нашим передним краем были одновременно взорваны.

Мы видим ледяной панцирь пустынной Невы, призрачно освещенный сквозь морозную дымку остановившимся вместе с машиной

солнцем. Две шеренги маленьких елочек указывают нам переправу. На снегу, прикрывающем лед, — круглые пятна: желтые — от термитных снарядов, красные и зеленые — от ракет, черные — от разрывов мин. Еще не все проруби затянулись, от иных, клубясь, поднимается пар. А над нами на большой высоте висят четыре вражеских самолета, — они похожи на головки змей, потому что за ними, свиваясь в петли, по всему небу тянутся белые полосы.

Шофер выбрасывает дверцу, высовывается из кабины, примеряется глазом к линии елочек, к смутно виднеющемуся противоположному берегу, к самолетам, вокруг которых набухают темные клубочки разрывов. И, видимо решив опередить немцев, даже если они спикируют, дает с места такой полный газ, что пикап берет Неву буквально одним прыжком.

Сколько месяцев тысячи людей, не высовывая головы из-за бруствера, глядели на тот берег в щемящем сердце стремлении: достигнуть его, презрев опасность, победив самую смерть. Сколько прекрасных советских людей, придя сюда, отдали свою жизнь за то, чтобы настал, наконец, день, когда каждый желающий мог бы, вот так же легко и свободно, как в эту минуту мы, переправиться на тот берег. Этот день настал!

На первой скорости машина преодолевает зигзаг берегового подъема. Как поработала здесь наша артиллерия! Только увидев воочию левый берег Невы, можно это понять. Живого места здесь нет, — каждый квадратный метр земли перепахан несколько раз. Два с половиной часа длилась наша артиллерийская подготовка, и только расщепленные бревна, полузасыпанные мерзлыми комьями земли траншеи, спутанные обрывки колючей проволоки свидетельствуют о том, что здесь несколько дней назад были мощные вражеские укрепления. Изуродованные трупы фашистов еще не все убраны, обрывки шинелей и курток, окровавленные тряпки, разбитые ящики из-под патронов, бесформенные куски металла, провалившиеся землянки, — и всё это — от берега, через дорогу, по всему снежному полю, до леса, превращенного в нагроможденье щепы...

Дивизия генерал-майора Симоняка, за семь минут форсировав реку, ворвалась сюда гневной лавиной, уничтожила всё, что уцелело от огня артиллерии, и покатилась дальше туда, в лес.

Выехав на прибрежную дорогу и повернув налево, мы мчимся дальше. В заметенных снегом развалинах оборонительных сооружений работают саперы, выискивая последние проволочки еще не взорванных мин. Вдоль дороги трудятся красноармейцы трофейных команд: военное имущество и боеприпасы складываются в груды вдоль обочин. На розвальнях и на полуторатонках всё это увозится в тыл.

Уже недалеко до Шлиссельбурга. Только куски зеленых заборов да закоптелые печные трубы напоминают о том, что до войны здесь, вдоль дороги, в добре и довольстве, в хорошем домашнем уюте, жили советские люди. Застыв на леденящем ветру, на полном ходу машины я напрасно ищу взором чего-либо нового. Мы мчимся, и вокруг нас всё то же: опустошение. И кажется, солнце напрасно кладет сюда свои чистые, великолепные, розовые лучи...

Впереди нас — круглая высота, голь расщепленных стволов, оставшихся от когда-то шумевшей на ветру рощи. Это — высота Преображенская, на днях взятая и очищенная от гитлеровцев батальоном Завадского. Мы огибаем ее и видим перед собой Шлиссельбург. Слева в Неву упираются рельсы узкоколейки. Их расчищают красноармейцы. Направо, уходя к Синявину, насыпь выгибается широкой дугой.

Пересекаем насыпь, объезжаем груду мертвых эсэсовцев...

ВЫСОТА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

...Была ли когда-нибудь гладкой и ровной узкая полоса между Невой и дорогой? Нет сомнений: была. Стояли на ней аккуратные домики с палисадниками, окруженные огородами. Над гнутыми прутьями, обводившими зеленые клумбы, поднимались анютины глазки, иван-да-марья. Чистенькие мостики сбегали к невской воде; подтянутые к ним тугими цепочками, дремали, противясь медленному течению, рыбацкие лодки... Как археолог находит следы цветения исчезнувшей жизни под мрачным покровом пустыни, я устанавливаю прошлое этих мест по выброшенному взрывом мины на берег лодочному веслу, по пробитой пулеметной очередью зеленой садовой лейке, по черному обглодышу резного надкрылечного петуха, что торчит из еще дымящегося квадрата углей и золы...

Сейчас вся эта полоса — хаотические руины, изрезанные ходами сообщений, в которых валяются обледенелые трупы гитлеровцев.

Я стою над коротким, пересекающим мне путь оврагом. Он протянулся от дороги к Неве, он был естественной преградой на пути наших бойцов к высоте Преображенской. Он изрыт, он издолблен норами блиндажей, пулеметных гнезд, стрелковых ячеек. Поперек оврага — печальное зрелище: лежит разбитый на мелкие куски самолет. Его мотором вогнана в землю минометная установка. Слева на снегу распласталось превращенное в черную головешку тело летчика. Хвост штурмовика отлетел далеко, на нем красная большая звезда... Я не знаю имени летчика. Но прекрасный подвиг его мне понятен. В пятнадцати метрах отсюда — дорога, на которой мог сделать посадку под-

битый вражеским огнем самолет. Это, безусловно, вполне зависело от воли летчика. Конечно, он попался бы в плен. Но в ту последнюю минуту своего полета и своей жизни воля героя склонила машину прямо на вражескую минометную батарею...

А сейчас, после откипевшего здесь сражения, я стою над оврагом, еще не отдавая себе полностью отчета во всех впечатлениях. И рядом со мной стоит в ватной куртке, с автоматом, висящим поперек груди, маленький, говорливый, с черными усиками, вздернутым носом и обветренным лицом человек. Он был здесь и в тот момент, когда самолет упал, он видел всё, но тогда ему было некогда: он был занят тогда тем, что сам он называет делом, а я назову — свершением подвига.

С девятью товарищами он первый переправился на этот берег, сплошь еще занятый гитлеровцами. В ночной тьме он сумел проскочить Неву, не задетый ни трассирующими пулями, ни холодным светом спускавшихся на парашютах ракет. Вместе с товарищами он пробрался вон к тому, ныне разбитому домику у дороги и залег там, стреляя во всякого гитлеровца, который попадался ему на мушку. Фашисты были заняты напряженной обороной, пулеметчики сидели у своих разгоряченных пулеметов, минометчики слали мины на правый берег, стрелки не смели высунуть головы из траншей... А десять разведчиков, затаясь в самой гуще врагов, спокойно выбивали их одного за другим. Семь часов провели они здесь, а перед утром ворвались в тот одинокий домик, гранатами убили фашистского офицера и десяток его солдат. Воспользовавшись переполохом, сумели под покровом тьмы проскользнуть обратно к Неве, перешли ее, потеряв одного только человека, и доложили командованию обо всем, что видели, что узнали.

И когда на следующий день командир девятой роты старший лейтенант Александр Гаркун оказался здесь, подойдя сюда уже не прямиком с Невы, а с фланга вместе со своей ротой, то всё вокруг было ему знакомо: и домик этот, уже разбитый снарядами, и этот овраг, и высота Преображенская впереди, такая таинственная в ту ночь, а теперь, в солнечном свете дня, оказавшаяся совсем близкой и досягаемой. Вот налево церковь, которую нужно брать, потому что в ней засели вражеские автоматчики, вот дорога, обходящая высоту справа и устремленная вдаль, туда за высоту, где уже видны строения Шлиссельбурга, вот, еще правее — гладкое снежное поле, простертое до самого леса, в котором уже действует батальон Проценко, оттесняя врага к узкоколейке, идущей за высотой, от леса к Неве. Гаркуну тоже придется ее пересечь, когда он займет высоту и, спускаясь по ее склонам, выйдет на штурм Шлиссельбурга.

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

...19 января 1943 года. Мы в городе. Вчера в нем еще владычествовали гитлеровцы. С волнением я ждал минуты, когда увижу этот город. Но то, что открылось взору, можно ли назвать городом? По развалинам, по торчащим из снега обгорелым бревнам, по печным трубам, похожим на кладбищенские памятники, трудно определить даже границы исчезнувших кварталов. Только очень немногие, зияющие пустыми глазницами окон кирпичные дома сохранили хоть приблизительно свои первоначальные формы. Позже я узнал, что из восьмисот домов, имевшихся в городе до занятия его гитлеровцами, уцелело лишь шестьдесят, да и то бо́льшая часть их приходится на приселок, вытянувшийся вдоль Новоладожского канала, строго говоря — уже за чертой города.

В комендатуре оставлен на стене огромный, педантично начерченный план Шлиссельбурга. Все сожженные дома на плане обозначены красной краской. Все разрушенные — перечеркнуты крест-накрест, а уцелевшие зарисованы желтой тушью. Только тщательно вглядываясь в этот немецкий план, можно по пальцам пересчитать редкие желтые пятнышки.

Мы въехали в город по улице, сплошь усеянной еще не втоптанными в грязь винтовочными патронами, заваленной выброшенным из окон и из подвалов хламом.

Население торопилось вышвырнуть из своих полуразрушенных жилищ всё относящееся к ненавистным им оккупантам: амуницию, пустые бутылки из-под французского коньяка, патентованные средства, геббельсовскую литературу, папиросные коробки, громоздкие соломенные эрзац-валенки, суконные солдатские боты на толстой деревянной подошве, консервные банки, изломанное оружие, всевозможную загаженную казарменную требуху...

Улицы запружены обозами вступивших в город красноармейских частей; дымят полевые кухни; грузовики с продовольствием и боеприпасами с трудом прокладывают себе дорогу. Всю неделю боев нашим воинам приходилось спать на снегу, теперь они торопятся наладить себе жилье.

Звенят пилы, стучат топоры, молотки: надо забить досками зияющие окна, исправить печи в разысканных среди развалин комнатах.

Всюду слышатся веселые голоса. Разговоры о победе, о наступлении, о встрече с волховчанами, о железной дороге, по которой скоро можно будет ехать прямым сообщением из Ленинграда в Москву, — каждый хотел бы удостоиться чести совершить этот путь и именно в первом поезде!..

Над пробитой снарядами колокольней церкви висит красный флаг. Он был водружен здесь красноармейцем Гусановым после того, как 37-миллиметровая пушка, стрелявшая с этой колокольни, была разбита прямым попаданием из орудия, которое наши артиллеристы подкатили вплотную к церкви. В подвале церкви бойцы роты Гаркуна еще дрались с последними автоматчиками из той полусотни «смертников», что засела здесь, а Гусанов уже спускался с колокольни под приветственные крики «ура».

Мы остановились возле броневика, над которым его экипаж устанавливал антенну. То был один из девяти броневиков, приданных стрелковой части подполковника Середина, первой вступившей в город. На этих броневиках пехотинцы прочесывали центральные улицы, истребляя последних стрелявших из подвалов и окон фашистских автоматчиков, уже окруженных и потому не успевших вместе со всем гитлеровским воинством предаться поспешному бегству.

В поисках коменданта города мы вернулись туда, откуда только что шли, и увидели против разбитых цехов ситценабивной фабрики остатки большого немецкого кладбища. Население вместе с бойцами рубило на нем кресты, чтобы стереть с лица земли и эти следы фашистского нашествия.

Солнце скрылось за горизонтом. Город погрузился во тьму. В нем не было ни освещения, ни водопровода, в нем не было ничего, присущего каждому населенному пункту. Он был еще мертв.

На перекрестке двух разбаррикадированных улиц регулировщики указали нам полуразрушенный дом, в котором, по их словам, находится комендант. Майор Гальмин, комендант, сидел за большим письменным столом против потрескивающей сухими дровами печи. Два огарка в бронзовых подсвечниках мигали, потому что дверь то и дело приотворялась: с мороза входили всё новые люди в шинелях и полушубках. Входили торопливо: каждому было некогда, каждый хотел как можно скорее порешить с комендантом свои неотложные дела.

А он сидел за столом, перебирая пачку адресованных ему и принесенных красноармейцем писем, не зная, за которое взяться раньше, разрывал один конверт и другой и одновременно отвечал хриплым от ночевок на снегу голосом, — худой, усталый, с блестящими от волнения глазами.

Он отвечал быстрыми, точными словами и снова принимался читать письма вслух сразу всем обступившим его незнакомым людям:

— «Костя, у меня не будет ни одного «посредственно...» Папа работает... Папа сложил печку, в комнате у нас стало теплее...»

Это было письмо от племянницы из Москвы, и все обступившие

стол люди в шинелях и полушубках отвлекались от своих насущных, не терпящих отлагательства дел и слушали внимательно, и когда майор, дочитав письмо, откладывал его и брался за другое (и одновременно обращаясь к кому-то из тех, кто стоял в темном углу комнаты, отдавал приказание: «Сообщите по радио, в 13.00 начался артобстрел, методический, выпущено тридцать снарядов»), говорили: «Дальше, дальше-то что пишет племянница?», комендант города Шлиссельбурга снова брался за письмо:

— Нет, это не то!.. Должно быть письмо от жены, с фотокарточкой, — давно обещала. Если без фотокарточки, я и читать не стану!

И, наконец, найдя по почерку письмо от жены, вытянул его из конверта, и на стол выпал тусклый фотографический снимок...

— Ой, ой, ой, вот этого я ждал, — хриплым шепотом возгласил комендант, вставая и склоняясь над свечкой. — И дочка, дочка Галина, год и три месяца ей, я еще ни разу в жизни ее не видел!.. А вы, товарищ лейтенант, возьмите роту и обойдите все землянки вдоль южных кварталов, только саперов возьмите, там мин полно... Ясно? Ясно, ну, идите!.. «Поздравляю тебя, Костенька, с Новым годом...» С Новым годом поздравляет меня жена, понимаете? Вот ее фотокарточка!

И фотография пошла по рукам командиров и красноармейцев, и майор смеялся:

— Галиночка-то какая толстая получилась, весь фокус заняла... В Кировской она области, понимаете?

Все, решительно все понимали состояние коменданта. Все были семь суток в бою, все ночевали в снегу, всем остро хотелось писем от родных и друзей... А на стене висел вражеский план сожженного города, а полуразбитый дом вновь заходил ходуном, потому что на заваленных трофеями улицах вновь стали разрываться снаряды: ощерившийся враг, отступая, хотел напакостить нам последним, что было еще в его силах. Но никто не обращал внимания на разрывы ложащихся вблизи снарядов — все жадно вслушивались в письмо женщины издалека к сидящему за столом счастливому мужу...

В этот час все в городе были счастливыми, — и те, кто пришел сюда, и те, кто шестнадцать месяцев дожидался пришедших... Немногие дождались: из шести тысяч жителей, находившихся в Шлиссельбурге в момент оккупации его гитлеровцами, осталось только 320 человек, из которых мужчин было не больше двух-трех десятков. Две с половиной тысячи шлиссельбуржцев умерли от голода и лишений, многие были замучены по всем правилам «нового порядка», остальные отправлены в глубокий вражеский тыл...

Мы ушли из комендатуры, полные впечатлений от рассказов, какими обменивались толпившиеся здесь люди.

В политотделе дивизии Трубачева, поместившемся в трех уцелевших комнатах большого, но разбитого, перерезанного траншеей дома, мы легли спать — так же, как все, — на поломанных железных кроватях, на голых и холодных прутьях. Было холодно, никто не скинул ни валенок, ни полушубков, ни шапок-ушанок.

Ночью враг обстреливал город дальнобойными орудиями откуда-то из-за Синявина. Всю ночь гремела жестокая канонада: бой продолжался, наша артиллерия взламывала всё новые и новые узлы мощных оборонительных сооружений врага. Взлетали осветительные ракеты, лунная ночь рассекалась вспышками и гулами не прекращающегося ни на один час сражения.

ВСТРЕЧА

20 января 1943 года. Мне хочется описать хотя бы одну из тех многочисленных встреч ленинградцев с волховчанами, какие в день 18 января происходили по всей линии двух сомкнувшихся частей наших фронтов — Ленинградского и Волховского.

В тот час, когда наши части очищали Шлиссельбург от последних фашистов, подразделения подполковника Фомичева, обойдя с тыла город, вышли к каналам и, уничтожив последние группы сопротивлявшихся гитлеровцев, уперлись в воды Ладожского озера. Тогда повернули направо и двинулись навстречу волховчанам в сторону Липок. По Новоладожскому каналу пошел батальон Епифанова, а по бровке Староладожского — батальон во главе с подполковником Фомичевым.

Вечерело. Короткий январский день сменился тусклыми сумерками. Слева темнело леском узкое пространство между двумя каналами, справа на широком снежном поле вспыхивали разноцветные огни сигнальных ракет, вздымалось короткое пламя разрывов, доносилось «ура» соседних, преследующих, истребляющих врага частей, стремившихся так же, как и подразделения Фомичева, как можно скорее сомкнуться с Волховским фронтом.

В полушубках, в валенках, в маскхалатах, не спавшие семь ночей, но радостно возбужденные уже явной для всех победой, бойцы двигались торопливым шагом. Обременительным каждому казался теперь двухдневный неприкосновенный запас продуктов, который никому в наступлении не понадобился. Все семь суток боя бойцы регулярно, трижды в день, получали горячую пищу в термосах, нормы были повышенными, питание организовано хорошо. Правда, после того как взятая штурмом насыпь узкоколейки была пройдена, груза у всех убавилось, потому что часть его навьючили на захваченных лошадей.

Никто не знал, где в данный момент волховчане, и потому готовились подойти поближе к деревне Липки, развернуться к бою, чтобы взять эту деревню штурмом. Предполагалось, что еще немало гитлеровцев встретится на пути, а потому идущий впереди дозор внимательно вглядывался в белесую мглу.

Только что был обнаружен под бровкой канала продовольственный склад; задерживаться из-за него не хотелось, выделять для охраны бойцов было бы неразумно, так как в тылу могли оказаться какие-либо удирающие из Шлиссельбурга и скрывшиеся в лесу фашисты. Майор Ломанов, красивый рослый моряк, предупредил всех об осторожности: склад мог быть минирован. Оказалось, однако, что гитлеровцы в поспешном бегстве не успели этого сделать.

Двинулись дальше уже в полной тьме. Впереди всех шли разведчики под командой старшего сержанта, командира взвода разведчиков Кириченко. Их было человек двадцать. Вдруг Кириченко тихо промолвил: «Стой!» Разведчики разом остановились. Впереди на бровке канала во тьме показались какие-то фигуры.

Разведчики залегли, с автоматами наготове поползли вперед...

Всем очень захотелось, чтобы темные фигуры впереди оказались не гитлеровцами, чтобы «это» — великое и долгожданное — именно сейчас, незамедлительно совершилось...

Каждый повторил про себя установленный пароль встречи.

Любой боец знал, что в момент встречи он должен поднять свою винтовку или свой автомат двумя руками параллельно земле на уровень груди и крикнуть: «Победа!» Разведчики уже взялись за оружие двумя руками, но тут же усомнились: «А вдруг всё-таки враг?..» И если б это действительно оказались враги, то бойцы прикончили бы их на месте.

Однако, подпустив встречных на близкое расстояние, не обнаруживая себя, разведчики ясно различили такие же, как у них самих, маскхалаты, такие же шапки-ушанки и полушубки.

Можно было вскочить, обрадоваться, кинуться навстречу с ликующими криками, но... Кириченко поступил по уставу: он подманил к себе рукой старшего сержанта Шалагина, взволнованно прошептал ему:

— Беги, докладывай!

И, напрягая зрение, взглянул на часы.

Было 18 часов 40 минут...

Связной Шалагин опрометью побежал назад, срывающимся голосом доложил Фомичеву:

— Товарищ подполковник!.. Волховские идут!

— Не ошибся? — почувствовав, как ёкнуло сердце, переспросил Фомичев.

— Как можно, товарищ подполковник!? Да своими ж глазами!

И Николай Иванович Фомичев, повернувшись к комбату Жукову, приказал ему остановить батальон. А сам вместе с майором Ломановым вышел вперед.

— Разрешите с вами, товарищ подполковник? — торопливо проговорил адъютант лейтенант Шевченко.

— Да... И возьмите лучших автоматчиков... Человек семь...

Все эти фразы произносились торопливо, взволнованно, горячим полушепотом, — историческое значение происходящего обжигало сознание каждого.

И семь автоматчиков со своими командирами степенным шагом двинулись по береговой бровке канала навстречу тем, кто там, впереди, также остановился во тьме и откуда пока также не доносилось никаких голосов. Этими семью автоматчиками были: командир взвода старший сержант Иван Панков, старший сержант Владимир Мерцалов, помкомвзвода младший сержант Петр Копчун, красноармейцы Василий Мельник, Василий Жилкин, Леонтий Синенко, Усман Еникеев.

— Кто идет? — впервые громко крикнул Фомичев, сблизившись вплотную с темнеющими во мраке, застывшими на месте фигурами.

— Свои, волховчане! — донесся радостный отклик.

И сразу кто-то из автоматчиков, не удержавшись, возгласил на всю тишину канала:

— Даешь Липки!..

— Липки наши!.. — послышался веселый голос из темноты.

Но никто не сдвинулся с места, потому что все видели: подполковник Фомичев и майор Ломанов при свете электрического фонарика проверяют документы двух волховских командиров и показывают им свои.

— Ну, правильно всё! — наконец громко произнес Фомичев. — Здорово, друзья! — и направил луч фонаря прямо в смеющееся лицо командира встречной колонны.

Фонарь тут же полетел в снег, широко распахнутые объятия двух командиров сомкнулись, они расцеловались так, словно были родными братьями.

И сразу же, как волной, смыло всякий порядок. Бойцы и командиры двух фронтов хлынули навстречу друг другу. Объятия и поцелуи прошедших сквозь смерть и огонь мужчин, — воинов в полушубках и маскхалатах, никогда прежде не видавших один другого, — это бывает только на войне, только в добрый час победы! Словно веселый лес зашумел над снежным и темным каналом, вопросы, поздравления

и смех слились в один непередаваемый гул ликования... Наконец в этом гуле стало возможным различить отдельные фразы:

— Давно не видались!.. Лица-то у вас здоровые, а мы думали, что вы дистрофики... Гляди, поздоровей наших!.. Ну, как Ленинград? Как жили?

И новый друг Фомичева подхватил тот же вопрос:

— Как жили?

И Фомичев ответил:

— Было плохо, теперь хорошо, — и добавил (позже ему было смешно вспомнить об этом): — Двадцать семь линий трамвая ходят.

— Ну да?

— Точно! (Фомичев и сам не знает, почему он решил в ту минуту, что именно — двадцать семь!) Свет! Вода!.. Жить стало лучше.

— А как побит Ленинград?.. Очень сильно?

— Есть места побитые, а в общем — ничего... Стоит!

— Да еще как стоит! Победителем!.. А как продукты к вам поступали?

— По Ладожской...

— Это мы знаем, что по Ладожской, а всё-таки трудно?

— Одинаковую норму возили; что вы, то и мы едим...

— А боеприпасы?..

— А мы сами их делаем, еще вам взаймы можем дать... Небось, артиллерию нашу слышали?

— Вот уж это действительно! Мы удивлялись даже...

И тут в разговор вмешался подскочивший сбоку волховский артиллерист капитан Коптев:

— Родные ленинградцы, я ваших всех перецеловал!..

— Ну и мы тебя поцелуем! — расхохотался Фомичев, и минут пять все окружающие мяли и целовали растерявшегося, уронившего шапку Коптева...

А затем подполковник Фомичев приказал восстановить порядок. Волховчане и ленинградцы разошлись на сто метров, построились. Начались митинги.

Тут же, под насыпью, в дружно очищенной бойцами землянке связи была развернута найденная там кипа мануфактуры. Она помогла придать землянке праздничный вид. Совместный ужин командиров был назначен на 20 часов. Продуктов было хоть отбавляй, не нашлось лишь ни капли водки, а двух бутылок найденного у кого-то красного вина хватило только, чтобы налить каждому по маленькой стопочке.

— Чем будем угощать ленинградцев? — воскликнул Коптев. — Как же это так не предусмотрели?

И тут связной капитана Гриша, хитро сощурив глаз, вытянул из кармана своих ватных штанов заветную поллитровку. И только успели распить ее, волховчане получили приказ по радио: поскольку штурмовать Шлиссельбург оказалось ненужным, отойти обратно на Липки.

А ровно через пятнадцать минут такой же приказ по радио получил подполковник Фомичев: поскольку штурмовать Липки оказалось ненужным, отойти обратно на Шлиссельбург...

ГЛЕБ ПАГИРЕВ

ПОД ШЛИССЕЛЬБУРГОМ

Здесь было селенье, был стройный лесок —
Захватчик спалил за неделю.
Но нашей расплаты назначен был срок:
Не зря мы в окопах сидели!

И вот в предрассветной густой синеве
Пехота броском небывалым
Рванулась вперед через лед по Неве.
По следу за огненным валом.

Орудия били с прибрежных высот,
Вода поднималась столбами;
И раненый молча валился на лед,
Ко льду припадая губами.

Вставая и падая в снег на бегу,
Взвалив на себя пулеметы,
Мы лезли на берег, тонули в снегу
И грудью бросались на дзоты.

Короткая очередь, выстрел в упор, —
Так вот она, мера расплаты!
Слова о прощенье — пустой разговор:
Здесь слово имеют гранаты.

Мы вышли на берег. На черном снегу
Горели подбитые танки;
Воронки разрывов — на каждом шагу,
И трупы — у каждой землянки.

Еще не окончен начавшийся бой
И в летопись славы не вписан;

И первые пленные, сбившись гурьбой,
Еще повторяют: «Nicht schissen!..»

Мы снова проходим по этим местам
Навстречу боям и тревогам
По вновь наведенным плавучим мостам,
По вновь проторенным дорогам.

Сухая ветла у скрещенья дорог,
И тропка, бегущая в поле,
И чуть различимый в траве бугорок —
Здесь всё нам знакомо до боли.

Нам эта скупая земля дорога,
И лучшей не нужно в награду:
Мы здесь наступали и гнали врага,
И здесь мы прорвали блокаду!

1943 г.

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

ЗДРАВСТВУЙ, БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ!

Выступление по радио
в ночь с 18 на 19 января 1943 года

Ленинградцы, дорогие соратники, товарищи, друзья.

Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет. Мы были уверены в этом в самые черные месяцы Ленинграда — в январе и феврале прошлого года. Наши погибшие в те дни родные и друзья, те, кого нет с нами в эти торжественные минуты, умирая, упрямо шептали: «Мы победим». Они отдали свои жизни за честь, за жизнь, за победу Ленинграда. И мы сами, каменея от горя, не в силах даже облегчить свою душу слезами, хороня в мерзлой земле их без всяких почестей, в братских могилах, вместо прощального слова клялись им: «Блокада будет прорвана. Мы победим!» Мы чернели и опухали от голода, валились от слабости с ног на истерзанных врагом улицах, и только вера в то, что день освобождения придет, поддерживала нас. И каждый из нас, глядя в лицо смерти, трудился во имя обороны, во имя жизни нашего города, и каждый знал, что день расплаты настанет, что наша армия прорвет мучительную блокаду. Мы ждали этого дня, говорили:

И ночь ли будет, утро или вечер,
Но в этот день мы встанем и пойдем
Воительнице-армии навстречу
В освобожденном городе своем.
Мы выйдем без цветов, в помятых касках,
В тяжелых ватниках, в промерзших полумасках,
Как равные, приветствуя войска,
И крылья мечевидные расправив,
Над нами встанет бронзовая Слава,
Держа венок в обугленных руках.

Так думали мы тогда. И этот день наступил — 18 января 1943 года.

О да, сейчас с восторгом, с гордостью, со счастливыми слезами слушает сообщение о прорыве блокады вся Россия! Здравствуй, здравствуй, Большая земля! Приветствуем тебя из освободившегося Ленинграда! Спасибо тебе за твою помощь! Клянемся тебе, что мы будем бороться, не жалея никаких сил, за полное уничтожение блокады, за полное освобождение всей советской земли!

...О дорогая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано проклятое кольцо!
Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,
В сияющих слезах твое лицо.

Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,
И не стыдимся слез своих: теплей
В сердцах у нас, бесслезных и упрямых,
Не плакавших в прошедшем феврале.

Да будут слезы эти — как молитва.
А иа врагов расплавлениым свинцом
Пускай падут они в минуты битвы
За всё, за всех задушенных кольцом.

За девочек, по-старчески печальных,
У булочных стоявших у дверей,
За трупы их в пикейных одеяльцах,
За страшное молчанье матерей...

О, иаша месть — она еще в начале, —
Мы длинный счет врагам приберегли:
Мы отомстим за всё, о чем молчали,
За всё, что скрыли
от Большой земли!

Нет, мама, ие сейчас, но в близкий вечер
Я расскажу подробно обо всем,
Когда вернешься в ленинградский дом,
Когда я выбегу тебе навстречу.

О, как мы встретим наших ленинградцев,
Не забывавших колыбель свою!
Нам только иадо в городе прибраться:
Он пострадал, он потемнел в бою.

Но мы залечим все его увечья,
Следы ожогов злых, пороховых.
Мы в новых платьях
выйдем к вам навстречу,
К «Стреле»,
пришедшей прямо из Москвы.

Я не мечтаю, — это так и будет,
Минута долгожданная близка.
Но тяжкий рев разгневанных орудий
Еще мы слышим: мы в бою пока.

Еще не до конца снята блокада...
Родная, до свидания!
Иду
К обычному и грозному труду
Во имя новой жизни Ленинграда.

КЕСАРЬ ВАНИН

РАССКАЗ О МОЕМ ЗЕМЛЯКЕ

1

Уже пропели третьи петухи, а Тимофей Игнатьич всё еще не мог заснуть. Несколько ночей кряду мучила его бессонница. Он лежал на печке, и она, казалось ему, пылала нестерпимо. Длинный, костлявый, он то ворочался, сердито кряхтя, то садился, свесив ноги, и сидел насупленный, усталый.

Задолго до рассвета он разбудил Анисью Марковну, свою жену, и велел ей пойти во двор, подбросить корове сена.

Он торопил жену, ворчал на нее, и лишь только она захлопнула за собой дверь, слез с печки, надел валенки и хранившиеся в щели матицы, ключом открыл стоявший за перегородкой окованный железом сундук. Что-то небольшое, тяжелое, завернутое в расшитое полотенце, он вынул из сундука и долго держал в руках.

Услыхав в сенцах шаги — это возвращалась жена, — он спрятал в сундук то, что держал в руках, и, накинув на плечи полушубок, без шапки вышел из дома.

Он забыл надеть шапку.

Снег в эту зиму, зиму сорок второго года, выпал рано. Всюду — и в лощинах, и на пригорках, и на равнинах — он лежал плотный, волнистый.

Было холодно, звездно.

Вдали, озаряя леса, метались багровые вспышки, словно там играли зарницы, так же буйно, как играют они при самом разгаре цветения хлебов. Оттуда, слышнее, чем вчера, доносился глухой рокот, похожий на отдаленные раскаты грома.

Тимофей Игнатьич ни на что не обращал внимания, брел по полю и о чем-то напряженно думал. Увязшие в морщинах, усталые от бессонницы глаза его глядели сурово.

Он не стал ни пить, ни есть, когда вернулся домой, хотя на столе ожидал завтрак, заботливо приготовленный Анисьей Марковной, ушедшей в колхоз на работу. Он опять открыл окованный железом сундук, опять достал из него завернутую в расшитое полотенце вещь, на которую смотрел ночью, и спрятал ее за пазуху, тяжело дыша.

Весь день он шел по дороге.

К вечеру он добрался до районного города, отдохнул немножко в приемной председателя райисполкома и потом, поправив выбившиеся из-под шапки волосы, вошел к председателю:

— Вот, Алексей Павлыч... В гости к тебе...

Он сел не торопясь, с достоинством и бережно положил на стол то, что было спрятано у него за пазухой, развернул.

Это была икона в тяжелой ризе кованого золота с тремя крупными бриллиантами, изображавшими звезды по краям радуги, окаймлявшей темный, бородатый лик.

— Икона эта древняя, Алексей Павлыч... При жизни царя Ивана Грозного получил ее мой пращур Спиридон. От смерти спас он в бою воеводу, и боярыня, жена воеводы, поднесла ему в дар эту икону... Пуще глаз берегли ее в нашем роду, а всяко жили, иной раз донимала нужда и неурожаи, а берегли икону, не продавали. Память... И я берег... И вот... теперь решился. Прими ее, Алексей Павлыч; час трудный у Родины. Враг-то и на Москву зарится и на Ленинград... не далек и от нашей деревни... На танк прими. Чем богат, тем и рад. Прими!

И, немножко помолчав, добавил с передышкой:

— Оба сына на фронте, и мне, видно, придется расстаться с домом, надеть шинель... что ж, знакомое дело!

2

При зыбком пламени коптилки раненые сидели неподалеку от реки в бомбовой воронке, покрытой брезентом. Ожидали отправки в медсанбат.

Здесь, среди раненых, находился и Тимофей Игнатьич. Бинт на его груди выглядел красней кумача, а на смуглом, истомленном лице светились капли пота. Он то дремал, то силился подняться, чтобы идти к реке.

— Кого тебе там? — спросили его. — Лежи, знай!

— Да вот человечка одного повидать надо... Даже спасибо не сказал ему. Нехорошо... Пособите мне встать!

Он докурил папиросу и тут же попросил свернуть ему другую. Сам не мог — не повиновались руки.

— Дожил до седых волос, а только понаслышке знал, что есть люди, которые нисколько, ну ни капельки, не щадят жизни своей при несчастье другого! — Голос Тимофея Игнатьича становился всё глуше, взволнованней. — Ранило меня достоверно не помню, когда. Очнулся, вижу — лодка, а подле нее еще двое таких же, как и я, покалеченных,

и этот человек. Это он меня доставил к лодке — санитар, совсем замаявшийся. Очистил от грязи меня, привел в человеческий вид!

Плыли честь честью. И глядь — мина... Совсем близко грохнулась. У него оба весла вышибло. Меня воздухом долой с лодки. На корме я сидел. Сшибло — и сразу загулял ко дну. На воде-то не мог держаться: ослабосилил. Куда же денешься при таком положении? Ко дну только! Выволок он меня, нырял за мной. А сказать по совести, я не возрадовался лодке. Во многих местах оказалась продырявленной, со всех сторон текло в нее. А вокруг темно. И ни одной лодки поблизости. Никто из нас не мог плыть... Те, которые были со мной, могли только лежать... «Ничего, братцы, — успокаивает он нас. — Ничего!»

Потом усадил лежачих, чтобы не захлебнулись, потом поснимал с нас пилотки... Всё-таки приунял пилотками течь! Приунял, и сразу в реку: толкать лодку к берегу. Вёсла-то уплыли! «Живы? Не закоченели? — начал он с нами разговаривать. — Вода-то студеная...» — «Всё в порядке, — отвечаем. — Теперь всё в порядке!»

И такая беседа велась у нас с ним до самого берега.

Доставил! И потерялся где-то сразу. И уже когда несли нас — меня в это укрытие, а тех двух в машину, потому что они были слабее меня, — я опять увидел его: обратно спешил с паклей и с инструментом — чинил лодку. Больше не встречался с ним. И фамилию не знаю человека, и звать не знаю как... Письмо бы хоть послать, хотя бы несколько слов написать в благодарность... Пойду, может, разузнаю о нем у кого-нибудь, может, доведется и самого найти. Пособите мне встать!

И он ушел, пошатываясь и вздрагивая от боли.

Больше часу пропадал. И тогда двое раненых, которые считали себя покрепче других, пошли к реке искать его.

На реке сновали лодки и часто рвались вражеские снаряды и мины. От ветра и взрывов вода шумными крутыми валами хлесталась о берега, растворяла на них глину, подмывала камни. На той стороне километрах в двух от берега шел бой. Там всё сплошь окутал багровый дым горевших построек. А над пожаром, сплющенное темью ночного неба, раскачивалось и вздрагивало огромное зарево.

Тимофей Игнатьич терпеливо стоял у реки и смотрел, не отрываясь, на тот берег. Там при разрывах снарядов на мгновение показывался человек, торопившийся в сторону пожара, человек с автоматом, с санитарной сумкой и с ящиком патронов.

— Нет, и этот — не он... — огорченно и тихо сказал Тимофей Игнатьич пришедшим за ним. — Не нашел... От гибели меня избавил человек, а я даже не знаю, как звать его... Ишь ведь, что бывает на войне!

3

Всего с полчаса тому назад прервался бой, и теперь, укрываясь в воронках и под кустами, солдаты поспешно готовились к новому броску вперед: начиняли патронами диски автоматов, прилаживали к поясам гранаты, переобувались, чистили оружие. Все они притаенно поглядывали на недалекую высотку. На ней крепко засел противник и выжидающе молчал. Предстояла обычная схватка: беспощадная, трудная.

Это знал и Тимофей Игнатьич.

Он поднес необходимый запас патронов для всей роты, поднес гранаты. Всё это приходилось ему делать ползком на животе. До врага и ста саженей не было. Потом послали его за водой. Принес воды.

Дышал он неровно, сбивчиво и был бледен, а когда полз, волоча за собой на веревке ящик с патронами или гранатами, то губы у него тряслись и делались пепельно-серыми. Левая рука не слушалась его, и он держал ее под плащ-палаткой. Столь жалким видом своим он раздражал всех. Все его торопили, откровенно высказывали желание, чтобы он управился поскорее со своим делом и убирался бы с глаз долой...

И вот уже сделал всё, что требовалось от него как от подносчика боеприпасов, и он хотел было прилечь, но тут сказали ему:

— Уходи-ка отсюда!

Но уйти ему не пришлось. Его окликнул минометчик Аким Нестеров, хмуроглазый, лет пятидесяти солдат, в облезлом, с двумя вмятинами, шлеме. Он велел Тимофею Игнатьичу пополнить израсходованный запас мин.

— Напарник мой погиб давеча... Давай работай за него! — сказал он, готовя для миномета запасную позицию.

И Тимофей Игнатьич пополз за минами.

Гимнастерка на нем до последней нитки пропиталась по́том. А было свежо. Только между кустов пригревало солнце. Ветер дул холодный, дымный...

— Ты ползешь, как муха в киселе... Шевелись!

Тимофей Игнатьич молчал. Он снова уполз за минами, хотя уже вполне достаточно наносил их. Но Нестеров еще раз послал его, потом еще два раза, чтобы он встряхнул себя хорошенько работой.

Однако из этого ничего не вышло.

— С сединой усы-то у тебя... И, знать, всю жизнь просидел ты у матки своей за пазухой! — не сдержался от едкой насмешки Нестеров. — А может, всю жизнь простоквашей торговал?

— Я не хуже других.

— Не хуже?! Может, когда и будешь не хуже других... Черт тебя

знает! Только сейчас ты не человек, а помраченье одно. Сторонятся от тебя люди, так сказать... как от чумы!

— Почему? — К щекам Тимофея Игнатьича вдруг густо прихлынула кровь. — Почему? — повторил он настойчивей.

Нестеров не слушал его.

— Страх-то, — хмуро продолжал бывалый солдат, — страх-то перед боем особенно цепкий, прилипчатый... Разносит его сам же человек... Вот этакий, как ты! Потому и сторонятся от тебя люди. Ступай!

— Да, я пойду... Приходится. Только вчера прибыл в вашу роту из госпиталя, и опять надо в госпиталь. Руку пробило пулей. Хоть и небольшая дыра, и перевязал ее немедля, а, видно, крови порядком убыло... В голове всё шиворот-навыворот пошло!

— Ранен... — смущенно насупился Нестеров. — Ранен... и молчал!

— Всё же помог тут немножко, — сказал Тимофей Игнатьич. Он всё чаще глотал из фляжки воду. — Сила не сразу сомлела во мне, держалась сила!

4

Только Семену Галкину, своему фронтовому дружку, сказал Тимофей Игнатьич, для чего понадобилось ему сено. От других скрывал. Он придерживался мудрой поговорки: «Не говори „гоп", пока не перепрыгнешь!»

— Сено — не песок... Подумай, порассуди хорошенько! — сдержанно возразил ему Галкин.

— Песок тащить в таком деле — живот лопнет!

В полковой конюшне он не добыл сена.

— Проваливай отсюда! — прогнал его конюх. — Как управимся с блокадой, тогда приходи, сам тебе подушку сделаю, коль уж ты любишь на мягком спать.

Тимофей Игнатьич ничего не сказал, а только нахмурился и, запихнув мешок за пазуху полушубка, направился к лесу.

В лесу было светло и тихо. Гул разрывов снарядов проникал сюда слабо. Деревья стояли молчаливо. Темно-синие тени ветвей причудливо перепутались, а меж ними жарко и многоцветно искрился на солнце незаслеженный иней, пушисто укрывший снежные наметы. Как-то по-весеннему светло, благодатно было в лесу.

После долгого житья на передовой среди постоянного свиста пуль, пороховой гари, воя и грохота снарядов Тимофея Игнатьича манило посидеть на пеньке. Но он свернул к поляне и, скинув полушубок, принялся разгребать снег, выдирая из-под него траву и мох.

Больше часа не разгибался он. Наконец наполнил мешок травой и мхом и выбрался на дорогу.

В сторону передовой редко-редко проходили машины с ящиками, укрытыми еловыми ветками. Попадались машины с орудиями.

Дорога жила только по ночам. С вечера и до рассвета шли по ней войска, двигались танки, машины, до предела нагруженные боеприпасами. Двигались пушки... Но как только начинала рассасываться ночь, рассасывался и этот, казалось, неиссякаемый поток людей, орудий, машин. И затем пустела дорога и, как испариной, покрывалась инеем.

Уже темнело, когда Тимофей Игнатьич вернулся в землянку и, не раздеваясь, прилег, думая, а всё ли у него сделано, не забыл ли чего?

Тесно и холодно было в землянке. Около нее упал недавно снаряд: разворотил накатник и расщепил дверь. Топилась печка, только для прикурки, не больше, чтобы не шел наружу дым: могли увидеть враги. Ко всему привыкшие — и к холоду, и к огню, и к смерти — бойцы занимались своими делами: кто брился внимательно, словно готовился к встрече долгожданного праздника, кто прилаживал поудобнее обувь к ногам, перематывая по нескольку раз портянки. Переодевались в чистое белье. Один задумчиво писал письмо. Писал крадучись от всех, рвал написанное и принимался снова писать.

Все очень много курили.

Глядя на пламя коптилки, Тимофей Игнатьич прислушивался к разговору. Больше всего толковали о Ленинграде. Казалось, каждый из этих бойцов — исконный ленинградец, хотя ленинградцев было всего-навсего четверо. Тут находились жители настолько далеких от Ленинграда сел и городов, что туда не долететь за много дней и быстрокрылой птице! Но все они повидали в дни войны этот город, некоторые уже не раз были ранены и лечились в нем, — знали Ленинград. Знали его людей, второй раз зимовавших впотьмах и стуже, третий год голодавших под бомбежками, обстрелами. В неслыханно тяжком напряжении всех своих сил одолевали эти люди все тяготы блокады... И работали: чинили, делали солдатское оружие. И это от них, ленинградцев, получали здесь, на фронте, посылки: теплое белье, варежки, поношенные, но чисто стиранные и тщательно заштопанные свитера. Попадались свитера, сшитые из шерстяных женских кофточек... И в каждой посылке, в отдельном, бережно увязанном пакетике, — два-три черных сухаря, несколько конфет или пачка махорки. В каждой — письмо.

Письма военных дней! Когда, в какое время так горячо, так ласково разговаривали люди друг с другом в письмах? Война заставила еще шире, полнее раскрыть душу матери и отца перед сыном, друга перед другом. В этих письмах, как никогда, были смелы и откро-

венны признания в дружбе, в любви. Но письма ленинградцев были особенно желанны бойцам.

Вошел Семен Галкин. Не спеша он очистил от сосулек усы и подсел к Тимофею Игнатьичу.

— Ну как, достал сена? — спросил он тихо.

— Нет. Травы и мху из-под снега надрал.

— Боюсь, не получится как надо... — помолчав, озабоченно потрогал Галкин ногой торчавший из-под нар мешок. — Тревога гложет...

— Не день и не два думал-передумал... Советовался с ротным. Одобряет... Снег поможет! И не надо больше об этом. Ложись-ка лучше, дружок, отдыхай!

— Не возьму себе в толк, — поправляя коптилку, обернулся к Тимофею Игнатьичу боец, который писал письмо. — Трава? На кой она тебе?

— Козу думаю заиметь... Станем молоко хлебать вдосталь шилом!

Он закрыл глаза. Ему захотелось заснуть покрепче, чтобы встретить новый день, как всегда, с бодрым сердцем. Но не приходил сон. Никому не спалось. Все думали о завтрашнем дне.

Неподалеку разорвался снаряд. От сотрясения перекосился на землянке накатник и сверху посыпался песок вперемешку со снегом.

Упало вблизи еще четыре снаряда.

Наши орудия молчали.

* * *

Голубело тихое утро. Дымчатый мороз наполнил воздух искристыми иглами, и они, едва видимые, струились непрестанно на землю, на бойцов, притаившихся в траншеях, в ложбинах, в воронках, за деревьями вблизи берега Невы. Здесь были и Тимофей Игнатьич, и Семен Галкин.

В этот ранний час и на противоположной стороне Невы было тихо. Разгоравшееся утро всё отчетливее обнажало там берег. Крутой, обрывистый, местами покрытый льдом, он сплошь был окутан многорядьем колючей проволоки, изрезан извилистыми траншеями. В обрывах берега зияли дыры, похожие на барсучьи норы. То были пулеметные гнезда. И среди сплетений траншей, и на опушке недалекой полусожженной рощи различались заснеженные дзоты, похожие издали на приземистые сугробы. На льду Невы зияло множество отверстий. Враги часто разрушали лед шквальным огнем и тем самым усиливали трудности на подступах к своим укреплениям не только для передвижения танков и орудий, но и для пехоты.

— Пока бьется сердце, не надо думать о смерти, — сила убывает от таких дум! — потирая озябшие руки, сказал вполголоса Тимофей

Игнатьич заметно волновавшемуся Галкину. И, нахмурив облепленные инеем брови, принялся неотрывно рассматривать противоположный берег, особенно дзоты.

— Эх, если б артиллеристы посшибали их начисто! — сказал Тимофею Игнатьичу Галкин, дыша себе за пазуху и поеживаясь.

— Начисто?.. Не бывает этого, нет!

Он хотел еще что-то сказать, но не успел. Огонь наших орудий с неистовым ревом и грохотом забушевал на том берегу, вздымая мерзлую землю, снег и льды. Он комкал и сметал прочь колючую проволоку, выдирал дзоты, охватывал их пламенем. Кипел дым, сгущалась его тень. Не утро — ночь распространилась над вражьим станом, ночь неумолимого разрушения и беспощадной смерти.

Многие бойцы повыдвинулись из своих укрытий.

— Наддай! — то и дело слышались возгласы. — Еще, еще наддай!

Охватившее людей возбуждение дошло до такой силы, когда теряется всякое чувство страха и рождается буйное желание засучить рукава!

Не ослабевая, основная мощь огня двинулась в глубину расположения врага. И тут взвились в гремящее небо несколько ракет. Нарядными зелеными и красными искрами они рассыпались над Невой.

Это был зов к штурму.

И все люди как-то строже, суровее стали. Молчаливо, но с силой, подобной крутому весеннему паводку, прорвавшему плотину, они хлынули на Неву, подняв полотнище снежной пыли. Справа пронеслись штурмовики, снизясь за Невой на бреющий полет.

Эту силу не могли не почувствовать даже те незваные гости, которые спрятались от огня в самой глубине своей обороны. А на Неве, раздирая лед, начали падать дальние тяжелые вражьи снаряды. Тогда бойцы — и те, которые поотстали от других, — кинулись к берегу еще настойчивее. Уже слышалось душное дыхание гари...

И вот он — берег... Загремели гранаты в граде автоматных очередей. Люди обламывали на руках ногти, цепляясь за вмерзшие камни, за глиняные выступы, — такая была перед ними крутизна. В шуме не было слышно ни треска вражьих пулеметов, ни свиста пуль, и потому странным казалось, когда тот или другой боец вдруг отставал, раненный, а иной падал замертво.

— Ты сдурел, батя! — крикнул Тимофею Игнатьичу один из бойцов, молодой, в распахнутом ватнике и лихо задранной к затылку ушанке. — Мешок-то тащишь зачем?!

— Орудуй, орудуй, молодец! — отозвался за Тимофея Игнатьича Галкин.

То тут, то там среди распростертых на черном снегу трупов оживали не разрушенные огнем орудий пулеметные гнезда врага. Эти гнез-

да смерти рвали гранатами. А откуда-то издали из дыма всё гуще свистели пули. Там действовал дзот. Вскоре увидели его. Уцелевшая, лишь слегка задетая снарядом мрачная трехамбразурная махина из толстых, в обхват, бревен, укрытая глыбами камня, казалось, сплошь ощетинилась злобным кипением огня. Некоторые бойцы ринулись было в обход этого дзота, но вскоре, попав под огонь второй амбразуры, залегли, а другие спрятались кто где мог.

«Письма-то дошли ли до них?.. — подумал Тимофей Игнатьич. — Далеко дети — на других фронтах. Далеко жена...»

Жадно проглотив горсть снега, потом еще и еще, волоча сбоку мешок, он пополз к дзоту, разгребая снег головой, плечами и силясь глубже и глубже вдавиться в него. Пули, казалось ему, злорадствовали над ним, воздух сделался горячим, густым, застревал в горле, а мешок превратился в непосильную обузу. Рождалось желание бросить его ко всем чертям и ползти с одними гранатами.

Он залег в воронке. И вдруг услышал, как слева от него с ближнего расстояния ударили из двух автоматов по амбразуре дзота, отвлекая огонь на себя. Это было для Тимофея Игнатьича, как он говорил после, счастливейшей минутой в его жизни. Опять наглотавшись снега, он стремительно поднялся во весь рост и, взмахнув раскидисто руками, упал обратно в воронку.

Минут пять лежал он, не показываясь. Тогда находившиеся в дзоте направили всю силу огня на тех, кто продолжал упрямо и учащенно бить из автоматов по амбразуре. И в это время, собрав всю силу, Тимофей Игнатьич кинулся к углу дзота. Он вскочил на его крышу, с непостижимым проворством вдавил в амбразуру мешок и для прочности спихнул к нему каменную глыбу. Облепил амбразуру наглухо и тогда перекатился к входной двери. Одной гранаты оказалось мало, пришлось потратить другую, противотанковую, и толстые бревна накатника рухнули, словно в погреб, выдавив оттуда клубы желтого дыма.

— Папаша, а как ты их, псов, надул-то! Взмахнул руками, будто они сразили тебя... — к Тимофею Игнатьичу подбежал с Галкиным молодой боец. По-прежнему в распахнутом ватнике и лихо задранной к затылку ушанке, он весь был в грязном снегу. — А ведь мешок-то с травой, мешок-то, оказалось, как помог тебе! — всё больше восторгался он.

— И вы помогли, — сказал Тимофей Игнатьич, шумно и хрипло дыша. Он весь дрожал от усталости, а глаза застилали слёзы. — Вы ж гвоздили по ним из автоматов?

— Мы... — сказал Галкин кратко. — Замаялся ты.

— Отдохнуть бы малость не мешало. Да некогда, дружок, некогда... живой покуда... Каких же проклятий не достойна война?!

5

Обнажив голову, задумчивый, скорбный, Тимофей Игнатьич стоял перед могилой. Он заботливо поправил свежий дерн, укрыл его зелеными ветками дуба и, поклонившись могиле, неровным шагом свернул на тропинку.

Ласково припекало утреннее солнце. Лес молчал. Изредка пролетали пули, сбивая с деревьев листья, и они, росистые, упругие, падали на землю медленно и молчаливо...

* * *

У землянки стояли бойцы с винтовками и автоматами; на поясах и в карманах — гранаты, шинели в земле и в глине, — суровые жители траншей переднего края. Изо дня в день, одолевая смерть, живя наперекор самой смерти, эти люди очень волновались здесь, у землянки, однако пытались не выказывать своего волнения друг перед другом.

Сюда пришел и Тимофей Игнатьич.

Он уже не раз и не два побывал в боях, умел владеть собой, но теперь волновался не меньше других, хотя этого никак нельзя было заметить со стороны. Стоял, прислонясь к дереву и слегка опершись на винтовку. О чем бы ни думал он, мысли его снова и снова возвращались к тому, что привело его сюда, к землянке.

Десятки раз он спрашивал себя придирчиво: а ладно ли продумал и взвесил всё, решившись принять на себя еще бо́льшую тяжесть в войне, в жизни, быть еще более ответственным во всех своих делах и поступках, — и не только в своих делах и поступках,— ответственным перед своей совестью, и не только перед своей совестью, но и перед каждым честным человеком?

Обо всем этом он спрашивал себя и сегодня утром, когда стоял перед свежей могилой.

«Ну, хватит, хватит!» — сурово сказал он себе, когда позвали его в землянку, где заседало партбюро.

Он сказал, что в довоенное время работал в колхозе плотником, что семья у него небольшая: жена и двое сыновей. Старший — тракторист, младший окончил среднюю школу и собирался в Горный институт. Теперь оба на фронте. Одела в шинель война. И, помолчав, признался:

— Больше не знаю, о чем говорить... — Но тут же, прислушиваясь к недалеким разрывам снарядов, хмуро прибавил: — В мирной жизни имел я малое понятие о врагах наших. Узнал теперь...

— И поэтому вы решили вступить в партию? — спросили его.

— Погибшего хочу заменить.

И, медленно подбирая слова, он рассказал, как в недавнем бою

увидел неподалеку от себя одного человека, совсем простого солдата. Был он тяжело ранен, жил последние часы.

— Врагов много наседало, и на меня навалилось немало, дух захватывало! Смотрю, помогает он мне, человек этот, не молчит у него автомат! Помогал до последнего дыхания... Простой такой с виду солдат. Узнал я после: коммунистом он был. Умер он, человек этот. Вот тут, в лесу, похоронен.

Проворно своими цепкими пальцами он свернул козью ножку и сунул ее за ухо.

С ним побеседовали еще недолго, попрощались, и он вышел из землянки. Здесь его плотно обступили бойцы — как и он пришедшие сюда, на партбюро, связать свою судьбу с партией, расспрашивали его наперебой: и какие вопросы ему задавали, и про что больше всего.

— Всё просто было у меня, — несколько раз повторил он. — Ведь сперва-то в сердце самом решается дело такое... Тут, ребята, главное — решение! — и быстро зашагал туда, откуда пришел — в траншею переднего края.

ПЕТР ОЙФА

РАССКАЗ О СОЛДАТСКИХ ФОНАРИКАХ

Марии Григорьевне Петровой

Густые тени в репетиционной
В вечерний час во всех углах сошлись.
Лишь уличною далью заоконной
Был освещен холщовый верх кулис.
Нам не хотелось зажигать огня, —
Рассказчице мешала б яркость света.
...Всё поначалу было для меня
Лишь будничной беседой для газеты,
А для нее — уже в который раз —
Докучным беглым интервью — не боле.
Но вот спросил я:
— А для вас, для вас
Какая роль вдруг стала вашей ролью? —
Я женщины лицо увидел близко,
И сеть морщинок у припухлых век.
И многое сказал мне об артистке
Сединок молодых уже заметный снег...

— С рассвета в Ленинграде осажденном
Снег шел весь день. — Так начала она. —
Какой бомбежки нынче ждать еще нам!
И странная стояла тишина.
Туманным пологом врагу закрыло цели,
Но каждый дом здесь был настороже!
В тот день спектакль очередной смотрели
Фронтовики.
Он начался уже.
Морозный зал «Комедии»,
и стужа
Среди кулис привычная была.
Свой полушубок затянув потуже,
И вправду я согреться не могла.
Я в «Русских людях» Валюшку играла,

Разведчицу.
Я на заданье шла.
Вдруг взрыв снаряда, будто среди зала.
На сцене тьма меня обволокла.
Я в полной тьме.
Я растерялась.
Словно
Одна... Одна...
И ни души вокруг.
Я все слова забыла.
Лишь неровный
Метался сердца одинокий стук.
Но в зале где-то вспыхнул острый лучик...
Один... Другой...
Затем еще... Еще... —
Фонариков карманных свет летучий...
Они во тьме светились горячо.
И сотни их слились в одном потоке,
В одном луче.
И он повел меня.
Я снова — Валя.
Я в бою жестоком.
Я тоже снопик этого огня.
Так до конца спектакля.
До конца
Фонарики солдатские светили.
Нет, не они!
То русские сердца
На подвиг звали и опорой были.
Как ратный труд —
была мне эта роль!
Я в этой девочке для замершего зала, —
Свою надежду,
скорбь свою и боль, —
Я в ней тогда сама себя играла.
. . . .
...Надвинув шапки низко, до бровей,
Я вспомнил — в этом зале мы сидели,
И вдруг разрыв снаряда у дверей
И — мрак на сцене, как в закрытой щели.

Я тоже выхватил фонарик свой,
И бледный лучик бросился на сцену

С другими вместе — к девушке родной,
К неповторимой жизни и бесценной.
Хоть к Пулкову — в траншеи снеговые
Ее пусти сейчас — и поведет бойцов!
Как будто атакующей России
Пред нами встало гневное лицо.
И мы в тот боевой и грозный час
Все, как один, отдавшись власти чувства,
Увидели прекрасный без прикрас
Бессмертный подвиг русского искусства.

М. МИХАЛЕВ

ОДИН ДЗОТ

После обеда орудийному расчету старшего сержанта Полчанова приказано было отдыхать: батарее «сорокапяток», как называли в стрелковом полку свои мелкие короткоствольные пушки калибром в сорок пять миллиметров, предстояла боевая операция.

На участке обороны полка было спокойно. Лишь время от времени в похолодевшем, уже осеннем воздухе раздавался воющий звук снаряда и глухой, крякающий разрыв, — методично, будто по расписанию, немцы обстреливали соседний поселок и то, что осталось от завода.

Изредка то на левом фланге, то справа начинали стучать автоматы. Все понимали, что это тоже стрельба несерьезная. Выпустив по нескольку очередей, автоматчики успокаивались.

Одним словом, обстановка на переднем крае благоприятствовала отдыху, но, как нарочно, никому в орудийном расчете спать не хотелось. К тому же пришли газеты сразу за два дня. И вот наводчик орудия и комсорг батареи Юрий Климентов, больше похожий на десятиклассника, чем на солдата, примостился на опрокинутом ящике возле единственного в землянке окошка величиной с форточку—откуда сумеречно брезжил свет — и громко, по-дикторски, отчеканивал каждую фразу:

— «От Советского Информбюро. Оперативная сводка за тридцать первое августа...»

Чтение вслух было постоянной, хотя и не официальной обязанностью Климентова. И он сам, и слушавшие его заранее знали, что сводки должны быть интересные. Вот уже полтора месяца, как они были каждый день интересные: наши наступали на юге сразу на нескольких направлениях. Замполит батареи обвел у себя на карте красным карандашом освобожденные города — Орел, Белгород, Карачев, Харьков, Таганрог...

Маленький, напоминавший туго накачанный футбольный мяч, Полчанов сидел на земляном лежаке, устроенном для него у стены справа, калачиком подогнув под себя босые ноги с короткопалыми широ-

кими ступнями и обхватив руками колени. Остальные трое, тоже разутые, лежали на нарах напротив входа, повернувшись головами к чтецу.

— «Вчера, тридцатого августа, наши войска овладели важным опорным пунктом обороны Смоленского направления — городом Ельня, — с выражением читал Климентов. — На днях войска Центрального фронта... стремительно развивая наступление, продвинулись вперед до шестидесяти километров, вступив в пределы Северной Украины...»

Сводка за первое сентября сообщала о ликвидации вооруженных частей Таганрогской группы немцев. Климентов с явным удовольствием перечислял номера разгромленных гитлеровских дивизий и количество уничтоженной немецкой военной техники:

— «...самолетов противника — двести двенадцать, танков — пятьсот тридцать семь, орудий всех калибров — четыреста девяносто четыре...»

А снаружи по-прежнему доносились всё те же звуки: короткое завывание и немного спустя — разрыв. Завывание — и разрыв. С длительными интервалами, как бы специально затягивая время, немецкая дальнобойная батарея продолжала свою бессмысленную разрушительную работу.

У каждого из пяти артиллеристов была своя жизнь и своя судьба.

Сам Полчанов в мирное время служил на Псковщине инспектором райфинотдела. Тогда любимым его занятием было коллекционировать почтовые марки.

Юрий Климентов, ленинградец, был студентом Герценовского педагогического института.

Лежавший на нарах с правого края замковый Родионов — пожилой, сутуловатый мужчина, с черными, жестко торчавшими усами — тоже коренной ленинградец — был человеком со странностями. Усы он начал носить с тех пор, как узнал, что при воздушном налете на Васильевском острове разбомбило булочную, в которой стояла в очереди его жена с малолетним сыном. Когда приходили на батарею газеты, он долго и пристрастно осматривал их, страницу за страницей: каков подбор шрифтов в заголовках и какова печать. Наверно, это как-то связывало его с прошлым: прежде Родионов много лет работал в типографии.

Рядом с ним вытянулся во всю длину, положив подбородок на скрещенные руки, заряжающий Григорий Яковенко, красиво и сильно сложенный, с будто писаными бровями. До войны Яковенко подвизался «затейником» где-то на Днепропетровщине.

— Два притопа и три прихлопа, — сохраняя серьезный вид, пояснял он.

С левого края располагался подносчик снарядов Макаров, рослый и жилистый, но нескладный боец. Его лишь неделю тому назад прислали на батарею: прежний подносчик попал в медсанбат, а оттуда — в тыл, в эвакогоспиталь.

Когда связной из штаба привел Макарова к Полчанову, старший сержант с одного взгляда увидел и пилотку, нахлобученную на самое темя, и подпоясанную по-бабьи шинель. К тому же шинель была в пятнах и прожжена в одном месте. «Вот она, пехота, как они понимают роль артиллерии, какое дают пополнение на батарею!»

— Из хозкоманды? — спросил Полчанов, еще раз оглядев пришедшего, будто просвечивая его насквозь. — Поваром был?

— Зачем поваром... строевой я, — отвечал Макаров с неожиданным достоинством.

Время прорезало частые борозды на его лице и не задело только глаза: они остались у него ясные и доверчивые, наверно совсем такие, как в детстве. Глаза немного смутили старшего сержанта.

— Откуда, товарищ, родом?

— Из Вологодской области. Колхоз имени Кирова.

— В Ленинграде бывал?

— Бывать не бывал, а слыхал. Наше село Большая Дмитриевка тоже почетное. С самого девятьсот пятого года. Старики рассказывают — первые забастовку устраивали да помещиков раскулачивали.

Он, по-видимому, любил поговорить.

Из дальнейшего выяснилось, что Полчанов всё-таки прав — Макаров в своем колхозе был конюхом, потом — животноводом, а на войне с первого дня — повозочным. Лишь две недели тому назад по его настоятельной просьбе перевели его в строй. Но что-то удержало Полчанова: он не пошел к командиру батареи просить замены, как думал вначале, хотя ему и было ясно, что вояка из Макарова, мягко говоря, никакой.

Теперь, слушая сводки Информбюро, Макаров приподнялся на локте, его крупноносое и обветренное лицо оживилось, то и дело он порывался что-то сказать.

— Вот это дают так дают! — воскликнул он, радуясь, едва Климентов окончил чтение. — Вот это — да!

— Там люди воюют, — многозначительно изрек Яковенко, лежа всё так же на животе, подчеркнув последнее слово — воюют.

— Что про нас есть — про Ленинградский фронт? — нахмурясь спросил Полчанов. Он видел, что Яковенко уже принимается за свой «репертуар», а старший сержант не любил этого.

— Есть в эпизодах, — отвечал Климентов.

«Эпизодами» называли сообщения с фронтов, дополнявшие и развивавшие основную сводку.

— Вот, слушайте... «На Ленинградском фронте наши снайперы истребили до двухсот солдат и офицеров противника. Огнем артиллерии уничтожено восемь орудий и три минометных батареи противника, разрушено сорок два дзота...»

— Про Ленинградский фронт слабо что-то сообщают, — сожалеюще вздохнул Макаров. — Всё только про снайперов да про дзоты.

— Я ж говорю, на тех фронтах люди воюют, — повторил Яковенко. — Он повернулся к Макарову, и в глазах его зажглись огоньки. — Вот ты, батя, в пехоте служил. Наверно, часто в боях бывал?

Тот сконфуженно улыбнулся:

— Один только раз пришлось.

— Зато фашистов положил, наверно, до дуры?

Макаров помедлил.

— Стрелять — стрелял, — отвечал он с тем же простодушием, — но врать не хочу, попал или нет — не знаю. Вгорячах дело было.

Яковенко подмигнул:

— Когда целился, закрывал оба глаза?

Климентов фыркнул. Родионов и тот не удержался от улыбки.

— Напрасно ты, парень! — с укором возразил Макаров. — Вот это напрасно! Я у командира роты сколько раз просился на истребление сходить...

— Боец Яковенко, кончайте свое зубоскальство, — подал голос Полчанов.

— Нет, про меня ты, парень, зря... Он же, Гитлер, сам-пятнадцать на нас пошел, — Макаров обращался уже не к одному Яковенко, а ко всем в землянке. — Пятнадцать государств против нас поднял! А у меня трое детей жить хотят. В деревнях бабы на себе пашут. Женщины... Ведь им же рожать! Я сколько раз у командира роты просился...

Яковенко сказал примирительно:

— Ну ладно, ладно, батя. Ты у нас чересчур серьезный. С тобой и посмеяться нельзя. — Он с хрустом потянулся. — Эх, подбросили бы на Ленинградский фронт силенки...

— Главное — артиллерию и авиацию, — вставил Климентов.

— ...Подбросили бы силенки, долбанули бы его что надо — покатился бы Гитлер не хуже, чем на юге. Верно, старший сержант? Об чем там только командование думает...

— Вы не за командование беспокойтесь, товарищ боец. Командование и без вас знает, как воевать.

В душе Полчанов и сам томился: действительно, как прорвали блокаду, так и стали. В душе он не раз во всех подробностях рисовал себе картину стремительного наступления. Первый удар — на

Псков. Со Пскова — на Ригу, с Риги... Дома, под Псковом, попали в фашистскую оккупацию его жена и мать. Но война недаром бросала его в самые отчаянные места Ленинградского фронта — под Пулково, под Синявино, на «пятачок» у Невской Дубровки.

— Будет приказ «вперед» — пойдем вперед. А пока нет приказа...

Считая, что старший сержант не в духе, Яковенко смолчал.

Климентов принялся читать заметки о Ленинграде. Их слушали всегда хорошо, хотя для постороннего человека они, наверно, представляли мало интереса.

«Убрать урожай овощей без малейших потерь».

Заголовок сам говорил за себя. От замполита, от бойцов своей батареи — из тех, кому приходилось бывать в городе, — артиллеристы знали, что не только на пустырях, но и на садовых клумбах, в скверах, там, где прежде сажали георгины и гладиолусы, теперь в Ленинграде росли картошка, капуста и помидоры. Зеленеющие огородные грядки покрывали вдоль и поперек Марсово поле.

И вот газета критиковала директоров подсобных хозяйств и совхозов, — в городе существовали теперь совхозы. «До сих пор не заготовили бочек для засолки ботвы и капустного листа!»

— Это, значит, хряпу на зиму запасают, — догадался Макаров. — Щи из хряпы варить будут.

И вздохнул.

Промысловая кооперация начала выпускать из отходов пакли и пряжи, так называемой путанки, материал для отепления водопроводных труб, — говорилось в другой заметке. Тон ее был радостный: теперь не будут замерзать трубы. У всех еще было свежо в памяти, как в первую блокадную зиму люди носили воду с Невы.

На той же странице был помещен отчет о собрании в Географическом обществе. С путевками Политуправления фронта ученые ходили по госпиталям, по воинским частям и читали лекции. Больше полутора тысяч лекций по географии!

Публичная библиотека торжественно отметила юбилей одного из старейших своих сотрудников. Правительство наградило орденом этого человека, отдавшего книгам больше пятидесяти лет.

Под рубрикой «Сегодня и завтра в театрах и кино» сообщалось, что в Большом драматическом театре имени Горького идут «Кремлевские куранты», в Музыкальной комедии — «Свадьба в Малиновке»; в кино демонстрируются картины «Воздушный извозчик» и «Миссия в Москву».

— Вот ленинградцы, вот это — народ! — воскликнул Климентов с чувством. — Город по нескольку раз в день бомбят, на улицах рвутся снаряды, а они всё равно не гнутся, не теряют своего достоинства.

— Да-а, ленинградцы — это герои, — сказал Родионов. — У них

почти в каждой семье потери. Детишки есть убитые... Думаешь, легко это сносить? Легко терпеть?

Разговор прервался.

— Эх, на «Свадьбу в Малиновке» я бы теперь сходил, — опять всем телом потянулся Яковенко. — И чтобы рядом — деваха...

Полчанов только покосился в его сторону: трепач, трепач, а иногда у него и к месту получается, — ведь заулыбались шутке...

Полчанову захотелось сказать несколько слов Макарову.

— Ты послушай меня, товарищ Макаров. Вот окончится эта война, вернешься ты в свой колхоз и будешь рассказывать своим детям и землякам про Ленинград, про то, что мы читали сегодня в газетке. И ваши земляки-колхозники, ваши дети — вот попомнишь меня! — будут гордиться вами, тем, что вы защищали такой город.

— А про моих детей не говорит, — подмигнул Яковенко. — Видал, какой тебе почет, батя?

— Наступать надо, старший сержант, — с неожиданной страстью снова заговорил Родионов. — Бить фашистского гада, гнать с советской земли, отомстить за всё! Читал в газете, что Илья Эренбург пишет?

Разговор пошел о статьях Эренбурга, а потом опять о дивизиях, которым салютовала Москва, о Ленинграде и ленинградцах. Так они почти и не поспали. Когда начало вечереть, их подняли на ужин, а вскоре после того у входа в землянку, где в глинистом грунте были вырублены три ступеньки, послышался топот оскальзывающихся сапог и в дверь просунулась голова посыльного командира батареи.

— Полчанов, комбат приказал — выводи людей.

Они сидели уже в ватниках, ожидая только этой команды.

— Подымайсь, ребята, — сказал Полчанов.

Накануне весь день моросил дождь, первый вестник приближающихся осенних дождей, и глина на дне траншеи стала вязкой, а в выбоинах, куда натекала вода, — полужидкой, как сметана. Стараясь ступать с краю — правее или левее, где было не так намешано, артиллеристы шагали с лопатами в руках будто бы на работу: они шли за пушкой. Им предстояло как раз то, о чем читал Климентов в сводке Информбюро по Ленинградскому фронту: наблюдатели засекли новый немецкий дзот; надо было уничтожить его прямой наводкой.

За исключением Макарова, весь расчет уже не раз участвовал в подобных операциях, это стало для них действительно почти как работа. А Макарова Полчанов проинструктировал накануне:

— Главное — разворотливость. Побыстрей отстрелялись, убрали орудие — и бегом, пока он не опомнился. Как опомнится — сразу начнет давать артиллерийский и минометный огонь. Так что не зевай — выполняй команду, как молния.

Но, хотя за ними числилось с полдесятка разбитых дзотов, артиллеристы не понимали еще всего смысла событий, в которых участвовали. Они не знали, да и не могли того знать, какая напряженнейшая работа штабов скрывалась за внешне однообразными сообщениями Информбюро по Ленинградскому фронту и какое значение в планах этих штабов имела каждая огневая точка врага.

...Пушка стояла неподалеку в вырытом для нее укрытии. Накат из бревен, присыпанных землей, маскировал ее и сверху. В полутьме, одна занимая всё свое стойлище, она выглядела внушительнее.

Забравшись к ней под накат, пристроившись кто на лафете, кто на корточках, артиллеристы как по команде закурили. Они курили молча, затягиваясь медленно и нечасто.

— Кончай, ребята, — сказал Полчанов и потушил о каблук цигарку.

Тотчас все поднялись. Родионов с Климентовым подвязали под сошник низенькую железную тележку, чтобы под сошником тоже были колеса, затем Яковенко и Макаров, как самые рослые, впряглись в брезентовые лямки, а остальные взялись за тело пушки и разом выкатили ее из укрытия.

К тому времени совсем стемнело. Воздух наполнился шумом, будто вокруг вразнобой стучали ткацкие станки и визжали пилы, причем какая-то упорно драла по одному месту — по суку, и будто тут же рядом ухал паровой молот, и сразу во многих местах работала автогенная сварка. Ее золотистые искры неслись в темноте длинными струями, перекрещиваясь и роясь, как мухи. Шел ночной огневой бой.

В такие минуты каждого тянет поближе к земле, но пушку надо было катить по верху, по давно не паханному, задичавшему, беспощадно изрытому гитлеровской артиллерией полю, катить не меньше двух километров и всё вдоль линии фронта, чуть не с одного фланга полка на другой.

Орудийный расчет принялся изо всех сил тянуть, толкать, волочить вперед свою ношу.

Теперь каждый из них сам по себе как бы перестал существовать. Они составляли теперь одно целое. Каждый из пяти, со всем, что было свойственно ему одному и отличало его от других, являлся теперь лишь частью этого целого, действуя только в зависимости от остальных частей, каким-то особым чувством молниеносно угадывая, что́ именно требуется от него в данное мгновение. Никто не думал о том, что на рассвете они будут стрелять и по ним, наверно, тоже, что завтра в это самое время придется тащить пушку обратно. Сейчас самое главное было — дотащить ее туда. Быстрей — вот, что было самое главное.

Стремясь сократить расстояние, Полчанов заставлял людей с ходу перемахивать через траншеи, иногда даже не подкладывая досок под

Тетя Даша у комода.
Даша кольца достает.
В оборонный фонд народа
Даша кольца отнесет.

Окна ТАСС.

-Ты кольцо, да я кольцо-
Вот и будет ружьецо.

Ты в Госбанк, да я в Госбанк-
Нанесем рублей на танк.



Так ленинградцы доставляют дрова.

колеса пушки, а одна и та же траншея, извиваясь в земле, попадалась им на пути по нескольку раз. Распаленно дыша, они неслись напрямик, спотыкаясь о кочки, проваливаясь в темноте в какие-то ямы, а пушка то наезжала на них, толкаясь стальными боками, то вдруг, как бы заупрямясь, упиралась всей тяжестью своих семисот восьмидесяти килограммов.

Полчанов тянул ее вместе со всеми, но иногда выходил вперед, показывая дорогу, по одному ему известным признакам различая разминированные саперами проходы. Наконец он остановился. Все тяжко опустились на землю, рукавами ватников вытирая лица. У Макарова рука сама потянулась было к карману, но он взглянул на других и убрал ее, поняв, что курить нельзя. Ни курить нельзя, ни отдыхать нельзя: до немцев было всего триста пятьдесят метров.

— Подымайсь! — опять скомандовал Полчанов, берясь за лопату.

Лопатами работали быстро, беззвучно, только отплевываясь и облизывая языком сохнувшие губы.

Иногда немцы пускали осветительные ракеты. Долго горели они в небе, всё вокруг освещая бледным, мертвенным светом. Замерев на месте, артиллеристы стояли не шевелясь. Гасли ракеты — снова принимались рыть.

Рассвет застал их на том же месте. Пригнувшись около пушки за свежим, пахнувшим сыростью бруствером, перемазанные рыжеватой землей, пятеро ищуще вглядывались вперед. Усталости они почти не замечали.

Впереди лежало такое же, как и позади, непаханое поле, с такими же буграми и ямами, с такими же кустиками состарившейся осенней травы, и всё же оно было не совсем такое. Оно было «ничье».

Но поле вскоре кончалось, а за ним стелился туман — там шла лощина. За лощиной поднимался косогор. Его желтоватый песчаный откос, до половины тоже затянутый туманом, был гол и пустынен. Ничего живого не было видно на нем — ни зеленого кустика, ни вороны.

На том косогоре и сидели немцы. Там были прорыты почти такие же, как и у нас, траншеи со сложной системой ходов сообщения, выкопаны землянки и блиндажи, и там же находился дзот, который предстояло разрушить. Туман пока закрывал его.

Утомившись за ночь, немцы спали, выставив часовых. На переднем крае с обеих сторон царила удивительная, совершенно мирная тишина. Давно уже артиллеристы не слышали такой тишины. Редкие звуки доносились до них с необычайной чистотой и ясностью.

Макаров, примостившийся на коленях у самого бруствера рядом с Родионовым, прежде других уловил далекий крик в небе, поднял голову и подтолкнул локтем товарища — гляди!

Как перламутром, посверкивая оперением, порозовевшим в первых лучах, высоко летели две чайки. И Родионов, и Юрий Климентов, и Яковенко — весь расчет невольно залюбовался птицами, так свободно парившими в светлом, чуть подсиненном просторе.

Чайки летели как раз вдоль линии фронта — одна ближе к немецкому переднему краю, другая — к нашему, летели дружно и ровно и кричали, наверно, от радости — оттого, что взошло солнце, оттого, что настало утро, и оттого просто, что весь мир вокруг полон жизни.

Потом над лесом справа за косогором взвилось и раскрылось светлое облачко, и послышался частый ритмичный стук. Деловито попыхивая всё новыми и новыми облачками, там шел поезд.

Эти звуки вернули артиллеристов с неба на землю — то был немецкий поезд. Он шел спокойно среди бела дня и не боялся, будто бы у себя дома.

Дать бы ему огонька!

А поезд постукивал и постукивал. Тук-тук-тук-тук... Пых-пых... Тук-тук-тук-тук...

Рядом с тем местом, где сидели в засаде артиллеристы, позади них темнел вход в траншею. Это была наша траншея, какой-то боковой «ус». Отстрелявшись, они смогут добежать по нему до землянок пехоты. Но пока рано было думать об этом. Пригнувшись за бруствером, все глядели на косогор. Полчанов озабоченно хмурил белесые брови: теперь главное было не тянуть, а они упускали время. Солнце будто нехотя поднималось по небосклону, амбразура дзота вдали всё еще еле-еле вырисовывалась сквозь туман.

А утро было росистое, краски вокруг — мягкие, нежные.

— Ты вздохни, вздохни-ка! — зашептал Макаров Родионову. Лицо у него было счастливое. — Ты понюхай: сенцом попахивает!

Воздух, действительно, пах свежим сеном. Это пахла, согреваемая солнцем, увядающая трава. Хоть и медленно, солнце всё же двигалось. Туман постепенно отслаивался волокнистыми раздерганными слоями, будто кто-то отдирал от него сверху слой за слоем и, отодрав, осторожно сдувал.

Туман не только отслаивался, но весь поднимался от земли и заметно редел. Уже очистились от него и лощина, и подножие косогора, поросшее сухим высоким бурьяном; только середина склона, там, где находился дзот, всё еще была подернута белесоватой пеленой. Даже не пелена, а только дымка висела в воздухе, но она мешала стрелять.

Шагах в пятнадцати от артиллеристов в самом начале траншеи находился командир взвода Бояринцев — молоденький, недавно прибывший с курсов младший лейтенант. Бояринцев тоже томился; то и дело он подносил к глазам бинокль. Полчанов, неотрывно следивший за ним, вдруг заметил, как тот весь подался вперед.

Полчанов тоже поднял к глазам бинокль и увидел то, что видел Бояринцев: у подножия косогора, там, где рос бурьян, стояли два гитлеровских солдата — один повыше, другой пониже. Они спустились по склону почти до самой лощины и, остановившись здесь, наблюдали теперь за нашим передним краем. Бурьян доходил им до груди, открывая только их плечи и головы.

Эти головы в касках, похожих на черепах, были хорошо различимы и так, простым глазом, если только знать, в каком направлении смотреть. Полчанов тихонько показал пальцем Климентову, и теперь весь расчет видел их. Вон они, глядят в нашу сторону!

Но солдаты не замечали артиллеристов. Они не замечали и бруствера, скрывавшего пушку. Наверно, они только с рассветом вышли на свой пост, когда наши уже кончили рыть, а издали бруствер сливался с землей. Во всяком случае, оба стояли спокойно, свободно, держа одну руку на прикладе, а другую на стволе автомата, висевшего поперек груди. Бурьян скрывал от глаз автоматы, но они угадывались по положению рук и плеч.

Пятеро возле пушки, конечно, не раз видели гитлеровских солдат — бегущими и кричащими во время атаки, убитыми, пленными, но никому не случалось видеть их вот так, совсем как на картинках в цветных журналах, которые иногда приносили разведчики, — стоящими в полный рост, в позе завоевателей, с любопытством разглядывающими нашу землю, наши заросшие овсюгом поля.

Яковенко, сидевший на корточках, прислонившись крутым плечом к колесу пушки, быстро обернулся. Лицо его было недоуменно растерянным.

— Хлопцы... это что же, хлопцы? — Голос его сразу осип, слова, казалось, застревали в горле. — Мы тут как суслики в норке, а они... А?

Родионов весь побелел, торчащие усы его, от этого ставшие как бы еще чернее, странно задергались, словно начав жить своей собственной, самостоятельной жизнью.

— Винтовку бы надо... Где взять винтовку, товарищи? — зашептал он. — Первого наверняка снять можно.

А те двое стояли по-прежнему.

Тогда Макаров, пригибаясь, вскочил с колен, двумя руками нахлобучил поглубже пилотку и, всё так же пригибаясь, кинулся в траншею к Бояринцеву.

— Товарищ младший лейтенант! Разрешите дадим по ним... Один снаряд, товарищ младший лейтенант!

Не дожидаясь ответа, он метнулся к снарядному ящику. Родионов, по-прежнему бледный, с дергающимися усами, первый схватился за лафет, чтобы выкатить пушку из укрытия. Яковенко с Климентовым тоже взялись вместе с ним.

— Стой! Стой! — яростным шепотом остановил их Полчанов. — Товарищ младший лейтенант!..

Растерявшийся от неожиданности Бояринцев пришел в себя:

— Отставить! Кто вам давал команду, товарищи?

Полчанов ругался всё тем же яростным шепотом:

— Сорвать боевое задание хотите? Чтобы он сейчас кидать сюда начал?

Расчет снова затаился за бруствером. Но пять пар глаз, — Полчанов не составлял исключения, — неизменно, как привязанные, возвращались взглядом к одному и тому же месту — туда, где среди сухих будыльев, виднелись две головы в касках, похожих на черепах.

У тех двух гитлеровских солдат тоже, конечно, были свои матери и дети, жены или возлюбленные. И, может быть, эти двое тоже по-своему наслаждались утром, его медленно разгоравшимися красками. Но артиллеристы не думали и не могли думать об этом. Они не могли рассуждать и таким образом, что солдаты выполняли приказ своего командира роты, над ротным был командир полка, а дальше шла еще целая лестница — командир дивизии, командующий армией, командующий фронтом генерал-полковник Йодль, от имени фюрера подписавший приказ о полном разрушении Ленинграда, и, наконец, главный преступник, главный виновник войны — Гитлер. Перед артиллеристами были враги, один вид которых ударял в сердце и в голову, и все пятеро — и бывший студент, собиравшийся стать учителем, и рабочий-типограф, много лет печатавший газеты и книги, и колхозный животновод, чудаковатый Макаров, жалевший всякую тварь, — они испытывали и злость, и почти унижение из-за того, что не могли немедленно, вот сейчас уничтожить этих врагов.

Ни Климентов, ни сам Полчанов — никто не мог потом сказать, сколько именно времени продолжалось их мучительное состояние, пока не раздался голос Бояринцева, повторявшего команду комбата. Они вскочили на ноги, полные отчаянности и жестокой радости от того, что сейчас произойдет. Одним рывком пушка была выкачена из укрытия и установлена.

— Давай, ребята, кроши! — вскричал Макаров, подавая первый снаряд.

Этот снаряд разнес правый верхний угол дзота. Хорошо было видно, как взметнулся кверху черный фонтан земли и закувыркались в воздухе балки и бревна.

Второй снаряд угодил в левый верхний угол.

— Дава-ай! — уже не так громко, но полным неистовства голосом повторял Макаров. — Дава-ай! — Его пилотка съехала на затылок, лоб вспотел, глаза зло округлились. — Дай им, ребятки, за всё — за детишек убитых, за женщин!

Третий снаряд попал в самую амбразуру. Третий выстрел слился с выстрелами других орудий батареи, тоже выдвинутых ночью на прямую наводку и открывших огонь по блиндажам и землянкам. И тогда утренняя тишина сменилась криками. Дикие, полные ужаса, они неслись с косогора.

А расчет Полчанова выпускал снаряд за снарядом. Все пятеро знали, что сейчас, вот сию минуту, оживут немецкие батареи, заработают минометы и пулеметы, но это сидело где-то в глубине сознания, это было приглушено, заслонено чувством более сильным и властным. А приземистая, короткоствольная «сорокапятка» всё била и била по дзоту, по косогору, изрыгая рыжее пламя и сизый сернистый дым, и издалека была видна возле нее долговязая, жилистая, стремительно двигавшаяся фигура Макарова.

Через полчаса артиллеристы, все в глине, потные и охрипшие, возвращались по траншее к себе в землянку. Как всегда, Макаров шел с Родионовым и вспоминал что-то из прежней жизни.

— У скотинки-то сердце привязчивое, — певуче рассказывал он, сияя глазами. — У нас на ферме одна коровенка была — как собака за дояркой ходила. Право слово! Куда доярка, туда и она...

ЕЛЕНА КАТЕРЛИ

АТТЕСТАТ

Вскоре после боев по прорыву блокады капитан Володин сидел в землянке командира части. Он сидел за перегородкой около печки, ждал, пока начфин кончит докладывать о своих делах, и, сморенный усталостью, задремал в своем уголке.

Когда он очнулся, разговор уже кончался и из-за перегородки донеслась последняя фраза начфина:

— Значит, аттестат жене Павлова прекращаем выписывать.

Начфин откозырял и ушел, а командир вызвал Володина. Володин вскочил с табуретки, быстро провел рукой по лицу, на котором еще чувствовал дремотную паутину короткого сна, и, шагнув к столу, сразу вспомнил всё, что ему нужно было доложить.

Через полчаса он был уже свободен и стоял на пороге командирской землянки.

Темная вьюжная ночь неслась над землей. Тоненькое деревцо, чуть видное в темноте, изогнулось от порывов ветра, и слышно было, как трепетали его сухие, безлистные ветви. Сухой снег, как белая пыль, с головокружительной быстротой несся над дорогой, и острый луч фонарика с трудом пробивался в этой пелене.

Володин застегнул все крючки полушубка и шагнул в темноту. Ветер с силой ударил ему в грудь, в лицо и колени, не давая дышать, идти, двигаться. Он дул с Невы, и, казалось, в его порывах был весь леденящий холод воды, проступившей из пробитых во льду воронок. Вода эта после удара снаряда взметывалась вверх черным фонтаном, а потом, курясь легким дымком, выплескивалась на лед и начинала застывать, сохраняя причудливые изгибы волны.

Около такой вот воронки и был убит лейтенант Павлов, о котором говорил сегодня начфин. Володин вдруг до мелочей вспомнил и эту воронку, уже застывшую, с зеркальным ледяным озерцом посредине, и бурные наплывы ледяной корки кругом, и распластанное тело Павлова. Павлов лежал на распахнувшемся полушубке, раскинув руки и запрокинув голову. Никаких следов ранения не было на нем заметно. Аккуратно застегнута и заправлена была суконная гимнастерка, чи-

стое красивое лицо походило на желтоватый восковой слепок, а русые пушистые волосы и у мертвого сохранили свой золотистый оттенок. Одну откинутую полу полушубка лизнула выплеснувшаяся из воронки вода, да так и застыла, приковав его к невскому льду.

Володин мало знал Павлова, — они были в разных подразделениях. Но когда хоронили героев, погибших при прорыве блокады, он заметил, что люди, знавшие Павлова, говорили о нем с особенной теплотой и уважением. Похороны были скромные и короткие — последний долг, отдаваемый в промежутке между боями.

Вскоре часть перешла на другой участок, и впечатление о погибшем изгладилось из памяти Володина.

Сейчас слова начфина — деловые, скучные слова — почему-то вдруг необычайно взволновали Володина. Аттестат... Значит, у убитого русого лейтенанта была семья, близкие люди, которых он любил и о которых заботился, чьи имена, быть может, прошептал перед смертью. Кто это был? Старушка-мать, где-то далеко-далеко от фронта с тревогой ожидающая писем от сына? Или отец — широкоплечий сибиряк-колхозник с золотистой бородой, такой же пушистой, как волосы у сына? Или жена и маленькие ребята, беспечные, шумливые, для которых отец был всем — и лаской, и любовью, и героем, и кормильцем?

Володин остановился, погасил фонарик и засунул иззябшую руку в теплую, нагревшуюся в землянке меховую рукавицу. Острое, непреодолимое желание узнать что-либо о Павлове овладело им. Но где узнать? Батальон, в котором служил погибший, находился сейчас в нескольких километрах. Как идти туда по заметенным незнакомым тропинкам в эту злую вьюжную ночь? Как будить и тревожить ночью уставших за дни боев людей? Он знал, что этого нельзя сейчас сделать, и всё-таки не мог совладать с собой. «Пойду-ка к начфину, — решил он, постояв несколько минут в раздумье. — Наверное, он знает что-нибудь о Павлове».

Начфин помещался в крохотной комнатушке наполовину разрушенного дома. Он сидел за столом, на котором чадила «летучая мышь» с треснувшим, оклеенным бумажными заплатками стеклом, и быстро вертел ручку арифмометра.

— Разве я вам не выдал денег, товарищ капитан? — спросил он, когда Володин вошел в комнату. — Я думал, что со всеми рассчитался.

Володин стряхнул снег с треуха, достал пачку «Беломора», угостил начфина и, закурив, уселся около стола.

— Нет, деньги я получил, товарищ начфин. Я к вам по другому делу пришел. Расскажите-ка мне, что вы знаете о Павлове? О том, о погибшем, про чей аттестат вы сегодня командиру докладывали.

— А что я о нем знаю? — растерянно сказал начфин. — Ничего. Ровным счетом.

— Как ничего? А кому же, например, деньги по аттестату переводил?

— Это могу сообщить, если интересуетесь. Сейчас найдем копию с его аттестата.

Он порылся в бумагах, полистал что-то в папках и сказал:

— Вот, жене, Наталье Ивановне Павловой, в город Ленинград, в Выборгский райвоенкомат. Посылал целиком все узаконенные приказом шестьдесят процентов своего оклада...

Он поднял глаза и выжидающе посмотрел на Володина. Володин курил, и волокна дыма тянулись от папиросы к «летучей мыши». В комнате было холодно: из заколоченного досками окна дул пронзительный, пахнувший морозом ветер.

Ветер стучал полуоторванной ставней, и от этого на сердце становилось тревожно и грустно.

— Так, так, — медленно промолвил Володин. — А теперь, значит, не будет она этих денег получать?

— Не будет, — ответил начфин и добавил сочувственно: — Да, вдовье положение не сладкое. Что ж делать? Война!

— Война! Это верно, — сказал Володин. — Но всё же...

Он замолчал и представил себе, как придет в военкомат эта неизвестная ему женщина и узнает о постигшем ее горе. Может быть, она заплачет и упадет, придавленная, разбитая, отчаявшаяся. Может быть, перенесет эту утрату стойко, но с этой минуты порвется нить ее личной связи с фронтом, — материальная, вещественная связь в виде аттестата, напоминающая, что где-то там, в дыму войны, находится близкий, любимый человек, который думает и заботится о ней.

Володину вдруг вспомнилась незначительная, как будто бы незаметная подробность: на одной руке погибшего лейтенанта была рукавичка — домашняя, связанная из кроличьего пуха, серенькая рукавичка с разноцветным узором на запястье. Это она, Наталья Ивановна, связала Павлову рукавички.

— Товарищ лейтенант, — обратился он к начфину, — будьте добры, оформите новый аттестат Павловой. От меня. Ну, из моего содержания. Понимаете? И тоже целиком, как было: шестьдесят процентов, положенные по приказу.

— От вас? — удивился начфин. — А она вам что, родственница?

— Да, да, родственница, — нетерпеливо ответил Володин, вставая. — Так обязательно сделайте и отправьте с тем документом, что вы заготовили, одновременно.

* * *

Ранней весной, когда часть находилась на отдыхе далеко от переднего края, Володин получил письмо, написанное незнакомым женским почерком. Это было письмо от Натальи Павловой.

«Дорогой друг! — писала она. — Давно надо было поблагодарить Вас за ту материальную помощь, которую оказываете Вы мне, совсем чужому Вам человеку. Но мне слишком тяжело было писать на конверте адрес полевой почты, на которую я послала столько писем своему погибшему мужу. Теперь, когда страшная рана немножко затянулась, я нахожу в себе силы послать Вам горячую благодарность от себя и от моего сынишки — Вадика.

Я без всяких сомнений принимаю Вашу помощь — помощь друга и боевого товарища моего Сергея. Может быть, Вы делаете это по его просьбе? Может быть, он просил Вас в случае его гибели взять нас на свое попечение? Он всегда так заботился о нас, так беспокоился, чтобы нам не было без него плохо. Вероятно, последние его мысли перед смертью были о нас. Очень прошу Вас, напишите мне о последних минутах Сергея. Я знаю, что это была славная смерть, — я прочла в газете приказ о награждении его орденом. Но я хочу знать подробности последних часов его жизни, такой дорогой, такой священной для меня».

Володин прочел письмо с величайшим волнением. Он давно забыл о вьюжной ночи, когда, движимый каким-то непонятным ему чувством, перевел аттестат вдове незнакомого ему человека, и письмо это захватило его совсем врасплох. Что мог он ответить Павловой? Что он видел ее мужа всего лишь один-единственный раз, распластанного мертвым на невском льду? Что он ничего не знает о нем, что он ему не друг и до сегодняшнего дня даже не знал его имени? Но как он мог написать ей про это? Она, возможно, отвергла бы помощь чужого ее мужу человека, обиделась бы, оскорбилась, испытала бы горькое разочарование в своей надежде узнать дорогие ей подробности последних дней жизни самого близкого человека.

Что было делать? Оставалось одно: отправиться в батальон, где служил Павлов, найти его товарищей, людей, бок о бок с которыми он жил и воевал, расспросить, разузнать и потом написать ожидающей его ответа женщине. Он так и сделал: в тот же вечер после занятий сел на лошадь и поехал в соседнее селение, где стоял батальон Павлова.

Он ехал шагом по черной, подтаявшей дороге, следя за тем, чтобы лошадь не проваливалась в рыхлый, покрытый ямами снег. Был ясный теплый вечер. Легкий ветерок доносил с поля влажные запахи оттаявшей прогалинами земли. Небо светилось мягким розоватым отблеском вечерней зари. Кругом была разлита великая радость про-

буждающейся после зимнего сна природы. Какие-то неясные, но приятные мысли бродили в мозгу Володина. С этим радостным настроением он приехал в деревушку, где надеялся узнать что-нибудь о Павлове.

Оказалось, что сделать это было не так просто: никого из близких друзей Павлова в батальоне не оказалось, — одни погибли, другие находились в госпиталях, третьи были переведены в другие части. Пришлось собирать сведения по крупицам, по мелочам, расспрашивая десятки людей. Но все они говорили о Павлове с нежностью, с лаской, с восторгом. Вспоминали его беззаветную храбрость, его чуткую отзывчивость, его уменье поддерживать дисциплину не окриком, а личным примером, вразумлением, большим своим авторитетом.

Володин пробыл в батальоне до глубокой ночи и уехал, увозя с собой обаятельный образ незнакомого, но ставшего вдруг дорогим и близким человека.

Вернувшись к себе, он до утра писал письмо жене Павлова. Он сидел у окна, и первые лучи солнца ласково трогали бумагу письма. И, может быть, от этого солнца, от журчанья десятков ручейков, которые мчались мимо его домика по крутому склону дороги, от упругого, полного запахов пробуждающейся весны ветра письмо его вышло радостным, точно писал он не об ушедшем человеке, а о вновь обретенном, прекрасном друге.

Он не написал жене погибшего о морозном дне, о раскинувшемся на льду полушубке, о пушистых волосах, запорошенных снежной пылью. Он рассказал только о живом, рассказал так, как будто бы и сегодня старший лейтенант Павлов сражался где-то неподалеку, живой, смелый, замечательный командир.

Так завязалась переписка между ним и женой человека, которого он увидел случайно мертвым около пробитой снарядом воронки. Сначала письма женщины были полны вопросов об убитом муже. Она хотела знать всё новые и новые подробности, она расспрашивала о всех мелочах, и Володин снова должен был ехать в батальон, где служил Павлов. Многого он так и не сумел узнать. Но в затруднительных случаях он выдумывал эти подробности сам. Он настолько сроднился с образом Сергея Павлова, что без труда представлял себе, что должен был тот сделать, сказать, подумать в каждом отдельном случае.

Потом в письмах начали появляться вопросы о нем самом. Иногда в конце письма была маленькая приписка, сделанная смешным детским почерком, — это Вадик сообщал «дяде Коле», что он пошел учиться в первый класс, что в школе ему нравится, что учиться он будет только на «отлично».

В одном из писем была фотография худенькой темноволосой женщины с ласковыми, печальными глазами и русого мальчугана со

смешным чубом на круглой, с крутым упрямым лбом головенке. Володин жадно рассматривал фотографию, — вот они, те, кого так любил Сергей Павлов. Как скромно и гладко зачесаны волосы у его жены, какое хорошее, правдивое у нее лицо, как похож, видимо, на отца этот мальчуган в аккуратном военном френчике! Он положил фотографию в карман гимнастерки вместе с самым дорогим, что у него было, — партбилетом и орденской книжкой.

Когда началась зима — третья военная зима, он получил из Ленинграда посылку: теплый шерстяной свитер, шарф и носки. Всё это было любовно уложено в картонную коробочку, крышку которой украшала нарисованная разноцветными карандашами картинка. На картинке по синим бурным волнам мчались белые корабли с гирляндами разноцветных флажков на мачтах.

Володин повесил эту картинку над своей койкой, и когда его спрашивали, кто ее рисовал, отвечал с гордостью:

— Сынок... — и добавлял с грустью: — одного погибшего товарища сынок...

В начале декабря Володин был ранен и попал в госпиталь в Ленинград. Когда санитарный автобус вез его по незнакомым улицам прекрасного города, он, не отрываясь, смотрел в окно, охватывая взволнованным взглядом каждую женскую фигуру, каждого мальчугана, шагающего по тротуару. Лежа в госпитале, Володин расспрашивал ленинградцев о Выборгской стороне, об улице, на которой жила Павлова, о заводе, на котором она работала.

Ранение Володина оказалось легким, и он вскоре выписался из госпиталя. Он вышел из него солнечным тихим утром, когда с неба, голубого и безоблачного, медленно слетали редкие пушистые снежинки. На улицах было ослепительно светло, снег прикрыл раны, нанесенные врагом великому городу. Снег покрыл тротуар и мостовые, и женщины в сереньких ватниках, в валенках и теплых платках широкими лопатами сгребали его в ровные, аккуратные пирамиды.

Володин прежде всего отправился в парикмахерскую. Он вышел оттуда подстриженным, побритым, чувствуя, как на морозе нежно пахнет одеколоном, которым побрызгал его парикмахер. Он шел по улице, радуясь своему вновь обретенному здоровью, солнцу, снегу и встрече, которая ему предстояла. В магазине, на витрине которого были выставлены елочные игрушки, он накупил целую коробку блестящих легких бус и шариков, ватных зверюшек и разноцветных флажков.

Он пошел пешком на Выборгскую сторону, и с каждым шагом сердце его билось всё учащенней. На темной лестнице, где окна были заколочены фанерой, он остановился на минуту, представляя себе, как поднимался бы по этим ступенькам Сергей Павлов, как бежал бы

он, задыхаясь от счастья и нетерпения, как звонил бы, не отрывая руки от звонка до тех пор, пока не распахнулась бы дверь. Ему вдруг захотелось уйти, но вместо этого он шагнул к двери и осторожным коротким движением нажал пуговку звонка.

— Здравствуй, Вадик, — сказал он отворившему дверь мальчику. — Вот я и приехал к тебе в гости.

Мальчик внимательно взглянул ему в лицо и стремительно бросился куда-то по темному коридору.

— Мама! — закричал он. — Да мама же! Иди скорей, папин друг приехал! Дядя Коля, с фронта.

Он отворил дверь в комнату и кинулся обратно к Володину. Горячей маленькой рукой схватил похолодевшую от мороза и от волнения руку. Он вцепился в нее с такой страстной доверчивостью, что Володину показалось, будто эти маленькие пальцы охватили его взволнованно бьющееся сердце.

* * *

Бывает любовь, которая вспыхивает сразу, а кажется, что она сопутствовала тебе всю жизнь.

Вечером, сидя в теплой, уютной комнате, Володин понял, что ему дороже всех на свете эта женщина с темноволосой головкой, с нежным и скорбным лицом. Всё ему было дорого в ней: и маленькие, но крепкие руки со следами въевшейся в кожу темной металлической пыли, и неторопливые движения. Именно такой должна быть жена Сергея Павлова — смелого, отважного человека, того, кто после смерти стал его другом.

Вадик спал, утомленный и счастливый, забрав к себе в постель треух Володина, «чтобы ты не уехал, пока я сплю». Наталья Ивановна, убрав со стола, сидела, сложив руки на скатерти, и внимательно слушала Володина. Он рассказывал о себе, о том, как в гражданскую войну потерял родителей, вырос в детдоме, потом окончил военное училище и остался в Красной Армии.

— И у вас никогда не было семьи? — спросила Наталья Ивановна, и в голосе ее было материнское участие.

— Никогда, — ответил Володин. — Была когда-то девушка, которая могла бы стать моей семьей, да пошла вместе со мной воевать в финскую кампанию и погибла в карельских лесах. И ничего у меня от нее не осталось, даже карточки, а была она похожа немножко на вас.

Наталья Ивановна ничего не ответила, только лицо ее стало чуть-чуть строже и пальцы рук крепче переплелись друг с другом. Потом она сказала тихонько:

— А вот на моего Сергея никто не похож. И никогда, никогда в жизни не встречу я человека такого, как он.

Володину послышался упрек в ее голосе, и горячая краска бросилась ему в лицо. Он достал портсигар, закурил, сломав несколько спичек, и сказал, глядя в сторону:

— Но, может быть, вам встретится человек, который полюбит вас так же преданно, как любил Сергей? Неужели не сможет он отчасти заменить вам того, кого вы потеряли?

— Заменить? Нет, — ответила она твердо. — Заменить мне его никто не может. Помочь перенести эту утрату, может быть.

Она сказала это, глядя прямо в глаза Володину, и он понял, что ей ясны его мысли и чувства. Потом она поднялась и, подойдя к постельке Вадика, начала аккуратно складывать разбросанную им одежду.

...Спал Володин на узеньком кожаном диване около кроватки мальчугана. Сначала он никак не мог уснуть и, лежа в темноте, прислушивался к сонному сопенью мальчугана, к равномерному тиканью часов, к легкому дыханию, доносившемуся из другого конца комнаты из-за высокой ширмы. Он протянул руку и погладил головку Вадика.

— Сынок, — прошептал он ласково. — Сынишка...

Спал он крепко и не слышал, как Наталья Ивановна ушла на завод.

Потом он проводил Вадика в школу, и Вадик, поднявшись на крыльцо, помахал ему рукой и крикнул:

— Ты теперь не только маме письма пиши, а и мне тоже.

— Обязательно! — ответил Володин. — Обязательно. Тебе — в первую очередь!

Он откозырял мальчугану и быстро зашагал к вокзалу. Снег поскрипывал у него под ногами, и этот звук напомнил ему фронтовые дороги, траншеи переднего края, лица товарищей, предстоящие бои и победы. Он прибавил шагу и почти бегом поднялся по широким ступеням вокзала.

ВЛАДИМИР РУДНЫЙ

КВАРТИРА КАПИТАНА ГРАНИНА

ДОМ ЗА БАРРИКАДОЙ

В августовское воскресенье 1943 года немецкая артиллерия совершила зверский налет на улицы Ленинграда. Над Петергофом поднялся аэростат с корректировщиками. Был ясный день, на аэростате были сильные оптические приборы, и корректировщик точно направлял снаряды своих батарей на «военные» объекты — на перекрестки улиц, на скверы и трамвайные остановки. Особенно жестоко обстреливался угол Невского и Садовой. Сотни жителей города погибли в то воскресенье.

Аэростат вскоре был сожжен снарядом, посланным из Кронштадта. Батарея, однако, пристрелялась к трамвайной остановке довольно точно и время от времени повторяла налеты.

Контрбатарейную борьбу вела в тот период подвижная артиллерия Балтийского флота. На железнодорожных путях Ленинграда были разбросаны дальнобойные морские орудия, установленные на бронеплатформах; их обслуживали матросы-артиллеристы. «Глаза» этой артиллерии находились на самых высоких зданиях города и на переднем крае — на окраинах Ленинграда.

Естественно, что каждого погибшего ленинградца моряки воспринимали как укор своей воинской совести; и самым страшным укором была в эти дни безнаказанность новой батареи, что пристрелялась к трамвайной остановке на углу Невского. Батарею надо было найти, засечь и уничтожить.

В те дни я отправился в дивизион подвижной артиллерии майора Гранина, артиллериста и десантника, прославившегося на Балтике во время обороны Ханко. Там, еще будучи капитаном, он создал бесстрашный отряд добровольцев, занявший семнадцать вражеских островов. Матросы так крепко полюбили своего командира, что не называли себя иначе, как «дети капитана Гранина».

Командный пункт дивизиона размещался теперь в двух пассажирских вагонах на Варшавском вокзале.

Майора, однако, я не застал. Мне сказали, что после памятного августовского воскресенья он вместе с артиллерийскими разведчиками проводит дни и ночи на переднем крае. Я просил выяснить, скоро ли вернется Гранин; начальник штаба капитан Борис Андреевич Рзянин связался с командиром по телефону и вскоре в шутливом тоне сообщил:

— Майор назначил вам рандеву на частной квартире. Вот вам адресок, приедете и спросите: где, мол, тут ленинградская квартира майора Гранина...

— На каком же трамвае туда ехать?

— Трамваем в Ленинграде на фронт действительно можно проехать, — рассмеялся начальник штаба, — но квартира майора дальше, за баррикадой. Так что мы попросим начальника нашего гаража Ивана Петровича Щербановского — вы, вероятно, знаете его по Гангуту — доставить вас туда на своем драндулете...

В мичмане Щербановском, вскоре подкатившем на обшарпанной полуторке, изрешеченной осколками, я узнал старого спутника Гранина по десантам, бывшего моряка торгового флота. На Ханко в самые тяжелые минуты Иван Петрович Щербановский всегда умел развлечь «детей капитана Гранина» рассказами о своих путешествиях вокруг земного шара. После одного из десантов он стал заикаться, и это придавало его рассказам особый колорит. На Ханко, подражая Гранину, Щербановский носил густую бороду. Я удивился, увидев его гладко выбритым, но мичман тут же разъяснил:

— Мы с м-майором носили б-бороду для устрашения противника в десанте. В артиллерии культурнее без бороды. В-вот погодите, начнем наступать — снова будет борода...

Он многозначительно подмигнул мне: дескать, недалек тот день, когда мы прорвем блокаду, пригласил в машину и повел ее по ленинградским улицам за город, к фронту.

Возле баррикады, внезапно преградившей магистраль, мы догнали переполненный трамвай; окна его были забиты фанерой, передняя площадка просвечивала, как решето. Трамвай дальше не шел. Мы подождали, пока пассажиры прошли через контрольно-пропускной пункт за баррикаду; под артиллерийским огнем шли на фронт штатские люди, — кто на возделанный там огород, кто на предприятие, работавшее рядом с окопами.

За баррикадой дорога шла под прицельным огнем.

Мы остановились перед домом, больше других побитым войной. Двери квартир были аккуратно запечатаны белыми бумажками с круглой печатью домоуправления: жители этих квартир выехали в начале блокады, в сентябре 1941 года, а эти бумажки незыблемо охраняли вход в квартиры эвакуированных ленинградцев. Охраняли,

несмотря даже на то, что часть дома была открыта с фасада: его вдребезги разнесли вражеские снаряды. На одной из квартир бумажки с печатью не было. Видимо, комендант дома вскрыл квартиру для военных нужд. Я сверился с адресом; это была разыскиваемая мною квартира в доме за баррикадой — квартира номер тридцать один.

Звонок не действовал. Я постучал в дверь.

— Майор Гранин здесь живет?

— Здесь, — просиял рыжеватый главный старшина, стрельнув из-под мичманки хитрым взглядом. — Не узнаете?

— Желтов? — вспомнил я гангутского снайпера...

Мы вошли в квартиру и очутились в кругу молодых матросов, в большинстве своем прежних спутников Гранина по десантам. Это была обычная ленинградская квартира: три комнаты, кухня, ванная. Теперь она очутилась в самом пекле войны, подобно доту или полевому блиндажу. Кто в ней жил раньше? Кому принадлежала оставшаяся тут мебель? Кто готовил на кухонной плите, там, где, гремя жестяными мисками, возились теперь флотские коки? Установить это было трудно: может быть — люди, воевавшие в это время на другом фронте, может быть — рабочие ленинградских заводов, делавшие артиллерийские снаряды? Квартира, как и весь Ленинград, выдержала штурмы и обстрелы, в нее залетали осколки снарядов, в ней умирали, как умирают в окопе, и, как с полевого рубежа, отсюда готовили наступление.

Возле кухни в каморке примостился с переносным коммутатором дивизионный телефонист; он то и дело повторял свой позывной: «Квартира Гранина слушает... Квартира Гранина слушает». В комнате напротив усердствовал над чьей-то щетиной брадобрей артиллерийской разведки. В другой комнате происходило нечто странное в тогдашней обстановке: какой-то матрос красил полы.

— Текущий ремонт своими силами, — пошутил Желтов, — без вмешательства управдома и жилищного управления.

В третьей комнате я нашел майора. У стола сидел плотный, широкий в плечах человек, склонившись над огромным аэрофотоснимком, и изучал его с помощью лупы.

— У вас тут весь Гангут, Борис Митрофанович, — приветствовал я майора, — и Желтов, и Щербановский — всё старые знакомые.

— Что же, люди испытанные, надежные, с такими любо воевать, — ответил Гранин. — Конечно, теперь на фронте есть подвиги и погромче, но ханковская слава не померкнет. Начало положили — вот что важно.

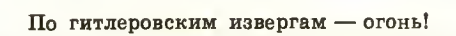
— Находят вас?

— Да как находят! — Гранин рассмеялся. — Просто адресуют «на деревню дедушке»: «капитану Гранину». Не признают майором.



У этой трехмесячной девочки осколком снаряда повреждены обе руки.

Ремонтные работы.



По гитлеровским извергам — огонь!

Он говорил весело, с прибауткой, с доброй усмешкой, этот смелый в бою человек.

— Кажется, ущучили, — доверительно сказал он, показывая на фотографический план немецких позиций, — засекли ту самую, злодейскую. Сегодня будем уничтожать. Народ на орудиях как узнал — загорелся. Хотите взглянуть в натуре?

Мы вышли из квартиры и направились вверх по засыпанной штукатуркой и осколками снарядов лестнице.

ЦЕЛЬ «531»

Майор нырнул в узкую чердачную дверь, и вслед за ним я очутился на чердаке, под самой крышей, развороченной, как и всё вокруг, прямыми попаданиями. К присущим всем чердакам специфическим запахам примешивался горький аромат обгоревших стропил: этот ленинградский дом горел уже не раз. Сквозь сети проводов мы проникли в укромный уголок, облюбованный артиллерийскими разведчиками для наблюдательного пункта.

В тесной каморке за плащ-палаткой стояли телефоны, два стула и укрепленная на помосте стереотруба. К трубе приник худощавый артиллерийский офицер Юрий Курсков, командир разведчиков, москвич, воспитанник столичной спецшколы. Над ним на стропилах я разглядел листочки всевозможных таблиц и схем — изображения ориентиров в сфере влияния пушек дивизиона Гранина, схему «подведомственных» ему немецких батарей и прочие оперативные документы.

— Как, Курсков, она всё еще молчит?

— Молчит с утра, товарищ майор. Стреляют другие батареи.

— Это они хитрят, — решил Гранин. — Хорошо бы их вызвать на огонь. Хотите взглянуть?

Майор уступил мне на несколько минут стереотрубу. Стекла прибора приблизили дачные места, где ленинградцы проводили летние дни своей мирной жизни, контуры разрушенных дворцов и лощину фронта, где сейчас вспыхивали огоньки перестрелки. На перекрестке я увидел тот же лесок, что и на фотоснимке, какие-то бугорочки и за ними, видимо, батарею: майор советовал во время операции наводить бинокль именно на этот лесок. Внезапно в поле зрения, где-то очень близко, на переднем плане возникли какие-то фигурки, они заслонили весь горизонт за стеклами оптического прибора.

— Что это? — спросил я Гранина, уступив ему окуляры.

Майор вздохнул и сквозь зубы процедил:

— Ленинградские дети. Дети войны. Бегают по переднему краю на огороды; никаким огнем не прогонишь. Знаете, куда легче воевать,

когда их не видишь... Эх, да что там! А ну, Курсков, дай-ка трубочку: если корректировщик в воздухе, начнем работу.

Он назвал позывной — внизу, в квартире, в каморке возле кухни, телефонист соединил майора с командным пунктом, там откликнулся начальник штаба Рзянин. Начальник штаба доложил, что самолет в воздухе, связь с ним установлена, он просит дать контрольные залпы. Гранин отдал необходимые приказания. После контрольной стрельбы он опять вызвал начальника штаба:

— Ну, как «Голубь»? (Речь шла о корректировщике.)

Самолет отказывался корректировать стрельбу, ибо над целью нависли густые, плотные облака.

Мы вернулись в «квартиру Гранина», где майор опять склонился над фотоснимком. Исход операции настолько волновал всех, что в комнату под разными предлогами забегал то Желтов, то кто-нибудь из разведчиков. Во второй половине дня нам сообщили, что самолет вылетел, и майор тут же очутился на чердаке. Мы услышали характерный свист снарядов: Желтов доложил, что цель «531» начала бить по Ленинграду. Резким голосом, выдававшим напряжение его нервов, майор сказал:

— Самое подходящее время начинать. Подумают, что работаем на подавление. Это запутает противника...

Я схватил бинокль и навел его на тот самый лесок, где находилась батарея: там сейчас вспыхивали огоньки ее выстрелов. Она била по Ленинграду, и, значит, в этот миг на улицах города лилась кровь. Майор отдал команду — и в стеклах бинокля вспыхнули столбы дыма, пламя поднялось за буграми, весь дом сотрясался от нараставшего артиллерийского гула, одна за другой вступали в бой наши батареи, их могучий и грозный голос звучал над окраиной Ленинграда.

— Хорошо даете! — лаконично передавали с самолета-корректировщика, и на чердаке «квартиры Гранина» и на всех батареях повторяли эти два коротких слова.

Люди всей душой переживали этот час расплаты, они были до предела цельны, они понимали значимость этого дня, который спас жизнь не одному десятку ленинградцев.

...На другой день я позвонил на «квартиру Гранина», интересуясь результатами стрельбы.

— Пока молчит, — сообщил майор. — По правилам артиллерии, считается «приведенной к молчанию».

На третий день я снова позвонил майору.

— Молчит?

— Считаю подавленной, — весело ответил майор, — на законном основании.

И дней через шесть на мой телефонный звонок Гранин сообщил:

— По всем правилам, «подавлена надежно». Думаю, что навсегда. Пять дней ни одного выстрела. Можно считать: сработано «поханковски».

— Ну что же, так и сообщим: цель «531» уничтожена, — заметил я и сказал майору, что собираюсь написать в военной газете о его действиях под Ленинградом и о «квартире Гранина».

Майор помолчал, потом спросил:

— Вы хотите, чтобы жители этого дома вернулись в свои квартиры? — Тогда забудьте этот адрес. Будете писать — пишите: дом за баррикадой — и всё. Никаких опознавательных знаков. Иначе немцы завтра же обрушат на нашу квартиру огонь всех своих батарей...

Я знал, что дом этот получил уже двадцать три снаряда, но это были снаряды случайные: немцы не знали, что именно этот дом — «глаза» подвижной артиллерии. И, разумеется, я «забыл» адрес этого дома и написал об энской квартире.

ПЕТР КАПИЦА

НОЧНОЙ ДЕСАНТ

Наши войска готовились к наступлению, но начать боевые действия мешала оттепель. Дороги всюду раскисли. Под тонким слоем жидкого снега хлюпала вода.

Пришлось ждать морозов.

Финский залив в эту зиму не мог застыть: частые штормы разбивали слабый лед, превращали его в мелкое крошево. Корабли весь декабрь могли выходить в море.

Как только первые холода сковали фронтовые дороги и покрыли болото хрустким льдом, «морские охотники» получили задание перебросить через залив в тыл к противнику большой отряд автоматчиков. Катерникам надо было спешить. Лед, хотя еще и тонкий, уже сплошной массой стоял перед Кронштадтом, синел вдоль берегов, окружал форты. Чистая вода начиналась далеко за Толбухиным маяком, почти у Копорской губы.

В вечерние сумерки всю группу катеров вывел за кромку льда небольшой ледокол. Он остался дежурить у ближних островов, а «морские охотники» пошли дальше одни.

Погода выдалась ненастная. Пронизывающий норд-ост гнал мелкий снег, свистя срывал седые верхушки волн и забрасывал брызги на обледеневшие палубы.

Катера долго шли во мгле, не видя ни маяков, ни навигационных знаков. Огни были погашены с первых дней войны.

Во втором часу ночи ветер несколько стих. «Морские охотники», обойдя минное поле и минуя шхерные[1] острова, повернули к берегу.

Это была самая глухая часть Финского залива.

Справа в темноте виднелась узкая каменистая коса, поросшая кустарником и редкими сосенками, а километра два влево — обрывистый мыс, за которым чернел лес.

Командир группы старший лейтенант Зубарев решил, что десантников следует высадить на косе.

---

[1] Шхеры — скалистые острова различной величины и формы; они являются частью материка, затопленного в ледниковый период.

«Если на берегу есть хоть одна батарея противника, — рассуждал он, — то лучшего места, чем обрывистый мыс, для нее не подыщешь. Значит, в первую очередь я должен опасаться мыса. Подходить буду с правой стороны. И сосны и кустарник спрячут нас от глаза наблюдателей. Но не притаились ли фашисты на косе?..»

Оставив товарищей в затемненной части моря, он приказал промерять глубины и осторожно повел свой катер, держа курс на раздвоенное дерево, росшее в центре каменной гряды.

Подойдя к отмели, Зубарев пересадил десантников в резиновые шлюпки. Затем он приказал навести на берег пулеметы и стал наблюдать за переправой автоматчиков.

Шлюпки одна за другой бесшумно подходили к нагромождению валунов. Темные фигуры, прыгая с камня на камень, исчезали в голых кустарниках. Казалось, что сейчас они наткнутся на засаду, что вот-вот защелкают сухие выстрелы и вверх взлетят ракеты... Но кругом стояла прежняя тишина.

«Удачно выбрал место, — радуясь, думал старший лейтенант. — Здесь им нетрудно будет уйти в лес. Только бы не открыли себя раньше времени...»

Дождавшись возвращения последней шлюпки, Зубарев прикрыл ладонью ручной фонарик и подал условленный сигнал: дважды мигнул зеленым светом. Это обозначало: «Всё идет благополучно, двигаться по тому же курсу».

Видя показавшуюся цепочку катеров, тенями скользивших к косе, старший лейтенант отошел в море и стал наблюдать за берегом.

Минут двадцать кругом было спокойно, только где-то очень далеко время от времени взлетали ракеты, озаряя мертвым светом клочок неба, покрытый клубящимися облаками.

Ветер дул порывами. Волны то налетали с носа, то били в борт, обдавая дрейфующий катер брызгами. Мелкая водяная пыль инеем застывала на бушлатах матросов.

Комендоры, пулеметчики и сигнальщики, сунув озябшие руки в рукава, постукивали одеревеневшими ботинками и в нетерпении поглядывали в сторону каменистой гряды: «Скоро ли там кончат?».

И в это время в стороне шхерных островов сверкнул огонь, похожий на костер, и, осветив заревом полнеба, погас. По заливу прокатился грохот, похожий на гром. Там, видимо, подорвалась сорванная с якоря блуждающая мина.

С мыса мгновенно взвился длинный луч прожектора. Его острый конец, пронизав тьму, уперся в то место, где только что сверкнул огонь, и заметался по задымленным волнам.

«Будет обшаривать весь залив, — подумал старший лейтенант. — Накроет нас и десант. Надо погасить».

— К бою!.. — приказал он. — Взять на прицел прожектор!

Придерживаясь затемненной полосы, Зубарев полным ходом направился к мысу.

Вздрагивающая огненная полоса переметнулась к востоку, задержалась там несколько секунд и, описывая полукруг, заскользила на запад.

«Сейчас она упрется в край косы, пронижет голый кустарник, выхватит из тьмы силуэты катеров...»

— Огонь! — крикнул Зубарев.

Пулеметный и пушечный залпы разодрали тьму. К мысу понеслись струи трассирующих пуль. На какую-то секунду прожектор погас, но затем опять вспыхнул и ослепил комендоров...

В двух местах с берега начали стрелять пушки. Снаряды падали с недолетом.

«Бьют только по мне, других не видят, — сообразил старший лейтенант. — Приму огонь на себя».

Лавируя и ускользая из слепящей полосы света, Зубарев приказал радисту передать отряду, чтобы катера немедля отходили в море. Сам же он умышленно двигался почти параллельно берегу и вел огонь только по прожектору. Но с ходу на крутой волне трудно было в него попасть.

Батареи противника пристрелялись. Пришлось набегать на всплески. Снаряды взвизгивали то впереди, то над головой. Один из них разорвался у кормы. Катер подкинуло и повело в сторону...

— Лево руля!

Но рулевой напрасно вращал штурвал: штурвальный трос был перебит.

— Перейти на ручное управление! — тотчас же распорядился старший лейтенант.

Короткая заминка помогла комендорам точнее прицелиться. После двух-трех залпов луч прожектора померк. В заливе стало необыкновенно темно.

— Ну, как там рули? — спросил Зубарев.

— Заклинило, товарищ старший лейтенант, — донесся голос рулевого. — Румпель[1] не повернуть!

— Вызвать механика, быстрее привести в порядок!

— Есть механика!

На корму побежали сразу несколько человек. Там они столпились: кто-то лег на палубу, кто-то повис над водой... звякнул лом, заскрипело железо и дерево. Раздались тяжелые удары кувалды.

---

[1] Румпель — рычаг для управления рулем.

Потеряв в темноте цель, фашистские батареи прекратили стрельбу.

В море с разных мест полетели ракеты. Их колеблющийся свет пробегал по волнам, порой стремительно надвигался на катер и... не достигнув его бортов, угасал.

Ветром корабль гнало к берегу. Зубарев, теряя терпение, послал на корму помощника:

— Посмотрите, чего там копаются, — ведь сносит нас!..

Но когда радист доложил ему о том, что освободившиеся МО [1] запрашивают, не нужна ли помощь, он сердито ответил:

— Обойдемся, незачем всем показываться... Пусть быстрее уходят. Никому не задерживаться! Догоню в море.

* * *

Получив ясный, решительный приказ от своего флагмана и не слыша больше пальбы, командиры катеров со спокойной совестью повернули обратно. Все были уверены, что Зубарев, так ловко отвлекший внимание противника, где-то в темноте идет следом.

Приближались шхерные острова. На них могли быть батареи противника.

Чтобы не обнаружить себя, катера прекратили переговоры по радио и, растянувшись цепочкой, больше часа осторожно двигались в кромешной темноте, не видя друг друга.

За островами небо несколько посветлело. Перистые облака пронизал блеклый свет невидимой, предутренней луны. Головной катер убавил ход. Флагмана позади не было.

«Где Зубарев? Не мог же он так сильно отстать?» — встревожились командир и штурман.

Радист стал подавать позывные флагмана, тот не отвечал.

«Что с ним? — заволновались и на других катерах. — Не подбили ли? Может, помощь нужна?..»

Возвращаться назад было поздно: приближался рассвет, и горючего в цистернах оставалось немного.

Подтянувшись, катера пошли дальше средним ходом, стараясь держаться в кильватер [2] друг другу.

Обеспокоенные командиры то и дело поглядывали на запад, — они всё еще надеялись увидеть отставший МО. Но он их не нагнал ни в Копорском заливе, ни у кромки льда.

---

[1] МО — катер «морской охотник».

[2] Кильватер — след на воде, волнистая струя, остающаяся позади идущего корабля.

* * *

Рули уже начали действовать, когда на мысу опять вспыхнул луч прожектора. Желая быстрее уйти в море, Зубарев сделал крутой разворот и вдруг услышал, как киль заскрежетал, ударившись во что-то твердое. Весь катер затрясся, точно телега, попавшая на неровную булыжную мостовую.

«Отмель... Налетели на камни!» — покрываясь холодным потом, понял старший лейтенант.

Он немедля дал полный ход назад. Бешено завращавшиеся винты взбили за кормой пенистый бугор, а катер не двигался с места.

— Еще... еще немного! — просил Зубарев механика.

— Не могу больше: подшипники расплавим! — сердито гудел в переговорную трубу густой бас мичмана Корякина.

— Стоп!.. Якорь!.. Завести якорную цепь к корме! — приказал Зубарев.

Он надеялся при помощи якоря, наматывая крепкую цепь на барабан, стянуть катер на чистую воду. Но не успел этого сделать: в грудь и лицо словно плеснуло кипятком...

Падая, старший лейтенант ухватился за медную коробку телеграфа. Рычаги заскользили под ладонью. «К пушкам... огонь!..» — хотелось крикнуть ему, но из горла вырвалось лишь хрипенье.

В машинном отделении мичмана Корякина откинуло на трубу воздушной магистрали.

Больно ударившись головой о вентиль, механик с трудом поднялся и по привычке прислушался: не плещется ли где вода.

Переборки тряслись от частой пальбы. Не понимая, что случилось наверху, мичман Корякин поднялся на трап и выглянул из люка.

Мачта и трепетавший на ветру флаг, казалось, были охвачены огнем.

«Горим», — в первое мгновение подумал мичман и кинулся было к шлангам, но тут же сообразил, что это не пламя, а холодный свет прожектора колышется над ним.

В рубке зияли рваные дыры. С мостика свисали клочья брезента. У компаса кого-то поднимали сигнальщик с радистом.

— Что с командиром? — спросил Корякин.

— Ранен. Помогите спустить вниз.

Приняв на руки отяжелевшего командира, мичман помог отнести его в кают-компанию.

Кругом грохотало. Катер содрогался от близких разрывов. Уложив старшего лейтенанта на диван, Корякин подтолкнул радиста:

— Быстрее в рубку! Передашь шифровкой, что сидим на банке, ведем бой... Может, вернется кто-нибудь.

Сигнальщику он приказал добыть бинтов и оказать первую помощь командиру. Затем мичман торопливо выбрался на верхнюю палубу и перебежал к мостику.

Прожектор уже не светил. Но пристрелявшиеся батареи противника вели огонь и в темноте. Снаряды с визгом проносились над головой, разрывались слева и справа.

У пушки из всего расчета суетился только один — комендор. Он сам заряжал, целился и стрелял. Короткие вспышки озаряли его разгоряченное лицо. На кончике ствола действующего пулемета бился язычок зеленого пламени.

«С мыса ориентируются по вспышкам. Надо прекратить стрельбу, — решил механик. — Где же помощник командира?»

— Товарищ Петросян! — крикнул механик.

— Младший лейтенант ранен, — донеслось с левого борта. — В кубрик отнесли.

«Значит, я за старшего, — отметил про себя мичман Корякин. — Вот ведь нагрянуло». Он всю свою долгую службу на море провел в глубине кораблей у машин. Ему никогда не приходилось руководить верхней командой и вести бой.

Днище вздрагивающего катера скрипело на камнях. Нос был неестественно поднят, корму окатывали волны. Осколки и пули щелкали по железу, впиваясь в дерево.

Мичман забрался на разбитый мостик и крикнул:

— Прекратить огонь! Всем вниз!

Смолкли пулеметы. Последний раз хлопнула пушка...

Матросы неохотно покидали свои места. Они двигались — кто ползком, кто сгибаясь под тяжестью раненого товарища — и скрывались в люках.

Противник усилил стрельбу. Вода закипела от всплесков.

Мичман спустился с мостика и, прячась за стальной тумбой пушки, наблюдал. Всплески удалялись влево. «Гитлеровцы, видно, думают, что мы движемся. Сейчас самое время подойти нашей группе, — размышлял он. — Один катер отвлек бы внимание, а другие стаскивали бы нас. Но сколько в корпусе пробоин? Целы ли моторы?» Неизвестность угнетала его. Он подполз к люку машинного отделения, вызвал старшину мотористов Рычкова:

— Как у нас в отсеках?

— Худо, товарищ мичман. В левом пробоина... мотор заливает. Свет не горит.

— Зажечь аварийный и помпу включить. Только смотрите, чтобы на берег проблесков не было. Радист передал мое приказание?

— Передатчик не работает, — ответил Рычков. — И радиста осколком зацепило.

«Значит, без связи! Вот ведь история!.. Одно к другому», — сокрушался мичман, переползая к другому люку.

Вскоре противник прекратил обстрел. На берегу лишь взлетали ракеты, освещавшие края моря.

«Ищут, не уходим ли мы на шлюпках. А может, десантники напали с тыла? — строил догадки Корякин. — Нет, донеслась бы автоматная стрельба. И задание у них другое...»

Мичман прошел по всем отсекам. Раненых было много. Двигаться и работать могли только несколько человек.

Собрав их в одно место, Корякин сказал:

— Если не снимемся до рассвета, то противник расстреляет катер прямой наводкой. Так что каждый должен работать за троих. Одна половина будет крепить переборки, заделывать пробоины и откачивать воду, другая — чинить моторы. Ясно?

— Ясно, — глухо ответили старшины и матросы. Каждый из них понимал, что помощи ждать неоткуда.

— А почему бы нам, пока темно, не уйти на шлюпках? — обратился к мичману худощавый, недавно прибывший на катер пулеметчик Докин. Лицо у него было бледное, на голове, повязанной бинтом, торчал вихор светлых волос.

— Куда уйти? — недовольно спросил Корякин.

— Ну, хотя бы к десанту... Мы присоединимся к ним и будем воевать вместе.

— Отставить разговоры о береге! — сердясь, оборвал пулеметчика Корякин. — Выполняйте приказание!.. Что у вас с головой?

— Кожу осколком содрало.

— Вахту править можете?

— Могу.

— Поднимайтесь на мостик и ведите круговое наблюдение. В случае чего — докладывайте мне. Остальным — по работам!

Старшины и матросы разошлись по отсекам. Докин, надев поверх бушлата овчинный тулуп вахтенного, вскарабкался на мостик и начал в бинокль наблюдать за морем и берегом.

Фашисты всё еще не могли успокоиться. Ракеты то и дело взлетали над одинокими низкорослыми соснами. От их колеблющегося света тени на далеком пляже набухали, ползли, становились гигантскими... Достигнув своего зенита, огненный комок как бы застывал на месте, затем печально падал вниз. И деревья, словно наперегонки, спешили быстрее вобрать в себя тени. Людей нигде не было видно.

«Сколько же километров до берега? — старался определить Докин. — Не больше трех, — решил он. — Из простой винтовки достанут нас. А там, наверное, есть снайперы». И он пригнулся, боясь, что

его заметят и обстреляют с берега, хотя тьма в море была такой же, как прежде.

Докин окончил десятилетку в дни войны. Он бывал под обстрелами и бомбежками в Ленинграде и Кронштадте, но на море впервые участвовал в бою и поэтому никак не мог унять внутренней дрожи, появившейся с того момента, как катер застрял на камнях.

Снизу доносился стук топора и молотков, сопение насоса, плеск и журчание откачиваемой воды. Порой эти звуки заглушались порывами ветра. Волны били в борт, днище катера потрескивало и скрипело на камнях. Этот скрип походил на тягучие стоны.

«Не выбраться нам отсюда, — думал пулеметчик. — К чему сейчас латать дыры и копаться в моторах, когда неизвестно, сможем ли сняться с камней? Как плохо, что командир без сознания. Он предпринял бы что-нибудь смелое, а механик думает лишь о механизмах. С пулеметами, винтовками и гранатами мы бы пробились к своим. Нельзя оставаться здесь. Мы зря теряем время».

На востоке высветилась полоска горизонта. К берегу сползли нависшие над морем тучи. Ракеты вспыхивали всё реже и реже.

— Мичман, товарищ мичман! — теряя терпение, крикнул Докин. — На осте светлеет... скоро утро!

— Где у тебя светлеет? — высунувшись из люка, недовольно буркнул мичман. Он вгляделся в море и строго заметил: — Ты поставлен сюда не для того, чтобы от дела отрывать. До рассвета еще добрых два-три часа. Если боязно, — сойди с мостика, выбери укрытие и наблюдай. А паниковать нечего.

— Я не паникую. Но вы сами видите, что помощь уже не придет.

Ничего не ответив Докину, механик прошел в тесную радиорубку.

Там, морщась от боли, в раскрытом передатчике перебирал провода раненный в плечо радист. Аварийный фонарик освещал его похудевшее за ночь лицо, покрытое мелкими капельками пота.

— Ну, как?.. Наладишь передачу?

— Не знаю, — ответил радист. — Мне бы в помощники когонибудь.

— Нет у меня людей, сам с моторами мучаюсь. На ремонт часов пять, не меньше, уйдет.

— Значит, до утра застреваем?

— Выходит, — сокрушенно вздохнул Корякин. — Делай, что можешь. Связь дозарезу нужна.

— Постараюсь. Только антенну, пожалуйста, наладьте, — перебило ее где-то.

— Сделаем, — пообещал механик. — В случае, если свяжешься, проси гидросамолет выслать. Старшего лейтенанта, да и других в госпиталь надо...

— Есть, товарищ мичман, попробую!

Срастив и натянув порванную антенну, Корякин осмотрел исковерканную надстройку и, как бы рассуждая про себя, сказал:

— С берега наш катер должен казаться разбитым. Маячить на палубе не следует. Пусть думают, что мы его покинули. Приказываю, — обратился он к Докину, — никого наверх не выпускать. И сам засядь в укрытие. Если появится необходимость, — передвигаться только ползком. Ясно?

— Ясно, — ответил пулеметчик.

Холодный ветер гнал тучи к югу. Сверху посыпался мелкий, как крупа, снег.

Прикрыв свой пулемет чехлом, Докин пробрался в посеченную осколками рубку. Отсюда, даже лежа, сквозь многочисленные дыры можно было без труда наблюдать за берегом.

Темное море дымилось на холоде. Мутная пелена обволакивала далекий лес. Пляж побелел. Из предутренней мглы вырисовывались обрывистые берега мыса с темными проплешинами.

Рассвет наступал медленно. Ожидание томило пулеметчика. Его ноги замерзли и нестерпимо ныли в ботинках. Он встал, чтобы немного размяться, и вдруг услышал характерное посвистывание пролетавших над головой пуль.

С берега доносилось приглушенное расстоянием татаканье пулемета.

Докин мгновенно повалился, прижимаясь всем телом к палубе.

«Откуда они стреляют?» — приникнув к биноклю, старался угадать он.

На берегу фашисты не показывались. Мыс казался пустынным. Только в ветвях двух сросшихся сосен что-то чернело. Там, видно, сидел наблюдатель. «Снять его надо», — решил Докин.

Он вылез из рубки на палубу, запорошенную снегом.

Откидная крышка люка в машинное отделение была немного приподнята. Придерживая ее рукой, на трапе стоял механик и настороженно прислушивался к стрельбе. Его лохматые брови соединились на переносице.

— По верху бьют, — сказал он. — Вон как флаг издырявили! Антенну бы нам не срезали.

— Товарищ мичман, там на соснах наблюдательный пункт, — доложил Докин. — Разрешите из пулемета по нему?

— Ни в коем разе! Этого-то, наверное, они и ждут от нас. Для проверки обстреливают. Покажись им, — и будет ясно, что на катере команда осталась. Шлюпок на берегу не видел?

— Нет, пусто всюду.

— За островами поглядывай. Оттуда могут прислать. По всему кругу следи.

— А как там у вас?

— Скоро кончаем. Новых дыр только бы не наделали.

Крышка люка медленно опустилась. Докин опять остался одиноким на верхней палубе.

Фашисты стреляли со стороны мыса короткими очередями, насквозь пробивая тонкие стенки рубки. Мелкими крошками осыпалась краска. Несколько пуль звякнуло по металлу. На мостике зазвенели осколки стекла.

«Сигнальный фонарь разбили! — догадался пулеметчик. — Весь катер издырявят».

Прижавшись к палубе, он завидовал товарищам внизу. Там они не слышали свиста пуль и не видели дыр, появлявшихся всё в новых и новых местах.

Потом стрельба как бы разом оборвалась. Не понимая, что произошло, Докин высунулся из рубки и, взглянув на мачту, обомлел: флага на гафеле не было, там болтались только обрывки пенькового троса... «Вот почему они перестали стрелять. Ждут, не поднимем ли мы его».

Не зная, что предпринять, Докин вызвал свистком механика.

Тот вскоре высунулся из люка:

— Шлюпки показались, да?

— Нет, наш флаг сорвало.

— Как сорвало? — обеспокоился механик, меняясь в лице.

— Фашисты из пулемета срезали.

— И ты не поднял?! Меня ждешь?.. — возмутился мичман. — Живо на мостик!

— Но они же узнают, что на катере есть люди, — напомнил Докин.

— Не разговаривать!..

Полагая, что у пулеметчика не хватает мужества, Корякин сам перебежал к надстройке.

— Гвозди и молоток давай, — потребовал он. — Пусть видят, что здесь не трусы.

— Вам нельзя, — уцепился за него Докин. — Не показывайтесь. Кто же поведет катер? Я один управлюсь...

Сбросив тулуп, он, как кошка, вскарабкался на мостик, поймал оборванный конец пенькового троса и, пригнувшись, стал торопливо подвязывать изодранный пулями флаг.

Механик с палубы помогал ему, бормоча:

— Корабль, какой бы он ни был и где бы ни находился, всюду считается частью территории той страны, чей флаг развевается на его

мачтах. И если флага нет, — значит, команда без боя сдала врагу хоть малую, но частицу Родины. Понял? Тут уж ничего не должно удерживать... Особенно комсомольца. Лучше смерть, чем позор.

С моря донеслось тонкое, почти комариное, гудение мотора.

— Воздух! — предупредил пулеметчика Корякин. — Быстрее действуй!.. Приготовиться к бою, — загудел его голос на катере. — Выбегать по команде «огонь!»

Рокотание мотора нарастало.

На востоке показалось темное пятнышко. Оно увеличивалось. Самолет низко летел над водой; трудно было определить, чей он.

Докину стало жарко. Расправив флаг, он потянул за трос. Изодранная материя запуталась в снастях и застряла на полпути. «Сейчас по мне с берега ударят», — мелькнуло в мозгу пулеметчика. Но он больше не пригибался, а, хватаясь за мачту, поднялся выше и закрепил флаг на том месте, где ему и полагалось находиться.

— Ложись! — крикнул мичман.

Докин скатился вниз и замер, прислушиваясь. Фашисты не стреляли.

— Вот те раз! — недоумевал Корякин. — Чего они там? Самолет, что ли, не их? — Он, не поднимаясь, стал всматриваться в небо.

Самолет, сделав два круга над катером, покачал крыльями.

Он приветствовал флаг.

— Наш. Наш разведчик! — обрадовался мичман, разглядев на крыльях звезды.

Из люков выглядывали старшины и матросы, готовые по команде выскочить наверх и броситься к пушкам и пулеметам. Они также узнали свой самолет. Вверх полетели шапки.

— Прекратить! — крикнул на них Корякин. — Старшина Рычков, узнайте у радиста: слышит ли нас пилот?

Рычков перебежал в рубку. Оттуда донесся его голос:

— Слышит... летчик поздравляет с началом наступления наших войск. Запрашивает, какая нужна помощь!

— Передайте, что с берега нас обстреливают. Батареи на мысу и в правом углу рощицы. С камней попробуем сняться сами.

Через несколько секунд из рубки донеслось:

— Есть, понял!

Самолет поднялся выше, пролетел вдоль пляжа и стал кружить над мысом и рощицей. Фашисты, видимо не желая обнаруживать себя, не открывали по нему зенитного огня.

— Всем наверх! — приказал мичман. — Облегчить носовую часть. Лишнее — за борт, боезапас и грузы перетащить на корму!

Он сам поджег дымовые шашки и сбросил их в воду. Дым погнало к берегу.

Докин вместе со всеми бегом перетаскивал на корму тяжелые ящики со снарядами, очищал носовой отсек, помогал заводить якорь к глубокому краю подводной гряды.

Вскоре над катером, вздымая вихрь, пронеслись три краснозвездных штурмовика и скрылись за пеленой дыма.

— Ну, сейчас дадут жару! — сказал кто-то из комендоров.

Мичман бегом спустился в машинное отделение, опробовал отремонтированный мотор, еще раз проверил магистрали и вернулся на мостик с лицом, перепачканным в масле.

Нос катера уже заметно поднялся. Вода была ниже ватерлинии.

Став на место командира, Корякин свистком привлек внимание суетившихся на палубе катерников:

— Слушать команду!.. Рулевому — к румпелю! Комендорам — промеривать глубину! Докину — ко мне! По третьему свистку включить якорцепь...

Проверив, все ли матросы приготовились, он передвинул ручки машинного телеграфа и дал три коротких свистка.

Палуба дрогнула от работы мощных моторов. Якорная цепь натянулась, заскрипела... Катер дернулся и толчками стал медленно сползать с камней...

Комендоры с обоих бортов наперебой выкрикивали цифры глубины. Вода клокотала за кормой.

— Полный... Самый полный!

Якорная цепь вдруг ослабла... Катер соскользнул с последнего камня и, выравниваясь, закачался на глубокой воде.

— Стоп!.. Поднять якорь!..

На берегу стучали пулеметы, раздавались взрывы. Дым мешал разглядеть, что делается на мысу. Сквозь стрельбу порой прорывался рев моторов выходивших из пике штурмовиков.

Самолеты на время показывались в просветах неба; круто взмывая, выходили на курс атаки и исчезали за полосой дыма.

— Теперь гитлеровцам не до нас, — удовлетворенно отметил Корякин. — Кончилось их время, без опаски пройдем.

Велев Докину повернуться лицом к корме и движением рук передавать рулевому команды, мичман осторожно обогнул опасную отмель и повел катер в открытое море, по курсу, проложенному ночью старшим лейтенантом.

Путь на Кронштадт был свободен. Советские войска теснили фашистов по всему побережью. Ветер порой доносил далекий гул канонады.

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

ДЫХАНИЕ ГРЯДУЩЕЙ ПОБЕДЫ

Выступление по радио
31 декабря 1943 года

Дорогие товарищи!

Сегодня мы будем встречать Новый, тысяча девятьсот сорок четвертый год. Это третья военная новогодняя встреча. Это — очень много.

За это время каждый из нас прожил большую, сложную, богатую событиями жизнь. Уже у каждого есть не только общие, но свои личные, неповторимые военные воспоминания, в том числе воспоминания о прошлых новогодних встречах. Как у всех, есть они и у меня... И вот я вспомнила сегодня, что в сорок первом году накануне Нового года я выступала по радио с «Письмами на Каму»... Мне хотелось выразить в этих стихах наше общее настроение, они заканчивались строками:

О, какая отрада, какая великая радость
Знать, что в будущем каждому скажешь в ответ:
— Я жила в Ленинграде в декабре сорок первого года,
Вместе с ним принимала известия первых побед.

Да, это было в декабре сорок первого года. Я до сих пор полна счастья и гордости, когда вспоминаю, как тепло приняли тогда эти неуклюжие строчки ленинградцы. Не собою, нет, я ими горжусь. У нас часто теперь вспоминают те дни как сплошной мрак. Это неправда. Я хочу напомнить вам, дорогие товарищи, что тогда вы... даже стихи слушали и, несмотря ни на что, не теряли веры в победу.

Но, правда, если б нам тогда сказали, что мы еще два раза встретим Новый год в блокаде, то мы бы пришли в ужас. Но мы сами сил своих не знали. А оказалось, что силы у нас неисчерпаемы. И вот — пожалуйста: встречаем в осаде третий Новый год, — правда, совсем иначе, чем два года назад, но всё же... Но уж четвертый Новый год мы таким образом встречать не будем! Довольно, хватит! И уж теперь это не просто вера в победу, а спокойное знание ее сроков.

Сорок третий год мы встречали в те дни, когда армия наша наступала, когда гитлеровцев окружали под Сталинградом. Сорок третий

год расцвел для нас ночью восемнадцатого января, ночью прорыва блокады. Нельзя без душевного волнения вспомнить эту ночь. Наверное первый раз за время блокады мы плакали в ту ночь слезами отрадными и облегчающими душу. А через четырнадцать дней, второго февраля, нам сообщили о полном и блистательном разгроме фашистов, окруженных под Сталинградом...

Мы никогда не жили и не живем только своими, узколенинградскими, радостями и печалями. Всем сердцем переживаем мы всё, чем живет наша мать-Родина. Эту высокую, в войне обретенную гражданственность нам нужно сберечь навсегда.

Завтра мы встречаем сорок четвертый год — год наших новых побед. А что́ это значит? Это значит, что, может быть, очень скоро мы вновь приедем в наш Пушкин, в наш Петергоф, в нашу Гатчину... Они выжжены, разрушены, истерзаны. Наверное, мы даже не узнаем их, когда придем туда... Об этом даже говорить больно... Но ведь это уже реально, что мы придем туда и будем бережно восстанавливать их... Мы, начавшие сорок третий год с прорыва блокады, встречаем сорок четвертый год с твердой уверенностью, что в этом году блокада будет снята полностью. что сорок пятый год мы встретим в освобожденной Ленинградской области.

Дыхание несомненной грядущей победы чувствуется во всей нашей жизни. Уже сейчас, в то время как мы еще находимся в осаде, в то время как враг еще обстреливает наш город, — уже сейчас упрямо начали мы строить наше мирное будущее. Оглянитесь сами: еще рушатся стены ленинградских домов, но художественное училище готовит мастеров, которые будут украшать наши здания; еще корабли наши стоят на Неве, но мы уже готовим кадры строителей тех кораблей, которым будут открыты все моря мира. Еще каждого из нас может изувечить снаряд, но физкультурный техникум уже открыл прием студентов — будущих мастеров спорта.

Так, в разгаре войны, в осаде, на фронте, под разрушительным огнем противника, мы закладываем наше близкое, мирное, созидательное будущее. Мы хотим встретить победу во всеоружии. Мы сможем сказать будущему миру: «еще в гуле войны мы вынянчили тебя».

Нет, наверное, мы не будем просто восстанавливать разрушенное. Наверное, мы будем заново рождать наш город, наш быт, весь наш мир. Они будут почти такими же, как раньше, и в то же время не совсем прежние. Я, как и вы, думаю — лучше. И еще я думаю, что мы тоже уже никогда-никогда не будем такими, как были до войны. Что-то умерло в нас, может быть, даже хорошее, что-то новое родилось, —

сильное, дерзкое, упрямое, что помогает нам преодолеть усталость, неизбежную при нашем быте...

Дыханием несомненной грядущей победы овеяна встреча сорок четвертого года. Но победа — требовательна. Она уйдет от нас, если мы ослабим свои усилия для ее достижения. Только мы сами знаем, какого отдыха мы все уже заслужили, но враг еще не добит, и мы должны напрячь все силы, чтобы добить его.

Да, мы верим в самих себя, и с этой верой в свои силы каждый из нас встречает Новый, сорок четвертый год.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ПОД ЛЕНИНГРАДОМ



19 января 1944 года войска Ленинградского фронта под командованнем генерала Говорова перешли в наступленне из района Пулково н южнее Ораниенбаума, нанеслн тяжелое поражение семи пехотным дивизиям немецко-фашистской армии н захватили большую группу вражеской тяжелой артиллерни, снстематическн обстрелнвавшей город Ленинград.

«...Граждане Ленинграда!

Мужественные н стойкие ленинградцы! Вместе с войскамн Леннградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическнм трудом н стальной выдержкой, преодолевая все трудностн н мучения блокады, вы ковалн оружне победы над врагом, отдавая для дела победы все свон силы.

От нмени войск Ленинградского фронта поздравляю вас со знаменательным днем велнкой победы под Ленинградом!..»

(Из принаэа Военного совета Ленинградсного фронта 27 января 1944 гпда)

Б. ГАЛИН, Н. ДЕНИСОВ

ВПЕРЕД, НА ЗАПАД!

Таранный удар с Пулковских высот разрубал подкову вражеской блокады изнутри, разобщая и лишая взаимодействия осадные части немецко-фашистских войск. Продолжавшееся наступление южнее Ораниенбаума угрожало основной артиллерийской группировке врага, обстреливавшей Ленинград, обходом с тыла. Удар от Пулкова на главном направлении должен был решительно потрясти всю систему вражеской обороны.

Таким образом, вся западная часть блокирующей Ленинград подковы замыкалась в клещи.

Счастье нанести удар на главном направлении прорыва блокады выпало на долю гвардейцев Героя Советского Союза генерала Симоняка. Мыслилось, что при артиллерийской поддержке будет стремительной атакой взят виттоловский узел сопротивления — основной узел на пути прорыва. Это была нелегкая задача. Виттоловский узел, соединенный на флангах с двумя другими узлами, был густо насыщен огнем. Овладеть им — значило нарушить всю систему обороны противника на данном плацдарме. Это должна была сделать одна из частей. Симоняк сказал командиру части:

— Постучись, дорогой, в эту дверь, сломай ее.

Характер полковника — командира части — как бы соответствовал намеченным действиям. Это живой, по-молодому горячий офицер, который любит риск, идет на риск, умеет мыслить во времени и пространстве, трезво оценивать обстановку. Ему и достался центральный участок — виттоловский узел, который имел условное название «самовар».

В дни, предшествующие прорыву, больше всего волновало генерала Симоняка, сумеют ли его офицеры в одну ночь скрытно сосредоточить свои части на исходных рубежах, хорошо укрыть технику и людей. Если враги раньше времени обнаружат эту накопившуюся силу, — будет погублен элемент внезапности, нарушится стройный ход задуманной операции.

Командный пункт генерала Симоняка был расположен на Пул-

ковском меридиане. Вблизи развалин обсерватории на скате высоты саперы отрыли длинную траншею и землянку. В одном углу траншеи было «хозяйство» генерала — рация, перископ, карта, в другом углу обосновался командующий артиллерией, имевший свою рацию и перископ. Отсюда был хороший обзор местности. Всё поле боя было как на ладони. Оно казалось безжизненным. Но люди и пушки, зарывшиеся в промерзлую землю, населяли Пулковские высоты и зимнее поле.

Всё было сделано, все распоряжения отданы. Учитывалось всё, что должно было создать столь важное превосходство в огне и живой силе, которое является непременным условием боя на прорыве.

Артиллерийские начальники точно знали, что́ нужно разрушить, уничтожить и подавить на поле боя, в глубине позиций противника, очертания которых скрывала мглистая дымка серого утра. Здесь, в полосе прорыва, у врагов было больше сотни артиллерийских и минометных батарей, 19 наблюдательных пунктов, 185 дотов и дзотов, сотни землянок. Четыре линии траншей, соединенных извилистыми ходами сообщения, бороздили всё это пространство, скрывая в себе гитлеровских солдат и офицеров. Враг сидел в земле. Артиллеристы должны были вспахать эту землю. У них для этого имелось всё необходимое. На каждый километр прорыва приходилось более ста орудий, объединенных в группы разрушения, подавления, поддержки пехоты, общего назначения, контрбатарейной и контрминометной борьбы. Сотни орудий укрылись на дальних и ближних огневых позициях. Вся эта масса артиллерии должна была разрушить вражеские траншеи, положив на каждый десяток погонных метров почти по сотне снарядов, уничтожить огневые точки и живую силу противника, разгромить его опорные пункты, нарушить управление, подавить артиллерийские и минометные группы. Только после этого гвардейцы могли ринуться в атаку. Обеспечив штурм пехоты, сотни орудий должны были перейти к новой работе: переносить огонь с одной траншеи на другую, методично наращивать и усиливать воздействие на всю глубину вражеской обороны.

В 9 часов 20 минут началось артиллерийское наступление. Предполагалось, что четвертая часть всей артиллерии — орудия прямой наводки, пока что спрятанные в специальных укрытиях, — будет выдвинута на открытые позиции и поведет огонь позднее, перед самым началом атаки. Это делалось для того, чтобы не раскрыть их противнику раньше времени. Но обстановка потребовала иного. В артиллерийском наступлении были использованы орудия, предназначенные для стрельбы прямой наводкой. Это в еще большей степени облегчило трудную задачу пехоты — бросок в атаку.

Началась атака. С командного пункта хорошо было видно, как

дуга живых цепей то размыкалась, то снова смыкалась, среди воя снарядов уходила вдаль. Стали поступать первые донесения. Наши штурмующие группы уже проскочили зону огня противника и завязали траншейный бой. Наметился успех наступления. Его искусно обеспечила артиллерия, подавляя вражеские пушки и разрушая инженерные сооружения врага.

Огневой вал катился впереди пехоты. Артиллерийские офицеры двигались с пехотными офицерами, направляя и корректируя огонь пушек; 76-миллиметровые легкие орудия, которые бойцы любовно называют «хлопушками», расчищали пехоте дорогу. Они прямой наводкой били по дзотам врага. Наступило время, когда потребовалось поднять всю эту махину артиллерии со старых огневых позиций, передвинуть на новые, предусмотренные планом боя. Когда в узком коридоре, пробитом гвардейцами, возникла угроза, что гитлеровцы огнем и атаками с флангов захлопнут ворота прорыва, была подана команда окантовать фланги, расширяя горловину.

«Самовар» еще был в руках у противника. Симоняк запросил полковника, есть ли перелом. Тот осторожно ответил, что имеются шансы на успех и один батальон уже зацепился за «самовар».

Честь первым ворваться в Виттолово досталась батальону гвардии майора Зверева. Сперва в Виттолово просочилась маленькая группа бойцов. Сколько фашисты ни пытались отбросить их, гвардейцев нельзя было выбить из захваченных ими траншей. Всё новые и новые ручейки штурмующих бойцов втекали сюда и рассекали узел обороны. Зверев прочно сел на сплетение немецких траншей, нарушил у врага управление, изолировал «самовар» от его соседей.

Генерал повернул гвардейцев на Дудергоф, к Вороньей горе. Теперь он был спокоен за острие своего клина. Его тревожил правый фланг, где события развивались более медленно. Он направился туда, взяв с собой походную рацию. Генерал придерживался принципа: в наступлении командиру надо быть как можно ближе к своим боевым порядкам. Все его офицеры знали этот принцип руководства боем: старший — к младшему. Командир правофланговой части понял, чем был вызван приход генерала: на его участке бои шел вяло.

— Я вам не помешал? — грубовато и добродушно спросил Симоняк.

Он развернул свою рацию и уселся с таким видом, точно перенес сюда командный пункт. Командир части, знавший повадки генерала, доложил ему обстановку и сказал, что собирается пойти в батальон, от которого зависит исход боя. Там, кстати, расположен его наблюдательный пункт.

— Дело хозяйское, — отозвался генерал. — На месте, конечно, всё виднее.

Последовал короткий разговор. Была внесена полная ясность: отчего происходит заминка в бою, что надо сделать, чтобы выправить положение.

В генеральский блиндаж ввели пленного фашиста-артиллериста. Он шел прихрамывая и опираясь на трость. Выжженная свастика оплела ее снизу доверху. Четко были вырезаны надписи, которые отображали путь владельца трости: «Украина, Крым, Нева, Ленинград». Фашист стоял без шапки. Его вытянутые по швам руки слегка вздрагивали.

Хрипло, шепотом он выговорил:

— Я не стрелял по Ленинграду.

Сказал он это по-русски, потом по-немецки и снова по-русски. Видимо, он знал, что рано или поздно с него спросят, и хорошо заучил эту фразу.

Все пленные гитлеровцы, и в первую очередь артиллеристы, испуганно повторяли одно и то же:

— Я не стрелял по Ленинграду.

Их страшила расплата. Один офицер, захваченный вместе с батареей, просил составить акт, что его пушки были на марше и потому не могли стрелять по городу...

ВОРОНЬЯ ГОРА

Одно время могло казаться, что самое трудное — это пробить брешь в долговременной и глубоко эшелонированной обороне, а как только оборона будет взломана, всё пойдет более быстрым темпом. Полковник — командир дивизии — видел дальше и глубже. Он видел и виттоловский узел и то, что лежало за ним. Перед ним возникала вся цепь задач, усложнявшихся с каждым часом сражения. После виттоловского узла обороны, после того, как были распахнуты ворота для наступления, стали на очередь Красное Село и Дудергоф. Красное Село было связано с Дудергофом в одну систему оборонительных сооружений. Это была своеобразная крепость, ключ к которой, по сути дела, находился на Вороньей горе.

Густо покрытая лесом, крутая Воронья гора была видна отовсюду, где шло ленинградское сражение. Она высоко поднималась к небу. Топографические отметки на военных картах говорили, что она возвышается над уровнем моря более чем на 170 метров. Это — наивысшая точка всей ленинградской земли. Отсюда гитлеровцы хорошо видели Ленинград. Командуя над местностью, этот лесистый пик был ключом к красносельским и ропшинским позициям врага. На Вороньей горе гитлеровцы оборудовали сеть наблюдательных пунктов, втащили сюда тяжелые орудия.

Бой шел уже в Красном Селе и в соседних военных лагерях. Но прочно овладеть этой крепостью без решительного штурма Вороньей горы было невозможно. Нависая с юга, она угрожала нашим войскам. Наступательный маневр был по-прежнему стремителен: войска одновременно вели бой за Красное Село и прорывались к Вороньей горе. Гитлеровцы думали остановить движение русских водой. Они взорвали плотины, соединяющие озера. Хлынувшая вода должна была разъединить и приостановить наступающих. Но было уже поздно. Бой шел в Красном Селе, бой приближался к Дудергофу.

Полковник, думая над решением последующей задачи, связанной с овладением Дудергофом, выделил как основную ударную силу полк Афанасьева. Надо полагать, что полковник вряд ли высказал бы вслух свою привязанность именно к этому полку. Но когда остро встал вопрос о борьбе за Воронью гору, как-то само собой вышло, что в замысле командира решающее дело выпало на долю именно полка Афанасьева. Этот полк имел свою благородную историю: его создали в 1918 году путиловские рабочие. Знамя путиловцев всегда было с полком. Старое рабочее знамя развертывалось и в Синявинских болотах, и под Шлиссельбургом, и на Пулковских высотах.

...Взять Воронью гору ударом в лоб нечего было и думать, — это стоило бы больших усилий и потерь. Трудно, очень трудно было совершить и обходный маневр, пробиваясь через вражеские укрепления, окружающие Воронью гору. Но чем больше думал полковник над практическим решением поставленной задачи, тем сильнее он убеждался, что обходное движение будет, пожалуй, наиболее разумным.

Нацеливаясь на Дудергоф, полковник связывал эту свою частную задачу с общей идеей и ходом наступления. Обходный маневр, если его искусно провести, открывал широкие перспективы. Падение Вороньей горы благотворно повлияло бы на действия соседей, штурмующих красносельскую крепость противника. Клин, вбитый с Пулковских высот, рассекал Красносельскую группировку. Он имел тенденцию всё глубже устремляться вперед навстречу наступающим с запада «малоземельцам».

В своем белом халате, надетом на полушубок, полковник напоминал хирурга, мысленно решающего вопрос об оперативном вмешательстве. Откинув полы халата и быстрым жестом подтянув рукава, он долго изучал карту. Его сжатые кулаки лежали на зеленом поле километровки. Командир полка, стоявший рядом, словно прикидывая в уме, что можно сделать и что ждет его на пути к Дудергофу, осторожно сказал вслух:

— А если...

Но он тут же пожалел, что вымолвил это слово.

— Если, если!.. — резко прервал его полковник. Он выпрямился,

притянул к себе командира полка и по-другому, более мягко, сказал ему:

— Пойми, ведь вся дорога к Вороньей горе выстлана этими ехидными «если». Всё наше с тобой искусство — обойти эти чертовы «если». Обойдем их — и тогда воронье гнездо в наших руках.

Он с силой сжал крепкие руки, как бы что-то перемалывая в ладонях.

...Обходной маневр начинали автоматчики гвардии капитана Масальского. Масальский прекрасно знал, что враги могли захлопнуть ворота за автоматчиками, окружить их и уничтожить. Опасность была реальная, но вместе с тем он ясно видел, что иного пути к Вороньей горе нет.

Получив задачу, Масальский коротко сказал:

— Ясно. Задачу понял. Вопросов больше не имею.

Он не имел больше вопросов к своему начальству, но много задал их самому себе. Теперь он был хозяином боя, ему нужно было решить для себя множество мелких и крупных вопросов, связанных с выбором маршрута, темпом движения, отбором людей.

С первой же минуты движения в тыл к противнику Масальский был самостоятелен. Всё зависело от его офицерской воли, от его инициативы и решимости. Ему помогла темнота. Он начал бой с гитлеровцами, отвлекая на себя их удар. Его автоматчики подбирались вплотную к штабным землянкам, сея смятение в тылу врага. И это был необычный бой, потому что порой Масальский не видел своих бойцов. Но в том-то и состояла заслуга капитана, что он так подготовил своих солдат к самостоятельным, решительным, инициативным действиям, что, как бы ни была трудна обстановка, автоматчики шли вперед и вперед, расчищая путь полку. Масальский смелыми, стремительными действиями прорубил узкий коридор в немецкий тыл. В этот коридор был брошен танковый десант. Десантники-автоматчики с тыла и полк Афанасьева с фронта штурмом пошли на Воронью гору.

Капитан Масальский был ранен в четвертый раз. Он дал унести себя в санитарный батальон только тогда, когда его заверили, что Воронья гора скоро будет нашей. Он коснулся губами снега: мучила жажда. Закрыв глаза, он беспокойно заворочался: где полевая сумка? Все было с ним. Он улыбнулся, вспомнив слова великого поэта: «Победа! Сердцу сладкий час...» Он сам был одним из тех, кто приближал час победы. Его подвиг был оценен по заслугам. Капитан Масальский получил высокое звание Героя Советского Союза.

...Вот она, Воронья гора! Казалось, и на деревьях лежал налет боя. Пахло гарью и порохом. Снег почернел и дымился. Еще шел бой, а на огневых позициях противника уже появились наши артиллеристы. Они пытливо осматривали свои бывшие цели. Их интересовало

всё: результат стрельбы, количество воронок, точность попаданий. Это был один из заключительных этапов их мастерской работы по уничтожению вражеской артиллерии, производившей обстрел Ленинграда.

Вот цель № 206. Это 210-миллиметровое орудие с длинным желтым стволом и огромным лафетом. Снаряд попал в казенную часть орудия, разворотив весь затвор. Больше двадцати воронок расположилось совсем близко от пушки. Начисто снесен бруствер защитной обваловки. Один осколок попал в середину большого фанерного щита, на котором масляной краской нанесены данные для стрельбы по городу. Вот цель № 281. Два 210-миллиметровых орудия. Они тоже подбиты. Рядом с ними — большие штабеля снарядов. Батареи врага, обстреливавшие Ленинград, не имели недостатка в боеприпасах.

В полевой сумке убитого фашиста — большая панорама Ленинграда. От очертаний Исаакиевского собора, Адмиралтейской иглы, корпусов Путиловского завода, здания Академии художеств, Горного института тянется пунктир. Над ним — цифры точно высчитанных дистанций с переводом в прицельные данные для разных систем. Тут же — таблица с поправками на ветер, атмосферные условия. Наши офицеры увидели немецкие осадные орудия, закопанные в землю. Военный глаз подметил такую деталь: орудия были без транспортных средств. Столь велика была уверенность гитлеровцев в своей силе!

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ПОБЕДА

Когда ленинградцы встречали Новый, сорок четвертый год, они понимающе улыбались друг другу, говоря о новом счастье и новых успехах. Прежде всего — они подразумевали под этим освобождение родного города от блокады и разгром врагов под Ленинградом. Затянувшаяся блокада с ее обстрелами, с ее печальными жертвами заставляла ленинградцев работать с какой-то исступленной энергией, готовя тот час, когда Ленинград подымется для решительного боя.

Час этот был неизвестен, но все знали, что он близок, все хотели этого, но в оживленной сутолоке, в рабочем упорстве каждого дня никто не говорил об этом открыто. Правда, месяц январь Ленинграда полон особого значения, потому что в январе прошлого года он был ознаменован таким громадным событием, как прорыв блокады.

В январе сорок четвертого года картина города ничем не выдавала подготовки к новому удару по врагу. Усилившийся обстрел говорил о нервозности врага, о том, что он мечется в тревоге.

Напрасно из Берлина кричали, что ленинградский вал немецкой обороны неприступен и можно спать спокойно, — гитлеровцы не спали.

Пленные, захваченные разведкой, показывали, что получен приказ несмотря на глубоко эшелонированную сеть укреплений, еще усилить ее на переднем крае, выстроив на участке каждого батальона по два новых больших дзота, перегруппировать артиллерию.

* * *

Пока в городе занимались уборкой свежевыпавшего снега, расчищали трамвайные пути, объявляли новые формы соревнования заводских бригад, на фронте начиналось оживление. Все чувствовали, что что-то приближается.

И в учебных занятиях, и в беседах по текущему моменту ощущалось то сдержанное нетерпение, которое всегда рождается вокруг события, которого все ждут и о котором условились не говорить.

Генерал, приехавший с другого фронта, слушая доклад о немецких укреплениях, сказал просто:

— Да, это серьезная линия, это очень сильная, это очень сложная линия.

Бронебойщик, поглядывая в сторону немецких окопов, на вопрос: какая разница между «тигром» и другими тяжелыми немецкими танками, — отвечал не сразу, но подумав, и с уверенностью знатока: — Разница такая: «тигры» горят дольше!

Но и военные и гражданские люди посматривали с опаской на погоду. Незамерзшая Нева, и лужи на улицах, и тонкий лед на заливе заставляли людей хмуро морщиться и бормотать всякие неприятные слова насчет небесного хозяйства.

Наконец в сумрачных рощах за Ораниенбаумом, под Пулковской высотой, на предгородской равнине перед Пушкином, — всюду началось оживление. Были командиры и солдаты, командированные в город по служебным надобностям с той стороны залива, и они узнали, что им надо возвращаться немедленно в свои части.

Но, к их глубокому горю, залив представлял мешанину из снега и льда. По этой мешанине не шли мелкие суда, идти пешком — смертельная опасность.

И всё-таки люди пошли. Они шли по льду, который качался под ногами, они торопились во что бы то ни стало добраться до того берега, где их товарищи уже готовились к бою. Пришлось вернуться с дороги. Залив не пропустил. Я видел одного командира. Он метался между Лисьим Носом и городом, не зная, что предпринять. Но он не мог оставаться в Ленинграде. Два с половиной года он дрался на своем бронепоезде, и мысль, что сейчас бронепоезд уйдет в бой без него, сводила его с ума. Таких, как он, смельчаков, бросившихся в опасный путь по заливу, было много. Какова была их радость, когда они узнали, что можно попасть к себе — кому по воздуху, кому на специальных судах.

Это было всеобщее огромное воодушевление. Я видел молодого лейтенанта, который говорил восторженно: «Больше нас ничто не остановит. Я это чувствую всем сердцем и могу подтвердить чем хотите. Я лично буду драться так, что вы обо мне услышите!»

Возбуждение проникло на передовые. Артиллеристы и саперы, снайперы и танкисты — все готовились, все проверяли оружие и снаряжение, хотя и так всё было проверено не раз. Генералы обошли весь передний край под минометным обстрелом. Единое чувство наступления охватило войска. Цельность этого большого чувства была удивительна. Больше нельзя терпеть фашистов под Ленинградом. Но враг не отдаст ни одной траншеи без упорного сопротивления. Сила утроит силу. Сила ленинградцев должна побороть вражескую.

* * *

Весь город был ошеломлен гигантским гулом, который, как смерч, проносился над Ленинградом. Много стрельбы слышали за осаду ленинградцы, но такого ошеломляющего, грозного, растущего грохота они еще не слышали. Некоторые пешеходы на улицах стали осторожно коситься по сторонам, ища, куда падают снаряды. Но снаряды не падали. Тогда стало ясно: это стреляли мы, это наши снаряды подымают на воздух немецкие укрепления.

Весь город пришел в возбуждение. Люди поняли, что то, о чем они думали непрестанно, началось. А голос ленинградских орудий ширился по всей дуге фронта. Били орудия на передовой, били тяжелые орудия из глубины, били корабли, били форты, говорил Кронштадт.

Разрывы фашистских снарядов, падающих на южные окраины города, не были слышны в этих волнах грохота, превращавшегося в бурю возмездия. Тонны металла разбивали немецкие доты, превращали в лом пушки, рвали на части пехоту, обрушивали блиндажи, сравнивали с землей траншеи. Куски разорванной проволоки взлетали к небу. Рвались мины на минных полях. Черные тучи дыма застилали горизонт.

Когда же поднялась первая цепь наших автоматчиков, перед которыми еще клубились дымы наших разрывов, она, эта цепь, рванулась вперед с такой неудержимой силой, что немцы побежали перед нею. Автоматчики шли во весь рост.

— Красиво идут! — говорили про них наблюдатели.

Гвардейцы Симоняка поддержали свою гвардейскую славу. Воскрес дух героев прорыва блокады. Войска, бравшие Шлиссельбург, бившие в свое время белофиннов на Вуоксе, — все бывалые воины Ленинградского фронта начали историческую битву, разгром фашистской орды, которой уже не могли помочь никакие укрепления.

Артиллеристы получали приказы передвинуть позиции вперед, на юг, на три, на пять, на семь километров. Два с половиной года стояли некоторые орудия на одном и том же рубеже, передвигаясь только вдоль него, и, получив такой приказ, люди могли на руках переносить орудия, задыхаясь от гордости и радости.

Есть нечто заколдованное в том ничьем пространстве, которое годами лежало между позициями нашими и немецкими. На этой темной от воронок земле среди минных полей и проволочных преград, прокладывали себе путь только разведчики. Враг жил — именно жил — там, у себя в блиндажах, точно он и впрямь решил больше не уходить отсюда. И в молчании этого настороженного, пристрелянного пространства, казалось, нельзя выпрямиться, нельзя идти, как хочешь, нельзя преодолеть его одним стремительным ударом.

И вдруг это случилось. Сразу рухнула таинственность этого пространства и этих первых неприятельских окопов. В блиндажи врага полетели гранаты, и когда оглянулись в пылу атаки, увидели пройденные три линии окопов. Четвертая линия фашистов встретила атакующих нестройным огнем.

Опомнившись, гитлеровцы стали драться яростно, драться до конца. Да им и некуда было податься теперь. Удары сыпались на них со всех сторон. Уже зарево встало над Петергофом и Стрельной. Уже у Ропши появились наши танки. Уже Дудергофская гора встала перед нашими вплотную. И пошло разрастаться великое сражение под Ленинградом.

* * *

Священные руины Петергофа, Павловска, Пушкина, Гатчины явились перед победоносными ленинградскими войсками, чтобы всей надрывающей душу трагичностью своих обвалов, пробоин, обожженных и разбитых стен звать к отмщению. Даже тот солдат или офицер, который никогда не видел их великолепия в мирной жизни, и тот не мог удержаться от волнения при виде того, во что обратили варвары наследие нашего прошлого.

Поваленные деревья вековых парков лежали, как мертвые великаны. Обрывки старинной парчи, бархата и шелка носил ветер над дымом пожарищ. Картины и фарфор, растоптанные сапогами гитлеровцев, лежали в грязи. Статуи без голов валялись в кустарнике. Огонь пожирал остатки домов. Горело вокруг всё, что могло гореть.

Пустыня, заваленная трупами, разбитыми пушками и машинами; пустыня, где возвышались груды щебня и мусора, присыпанные снежком; пустыня, где не было ни одного живого существа, — окружала наших бойцов. В подвалах домов, за пустыми стенами, зиявшими дырами, еще отсиживались фашисты, которые не успели бежать. Их кончали и шли дальше.

Кругом были немецкие доты, траншеи, блиндажи, пулеметные точки. Глубина обороны уже не пугала атакующих. Сколько бы километров ни тянулась эта чудовищная полоса, — всё равно она была обречена.

День за днем развертывалась битва, уходя всё дальше и дальше на юг. Гитлеровцы пробовали еще стрелять по городу, но это были последние разбойничьи выстрелы. Через час-два тяжелые желтые дула замолкали навсегда. Через несколько дней они уже стояли на Дворцовой площади, и ленинградцы смотрели на эти чудовища, что терзали своими снарядами живое тело города. И вот они в плену, угрюмые, молчаливые, зловещие.

А в это время на другом фланге двинулись новые полки, загре-

мела новая канонада. В той страшной местности, что была ареной непрерывных сражений, среди незамерзших болот, среди торфяных ям и канав, повитых дымом торфяного пожара, начался штурм фашистских укреплений. Было время, когда ленинградцы верили, что с падением неприступной Мги кончатся все бедствия блокады. Маленькая, затерянная в болотах станция стала символом борьбы за Ленинград. Совсем по-другому произошел прорыв блокады, но Мга завоевала себе навсегда мрачную известность упорством и яростью боев. Тысячи фашистских трупов утонули в ее болотах. Сотни тысяч снарядов резали болотные кустарники и кочки. Речушка Мойка, никому не известная, текла кровью в дни осенних боев этого года. На берегу нашей гордой Невы засели гитлеровцы, и даже после прорыва блокады их позиции — от Арбузова до покрытого сотнями тысяч осколков маленького предмостного редута на окраине села Ивановского — вклинивались в наши войска, стоявшие по ту сторону реки Тосно и на северном берегу Мойки.

И вот пала Мга. Зашатались все доты по реке Тосно, и старый противотанковый ров за рекой увидел, как бегут враги отсюда, где они зубами держались за каждый клочок земли. Нет больше немцев на Неве, нет больше на всем пространстве от Шлиссельбурга до Тосно, нет их и дальше, а битва продолжается и уходит на запад, на юго-запад, на юг.

* * *

Всё дальше и дальше уходила битва от Ленинграда, и всё глуше слышался грохот стрельбы и, наконец, исчез в отдалении. И тогда ленинградцы услышали радио, которое объявило приказ войскам Ленинградского фронта. Это было 27 января. Этот день войдет в историю города, в историю народа, в историю Великой Отечественной войны, в историю мировой борьбы с фашизмом.

Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады, от артиллерийских обстрелов противника. В восемь часов вечера толпы ленинградцев вышли на улицы, на площади, на набережные. Кто передаст их состояние? Кто расскажет, что они переживали в эту минуту? Нет слов, чтобы изобразить их волнение. Всё накопленное за годы испытаний, всё пережитое воскресло и пронеслось перед ними, как ряд видений страшных, невероятных, мрачных, грозных. И всё это исчезло в ослепительном блеске ракет и громе исторического салюта. Триста двадцать четыре орудия ударили в честь великой победы, в честь великого города.

Люди плакали и смеялись от радости, люди смотрели сверкающими глазами, как в блеске салюта возникал из тьмы город своей непобедимой громадой. А шпиль Петропавловского собора, и форты

старой крепости, набережные, Адмиралтейство, Исаакий и корабли на Неве, Невский — все просторы города освещались молниями торжествующей радости.

«Мужественные и стойкие ленинградцы! — говорилось в приказе. — Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы... От имени войск Ленинградского фронта поздравляю вас со знаменательным днем великой победы под Ленинградом».

Так оно и было! И с этого часа начинается другой период жизни города, когда историк берет перо и начинает писать по порядку всю историю законченной титанической эпопеи. Она уже в прошлом, но это прошлое еще вчера дышало всем полымем борьбы, и еще всюду в городе свежие шрамы и следы этой битвы, не знавшей равных в истории.

Наступает тишина восстановления. Но в ушах еще отзвуки всех бесчисленных выстрелов, в глазах еще образы погибших близких, погибших героев, воспоминания, подымающие человека на новые труды, на новые подвиги во имя жизни, во имя окончательной победы.

27 января 1944 года! Никогда не забудут тебя ленинградцы. И каким бы ни был пасмурным этот зимний день над Невой, он всегда будет сияющим днем для жителей великого города.

* * *

Сейчас вспоминается всё с самого первого дня, когда разорваны были пути, связывавшие Ленинград со страной, и пароходам некуда было плыть, и поездам некуда было уходить.

Сейчас волна нашего наступления возвращает нам эти пути один за другим. Уже свободна Северная дорога — и через Кириши — Мгу поезд может идти в Ленинград, и свободна Нева — можно готовиться к весенней навигации, можно плыть от Ладоги до залива, не думая об опасности и не боясь ничего. И, наконец, открывается путь, самое название которого наполняет торжеством сердце: Москва — Ленинград. Октябрьская дорога очищена от фашистских захватчиков.

Она, эта дорога, еще изрыта взрывами, мосты лежат в обломках, станции в руинах, шпалы сброшены с насыпи, рельсы пошли на доты, — но это ничего не значит. Есть свободный путь! Загудят паровозные голоса у стен, пахнущих свежим деревом, новые рельсы будут гнуться под тяжелыми составами и пассажирскими поездами, бегущими по старой, родной, прекрасной дороге от берегов реки Москвы, от Московского моря к берегам Невы, к берегам Балтики.

И ленинградцы воскресят свой славный экспресс — «Красная стрела». Русские люди возьмутся за восстановление так же рьяно, как они дрались за освобождение родной земли от заклятого врага.

И будет исключительной силы событием для ленинградцев, когда они придут на Октябрьский вокзал встречать первый прямой поезд Москва — Ленинград. Сколько объятий, сколько восклицаний, сколько восторга и бесконечной радости!

Друзья обнимутся, как боевые товарищи. И по улицам, по которым никогда не проходил ни один враг, пройдут москвичи и ленинградцы, чтобы показать всему миру свое великое братство, проверенное страшными испытаниями, из которых они вышли победителями.

ВИССАРИОН САЯНОВ

ДОРОГОЙ ПОБЕД

Записки
военного корреспондента

УТРО ПЕРВОГО БОЯ

Медленно всходило солнце над снежными полями. Над широким простором плыла предрассветная мгла, расходились дымные клочья тумана. Наступало утро первого боя. На узкой полоске земли между нашим передним краем и передним краем врага было тихо. Разрытое снарядами и минами, черное от пороховой гари снежное поле, делившее наши и вражеские окопы, было хорошо знакомо бойцам. Отсюда уходили в зимние метельные дни и в летние белые ночи снайперы, выслеживавшие фашистов. Здесь гремели выстрелы мести.

Вот он, район Пулкова, направление нашего главного удара. Навстречу войскам, наступающим от Пулкова, движутся полки и батальоны с «малой земли», с «ораниенбаумского пятачка». По замыслу командования, они должны соединиться в районе Кипени. Тогда сомкнутся клещи вокруг фашистских армий, стоящих под Ленинградом. Враг будет окружен, и советские войска снимут блокаду города Ленина.

Когда яростный гул канонады поплыл над бескрайним простором, передовые отделения гвардейцев ринулись через снежное поле к вражеским траншеям. Сразу заговорили фашистские пулеметы, застрекотали очереди автоматов, закашлял «Иван Иванович» (так называют бойцы фашистский шестиствольный миномет).

Стремительно нарастала атака. Всего несколько минут прошло, а имена отличившихся уже становились известны во взводах и ротах. Героев славила тысячеустая солдатская молва, уже шли в штаб донесения об их первых подвигах. Капитан Голиков всё время был впереди. Его подразделение уверенно вгрызалось в глубь немецкой обороны.

Сержант Дарджаев, которого товарищи называли «старичком», с четырьмя автоматчиками взбирается на танк. Быстро мчится тяжелая машина по снегу. Дзоты ведут огонь по наступающим. Дарджаев показывает танкистам цели. Один дзот уничтожен... Второй... Третий... Четвертый... Падают на снег убитые фашисты...

О гвардии рядовом Арачакове уже говорит весь полк. Его неизменно видят на самых трудных боевых участках. Со своим станковым пулеметом он всё время идет впереди. Вот залег, открыл огонь, проложил на несколько десятков метров дорогу пехоте... Вражеский станковый пулемет пытается отстреливаться, — Арачаков подавил и его. Разрывом мины разбит пулемет Арачакова. Арачаков берет автомат, выроненный тяжелораненым бойцом, и врывается во вражескую траншею. Фашист-пулеметчик ведет огонь. Арачаков сражает его, берет его ручной пулемет:

— Пусть теперь нам трофеи послужат... — Ярость боя живет в его груди, зовет на подвиг.

— Братцы, вперед! — кричит Арачаков, и бегут вслед за ним пехотинцы.

Всё новые и новые подвиги совершают гвардейцы. Четыре ряда траншей уже пройдены... Прорвана линия вражеской обороны... Немецкого переднего края больше нет! Лейтенант Ефимов с семью разведчиками захватывает землянку. Много фашистов в этой землянке, но ни одному из них не удается уйти живым. В глубине вражеской обороны уже начинают хозяйничать наши пехотинцы и танкисты.

Заря сменяет зарю, и утро нового дня снова начинается нашим наступлением.

Солдаты вышли к березовой рощице на высотке. Тонкие, высокие русские березки звенели на январском ветру. Здесь, на высотке, было логово врага — штаб артиллерийского полка, дальнобойные орудия которого вели огонь по Ленинграду. Фашистские артиллеристы пытались взорвать орудия. Но было уже поздно. Танки зашли с тыла. Фашисты бросились к мотоциклам, но танкисты и автоматчики открыли огонь и преградили отход гитлеровцам.

Главными трофеями были оставленные немцами тяжелые орудия. Дула их направлены на Ленинград. Отсюда фашистские звери вели огонь по городским окраинам, по центру, по школам, по больницам. Сколько русских людей было убито и искалечено прислугой этих батарей!.. Теперь застывали на ветру трупы убийц.

Сотни снарядов валяются на снегу, лежат в ящиках, уложены в укрытиях.

Солдаты на мгновение задерживаются, внимательно осматривают вражеские орудия. Больше уже никогда не будут эти орудия вести огонь по Невскому и Садовой, Измайловскому и Большому.

Дерзкий план созрел одновременно у нескольких солдат. Лейтенанты Байрамов, Саенко, Пособляев, сержант Миниахметов, рядовые Смирнов, Багаудинов, Кузьмин поворачивают дула орудий в другую сторону, в сторону фашистов. Не меньше двухсот снарядов выпустили они по тылам и коммуникациям врага.

И снова вперед уходят воины Ленинграда. И весь день боя полон незабываемыми эпизодами стремительных схваток, мгновенных ударов, яростных стычек, когда всё пускается в ход, чтобы сразить врага: и противотанковое ружье, и родная трехлинейная винтовка, и даже диск от ручного пулемета, неожиданно выручающий в рукопашной схватке.

Прорвана вражеская оборона, разбито железное кольцо, сжимавшее наш великий город! Скоро отдохнет израненная, исстрадавшаяся ленинградская земля. Бой уходит из этих мест. Район Пулкова становится тылом. Оглядываясь назад, я уже не могу разглядеть в морозной дымке очертания Пулковских высот.

ВПЕРЕД, НА ЗАПАД!

Вдалеке показались Дудергофские высоты, и в бинокль стали ясно различимы знакомые строения Красного Села.

Через несколько минут мы были уже на окраине Красного Села, где минометчики только что заняли огневые позиции.

Скупой на похвалы, всё испытавший, всё перенесший пехотинец, требующий многого от боевого товарища, знающий цену истинному мужеству, пробегая мимо минометчиков, громко говорит:

— Спасибо, хорошо работаете, крепко беретесь...

Бой за Красное Село всё разгорается.

Только что по снежному полю гуськом пробежали удирающие фашисты. Но «смертники» всё еще сидят в домах, в дзотах, непрерывно ведут огонь. В бой врываются наши танки. С грозным гулом проходят они по улицам Красного Села. На танках — десанты автоматчиков. Вот проносится танк, носящий имя Федора Дудко. Названия других не разобрать, — так много на танках автоматчиков в белых халатах, что весь танк кажется обтянутым белым чехлом. Еще несколько мгновений — и автоматчики начнут бой, выбивая фашистов из домов и дзотов. Строги лица людей. Воля собрана, напряжена до предела. В последнюю минуту на ходу проверяют они автоматы. Великая битва зовет!

Отходя, фашисты поджигают дома. Всё больше и больше очагов пожаров в Красном Селе. По склонам высотки, по черному от пороховой гари снегу идут в атаку небольшими группами пехотинцы.

Грохот нарастает. Совсем близко на бешеной скорости проносится над ними «мессершмитт», так низко, что огромными кажутся хвостовые змеи свастики. Это — единственный вражеский самолет, который мы видим над полем боя.

Вот оно перед нами, поле великой битвы, с перелесками, над

которыми плывут клубы дыма, с опаленными высотками, с охваченными пламенем домами, с красными следами трассирующих пуль, с грохотом орудийных выстрелов, с ревом идущих в атаку танков, с раскатом многоголосого русского «ура», с неумолчным стрекотом пулеметных очередей.

Пламя над Красным Селом становится сильней и постепенно сливается в одно огромное зарево.

Ведут пленных. На мгновение наступает тишина. Это — пауза в бою. Уходят вперед тягачи. Батареи меняют огневые позиции, танки идут вперед. И уже герои-красносельцы узнают о славной победе в Ропше.

В бою не поют песен. В бой идут стиснув зубы, крепко сжимая оружие. Но близко время, когда сложат песни об этой битве, и парадом пройдут по улицам Ропши и Красного Села победители.

Счастлив тот, кто дрался в этом бою: слава осенила его над истерзанными, охваченными пламенем родными полями исконной русской земли.

Грузовая машина мчит нас обратно в Ленинград. Торопимся, — ведь мы везем в редакцию фронтовой газеты материал о славной красносельской победе. Город затемнен. На перекрестке машина останавливается. Видим людей у репродуктора, слышим громкий и отчетливый голос диктора.

Утро начинается новыми геройскими подвигами. Всё стремительней становится темп наступления. Возвратившись в Красное Село, узнаем, что гвардейцы-большевики Михаил Кузнецов, Баранов, сержант Анатолий Кушков, пулеметчик Александр Тихонов на разных участках наступления грудью прикрыли амбразуры вражеских дзотов, мешавших продвижению наших частей. Герой Советского Союза летчик Евсеев, выручая в бою товарища, сбивает вражеский самолет «мессершмитт» (бойцы презрительно называют этот самолет «мусором»). Горят немецкие танки — «тигры» и «пантеры», пылают сожженные «фердинанды». Тысячи вражеских трупов устилают русские снега.

Красный флаг развевается над отвоеванными у врага городами, и широк простор фронтовых дорог, уходящих всё дальше на юг и на запад.

Над старым передним краем теперь небывалая тишина. Там, где недавно пройти в полный рост значило погибнуть от пули, — теперь спокойно и тихо, как в самом глубоком тылу. И следов на снегу почти не видно, и выстрелов не слышно, отдыхает истерзанная земля после девятисот дней непрерывной боевой страды. Солдат, знающий эти места с первых дней блокады, с радостной улыбкой всматривается в мглистую даль. Он видит знакомые, памятные места жарких боев.

Проволока перед вражеским передним краем, минные поля, противотанковые рвы с высокими эскарпами, бугры дзотов и дотов — все эти вражеские укрепления он сам разведывал когда-то. Много тут было огня, большая была тут сила. А теперь грозные укрепления врага стали грудой развалин, кладбищем металла.

— Вчера ночью в последний раз кашляли его батареи, — говорит мне солдат, — десять снарядов послали. И с тех пор — уже ничего. В сегодняшнюю ночь тихо было. В первый раз я слышал, как проволока на ветру звенит...

Едем по местам недавних боев. Каким тихим стало это поле, на котором еще два дня тому назад мы видели передовые цепи наступающих стрелков!.. Трупы фашистов с лицами, повернутыми на запад, как вехи, лежат на нашем пути. По этим трупам, по обломкам машин, по грудам развороченного металла можно, как по страницам книги, прочесть повесть отгремевшего боя.

Вместе с журналистом Марягиным расспрашиваем солдат, можно ли доехать по дороге до Русско-Высоцкого. Они говорят, что по этой дороге еще движутся, отстреливаясь, отступающие фашисты. Мы решаем всё же поехать по ней. Добираемся до Кипени. Там стоят уже наши войска. Здесь и в Русско-Высоцком части, наступающие от Пулкова, соединились с войсками, продвигающимися из района южнее Ораниенбаума.

С волнением рассказывает об этом незабываемом событии бравший Кипень лейтенант Вересов. Радостна была встреча пехотинцев и танкистов, и разноцветные ракеты, взлетевшие в дымное небо январской ночи, не забыть никогда!

Один из участников боя за Кипень образно сказал:

— К той петле, которую Ленинградский фронт вокруг фашистов сжал, и мы свой узелок подвязали; не сжечь его огнем, не прогрызть зубами...

В окружавшем деревню лесу еще сидят фашистские снайперы и автоматчики, но уже выходят к опушке леса танкисты, уже бьют по врагу минометы, уже непрерывно дымятся дула пулеметов. Наступление продолжается.

Мы встретили на дороге первых жителей, спасшихся из фашистского плена. А на перекрестке дорог неподалеку от развороченных снарядами немецких штабных машин стоял сожженный нашими танкистами «тигр».

После того как было взято Красное Село, танкисты готовили широкий прорыв. Нужно было разминировать минные немецкие поля, открыть дорогу буре танковой атаки. Старший сержант Карпухин делал этот проход. Его ранили, но он не ушел до тех пор, пока проход не был сделан. И когда танки ринулись вперед, рассеивая и истребляя

врага, Карпухин с радостью почувствовал, что именно его скромному и рядовому подвигу обязаны своим успехом танкисты.

В Русско-Высоцком мы встретились с танковым десантом лейтенанта Спиридонова. В эту деревню танки ворвались внезапно. Не ожидавшие нападения фашисты стали выбегать из домов, когда танки были уже на шоссе. Меткими очередями из автоматов десантники сражали их. Кое-где фашисты открыли ответный огонь. Был ранен в руку находившийся на танке боец Шарапов. Продолжая вести огонь по врагу, Шарапов убил ранившего его гитлеровца. Быстро был завершен бой. Танки ушли дальше, а на охране Русско-Высоцкого остались бойцы Спиридонова.

Десантники быстро обошли всю деревню, обыскали каждый дом, каждый подвал. По деревне разносились веселые крики бойцов, сообщавших своим товарищам о новых находках: то где-то в соломе был отыскан забившийся туда со страху фашист, то в бочке из-под капусты нашли гитлеровского «гренадера».

А в этот день на Дворцовой площади в Ленинграде люди толпились возле выставленных трофейных орудий. Это были орудия, бившие по Ленинграду, несшие смерть в наш город, разбившие и искалечившие столько жизней. Недвижно они стояли теперь на старой площади русских военных парадов.

Л. РАВИЧ

ЧЕЛОВЕК, СЛОМИВШИЙ БЛОКАДУ

Свершилось!
Над миром бессмертные пушки
О славных делах Ленинграда гремят.
По улицам черным, по городу Пушкину
Проходит сломивший блокаду солдат.
Он ищет санбат. Сердце рвется на части.
Тяжелые руки в засохшей крови.
Но вдруг человек засмеялся от счастья:
Он вспомнил недавние годы свои.
Читает учитель веселую сказку.
Стихи дорогие возникли во мгле.
Снял пехотинец железную каску,
Стоит, улыбаясь, на дымной земле.
Флаг над лицеем светлее рассвета.
Люди в разбитые входят дома.
Слышится в пламени голос поэта:
— Да здравствует солнце, да скроется тьма! —
Чернеет в груди головешкою рана,
Но кажется: там, где яснеет восход,
По снежным полянам к закованным странам
В рядах победителей Пушкин идет.

ВИКТОР ГНЕДИН

ТАРАННЫЙ УДАР

Офицер танковых войск В. А. Гнедин в 1941—1944 годах принимал участие в обороне Ленинграда. За доблесть и мужество, проявленные в боях, В. А. Гнедину присвоено звание Героя Советского Союза. Ниже публикуются отрывки из воспоминаний В. А. Гнедина о боях под Ленинградом в январе 1944 года. Литературная редакция М. Е. Сонкина.

В ночь на 15 января 1944 года наша танковая часть сосредоточилась на территории кирпичного завода в районе Московской заставы.

...Скоро начнется артиллерийская подготовка. Первыми войдут в бой ударные части пехоты и танков. Они прорвут оборону противника, и, когда обозначится их успех, в образовавшийся прорыв будет введена наша подвижная группа.

В ожидании этого времени танкисты скрытно, под навесами, зажгли костры. Было тихо...

Командир танка лейтенант Гусаров взглянул на часы и подумал: «Немного осталось».

И вскоре со всех сторон закричали:

— Началось! Началось!

Гусаров глянул в сторону Пулковских высот.

Возле Дома Советов и мясокомбината, у железнодорожной насыпи и полустанка — по всей равнине, отделяющей Ленинград от Пулкова, замелькали огоньки. И сразу же грянула небывалая гроза. Она гремела по всему Ленинградскому фронту, то утихая, то разрастаясь с новой силой. В ее раскатах слышались взвизгивающие залпы «катюш», тяжелый гул дальнобойных батарей, короткие хлопки малых пушек, вой, свист и грохот разрывов тысяч снарядов, мин и бомб. Гремела могучая гроза — самая мощная артиллерийская подготовка, которую мне приходилось видеть и слышать за два с половиной года войны.

Даже здесь, на окраине города, от залпов артиллерии содрогался воздух, с крыш осыпался снег. Говорить было трудно. Голос срывался. Чтобы объясниться с соседом, нужно было кричать.

Так продолжалось около двух часов. Потом артиллерия перенесла огонь в глубину. Началась атака.

Разумеется, далеко не все подробности развернувшегося боя доходили до нас. Но по обрывкам фраз и команд, услышанных по радио, было понятно, что пехота и танки вгрызлись в немецкую оборону и тяжкой поступью, медленно, но упорно идут вперед. Никто не знает, сколько так будет продолжаться, ослабнет ли сопротивление противника, быстрее ли пойдут атакующие войска через час, через три... Но все знали одно: началось то, что остановить уже невозможно, и, что бы ни случилось, ударные части будут идти вперед, пока не настанет час, когда можно будет ввести подвижные войска.

* * *

...А между тем жизнь у нас шла своим чередом.

Приехала походная автокухня.

Повар Онучин, низенький толстенький бодрячок лет сорока, почему-то прозванный «Малюткой», давно уже бегал от танка к танку, сзывая бойцов на завтрак.

— Обожди, Малютка, видишь ведь! — указывали ему на Пулково. — Не до еды сейчас.

Онучин в который раз останавливался, прислушивался к гулу боя и снова умоляюще просил:

— Остынет, ребята...

— Слышишь: во вторую траншею ворвались!

— Ну что за еда будет?.. А ведь щи с мясом, гуляш... Мясо с лучком. И погреться есть...

— Сгинь, Малютка!

— Ну, погодь чуточку...

— Солдат ты али повар? Неужто не понимаешь!

— Пошли... Пошли...

— В глубину пошли!

— Пошли! — донеслось с правофлангового танка. Радист услышал сигнал, означавший, что первая линия обороны прорвана и наметился успех.

Только теперь Малютка мог приступить к своему делу. Настроение было такое, что разом вспомнили о ста граммах.

Мгновенно появился на поваре белый передник и такие же нарукавники. Он легко вскочил на подножку автокухни и, купаясь в пару, начал раздавать пищу. Старшины чинно разлили бойцам по сто граммов морозного пайка, и отовсюду понеслось:

— За нашу удачу!

* * *

В ночь на 17 января наша группа вышла на исходные позиции (как и намечалось ранее) в деревню Кюльмя, освобожденную передовыми частями в ходе двух первых дней наступления.

Лунным светом была залита земля, и на дороге, по которой шли наши танки, следы гусениц отдавали серебряным блеском. За гребнем Пулковских высот мы увидели следы работы нашей артиллерии. Земля вокруг была густо изрыта снарядами, виднелись взорванные вражеские дзоты и доты, чернели длинные ряды траншей. В одном месте, неподалеку от дороги, лежала опрокинутая вверх гусеницами немецкая самоходка.

— Отвоевалась — и лапки кверху!

...На исходных позициях близость боя особенно чувствовалась. За Красносельской дорогой непрерывно вспыхивали ракеты. В нашу сторону летели трассирующие пули, доносилась пулеметная стрельба. С Вороньей горы, с Дудергофских высот били тяжелые фашистские батареи. Они вели огонь по нашим войскам, продвигавшимся к Красному Селу. Где-то слева глухим металлическим басом ревел шестиствольный миномет.

Наступило утро 17 января. Вражеский огонь усилился. В расположении нашей подвижной группы всё чаще и чаще рвались снаряды, визжали пули. Но мы хранили молчание: нельзя было раньше времени обнаружить себя. Сидели в машинах с закрытыми люками и ждали сигнала атаки.

С первыми лучами солнца снова загремел артиллерийский гром. Он буреломом прошелся по вражеским позициям западнее и юго-западнее Кюльмя. Кверху взметнулись фонтаны снега, сухой, мерзлой земли. В небе появились штурмовики и бомбардировщики. Они завершили огневую обработку переднего края врага... Вслед двинулись тяжелые гвардейские танковые полки и гвардейская пехота. Стало ясно: они вбивают правее нас новый клин в оборону противника, они выходят на штурм Вороньей горы и Красного Села. Значит, скоро и наш удар последует. Мы пойдем в направлении на Тайцы. Таким образом будет вбит еще один глубокий клин.

Ждать пришлось недолго. Часов в десять утра для нашей подвижной группы последовала команда: «Вперед!»

...В то время как другие части подвижной группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией, наносили удар вдоль Гатчинского шоссе, наш батальон вел бой несколько правее — за овладение деревней Кургелево.

Противник встретил нас плотным противотанковым огнем. Бронебойные снаряды огненной трассой пронизывали воздух, бороздили мерзлую землю, разрывались или рикошетили.

— Атакуйте Кургелево в обход справа! — приказал командир части.

— Развернись! — последовала команда.

Батальон перестроился.

Но враг не замедлил открыть огонь из дальнобойных орудий с Дудергофских высот.

Танки втянулись на болотистую равнину между Дудергофскими высотами и деревней Кургелево. Слева и справа, не утихая, вели огонь вражеские орудия и минометы.

Чем дальше, тем путь труднее. Вот болото: поблескивает лед. С противоположного берега строчат вражеские пулеметы. Теперь по нам огонь ведут с трех сторон: справа, слева и с фронта.

Десантники-автоматчики спешились, развернулись цепью.

Я запросил поддержки. Ближайшие батареи не замедлили открыть стрельбу по противоположному берегу болота. Противник несколько ослабил огневое сопротивление.

Вперед вышла «тридцатьчетверка» — танк Гусарова. Следом за ним двинулись все танки его подразделения. Позади легли коричневые полосы болотной жижи...

...К траншее подошел легкий танк старшины Миносяна. Он дал несколько очередей из пулемета. Пули, подняв снежную пыль, врезались в бруствер окопа. Гитлеровцы ответили огнем автоматов. Возле танка начали рваться ручные гранаты, над башней просвистел бронебойный снаряд.

— Не возьмешь!.. Вперед! Вперед! — командовал Миносян своему водителю Алаторцеву.

Тот круто повернул машину влево и повел ее вдоль траншеи. Миносян дал максимальный угол снижения танковому орудию и пулемету, открыл огонь по траншее из всех своих огневых средств. Пули царапали мерзлые стены окопа, снаряды разрывались в проходах траншеи. Гитлеровцы заметно ослабили сопротивление, дрогнули и по запасным ходам сообщений начали уходить в глубь своей обороны.

К Миносяну подоспели легкие танки. Поднялась и, перебегая от укрытия к укрытию, к траншее стала подтягиваться десантная пехота. Но ей помешал вражеский пулемет, стрелявший с кургелевской высоты. Его заметил Миносян. Он два раза ударил из пушки, и фашистский пулемет замолк.

Первый ряд траншей, опоясывавших северо-западную окраину Кургелева, был пройден.

Я улучил момент, чтобы подсчитать свои потери. Два легких танка застряли в болоте, еще два засели в траншее, а на правом фланге за болотом горела «тридцатьчетверка». Черный дым окуты-

вал танк, пламя лизало броню, и мне не был виден номер машины. Чей танк горит, кого вырвала смерть из наших рядов?

Я переключаю приемник «на себя» и прислушиваюсь к эфиру. Среди многочисленных команд, приказов, распоряжений и донесений слышу знакомый голос командира роты Лукьянова. Он доносит:

— Пять. Один.

«Пять» означает «сгорело», «один» — количество танков. Я уже видел это и без Лукьянова. Но чей танк?

Продолжаю смотреть на горящую машину. Живой памятник погибшим бойцам. Погибшим... Да, Лукьянов ясно донес, что танк сгорел. Но что такое? Танк вдруг ожил, он стреляет из пушки и пулемета. Возле машины суетятся двое. Один в белом маскхалате. Автоматчик. Он пригоршнями хватает снег и бросает в огонь. Второй — в черном комбинезоне. Это танкист. С огнетушителем в руках он гасит бушующее пламя. Вдруг из кормового отделения машины вырывается багрово-красный клуб огня. Взрыв. Оба человека у танка — автоматчик и танкист — падают. Танк перестает стрелять. Пламя лижет теперь весь корпус машины. Горят резиновые бандажи опорных катков. По земле змейками стелются струйки огня: горит дизельное топливо, пролившееся из лопнувших баков... Кого же не стало?..

Позднее я узнал, что погиб сержант Хватов. Пока из горящего танка лейтенант Крымов стрелял, Хватов с автоматчиком боролись с бушующим пламенем. Но вражеская пуля сразила водителя. Хватов так и остался лежать возле танка с огнетушителем в руках...

* * *

Впереди нас, перед рощей, откуда противник сейчас вел сильный огонь, виднелся невысокий курган, запорошенный снегом. Перед курганом простиралась кочковая поляна, по ней петлял лыжный след. Судя по следу, солдат шел не торопясь, и было это минувшей ночью. Лыжня местами поблескивала, местами была припорошена свежим снегом. У самого кургана лыжник зачем-то остановился, топча ногами снег. Потом он поднялся на курган, скатился оттуда вниз, упал, разворошив своим телом рыхлый сугроб. Падение не обескуражило солдата. Он снова поднялся на курган: «елочкой» обозначились следы его лыж; потом он съехал вниз и ушел к Дудергофским высотам.

Безобидная зимняя картина! В мирное время никто не придал бы ей никакого значения. Мало ли курганов вокруг! Но на войне ко всему нужно присматриваться...

Когда рота Лукьянова, взяв первый ряд вражеских траншей,

стала подходить к кочковатой поляне, курган вдруг ожил. У его основания в двух местах блеснули короткие вспышки огня. Вслед грохнули пушечные выстрелы. Курган оказался двухамбразурным дотом. Одна «тридцатьчетверка» остановилась. Показался желтовато-черный дым.

— Я — «Баргузин». У меня четыре. Золото в кармане, — радировал командир остановившегося танка. Это означало: танк подбит, но из людей никто не пострадал. Танк не горит, это сам экипаж для маскировки зажег дымовые шашки.

— Обороняйтесь, — кодом передал «Баргузину» капитан Лукьянов и дал команду экипажам своих танков открыть огонь по доту.

Курган покрылся черными воронками; быстро исчезла «елочка» лыжника.

— В чем дело, Гнедин? — по радио запросил меня командир части.

Я коротко доложил о причине задержки и сказал, что принял решение блокировать дот. Без этого продвинуться дальше не удастся.

— Отставить! — последовал приказ. — Еду к вам. Разберемся на месте.

Вскоре в лощине показался танк командира части. Он остановился так, что между нашими машинами образовался угол, обращенный в сторону противника.

Высунувшись из люка, полковник помахал руками крест-накрест: «глуши мотор» — и крикнул мне:

— К машине!

Мы одновременно спрыгнули с танков.

Полковник был одет в черную меховую куртку с серым воротником и застежкой «молния». Из-за полуоткрытой застежки виднелись топографическая карта и рукоятка пистолета.

Полковник развернул карту:

— Докладывай обстановку.

Обе роты легких танков вели бой за овладение вторым рядом вражеских траншей. Противник вел по ним ружейно-пулеметный и минометный огонь. Пехота залегла. Танки, использовав складки местности, отстреливались с места... Докладывая об этом, я тут же показывал на поле боя. Полковник торопил:

— Вижу. Так. Дальше. — Он стоял возле машины, облокотившись на крыло танка. Его узкий с горбинкой нос казался в это время заостренным, а закопченное пороховым дымом лицо — хмурым.

— Если первую роту перекантовать влево, — продолжал я, — она продвинется вперед, но окажется под сильным огнем вражеской артиллерии. В тыл роте будет бить дот. Поэтому я и рассредоточил

роту, пока не будет уничтожен дот, — и тут же я изложил план блокировки долговременной огневой точки.

Командир части поднял голову, вскинул к глазам бинокль, внимательно осмотрел местность. Было ясно: он продолжает оценивать сложившуюся обстановку.

На участке нашего соседа справа, действовавшего в направлении на Красное Село, кипел жаркий бой. Гитлеровцы оказывали упорное сопротивление. По Вороньей горе и Дудергофским высотам вели огонь «катюши», дальнобойные пушки и орудия большой мощности. Пикирующие бомбардировщики поддерживали с воздуха наши наземные части. Неумолкающий гул разрывов тяжелых снарядов и авиабомб докатывался и до нас.

На Красносельском направлении наши гвардейские части упорно продвигались вперед.

Полковник опустил бинокль, повернулся ко мне и мягко произнес:

— С планом штурма дота согласен. Действуйте! Но берегите людей. Тот танк, что будет обходить дот справа, должен идти быстрее ветра. Кстати, кого туда назначите?

— Лейтенанта Гусарова.

— Гусарова? — переспросил командир и, помолчав, добавил: — Согласен, но вызовите его ко мне.

Вскоре мы сидели в блиндаже. Прибыл Гусаров.

— Через поляну ваш танк шел? — спросил его полковник. (Командир части имел в виду один из боевых эпизодов, разыгравшихся часа два назад.)

— Наш, товарищ полковник.

— Проходы для легких машин через траншеи вы делали?

— Мы, товарищ полковник.

— «Наш», «мы» ... Вы что — правильно говорить не умеете?

— Умею, товарищ полковник. — Гусаров выпрямился, принял положение «смирно». — Разрешите доложить? Не я один в танке. Потому и говорю «мы». А когда проходы делали, нас огнем поддерживали другие танки и самоходки...

— Правильно! — повеселел полковник. — Молодец! Комбат посылает вас блокировать дот. Вы об этом знаете?

— Знаю, товарищ полковник.

Гусаров выдержал еще один острый взгляд командира части и добродушно улыбнулся: «Зачем еще испытывает?». Но спохватился, что улыбку можно понять по-разному. И лицо его снова стало строгим.

— Можете идти, — сказал полковник. — Готовьте штурмовую группу.

— Слушаюсь!..

Трудное и опасное дело было поручено Гусарову: на предельной скорости его танк под огнем врага должен был вырваться вперед и зайти в тыл доту.

* * *

Для успеха дела одно из танковых подразделений завязало с дотом перестрелку, чем отвлекло на себя внимание противника. Тем временем гарнизон дота не заметил, как к нему приближались наши пехотинцы-десантники. Разгребая снег руками, они по-пластунски ползли к намеченной цели.

— Заводи! — скомандовал, наконец, Гусаров водителю.

Перегудов нажал на стартер, и машина понеслась вперед.

— Ну, хлопцы, — сказал Гусаров, — теперь во сто глаз смотри.

— Слева двадцать, на бруствере пулеметное гнездо, — перебил его Перегудов.

— Дави!

И теперь случилось то, чего более всего опасался молодой боец Решетников. Машина круто повернула влево, и перед его глазами замелькали вспышки пулеметного огня. Через мгновение радист ощутил сильный толчок, послышался треск бревен раздавленного блиндажа, и сразу же танк, накренившийся на правый борт, начал куда-то проваливаться... Мотор заглох. В машине наступила та гнетущая тишина, когда чувствуешь биение сердца, а каждый шорох, словно каленое железо, жжет душу. Решетников в страхе весь сжался и прислушался. Где-то рядом кричали гитлеровцы. Он расслышал: «Русиш... шнель... шнель...»

Но Гусаров и Перегудов встретили несчастье хладнокровно. Командир машины стал соображать, что делать, а водитель уже бросился искать причину остановки танка.

Решетников оставался один, один во власти страха. Время исчислялось мгновениями, но ему казалось, что проходит целая вечность.

«Машину подорвать торопятся», — с ужасом подумал молодой боец, заслышав немецкую речь.

Как бы в подтверждение, слева раздался оглушительный взрыв. Танк содрогнулся. В машину ворвались терпкие запахи взрывчатки и едкая земляная пыль.

Гусаров глянул в смотровую щель. Левое крыло танка и запасной топливный бачок были сорваны, моторное отделение притрушено грязным снегом. Снег быстро таял. Вода стекала на горячий мотор и шипела, превращаясь в пар. По ходу сообщения к танку со связками гранат стали пробираться немцы.

— Отбиваться гранатами! — скомандовал экипажу Гусаров.

Выдернув предохранительную чеку из запала, лейтенант первым швырнул из люка гранату. Его примеру последовал башенный стрелок Мазуров.

Решетникову же теперь казалось, что гибель неминуема. Он видел тусклый пучок дневного света, проникающего через смотровую щель. И ему представилось, что вот сейчас кто-то прикроет ее заслонкой, доступ света прекратится, а вместе с этим — и его жизнь...

— Заводи, быстро! — твердо сказал Гусаров.

Оказалось, то в танке заело третью скорость. Перегудов обеими руками вцепился в рычаг включения скоростей, стараясь поставить его в нейтральное положение.

— Ну, как? — спросил Гусаров.

— Еще минутку... — ответил водитель.

Решетников умоляюще смотрел на водителя: «Скорей... заводи... От тебя зависит всё... Скорей с этого места!»

— Ты на меня чего таращишься? — сказал Перегудов, заметив тревожный взгляд радиста.

Но тут же, поняв душевное состояние молодого бойца, водитель уже другим, смягченным тоном добавил:

— Лучше в эту дырку гляди, — он кивнул головой в сторону диоптра пулемета радиста, — а из пулемета жарь что есть силы...

Решетников припал к пулемету. Но, стреляя, он не видел, где ложатся его пули. Порой он отрывался от пулемета, чтобы посмотреть, что делают другие члены экипажа.

Гусаров продолжал вынимать из брезентовых мешков ручные гранаты и бросал их. Движения командира экипажа были расчетливы и сноровисты. Мазуров, просунув ствол пистолета в револьверную заглушку в башне танка, тщательно прицеливался и стрелял. Перегудов, расчищая доступ к тягам, отбрасывал от себя снарядные гильзы, падавшие на днище танка.

Спокойствие, с которым Гусаров, Мазуров и Перегудов делали свое дело, передалось и Решетникову. Оттого постепенно исчезал страх и руки обретали крепость.

Он глянул в диоптр. К танку полз гитлеровец. Он был уже шагах в пятидесяти. Решетников прицелился и выпустил длинную очередь. Фашист ткнулся носом в снег...

Решетников впервые почувствовал в себе силу. Он обернулся, чтобы что-то сказать Перегудову. Но в этот момент послышался голос водителя:

— Нашел! Вот, оказывается, где причина... Тягу заклинило... Сейчас будет в порядке.

Прошла еще одна томительная минута. Но теперь все чувствовали себя смелей.

— Заводи! — скомандовал Гусаров, когда увидел, что Перегудов уже может это сделать.

Водитель нажал кнопку стартера.

— Держись, друже, выезжать будем! — сказал он.

— Не свали гусеницу...

— Будьте покойны, — отозвался Перегудов.

Машина тронулась с места, попятилась из траншеи и, размяв гусеницами остатки блиндажа, вышла на ровное место.

— Прямо, через траншею, в тыл доту! — скомандовал Гусаров.

— Есть к доту.

Танку теперь надо было преодолеть поляну. А она простреливалась противником с опушки рощи.

— По опушке — шрапнелью! — радировал Гусаров самоходкам.

Но не только они услышали зов лейтенанта. С разных сторон по указанной цели открыли стрельбу многие танки, самоходки и орудия сопровождения.

Когда огонь противника немного утих, Гусаров скомандовал водителю:

— На дот! Полный газ!

Перегудов не замедлил исполнить команду. Танк на большой скорости подкатил к цели и своим корпусом закрыл выход из дота. Такого дерзкого натиска противник выдержать не смог, и гитлеровцы в страхе начали удирать по траншее. Здесь их встречали наши десантники. Скоро два сильных взрыва потрясли землю: саперы взорвали амбразуры дота.

Часа через два нами была взята и деревня Кургелево. Башенный стрелок Мазуров, который давно вел дневник, сделал очередную запись:

«17 января 1944 года. Экипаж танка в составе лейтенанта Н. Гусарова, старшего сержанта Н. Мазурова, сержанта В. Перегудова и рядового А. Решетникова уничтожил: четыре противотанковых орудия, три пулемета, один миномет, один дзот, двадцать семь солдат и офицеров противника. Совместными действиями был уничтожен двухамбразурный вражеский дот.

В этом бою впервые отличился молодой боец Анатолий Решетников, истребивший восьмерых фашистов».

* * *

Ночью 19 января Красное Село было полностью очищено от врага. Через несколько часов, овладев Кипенью, мы на Ропшинской дороге соединились с «малоземельцами».

«Малоземельцами» мы называли войска, находившиеся на Ораниенбаумском плацдарме, который удержали в ходе оборонительных боев осенью 1941 года. Войска занимали небольшой участок вдоль побережья Финского залива — около семидесяти километров по фронту и пятнадцати километров в глубину. Части «малоземельцев», усиленные свежими войсками, начали наступление еще 14 января.

И в то время, когда мы, идя на соединение, находились на пути к Ропше, радиостанция возвестила о новой победе советских войск. Как мы ждали этой минуты!

«...Широка страна моя родная...» — вызванивали позывные московской радиостанции. «Это о нас? — спрашивал себя каждый в ожидании, когда заговорит диктор. — Или в эти дни свершилось еще более значительное и приказ будет адресован не нам?» Но вот он, знакомый голос Левитана...

«Приказ Верховного Главнокомандующего...» — звучало в наушниках. Скорее, скорее! Конечно, о нас!..

Объявлялась благодарность войскам Ленинградского фронта за овладение городом Красное Село, превращенным фашистами в крепость, и таким же мощным опорным пунктом обороны противника и важным узлом дорог — Ропша. В этот вечер столица нашей Родины Москва впервые салютовала в честь героических защитников Ленинграда.

* * *

На пути к Гатчине нам предстояло овладеть селом Елизаветино и перерезать железную дорогу, идущую на станцию Волосово.

Между нами и противником была широкая ровная поляна. На ней группами росли кусты. Левее, за молодой сосновой рощей, виднелась железнодорожная ветка Гатчина—Волосово.

Всё приближаясь и нарастая, слышался гул канонады. Это подходил наш сосед слева. Со стороны Дудергофа и Тайц приближалась гвардейская пехота. Гудели тяжелые танки. Двигались части артиллерии и гвардейских минометов. По шоссейным дорогам подтягивалась тяжелая осадная артиллерия. В небе то и дело пролетали наши бомбардировщики и штурмовики.

Враг на участке левее нас вынужден был отойти и выровнять свой оборонительный рубеж на линии несколько севернее Елизаветина. Установив локтевую связь с соседом, мы после артиллерийской подготовки получили возможность возобновить наступление.

Пройдя первый ряд траншей, передовое подразделение завязало бой в глубине вражеской обороны. Из Елизаветина открыли огонь немецкие противотанковые пушки.

Танк лейтенанта Крымова действовал на левом фланге атакующего подразделения. Впереди находилась небольшая сосновая роща. Оттуда вели огонь два немецких пулемета. Они отсекли от танков нашу пехоту.

— Влево! К роще! На пулеметы! — скомандовал Крымов водителю Плотникову.

До цели оставалось метров двести. Командир танка и механик-водитель уже видели чернеющий прямоугольник амбразуры пулеметного гнезда. Можно было стрелять. Но за время боя экипаж израсходовал значительную часть боеприпасов. В танке оставалось всего семь осколочных снарядов. Крымов распорядился:

— Фашистский пулемет прижать гусеницей!

— Есть прижать! — ответил водитель.

Когда с пулеметами было покончено и танк остановился, Крымов высунулся из башни, чтобы сориентироваться.

Вправо виднелась восточная окраина Елизаветина. Туда уже входила основная масса наших танков, следом за ними мелкими перебежками продвигалась пехота. Крымов взглянул вдоль проселочной дороги и не сразу осмыслил увиденное. От южной опушки рощи по дороге на Елизаветино вышел немецкий танк «тигр». Он оказался между танком Крымова и теми машинами, которые входили в деревню.

Между тем «тигр» замедлил ход и, не замечая крымовского танка, выстрелил по нашим «тридцатьчетверкам».

— Бронебойным — заряжай! — по привычке скомандовал Крымов.

— Бронебойных нет, — ответил башенный стрелок.

Только теперь Крымов и Плотников поняли всю серьезность момента. Впереди, всё удаляясь, идет вражеский танк. Он бьет с тыла по нашим машинам, а расправиться с ним нечем.

На пути «тигра» кусты. Он стремится к ним. Скроется в них и может еще прицельней стрелять по танкам, ведущим бой в Елизаветине.

— Подобьет наших! — с досадой и болью произнес Плотников.

— Предупредите командира роты: в тылу немецкий «тигр», — приказал Крымов своему радисту.

А «тигр» уже подходил к кустам. Время исчислялось мгновениями...

— Вперед! Полный газ! К «тигру»! — скомандовал Крымов водителю.

— Есть к «тигру»!

— Обгоняй справа! Подставь левый борт!

Плотников понял замысел командира. Он резко рванул свою «тридцатьчетверку» вперед...

Экипаж «тигра» вначале, видимо, не замечал танка Крымова. Несколько коротких мгновений обе машины шли, как говорят, «ухо в ухо», не перегоняя друг друга. И лишь когда наша «тридцатьчетверка» на полкорпуса вырвалась вперед и выскочила на дорогу, «тигр» заметил ее и развернул по ней свое орудие. Но было уже поздно. Плотников подставил свою машину так, что «тигр», ударившись о нее, остановился. Моторы обоих танков заглохли. Пушка «тигра», не успев выстрелить, заскрежетала своим стволом по башне «тридцатьчетверки». Две сцепившиеся машины издали напоминали двух гигантов, которые сошлись в поединке, и ни один из них не может сдвинуться с места без риска потерять голову.

Когда танки сцепились, наступила такая тишина, что, казалось, было слышно, как пульсирует в висках кровь. Несколько секунд люди сидели не шелохнувшись. Сначала Крымова занимала мысль: «А вдруг «тигр» оказался невредимым? Тогда он заведет мотор, включит заднюю скорость, отойдет назад и в упор расстреляет наш танк...» Плотников был встревожен другим: в какой мере повреждена ходовая часть его танка? «Ленивец не должен быть сломан, — рассуждал водитель. — Удар «тигра» должен быть между вторым и третьим катком. Расчет, кажется, был точным. Но кто его знает, тут всякое может случиться».

Но всех людей экипажа объединяла и радовала одна мысль: они предотвратили гибель товарищей.

Рядом раздался завывающий гул стартера: водитель «тигра» решил завести мотор. Крымов схватил ручные гранаты и открыл люк башни. В тот же миг, будто сговорившись, открыл башенный люк танкист с немецкой машины. Он выстрелил из пистолета. Пуля ударилась в броневую крышку люка и вреда Крымову не причинила. Лейтенант успел бросить гранату. Она разорвалась на башне фашистского танка. Немецкий танкист тоже успел захлопнуть люк.

С первого раза мотор «тигра» не завелся. Водитель снова нажал стартер...

Но уйти ему всё же не удалось!

На помощь Крымову подоспели две наши «тридцатьчетверки». Они стремительно подошли к сцепившимся машинам и в упор расстреляли «тигра». Его охватило пламя.

Чтобы огонь не перекинулся на наш танк, вражеская машина была отбуксирована в сторону. Удар «тигра» пришелся нашей «тридцатьчетверке» в третий опорный каток. Повреждения были быстро устранены, и крымовская машина в ту же ночь после взятия Елизаветина участвовала в бою за Гатчину.

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

В ЛЕНИНГРАДЕ ТИХО

В Ленинграде тихо... Это так удивительно, так хорошо, что минутами не верится даже... А когда подумаешь, что это не та коварная, зловещая тишина, которая устанавливалась между обстрелами и не радовала, а томила, то хочется смеяться и плакать от радости и обязательно сделать что-нибудь очень хорошее...

Ведь так недавно, в ночь на 23 января, на улицы города еще ложились снаряды. Вслушавшись, мы определили: огонь ведет одно орудие; оно било с продолжительными интервалами — в двенадцать, пятнадцать минут, било в один и тот же квадрат и, конечно, тяжелыми снарядами. По ночам фашисты вообще употребляли только тяжелые фугасные: люди спали за толстыми стенами своих домов; для того чтобы убить их, надо было вломиться к ним в дом. Почти до утра слышны были через каждые четверть часа тяжкие взрывы и скрежещущий шум обвала. И слышать это было особенно больно: ведь уже были взяты нашими войсками Красное Село, Ропша, Стрельна, Урицк, Дудергоф — места, откуда враг особенно интенсивно обстреливал Ленинград, и мы знали — наши войска идут дальше, они ведут бои уже под Пушкином и Гатчиной! Мы знали — врага громят, гонят, считанные минуты остались для него под Ленинградом, но еще где-то во мраке ночи стоит его последняя пушка, она достает до центра города, и какие-то завтрашние мертвецы злобно, тупо, торопливо пытаются навредить побеждающему городу и вырвать у него еще несколько жертв.

Фашистское орудие било по Ленинграду еще в ночь с 22 на 23 января, а утром 25 января мы с несколькими товарищами из радиокомитета вели радиорепортаж из города Пушкина вблизи той самой площадки, на которой это последнее орудие стояло.

В Ленинграде тихо. По солнечной стороне Невского, «наиболее опасной стороне», гуляют детишки. Дети в нашем городе могут теперь спокойно гулять по солнечной стороне! И можно спокойно жить в комнатах, выходящих на солнечную сторону. И даже можно

спокойно, крепко спать ночью, зная, что тебя не убьют, и проснуться на тихой-тихой заре живым и здоровым.

...Мы испытываем необычайное, ни с чем не сравнимое чувство возвращения к нормальной человеческой жизни. Каждая мелочь этого возвращения радует и окрыляет нас, каждая говорит о победе.

Трамвайные остановки, перенесенные из-за обстрелов, возвращены на старые места. Как будто бы «мелочь», но ведь это значит, что сюда, на эту пристрелянную остановку, никогда не упадет больше смертоносный снаряд, это значит — нет под Ленинградом врага, нет блокады! Я слышала, как на углу Невского и Садовой один пожилой мужчина с упреком сказал двум гражданкам, бранившимся при посадке в «тройку»:

— Гражданочки, гражданочки! Что вы? На старой остановке в трамвай садитесь, а ругаетесь. Стыдно!

Мы еще недавно пробирались в кинотеатр «Октябрь» (тот, что на солнечной стороне Невского) откуда-то сбоку, по темным дворовым закоулкам, похожим на траншеи, а теперь гордо входим в него с парадного входа, с Невского. А на афишах наших театров появилась новая строчка: «Верхнее платье снимать обязательно!» Как это великолепно, что в театрах можно раздеваться! Это значит, что обстрела не будет, что зрителям и артистам не придется спешно рассредоточиваться, прервав спектакль. Хорошо!

Быть может, только теперь, когда в городе стало тихо, начинаем мы понимать, какой жизнью жили мы все эти тридцать месяцев... Но с особенной силой предстал перед нами самими весь наш путь в день 27 января, незабываемый день ленинградского салюта.

Это был пятый день торжествующей, полной, непривычной тишины в городе. Смутный и радостный слух носился среди горожан: «Говорят, сегодня вечером и мы будем салютовать». А на Невском и Литейном девушки из команд ПВО весь день разбирали безобразные ящики с землей, закрывающие витрины, на которых уже успела вырасти за эти годы трава и лебеда, похожая на деревья. К восьми часам вечера все, кто мог, вышли на улицу. Как только голос диктора объявил: «Слушайте важное сообщение из Ленинграда», — у репродукторов столпились люди. Нетерпеливо спрашивали друг у друга, сколько минут осталось ждать, говорили вполголоса, жадно прислушиваясь к рупорам. А когда диктор, отчеканивая каждое слово, начал читать приказ, некоторые догадливые вагоновожатые остановили трамваи, и пассажиры высыпали на улицу слушать. Слушали в благоговейном молчании, и около нашего репродуктора, где я стояла, никто не зашумел и не закричал, когда кончилось чтение, только женщина одна крикнула: «Ура, товарищи!..»

Она крикнула это голосом, сдавленным от волнения и счастья. И тотчас же грянули все триста двадцать четыре орудия, и тотчас же в мглистое январское небо взвились тысячи разноцветных ракет, и вдруг Ленинград весь как бы взмыл из мрака и весь предстал перед нами!

Первый раз за долгие два с половиной года мы увидели свой город вечером! Мы увидели его ослепительным, озаренным вплоть до последней трещины на стенах, весь в пробоинах, весь в слепых зафанеренных окнах, — наш израненный, грозный, великолепный Ленинград, — мы увидели, что он всё так же прекрасен, несмотря ни на какие раны, и мы налюбоваться им не могли, нашим красавцем, одновременно суровым и трогательным в праздничных голубых, розовых, зеленых и белых огнях, в орудийном громе, и чувствовали, что нет нам ничего дороже этого города, где столько муки пришлось принять и испытать. Незнакомые люди обнимали друг друга, и у всех в глазах светились слезы.

Я запомнила старуху в плюшевой шубе, которая теребила за рукав то одного, то другого соседа и ревниво спрашивала:

— Ну, а на Большой-то земле всё это слышат? В России-то, на Большой земле слышно им сейчас?

— Слышно, мамаша! — прокричал сквозь грохот салюта один парень. — Слышно... Только ты учти, что мы теперь сами — Большая земля.

О, мы знали: на Большой земле слышат и радуются так же, как горевали вместе с нами в дни наших бедствий.

А одна девушка, возле которой остановился незнакомый ей военный, плача, трясла ему руки и восклицала:

— Спасибо! Спасибо вам, спасибо!

Он ответил негромко и строго:

— Вам спасибо. Населению...

С чувством великой благодарности говорят ленинградцы о своих армиях, которые сейчас уже далеко от Ленинграда. Наверное, нет ни одного города в Советском Союзе, где бы так сроднились население и армия. Ведь два с половиной года наши армии, непоколебимо держа оборону, находились вместе с нами и вместе с нами переносили все мучения блокады.

Многие, многие ленинградцы помнят, как в страшную первую блокадную зиму сотни солдат и матросов делились скудным своим пайком то с голодными детишками, то с изнемогающими женщинами. Мы знаем, как приходилось нашим армиям держать оборону, рвать в январе 1943 года блокаду. Мы знаем, что стоила им теперешняя победа, — она досталась ценой благородной крови наших воинов.

И вот сразу же, как только стали прибывать в Ленинград первые раненые, в госпитали явились тысячи ленинградских работниц и домохозяек ухаживать за победителями. Они приходили в госпитали после дня тяжелой работы, оставив свои дома́ и семьи, и не было сестер и сиделок нежнее и заботливее, чем они. И каждая из них приходила с какими-нибудь гостинцами. Одна несла полотенце, другая — наволочку или салфетку, третья — чашку или мыльницу, — кто что мог, но все несли просто, от сердца. И не лишнее из дома несли, а необходимое самим, но ничего не было жаль для тех, кто освободил Ленинград от блокады.

А армии Ленинградского фронта уходят от Ленинграда всё дальше и дальше, гоня и уничтожая врага. И нет у бойцов и офицеров ленинградских войск большей радости, чем сознание, что наконец-то город вздохнул полной грудью.

Первый вопрос, который задают человеку, приехавшему на передовые из Ленинграда, такой:

— Ну, как там наши ленинградцы? Радуются, а?

— Конечно, радуются!

— Нет, уж вы подробненько, подробненько, — как они радуются? Уж вы всё точно расскажите!

И десятки раз заставляют рассказывать одно и то же — о том, что трамваи останавливаются на старых местах, что с домов стирают надписи: «Эта сторона наиболее опасна». И требуют мельчайших подробностей ленинградского салюта, и счастливо смеются от радости: «Свободен Ленинград!»

А гитлеровцы? Почти каждый из них, захваченный в плен, прежде всего кричал:

— Я не стрелял по Ленинграду!

В Дудергофе при захвате одного орудийного расчета командир расчета, немецкий капитан, взятый в плен нашими бойцами, неистово вопил:

— Нет, нет! Прежде чем вы меня куда-нибудь поведете, я требую акта!

— Какого акта?

— Я требую заактировать, что орудия, при которых я нахожусь, не могли бить по Ленинграду! Позовите вашего офицера! Пусть он засвидетельствует, что я не мог вести огонь по Ленинграду!

А в Красном Селе пленные пехотинцы, трясясь от страха, клялись, что они «всегда были против обстрелов Ленинграда»:

— Мы даже ссорились с нашими артиллеристами. Мы умоляли их не бить по Ленинграду...

Странный для фашистов гуманизм! В чем же дело?

Они рассказывают дальше:

— Ах, мы так просили их не стрелять по городу! Во-первых, каждый раз на наш огонь отвечали ленинградские батареи, и у нас было много жертв... Кроме того, наши артиллеристы очень часто били по городу просто так: пьянствуют ночью, пьянствуют, потом офицеры говорят: «А ну, пойдем, поднимем ленинградских девочек...» И начинали обстрел из тяжелых орудий. О, мы умоляли их! Мы говорили: «Ленинград нам этого не простит...»

Вот в этом они не ошиблись.

...Передо мною фашистский солдатский календарь на 1944 год. Он имеет форму блокнота довольно большого формата. На обложке — карта Ленинградской области, где все названия — на немецком языке. Карта изображена как бы водяными знаками. Посередине карты — картинка: силуэт Исаакиевского собора, Петропавловского собора и рядом с ними фигура немецкого солдата в каске и с автоматом. Над солдатом в белом волнистом квадрате, похожем на пузырь, — стихи. Вот их смысл:

«О чем может мечтать солдат у Волхова и под Ленинградом? В болоте, в более чем завшивевшей землянке?.. Он думает о родине, мечтает о том, что когда-то было, и знает... что всё равно придет победоносный новый год...»

Это, так сказать, общая программа. Дальше она конкретизируется. Вот, например, январь 1944 года. О чем было предложено мечтать немецкому солдату в течение января? Картинка над табелем говорит об этом: лежит немецкий солдат в замерзшем болоте, а над головой у него — в пузыре — «мечта»: Нарвские ворота в Ленинграде, и под ними бодро марширует колонна немецких солдат — фашисты с триумфом вступают в Ленинград.

Но вот уже поистине «все врут календари», а особенно гитлеровские. В январе 1944 года гитлеровцы, правда, проходили мимо Нарвских ворот, но только под конвоем, в качестве пленных.

Календарь, кроме того, врал в самом главном: не было вовсе к январю 1944 года у немцев, сидевших под Ленинградом, такой мечты — войти в Ленинград победителями. Эту «мечту» навязывала им тупая их пропаганда, а из показаний пленных выясняется совсем другое: чем дольше длилась осада, тем больше и больше боялись гитлеровцы осажденного ими города. Их страх возрастал с каждым месяцем осады, с каждой новой победой наших войск вдали от Ленинграда. Они чуяли: Ленинград осажден, но он и вся страна — неразрывны. Они чуяли: мера ленинградского возмездия с каждым месяцем нарастает. И они уже беспокойно ёрзали в своих «более чем завшивевших землянках». «Ленинград нам не простит», — бормотали они.

Легендарная стойкость города, обреченного Гитлером на «самопожирание», невозможность никакими силами отрезать этот город от всей страны — всё это подточило дух фашистских банд, сидевших под Ленинградом, и, конечно, дало себя знать при нашем наступлении.

Когда я думаю об этом, мне вспоминается одна фраза из письма рабочих Кировского завода, с которым они обратились ко всем ленинградцам в сентябре сорок первого года. Они писали: «Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти...»

В сентябре сорок первого года, когда гитлеровцы, взяв Стрельну, рвались уже к самому «Красному путиловцу», эта фраза звучала только как торжественная клятва. Но теперь ясно, что она была пророчеством: Ленинград не испугался смерти. Смерть испугалась Ленинграда!

М. ЛАНСКОЙ

ПРЕСТУПНИКИ НА АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПОЗИЦИЯХ

4 сентября 1941 года на улицах Ленинграда разорвались первые немецкие снаряды. С этого дня начался беспримерный в истории человечества систематический и планомерный расстрел живого города с трехмиллионным населением, — расстрел, длившийся два с половиной года.

Для тех, кто слышал свист раскаленных осколков на Невском проспекте, кто видел квартиры, разбитые снарядами крупнейших калибров, кто убирал трупы женщин и детей на перекрестках улиц, — для тех не нужны никакие дополнительные доказательства садистской жестокости и безмерной подлости гитлеровских генералов.

Но для суда истории, для тех, кто будет оценивать события нынешней войны с позиций беспристрастных летописцев, субъективные переживания и чувства ленинградцев, перенесших блокаду, могут показаться недостаточно убедительными и весомыми. Не исключено, что в будущем найдутся и такие адвокаты германского милитаризма, которые станут доказывать, что страдания мирного населения Ленинграда представляли собой зло, неизбежное при осаде всякого крупного города.

Всякие попытки подобного рода заранее обречены на провал. Не только вопиющие цифры погибших, не только мучения людей, испытавших на себе пытку блокады, но и неопровержимые документы, написанные руками самих гитлеровцев, обвиняют верховное командование вермахта в злодейском замысле: вне зависимости от хода военных действий уничтожить всё население Ленинграда от мала до велика.

Сейчас, когда блокада ликвидирована и гитлеровские дивизии под ударами наших войск покидают пределы Ленинградской области, появились разнообразные документальные материалы, с исчерпывающей полнотой раскрывающие весь «механизм» артиллерийских обстрелов города.

Как ни старались гитлеровцы увезти или уничтожить при от-

ступлении архивы своих штабов, им это не всегда удавалось по причинам, от них не зависимым. Во время окружения и разгрома вражеских опорных пунктов советские войска захватили в числе трофеев много официальных документов, имеющих первостепенное значение.

Вот перед нами план города. Знакомые контуры: Нева, каналы, острова, неповторимые лучи проспектов и овалы площадей. Да, это план Ленинграда. На первый взгляд, он мало чем отличается от тех планов, которые издавались у нас до войны в помощь туристам.

Но стоит приглядеться к нему, и страшное значение этого произведения немецкой картографии начинает леденить душу.

План испещрен цифрами и условными значками. Некоторые кварталы заштрихованы нежно-розовыми линиями. Четко оттиснуты латинскими буквами названия улиц. К плану приложен «путеводитель» — краткая справка, расшифровывающая смысл цифр и значков.

Оказывается, перед нами не план, а тщательно разработанная оперативная карта. Изображен на ней не город, а плацдарм боевых артиллерийских действий.

Каждая цифра — номер соответствующего «военного объекта»: № 9 — Эрмитаж; № 174 — Центральный лекторий; № 708 — Институт охраны материнства и младенчества; № 162 — студенческий городок...

Для чего нужны были эти номера? Для того чтобы надолго закрепить за ними данные, необходимые артиллеристам: расстояние, прицел, наиболее подходящий тип снарядов. Например, школу в Бабурином переулке (объект № 736) следует поражать снарядами осколочно-фугасными, а Дворец пионеров (цель № 192) — фугасно-зажигательными. Самая большая группа «военных объектов» — жилые кварталы — помечена одним номером — 723. Для их обстрела предписывалось использовать фугасные и бризантные снаряды.

Розовой штриховкой отмечены особо важные и лакомые объекты — больницы и госпитали. Чтобы наводчики не ошиблись, на карте предусмотрительно надписано «Krankenhaus». Больница имени Эрисмана — цель № 89, Первая психиатрическая — цель № 96...

Помимо таких карт, гитлеровские артиллеристы располагали еще уникальной фотопанорамой Ленинграда длиной около четырех метров. Она складывалась гармошкой и легко умещалась в полевом планшете. Панорама охватывала на большую глубину южную часть города — от Морского канала до Усть-Славянки на Неве.

Совершенная оптика позволила гитлеровцам зафиксировать на пленке не только общие контуры Ленинграда, но и купола его соборов, шпили, заводские трубы, наиболее высокие здания.

Опять пришла весна.


Цель накрыта!

На пункте усиленного питания.

Один из защитников Ленинграда.

К панораме был приложен особый лист военной топографической карты. На карте впечатан угол, вершина которого упиралась в «высоту 112», северо-восточнее Красного Села, а точнее говоря — в огневые позиции дальнобойной немецкой артиллерии.

Стороны угла сжимали весь Ленинград. Соответствующие деления разбивали город на секторы. Те же деления были нанесены на фотопанораму. Для ясности наиболее важные ориентиры поименованы. Около каждого из них проставлены цифры — расстояние от места съемки с точностью до одного метра.

Между делениями 460 и 510 отмечены объекты, удостоившиеся особого внимания гитлеровского командования: Троицкий собор, Казанский собор, церковь у Варшавского вокзала, водонапорная башня...

В соседнем секторе: Исаакиевский собор, Театр имени Кирова, Театр имени Пушкина...

Всё сделано добротно, на отличной бумаге, с помощью последних достижений фотографической и полиграфической техники. Фирменные штампы на картах и панорамах свидетельствуют, что для создания этих «подсобных материалов», которые должны были повысить эффективность обстрела Ленинграда, гитлеровцы мобилизовали специалистов в различных областях науки и техники.

Карта обстрела изготовлена и размножена в Берлине. Фотопанорама выполнена длиннофокусной аппаратурой, созданной по заказу военного командования для съемок Ленинграда.

Эти документы удостоверяют, что не только офицеры и солдаты участвовали в артиллерийском истреблении населения Ленинграда. Программа истребления была разработана в Берлине, и над ее реализацией в одном строю трудились фашистские генералы, ученые, инженеры.

Но все эти технические ухищрения по существу лишь прикрывали оголтелую, не оправданную никакой военной целесообразностью стрельбу по необъятной площади города, где на каждом шагу была одна цель — живые люди. Это была стрельба наверняка, без риска промахнуться. Не нужно было ни мастерства, ни доблести, чтобы выпускать снаряд за снарядом по улицам и домам. Даже стреляя с закрытыми глазами, можно было быть уверенным, что каждый выстрел найдет свою мишень.

За всеми этими панорамами, выкладками, расчетами скрывалась всё та же каннибальская задача, сформулированная верховным командованием гитлеровской армии: стереть с лица земли Ленинград вместе со всем его населением.

Приглядимся к цифрам и номерам, будто бы помогавшим артиллеристам находить объекты «оборонного значения». Вернемся

к плану Ленинграда. Номером 757 на нем обозначен один из кварталов на Большой Зелениной улице. Что общего у него с военными объектами? Ни на его территории, ни поблизости нет никаких заводов, складов, оборонительных сооружений. Тем не менее его включили в постоянный список целей, подлежащих интенсивному обстрелу. Только зная главную задачу, поставленную генштабом вермахта в отношении Ленинграда, можно понять эту потрясающую несуразность.

Дело в том, что весь квартал застроен многоэтажными жилыми домами. Стреляя по нему, промахнуться трудно. Но это не всё. В квартале еще размещены: школа, ясли, детский сад. Снаряды, направленные на этот «оборонный объект», могли нанести особенно болезненные удары. Они несли не только смерть детям, но еще и великое горе родителям.

Убивая детей, гитлеровские палачи стремились тем самым деморализовать отцов и матерей, подорвать у взрослых волю к сопротивлению, заставить их пойти на капитуляцию. Таким образом, убойная сила снарядов, направленных против ребят, должна была, по мнению гитлеровцев, многократно увеличиться.

Именно этим объясняются и многие другие номера, которыми помечены на плане жилые массивы, расположенные в самом центре города, — на Невском, Литейном, Садовой...

В списке «военных объектов» также особо отмечены самые оживленные перекрестки и трамвайные остановки. Обстреливая эти цели осколочными снарядами, убийцы, стоявшие на артиллерийских позициях, добивались «эффектных» результатов. Накрыв, к примеру, перекресток Невского и Литейного или попав в переполненный трамвайный вагон, можно было одним снарядом убить и искалечить десятки людей.

Но, может быть, мы слишком вольно толкуем значение попавших к нам документов? Может быть, карты, изготовленные в Берлине, существовали сами по себе, а артиллеристы, стоявшие у ворот Ленинграда, руководствовались иными соображениями, вытекавшими из конкретной военной обстановки?

Всякие сомнения подобного рода пропадут у самого осторожного и «объективного» человека после того, как он познакомится с «Журналом боевых действий 768-го тяжелого артиллерийского дивизиона РГК (резерва главного командования)», захваченным нашими бойцами на Вороньей горе под Красным Селом.

Если берлинское издание плана Ленинграда воплощало злую волю высшего начальства и отражало «желаемое», то журнал «боевых действий» по-военному лаконично и деловито регистрировал реальные факты. Многие записи, сделанные на страницах журнала

непосредственными исполнителями, ценны своей документальной достоверностью и точностью.

Сообщения об артиллерийских обстрелах Ленинграда, иногда попадавшие в оперативные сводки верховного командования гитлеровской армии, лгали от начала до конца. В этих сообщениях, предназначенных для печати, неизменно фигурировали мифические «оборонные объекты», будто бы пораженные меткими артиллеристами.

Журнал 768-го дивизиона предназначался для служебного пользования, и потому его «авторам» не было нужды лгать и прикрашивать подлинную сущность тех «боевых действий», которые вело это артиллерийское подразделение на советской земле.

Вероломный, противный всем законам человечности характер войны, развязанной гитлеровцами, с самого начала определил роль тяжелого дивизиона. Первые снаряды из его орудий были выпущены в 3 часа 15 минут 22 июня 1941 года по жилым домам мирно спавшего Бреста. Описанием этого «подвига» открывается журнал.

События развивались стремительно. Дивизион едва успевал менять позиции. С безопасных дистанций, пользуясь дальнобойностью своих пушек, дивизион сокрушал кварталы Барановичей, Бобруйска, Могилева, Двинска, Пскова...

Запись от 14 августа 1941 года гласит:

«Днем дивизион получает задачу вести огонь по Новгороду. Во второй половине дня Новгород уже стоял в пламени».

Но все эти операции можно рассматривать только как подготовительные. Личный состав дивизиона набивал руку. Его солдаты и офицеры приучались хладнокровно расстреливать мирное население и поджигать жилые дома. Главная цель была впереди.

16 сентября 1941 года в журнале «боевых действий» появляется запись:

«1-я батарея вводится в действие в районе Красного Села. С КП дивизиона прекрасно видны как Ленинград, так и Ленинградский порт и далее — до Петергофа».

Величественная панорама огромного города, плотно застроенного многоэтажными домами, города, знаменитого своими архитектурными памятниками, музеями и театрами, разжигает у гитлеровцев инстинкты вандалов, страсть разрушения и убийства.

В короткий срок заканчивается оборудование огневых позиций, налаживается связь, и 18 сентября происходит первая пристрелка по центру Ленинграда:

«Весь настильный огонь дивизиона использован для налета по дому у Кировского моста».

Взглянув на план города, нетрудно убедиться, что у Кировского моста нет и никогда не было ни одного дома, который даже отда-

ленно напоминал бы «оборонный объект». Что привлекло внимание гитлеровцев на этом участке? Мраморный дворец? Мечеть? Или расположенные неподалеку дворец Петра I и Эрмитаж? Вероятнее всего, и то, и другое, и третье. И еще одно соображение наверняка определило выбор этой цели для первого огневого налета. Кировский мост — важная артерия, связывающая центр города с Петроградской стороной. Здесь было много шансов поразить толпы людей, разнести в щепы трамвайный вагон, короче говоря, добиться наибольшего «успеха» малыми средствами.

Потом наступили скучные будни. Записи в журнале становятся всё более скупыми. Каждодневная стрельба по домам и улицам превращается в привычное дело. Убийство женщин и детей становится профессией. Иногда журнал напоминает приходо-расходную книгу мелких торгашей. Аккуратнейшим образом ведется учет израсходованных снарядов. Так же аккуратно отмечаются все мелкие перемещения по службе. И ни разу за многие месяцы не промелькнула на страницах журнала даже тень человеческого чувства, человеческой мысли о тех великих страданиях, которые каждый день нес тяжелый дивизион ни в чем не повинным людям.

«*29.10.41.* В 14.00 дивизион обстреливает цели в Ленинграде, а именно: Дворец Советов, казарму, телеграф и учреждения. Выпущено 25 снарядов. Стрельба велась по карте».

Кстати, эти неведомо где размещенные «казармы» и «учреждения» фигурируют довольно часто, видимо для придания большего веса действиям дивизиона в глазах начальства. Куда в действительности попадали снаряды, гитлеровцы не знали, да это их и мало беспокоило. Приведенная запись заканчивается так:

«Разрывы наблюдались в виде дымков. Попадания не могли быть констатированы из-за дымки».

Как нагло бравые артиллеристы втирали очки своему командованию и как охотно принимало начальство это очковтирательство за реальность, показывают следующие факты. В журнале имеются следующие записи:

«*22.6.42.* С 11.20 до 11.38 дивизион совершил огневой налет на завод моторов в Петербурге. Наблюдением точно отмечены прямые попадания в здание».

«*1.7.42.* С 15.07 до 15.17 дивизион произвел огневой налет 30 снарядами по заводу «Судомех». На южной границе цели в результате обстрела вспыхнуло высокое пламя и начался пожар, длившийся один час. Дым временами поднимался до 400 метров».

Как же обстояло дело в действительности? Точные данные нашей МПВО свидетельствуют. 22 июня и 1 июля 1942 года в часы, указанные выше, немцы подвергли город обстрелу. При этом они

накрыли школу в Октябрьском районе, больницу в Приморском районе и ряд жилых домов, находящихся за несколько километров от обоих названных заводов. За эти два налета убито и ранено 96 человек, из них 28 детей школьного возраста. Ни один снаряд не разорвался вблизи объектов, указанных в липовой сводке.

Зато высшее начальство вермахта осталось довольным. «Эффективные» действия дивизиона были отмечены в особом приказе.

Но справедливости ради нужно отметить, что большей частью артиллеристы не камуфлировали своих действий и писали откровенно:

«*5.12.41.* С 14.35 до 16.46 дивизион обстреливал 25 снарядами скопление народа на Крестовском острове в северной части Петербурга. Это было, по-видимому, скопление эвакуируемых».

«*21.12.41.* В 12.40 произведен налет 21 снарядами на текстильную фабрику и жилые дома севернее Петропавловской крепости».

«*17.1.42.* День проходит спокойно. В 10.45 дивизион 4 орудиями производит налет по жилым кварталам Петербурга. Выпущено 28 снарядов. Результатов нельзя было установить вследствие плохой видимости».

В первые месяцы блокады командование вермахта еще могло обманывать солдат, осаждавших Ленинград, обещаниями скорой победы. Но вскоре события на других фронтах заставили гитлеровцев отказаться от планов захвата города. Даже самые тупые приверженцы бесноватого фюрера начали понимать, что у них уже нет и не будет сил сломить сопротивление войск Ленинградского фронта.

В этих условиях артиллерийские обстрелы города теряли всякую видимость военной целесообразности. Окончательно обнажилась их человеконенавистническая сущность — убивать ради убийства, разрушать ради разрушения.

Гитлеровцы применяли такие формы ведения огня, которые должны были создать в городе состояние постоянного беспокойства, вечной тревоги, выматывающей нервы, подтачивающей здоровье и без того истощенных людей.

«*7.10.41.* С 7.03 до 7.48 дивизион выпустил 5 снарядов, как беспокоящий огонь по улицам Петербурга».

Просто так, «в никуда». Всего пять снарядов за 45 минут. Совсем немного. Но сколько холодного, жестокого расчета в этих пяти снарядах! Вот выпущен первый... Упал, разорвался, искалечил несколько человек. И наступает тишина. Проходит минута, вторая, третья... Районный штаб МПВО колеблется: объявлять тревогу или нет? Может быть, снаряд случайный и последний на этом квадрате... Женщины и ребятишки, бросившиеся было в подворотни и укрытия, снова выходят на улицу. У каждого свои дела. И вот тут-то разры-

вается второй снаряд. Как удар ножом в спину. И снова тишина... Так продолжались 45 минут артиллерийской пытки.

«*7. 12. 41*. После спокойно проведенной ночи в 8.30 дивизион открыл беспокоящий огонь 25 снарядами, проведенный по карте».

«*21.3.42*. С 14.39 до 16.00 беспокоящий огонь по ледовой дороге. Вечером два пожара в Петербурге».

Артиллеристы старались разнообразить скучное времяпрепровождение. Они варьировали огонь, то открывая его сразу изо всех орудий и накрывая большую площадь, то стреляя одиночными пушками с разных позиций. Стреляли и любовались дымовыми эффектами.

«*23.4.42*. Дивизион произвел огневой налет 120 снарядами по южной окраине Петербурга. Наблюдались длительно державшиеся облака дыма и сильные взрывы».

«*25.8.42*. Утром была произведена стрельба дежурного орудия в Стрельне. Целями были Главный почтамт и Финляндский вокзал. У первой цели наблюдался сильный, долго державшийся дым».

«*9.5.42*. С 10.20 до 10.32 дивизион произвел огневой налет по центру Ленинграда. Наблюдалось дымообразование».

«*17.5.42*. Во второй половине дня дивизион 4 орудиями произвел огневой налет на трамвайный парк в Петербурге, выпустив 20 снарядов. В южной части наблюдались столбы дыма».

Расстояние мешало убийцам видеть не только дым, но и кровь, слышать не только разрывы, но и стоны раненых. А это им очень хотелось. С особым усердием стреляли они, когда удавалось нащупать места скопления раненых.

«*6.3.42*. С 9.15 до 9.32 дивизион производит огневой налет 50 снарядами по 8-К-11, 16, 21 и 7-К-20, 25 — военные госпитали в Петербурге. Результаты невозможно наблюдать из-за большого расстояния и дымки над городом».

Были и постоянные мишени, по которым палили изо дня в день.

«*25.5.42*. С 14.30 до 15.15 дивизион 4 орудиями выпустил 10 снарядов по Дворцу Советов».

«*30. 7. 42*. С 11.24 до 11.39 дивизион выпустил 6 снарядов по Дворцу Советов. Снаряды, поскольку это удалось наблюдать, ложились в районе цели».

«*2.8.42*. Дивизион произвел 10 выстрелов по Дворцу Советов, при этом отмечены три попадания».

Часто вели стрельбу, чтобы отметить какое-нибудь событие, например приезд гостей.

«*31.10.41*. Днем группа португальских офицеров осматривала огневые позиции 2-й батареи. Была произведена стрельба по району Кировского завода. Иностранные офицеры выразили свое одобрение по поводу прекрасно оборудованных позиций».

«3.6.42. По случаю посещения двух высших финских артиллерийских офицеров вся артиллерия РГК произвела огневой налет по Кировскому району».

В дивизион прибыли кинооператоры. Они обещают показать всей Германии «героев», расстреливающих Ленинград. Ну как тут не постараться!

«13.10.41. С 18.00 до 0.31 дивизион обстреливал район Московского вокзала по карте. Расход боеприпасов — 10 снарядов. Эта огневая деятельность снимается на пленку ротой пропаганды».

Иногда надоедало долбить по одним и тем же кварталам. Тогда возникали «рационализаторские» идеи.

«18.9.42. Нами было предложено перевести одну батарею в Пушкин севернее дворца и к этому еще устроить НП дивизиона на высоте 155,3 севернее Карвала для наблюдения за обстрелом Петербурга. Целью этих мероприятий является ведение огня с использованием полной дальности стрельбы по кварталам восточной, северо-восточной и северной части Петербурга, которые до сих пор не обстреливались нашей артиллерией».

Фашистские убийцы рассчитывали, что им удастся обстреливать Ленинград с полной безнаказанностью. Еще бы! Ведь на их стороне были все преимущества — свобода маневра, любые естественные укрытия, неограниченный, всё время пополнявшийся запас снарядов. Противостоявшая им артиллерия Ленинградского фронта испытывала недостаток во всем. И тем не менее 768-й тяжелый дивизион на своей шкуре почувствовал силу ответных ударов советских мастеров огня.

14 апреля 1942 года в журнале появляется следующая запись:

«Активность русской артиллерии значительно повысилась. Наши батареи, ведущие огонь, немедленно подвергаются обстрелу противной стороны. Создается впечатление, что под влиянием наступившей весны воля к сопротивлению Петербургской обороны получила новый импульс».

Волей-неволей гитлеровцам пришлось не только признать мастерство ленинградских артиллеристов, но и кой-чему у них поучиться.

«18.5.42. Чтобы ввести противника в заблуждение, дивизион установил одно орудие в Стрельне. Другая подобная позиция предусматривается у Настолово. Места для кочующих орудий выбраны также в лесу севернее Рюмки, на аэродроме восточнее дороги Красное Село—Стрельна и на опушке леса восточнее Дудергофа. Противник очень искусен в подготовке и занятии позиций для кочующих орудий, благодаря этому предохраняет свою артиллерию от обстрела. Аналогичные мероприятия и с нашей стороны должны затруднить

ему ведение огня и добиться распыления его всё более и более меткого огня».

Но и эти ухищрения помогали мало. Прикрывая население великого города, наши артиллеристы стремились во что бы то ни стало ослабить огневые налеты немецких батарей. Выслеживая и засекая позиции врага, они накрывали их меткими залпами. В журнале всё чаще и чаще начинают появляться мрачные записи.

«*22.9.42.* Во второй половине дня дивизион обстрелял 4 выстрелами поднявшийся севернее Невы аэростат наблюдения, после чего аэростат был спущен. Уже после второго выстрела последовал ответный огонь по позициям второй батареи. В результате двух прямых попаданий последовали взрывы 71 гранаты и 46 зарядных гильз. Повреждены поворотные механизмы трех орудий. Пять человек получили тяжелые и легкие ранения».

«*13.10.42.* В 13.30 в результате обстрела противником в Красном Селе взлетели на воздух 6 вагонов с боеприпасами. Имеются большие потери материальные и в людях».

«*17.10.42.* Прямым попаданием в дом 1-й батареи в Антропшино один солдат убит и пять ранено».

«*6.11.42.* Во время огневого налета батареи противника по району наших позиций произошло два прямых попадания в размещение штабной батареи, причинившие потери личного состава: пять убитых и десять тяжелораненых».

Уклоняясь от честного поединка с советской артиллерией, гитлеровцы вымещали свою злобу на мирных людях. Они отвечали обстрелом жилых кварталов.

«*21.10.42.* В отместку за обстрел наших позиций дивизион вел беспокоящий огонь по району мясокомбината».

«*29.10.42.* После огневых налетов противника дивизион получил задачу выпустить в отместку 24 снаряда».

К общей картине, запечатленной в журнале «боевых действий» одного из многих тяжелых дивизионов, немало выразительных штрихов добавляют непосредственные исполнители злодейства — пленные артиллеристы. Они помогают нам понять ту обстановку, в которой протекала служба солдат и офицеров, сделавших своей профессией убийство женщин и детей.

Унтер-офицер Ганс Корнер показал:

«Все три батареи дивизиона были предназначены для обстрела Ленинграда. Командир первой батареи капитан Кваас часто открывал огонь по своей инициативе. В виде поощрения он систематически спаивал своих солдат, и они часто вели огонь по Ленинграду, будучи пьяными. Командир дивизиона капитан Хаттелт за эти действия высказал Квваасу свое одобрение».

Это многое объясняет. Напивались — и стреляли. С пьяной яростью посылали снаряд за снарядом, потом докладывали начальству и получали награды.

Старший ефрейтор Арно Волле вспоминал:

«Читая сводки верховного командования об обстрелах военных объектов в Ленинграде, солдаты смеялись. Уж мы-то знали, что огонь ведется исключительно по мирному населению города».

Легко представить себе перепившихся солдат, гогочущих над измышлениями своего командования. И так же легко вообразить их моральный уровень, их духовное убожество и окаменевшее сердце.

Нет, сколько бы времени ни прошло, никогда совесть человечества не простит немецким империалистам, взрастившим фашистское чудовище, 900 дней ленинградской блокады и 150 000 снарядов, выпущенных по живому, прекрасному городу.

АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ

ПАМЯТНИК ВОЙНЫ

Обыкновенный памятник войны —
Разбитый дом: кирпичные обломки,
Песок, стекло и с южной стороны —
Водой заполненные воронки.

Стою один. Мне чудится, что снова
Вдруг настежь двери и поспешно вдруг
Вбегает сорванец белоголовый,
Твой сын-малыш и мой забавный друг.

Мне чудится, что где-то рядом, рядом
Твое дыханье слышу в тишине,
Что вновь вдвоем просторным
Ленинградом
Идем навстречу ветру и весне.

Стою один. Бледнеет круг луны.
Кривые тени подошли к проломам...
Обыкновенный памятник войны,
Он скоро станет снова светлым домом.

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

УЧИТЕЛЬ

В газете я прочел небольшую заметку. Корреспондент сообщал о сельском учителе, который в далеком хакасском улусе написал учебник географии.

Прочел о Сибири, но в памяти возникли совсем не те места, где живет и более четверти века учит ребятишек школьный географ. Не стиснутые в каменных берегах протоки Енисея, не абаканские степные просторы, а скованный холодом Пулковский холм, пустынный, избитый снарядами, напомнила мне эта скупая заметка в несколько десятков строк.

И так живо напомнила, что, казалось, вновь зашел я в жаркую землянку в склоне знаменитого холма и вновь подсел в ней к столу из неоструганных толстых тесин. Январский ветер над сосновым накатом нудно плещет в ржавую жестяную трубу, чугунная печка дымит, шипят за неплотно прикрытой ее дверцей мерзлые обломки старых лип; на столе мечется язычок коптилки, и в сумраке глухо звучит голос Латкова.

Вернее, даже и не голос: старший адъютант говорит шепотом, чтобы не разбудить командира дивизиона. Как сообщил Латков, капитан лишь полчаса назад прилег на свой жесткий топчан, спит тревожно, стучит коленями о фанерную обшивку стены: двое суток провел он в командирской разведке с офицерами стрелкового полка...

Никому здесь, на изрытом холме, где лежат мертвые развалины обсерватории, еще неведомо, когда это произойдет: через неделю, послезавтра ли? А может быть, вот сейчас адъютанта позовет телефонный зуммер, и надо будет подымать капитана и вместе с ним по ночным, заледенелым тропам спешить в штаб полка. И тогда на рассвете начнется то, чего еще нет, но что уже видит во сне командир дивизиона.

Холм безлюден только снаружи. Промерзшая его земля — под накаты землянок, под перекрытия траншей, в автомобильные щели, пробитые ломами в северных склонах, — ночь за ночью вбирает в себя поток людей, оружия, машин. Тут как бы скручивается тугая пру-

жина, чтобы в какой-то миг разжаться и ударить, метнуть на юго-запад стремительно изогнутую красную стрелу, отточенную на двухверстных картах карандашами офицеров штаба.

— До Красного Села дойдем, пожалуй, суток за двое, за трое, — шепчет Латков, перегибаясь через стол. — Потери? Что ж, и от себя это во многом зависит. Не останавливаться, не мешкать... На смелого собака лает, трусливого — рвет, — так меня учил мой учитель, когда я был мальчишкой.

Латков взглянул в сторону скрытого мраком топчана; ему казалось, что командир дивизиона проснулся. Но тот всё еще спал, спал тяжелым сном усталого человека, и лейтенант продолжал еще тише:

— Он даже наглядный урок по этой пословице устроил как-то, наш Василий Иванович. Любил наглядность.

С Латковым случилось именно то, что случается со многими перед близким боем: неодолимая сила потянула его к воспоминаниям.

— Вот, скажем, взять меня... — Подперев кулаком скуластую щеку, он щурился на огонек. — Я, как видите, вырос, я офицер, отмечен орденом, дважды увозился с огневых на санитарной волокуше, а уроки Василия Ивановича до сих пор мне памятны. Никогда, думается, их не позабудешь.

Латков принялся вертеть в руках плоскую зажигалку. В мыслях он был, наверно, где-то очень далеко от прокопченной землянки, и не вновь ли сидел за испятнанной лиловыми кляксами партой, и не степные ли ветры слышались ему за обшитой мешковиной дверью?

— Ведет, бывало, нас учитель в луговые поймы. Приходим, смотрим — трава и трава, зелень. Уходим с луга, позади нас — ковер. Трава-то, оказывается, не просто трава... Тут тебе и лисохвосты, и колокольчики, и вьюнки... «Знание открывает глаза человеку», — повторял Василий Иванович. Эту фразу, между прочим, можно услышать от него и теперь. Ну и всё так: в лес ли пойдем, на реку—везде открытия. А то вот в классе. Принесет репродукции с картин Шишкина или Левитана. «Как, — спрашивает, — нравится? То-то. Красивая у нас страна. Нельзя такую не любить. И богатства ее, друзья мои, неисчерпаемы. Давайте потолкуем, например, о Донбассе...»

Латков говорил о своем учителе так, как иной раз дети хвастают друг перед другом отцами, — с восхищением, с гордостью, с сыновним уважением. Из его рассказов возникал образ мудрого, мягкого, ровного в обращении человека — наставника и воспитателя.

Лейтенант до того увлекся, живописуя этот дорогой для него образ, что позабыл о спящем командире и незаметно сошел с шепота на полный голос:

— А как, спрашивается, мы потолковали о Донбассе? Василий Иванович взял да и повез нас на угольные копи. Может быть, слышали про Черногорку? На Енисее. Наглядность, во всем наглядность!

— Что верно, то верно, товарищ лейтенант, — послышался простуженный голос из темного угла.

Это заговорил связист. Два часа он просидел у телефона так тихо, что когда и шевелился, то казалось, там, в углу, за вспученной обшивкой, возится мышь.

— Наглядность — первое дело. — От раскаленной докрасна толстой проволоки, заменявшей кочергу, связист раскурил козью ножку. — Интересовался я позавчера, товарищ лейтенант, как наш капитан на третьей батарее учил подающего Петрова поспевать за темпом огня. Сам встал на место заряжающего — и только давай, давай! Петров взмок весь, а не отстал. Потом и говорит: «Понял, товарищ командир дивизиона, темп огня — важнейший фактор. Гибкость в руках надо развивать. Спасибо за науку». Или как с разведчиками капитан колючку резал!..

— Да, я вот ведь о чем начал! — перебил связиста Латков, поймав утерянную было нить беседы. — «На смелого лает, трусливого — рвет». Встретилась нам в какой-то, забыл, книжке эта пословица. Василий Иванович и предложил: «Давайте, говорит, проверим народную мудрость. Кто берется пройти мимо кузни?» Попробуй, пройди! У кузнеца пес был до того злющий!.. Колдуном звали.

На освещенном коптилочным огоньком лице офицера появилось озорное мальчишеское выражение.

— Не показать Колдуну своих внутренних переживаний, или, попросту, пяток, — усмехнулся он, — казалось делом совершенно невозможным. Но был у нас задира — Петька Седых. Штаны поддернул, утерся рукавом, шагает. Колдун — за ним, шерсть на загорбке вздыбил, визжит от злости, а хватить, глядим, не решается.

— Точно, точно, — поддержал связист, — собака — она такая.

— Да вот — точно! — снова усмехнулся Латков. — А Петька-то последнюю минуту не выдержал, только прошел кузню, возьми и пустись. Хорошо, Василий Иванович предусмотрел такой душевный срыв, с палкой подоспел.

— Не вышло, значит, дело... — с явным разочарованием сказал связист.

— Почему не вышло! — не оборачиваясь к нему, ответил Латков. — Вышло. Урок был преподан. После Петьки чуть ли не все мы поодиночке промаршировали мимо кузни. Определились, как говорится, две точки зрения на противника.

Дверь отворилась, вошел сержант.

— Товарищ лейтенант, — доложил он, — прибыло пополнение.

— Ну вот, опять работа капитану! — Латков поднялся из-за стола, снял с гвоздя полушубок, оделся, ушел вместе с сержантом. В землянке наступила тишина, в которой еще более назойливым и нудным стало шипение сырых дров и еще громче, падая с их комлей на лист жести, прибитый к полу, застучала капель.

— Опять под колючку лазь, опять темп огня давай!.. — явно сочувствуя командиру дивизиона, вздохнул связист. Он пощелкал клапаном телефонной трубки, подул в нее, спросил вполголоса: «„Долина", ты? Как дела? Нормально? Ладно», — и снова умолк.

Чтобы занять время, я подошел к груде книг, увязанных шпагатом в стопки и сложенных вдоль стены между чугункой и топчаном.

— Тоже капитанова забота, — счел необходимым объяснить связист, когда у меня в руках оказался толстый, с обгорелыми углами страниц том атласа звездного неба. — Сам собирает и нам велит собирать. Тут, на горе, под кирпичами...

На титульных листах книг стояли фиолетовые штампики фундаментальной библиотеки Пулковской обсерватории. У многих томов, как и у атласа звездного неба, были обожжены страницы, некоторые имели такой вид, будто их грызли железными зубами, третьи просто посыпались по листочкам.

— Главную-то силу давно увезли, а это, как бы сказать, остаточки. Ну, и остаточкам не пропадать. Народное, говорит, добро, — это капитал наш. Уж библиотекарша благодарит его, благодарит, как приезжает за ними. А книги, между прочим, сто́ящие. Я с одной познакомился... Не сказать, что всё понятно, но кое-что смекнул. Вот, к примеру, до луны за год на полуторке доехать можно. Дорога не такая уж длинная...

Мы говорили об астрономии. Говорил, правда, главным образом, связист. Говорил до тех пор, пока не вернулся Латков.

Лейтенант вошел с холода с разрумяненным лицом, на котором резко выделялись брови, седые от мелких росинок талого снега, и, как ни в чем не бывало, как будто и не пришлось ему сейчас распределять по батареям прибывших из Ленинграда бойцов, заговорил:

— Так вот, на примере с той свирепой собакой мы уяснили две точки зрения на противника. Точку зрения человека, у которого сердце не выдерживает трудного испытания, и точку зрения человека с крепким сердцем. Первый — преувеличивает силы противника, и это часто становится причиной его поражения. Второй — трезво оценивает возможности врага, понимает свое над ним превосходство, и это способствует достижению победы.

— Извините, товарищ лейтенант, — вставил слово связист. — По собаке, по зверю, вы о противнике судите. Разница!..

— Не слишком большая, Валуйкин. Не слишком. Василий Ива-

нович утверждает, что если бы ему пришлось писать книгу по зоологии, то, вне всякого алфавита, список зверей в разделе «Хищники» он начал бы так: «Фашистус вульгарис». И можешь быть уверен, Валуйкин, ошибки тут не...

Латков не договорил. Землянку встряхнуло, из-под обшивки потолка хлынул сухой песок и загасил коптилку. Дверь, визгнув на петлях, распахнулась, вместе с холодным ветром через нее ворвался удар разрыва.

— «Вульгарис», Латков, я отбрасываю, — сквозь кашель сказал разбуженный капитан. — «Вульгарис» по-латыни значит «обыкновенный», — говорил он в потемках, пока Валуйкин закрывал дверь, а Латков тер о ладонь колесико закапризничавшей зажигалки. — Фашизм — явление хотя и закономерное на империалистической стадии развития капитализма, но далеко не обыкновенное. Предвижу, что сталкиваемся мы с ним не последний раз...

Новый удар потряс землянку. Но теперь огонек выдержал. Капитан поднялся с топчана, подошел к столу.

— Очередной кегельбан, — сказал он, протягивая руку. — Будем знакомы — Яковлев. Латков тут, слышал я сквозь сон, рассказывал обо мне небылицы. Не верьте. Учитель как учитель И сердился, и бранил их, и записки родителям посылал...

Он стоял в желтом свете земляночного огонька, сухонький, остриженный под машинку, улыбался спокойнс и мягко, будто и не стучали в склон холма шестидюймовые кулаки. Видимо, только во сне изменял ему тот навык, который учитель терпеливо прививал ученикам: крепко держать в руках свое сердце. Он приказал Валуйкину вызвать наблюдательный пункт, спросил у наблюдателя, откуда огонь, потом поставил на печурку зеленый и круглый, как арбуз, эмалированный чайник.

Валуйкин достал с полочки над времянкой щербатые кружки, Латков распечатал пачку печенья из офицерского пайка, положил на стол кулек конфет. Но чаю попить не удалось. Артиллерийский обстрел усилился, в гуле разрывов стал различим отрывистый хруст мин.

— Неладно, прислушивался Яковлев. — Почуял что-то немец. Лупит, а там, поди, люди на дорогах...

По землянке шагал офицер в капитанских погонах, затянутый ремнями, — командир дивизиона. Но я видел только учителя, мирного человека, встревоженного судьбой людей на ночных дорогах, ведущих к холму. И говорил этот человек простые, мирные, совсем не военные слова.

Пискнул зуммер телефона.

— «Ладога» слушает, — отозвался связист. — Двенадцатого?

Есть двенадцатого, товарищ второй! — он закрыл клапан трубки и обернулся: — Товарищ капитан, вас начальник штаба полка...

— Двенадцатый слушает, — взял трубку Яковлев. — Так! Приступаю к исполнению.

Он стал надевать такой же, как и у Латкова, утративший первоначальную белизну, в следах смазочного масла, длинный полушубок.

— Приказ: подавить минометы в районе Виттолова. Пойду сам. Ты остаешься, Костя, у телефона.

— Обычная картинка. — Латков обиженно опустился на табурет. — Как стрелять, — «я сам», а Костя сиди...

— Поворчишь, и без обеда оставлю, — отшутился Яковлев и, заметив, что я тоже надеваю шинель, запротестовал: — Куда? Скоро вернусь, чайку попьем. Гостите, с Латковым займитесь. Видите, ему одному скучно.

Но протест его был чисто формальным. Капитан знал, что военные корреспонденты любят посмотреть всё своими глазами. Он говорил одно, а сам ждал, пока я подпояшусь ремнем.

Несколько минут спустя мы шли с ним по самой вершине холма через парк обсерватории. Через бывший парк, разумеется. За два с половиной года он сильно поредел под орудийным огнем. Не узнать было старые липы. Одни из них стояли во мраке искалеченные, с обломанными вершинами, другие — мертвыми телами лежали в неглубоком снегу среди частых воронок. Воронки были на каждом шагу, словно земля здесь болела оспой и страшная болезнь навечно покрыла ее лицо своими следами.

Яковлев молчал, и я молчал, да и говорить было невозможно. Земля под нами гудела от артиллерийского боя, воздух выл и дрожал от снарядов и мин. Короткие огневые вспышки отмечали места их падения и разрывов. Противник бил по северным, обращенным к Ленинграду, склонам холма, по асфальтовой ленте шоссе, где, невидимое для нас с этой вершины, шло ночное движение.

Яковлев прибавил шагу.

Наблюдательный пункт дивизиона располагался в прочном блиндаже, врытом в землю близ разбитого здания главного рефрактора. Мы прошли по громыхнувшим лоскутьям листового железа и спустились в блиндаж.

В блиндаже было темно. Яковлев окликнул:

— Авдеев! Как Виттолово?

— Сменили позиции, товарищ капитан. Вижу вспышки левее четвертого ориентира.

— А ну-ка, пусти меня!..

Обо мне забыли. Я нашарил ногой какой-то ящик, присел на него. Дальнейшее происходило, как бывает в зале кино, когда внезапно

На лесозаготовках.

За Ленинград!

«Дорогие вы наши!..»

Тем, кто ничего не понял, кто ничему не научился.

разладился аппарат. На экране полнейший мрак, а звук есть, невидимые герои разговаривают, невидимые пушки стреляют, невидимая жизнь идет за полотном экрана, и мы воспринимаем ее лишь на слух.

Минуту или две длилось молчание, я слышал дыхание людей и не мог определить, сколько их здесь, в блиндаже наблюдательного пункта. Наконец Яковлев сказал:

— Ошибся, Авдеев. Возле четвертого — фальшивые вспышки. Бьют со старых позиций.

Он скомандовал данные. Неожиданно третий голос, не его и не Авдеева, громко повторил их где-то совсем рядом с моим ящиком и потом после команды Яковлева «Огонь!» выкрикнул уже в блиндаж:

— Выстрел!

Выстрела я не слышал. И без этого вновь вступившего в бой орудия яковлевского дивизиона вокруг грохотало множество орудий. Но Яковлев отметил: «Хорошо!» — и скомандовал поправку.

Я не видел Яковлева, слышал только его голос, и я позабыл об учителе из Сибири, который показывал когда-то своим ученикам репродукции с картин Левитана и Шишкина. Возле меня во тьме командовал артиллерийский офицер, командовал так уверенно, твердо, четко, будто не географии, а артиллерии с юности посвятил он свою жизнь.

Первым орудием командир дивизиона только нащупал немецких минометчиков. Теперь сразу всеми орудиями он пахал склоны оврага позади давно стертого с лица земли селения Виттолово.

Мало-помалу противник прекратил огонь. Затихли разрывы на шоссе и на северных склонах холма. Отчетливо слышался голос одних ленинградских пушек. Где-то в других блиндажах на Пулковских высотах другие капитаны тоже командовали своими батареями.

Затем смолкло всё, унялась дрожь, сотрясавшая землю, воздух перестал давить на уши, и тогда в блиндаже вспыхнула яркая аккумуляторная лампочка.

Рядом со мной на том же ящике из-под снарядов сидел телефонист, который только что передавал команды капитана на огневые. У стереотрубы, просунувшей свои рожки в амбразуру. завешанную плащ-палаткой, стоял коренастый молодой лейтенант. Яковлев, в распахнутом полушубке, утирал разгоряченное лицо платком и близоруко щурился от света.

— Уничтожены? — спросил я.

— Чего не видел, того не видел, — ответил он со своей мягкой улыбкой и развел руками. — Может быть, им там и не очень весело

пришлось, но в журнале боевых действий мы запишем: «Подавлены».

— Осторожность?

— Нет, точность.

Мы снова шли через остатки парка мимо руин.

Внизу под холмом урчали моторы, перекликались негромкие голоса, скрипел снег под сотнями ног.

Пружина скручивалась всё туже.

Латков, когда мы вернулись в землянку, не стал задавать вопросов. Ни для него, ни для Яковлева ничего необыкновенного в ночной дуэли не было. Он сказал:

— Чайник весь выкипел. Два раза доливал.

Кружки по-прежнему стояли на столе, на газете всё так же лежали печенье и серый бумажный кулек с конфетами. Оставалось придвинуть табуретки...

За чаем мы просидели почти до утра. Как хорошая книга гонит сон, так бежал он и от рассказа двух сибиряков. Исчезла продымленная землянка, и все втроем мы уже были не в предместье Ленинграда, а за многие тысячи километров от него, на степной пашне, куда в жаркий июньский полдень Яковлев пришел к Латкову. «Что ж, Костя, — сказал он тогда, — время! И без нас с тобой тут, что надо, вспашут. Пойдем, дружок». И учитель с учеником пошли просто как на школьную экскурсию, без всякого багажа, — пошли луговыми стежками, таежными тропами...

«Одному слишком мало лет, другому слишком много», — так сказал им районный военком. Но когда человек всей душой убежден в необходимости чего-либо, он этого непременно добьется.

И вот снова сокращается расстояние до Ленинграда. Через Новосибирск, через Тихвин, через Волховский фронт мы вернулись в землянку на Пулковском холме.

— Здесь и заканчивается маленькая историйка. — Капитан встал из-за стола и распахнул дверь, за которой в сером предрассветье медленно падал крупный снег.

Через несколько дней пружина разжалась, с Пулковских высот на красносельскую равнину двинулись войска. Вместе с пехотинцами, печатая колесами орудий глубокие колеи в рыхлом снегу, ушли вперед и артиллеристы Яковлева. Ветер скрипел дверью опустелой землянки, мимо которой день и ночь спешили белые грузовики, затянутые серыми брезентами.

С каждым днем, с каждой неделей всё длинней становился пробег машин до фронта, и только еще раз в те дни дошла до меня весть о сибирском учителе и его ученике. Ее привез Латков. Откуда-то из-под Пскова он приезжал в Ленинград в Управление артиллерии.

Я видел его лишь несколько минут, которые суровому сержанту контрольно-пропускного пункта за Московской заставой понадобились для проверки документов. Латков высунул свое скуластое лицо из кабины грузовика, коротко рассказал новости и крикнул на прощание:

— Всё в порядке! На смелого только лает...

Потом след Яковлева и Латкова пропал на дорогах войны.

И вот — эта газетная заметка, эта знакомая фамилия, знакомое название хакасского села... Значит, снова вернулся Василий Иванович в свой класс и снова учит мальчишек быть твердыми сердцем.

Я вырезал заметку и показал старому ленинградскому географу, с которым знаком много лет. Пришлось, конечно, рассказать и всё, что знал я об учителе Яковлеве.

— Дорогой мой! — воскликнул старик. — Какой же замечательный учебник получат ребятишки! Автор-то, автор — полмира вышагал собственными ногами! Он из пушек за нашу географию стрелял. Непременно напишу ему, непременно. Будьте любезны адресок...

Мой собеседник стал шарить по карманам в поисках карандаша. Но я остановил его руку. Достоверно мне был известен лишь один адрес Василия Ивановича Яковлева: землянка на Пулковском холме. Адрес этот устарел: не только землянка, даже следы ее исчезли теперь под новыми фундаментами обсерватории.

Оставалось подарить географу газетную вырезку.

Я так и сделал.

МИХАИЛ ДУДИН

ВЕСНА

...Мне грустно от сознания,
Что так невыразительны слова.
Полна таинственного содрогания
Весенняя природа. Синева
Сквозит над лесом. Робкая трава
На солнцепеке зеленеет. Ломок
Схвативший за ночь лужи у каемок
С ажурными прожилками ледок.
Седой лишай на валунах намок.
Снег ноздреват. Прозрачен и хрусталей
Ручья стремительного перелив.
Серебряные почки тонких ив
Горят на солнце. Пятнами проталин
Покрыто поле. Черные грачи
Сидят на кучах темного навоза.
Сквозь легкий пар скользящие лучи
Нисходят в землю. Тонкая береза,
Как девочка, стоит на берегу.
Я счастлив тем, что увидать могу,
Как утром занимается заря,
В бору подслушать песню глухаря,
Понять в тиши упрямый рост растений,
Язык неумирающей воды,
Перемещенье воздуха и тени,
Сверканье звезд, звериные следы,
Движенье соков по стволу сосны, —
Я счастлив ощущением весны.
Она во мне. Я вижу — надо мною,
В сиянье ослепительного дня,
В лазури растекаются, звеня
На тонких струнах, жаворонки. Хвою
На синих елях ветер шевелит.

Мне давнее предчувствие велит
Поторпиться, не теряя мига,
Не обойти вслепую стороной.
Природы неразрезанная книга,
Как жизнь моя, лежит передо мной.
И в этот миг, наперекор покою,
Наперекор забвенью, не спеша,
Невыразимым счастьем и тоскою,
Как чаша, наполняется душа.
Прекрасен мир! Он нерушим и прочен.
Непобедим и вечен человек!
Блестят ручьи, и оседает снег
В канавах развороченных обочин.

Но, повстречавшись с пулей огневой,
На желтую, разъезженную глину
Упал фашист с пробитой головой
И в грязь густую вмерз наполовину.
Мели снега, звенели холода,
И солнце вновь дробится в каждой склянке.
Еще не унесла его останки
Холодная весенняя вода.
Весь этот мир в накрапах желтых пятен
Наш до конца — и только нам понятен
И чужд ему. Мир им обезображен:
Не счесть воронок на земле и скважин,
Подкошенных деревьев. От села
Остались только пепел да зола.
Летучий прах и мусор ветром скучен,
На кольях уцелевшего плетня
Горшки торчат, как головы. И скучен
Тяжелый вид. Ни дыма, ни огня.

Ревет река, и берега покаты.
У переката пенный бьется вал
В быки и сваи черные. Пока ты
В оцепененье каменном стоял,
Уже расцвел подкошенный орешник,
Заплыл смолой в стволе сосны свинец
И в чудом сохранившийся скворешник
Веселый возвращается скворец.
Малиновка у ржавого лафета
Свила гнездо и вьется у гнезда,

Поет и заливается с рассвета.
Гори, моя солдатская звезда!
О, дай мне сил и мужества, наполни
Мои глаза сверканьем черных молний,
Весенним громом уши оглуши
И вырви жалость из моей души.
О, проведи меня по бездорожью,
Развей по ветру горький смрад и прах,
Чтоб мир опять заколосился рожью,
Чтоб хмелем и смородиной пропах.

Пленительна, печальна и ясна,
За наступленьем шествует весна,
Цветет земля. Отныне и вовек —
Прекрасен мир и вечен человек!

ПАВЕЛ ЖУРБА

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Гудела фронтовая дорога. Нескончаемый поток людей и машин двигался на запад.

Над лесами и полями Померании гулким эхом перекатывался гром советских орудий.

Веселое мартовское солнце, чуть поднявшись над зеленой полосой хвойного леса, плавило потоптанный снег. Шуршали ручьи. Румяное утро было задымлено еще не угасшими пожарищами вчерашнего боя. На изрытых обочинах дороги — обломки оружия, клочья одежды. В придорожной канаве втоптан в рыжий мокрый снег обрывок флага со свастикой.

Капитан Долин, поглаживая свои короткие усы, ждал интервала в веренице машин, чтобы перейти дорогу.

Но вот остановилась одна пятитонка, груженная снарядами. Поток машин и людей, точно обтекая запруду, раздался вширь. Слева мешала канава, справа — лес, и на дороге образовался затор.

Прозвенел властный девичий голос:

— Воловод, чумак, а не шофер! Чикается тут, когда секунда дороже года.

Долин вздрогнул, услышав этот голос, и взглянул на девушку.

Она стояла в кузове автомашины. Из-под шапки-ушанки упала на лоб прядь льняных волос. Шинель туго затянута портупеей. Погоны лейтенанта.

«Неужели... неужели это Соня пулковская?» — в смятении подумал он. Да, это была она.

Он хотел окликнуть ее и не успел.

Соня, скомандовав бойцам: «А ну, за мной!», спрыгнула на дорогу.

За пятитонку со снарядами схватились десятки рук и двинули ее в сторону, к кювету.

Девушка-лейтенант деловито хозяйничала:

— Разо-ом — взяли! Влево-о — дружно!

Долин поспешно пробрался к ней:

— Товарищ лейтенант!.. Соня!..

Она быстро обернулась.

— Соня!.. Товарищ лейтенант, помните Пулково? Декабрь сорок первого... Капусту на минном поле...

Она смутилась. Обветренное лицо ее вспыхнуло багрянцем.

— Помню, товарищ... капитан, — не сразу ответила она. — Вы тогда хотели застрелить меня...

Они смотрели друг другу в глаза, и незабываемое вставало в памяти.

* * *

Пулковские высоты. Сорок первый год... В черную декабрьскую ночь бушевала ледяная вьюга, заметая снегом траншею боевого охранения. Здесь держал рубеж взвод младшего лейтенанта Долина.

В полночь по ходам сообщения, занесенным снегом, пришла в боевое охранение женщина. При оранжевой вспышке орудийного выстрела Долин успел увидеть ее худое лицо, огромные валенки, ватные стеганые штаны, маскхалат поверх подпоясанного веревкой ватника. Под капюшоном — белые брови и волосы, запушенные снегом. Возраст ее определить было трудно. Лицо — сухое и серое, с припухшими веками.

На этом участке фронта было очень тревожно. Фашисты рвались к городу. Надо было уметь разгадать любую их каверзу. Появление здесь неизвестной женщины насторожило Долина.

— Пропуск? — спросил он, упирая штык в грудь женщины.

Она не знала пропуска и отзыва. Сказала, что идет на нейтральную полосу за капустой, и указала в сторону гитлеровцев.

— Капуста? — недоверчиво усмехнулся он. — Мины там, а не капуста.

— Знаю, что не цветики.

Долин возмутился:

— Шляются тут всякие подозрительные штатские... Сомов, сведи ее в штаб...

Но женщина вдруг метнулась в сторону и потонула в кипящей вьюжной темноте.

— Стой, застрелю! — крикнул Долин.

Софья знала, что он ее не видит и стрелять зря не будет.

В кромешной темени вьюга крутила, швыряла в лицо облака колючего снега, валила с ног. Софья поползла.

«Какой чудной командир», — подумала она... Он не пустил бы ее за капустой, а объяснять ему, непонятливому и заносчивому, обидно и некогда.

Да, она отлично понимала: капусту надо добывать даже с риском для жизни — на минном поле. Ее женская бригада спешно строила дзоты на Пулковских высотах, к которым рвался враг. Работа сложная и трудная. Немецкие окопы — в пятистах метрах. Из-за частых обстрелов работать надо было по ночам. При вспышке немецкой осветительной ракеты надо мгновенно падать на землю. Погаснет ракета — люди должны тоже быстро подняться, тащить и укладывать бревна, кирпич, камень, долбить мерзлый грунт. А истощенные ленинградки еле двигались.

Врач разъяснил ей: люди страдают от авитаминоза. Скудная пища почти не имеет витаминов. Хорошо бы добыть хоть капусту. И Софья разведала, что у самого немецкого проволочного заграждения есть капуста, которую жители не могли убрать. И она решила любой ценой добыть эту капусту.

Софья ползла по сугробам, похожим на огромные замерзшие морские волны. Она пыталась обнаружить мины «щупаком», но руки немели и было совсем темно. Вспыхивали ракеты, и тусклый бледно-оранжевый свет их освещал снежную муть. Она замирала на снегу.

Глухо трещали пулеметы. С унылым свистом пролетали пули. От страха ее сердце билось так сильно, что от его толчков будто вздрагивала земля. Но гасли ракеты, и Софья упрямо ползла дальше по откосам сугробов.

Она доползла до лощины, где была заветная капуста. Но как ее взять? Капуста — под толстым слоем старого смерзшегося снега. Она сняла рукавицы и стала пальцами осторожно разрывать снег. Пальцы коченели. Она согревала их дыханием, растирала снегом и снова работала.

Он чуть не вскрикнула от радости, когда вытащила из-под снега первый мерзлый кочан.

Ракеты вспыхивали всё чаще.

Потом она услышала голос немца, предостерегающий своих:

— Минирт! минирт! (минировано).

Перед рассветом Софья притащила в боевое охранение вещевой мешок, набитый мерзлой капустой.

— Спирту мне... руки растереть. И помогите капусту нести.

В землянке при тусклом свете коптилки, перевязывая ей простреленную руку, Долин упрекнул Софью:

— Жадность до чего доводит...

— Я не для себя. Ясно?

Оглушительно грянул разрыв снаряда. Осколки глухо ударили в бревенчатый накат землянки. С потолка посыпалась земля. Коптилка погасла. Землянка, вздрогнув, казалось, поплыла.

— Зажигайте вашу люстру, — шутливо сказала девушка. — Не в жмурки же играть тут. Мне идти надо.

— Переждите налет... А я спою вам тут серенаду...

— Ого! Это по-моему. Только рано мне слушать серенаду... Ждут девушки. Прощайте до следующей ночки.

И она ушла. Больше они не встречались. Тяжело раненный Долин был отправлен в госпиталь. Только спустя месяц Сомов навестил его и сказал, что Софья еще не раз ходила за капустой на минное поле. Дзоты ее бригада построила досрочно.

— Соня пулковская... — вздыхал Долин, — вот эта да-а... Не какая-нибудь «круть-верть с кучеряшками». Такая в обиду не даст и сердце согреет...

* * *

И вот она стояла перед ним. Они встретились на Пулковских высотах. Тогда он, только что наспех окончивший военно-пехотное училище, был младший лейтенант, теперь — капитан, командир батальона. Она была портниха, потом студентка, человек самой мирной профессии, теперь — лейтенант. Но сколько непомерных тяжестей подняли их плечи, какую несокрушимую закалку приняли их души за эти три грозных военных года, что они не виделись! И никак они не могли позабыть друг друга, встретясь хотя бы и раз, ибо нет в мире родства крепче, чем кровное родство душ, рожденное в бою.

А теперь он, участник многих лихих атак, смущенно смотрел на девушку-лейтенанта и не знал, какие слова надо сказать ей в эту минутную встречу.

Вокруг нарастал рев моторов и шум людских голосов. Некоторые машины уже двигались. Бойцы лейтенанта Рубиной уже сидели в автомашине и перекликались с танкистами, выглядывающими из люков.

Софья Рубина вскинула руку к ушанке:

— Прощайте, товарищ капитан. Спасибо за память.

— Постойте, Соня... Как же так...

— Да ведь ждут меня. Нельзя задерживать движение.

— Соня, Сонюшка, ведь скоро всё это кончится... Близка победа. Куда вы потом?

— Как — куда? Вернусь в сельскохозяйственный институт. Потом буду орошать и озеленять степи, пустыни. Собирать урожаи... А вы, вы, товарищ капитан?

— Пойду в военную академию... Учиться...

Поток машин и людей двинулся вперед.

Софья грустно сощурила синие, заблестевшие, как васильки в росе, глаза. Потом, улыбнувшись, решительно повернулась и бросилась к своей машине.

Бойцы протянули ей руки и подняли в кузов. Машина рванулась вперед. Рубина засмеялась и помахала рукой Долину.

Он стоял, побагровев от напряжения, и не знал, какое самое нужное слово еще сказать.

Она оказалась догадливее его и крикнула самое нужное:

— Пиши: полевая почта 2 160 051!

И взмах ее руки потонул в синем дыму.

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

ВТОРОЙ РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ

Дарья Власьевна, соседка, здравствуй!
Вот мы встретились с тобой опять.
В дни весны желанной ленинградской
надо снова нам потолковать.

Тихо-тихо. Небо золотое.
В этой долгожданной тишине
мы пройдем по Невскому с тобою,
по былой «опасной стороне».

Как истерзаны повсюду стены!
Бельма в каждом выбитом окне.
Это мы тут прожили без смены
целых девятьсот ночей и дней.

Мы с тобою танков не взрывали.
Мы в чаду обыденных забот
безымянные высоты брали, —
но на карте нет таких высот.

Где помечена твоя крутая
лестница, ведущая домой,
по которой, с голоду шатаясь,
ты ходила с ведрами зимой?

Где помечена твоя дорога,
по которой десять раз прошла
и сама — в пургу, в мороз, в тревогу —
пятерых на кладбище свезла?

Только мы с тобою, мы, соседка,
помним наши тяжкие пути.

Сами знаем, — в картах или в сводках
их не перечислить, не найти.

А для боли нашей молчаливой,
для ранений — скрытых, не простых —
не хватило б на земле нашивок,
ни малиновых, ни золотых.

На груди, над сердцем опаленным,
за войну принявшим столько ран,
лишь медаль на ленточке зеленой,
бережно укрытой в целлофан.

Вот она — святая память наша,
сбереженная на все века...
...Что ж ты плачешь, что ты, тетя Даша?
Нам еще нельзя с тобой пока.

Дарья Власьевна, не мы, так кто же
отчий дом к победе приберет?
Кто ребятам-сиротам поможет,
юным вдовам слезы оботрет?

Это нам с тобой, хлебнувшим горя,
чьи-то души греть и утешать.
Нам, отдавшим всё за этот город, —
поднимать его и украшать.

Нам, не позабыв о старых бедах,
сотни новых вынести забот,
чтоб сынов, когда придут с победой,
хлебом-солью встретить у ворот.

Дарья Власьевна, нам много дела,
точно под воскресный день в дому.
Ты в беде сберечь его сумела,
ты и счастье возвратишь ему, —

Счастие извечное людское,
что в бреду, в крови, во мгле боев
сберегло и вынесло — простое
сердце материнское твое.

КОНСТАНТИН ФЕДИН

СВИДАНИЕ С ЛЕНИНГРАДОМ

РАССКАЗ О ДВОРЦЕ

Перед своим отъездом из Москвы я встретил композитора Попова, который тяжело больным был эвакуирован из осажденного Ленинграда, поправился и снова сочиняет музыку. Мы были с ним соседями, когда жили в городе Пушкине, он — в так называемом Полуциркуле, я — в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.

— Знаете, — сказал мне Попов, — если будете в Пушкине, поглядите, что осталось от моего жилья. Говорят, немцы утащили оба моих рояля к себе в блиндажи, на позиции. Может быть, найдутся какие следы?

Я обещал...

Лет десять назад я занял летнюю квартиру в жилом Зубовском флигеле с той стороны, которая обращена в парк. Из окон был виден фонтан белого мрамора, чудесные по живописному подбору расцветок деревья, кусты старой подстриженной сирени, веселые дорожки между газонов. Мне показалось, что в отдохновенном этом углу недостает цветов, и я решил поставить на балкон ящик с душистым горошком и петуньями. Одному из хранителей дворца, строгой женщине, не понравилась моя затея.

— Надо убрать ящик, — заметила она, — он портит фасад. На другом балконе ящика, видите, нет? Это асимметрично и нарушает стройность архитектурных линий.

Она была права, в сущности, хотя речь шла не о главных дворцовых фасадах и только строгий глаз мог осудить появление чужеродной общему виду детали. Но когда цветы распустились, мне стало жалко убрать ящик, и сама хранительница с ним примирилась, вероятно, потому, что в цветах есть большая сила убеждения, они уместны даже там, где их не ожидают встретить.

Царскосельские парки созданы для того, чтобы человек покорялся природе, которой рука художника помогла раскрыть все свои волшебные свойства в одном легко обозримом месте. Тот, кто прошел по этим аллеям в осенний день, когда пруды упоенно повторяют в своих неподвижных стеклах все краски мира и на мостах через

каналы лежат первые опавшие листья клена, тот запомнит этот день, как счастливейший в жизни. У меня таких дней было много, я накопил их, как богач копит драгоценности, и в моей памяти, не умирая, хранятся червонные купола дворцовой церкви, сияющей в закатный час, и в тот же час тем же червонным золотом облитые осенние парки.

Ночами, когда поперек аллей ложились черные тени двухсотлетних екатерининских лип и окаменелые парки состязались с музейным молчанием дворцов, мне казалось, что камни зданий и мрамор статуй неразъемлемо окованы поясами аллей, и я блуждал, точно лунатик, и тишина была для меня слаще всех земных звуков.

Всё пронизано здесь историей, ее дыхание явственно ощущаешь, и вдруг, когда увидишь из-за дерева какой-нибудь обелиск или какую-нибудь колонну, живой голос Пушкина, не отделимый от Царского Села, раздастся у тебя в ушах:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов...

О призраках героев, бродя по паркам, я часто говорил с соседом — композитором Поповым. Идешь ночью мимо приземистого Полуциркуля, приближаешься к позолоченным кружевным воротам дворца, слышишь — рояль. Если Попов не сочинял, то играл классику, и свободный удар его пальцев быстро уводил меня в стихию, которая однажды возникла в прошлом и вечно живет в будущем.

В маленькой комнате рояль занимал половину всей площади, а в смежной комнате, такой же маленькой, стоял другой рояль — жены композитора, тоже пианистки, и стена между комнатами была затянута мягкой обивкой, чтобы музыканты не слишком мешали друг другу. Перед низким окном простирался парадный двор и стоял дворец, протяженный в длину на триста метров, с его колоннами и согбенными под их тяжестью атлантами, весь в лепке орнамента и вензелей — пышное, празднично веселящее создание Растрелли. Музыка как будто объясняла его возникновение, переплеталась с его каменной гармонией, жила одной с ним природой.

Потом, оставив рояль, мы шли бродить, и разговор продолжал мысли, возбужденные музыкой.

Однажды мы долго стояли у Церковного флигеля дворца под большим деревом, протянувшим сильный, прямой сук к невысокой крыше Полуциркуля, и в тени дерева говорили о русской и немецкой музыке, о единстве и столкновениях культур, о связях и различиях великих человеческих целей. Я помню, как назывались в тишине имена Михаила Глинки, Мусоргского, Скрябина, Себастьяна Баха,

Иосифа Гайдна, классическую форму которого не затмили Бетховен и Моцарт. Это был хороший разговор. Его питал город искусств, город муз — Пушкин...

И вот два года этот город был во власти фашистов. И я пришел через обожженную огнем и кровью землю, пришел в город муз, чтобы увидеть, как обошелся с ним кратковременный его властелин.

Всё, что хранилось великой кровлей дворца, — исчезло. Исчезла и сама кровля. Стены протяженностью в триста метров, как грандиозный старый издырявленный сундук без крыши, содержат в себе обломки убранств полов и потолков, обугленные пожарами кучи сора. Нет и следов картин, мебели, нет и следов сотен зеркал и жирандолей, тысяч орнаментальных украшений из мрамора, серебра, фарфора, золоченых багетов. Всё, что фашист успел похитить, он похитил. Всё, что не успел, — предал топору. Остатки тканей на уцелевших простенках, остатки бронзы на сорванных дверях и окнах только утверждают, что погром произведен тотальный и что здесь воздвигнута вечная память фашистскому позору. И точно для того, чтобы весь мир видел, что здесь хозяйничал вор, мрачно чернеют когда-то сверкавшие купола и кресты Церковного флигеля: золото слизано с них тщательно и жадно.

Я стал обходить дворец, подолгу вглядывался в его смертельные раны. Сквозь зияющие оконные проемы я посмотрел в комнаты Зубовского флигеля, где жил, кажется, целую вечность назад. Исковерканные массы каких-то нагромождений тянулись там к небу, будто взывая о возмездии.

И вдруг я увидел на балконе цветочный ящик. Сизый от времени, он висел на прежнем месте. Взрывы, сотрясения, огонь, бушевавшие внутри дворца, не тронули его своим неистовством, он остался неприкосновенным. Тогда в моей памяти с живостью возник укоризненный голос: «Надо убрать ящик. Он портит фасад. На другом балконе ящика нет. Это асимметрично!»

Да, как и прежде, на другом балконе не было никакого ящика. В этой асимметрии, хотя и малозаметной, был виноват я, и, может быть, мне следовало в свое время послушаться женщины — строгого хранителя дворца. Теперь было странно, что никчемный ящик оказался единственным предметом, уцелевшим во всем дворце после гитлеровцев. С горечью удивляясь этому, я двинулся дальше в свой круговой обход.

Разгромленный Полуциркуль, как согнутая рука скелета, всё еще обнимал Парадный двор. Солнце освещало снеговые сугробы на месте былых комнат и коридоров. Вот груды камня и кровельного железа, обнаженные от снега вольным ветром, провалившиеся в коробку здания. Здесь я слушал музыку, глядя через окно на застыв-

шие светотени дворцового фасада, отсюда отправлялись мы в наши блуждания по аллеям парков — я и мой сосед, композитор.

Я обернулся и сквозь поломанную решетку взглянул на парк. Некогда дружные толпы деревьев рассеялись, и в широких просветах пустот, вместо лип, кленов и вязов, росших здесь веками, торчали пни, валялись перепиленные стволы и обрубки сучьев.

И я пошел дальше и скоро кончил свой обход, вернувшись к Церковному флигелю. Там, у подъезда, я вспомнил ночной разговор с композитором, после музыки — о единстве культур, о связях великих человеческих целей, вспомнил имена, которые тогда назывались, — имена Мусоргского и Скрябина, Баха и Гайдна. Я вспомнил, что мы стояли тогда под большим деревом, протянувшим сильный, прямой сук к невысокой крыше Полуциркуля. И осмотрелся и узнал это дерево. Я узнал его и увидел, что прямой, сильный его сук оголен от мелких веток и с него свешиваются четыре веревки, слегка расплетенные на концах и чуть-чуть колеблемые слабым ветром. Я не двигался и не отрывал глаз от веревок. Мне казалось, своим мерным покачиванием они говорили о себе всё, что я должен был знать. Но я чего-то не понимал и не мог от них оторваться. Тогда неожиданно раздался спокойный голос:

— Интересуетесь, гражданин?

Позади меня стоял милиционер.

— Фашистская виселица, — пояснил он. — Гитлеровцы тут четверых советских граждан повесили. Наши пришли — сняли.

Я молчал. Он тоже молчал, потом спросил:

— Дворец осматривать будете? Или уже познакомились?

— Познакомился, — ответил я, — познакомился.

Мы еще немного помолчали и расстались.

Когда я опять встречу композитора Попова, я прочитаю ему этот рассказ.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ НАТУРА

Давным-давно, кажется — бесконечно давно, когда фашисты еще вели свой дикий обстрел жилых кварталов Ленинграда, мне вручили самое удивительное приглашение из всех, которые я когда-либо получал. На литографированном билете с натюрмортом сообщалось, что Управление по делам искусств при Ленинградском Совете и Всероссийская Академия художеств устраивают на квартире художника В. М. Конашевича осмотр работ и что после осмотра художник прочитает две главы из своих воспоминаний. В ту минуту я много дал бы, чтобы очутиться в Ленинграде и последовать приглашению этого билетика с букетом цветов.

В темном, промерзшем городе, среди вспышек разрывов, выбирая те тротуары, которые «при артобстреле наименее опасны», несколько художников и любителей искусства торопятся на Моховую улицу. В маленькой квартире, ставшей прибежищем Конашевича, после того как он должен был бежать из занятого фашистами Павловска, горстка людей рассматривает пейзажи, книжные иллюстрации, зарисовки блокадного быта и героики, сделанные замечательным мастером. Грохот обстрела то приближается, то пропадает где-то во мраке, отделенном непроницаемыми занавесками на окнах. Листы акварелей медленно раскладываются на рояле. Красочными отражениями проходят перед зрителями события, участниками которых эти зрители были и продолжают быть там, за пределами комнаты художника, и здесь, в этой комнате, потому что события не останавливаются ни на одну долю секунды, бой идет, люди отдают свой труд, свое искусство, свою кровь защите Ленинграда.

Мне пришлось видеть десятки работ ленинградских художников, посвященных эпопее блокады, и у меня нет сомнения, что будущее получит памятники, достойные и как художественные воплощения пережитого и как свидетельские показания об исторических фактах. Собирая иногда последние угасавшие силы, ленинградские художники не выпускали из рук кисти. Вода замерзала в их жилищах, — они отогревали ее на убогих очагах, чтобы развести акварель. Масляные краски стыли, — они размягчали тюбики своим дыханием, чтобы положить на полотно нужный мазок. Сейчас эти художники носят на груди зеленые ленточки медалей «За оборону Ленинграда». И они ревниво берегут память о друзьях, которые, проявив самоотверженную любовь к своему искусству и своему городу, отдали за них свою жизнь.

Город, со времен Петра I обладавший необычайно последовательной традицией в искусстве, литературе, науке, промышленности, за годы Отечественной войны прошел испытание огнем. Это — не поэтический образ: огнем опален каждый его камень, каждый его житель.

Существо ленинградского патриотизма раскрылось в том, что он оказался глубоко русским и в то же время советским. Ленинград дал пример того, как бьется русский за землю отцов и как защищает советский человек родину своих революционных идей, свою новейшую историю. Строгий, дисциплинированный, суховатый, почти педантичный ленинградец в войне против фашистов показал себя горячей, кипучей натурой. Страсть — вот что обнаружил ленинградец прежде всех своих иных качеств, — страсть человека, от природы лишенного способности покориться воле врага. Пройдя огонь испытаний, патриотизм Ленинграда не утратил особой ленинградской окраски, но раскрыл свою природу как одну из самых страстных черт

русского характера — готовность на любые жертвы ради отчизны...

Мое свидание с Ленинградом подходило к концу, и я был рад, что в последний день пребывания там встретился с человеком, которого я мог бы назвать настоящим ленинградцем.

Это была молодая женщина, главный хранитель петергофских дворцов-музеев. Чуть-чуть посмеиваясь над собой и одновременно с пылким порывом, она рассказала мне о своем первом посещении Петергофа после того, как оттуда были изгнаны гитлеровцы.

Сначала ее никто не хотел брать туда, где только что было поле кровавого боя, — зачем? Кому охота брать на себя ответственность за какую-то судьбу, когда в военном деле за каждый шаг спрашивают ответа? Но, в конце концов, упорной, не отступающей ни перед чем женщине удается уговорить каких-то офицеров, что именно ей необходимо раньше всех приехать в Новый Петергоф и немедленно увидеть дворцы, которым она отдала себя целиком, которые она любила больше, чем собственность, чем близких, чем самоё себя. Ей говорят, что машина не пойдет в Петергоф, а направляется в Гатчину, куда отодвинулся фронт. Она отвечает: это по пути. Ее нельзя переубедить. Она ничего не хочет слышать. Она уже сидит в машине.

Ее довозят до развилки дорог Гатчина — Петергоф. Автомобиль уходит. Она остается одна в необъятном снежном поле, рядом со взрытой снарядами землей. Она оглядывается. Исковерканные грузовики, разбитая пушка, зарядные ящики колесами вверх. Вон лежит убитый немец лицом в грунт. Ветер шевелит отросшими волосами на его шаровидном затылке. Проходит машина, другая, третья — все на Гатчину. В Петергоф не едет никто: это — тыл, оказавшийся в стороне от недавней дороги войны. Вчера он был центром сражения, сегодня он никому не нужен. Женщина идет пешком, считая убитых фашистов. Внезапно позади нее раздается грохот. Она видит: мчится танк. Она останавливает его, подняв руки. Танкист, выглянув из люка, долго не может понять, что ей нужно. Неужели эта одержимая и правда надеется найти следы своего музея? Потом он говорит, что ему не по пути, он сейчас свернет в сторону. «А впрочем, — залезай на танк!» Женщина взбирается на холодный ледяной горб чудовища и, обняв замерзшими руками ствол орудия, трясется по рытвинам дорожной обочины. Этому счастью скоро приходит конец: танк сворачивает на проселок, танкист машет из люка черной кожаной рукавицей. «До свидания, смешная женщина, давай бог разыскать тебе твой музей!» Женщина идет пешком. Непременно дойти засветло — вот ее цель. Ей везет: лошаденка, запряженная в сани, бойко выезжает из-за обгорелых домов поселка. Но надежда рушится так же быстро, как возникает: кучер, конечно, подвез бы женщину, но сани идут не в ту сторону. — это

остатки имущества полевого госпиталя, который догоняет фронт. Надо маршировать дальше, обходя воронки, перелезая через траншеи.

— Эй-э! — кричит ей кучер. — А насчет мин соображаете? Тут кругом минные поля.

Она просто не думала о каких-то минных полях, она идет напрямик. Не возвращаться же назад, когда уже отшагала километров двенадцать и впереди чернеет длинная прямая полоса петергофского парка.

И вот она у цели. Она стоит на площади перед Большим Петергофским дворцом. Она смотрит на дворец. Нет, это неверно: она стоит, закрыв лицо ладонями. Ветер бьет ее, поземка крутится вокруг ее ног. Она покачивается, не сходя с места. Потом, когда она отрывает от лица застывшие мокрые пальцы, она уже чувствует себя другим человеком. Всё, что она знала о своем Петергофе, существовало только в ее памяти. Перед ней лежали руины, из которых возвышались стены, напоминавшие что-то знакомое. Что можно сделать из этих дорогих камней? Что еще сохранилось в этих свалках щебня?

Она бежит по парку в Нижний сад. Всюду она встречает разрушения: в голландских домиках Петра — Марли и Монплезире, в Эрмитаже и на месте былых фонтанов. Всё кажется ей сном, и, как во сне, всё начинает исчезать в темноте зимнего вечера.

Она не узнает парка: дорожки и аллеи под снегом, деревья обезличены ночью. Только теперь усталость сковывает ее по рукам и ногам. Она насилу тащится глубокими сугробами, помня одно — что надо идти в гору. И вдруг она слышит голоса из-под земли.

— Да, представьте, — смеется эта женщина, дойдя до неожиданного поворота рассказа,— представьте мое состояние: я — в снегу по колено, кругом тьма, я боюсь шагнуть, потому что уже понимаю, что меня хранит чудо, и в этот миг под землей раздаются голоса. Я осмотрелась, вижу — светится щель. Подошла. Оказывается — землянка, блиндаж. И оттуда несется самый что ни на есть морской разговор. Я так обрадовалась! Отворила дверь. Четверо балтийских матросов на корточках вокруг коптилки режутся в карты. Ну, конечно, вскочили они, видят — женщина. Проверили документы, разговорились. «Как же, — спрашивают, — вы уцелели, парк ведь не разминирован». — «А почем я знаю, как уцелела? Ведь вот разве я могла знать, что встречу наших балтийцев за картами?» — «Мы, говорят, — из охранения сменились и вот отдыхаем». — «Ах, вы из охранения?» Подсела я с ними к коптилке и начала им рассказывать, как было в Петергофе до войны, какое преступление совершили фашисты, уничтожив наши памятники, и каким будет Петергоф, когда мы его восстановим.

— Восстановим? — перебил я.

— А вы думаете — нет? — воскликнула она. — Матросы ни на минуту не усомнились, что восстановим. Мы целую ночь проговорили с ними — как лучше взяться за восстановление. И, знаете, они теперь мои самые верные помощники по охране дворцов. Они собирают в парке всякие пустяки — осколки, обломки...

— Вот такие осколки? — опять перебил я ее, взяв со стола кусок позолоченной деревянной резьбы, который я подобрал в развалинах Екатерининского дворца в Пушкине.

Взглянув на меня испытующе и помолчав, она выговорила притихшим голосом:

— Самые вредные для нас, музейных работников, люди — это туристы. Зачем вы увезли обломок? На таких кусочках мы будем строить всю работу по реставрации. Я внушаю это сейчас всем и каждому. Мы, как пчелы, соберем наши дворцы из пыли. Мы возродим их из праха.

— Как только начнутся восстановительные работы, — сказал я, — я пошлю этот осколок по месту принадлежности, завернув его в вату.

Она опять поглядела на меня, точно испытывая — не шучу ли я, потом улыбнулась, поняв, что уколола меня словом «туристы».

— Мы немедленно возьмемся за восстановление. Конечно, это будет не легко. Но вот я вам даю слово, что мы восстановим наш Петергоф так, что там не останется даже духа вражеского пребывания!..

Я пожал ей руку с восхищением и благодарностью. Я был убежден, что она дает слово не напрасно.

ИОСИФ КОЛТУНОВ

СТАРЫЙ ДОМ

Всё в этом доме дорого и мило,
Слепые окна свет зари хранят,
Хотя в них пламя черное бурлило,
Когда врывался вражеский снаряд.
Теперь известкой пахнет и цементом,
А тот, который воевал с огнем, —
Орудует немудрым инструментом
У амбразуры
                    в этаже своем.
Как долго ждал он этого мгновенья!
Работал, стиснув зубы,
                              но ему
Уже виднелся факел возрожденья,
Над Ленинградом рассекавший тьму.
Опережая почек набуханье,
Весна входила в город
                              с невским льдом,
И, трепетное ощутив дыханье,
Ее встречая,
                    ожил старый дом.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА



УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ ТРУДЯЩИХСЯ ЛЕНИНГРАДА ПЕРЕД РОДИНОЙ, ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, ДИСЦИПЛИНУ И СТОЙКОСТЬ, ПРОЯВЛЕННЫЕ В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ, НАГРАДИТЬ ГОРОД ЛЕНИНГРАД

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

Москва, Кремль,
26 января 1945 г.

* * *

Я счастлив, что в городе этом живу,
Что окна могу распахнуть на Неву,
Я вижу, как зори над нею играют,
Так сильно, так ярко, что волны пылают!

Ему по плечу, что доступно немногим,
Как в мир, он раскинул просторно дороги,
И сколько в нем воли, и сколько в нем света,
И сколько в нем спето, и сколько не спето!

Я знаю друзей по оружью, сограждан,
Я с ними в походах бывал не однажды,
И знаю, что знамя страны боевое
Дано ленинградцам родною Москвою.

Все грозы, все бури наш город осилил,
Он воин, любимый Советской Россией.
И гордый стоит он в красе небывалой,
И Ленина орден на бархате алом.

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ

Восьмого июля 1945 года в Ленинград вернулись гвардейцы славного корпуса. Они сражались под Ленинградом, разбили и прогнали фашистов от стен города, прошли множество дорог, дошли до Берлина и теперь, после полной победы, возвращались в свой родной город.

Они шли по трем направлениям, но все пути вели к родному дому. Народ вышел навстречу героям. В этот день в домах никого не осталось. Ленинградцы спешили с подарками встретить победителей.

Родные узнавали своих и шли рядом с бойцами и командирами. Цветов было так много, что казалось, целые клумбы сами движутся по улицам. Цветами были убраны лафеты орудий, цветами были убраны машины, танки, мотоциклы, на винтовках были цветы. Бойцам подносили огромные торты, хлеб-соль. Каждый старался им что-нибудь подарить, их звали в гости, угощали, обнимали и целовали. Ни один боец не чувствовал себя одиноким на этом всенародном празднике.

Гвардейцы шли через город загорелые, пыльные, усталые, нагруженные цветами и подарками, окруженные ленинградцами, на ту историческую площадь, на которой всегда бывали празднества в день Октября и Первого мая, — на Дворцовую площадь.

И тогда к командиру, шедшему впереди своего батальона, протиснулся маленький-маленький мальчик. Он протягивал ему мороженое — детское лакомство «эскимо». Он очень просил бабушку купить ему мороженое, а сейчас отдавал его усатому офицеру, который сказал улыбаясь: «Что ты, что ты! Сам ешь, дорогой!»

Но мальчик упорно тянул ему мороженое, и бабушка сказала, утирая слезы от волнения: «Возьмите, возьмите, товарищ командир. Он хочет, чтобы вы взяли. Это его подарок. У него отец погиб за Ленинград. В те дни погиб. Возьмите, товарищ командир».

Командир подхватил мальчика на руки и, поцеловав его крепко, взял мороженое, и бабушке показалось, что его глаза влажно заблестели. Но это, конечно, ей показалось: не могут же плакать такие суровые герои, которые хорошо знают, что́ значат слова: в те дни!

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

НАКАНУНЕ ПОБЕДЫ

...Запомни эти дни.
Прислушайся немного,
и ты — душой — услышишь в тот же час:
она пришла и встала у порога,
она готова в двери постучать.

Она стоит на лестничной площадке,
на темной,
на знакомой до конца, —
в солдатской, рваной, дымной плащ-палатке,
кровавый пот не вытерла с лица.

Она к тебе спешила из похода
столь тяжкого,
что слов не обрести.
Она ведь знала: все четыре года
ты ждал ее, ты знал ее пути.
Ты отдал всё, что мог, ее дерзанью:
всю жизнь свою,
всю душу,
радость,
плач.
Ты в ней не усомнился в дни страданья,
не возгордился праздно в дни удач.
Ты с этой самой лестничной площадки
подряд четыре года провожал
тех — самых лучших,
тех, кто без оглядки
ушел к ее бессмертным рубежам.
И вот — она у твоего порога.
Дыханье переводит и молчит.

Ну день, ну два, еще совсем немного,
ну через час, — возьмет и постучит.

И в тот же миг серебряным звучаньем
столицы позывные запоют.
Знакомый голос вымолвит: «Вниманье...» —
а после трубы грянут, и салют,
и хлынет свет,
зальет твою квартиру, —
подобный свету радуг и зари, —
и всею правдой, всей отрадой мира
твое существованье озарит.

Запомни ж всё.
Пускай навеки память
до мелочи, до капли сохранит
всё, чем ты жил,
что говорил с друзьями,
всё, что видал,
что думал в эти дни.
Запомни даже небо и погоду:
всё впитывай в себя,
всему внемли:
ведь ты живешь весной такого года,
который назовут Весной Земли.
Запомни ж всё,
и в будничных тревогах
на всем чистейший отблеск отмечай.
Стоит Победа на твоем пороге.
Сейчас она войдет к тебе.
Встречай!

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ВЕЧНЫЙ ГОРОД

...Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

С замиранием сердца смотрит приезжий на Невский проспект: три года вся Россия думала об этих домах. Сколько раз под Москвой, или на Днепре, или у Касторной я слышал те же взволнованные слова: «Что с Ленинградом?..»

И вот он стоит, вечный город. Пережитые страдания сделали его еще прекраснее.

Один француз, недавно побывавший в Ленинграде, сказал мне: «В Европе два прекрасных города — Париж и Ленинград. Но нет теперь у Парижа ни горя Ленинграда, ни его славы...» Да, по-новому велик и прекрасен русский город. Его камни кажутся живыми, и, глядя на них, вспоминаешь слова Тютчева, обращенные к мертвой природе: «что в существе разумном мы зовем возвышенной стыдливостью страданья». Тяжелые ранения Ленинграда мнятся царапинами: они не смогли поколебать величье города, может быть единственного в мире с его идеальной гармонией камня, неба и человека.

В Ленинграде всё величественно; и здесь особенно остро понимаешь, до чего глупой была затея немецких бюргеров: такой город они хотели превратить в слободу для отставных эсэсовцев! Архитектура Ленинграда — это гениальное предвидение, потрясающее предчувствие: когда рождался Петербург, еще загадочной была судьба России, русские мастера еще были учениками, еще значилась наша страна на картах Европы зеленым пригородом жилого мира. А архитектура Ленинграда, его планировка, его перспективы преисполнены такого достоинства, такой силы, что чувствуешь: строители жили будущим, нашими днями.

Вдохновенно спрашивал Пушкин:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Не о верстах он думал — о годах: конь Медного всадника скакал в будущее. И если Петербург был построен «на рост», — я говорю не

о размерах города, а о значении нашей державы, — то теперь полностью оправданы горделивые замыслы его зодчих.

Есть ли город, который перенес то, что перенес Ленинград в годы осады? Когда я был ребенком, меня волновали рассказы об осаде Парижа, о мужестве блузников, защищавших его форты. Но осада Парижа была недолгой: голод был недоеданием; и если потрясали наших бабушек рассказы о том, как парижане ели крыс, то мы знаем, что в Ленинграде крысы кидались на ослабевших от голода людей. Чего только не узнал этот город! Враги его терзали бомбами и снарядами, хроническими обстрелами и потрясением внезапных огневых налетов. У жителей не было ни света, ни тепла, ни хлеба, ни воды. Что у них было? Гордость города, вера в Россию, любовь народа. И они победили. Разве можно придумать более назидательную притчу, чем судьба этого города?

За несколько дней до капитуляции Германии Гиммлер занялся историей Ленинграда: он хотел вдохновить берлинцев чужим примером. Он призывал: «Мы должны защищать наш город, как русские защищали Ленинград». Он не понимал, что суть не в приемах обороны, а в сознании и в сердцах людей: палач хотел сыграть роль героя; он был освистан даже своими приятелями, спешившими на сборные пункты для военнопленных.

Может быть, если бы немцы в свое время задумались над сущностью Ленинграда, они излечились бы от многих заблуждений. Не только немцы — Центральная и Западная Европа не понимали значения этого города. Они уверяли, что Петербург — «человек в цилиндре на восточном базаре, или европейские сени азиатской избы». Они не хотели понять Ленинграда, потому что они не хотели понять России. Они тешили себя иллюзиями, говоря, что Ленинград — «искусственный город», что русские — «ленивые, бесшабашные люди, способные только плясать вприсядку да водить хороводы». Если почитать газеты Западной Европы за 1938 или 1939 год, можно подумать, что написаны они малоосведомленными путешественниками, побывавшими в Московии четыре века тому назад.

В Петербурге Россия осмыслила себя, свою силу, свою природу, свою миссию. Кончилось время самосжигания, местничества, крохотных темных горниц, юродивых, заклинаний: гранитной Россией стала избяная Русь. Есть в Ленинграде свой стиль, свой дух; его быстро усваивают приезжие; и туляк или уралец, проработавшие здесь несколько лет, справедливо называют себя ленинградцами. Восьмого июля Ленинград встречал гвардейцев-победителей. К торжествам построили наспех триумфальные арки. Они были из дерева, но казались каменными, и сразу они вошли в архитектуру Ленинграда. Когда-то говорили о петербуржцах, что они холодны или сухи. Может быть,

бюрократическая империя и придавала некоторую натянутость этому городу. Но то, что определяли как душевный холод, было сдержанностью, строгостью: этот город умеет владеть собой, как настоящий поэт, который знает, что законы ямба не препятствуют выражению стихий. Великая душевная сдержанность помогла Ленинграду, его женщинам, его старикам, его подросткам вытерпеть осаду и победить.

Здесь не только всё живое дышит историей, здесь история становится живой — от неистовых трудов большого русского человека, плотника и полководца, мастера корабельных дел и тонкого дипломата Петра и до нашего времени. Не случайно именно здесь басы «Авроры» возвестили миру о рождении новой эры; кто, читая о героическом труде Кировского завода, который под огнем ковал оружье для своих защитников, не думал о старых путиловцах, о первых демонстрациях, о том, как щедро питерский пролетариат проливал свою кровь за свободу? Так город Петра стал городом Ленина, и не было в этом разрыва. И ученики Ленина, большевики старого пролетарского города, в годы испытаний показали не только стойкость — зрелость.

Я видел, с какой отвагой сражался Мадрид во время его осады. Но отваги мало: нужен разум, отважный разум. Может быть, ленинградцы когда-то и смущали своей сдержанностью иного любящего «душу на распашку», но эта сдержанность, эта выдержка спасли Ленинград. И я не знаю, о чем здесь лучше напомнить — о геройстве его ополченцев, его женщин на переднем крае или о домашней хозяйке Марии Никифоровне Егоровой, которая погибла потому, что не хотела оставить без поливки крохотный огородик госпиталя, или о старом Иване Федотовиче Федотове в Палате мер, который, шатаясь от голода, под орудийным обстрелом каждый день подымался на седьмой этаж и заводил часы, и часы не остановились, как не остановилось сердце Вечного города.

Войсками, оборонявшими Ленинград, командовал маршал Говоров — в далеком прошлом петербургский студент, и в нем сказался дух города: это артиллерист, носитель того рода оружья, которое требует от солдата не только порыва, но и расчета, когда математика проверяет вдохновение, носитель того оружья, которое сочетает строгие традиции с дерзанием новатора. Как великолепна Нева в Ленинграде! Нет ни в одной столице такой реки. Вдумавшись, понимаешь, откуда эта красота — не только от воды, но и от камня, не только от природы, но и от человека; и если река должна уметь разливаться, то зодчий должен уметь сдерживать ее своеволье.

Врачи отмечают, что после конца осады многие ленинградцы, особенно пожилые, стали страдать повышенным кровяным давлением; причем врачи говорят, что заболели люди, которые при артиллерийском обстреле города обнаруживали наибольшее спокойствие. Нелегко

дается выдержка человеку. Нелегко давалась выдержка и Ленинграду: нет в мире города, который столько жизней отдал ради победы. Его история — история всей Отечественной войны: если мы вошли в Берлин, то это и потому, что немцы не вошли в Ленинград. Они были рядом; их батареи стояли у остановок городских трамваев. Всего несколько километров отделяли их от Невского, и они писали домой об этих километрах. Они не понимали, что их отделяют от Невского гордость города, любовь России.

Кто был 8 июля 1945 года в Ленинграде, никогда не забудет этого дня: было в нем нечто глубоко человеческое, потрясавшее до слез. Ведь еще немало в городе и разбитых домов, и чересчур бледных девушек... Город встречал своих защитников. Я видел, как у Кировского завода старые рабочие обнимали бойцов; я не умею об этом рассказать: слишком это понятно и слишком невыразимо. Женщина крикнула: «Сережа!» — увидела своего сына, младшего лейтенанта. И рядом другая женщина, заплакав от радости, шептала: «Встретились... Вот радость какая!..» А эта никого не ждала: все ее близкие погибли в Ленинграде, но она радовалась счастью; я не скажу «чужому счастью», — бывают такие часы, когда больше нет ни чужого горя, ни чужого счастья. В этой встрече Ленинграда с гвардейцами было объяснение нашей победы: единство народа. Я убежден, что защитники Вечного города никогда не забудут его камней, его людей; и через много лет в Казахстане, или в Армении, или в Сибири они будут рассказывать о проспектах широких, как сердце человека, о сердцах ленинградцев, которые вмещают мир; и уроженец Пензы скажет: «Я ленинградец», ибо второй раз он родился в огне этого города.

Мы часто читаем слово «восстановление»; оно кажется несколько холодным, — ведь не только о домах мы думаем, да и дома теперь для нас живые, как люди. Ленинградцы всегда с ревностной любовью следили за жизнью своего города. Они ходят за ним, как за выздоравливающим. Они делают это без громких слов, естественно и задушевно. Помогает им та душевная дисциплина, которая украшает жизнь. Они знают, что можно и в переполненном трамвае обойтись без грубых слов, что можно в сквере приветливо улыбнуться соседу даже после длинного рабочего дня. Они чувствуют победу вдвойне: их город был фронтом; и они ласково смотрят на цветы в парках: настурции, левкои, резеда сменили картошку. Правда, еще мало цветов, зато особенно зелены деревья: им просторней, чем прежде. А ко дню 8 июля девушки нарвали много полевых цветов, выросших там, где недавно были воронки от снарядов, — на могилах героев, и не было цветов достойнее, чтобы увенчать солдат, прорвавших осаду.

Как изумительно быстро залечивают ленинградцы раны домов! Смеясь, говорят девушки на лесах: «Это косметический ремонт. Потом

будет хирургия...» Уже на месте кони Аничкова моста. Уже вылечены все львы и грифоны. А Ленинград этим не довольствуется. Он не хочет стать провинцией. У него еще мало и рук и голов; каждый здесь и работает, и думает за многих — за себя и за погибших. И вот чудесные ясли в городе, где еще недавно не было салазок, чтобы отвезти труп на кладбище. И вот замечательно изданные книги, журналы; износились машины, но люди так хотят, чтобы их книги, их журналы выглядели хорошо, что воля заменяет технику. На стене афиша: «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде», и еще худые овчарки веселым лаем встречают посетителей, и маленькие дети, еще бледные, смотрят на «Дину», которая нашла пять тысяч мин и тем спасла многих защитников Ленинграда.

Ленинградские писатели порой спорят: нужно ли вспоминать о пережитых страданиях? Случайный спор: ведь все понимают, что нельзя забыть пережитого и нельзя жить только им. Пришла победа, и люди жадно смотрят в будущее; но это не те люди, которые были в июне 1941 года. Не четыре года отделяют этих от тех — века́. О своих страданиях Ленинград не может и не хочет забыть: взрослый человек не может и не хочет жить, как подросток. Но, помня о страданиях, Ленинград думает о счастье, и он строит счастье.

Тяжело глядеть на развалины дворцов в Петергофе и Пушкине: этого не восстановишь. Дворец в Пушкине еще может быть сохранен в его внешнем облике; а дворец Петергофа неизлечим; лучше всего будет, если он останется величественными руинами, как руины Акрополя, напоминая потомкам о гении зодчего и о варварстве фашистов. В Петергофском парке погибли три тысячи деревьев, и парк поредел, как Европа. В Царскосельском парке на старом месте статуя вдохновенного поэта: она была закопана, отдельно нашли шляпу Пушкина, принесли, положили; и снова священные места вдохновляют юношей. Поверженной нашли статую богини мира: немцы сбросили ее с пьедестала. Теперь она на месте. Об этой статуе когда-то писал Иннокентий Анненский:

О! дайте вечность мне, и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Он не знал, что любимая им статуя увидит агонию дворца. Но Ленинград помнит все обиды и все года, и он отдаст вечность, этот Вечный город, за свою большую память.

Мы знаем теперь: он будет жить еще большей жизнью, чем прежде. Россия помогла ему в дни осады; она поможет ему снова наполниться людьми, вещами, звуками. Я видел, как малыш в Летнем саду следил за затмением солнца. Вдруг всё потемнело, заметались перепуганные птицы, подул холодный ветер. Малыш сказал: «Это что!

Вот когда с Вороньей горы стреляли...» Ленинград узнал долголетнее затмение. Теперь он видит щедрый, полный свет.

Со Стрелки ночью я глядел на море и снова думал о судьбе нашей Родины: она вышла в большое плаванье. Петербург был задуман как «окно в Европу». Давно это было, очень давно... Давно уже Россия стала частью Европы, не отделимой от Запада. И если молодые офицеры-декабристы пронесли идею вольности от Сены до Сенатской площади, то идея справедливости дошла с Невы до площадей Парижа. Мы стали сердцем Европы, носителями ее традиций, продолжателями ее дерзаний, ее строителями и поэтами. И ветер с моря, полный силы и бодрости, напоминает нам о большом рейсе, о большой ответственности каждого советского гражданина.

БОРИС ТИМОФЕЕВ

ПРИВЕТ ВАМ, ЛЮДИ РАТНОГО ТРУДА!

Привет вам, люди ратного труда!
Восславим героические руки
Тех, кто работал из последних сил,
И кто пожары в городе гасил,
И кто служил искусству и науке...
Всех, кто стоял на вахте боевой,
Тебя храня, великий город мой!
Война, блокада, голод, холод, тьма —
Шли сообща и в двери нам стучали,
Но их упорством яростным встречали
Угрюмые, промерзшие дома.
Да! Может быть в истории впервые
Был осажденный город так неукротим, —
Мы хоронили мертвых, а живые
Твердили, стиснув зубы: «Победим!»
Враг у ворот! Тревожный этот зов
Гремел набатным гулом над Невою,
И кировские танки в гущу боя
Шли прямо от заводских корпусов...
Передний край был рядом. Здесь мы встали,
Встречая штормовой удар врага,
И не было на свете тверже стали,
Чем наши ленинградские сердца.
Отсюда терпеливая отвага
Нас повела вперед — до стен рейхстага!

СОДЕРЖАНИЕ

Город-фронт

Блокада прорвана!

Великая победа под Ленинградом

Высокая награда

„900 дней“

Литературио-художествеиный
и документальный сборник

Редактор Е. Н. Габис
Художнпк В. Н. Шульга
Художиик-редактор О. И. Маслаков
Техиические редакторы Л. Г. Левоиевская и
О. И. Котлякова
Корректор Р. Ю. Хесииа

Сдано в набор 25/V 1961 г. Подписаио к печати 8/XII 1961 г.
Формат бумаги 70 × 92¹/₁₆. Физ. печ. л. 37,5. Усл. печ. л. 43,88
Уч.-изд. л. 34,66 + 14 вклеек. Тираж 50 000 экз. М-31838. Зак. № 805

Ленниздат, Леииигград, Торговый пер., 3
Типография имеии Володарского Леииздата, Фонтанка, 57
Цена 1 р. 79 коп.

1 р. 79 к.